

Петердамштейн Жизнь Миллера





Петер Даништейн

Жизнь Шиллера

Peter Lahnstein
Schillers Leben



List Verlag
München
1981

Петер Ланштейн

Жизнь Шиллера

•

ПЕРЕВОД
С НЕМЕЦКОГО



Москва
• Радуга •
1984

Перевод *В. Болотникова, К. Старцева и С. Тархановой*
Общая редакция *Т. Холодовой*
Послесловие и комментарий *А. Гугнина*
Редактор *З. Петрова*

Это обстоятельная биография великого немецкого поэта и драматурга. Автор подробно прослеживает эволюцию творчества Шиллера, рассказывает о его окружении, значительное внимание уделяет его дружбе с Гёте.

© Paul List Verlag, München, 1981

© Перевод на русский язык, послесловие и комментарий, М., «Радуга», 1984

Л $\frac{460300000-209}{031(01) - 84}$ 88 — 84



РОДИТЕЛИ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ

14 марта 1749 года в переулках маленького городка Марбах, что расположен на реке Неккар, появился всадник, одетый в военную форму. У трактира «Золотой лев» он остановил коня и спешился. Десять дней провел он в дороге, проделав за это время путь от Боркеля, из Северного Брабанта, — путь, стало быть, неблизкий. Его появление привлекло внимание обитателей «Золотого льва», и не в последнюю очередь шестнадцатилетней дочери хозяина трактира. Прибыл из дальних мест, но сам здешний, из Биттенфельда; в этих краях у него сестра и еще кое-кто из родни — в Людвигсбурге, Биттенфельде, Неккарремсе; зовут его Иоганн Каспар Шиллер. Ему не более двадцати пяти лет; но здесь, под низким потолком трактира, с дороги, огрубелый, с жестким, обветренным лицом, он выглядит человеком бывалым.

Так как речь идет о будущем отце Фридриха Шиллера, стоит обрисовать его жизненный путь, а это довольно легко сделать, благодаря оставленной им «*Curriculum vitae meum*»¹. Он родился 27 октября 1723 года в Биттенфельде в семье сельского старосты Иоганнеса Шиллера и его жены Евы Марии, урожденной Шац из Альфдорфа. Его рано отдали в школу и наняли даже домашнего учителя латинского языка. Но со смертью отца школу пришлось оставить. Иоганну Каспару минуло тогда десять лет, а всего у матери было восемь детей. Рушились надежды на учебу, дававшую возможность стать писарем, мальчику пришлось работать по хозяйству. Однако несколькими годами позже матери удалось удовлетворить просьбу сына: он смог изучать искусство врачевания ран. Пятнадцати лет он стал учеником монастырского цирюльника Фрешлина в Денкендорфе; там находилась одна из евангелических монастырских школ. В те же годы, когда Каспар Шиллер изучал искусство бритья и кровопускания, там находился еще Иоганн Альбрехт Бенгель*, один из столпов швабского пиетизма. Фрешлин сделал Шиллера своим подмастерьем; после смерти хозяина он еще в течение полугода остается в его доме,

¹ «Мое жизнеописание» (лат.).

* Здесь и далее примечания со звездочкой см. в комментарии в конце книги. — Прим. ред.

помогая вдове вести дела. Дальнейшие поиски приводят его в Бакнанг, где он задерживается на некоторое время, проходя обучение у банщика Шеффлера. Оттуда, располагая весьма скудным запасом платья и белья, пустился он в обычные по тем временам странствия, которые уводили молодых людей за пределы родного герцогства Вюртембергского, но не из самой Швабии. Некоторое время он живет в Линдау, совершенствуясь у хирурга Зелигера, после его смерти дороги приводят Шиллера в Нёрдлинген к врачу Крамеру. К тому времени ему исполнилось двадцать лет.

Цирульник, банщик, врачеватель ран, хирург — все это требует пояснения. В те годы обученные врачи почти не занимались хирургическим лечением больных. Зато широкую практику имели банщики и цирульники, обычным делом которых было нечто вроде санитарного обслуживания. Главное место в их практике занимало кровопускание — в старые времена чрезвычайно распространенный способ лечения самых разных болезней, — которые производили посредством насечек или приставлением пиявок. Поэтому старательные цирульники или банщики во многом могли преуспеть. Впрочем, по состоянию трупа было трудно установить, «помог» тут ученый врач или лекарь или матушка-смерть обошлась без их участия.

Итак, Каспар Шиллер овладел искусством врачевания: три года ученичества, четыре года «совершенствования». Вспоминая годы учения, он писал с гневом: «Я должен был довольно часто выполнять презреннейшую работу». Так было принято. «Черт согласен быть кем угодно, но только не учеником», — гласила швабская поговорка тех лет. Но то, что необходимо было усвоить, молодой человек жадно впитывал в себя. И где только представлялась возможность, он приобретал новые знания. Для этого в Денкендорфе были особенно благоприятные условия. Общаясь с воспитанниками пансиона, он углубил свою латынь; у пастора Вайсензее, который был ботаником и аптекарем, он почерпнул знания о лечебных свойствах растений; не следует забывать также, что Каспар Шиллер, вероятно, часто слушал проповеди Бенгеля — должно быть, они оказали заметное воздействие на будущего отца семейства, что впоследствии могло сказаться и на его сыне. В Нёрдлингене Каспар Шиллер нашел друга в лице сына своего хозяина, вместе с которым он изучал французский язык и посещал фехтовальную площадку.

«В сентябре 1745 года через Нёрдлинген в Нидерланды проходил гусарский полк графа фон Франгипаниша, сформированный в Баварии, а после смерти баварского императора * Карла VII оставленный на службу в Голландии. Мне захотелось поступить фельдшером в этот полк, я распрощался, двинулся вслед за ним и догнал его около Розенберга. Правда, вакантного места не нашлось, однако меня взяли en suite¹, и я не только промаршировал вместе с ним до Нидерландов, но смог еще кое-что сэкономить за счет оплаченного конского фуража. 11 ноября того же года полк вступил в Брюссель. К тому времени я многому научился и мог успешно проводить курсы лечения «галантных» болезней, что давало мне средства к существованию».

¹ Затем (франц.).

Ему было тогда двадцать два года. Все это — и охватившее его мятежное чувство, и желание последовать за гусарами — тот дух, который впоследствии будет веять над «Лагерем Валленштейна».

Друзья, на коней! Покидаем ночлег!
В широкое поле ускачем!

(Перевод Л. Гинзбурга.)¹

Солдатская жизнь Каспара Шиллера проходила в Австрийских Нидерландах, теперешней Бельгии и северной пограничной местности. Шла война за наследство: воевали с французами. В полку новый человек скоро стал известен благодаря врачеванию «галантных» болезней. И эти знания он тоже получил за период учебы. Венерические болезни были тогда чрезвычайно распространены. Против них пускали в ход любые средства; в качестве лекарственных средств тут применялось и кровопускание, не приносившее никакой пользы, и всяческие снадобья и пластыри — «лягушачий пластырь Витона с ртутью», к примеру; лечили и ваннами, и окуриванием, использовали потогонные снадобья, последние — согласно справочнику того времени, в котором этой теме посвящено 275 столбцов убористого текста, — «в самых крайних случаях, и то применительно к крепкому организму». Благодаря такой практике молодой фельдшер невольно обзавелся дружескими знакомствами среди офицеров и вахмистров. Каспар Шиллер испытывал довольно сильное тяготение к солдатской службе, чтобы довольствоваться медициной. Сначала он попал в плен к французам, которые отправили его вместе с другими в Гент и «держали на хлебе и воде при гауптвахте так долго, что на это ушла большая часть службы». В то время перейти под другое знамя не считалось позором. Так, он поступил на службу в швейцарский полк Дисбаха, сражавшийся за Францию. Через некоторое время он снова попадает в плен к сторонникам императора, разыскивает свой полк и догоняет около Люттиха, как раз ко времени «великой битвы» *, которую выиграла Франция. Спешное отступление, затем зимние квартиры. Он получает штатную должность фельдшера в моргенштерновском эскадроне. Весной снова выступили в поход. Но фельдшер Шиллер скучает — он занимается только врачеванием раненых, больше ему делать нечего. Среди гусар, ведущих здоровый образ жизни, заболевания — редкое явление: «Тяга к постоянной деятельности побуждает меня просить разрешения участвовать в боях». Вылазки на свой страх и риск с саблями наголо; они не обходятся без кровавых ран. «Ранения, полученные от врага или на дуэли, если они не вызывают серьезных повреждений, не стоят внимания, тем более — чтобы ими хвастаться». Таков Шиллер-отец. Сын, поэт, пишет:

Лишь там не унижен еще человек,
Лишь в поле мы кое-что значим. (II, 323)

С дистанции времени отец оценивал свой старый полк «как превосходную школу, где учатся храбрости». Лето 1747 года принесло

¹ Шиллер Ф. Собр. соч. в 7-ми тт., т. II. М., Гослитиздат, 1955, с. 323. В дальнейшем все ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы (II, 323). — Прим. ред.

немало событий, пришедшихся по душе этому честолюбивому фельдшеру. Гусары делали вылазки из окруженного французами Бергена, врываются в расположение вражеских войск, перерезали пути сообщения, захватывали пленных и трофеи. Удалось совершить даже крупный налет на колонну с сотнями коней и повозок. С хорошим настроением шли в этот раз на зимние квартиры. Оттуда Каспар Шиллер сопровождает своего ротмистра в Гаагу и другие голландские города. Следующий год принес возобновление военных действий, прибыльных для некоторых отчаянных вояк, пока им не положило конец перемирие. Зимние квартиры в Боркеле. И снова фельдшер со своим ротмистром отправляется в путешествие — как бы хотелось узнать о нем более подробно! — на этот раз путь их лежит из Амстердама в Лондон. По возвращении в Боркель им стало известно, что полк сокращается до двух эскадронов. Шиллер не стал дожидаться — «я тосковал по своему отечеству» — и через десять дней был уже дома. (Удивительный срок. Вероятнее всего, он двигался вверх по Рейну и расстояние от Кёльна до Шпейера преодолел приблизительно за шесть дней.)

Так протекала жизнь Каспара Шиллера, пока он не завел собственную семью. «Voilà un homme!»¹ — можно было бы сказать. Сила воли и жажда деятельности присущи были этому человеку; они угадывались в его облике, в жесткой линии плотно сжатых губ, в глубокой морщине, перерезавшей лоб у переносицы. «Карьерист»? Несомненно, хотя происходил из почтенной семьи и по обычным меркам не очень преуспел. В нем билось сильное желание продвинуться вперед, соединявшееся со страстным стремлением учиться и узнавать новое, достигнуть большего и выбиться на широкую дорогу. Как должен был мучиться этот человек, когда судьба бросила его в скучную, бесславную войну, навязала пустую и мелочную деятельность, обманула надежды, не слишком щедро вознаградив его за верную службу. Во время нидерландской войны он неистовствовал, галопируя на коне, нападая и низвергая попадавшего на глаза врага, захватывая трофеи. «Но что получал каждый в отдельности, когда брал в плен или убивал врага!» — пишет он в своих воспоминаниях. Сын писал:

Вставайте ж, товарищи! Кони храпят,
И сердце ветрами продуто (II, 325) —

для отца Шиллера это было частицей жизни. И действительно: если бы его и назвали холериком, кто мог бы возразить против этого.

Слезая с коня около «Золотого льва», он намеревался начать гражданскую жизнь. Сестра Христина в Неккарремсе знала, с чего начинать, и попыталась свести его с дочерью тамошнего хирурга. Женившись на ней, он мог получить практику; однако дело сорвалось, так как девушка была обещана другому. Стоило ли печалиться оттого, что ускользнула невеста, а с нею и прекрасная возможность устроить жизнь? Каспар Шиллер женился 22 июля 1749 года на единственной дочери хозяина «Золотого льва», слышшего за состоятельного человека, — шестнадцатилетней Елизавете Доротее Кодвейс. Перед этим он сдал экзамен в Людвигсбурге, где достаточ-

¹ Вот истинный мужчина! (франц.).

но высоко оценили его искусство врачевания ран. Он начинает практиковать в Марбахе как врач и становится гражданином этого города.

Нет ничего необычного в том, что об отце Фридриха Шиллера мы можем рассказать многое, в то время как о матери — очень мало, причина здесь в характере того времени и общества. Правда, когда сын приобрел известность, а это случилось еще при жизни родителей, внимание образованных современников было обращено и к ним; мы располагаем достаточными сведениями о родителях в период их жизни в Солитуде в пожилом возрасте. О матери известно, что она была веселой и доброй женщиной, для детей, и особенно для сына, — источником тепла в семье, где отцом был жесткий, неуравновешенный человек, бесславно многие годы потративший на бессмысленную деятельность, обойденный судьбой, долгое время вынужденный довольствоваться до обидного скромным жалованьем. Дочь хозяина трактира, выросшая в постоянном общении с людьми, мать была приветливым человеком. При всем своем послушании, как того требовали время и окружение, находясь рядом с мужем, обладавшим тяжелым характером, она умела сохранять свои личностные качества и достоинство и даже находила в себе силы беречь от него свои тайны. Она, к слову сказать, была похожа на мать Гёте, веселым нравом и страстью фантазировать, хотя и отличалась простодушным характером. Однако трудно представить себе натуры более противоположные, чем их отцы. Один — преисполненный жажды деятельности, другой — погруженный в себя, праздный, угрюмый чудак... Мать Шиллера была глубоко религиозной женщиной, в чем полностью соответствовала своему мужу. В ее вере было нечто мечтательное: на глазах у детей холмы и долины она превращала в место действия библейских преданий. Религиозные взгляды отца отличались строгостью, его бог был всемогущим Отцом и всезнающим судьей. Духом швабского пие-тизма были проникнуты религиозные чувства обоих родителей.

Со стороны матери и отца Фридрих Шиллер имеет швабское происхождение. Их предки проживали большей частью в нижней долине Ремса и на реке Неккар около Марбаха. Между ними находится Вайблинген (городок, по имени которого во времена Гогенштауфенов назвали себя гибеллинами итальянцы, бывшие тогда союзниками императора). Колыбелью отцовского рода Шиллеров может считаться Грундбах в долине Ремса — большая деревня, утопавшая в виноградниках, примерно на середине пути между Шорндорфом и Вайблингеном. Родословную Шиллеров здесь можно проследить вплоть до XIV столетия. Они были ремесленниками, виноделами, состоятельными людьми. Позднее Шиллеры поселяются в низовье Ремса, в Нейштадте и Биттенфельде, входящих в округ Вайблинген. Это были абсолютно «правильные люди», как там говорили, имея профессию, они занимали почетные должности судейских, старост, «облеченных правом сбора турецкого налога». Среди ближайших предков поэта выделяются пекари: пекарем был дед по отцовской линии, пекарем и старостой в Биттенфельде, и прадед Шиллера был также пекарем и судейским; пекарем был дед по материнской линии, хозяин «Золотого

льва» в Марбахе. Мать Шиллера, овдовев, жила у своего зятя, священника Франка в Клеверзульцбахе, она расположилась в пекарне — запаха хлеба напоминал ей детство. Среди предков Шиллера по материнской линии были люди и более значительные по общественному положению — профессора и прелаты, через них идут отдаленные родственные связи Шиллера с другими великими соотечественниками, в том числе с Гегелем.

Мать отца была родом из Альфдорфа, из большой церковноприходской деревни в Вельцгеймерском лесу, на расстоянии двух часов ходьбы через долину Ремса; мать матери была дочерью крестьянина из Рёрахерхоф около Ритенау. Если все названные места проживания находятся в исконно швабской местности (это можно утверждать, исходя из единственно надежного признака различия — по району распространения швабского диалекта), то родина бабушки со стороны матери, Ритенау, расположена вблизи границы диалектов, в районе франкского наречия.

С этим незначительным ограничением Шиллер по своему происхождению является швабом, что подтверждается его диалектом, который сохранился у него на всю жизнь. Должно, правомерно ли видеть в его характере отражение «родового своеобразия»? Совершенно независимо от того, что гений, естественно, представляет собой известную аномалию, при определении родовых признаков нужно проявлять осторожность, ибо в данном случае находка и выдумка находятся рядом друг с другом. Сам Йозеф Надлер *, который в этом отношении был весьма смелым, о швабах, проживающих в районе Неккара, метко сказал: «...это государство, которое выработало у народа чудесную духовную сплоченность». К теме о «родовом своеобразии» нужно только добавить, что поэтическая и философская гениальность у тех швабов, которые сформировались в рамках вюртембергской государственности, встречается чаще, чем у других немцев. Говоря о франкской бабушке и родственниках с франками швабских предков, следует добавить, что потребность чем-то поделиться, бесспорно, является франкской родовой особенностью.

Итак, необходима осторожность при определении у Фридриха Шиллера особенностей его родословной. Но для выявления духовной атмосферы, в которой он родился и рос, большое значение имеет характер его родного государства. Вюртембергская государственность неизменно определяла идеалы, образ действия и поведение предков Шиллера в течение поколений и так глубоко запечатлелась в нем самом до двадцатитрехлетнего возраста, что она его тяготила столь же мало, как и его швабский диалект.

Графство Вюртемберг образовалось в результате распада владений Гогенштауфенов *, скорее благодаря последовательному, целенаправленному и разумному хозяйствованию, а не завоеванию скромная поначалу вотчина, расположенная в долине Ремса и среднем течении Неккара, разрослась настолько, что в конце средних веков превратилась в крупнейшую по территории область, простиравшуюся между Курпфальцем и Баварией; присвоение герцогского титула Эберхардубородачу * королем Максимилианом I было только внешним призна-

нием значения правящего дома Вюртемберга, которое им давно уже было обретено. В первой половине XVI столетия это государство приобрело свой особый, в известном смысле неповторимый характер. Герцог Ульрих, человек упрямый и беспоконный, в связи с большими долгами и под напором мятежных крестьян был принужден заключить с духовенством и третьим сословием Тюбингенский договор, который сохранял силу основного закона Вюртемберга в течение почти трехсот лет (по случайному совпадению — до года смерти Шиллера). Этот договор предоставлял сословиям, из которых было исключено дворянство, право голоса в решении важных вопросов, таких, как объявление войны и введение новых налогов; кроме того, договор обеспечивал всем жителям известные основные права, «habeas corpus»¹, а также право на «свободное передвижение».

При том же герцоге Ульрихе Вюртемберг присоединился к Реформации. В том, что государство и народ перешли в лютеранство во время бури, которая пронеслась по всей Германии, не было, таким образом, ничего удивительного. Необычной, однако, была основательность, с которой введенный при благоразумном сыне Ульриха Христофе * церковный и школьный порядок внедрялся в сознание каждого вюртембержца. При помощи скрупулезного разъяснения новой веры было возведено солидное, дорогостоящее здание земельной церкви; в благоустроенных монастырях были открыты школы, дававшие первоначальную подготовку для последующей учебы в тюбингенском монастыре; сам монастырь был заново оборудован в связи со своим новым предназначением. Одновременно при Христофе было усилено общее немецкое и латинское школьное образование, так что почти весь народ приобщался к чтению Библии, катехизиса и псалмов. Только в период тяжелейшей военной разрухи этот учебный процесс временами прерывался. Внешние и внутренние опустошения Тридцатилетней войны привели к созданию церковного конвента, церковно-светским судам, которые — даже если они практически служили прежде всего защите воскресных обрядов — как суды нравов повсюду наблюдали за частной жизнью; они были подобны инквизиции, хотя и без ее специфических средств воздействия. «Лютеранская Испания» — так называли иногда Вюртемберг. Если пиетизм пустил корни и пышно расцвел в Вюртемберге, то это объясняется широким вторжением церкви в дела государства. Люди искали в пиетистских кружках теплоту, которой им не доставало в официальной церкви, — теплоту и своего рода свободу. Важно, что, несмотря на все противоречия, пиетизм в Вюртемберге проник во всю структуру церкви и не ограничился лишь отдельными кельями. Таким образом, родное государство Шиллера отличалось своеобразием структуры и духовной жизни. Тюбингенский договор, если оставить в сторону все панегирики, в основе своей близок к буржуазной демократии и государственному правопорядку. Для той привилегированной бюргерской прослойки страны, занимавшей по обыкновению наиболее значительные должности и

¹ Название закона о свободе личности, принятого английским парламентом в 1679 году (по первым словам латинского текста).

доходные места, где все состояли между собой в родстве, — для этой «знати» проявление мужского достоинства по отношению к княжескому трону было позицией, предписанной их основным законом. Разумеется, лишь немногие, к примеру земельный консультант Мозер, сумели выдержать такую позицию до конца, несмотря на жесточайшие испытания; однако она была законной и считалась образцовой. Установленное при Христофе школьное образование имело одну социальную черту, которую нельзя не заметить. Зачисление в монастырские школы, поступление в монастырь и занятие должностей производилось на основании экзаменов; как бы ни отнеслись к духовной муштре, преобладанию древних языков, пребывание и результат были совершенно независимы от ранга и денежного мешка отца. Таким путем в среду знати вливалась свежая народная струя. Основанная на Библии, Библией вскормленная набожность, твердый церковный порядок, всепроникающее церковное воспитание в значительной степени определяли жизнь вюртембержцев: прилежание, бережливость, а к тому же умение приобретать, которое позволяло трактовать наживу в протестантском духе как свидетельство милости. На этом фоне двор с его меняющейся роскошью и убранством в стиле ренессанса, барокко, регентства и, наконец, рококо, блеск которого нашел особенно ослепительное отражение в резиденции в Людвигсбурге в XVIII столетии, должен был казаться явлением чужеродным; и действительно, втайне он воспринимался многими в государстве как дерзость, а подчас и как божие наказание. При этом нельзя не видеть, что критическую позицию по отношению к властителям и двору занимала по большей части знать, получившая привилегии по Тюбингенскому договору, их старому доброму праву. Маленькие люди, ремесленники, которым дворцовая роскошь обеспечивала большое количество заказов, проявляли более сдержанное отношение к жизни двора. Крестьянам досаждали огромные охотничьи угодья и охота, наносившая им урон, но они довольствовались тем, что убытки могли компенсироваться созданием охотничьих загонов, или «зоопарков». В простом народе было глубоко чувство приверженности и к местному княжескому дому; случаи проявления особой жестокости воспринимались как божие испытание. Но у бюргерской верхушки верноподданническое чувство к князьям было пропитано критицизмом и ограничивалось рамками закона.

Таково было государственное устройство, таковы были вюртембержцы. Это было жизненной средой предков Шиллера, его родителей. Эта отчетливо выраженная сущность вюртембержца по-мужски воплотилась в его отце и на женский манер — в его матери.

Когда Каспар Шиллер открыл в Марбахе врачебную практику, он вправе был верить, что обрел покой, и его молодая жена была этим довольна. Так прошло четыре года. Двое детей родились и умерли. В отцовском «*Curriculum vitae*» они не упоминаются. На четвертом году семью постигло еще одно несчастье: обанкротился тесть. Это было связано с тем, что Кодвейс занялся сплавом леса по реке Неккар и в должности инспектора по дереву так неудач-

но повел дело, что вынужден был пожертвовать имуществом для покрытия недосдачи по счету; чтобы справиться с несчастьем, ему пришлось занимать деньги, в том числе и у Каспара, имевшего кое-какие сбережения, — в результате все рушилось. Зять сумел кое-что сохранить, купив у хозяина половину дома и удержав из суммы выплаты свою долю в качестве приданого жены. «Чтобы избежать позора от краха основательно пострадавшего состояния, я решил окончательно покинуть Марбах». Каспар Шиллер снова вернулся на военную службу. На этот раз он поступил на службу к «милостивейшему государю» герцогу Карлу Евгению, о котором пойдет речь в следующей главе; этот правитель в течение десяти лет был для Фридриха Шиллера вторым отцом. Отношение Карла Евгения к Каспару Шиллеру, который поступил к нему на службу почти в тридцатилетнем возрасте, можно кратко охарактеризовать так: постепенно продвигая по службе этого расторопного человека, он в то же время самым позорным образом не выплачивает ему жалованье в течение четырех лет; и когда уже старый Шиллер чуть ли не поседел от скучной службы и огорчений, Карл Евгений, зная склонность его к лесоводству, поручил ему руководство лесной школой в Солитюде, то есть предоставил ему возможность именно такой деятельности, которая наполнила смыслом жизнь этого человека и благодаря которой он смог приносить наибольшую пользу своему государству.

Двадцать три года провел Каспар Шиллер на военной службе в Вюртемберге; но годы, связанные с ней и во время войны, и в мирный период, достойны сожаления. Чтобы полнее охарактеризовать отца Шиллера, приведем несколько замечаний о вюртембержцах, которые должны были участвовать в Семилетней войне (частично как предоставленные в распоряжение Франции за денежную помощь, частично как солдаты войск государства). Поход 6000 человек в Силезию — к театру военных действий летом 1757 года — состоялся при весьма своеобразных обстоятельствах. Нежелание большей части солдат, незадолго до того подвергшихся грубому давлению, участвовать в войне против Фридриха, распространившиеся слухи о том, что цель этой войны — будто бы уничтожить протестантское господство, единодушное нежелание народа, в том числе и представителей различных сословий, участвовать в войне — все это явилось причиной массового дезертирства, с которым военное руководство пыталось бороться при помощи телесных наказаний и смертной казни и, наконец, бессильное что-либо предпринять, объявило всеобщее помилование. Шиллер, бывший тогда прапорщиком и адъютантом, как и всегда, оставался и теперь верным присяге. Войска двигались через Гейслинген к Гюнцбургу по Дунаю до Линца, затем через Богемию в Силезию. После ряда успешных сражений вюртембержцы, под командованием генерала-фельдцейгмейстера фон Шпицнаса участвовали в сражении под Лойтеном, где пруссаками командовал лично Фридрих. Первый удар заставил вюртембержцев, воевавших с неохотой, отступить, при этом они расстроили весь левый фланг королевских войск. Во время долгого и поспешного отступления Каспар Шиллер потерял своего коня, едва сам не погиб в болоте; наконец, «печально

двинулись на зимние квартиры в Богемию». Уже давно стояла зима. Полк насчитывал едва ли половину прежнего состава. Вспыхнула эпидемия, злокачественная «болотная лихорадка», которая косила всех подряд, не щадя даже фельдшеров; это грозило тем, что больные, находившиеся в лазарете у Шиллера, могли остаться без помощи.

Полевые лазареты во время войн тех времен представляли собой по большей части ужасное зрелище: в палатах стоял смрадный запах; санитары, боясь заражения, постоянно напивались, мертвые лежали вперемежку с больными. «Из лазарета в Заце в иные дни вывозили на телегах по пятнадцать-двадцать трупов и зарывали их в общую могилу». Среди этих бедствий Каспар Шиллер проявлял мужество, правда, по-иному, чем во времена своей гусарской разбойничьей жизни. Он снова становится фельдшером, постоянно оказывает помощь; выходя в центр зала, громко читает молитвы или поет религиозные песни для поддержания духа у пострадавших.

Весной корпус вернулся домой: из 6000 человек уцелело 1900. Еще трижды должны были участвовать в этой войне юртембержцы: летом 1758-го, осенью 1759-го, летом 1760 года. Каспар Шиллер не все время находился вдали от дома; места расположения войск в перерывах между военными действиями были недалеко от Марбаха.

Ведь Каспар Шиллер пока что не смог «окончательно покинуть» Марбах. До 1756 года молодая пара оставалась в «Золотом льве». Затем они переехали в дом по соседству, где прожили три года; в 1759 году Каспар Шиллер снял нижний этаж в доме Зеклера Шёллькопфа, немного выше того места, где поднимающийся в гору переулоч становится шире и где стоит трубчатый артезианский колодец с «диким человеком» *. Ворота Никласа, по ним назван и этот переулок, ныне не существуют. Все остальное сохранилось достаточно хорошо.

4 сентября 1757 года, когда муж участвовал в походе в Силезию, жена родила первого ребенка, который остался в живых, первого из четырех: дочь Христофину. Во время ее следующей беременности в 1759 году семья снимала нижний этаж в доме Шёллькопфа. Муж находился тогда в Штейнхейме на Мурре, неподалеку от Марбаха, и имел возможность навещать жену и дочурку. Осенью его полк расположился в лагере около Людвигсбурга, готовясь к очередному походу. В конце октября Доротея приехала туда навестить своего мужа и там, в лейтенантской палатке, едва не родила ребенка. К счастью, схватки прекратились. 10 ноября, в субботу, в новой квартире, выходящей окнами в переулок, она родила сына, которого на следующий день окрестили Иоганном Христофом Фридрихом: его должны были назвать Фриц. Конечно, супруги еще до родов договорились об имени для мальчика или девочки. Мне кажется знаменательным, что этот офицер перед выступлением в поход против Фридриха — Фридриха Единственного, как тогда называли его в протестантской Германии вплоть до Эльзаса, — думая, как назвать ребенка, в случае если это будет сын, остановился на имени великого врага. Каспар Шиллер доказал, что в этой отвратительной войне он выполнял свой долг согласно присяге и вел себя как истинный солдат. Но никто не мог запретить ему дать имя Фридрих своему желанному сыну.

Дом, в котором родился Фридрих Шиллер, сохранился и довольно рано стал предметом почтительного внимания. Спустя семь лет после смерти поэта один заезжий саксонец поставил вопрос об официальном протоколе с целью установления, в каком доме именно родился поэт, а также для занесения воспоминаний людей, которые могли что-либо рассказать о Шиллере. Этому человеку потомки обязаны многим: без него мы бы знали о раннем детстве Шиллера еще меньше, чем мы действительно знаем, и вероятно, не имели бы точных сведений о том, где он родился. Спустя тридцать пять лет, в 1857 году, марбахское Шиллеровское общество купило дом. Незадолго до этого его посетил некто Йозеф Ранк:

«В доме, где родился Шиллер, живет пекарь; об этом уже издали возвещает доска на одном из окон с нарисованными на ней булками. Со стороны улицы в нижнем этаже и во втором только по три окна; зеленые ветхие ставни прикрывают окна верхнего этажа, словно сонные веки. Вход в дом с восточной стороны. Посетителю еще издали бросаются в глаза всякий хозяйственный хлам и старые постройки. Однажды в прекрасный летний день я прошел через низкую дверь в маленькую прокуренную комнату, выбежавшие навстречу дети позвали мать, болезненную с виду женщину; за перегородкой в очаге горел слабый огонь, рядом молодой, цветущий пекарь доставал из печи хлеб, который понес потом вместе с помогавшим ему мальчиком в комнату. Я поднялся за ним вслед по деревянным ступенькам; перед этим мы уже успели обменяться с ним приветствиями.

Как удручающе мала была эта комната, как трогательно скромно она выглядела! Большая кафельная печь делала еще меньше и без того крошечное помещение: представьте себе еще перегородку, скамьи вдоль стен, довольно большой стол — все настолько тесно, что негде и повернуться. Войдя в комнату, я увидел кругом разложенные по полкам караваи хлеба; в сильно нагретом воздухе носились тучи мух. Я сказал, что интересуюсь реликвиями и достопримечательностями дома. Пекарь обвел взглядом вокруг: «Да вот оно все». Потом положил передо мной на стол «Альбом Шиллера», попросив меня записать в нем свое имя. Из того, что могло бы напоминать здесь о Шиллере — из вещей и обстановки тех времен, — не осталось и следа. Небольшой черный бюст Шиллера украшает угол комнаты».

Итак, обитатели дома достаточно чтили память поэта, пока его не взяло на свое попечение Шиллеровское общество. Дом хранит нечто свое, неповторимое; вдумчивый посетитель способен еще и сегодня проникнуться в его стенах особенным чувством: его словно коснется незримый дух того времени — и в комнате под низким потолком, где явился на свет ребенок, и перед коллекцией вещей, собранных в верхнем этаже, — обручальное кольцо, табакерка, нож для очинки перьев, черная кожаная шляпа, которую надевали во время путешествий, желтый с белым детский костюм для прогулок, изящная курточка, брюки. И конечно, неотразимое впечатление производит весь переулочек, эти строения вокруг дома, — все это осознаешь как счастливую редкость. А впрочем, весь старый город, в кольце стен возвышающийся над долиной Неккара, являет собой чудесную картину.

РАННЕЕ ДЕТСТВО

Для молодой матери эта хмурая зима была трудным временем. Незадолго до ее родов муж снова отправился в поход; ничего хорошего новая война, если судить по прошлым, не сулила; расставались на неизвестный срок. Христофина позднее объясняла слабую конституцию брата и его подверженность заболеваниям тем, что мать в то время, когда ожидала ребенка, и в период кормления его была удручена разлукой и постоянно испытывала душевные тревоги и тоску. Конечно, она не могла чувствовать себя одинокой и покинутой, находясь среди родных, с отцом и матерью. Но это ее не утешало. Бывший хозяин «Золотого льва», некогда состоятельный и важный человек, ныне вел безрадостное существование, снимая по соседству квартиру и занимая незначительную должность привратника — место, которое он получил наполовину из милости. Дом Шиллеров в Марбахе не был в полном смысле домашним очагом, семьей собирались здесь редко. Отец, произведенный к тому времени в капитаны, бывал там наездами, задерживаясь всего на несколько дней, в лучшем случае на неделю. Во время Семилетней войны жена его часто выезжала на зимние квартиры полка в Вюрцбург, Канштатт, Штутгарт и, на более продолжительное время, в Людвигсбург. О подраставшем в те годы сыне мы не знаем почти ничего. Опрошенные в 1812 году жители Марбаха смогли припомнить о Фрице не слишком много. Был будто бы рыжеволосый и с причудами. Один сказал, что носил воду капитанше из колодца, который был тут неподалеку.

Жизнь в Марбахе, на родине матери, была отравлена банкротством хозяина гостиницы; семья уехала оттуда, когда капитана Шиллера назначили офицером-вербовщиком и перевели в имперский город Гмюнд. Семилетняя война окончилась в 1763 году. На рождество Каспар Шиллер переехал в Гмюнд. Жена и дети последовали за ним. Однако жизнь в приметном и оживленном католическом городе оказалась неожиданно дорогой, и Шиллеры перебрались в ближайшее вюртембергское местечко Лорх. Маленькому Фрицу было в то время четыре года; когда семья покинула Лорх, ему исполнилось семь. Таким образом, Лорх был местом, где у ребенка пробудилось сознание, где ему открылся окружающий мир, где он начал учиться.

В те времена Лорх был большой деревней (городом он стал называться сто лет спустя). Места эти, долина Ремса, расположенная среди отлогих, поросших лесом склонов гор, замечательно хороши. В самом центре деревни — большая готическая церковь в кольце обступивших ее домов. На возвышенности, среди раскинувшихся вокруг фруктовых садов и лесов, монастырь с церковью в романо-готическом стиле и дубовыми строениями. Под клиросом церкви — гробницы дома Гогенштауфенов, из захороненных здесь известна только императрица Ирена; покой склепов был грубо нарушен во время крестьянской войны. В окрестностях Лорха немало мест, хранящих память об эпохе империи Гогенштауфенов. На правом берегу Ремса — Клостенберг; на левобережье от Рехберга в сторону Гогенштауфена тянется Асрюкен (назван по имени Асов, древних богов Севера). На пути между Лорхом и Гогенштауфеном (на небольшом расстоянии) расположен Вешершлэс-

ле (считавшийся одно время прародиной более поздней королевской династии) — небольшой, хорошо сохранившийся замок тех времен.

От Штамбурга же, к сожалению, почти ничего не осталось — разрушенный и опустошенный восставшими крестьянами, он долгое время потом служил каменоломней для окрестных поселений. Ниже по течению Ремса — гора Елизабетенберг; такое же название носил замок Гогенштауфенов. Туда женщины из дома Гогенштауфенов уходили для разрешения от бремени; частично сохранившиеся строения бывшего замка оборудованы под сараи и хлевы. В верхнем течении Ремса расположен Гмюнд — один из старейших городов, возникший еще в ранний период царствования династии. Там мы обнаружим Иоганнескирхе — самый древний памятник той эпохи. Капитан Шиллер, начитанный и осведомленный в отечественной истории, совершая прогулки с сыном, водил его по этим достопамятным местам, хранившим следы уходившего в глубь веков великого прошлого. Впоследствии Фридрих Шиллер неоднократно выражал желание написать драму о Конрадине * — как и сотни гимназистов, в разное время живших и учившихся в Вюртемберге.

Итак, офицер-вербовщик, странствуя с места на место, вступает в разговоры со взрослыми парнями, деньгами и обещаниями пытается склонить к поступлению на военную службу, заручается письменными обязательствами, наконец обеспечивает их транспортировку в часть. Обычный в XVIII веке способ пополнения армии, особенно распространенный в прусских, датских и имперских землях. Вербовка — дело, которым должен был заниматься Шиллер, если разобраться, гнусное, хотя при этом, как правило, не совершали тех вопиющих злоупотреблений и насилий, что, к примеру, случалось у англичан, которые не раз подобным способом пополняли команды своих судов. Нередко вербовочный пункт соединял в себе рекрутское бюро, кабак и публичный дом. Офицеры, хотя и поручали наиболее сомнительные дела подчиненным, и сами вынуждены были постоянно поступаться принципами. Если бы майор фон Тельхейм * получил приказ от своего короля, он должен был бы его выполнить. Сражаться за императора или прусского короля — еще в конце концов куда ни шло. За словами офицера-вербовщика маячила некая заманчивая надежда. Но сражаться за герцога Вюртембергского?! И это сразу же после Семилетней войны, в которой вюртембергцы независимо от причин всегда играли жалкую роль? Задача, стоявшая перед капитаном Шиллером, была ничтожной и обременительной. Для него существовала инструкция на шести страницах, подписанная герцогом. Пункт 1 ее гласил: «Оному вместе с приданными ему унтер-офицерами предписывается прилагать все свое тщание и усердие, а также все свои усилия направить на то, чтобы проводить вербовку успешно и неутомимо, при этом не допуская ненужных затрат и обращая как можно больше внимания на экономию». Сына Фрица отец часто брал с собой в старый город, где он улаживал свои служебные дела. За одно примечательное воспоминание мы должны быть благодарны Иоганнесу Шерру * — неутомимому старому демократу.

«В мои школьные годы в Гмюнде я знал одного старика, который, когда в его присутствии заходила речь о Шиллере, выходил из состояния старческой ипохондрии и с горящими глазами начинал рассказы-

вать, как много раз он играл в камушки с Фрицем Шиллером перед гостиницей «Святого Йорга» на рыночной площади, в то время как господин капитан Шиллер, удивительно серьезный человек, улаживал свои дела». Удивительно серьезный человек в качестве офицера-вербовщика — и это тоже было. Вошло ли в сцену появления вербовщика в «Лагере Валленштейна» кое-что из рассказов отца, а может быть, даже и собственные детские впечатления?

Понимал ли капитан Шиллер, занявшись вербовкой, насколько это дело в основе своей было гнусным, остается неясным. Впоследствии, узнав, что завербованных им людей продали в Голландию, он тяжело переживал. Точно известно, что эта работа его не удовлетворяла. Еще до приезда в Лорх, коротая скучные дни на зимних квартирах, он серьезно погрузился в математические и экономические занятия. Побудили к этому книги, а также беседы с двоюродным братом Иоганном Фридрихом Шиллером, который вернулся на родину из университета в Галле. Он был крестным отцом поэта. Примечательная фигура этот двоюродный брат! Хорошая голова, но со странностями, хвастливый, напускавший на себя таинственность, изображавший тайного княжеского агента — какое-то время, по-видимому, он был им на самом деле. Позднее он переехал в Лондон, где его однажды посетил Кёрнер *, которого ужаснуло его холостяцкое хозяйство с одиннадцатью кошками. Он был странным человеком и темной личностью. Тем не менее он перевел с английского на немецкий язык несколько книг, среди которых и работа Адама Смита о причинах национального богатства *. Этот единственный ученый человек из числа родственников оказал заметное влияние на Каспара Шиллера. Находясь в Лорхе, он написал «Экономические статьи об улучшении благосостояния бюргеров — размышления о сельскохозяйственных делах в герцогстве Виртемберг *, написанные офицером герцогства».

То, что капитан ломал голову над вопросом общего благосостояния, несомненно, заслуживает признания, тем более что его собственное благосостояние было весьма плачевно, хотя и не по его вине. Может показаться невероятным, что за три года деятельности в качестве офицера-вербовщика капитан Шиллер вообще не получал ни денег, ни жалованья, ни питания. Точно в таком же положении находились и два унтер-офицера, бывшие в его подчинении. Помимо всего прочего, они должны были столоваться у капитана. Чтобы прожить, Шиллер вынужден был продать последнюю скудную собственность — небольшой виноградник в Марбахе, незадолго до снятия урожая: часть выручки была удержана властями. Жалоба на имя герцога, написанная с научно-финансовой аргументацией, была отклонена. Какие только душевные состояния не испытывал этот честный, деятельный человек с холерическим темпераментом. Его жене всю жизнь было нелегко с ним.

В Лорхе семья поначалу устроилась в гостинице «К солнцу». Затем сняли квартиру в доме кузнеца Мольта, мимо которого в те времена протекал ручей Гётцен, за домом был сад. В нижнем этаже находились кузница и жилище мастера; семья Шиллера разместилась в верхнем этаже. Дом еще сохранился, так же как и гостиница «К солнцу». Если капитан был на службе в Гмюнде (ездил он туда ежедневно? — вероят-

но), у хозяйки в течение всего дня было спокойно, несмотря на сильный шум, который доносился из кузницы с раннего утра до вечера. Если муж был дома, то и унтер-офицеры сидели за столом. 24 января 1766 года на свет появился третий ребенок — дочь Луиза.

Христофина и Фриц росли очень дружно, они посещали деревенскую школу, где занимались ежедневно по пять часов летом и по шесть часов зимой. Учителем был ленивый и небрежный человек. Соответственно и обучение было слабым, так что брат и сестра пренебрегали занятиями в ясные зимние дни, когда хотелось покататься на санках. Добрую мать дети не боялись, но дрожали перед отцом и не решались пропускать школу, когда он бывал дома. «Лишь однажды случилось так, что Фриц забылся, — его позвала соседка, которая хорошо знала семью (мимо ее дома он всегда ходил в школу); он должен был заглянуть на кухню. Она знала, что его любимым блюдом была каша из турецкой пшеницы. Конечно, он обрадовался приглашению; едва Фриц принялся за кашу, как мимо кухни, не заметив его, прошел отец, который часто навещался к соседу, чтобы сообщить ему о прочитанном в газете. Бедняга так сильно испугался, что закричал: «Дорогой папа, я больше никогда не буду так делать, никогда!» Только в этот момент отец и заметил его: «Ну, иди домой». С ужасным воплем он оставил свою кашу, прибежал домой и стал настойчиво упрашивать мать наказать его прежде, чем вернется отец, и сам принес ей палку». Это примечательное воспоминание о брате принадлежит Христофине.

Наряду со школьными уроками у маленького шестилетнего Фрица начались занятия более приятные. В учебной комнате пастора Мозера он получил первые сведения из латыни, а затем, когда ему было около семи лет, основные понятия о греческом. Ибо, согласно воле отца, Фриц должен был стать священником. Для Вюртемберга это значило — экзамен, монастырская школа, монастырь. Длинная дорога была вымощена зубрежкой, правилами, текстами древних языков — с этим надо начинать как можно скорее. Впрочем, не было ничего необычного в том, что мальчиков в столь раннем возрасте, едва научившихся читать и писать, загружали подобными занятиями. Маленькому Шиллеру повезло с его учителем. Пастор был добрый и честный человек. Позднее в «Разбойниках» поэт увековечил его: Мозером там назван пастор, который отчитывает негодяя Франца. Учеба в доме пастора, которая к концу пребывания в Лорхе, вероятно, полностью заменила деревенскую школу, была облегчена еще и тем, что Мозер учил также и своего сына Христофа — таким образом, товарищ по играм Фрица Шиллера был также и его соучеником.

Одно воспоминание отца просветляет представление о детских годах поэта. В 1790 году в связи с намерением написать автобиографию он попросил отца прислать ему сохранившиеся ранние работы и наброски — ему грезилось нечто вроде «Истории моего духа». Старый отец откликнулся быстро. В сопроводительном послании он писал: «История его духа может быть интересной, я жадно жду ее. Если в ней отразится тонкое развитие первоначальных понятий, то не следовало бы забывать, что однажды он увидел реку Неккар и после этого каждый ручей стал называть в уменьшительной форме «Неккарчик». И далее:

когда он и мама поехали в Гмюнд, он сравнил виселицу около Шорндорфа с мышеловкой, так как перед этим он видел мышеловку, похожую на виселицу. Его проповеди в нашей... квартире в Лорхе, когда вместо мантии на него надевали черный фартук, а вместо накидки — тряпицу». В воспоминаниях старшей сестры также встречается картинка: «Мой отец прочил его в священники, он и сам с малых лет питал уважение к этому сану; бывало, ребенком шести или семи лет, облачившись в черный фартук, он становился на стул и читал нам проповеди; все должны были внимательно слушать, при малейшем ослаблении внимания он горячился; предметом проповеди были доподлинные происшествия, но нередко также псалом или притча, которые он толковал на свой манер, при этом он был очень усерден, выказывал желание и мужество говорить правду. Но он всегда был добр, нежен и участлив по отношению к сестрам...» Он охотно дарил что-нибудь из своих вещей, которых у него было не так много, бедным приятелям: туфли, книги. Отец вынужден был ему это запрещать.

При всем понимании неприглядности работы отца и сочувствии бедственному материальному положению семьи, при всем отрицании палки как средства воспитания мы все же не можем не почувствовать, какой теплотой, лаской и дружеским вниманием был окружен ребенок в свои пять, шесть, семь лет, как прекрасны были места, способствовавшие пробуждению детского любопытства и медленно созревавшей жажды деятельности: обширный сад, быстротекущий ручей, пламя кузницы и стук молота, дома и сады приветливых и добрых соседей, лес неподалеку и, наконец, монастырь со своими тайнами. Утреннее богослужение, проводимое отцом, мечтательно-набожная мать, которая познакомила его со стихами Геллерта * и Пауля Герхардта *; воскресное богослужение; любимый учитель на церковной кафедре; если посмотреть вокруг, чего не подобает делать во время службы, то увидишь библейские картины на хорах. Милые сестры, товарищи по играм... В монастыре наверху живет маленький Конц, правда, ему только четыре, а тебе уже скоро семь, но это ведь друг.

Карл Филипп Конц * в восторженной оде, адресованной Шиллеру, запечатлел картины их детства. (Она была напечатана в «Швабском альманахе муз» Штойдлина * за 1782 год.) В ней говорится о старой липе перед монастырскими воротами, «хранительнице моего детства» (автор этих строк еще видел ее, теперь ее уже нет). В конце 1766 года капитан Шиллер просит перевести его в гарнизон Людвигсбурга, так как он три года должен был жить за свой счет и истратил все свои сбережения. Время пребывания в Лорхе кончилось.

Можно представить себе людей, которые в старости смотрят на свою прошлую жизнь как на утерянный рай. Рай в таком случае понимается не как нечто неземное, а как любимое место, где природа и человек существуют в гармонии, где страдание, забота, болезни, печаль растворяются в беске окружающей красоты, которая меняется соответственно времени года; к тому же еще хорошая земля, прозрачная вода и чистый воздух. Если подумать далее о защищенности ребенка, о котором мы говорим, то отъезд из Лорха был изгнанием из рая; может быть, из единственного, в котором Фридрих Шиллер жил долгое время.

ЛЮДВИГСБУРГ

Возведение вторых резиденций было отличительной чертой барокко. Замок предков, посреди обступающих его городских строений или возносящийся над ними с высоты взгорья, казался уже властителям тесным. Их влекло на природу, с ее зелеными ландшафтами, где ничто не стесняло, где зодчий мог дать волю своей творческой фантазии. Местность выбирали по возможности подходящую для охоты на крупную, мелкую и водоплавающую дичь; скромный охотничий замок мог положить начало будущему дворцово-парковому ансамблю. Замки должны были быть достаточно вместительными для всех разновидностей жизни напоказ, для помпезных выходов, для придворного театра. Три страсти, которыми были одержимы князья, порождали в них потребность возводить новые замки: стремление показать свое величие, охотничья страсть и маньяк строить.

Так возник и Людвигсбург. В начале XVIII столетия под руководством Эберхарда Людвига было начато строительство замка. Много зодчих и мастеров из Северной Италии, возводивших до этого замки в Вене, а затем в Праге, были приглашены в страну. Можно было бы сказать, и не без основания, что языком первых людвигсбургцев был итальянский. «Строительная улица», неподалеку от того места, где возводился замок, на окраине города, который здесь должен был вскоре вырасти, стала первым обжитым районом в этой местности. Замок рос быстро; первые его строения, возведенные на северной стороне, несут отпечаток утяжеленного австрийско-богемского стиля; орденская капелла и замковая церковь явно итальянизированы; и наконец, завершающая *corps de Logis*¹ объемное четырехугольное сооружение на южной стороне выдержано во французской манере. В 1730 году возведение нового замка-резиденции было в основном завершено.

В 1709 году был опубликован призыв владетельного князя поселиться на новом месте, «с целью расширения и застройки близлежащих владений замка». Как и всегда в ту эпоху, когда закладывались города и предполагалось дальнейшее широкое строительство, предоставлялись большие льготы, с тем чтобы привлечь людей и склонить их к поселению в новой местности: им выделялись места и строительный материал «бесплатно и безвозмездно», освобождали от налогов и повинностей на длительный срок. Однако укоренившееся недоверие швабов ко всему новому преодолевалось медленно. Это было еще довольно бедное поселение, которое в 1718 году поспешно было возведено в ранг города, резиденции и третьей столицы государства. Между тем Фризони, строитель замка, по образованию штукатур по лепным работам, наметил перспективу широкого строительства города, определил план застройки, подсказанной голландскими образцами. Когда наконец князь целиком занялся своей новой резиденцией, город постепенно стал расти в соответствии с замыслом.

Особенно быстрыми темпами город начал развиваться при Карле Евгении, который в течение долгого времени направлял на эту резиди-

¹ Основная часть (франц.).

денцию всю свою пламенную страсть созидателя. Во время его правления немало было сделано, что в целом преобразило лицо города; он был расширен в южном направлении. Главные улицы превратились в аллеи, были засажены не молодыми деревцами, а статными липами и каштанами с мощными корневищами, вывезенными издалека. При нем была построена фабрика фарфора, продукция которой в течение нескольких лет достигла европейского уровня. Зимой 1763/64 года, после плачевно закончившейся для Карла Семилетней войны, он отдал распоряжение возвести в невероятно короткий срок на территории замка оперный театр; это было высокое и просторное помещение из дерева, прекрасно отделанное и оборудованное для постановки самых дорогостоящих оперных спектаклей. Сюда был приглашен капельмейстером неаполитанец Жоммелли *, балетмейстером — великий Новер *, самые дорогие танцоры и певцы были ангажированы из Парижа, а знаменитые кастраты — из Италии. В то же время герцог возводит южнее Людвигсбурга и западнее Штутгарта, на возвышенной местности, лесную резиденцию Солитюд и приказывает соединить ее с Людвигсбургом ровной, как шнур, аллеей; по ней он совершал прогулки верхом, в зависимости от настроения — либо окруженный блестящей свитой — подобно облаку бабочек — либо в задумчивом одиночестве.

К тому времени, когда семья Шиллеров поселилась в Людвигсбурге, он был уже одним из самых населенных городов, застроенным по новейшему образцу и одновременно одной из самых блестящих резиденций. Достаточно представить себе, что являли собой Штутгарт или Тюбинген, эти тесные и грязные города с кривыми и узкими улицами, стиснутые старыми кольцами стен, чтобы признать превосходство нового города с заранее продуманной планировкой, с широкими улицами и просторными площадями, где при каждом доме были двор и сад. А рядом, разъединенный с ним большой почтовой дорогой, пролегавшей от Рейна по направлению к Дунаю, располагался замок с его владениями — парком, фазаньим двором, оранжереей и оперным театром. Удивительнейшую картину являл собой этот бюргерский город, который носил на себе печать трезвой рассудочности, был проникнут духом красочного, чужеземного и таинственного бытия, занесенным сюда вместе с блеском двора из дальних стран. Зажиточный народ имел свои дома, но большая часть жителей обитала в бюргерских домах, сдававшихся внаем: французские танцмейстеры, преподаватели языка, итальянские ремесленники, танцовщицы из Парижа и Венеции, музыканты из Италии, Австрии и Богемии, актеры, певцы, костюмеры, театральные парикмахеры... Привлеченное ко двору дворянство, по большей части северогерманское, жило в собственных домах с большой прислугой, по соседству с замком. Те, кто был на службе при дворце — камеристки, горничные, лакеи, гонцы, кучера, камердинеры, повара, сапожники, кухарки, экономки довольно скверно содержались в основном там же, но промышляя чем-нибудь в городе. Наконец, тут подвизалось немало служебных лиц, всякого сброда, прельщавшегося близостью блестящего двора: всяческого рода агенты, рыцари удачи, непризнанные изобретатели, алхимики, сводники, игроки, да-

же известный Казанова * оказал честь Людвигсбургу, посетив его. Таковой была жизнь, которая проходила перед глазами людовигсбуржцев, — ремесленников, лиц, занимавшихся различными промыслами, священников, учителей, чиновников — протестантского люда, воспитывавшегося и жившего по принципу «молись и работай». В «Коварстве и любви» мы находим изображение для потомков этого контрастного мира.

Поначалу Шиллеры обосновались в доме лейб-хирурга Рейхенбаха на задней замковой улице, на которой обычно селились дворяне. Брат хозяина дома был фельдшером в полку, где служил Шиллер, они знали друг друга и дружили. И у детей вскоре нашлись товарищи для игр, прежде всего среди живших в доме племянников и племянниц; маленькая Людовика, вышедшая впоследствии замуж за лейтенанта Зимановича, уже тогда обещала стать высокоодаренной художницей. Потомки благодарны ей за портрет родителей Шиллера, но более всего — за один из замечательных портретов поэта; набросок, сделанный масляной краской и мелом, является, вероятно, лучшим портретом человека, которого художница на правах старой дружбы называла «дорогой Фриц». В этом импозантном, хорошо содержащемся доме Шиллеры жили не как квартиросъемщики, а как гости. К началу 1767 года семейство Шиллера вместе с семьей капитана фон Ховена заняло квартиру во вновь построенном доме придворного печатника Христофа Фридриха Котты *, где находилась и типография. Здесь они жили довольно длительное время, пока не переселились в Солитюд. Для Фрица это были шесть лет жизни в родительском доме. (Внешний вид дома хорошо сохранился до настоящего времени.) Примечательно, что случай так рано связал Фрица Шиллера с домом Котты. Трудно, однако, в этом усмотреть некое высокое предзнаменование — с детьми фон Ховена он забавлялся тем, что смешивал в кассе наборщика аккуратно разложенные свинцовые литеры. Ховены — Фридрих и Август — стали его добрыми приятелями. На стороне пострадавшего наборщика были офицерские сыновья.

Материально семья была обеспечена плохо. Отец был капитаном, и это, особенно здесь, в гарнизоне и резиденции, имело свои последствия. Относительно материального положения: когда капитан Шиллер был переведен с должности офицера-вербовщика в Людвигсбург, ему были «милостиво выписаны» в военной кассе причитавшиеся ему деньги в сумме свыше 2000 гульденов. Однако прошло целых девять (девять!) лет, прежде чем он смог получить их «как сдельную оплату», что, впрочем, означало только то, что он должен был согласиться на сокращение суммы, чтобы вообще их получить, и это, между прочим, в то время, когда он был назначен управляющим герцогскими парками в Солитюде и лесной шк о л о й, — таким образом, герцог этим милостивым и полезным актом уладил дела офицера, и, надо понимать, без излишних затрат. Все время, пока он оставался на службе в Людвигсбурге, Каспара Шиллера угнетала мысль о деньгах, которые ему недоплатили. И это при том, что он каждый день видел, как пускались на ветер деньги блестящим двором... Вдобавок ко всему уязвленное самолюбие офицера бюргерского происхождения, постоянно чувствовавшего высокомерное к себе отношение дворян или по крайней мере большинст-

ва из них. Слова о «знатной черни» в его очень деловом «Curriculum vitae» говорят о многом. При этом, однако, не следует забывать, что семья Шиллера находилась в привилегированном положении. Так, юноша, на занятиях с конфирмантами отделенный от прочих сверстников, готовился к священному акту, состоявшемуся затем в гарнизонном храме, вместе с сыновьями других офицеров, в то время как остальная молодежь давала торжественную клятву в городской церкви.

Офицерское сословие пользовалось привилегией свободно посещать семьями придворный театр. Вероятно, осенью 1768 года девятилетнего сына в поощрение за хорошие успехи в школе впервые взяли на оперный спектакль. Вот что писал один современник, присутствовавший тогда на опере: «Представьте себе воспарившего духом человека, предположим меня... как он погружался в тысячекратное блаженство, видел перед собой триумф поэтического искусства, живописи, музыки и жеста! Еще Жоммелли стоял во главе самого совершенного в мире оркестра, а пели Априли, Бонани и Цезари. Дух музыки был так могуч и устремлен к небу и так обнажен, словно каждый музыкант был нервом Жоммелли. Танцы, декорации, летательное сооружение — все в дерзком, новейшем, лучшем стиле». Так писал Шубарт, который примерно в те же годы оставил учительство в Гейслингере и переехал в Людвигсбург, где в течение ряда лет служил городским органистом и музыкальным директором, — личность, заслуживающая внимания и весьма примечательная в этом кругу, о нем еще будет сказано. Девятилетний мальчик не мог судить, как этот учитель, обладавший высокой музыкальной подготовкой, однако впечатление его едва ли было меньшим. «Воспарившим духом человеком» был и этот светлоглазый, испытывавший восторг ребенок. Конечно, теперь он будет вместе с сестрами и друзьями импровизировать сцены, разыгрывать дома представления с куклами; заметим попутно, что это одна из немногих параллелей с детскими годами Гёте.

В начале 1767 года Фриц Шиллер был принят в латинскую школу. Он застал ее еще в прежнем здании на Беккенгассе (ныне Эберхардштрассе), затем школа переехала в более солидное здание на Верхней Маркштрассе, в котором впоследствии разместилось городское управление. В школе было три класса, в каждом из них учились дети двух или трех возрастов. Знания латыни, полученные у пастора Мозера, были признаны весьма основательными для того, чтобы семилетнего мальчика зачислить в старшую группу младшего класса. Мальчику в известном смысле повезло со своим первым учителем — воспитателем Эльзэссером. «Этот учитель обладает всем, что касается добросовестности, мастерства, ровного характера и умения держать себя» — так аттестуется он в служебном отчете за 1768 год. Прежде всего этот внимательный учитель сочетает в необходимой мере строгость с добротой.

Людвигсбургская латинская школа пользовалась хорошей репутацией. В 1767 году в правительство было внесено предложение повысить ее статус до гимназии. Однако церковный совет и консистория, руководствуясь финансовыми соображениями, воспрепятствовали этому; но был учрежден еще один, старший класс. То, что это учреждение

было на хорошем счету у тогдашних властей, нам мало о чем говорит. Латинские школы в отношении учебного плана и методики находились в строгой зависимости от ежегодно проводимого «государственного экзамена», на основе которого производился тщательный отбор лиц для пасторского пополнения и последующей подготовки к поступлению в монастырские школы и монастырь. Для того чтобы выдержать экзамен, необходимы были хорошие знания древних языков: латинского, греческого, древнееврейского; по латинской поэтике был особый экзамен, включавший также проверку знаний по логике и риторике; наконец, программа включала некоторые сведения из истории и арифметики. Немецкий язык, а также современные иностранные языки, география, естествознание, философия не были предусмотрены учебным планом; сюда, разумеется, входило христианское вероучение; ко всему прочему давалась «некоторая музыкальная подготовка». На уроках латыни, которой по программе отводилось много места, прогрессивно настроенные учителя, как правило, ухитрялись давать кое-какие сведения из философии, естествознания, географии, не предусмотренных учебным планом. Но если даже эта навязанная церковью программа, а с нею односторонняя подготовка и достойны порицания, то все же нельзя не признать, что ученики получали в целом достаточно высокое образование. Основательное и осмысленное изучение древних языков является в то же время и изучением родного языка; овладение всей полнотой и многообразием классического языка способствует осознанию богатства и законов своего родного языка.

Нет, из этих школ выходили отнюдь не невежды (примечательно, что у многих священников, которые в достаточной мере вкусили этой духовной пищи в период обучения, впоследствии пробуждался серьезный интерес к предметам, о которых они не получили в школе ни малейших сведений — к ремеслам, экономике, садоводству и пчеловодству, литературе и поэзии). Если что-то и вызывает в нас недовольство прежними школами, так это бессмысленный жестокий палочный метод обучения. Автор этой книги считает, что в оценке поведения, лиц и событий прошлого нельзя руководствоваться понятиями и представлениями, являющимися нормой или модой сегодня, ибо убежден в ошибочности такого подхода. Выводы, к которым приходят при такой оценке, заранее оказываются ложными. Тот, кто хочет понять прошлое, должен стараться постигнуть реальное содержание и дух той эпохи, исходя из ее тогдашних условий. Но это не означает, что он должен неразумное и злое, если оно очевидно, называть не своим именем. Наводить глянec — значит затруднять объяснение явлений. Что касается данной латинской школы, то наказание розгой производилось согласно установленной таксе; за определенные погрешности в латинской грамматике полагались 12 или 24 удара розгой (по руке). Средство наказания, которое постоянно ставило в затруднительное положение учителей добрых, но тем из них, кто был жестоким по натуре, давало безграничную возможность, в рамках установленного порядка, срывать на учениках свою злобу.

Как раз осенью, в первый год пребывания в этой школе, Фридрих Шиллер попал под надзор к одному из таких воспитателей. У Эльзес-

сера он отличился благодаря своему светлому уму и трогательному старанию, после чего был переведен в класс старшего учителя Гонольда. Гонольд был теологом, его назидательные проповеди были по душе многим слушателям. Он следил за тем, чтобы его ученики прилежно посещали уроки и богослужение, занятия по вероучению Христа он проводил с особой основательностью.

Как-то раз он назначил Шиллера и его друга Эльверта читать катехизис перед общиной в очередное воскресное богослужение. Святой отец обещал им за безупречное чтение наизусть вознаграждение (за счет церкви), но пригрозил «жестоко избить, если мы пропустим хоть одно слово» — как утверждает Эльверт, которому мы обязаны этим воспоминанием. Оба дрожа от страха приступили к чтению, но все обошлось благополучно. Теперь процитируем Эльверта: «Вознаграждение составило 2 крейцера на каждого, итого 4 крейцера. Такую сумму наличными нам еще не удавалось так сравнительно легко заработать. Естественно, мы стали думать, на что можно было бы ее израсходовать. Шиллер предложил выпить холодного молока в трактире «Гартенэкер Шлэсле», но когда мы пришли туда, молока не оказалось, тогда Шиллер решил купить четвертинку сыра, но четвертинка сыра стоила как раз четыре крейцера, значит, у нас не осталось бы денег на хлеб. От сыра пришлось отказаться, и мы ушли оттуда голодными. Затем мы отправились в Неккарвайхинген, зашли в три или четыре трактира, пока наконец не удалось найти холодное молоко. Я до сих пор ощущаю его вкус; нам вручили тогда чистую оловянную чашу и серебряные ложки. Молоко и хлеб, который мы в него накрошили, обошлись всего в три крейцера — таким образом, мы сэкономили еще каждый по полкрейцера. В итоге у нас оставался целый крейцер, на него мы купили сайку и гроздь смородины, поделили их по-братски; на этом денежные запасы наши исчерпались; такое наслаждение мы испытали от пиршества, которое в тот день себе устроили, какого мне потом уже больше не приходилось испытать. Этот случай дал возможность мне увидеть, насколько силен был в Шиллере уже тогда его поэтический дар, ибо, когда мы покинули Неккарвайхинген, он взбежал на холм, откуда были видны Неккарвайхинген и Гартенэкс, благословил кабачок, где нас накормили, потом проклял Гартенэкс и другие трактиры, и все это с таким поэтическим жаром и столь красноречиво, что это навсегда запечатлелось в моей памяти».

Так и стоит у нас перед глазами этот восьмилетний ребенок; впрочем, взрослый Шиллер с удовольствием вспоминал эту историю. Какими они были для него, эти школьные годы в Людвигсбурге? Радостной, счастливой порой? Конечно, их было много — радостных, счастливых минут и переживаний; товарищеские отношения со всеми и доверительно-дружеские с немногими, живая, восприимчивая натура и светлая голова — мальчик обладал всем; что, казалось бы, могло омрачить школьный период жизни? Но отвратительная система наказаний, бездушная, зловещая атмосфера, царившая в стенах школы, — разве это не отравляло существование, даже если и предположить, что эти чуть ли не ежедневные розги, ставшие привычными, не должны уже были восприниматься как нечто унижительное (хотя в

глубине сознания они, конечно, запечатлевались как нечто унижительное). Для Фрица, однако, авторитет отца, чьи честолюбивые помыслы были сосредоточены на единственном сыне, значил гораздо больше, чем школа. Чувство гордости и удовлетворения отец хотя и проявлял, но довольно сдержанно; когда же испытывал недовольство, то хватался за палку; в минуты ожесточения рука его, пожалуй, невольно становилась тяжелее.

Воспоминания школьных друзей Фрица Эльверта и Фридриха фон Ховена окрашены в радостные и печальные тона; чем дальше, однако, тем сильнее в них ощущается склонность к раздумьям, более отчетливо звучат грустные нотки. Судя по воспоминаниям, тон в играх задает маленький Фриц, легко возбудимый, неугомонный, — младшие боятся его горячих вспышек, старшие ребята уважают за бесстрашие. То же и в спектаклях, где должен быть порядок: «все норовит, как конь, встать на дыбы», как гласит швабская поговорка; «однако сам играл отнюдь не превосходно». Он «ни в чем не знал меры из-за своей живости», — вспоминает сестра Христофина (в дальнейшем это, должно быть, нередко усложняло ему жизнь). Примерно с одиннадцати лет он все чаще избегает шумных игр своих товарищей. Вдвоем с приятелем он часами бродит по аллее, жалуясь, патетически усиливая жалобы, утопая в них — и со страхом вглядываясь в «сумрачное будущее» (Петерсен)*. Таким его облик сохранился для потомства. Но очень может быть, что во время прогулок со своим маленьким другом, под сенью деревьев, он нередко отдавался и буйному полету фантазии.

Прогулки вместе с Христофиной и матерью в Марбах, где жили бабушка и дедушка, доставляли мальчику необыкновенное наслаждение. Они шли вдоль Неккара по зеленому лугам, мимо садов и виноградников — какими счастливыми и безмятежными должны были казаться эти дни, проводимые под ласковым, теплым солнцем, среди благоухающей природы. Где-то далеко оставались школа, отец. В эти свободные от забот часы мать и сын ощущают внутреннюю близость, о которой они, правда, никогда не говорят. Мать превращает счастливые часы в нечто возвышенное, мечтательное. Долина становится землей, по которой ступала нога Спасителя — в солнечный день троицы мать вообразила, что они с сыном идут в Эммаус*. Во время этих прогулок Фриц Шиллер получил представление о местах, где он родился, о которых до этого у него были лишь минутные детские воспоминания.

В сентябре 1769 года он едет в Штутгарт сдавать государственный экзамен, в то время ему еще не было десяти. Все идет хорошо. *Puer bonae spei* (подающий надежды юноша) — вынес свое суждение о нем прелат и магистр Кнаус. Экзамены в последующие два года он сдает также успешно. После первого экзамена Шиллер попадает в класс старшего воспитателя Яна, необычного учителя. «Специалист по греческому, древнееврейскому и латинскому языкам, во время учебы он использовал метод, который был пригоден для того, чтобы ученики продвигались дальше, не имея представления о том, как это происходит» — так оценивает его Вильгельм фон Ховен. Под влиянием этого педагога Шиллер с удивительной легкостью сочиняет латинские ди-

стихи — его самые ранние поэтические произведения. Но Ян недолго оставался в людовигсбургской латинской школе. В конце 1770 года Карл Евгений основал свой Военный питомник в Солитюде, положивший начало будущей КарлсшULE. Одним из первых преподавателей им был взят туда старший учитель Ян. Карл Евгений знал своих людей.

Мы рады, что вы хорошо отдохнули,
Господин старший учитель Винтер!
А также и вы, господин учитель Гонольд!
Мы рады вам, господин учитель Эльзэссер!
Доброе утро, учитель!
Bon jour, провизор!
С добрым утром, дорогие дети!
А все ли собрались, Мойле?

(Мойле был школьным истопником.) Так приветствовали господина «Шпециала» — декана Циллинга, когда он раз в году оказывал честь латинской школе своим визитом. Об этом приветствии мы знаем из воспоминаний Юстинуса Кернера о старом Людовигсбурге, которые содержатся в его «Книге с картинками о моем детстве» *. Циллинг — воплощение бюргерского Людовигсбурга того времени, хотя и в малопривлекательном виде. Он был сыном пекаря, из того первого поколения пекарей, мясников, хозяев, которые, воспользовавшись предоставлявшимися тогда привилегиями, переселились в новый застраивавшийся город и образовали основной костяк его населения. Он сумел продвинуться дальше. Достигнув более высокого положения, в 1765 году он записал: «Я выделил на преподавания, на обед по случаю назначения, на повозки и так далее 100 флоринов, которые я получил наличными сразу же на третий день после назначения... Достойный похвалы магистрат чествовал меня особо; так как я являюсь прирожденным людовигсбуржцем, мне была прислана домой большая корзина с яйцами, маслом и пр.».

Он был неплохой человек, но ограничен, глуп и чванлив. Благодаря Кернеру нам известен о нем анекдот, который освещает быт швабских мелких бюргеров и пришлых людей в этом городе. ...Некий старый итальянец страдает сильными коликами в животе. Он укладывается в постель и, чуть не крича от боли, посылает свою служанку к «Шпециалу». В Италии были такие аптекари, занимавшиеся простейшей лечебной практикой. Швабская служанка поняла, что ее господин, находясь в смертельной опасности, посылает ее к господину «Шпециалу». Она мчится к декану Циллингу и сообщает ему о желании своего господина. Циллинг подумал, что этот папист в последние минуты жизни пожелал перейти в правоверную церковь, и с большой надеждой поспешил к больному. Но как только он вошел в комнату итальянца, тот, громко жалуясь и ожидая спасительный клистир, подставил ему оголенный зад.

Проповеди Циллинга были незамысловаты. Этому господину декану, который был руководителем латинской школы, двенадцатилетний Шиллер должен был адресовать стихотворение на латинском языке — благодарность за милостивое предоставление осенних каникул. Людовигсбуржцы имели возможность слушать каждое воскресенье простодушные проповеди своего «Шпециала» и наслаждаться великолепной

игрой городского органиста. Это не прошло даром, светлые головы сделали соответствующие сравнения. Впоследствии это оказалось для органиста губительным. Его имя — Христиан Фридрих Даниель Шубарт.

Шубарт был всесторонне одаренным человеком, прежде всего способным музыкантом, полнокровной натурой, расположенной ко всем небесным и земным радостям, обладавшим ненасытной жаждой общения, переходившей в навязчивость, со «страстным желанием известности» и со слабым характером. Его музыкальный гений обеспечил ему доступ ко двору. В письме зятю он сообщает: «Я отвлекаюсь от занятий и развлечений и снова спрашиваю, что делает мой Бёкк?.. Здесь все утопает в обычных увеселениях двора. Оперы, балы, капуцинады, арлекиниады, комедии, где наше оригинальное остроумие используется на то, чтобы уничтожить в минуты трудов наших отцов и наших верующих и х, — таковы, друг мой, наши благородные занятия... Я теперь придворный! Гордый, легкомысленный, невежественный, важничающий, без денег, ношу бархатные штаны, за которые, видит бог, я должен расплатиться до моей кончины...» Шубарт с риском балансирует по паркету, к ужасу и горю своей жены, скромной и набожной женщины; к нему недоверчиво приглядываются светские и духовные власти. Вопреки всему ему удается «сохранять равновесие» долгие годы; в музыке же этот человек достигает больших высот. Он не только не поддается влиянию господствующей в придворном театре итальянской музыки, но пытается знакомить людвигсбуржцев с Бахом, Телеманом *, Грауном *. Если Людвигсбург при посредстве двора наслаждался выдающимися оперными спектаклями, то благодаря Шубарту он имел возможность слушать церковную музыку, «какую в Германии в те времена редко можно было услышать» (из одной старой биографии Шубарта). Но длительное «балансирование» этого беспокойного человека между бюргерско-церковной средой и двором не могло окончиться добром. Его жена в отчаянии уходит в родительский дом, он остается со служанкой. Теперь высшая власть находит нечто, к чему можно прицепиться, — сожительство. Арестом и выдворением из резиденции окончилось это балансирование между двумя мирами.

Музыкантом является отец Луизы в пьесе «Коварство и любовь»; он мог бы быть столяром или парикмахером, если бы Шиллер, задумывая эту драму о губительной силе придворного мира, вторгающегося в узко ограниченные рамки бюргерской семьи, не размышлял о судьбе Шубарта. Шубарт жил в Людвигсбурге в то время, когда там жили и Шиллеры. Но скорее всего они не были знакомы. Семья Шиллера посещала воскресные богослужения в гарнизонной церкви, а потому не могла слышать ни Циллинга, проповедовавшего с кафедры, ни Шубарта, игравшего на органе. Но Шубарт приобрел в этом городе (уже заметном в то время и насчитывавшем около десяти тысяч жителей) такую известность благодаря церковной музыке и концертам, преподаванию игры на фортепьяно, докладам по теории музыки, лекциям по литературе, что в семье Шиллеров о нем не могли не знать.

Лицемерие, изумление, упоение, сопричастность этого «воспарившего духом» человека блестящей жизни резиденции позволяют нам представить, какие картины могли запечатлеться в памяти светлогла-

зого, любознательного, наделенного буйной фантазией, одаренного взрослевшего юноши за шесть лет пребывания в Людвигсбурге. При этом мы, разумеется, остаемся в области предположений, хотя и достаточно обоснованных. Об этом периоде жизни в отличие от тех лет, которые он провел в Карлсруе, поэт редко высказывался публично. Если бы эти годы остались в его памяти как неинтересные или неприятные, то впоследствии, когда он посетил родные края, он не задержался бы в Людвигсбурге надолго — а именно в нем он прожил полгода во время этой единственной его продолжительной поездки на родину. Совершенно очевидно, что в «Коварстве и любви» отражены его впечатления от людвигсбургского двора. Кто захочет определить с полной уверенностью, какие резкости и грубости в его ранних стихах, в «Дон Карлосе» и более поздних произведениях основаны на его воспоминаниях о шести годах пребывания в резиденции? Но совершенно ясно, что будущий поэт на самом чувствительном этапе развития своих способностей столкнулся лицом к лицу с одним из наиболее красочных немецких дворов своего времени.

Эта резиденция была одновременно самым большим в стране гарнизоном. Здесь проходили смотры герцогских полков перед принцем Евгением и королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом I. Здесь Карл Евгений судорожно старался подражать Потсдаму. «Если вы плюете, то попадаете в сумку офицера или патронташ солдата. Вы слышите в переулке беспрерывно не что иное, как «стой!», «марш!», «развернись!». Вы не видите ничего, кроме оружия, барабанов, боеприпасов. Перед входом в замок стоят по два конных гренадера и драгуна с шапками на голове и кирасами на груди, в руках обнаженная сабля, каждый имеет над собой большую прекрасную жестяную крышу вместо будки. Одним словом, невозможно увидеть большей аккуратности в упражнениях и более прекрасного рядового состава...» Так писал Леопольд Моцарт, когда он в 1763 году (Семилетняя война только что закончилась) находился в Людвигсбурге со своим великим маленьким сыном. Позднее он заметил удачно: «Для серьезного очень мало, для шутки слишком дорого, следовательно, слишком много».

Летом 1767 года отец взял с собой семилетнего Фрица в большой лагерь, где проводился медицинский осмотр. «Лагерь Валленштейна» пронизывают его впечатления детских лет.

Первый аркебузир: ...Но мы-то служим кому до сих пор?
Кто платит нам деньги?
Кто? Император.

Трубач: Все это я отмечаю! Вздор!
Кто денег не платит нам? Кто? Император.
Сорок недель как напрасно сулят
Выдать солдатам двойной оклад. (II, 316—317)

Это, конечно, появилось в четырех стенах семьи Шиллера, когда отец давал волю своей злобе по поводу недоданного жалованья и питания. Между прочим, из дома Котты, в котором они жили, открывался прекрасный вид на плац для упражнений. Слова команды, барабаны и

свистки были слышны целый день. Это была обычная картина, как, впрочем, и приведение в исполнение ужасных наказаний, например шпицрутенами. «Но всемилостивейший наш государь отдал приказ всем полкам выстроиться на плацу и расстрелять крикунов. Мы слышали залп, видели, как брызнул на мостовую мозг, а затем все войско крикнуло: «Ура! В Америку!» (I, 640). Это из сцены с камердинером в «Коварстве и любви». Ничего подобного этому школьник-латинист видеть не мог. Однако похожие сцены были в 1757 году, когда многие вюртембергцы взбунтовались, — дело тогда дошло до расстрелов; об этом мог рассказать отец.

Раннее стихотворение «Битва» кажется мне одним из лучших. В нем ощущается знание военного регламента...

«Готовься!» — летит от взвода к взводу,
С колена целятся стрелки... (I, 116)

Всю жизнь Шиллер охотно слушал марши. Когда он работал над текстом, шагая при этом взад и вперед, он любил, чтобы жена или свояченица играли на фортепьяно марш в соседней комнате.

На место отозванного в Солигюд Яна был назначен старший учитель Винтер. Шиллер, как один из лучших учеников, должен был приветствовать его латинским стихом, в котором остроумно говорилось: *ver nobis Winter polliciturque bonum*¹, «и Винтер обещает нам приятную весну». Господин старший учитель восхищен, но не стихом, а тем, что поэту можно записать ошибку: *pollicetur* должно быть, а не *pollicitur*. Никакой приятной весны в этом классе не будет: преподавание Винтера бездарно и «проперчено» побоями; жестокое разочарование для юношей, которые наслаждались уроками Яна. Но Винтер не был совершенно несправедливым человеком. Когда он однажды особенно жестоко наказал Шиллера и позднее заметил, что поступил неправильно, он посетил отца ученика и принес извинения. Отец Шиллера ничего не знал, сын не жаловался. Когда Фрица спросили, он ответил: «Я думал, что учитель хотел сделать как лучше». Возможно, поэтому многие преподаватели считали его образцовым учеником и хвалили. Мы не хотим игнорировать эту историю. Она кажется нам показателем того, что юноша, который подчинялся отцовскому авторитету, скрывал от отца чувства и мысли, возможно, с затаенным оттенком иронии и высокомерия.

В апреле 1772 года состоялась конфирмация, которую, пожалуй, никто так торжественно не воспринимал, как мать. Когда за день до этого события она увидела сына, без дела слонявшегося на улице, то позвала его и со слезами на глазах упрекнула в равнодушии к предстоящей конфирмации. Потрясенный и возбужденный, он сочиняет свое первое стихотворение на немецком языке об этом священном обряде. Он принес его матери, которая была растрогана. Отец, которому он также показал стихотворение, сказал: «Ты что, одурел, Фриц?» — но это прозвучало добродушно. (Стихи были утеряны.)

Третий государственный экзамен прошел благополучно. Воспоми-

¹ Игра слов: *Winter* — зима (нем.).

вание об этом испытании запечатлелось в стихотворении «Зимняя ночь», которое отличается от других ранних его стихов чувством удовлетворения — взгляд в прошлое без неприязни:

А выпускной экзамен! Правый боже!
Лишь ректор позовет,
Бывало, мы унять не в силах дрожь,
Со лба струится холодный пот. (I, 143)

Успехи двенадцатилетнего школьника Шиллера пошли на убыль. Причиной тому отчасти могла быть педагогика Винтера. Но главное состояло в стремительном развитии вытянувшегося, худощавого, бледного, рыжевато-белокурого юноши. Начались болезни, которые будут сопровождать его всю жизнь. Осенью 1772 года он сдает четвертый государственный экзамен, однако хороших отметок было немного; в решении отмечалось, что он учился не без успехов, но не вполне успевал за классом. С усердием, которое напугало даже его учителей, он наверстал упущенное из-за болезни. Перед его глазами стоит неизменный путь: монастырская школа, монастырь, должность духовника. В этом главном деле он согласен не только с религиозной матерью, но и со строгим отцом.

Над отцом, между земным и небесным отцом, стоит отец страны, герцог Карл Евгений, который двадцать шесть лет управляет государством (он будет царить еще двадцать три года). Как хищная птица с высоты своего гнезда озирает свои владения, в которых ни одна бегущая мышь не спрячется от нее, так и Карл Евгений оглядывает свою страну, которая по тем временам была не маленькой, но обозримой. Ему давно известно, что у капитана Шиллера есть сын, который хорошо учится. И так как созидательная страсть этого неутомимого человека направлена на школу, военный питомник, как ее назвали, он уже давно подыскивал толковых подростков. Уже дважды обращались к капитану Шиллеру с предложением определить сына в школу; однако, сославшись на предназначение к духовной должности, можно было отказать. Но герцог не сдается. Он делает предложение в третий раз, указав, что будет предоставлен свободный выбор учебной дисциплины и в дальнейшем обеспечение будет лучшее, чем при духовной должности. Повторный отказ мог навлечь на семью немилость герцога. Каспар Шиллер соглашается. Сын поступает в школу в Солитуде. Это решение было принято в конце 1772 года, когда Фридриху Шиллеру шел четырнадцатый год.

КАРЛШУЛЕ

Карл Евгений как второй отец был главенствующей и определяющей фигурой в жизни Фридриха Шиллера в период с четырнадцати лет до двадцати одного года (семилетний жизненный цикл выдержан в биографии поэта с образцовой точностью: первые семь лет закончились переездом из Лорха, второй семилетний период — это годы учебы в латинской школе Людвигсбурга, третий стоит под знаком герцога, четвертый оканчивается созданием семьи и профессурой). О Карле

Евгению уже писалось на предыдущих страницах как о правителе, обладавшем выдумкой, но расточительном, который содержал блестящий двор на доходы своей страны и на деньги, полученные из сомнительных источников; он, не испытывая угрызений совести, мог содержать слуг, годами не платя им денег; но он был также и знатоком людей, обладавшим острым взглядом и чутьем на таланты и гениев.

Вглядываясь в два первые бурные десятилетия его господства, нужно констатировать, что Карл Евгений не позволял себе чрезмерно увлекаться празднествами, был неприхотлив в еде и питье, вставал рано и рьяно трудился, правда, был нетерпелив и добивался осуществления своих желаний с деспотическим напором. В отношении женщин он не знал меры, его мимолетные любовные увлечения были бесчисленны, причем от беременных он гнусно отделялся «раз и навсегда»: ничего удивительного не было в том, что своей гордой и сдержанной супруге он очень скоро стал неприятен. Самое плохое в этот период правления — это махинации нечистоплотных приближенных, которые занимались продажей служебных должностей, льстили своему молодому господину самым отвратительным образом, попирали подданных, а протестующим честным людям с помощью хитрости и насилия ломали хребты. О таких типах, как Виттледер, Монмартэн, еще долго говорили в семьях бюргеров. Весьма вероятно, что и в доме капитана Шиллера.

Если в несколько странной пословице, что шваб умнеет лишь к сорока годам, и есть какой-то резон, то примером тому может служить швабский герцог. Около 1770 года (он родился в 1728 году) произошел поворот в его жизни. Франциска, с которой он находился тогда в длительной связи, могла оказать большое влияние на него, действуя в свойственной ей тихой манере. Но он остался в высшей степени самоуверенным господином, чья воля была законом для подданных. Однако роскошь и расточительство постепенно прекратились. Недостойный фаворитизм полностью исчез. Общее благо страны — высшее счастье подданных, как говорили тогда, — стало целью жизни этого неугомонного властелина: развитие земледелия, виноградарства, скотоводства, коневодства, строительство шоссейных дорог, страхование от пожаров, покровительство мануфактурам и сиротским домам, основание и строительство публичной библиотеки и особенно дело образования.

Педагогический пыл, питавшийся пониманием им своей роли отца государства, проникал в народные и латинские школы, знаменитую гимназию в Штутгарте, в университет в Тюбингене, а также, и не в последнюю очередь, в монастырь. Но подлинное выражение его педагогическая страсть, которая не могла быть обращена к принцу-сыну и наследнику, нашла в его собственном творении — КарлсшULE. Этому учреждению он посвятил лучшую часть последних двадцати трех лет своей жизни с такой личной заинтересованностью, которая просто поражает: это имело для начальников, учителей и школьников двойные последствия: с одной стороны — наивысшую милость, подбадривание, неустанную требовательность, защиту от недоброжелательства со стороны духовенства и сословий, с другой — постоянный контроль, еже-

дневное вмешательство и регламентация; однако очень редки были проявления дурного настроения. Эта школа для Шиллера имеет такое большое значение, что прежде всего о ней и должна пойти речь: сначала несколько слов о ее возникновении, затем очерк школы тех лет, когда Шиллер в ней обучался.

В 1760-х годах Карл Евгений приказал построить себе замок для охоты и развлечений в Солитуде, на возвышенности, с которой он при хорошей погоде мог обозревать Людвигсбург и другие свои владения; туда два часа верховой езды от Штутгарта. Сооружение, центром которого был небольшой замок, напоминающий Сан-Суси * Фридриха, скоро превратилось в резиденцию, расположенную в лесу, с округлыми постройками, жильем для свиты, церковью, казармой, манежем, великолепной конюшней — все это в обширных садах с оранжереей, лавровым залом, садовым театром, террасами, бассейном... К 1767 году строительство завершилось, на содержание в порядке всего этого потребовалось много ремесленников и садовников. Это дало повод для размышлений, в результате которых должна была возникнуть Карлсшule. Другой отправной точкой были соображения об учреждении дома для военных сирот; при этом герцогу было известно, что в помощи очень нуждаются не только солдатские сироты, но также многие другие, которые растут в казармах, жалкие и забытые. В течение многих лет обучали мастеров, которые использовались на строительстве, на фарфоровых фабриках; имелась академия искусств, представлявшая собой вопреки своему названию весьма скромное учреждение временного характера. Наконец, герцог постоянно обдумывал мысль о создании военной академии. Все эти соображения толкали к созданию воспитательного учреждения. Началось с малого.

Однажды Карл Евгений сам, говоря о прошлом, заметил: «Устав от того, что свое внимание я слишком долго уделял вещам, которые не были достойны конечной цели моего высокого призвания, я пришел к мысли... о воспитании юношей для будущего; первоначальный замысел был скромен — всего двадцать четыре человека. Чем отчетливее я видел в маленьком начинании плоды заботы, тем более я следовал своему внутреннему побуждению; число учеников увеличилось до полусотни, расширились перспективы...» Есть еще один мотив, который толкал осознавшего свою ответственность правителя страны к созданию воспитательного учреждения. В предыдущие годы он рассеял по стране своих внебрачных детей, позорно обделив матерей. Коль скоро дети существовали, были его плотью и кровью, то из них должно было получиться нечто дельное. Среди детей младшего возраста в Карлсшule было много родных детей *Serenissimi*¹, и, когда он, обращаясь к ним, говорил «сыны мои», это было истинной правдой.

5 февраля 1770 года четырнадцать мальчиков, солдатских детей, были приняты в школу садовников, находившуюся в Солитуде. Организатором и начальником ее был лейтенант Зегер, тогда тридцатилетний человек с характером, толковый и способный, находившийся во главе Карлсшule от ее основания до самого конца. С детьми здесь

¹ Светлейшего (герцога) (*итал.*).

обращались как с маленькими солдатами, дисциплина играла основополагающую роль; все это сочеталось с основательной учебой и всесторонним обеспечением. Из юношей готовили садовников или штукатуров по лепным работам, которых использовали также в Солитуде. Школа выросла в невероятно короткое время, и к осени число ее воспитанников утроилось, до конца года оно достигло сотни, а через год — трехсот человек. С ростом контингента учащихся увеличилось и число учебных предметов, были введены уроки музыки, образована гимназическая ступень.

Целая группа молодых людей поступила из Мёмпельгарда, части вюртембергской территории, находившейся по другую сторону Бургундских ворот, где герцог лично не раз отбирал видных и толковых ребят, но теперь не солдатских детей, а большей частью из простых семей — сыновей корзинщиков, пирожников, батраков, чулочников, канцелярских слуг, а несколько позднее — детей из более привилегированных слоев: нотариуса, придворного хирурга, господина аптекаря. В узкий круг друзей Шиллера в школе вошли дети из Мёмпельгарда. Приток этих вюртембержцев, у большинства которых родным языком был французский, оказался столь велик, что в учебном плане значилось: французский для немцев, немецкий для французов. Школа садовников была очень скоро преобразована в Военный питомник. Так называлась она тогда, когда в нее поступил Фриц Шиллер. Вскоре после этого, в марте 1773 года, ее возвели в ранг Герцогской военной академии. Первым видным ее учителем был Ян, бывший преподаватель из людвигсбургской латинской школы. Здесь он мог довольно свободно применять свою прогрессивную педагогику: разумное, содержательное преподавание языков, изучение религии в духе Просвещения — «Религия и природа едины в своей основе, ибо они обе служат счастью человечества». Ян оказал благотворное влияние на педагогику Карлсшутле, определил учебный план и распорядок дня, несколько лет подряд давал свои отличавшиеся живостью уроки. Но он лучше ладил с учениками, нежели с родителями, спорил с коллегами, погряз в долгах — а к тому еще случилось так, что герцог, вернувшись к своим старым привычкам, сблизился с дочерью Яна; та умерла от родов. Отца отправили назад, в Людвигсбург.

Рост Академии между тем продолжался. В нее принимали «сыновей кавалеров», то есть дворян, с известными особыми правами, которые, по тогдашним понятиям, само собой разумелись. Необычным являлось то, что в учебе они были на одинаковых правах с воспитанниками, которые происходили из самых простых семей. Также необычным, особенно по старовюртембергским понятиям, были совместная учеба, совместное богослужение протестантов и католиков. Когда учебному заведению исполнилось три года, оно приобрело такой размах, что герцог должен был подбирать для него подходящих преподавателей среди профессоров университета в Тюбингене. При этом он снова доказал, что обладает зорким глазом и удачливостью. Отобранные молодые учителя должны были вначале преподавать все предметы, затем специализироваться: педагогически высоко одаренный Абель — по философии, Шотт — по истории, Наст — по древним языкам, Кильман — по гео-

графии и латыни. Становилось все очевиднее, что Академия должна готовить государственных служащих, офицеров и чиновников. Учебными дисциплинами были лесное хозяйство, камералистика¹ и юриспруденция. В учебный план были включены естествознание и медицина. Ежегодные экзамены приобретали все более академический характер.

Все это произошло в лесах Солитюда, в новом, но так никогда не достроенном строительном ансамбле. На шестом году своего существования, в ноябре 1755 года, школа была переведена в Штутгарт, в казарму, расположенную за строившимся «Новым замком». Здесь ей было суждено более спокойное развитие, в известном смысле был завершен бурный рост. Добрая слава об Академии распространялась, все большее число иностранцев, то есть не вюртембержцев, посещали ее, прежде всего из Северной Германии и Швейцарии. Вместе с этим менялось кое-что в отношениях между протектором и его школой. В первые годы ее существования Карл Евгений по большей части лично отбирал молодых людей, из которых за счет казны и под его контролем воспитывали нужных для государства людей. Быстрый рост числа учащихся, прием иностранцев, а также настойчивые ходатайства сословного представительства, обеспокоенного большими расходами, — все это привело к необходимости принимать также воспитанников, чьи отцы могли вносить умеренную плату за их содержание. Этими учениками герцог не мог суверенно распоряжаться: кроме того, иностранцы могли использоваться на службе в Вюртемберге только в порядке исключения. Характер интерната, присущий Академии, соответствовал интересам финансово независимых учеников.

Среди школ Германии XVIII столетия КарлсшULE занимала видное положение. Она была «воспитательным учреждением и университетом, для своего времени самым современным и с наиболее широким профилем» (Роберт Уланд)*. Подобное назначение имели франконские заведения в Галле, Филантропинум в Дессау, Шульпфорта, майсенская ФюрстеншULE; из университетов только Гёттингенский и Лейпцигский можно сравнить с КарлсшULE в период ее расцвета. В декабре 1781 года император Иосиф II присвоил Академии статус университета, в качестве такового она просуществовала двенадцать лет. 24 октября 1793 года Карл Евгений умер. Спустя полгода была закрыта и его высшая школа.

Чтобы представить себе повседневную жизнь школы в те годы, когда учился Шиллер (1773—1780 гг.), нужно не упускать из виду обрисованный выше процесс ее становления. Но при всех изменениях, касавшихся внутренней жизни, основные принципы, определявшие организацию ее и порядок, оставались неизменными. В ней специфическим образом сочетались военная дисциплина и прогрессивное обучение. В соответствии с этим распределялись обязанности среди воспитателей. Надзор за порядком, чистотой, корректным поведением вменялся в обязанность лицам военного звания — унтер-офицерам, позднее офицерам; подбор их производился весьма тщательно. Получить назначение в Академию могли только лица с незапятнанной репута-

¹ Цикл административных и экономических дисциплин, преподававшихся в XVII—XVIII веках в университетах Германии и ряда других европейских стран.

цией. Военные насаждали казарменные порядки. Они тщательно следили за тем, чтобы ученики аккуратно заправляли койки, должным образом заплетали косички на париках, безукоризненно вели себя во время общей молитвы. Им надлежало держать под наблюдением исполнение учащимися предписания, согласно которому «молодой человек не должен ни на минуту оставаться один», а также следить за учащимися во время прогулок. Учителя были освобождены от этой обязанности. От них требовалось поддерживать порядок во время занятий, и здесь они едва ли сталкивались с особыми трудностями. Они были воспитателями и нередко старшими друзьями своих учеников. Большинство учителей были молодыми еще людьми и потому скорее могли установить нужный контакт с учащимися; кстати, разница в возрасте педагогов и их учеников была подчас весьма незначительной.

День начинался, как в обычной казарме. Побудка — в пять утра летом, в шесть часов — зимой, быстрый подъем, умывание, одевание, приведение в порядок головы (отнимавшее время из-за косичек и папильоток, которые надо было раскрутить), заправка коек, через час после побудки рапорт, утренняя молитва и, наконец, завтрак, который по тогдашнему обыкновению состоял из подогретого мучного супа. С семи часов утра, а зимой — с восьми — занятия, продолжавшиеся до одиннадцати. Затем отводился час на чистку и починку — униформа должна была иметь безупречный вид. После чего рапорт, который очень часто принимал сам герцог (с заслушиванием отчета провинившихся — штрафные билеты прикреплялись к курткам учащихся); затем по-военному, в строю, воспитанники шли в столовую. Обед, весьма приличный — каждому ежедневно полагалось полфунта мяса, — проходил в тишине, что соответствовало скорее монастырскому обычаю, нежели казарменному уставу; из напитков — немного простого и, по-видимому, кислого деревенского вина. После обеда прогулка, а в плохую погоду строевая подготовка в помещении. Затем снова занятия до половины седьмого, после чего час отдыха; вечером довольно обильный ужин, который запивали только водой. В девять вечера все должны были быть уже в постели.

Вот те в среднем восемь часов занятий, в строгом порядке распределявшихся в течение дня. В оценке этого учебного заведения не следует исходить из представлений, являющихся нормой для более позднего времени, тем более для последней четверти XX столетия. Его можно сравнивать (и это будет уместно) с соответствующими учреждениями того времени — академиями, кадетскими и монастырскими школами, сиротскими домами; бесполезным может быть сравнение с системой обучения крестьянских детей или детей, отдававшихся в обучение ремеслам, равно как и сравнение с вольной, но довольно убогой и беспутной жизнью студентов той эпохи. Удивительным, примечательным явлением остается высшая школа Карла в период ее расцвета, по своему внутреннему распорядку организованная не только на строгих, но и механистических принципах.

Фактически в основу воспитания и порядка в этой школе был положен принцип полного подавления свободы. «Ни один воспитанник не должен выходить за пределы школьного здания. Это может

быть разрешено, если отец или мать находятся при смерти, тогда ученик должен быть отправлен с офицером или надзирателем» (приказ от 1776 года). Но даже и в таких случаях молодого человека не всегда отпускают домой. Одному из воспитанников, которому отказано было в поездке к умирающему отцу, Карл Евгений сказал: «Утешься, я твой отец». Причем потрясает еще и то, что эти слова, должно быть, были сказаны не с циничной издевкой, а вполне искренне... Абсолютное подавление свободы. Отлучки только в сопровождении надзирателей. По дороге воспитанники обязаны были вежливо приветствовать каждого, но ни с кем не заговаривать. Дисциплинарные взыскания в целом были не слишком строгие. Наказания выносил сам герцог после рапорта, во время которого он просматривал штрафные билеты: возможно, что он даже беседовал при этом с провинившимися воспитанниками. Наказаниями были: выговор, пощечина, Carigen (что означало посадить провинившегося на хлеб и воду — наказание, к которому прибегали в монастырях), розги и карцер. В сравнении с тем, как секли тогда в школах и в военных заведениях, здесь бросается в глаза разумная умеренность.

Аккуратность и чистота, возведенные в культ, были присущи воспитанникам КарлсшULE: безукоризненной чистоты униформа, тщательно убранный голова, опрятность. Тот, кто служил в армии старого образца, помнит, что в подобном туалете блюстители порядка доходили до крайности, граничившей с идиотизмом. То же было и в Академии. «Свиная шкура!» — кричал на воспитанника надзиратель, обнаружив недостаточно блестящую пуговицу на куртке униформы. Но требование опрятности было проявлением заботы о здоровье молодых людей. Кто имеет представление о том, какой тяжелый дух стоял в казармах в старые добрые времена, тот по достоинству оценит приказ, согласно которому воспитанники должны были через каждые два дня менять рубашку. Столь же беспримерным было мытье, которое в Солитуде в летний период устраивалось прямо под открытым небом, в то время как в Штутгарте для этого было оборудовано специальное помещение, а позднее даже отапливаемая зимняя баня. После мытья полагался отдых.

Эта столь необычная для XVIII столетия водная процедура была также проявлением тщательной заботы о здоровье, равно как и запрещение курить табак, пить кофе, черный чай и воду из холодных углекислых источников. Регулярно измерялся рост воспитанников, в этом сам светлейший принимал живое участие, с удовольствием наблюдая, как «его сыны» прибавляют в росте дюйм за дюймом. Хранящиеся в архиве документы содержат столь обстоятельные и точные сведения, что они послужили основой для одной диссертации, написанной во Франкфурте в 1970 году о том, как проводилось наблюдение за развитием и ростом воспитанников. На случай болезней — несмотря на все предосторожности, эпидемии не обходили школу — в штутгартских помещениях Академии было многое предусмотрено, в том числе девять больших комнат, часть из них полностью изолированные. Отсюда можно получить исчерпывающее представление о том, как содержались больные в КарлсшULE.

Важным моментом изоляции школьников от внешнего мира было лишение общения с женщинами. В этом пункте Карл Евгений неукоснительно следовал древнему изречению «quod licet Jovi, non licet bovi» — «что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку», то есть тем, кто был не княжеского происхождения.

Но необходимые послабления все-таки имели место. Постепенно был отменен нелепейший закон мужских монастырей, согласно которому ни одна женщина не должна была появляться в стенах Академии. А когда учебное заведение было переведено в Штутгарт, юноши стали тайно перелезать через ограду. Если посмотреть, как много способных и деятельных людей вышли из стен этой школы, то невольно исчезнет желание делать акцент на ее бесспорных педагогических ошибках. Ошибки эти, правда, кое-кому стоили жизни.

16 января 1773 года капитан Шиллер вместе с тринадцатилетним Фрицем отправляется в Солигюд, чтобы препоручить его интенданту Зегеру. По пути отец, возможно, делился с сыном своими мыслями о всемилостивейшем правителе государства (еще не предполагая, что спустя три года тот действительно удостоит его милости и даст возможность заняться в Солигюде интересным для него делом). Но он мог и не посвящать сына в свои раздумья; быть может, отец рассказывал ему о путях господних, настойчиво призывал к усердию и послушанию. А может быть, старался внушить чувство благодарности к правителю страны. Юноша же, скорее всего, испытывал чувство щемящей грусти от разлуки с матерью; ей было тяжело расставаться с любимым сыном, но она утешала себя надеждой, что когда-нибудь увидит его священником, проповедующим с кафедры. Когда они прибыли на место — а путь от Людвигсбурга до Солигюда и в те времена был недолог, — новому воспитаннику пришлось подавить в себе тоскливое чувство и недовольство. Расставаться с отцом было легче, они простились по-мужски, без особых эмоций...

Здесь, на пороге КарлсшULE, уместно подумать, под каким знаком прошли бы юношеские годы Шиллера, если бы не последовал указ герцога, согласно которому он был определен в его школу. Вероятнее всего, он через некоторое время поступил бы в одну из евангелических монастырских школ, надел бы вместо униформы рясу. Он не был бы лишен возможности видаться со своей семьей, был бы избавлен от необходимости подчиняться казарменным порядкам, однако получил бы монастырское воспитание и столкнулся бы со скарденостью, которые спустя много поколений привели «под колесо» * Германа Гессе, хотя обычаи к тому времени были уже не столь суровыми. Он получил бы весьма одностороннее образование: латинский, греческий, древнееврейский языки и некоторые другие предметы, связанные с теологией. Он имел бы узкий круг товарищей, исключительно из вюртембергского отчества, но не ощутил бы дыхание «мира». Затем он поступил бы в монастырское училище. Но и в его стенах мир мог не замкнуться: если один из учеников, как известно, сумел когда-то протиснуться через игольное ушко теологии, то и Шиллер не остановился бы на этом, по-

добно Гегелю, Шеллингу или Гёльдерлину *. Несомненно, гений его не угас бы в стенах дома деревенского священника. И дух его, так же как и в Академии, метался бы, то смиряясь, то снова восставая. Какой бы путь ему ни предназначали, он должен был бы свернуть с него и пойти своей дорогой. Где были более благоприятные условия для его развития, где он мог получить больший заряд для своей дальнейшей жизни — на том пути или на этом? Наверное, все-таки в Карлсшуте. В конце учебы он признался своему другу Концу, что рад такому повороту судьбы, иначе ему предстояло бы долго идти по монастырской дороге, теперь же он чувствует себя подготовленным для большой жизни. «Кем я был бы теперь? Каким-нибудь тюбингенским магистриком?» Это одно из противоречивых высказываний Шиллера об Академии, но особенно примечательное.

Не началось ли именно с того январского дня полное лишение свободы будущего певца свободы, продолжавшееся целых семь лет? На этот вопрос можно с достаточным основанием ответить утвердительно. Словом о «плантации рабов» * — этим мастерским журналистским штрихом, сделанным в секунду, но живущим уже два столетия, — Шубарт ярко осветил *один* аспект, а все остальное оставил в тени — по незнанию или по злому умыслу, а может быть, по беззаботности. Со страхом, подавленный, с тайным отвращением переступил порог школы Шиллер. Но в школе он встретил братьев Ховенов, старых верных друзей по дому и играм. Первым учителем его здесь стал Ян, он уважал его. Тот был лучом света в сумерках людовигбургской латинской школы. Ян проверял подготовку новых воспитанников. Доктор Шторр исследовал состояние здоровья. Вскоре Шиллер знакомится с Шарфенштейном, который затем становится его другом. Он был одним из многочисленных юношей Мёмпельгарда, родным языком которого был французский, хотя он носил немецкую фамилию.

Всю жизнь Шиллер отличался независимым и гордым нравом. Если ему что и было не по душе в новых условиях, то это чересчур высокие требования к аккуратности. «Особенно ненавистна и неприятна ему была тогдашняя прическа и то, как серьезно следили за ней — никто не имел права появляться к столу с небранной головой. Поэтому его сосед по комнате почти ежедневно вынужден был делать ему замечание, когда раздавался звонок, приглашающий в столовую: «Фриц, как ты выглядишь?» — «Черт бы побрал эту проклятую косу!» — кричал разъяренный Шиллер», — вспоминает Вильгельм фон Ховен. Только за один февраль Шиллер получил два штрафных билета за неаккуратность. Но вообще его наказывали редко, а когда он стал старше, то наказания почти совсем прекратились.

Во время учебы перед чистым любознательным молодым человеком раскрывается целый мир. У Яна он совершенствует свои знания латинского языка, которым он в общей сложности занимается уже больше семи лет. Сюда добавляются предметы, изученные в первый же год пребывания в школе под руководством Яна: мораль, география, история, религия, греческий язык. Удивительная гуманитарная программа! У других преподавателей он изучает французский язык, математику, геометрию, природоведение. Он обучался также музыке, черчению,

верховой езде, фехтованию и танцам. Фриц Шиллер в эти годы проявил себя как средне успевающий ученик, по французскому языку и математике его успехи были даже несколько ниже среднего уровня; но в знании греческого он превосходил всех, получил приз за лучший перевод Эзопа. В следующем году его интерес к учебе ослабевает. Быстрое развитие истощает его силы, он болеет почти весь сентябрь. «Его болезненный и слабый организм не позволил ему до сих пор применить свои дарования так, как он хотел», — отмечалось в одном из отзывов (Шмидлин), которые должны были писать воспитанники о своих товарищах, согласно высочайшему повелению. К тому же Шиллера отвлекала от науки быстро развившаяся склонность к поэзии. Вслед за увлечением произведениями Клопштока приходит знакомство с творениями Гёте: «Страдания молодого Вертера» и «Клavigо». В конце второго года обучения преподаватели заявили герцогу о своем недовольстве воспитанником; не хватало только повода для его отчисления. Но Карл Евгений имел свое собственное мнение относительно этого молодого человека: «Дайте ему показать себя, из него выйдет толк!..» Эта уверенность не была поколеблена тем, что оценки у Шиллера не улучшились и в 1775 году.

Первые три года учебы в Академии можно рассматривать как целый отрезок жизни, который закончился двумя событиями. В ноябре 1775 года заведение было переведено из Солитюда в Штутгарт, где он решил заняться медициной. Эти три года были критическими, а в связи с начавшимся возмужанием и частыми заболеваниями особенно трудными в его жизни. Содержание образовательной программы было превосходным; учебный материал первого года, проведенного Шиллером в Академии, был указан выше. Второй и третий годы были посвящены латыни в форме риторики. Будущие юристы, к которым он был причислен, готовились к своей специальности, изучая римское право, историю права, естественное право, статистику и историю. Очень важное место занимало изучение философии, много часов уделялось французскому языку и математике. Шиллер не смог тогда освоить этот удивительный объем знаний, сделать его полезным и продуктивным для себя. Петерсен, учившийся вместе с ним, вспоминает: «Кроме латинского, который он знал великолепно, он почти ничего не учил, так как все свое время, не исключая прогулок, он посвящал поэтическим произведениям».

Таким образом, после относительно хорошего начала в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет он переживал период, когда, болезненный и увлеченный поэзией, стал плохим, рассеянным учеником, не интересующимся учебой. Нужно только удивляться тому, что за это его почти не наказывали, что было вообще редкостью. Ибо в ежедневных рапортах под рубрикой «Были наказаны вчера» можно отыскать также и причины: «так как никогда не учит уроков по немецкому языку» или «из-за лености в изучении латыни». Несмотря на заключение учителей в конце второго года обучения, Шиллера оставили в Академии. В кругу своих товарищей он быстро и хорошо освоился. Он умел точно разграничивать товарищество и дружбу, но сам был способен на то и на другое.

Об этом говорят уже упоминавшиеся отзывы, которые ученики

Карлсшуде должны были писать друг о друге. Эта выдумка не была педагогическим достижением высочайшего протектора, а, скорее, порождением его неумного любопытства. (Все же это имело больше смысла, чем дерзкий вопрос, который он однажды поставил: кто самый ничтожный среди вас?) Понятно, что эти обоюдные отзывы содержали много выражений, которые нравились высокому покровителю: в них расхваливали товарища или по меньшей мере они не должны были ему повредить. Поэтому замечания по поводу глубокой религиозности имеют относительное значение, а заверения в благородных намерениях и глубокой благодарности герцогу не имеют никакой ценности. И вообще к этим отзывам надо относиться с большой осторожностью. В то время как Шарфенштейн в своих воспоминаниях о Шиллере пишет, что он был одним из самых неопрятных парней и, как обзывал его старший надзиратель Нис, «свиной шкурой», то в отзыве для герцога соученики его аттестуют так: «соблюдает чистоту как личную, так и в комнатах» (Атцель); «очень чистоплотен» (Эйзенберг). Его друг Ховен подходит к делу осторожнее: «Он не считает опрятность большой добродетелью, но сам, кажется, следит за ней прилежно»; Бац пишет: «В отношении опрятности многих нужно предпочесть ему».

Единодушен отзыв о Шиллере как хорошем и надежном товарище. «Он показывает себя как справедливый друг своих друзей» (Атцель), «проявляет дружеское участие к товарищам» (Хеч); «в отношении своих сотоварищей откровенен, дружелюбен и готов оказать услугу» (Вехтер). «Его главное качество — откровенность». Подобное встречается во всех отзывах. Его склонность к поэзии была общеизвестна.

Ежедневные рапорты дают возможность ощутить царившую в интернате муштру. «Из озорства опрокинул корыто с бельем», наказан, «так как избил воспитанника Б. в бане». Провинности: непослушание, недостойные злые проделки, нечистоплотность, проявление неряшливости (например, утеранные бант от косички или застежка от чулка). Устрашающе частые пометки: за влажную постель наказывали розгами, хотя это случалось не по вине несчастного. Нужно иметь в виду, что штрафной билет прикрепляли к куртке провинившегося, и, когда все маршировали в столовую, герцог мог увидеть его, сделать отеческое внушение, полагая, что тем самым он заглядывает в душу воспитанника. Было ли тут стремление заглянуть в душу или нет — но наказания эти были педагогическим заблуждением, если даже вопрос о том, не воспринималось ли это двести лет тому назад иначе, чем теперь, оставить открытым. Примечательно то, что подобные неприятности случались по большей части с «кавалерами». Вообще создается впечатление, что военные надзиратели, чьи донесения вели к наказаниям, с особенным удовольствием преследовали дворян. Это тоже один из моментов равенства, которое, несмотря на особые права кавалеров, мы видим в том, что воспитание учеников благородного и бюргерского происхождения осуществлялось совместно.

«Вообще в Карлсшуде, как и во всех подобных учреждениях, царил esprit de corps¹, и каждая из корпораций стремилась охранять свою

¹ Сословный, корпоративный дух (франц.).

честь всеми возможными средствами. Эти товарищества действовали по принципу «все за одного, один за всех», а также следили за тем, чтобы никто из его членов не совершил бесчестных поступков. За таковые, если они совершались где-то и тайно, тотчас жестоко наказывало само товарищество. Шиллер не хотел быть председателем президиума при решении правовых вопросов такого рода, но охотно соглашался приводить в исполнение вынесенное виновнику наказание; оно обычно состояло в том, чтобы дать несколько тумачков, и мир, наверное, никогда не видел хранителя закона, который исполнял бы свой долг столь ревностно и со столь абсолютным сознанием своего морального права. Именно это сознание, и только оно, руководило Шиллером в такие моменты и придавало силу его слабой от природы руке, ибо, с другой стороны, мы столько раз имели возможность видеть в нем проявление «сердечной теплоты и участия по отношению к товарищам». В том, о чем рассказывает здесь воспитанник Карлшуле, по-видимому Мённих, нет ничто необычного: так было издавна заведено в интернатах, казармах и школах. Для характеристики Шиллера эта запись представляется довольно странной. Впрочем, как об этом сообщает то же авторитетное лицо, наказания, которым подвергали его, он переносил молча.

Решение Шиллера обратиться к медицине, после того как он в течение трех лет слушал лекции по юриспруденции, не испытывая к ней особого интереса, не имело глубоких оснований. Главным, вероятно, было его стремление достойным образом закончить юридическое образование, которым он занимался недостаточно серьезно, и действовать без риска вопреки приказу герцога. Его друг Шарфенштейн говорит о том, что желание заняться медициной было связано со сложившимся у него представлением, что преподаватели-медики нравились ему больше. Вот что пишет Ховен, один из тех юристов, которые обратились к медицине: «Мы так отстали в учении, что уже не могло быть и речи о том, чтобы наверстать упущенное. Мы решили посвятить себя изучению медицины и заняться серьезно этим делом, тем более что медицина нам казалась гораздо ближе к поэзии, чем сухая, педантичная юриспруденция!» Это утверждение о близости медицины и поэзии кажется довольно странным. Но если вдуматься в то, как занимала юного Шиллера проблема «душа и тело», тогда оно не будет восприниматься как нечто абсурдное.

В соответствии с традиционным медицинским образованием в начале учебного плана стояла анатомия. Шестнадцатилетний в анатомическом зале — тогда это случалось не столь уж редко; в высших школах на первых семестрах встречались студенты, которые были еще наполовину детьми. Насколько мы знаем, Шиллеру не пришлось преодолевать отвращение, священный страх, нервозность. Он с самого начала основательно занялся анатомией, и, видимо, не только потому, как отмечает Ховен, «что здесь нерадение больше бросалось в глаза». Личность анатома, профессора Клейна, действовала на него ободряюще, а что касается характера самого занятия, то даже и успокаивающе. Клейн, родившийся в 1741 году в Штутгарте и получивший образование во Франции, был человеком, который сочетал скромность, естественность и глубокие знания с ясной и своего рода элегантно манерой препода-

вания. Возможно, что анатомия была чем-то вроде убежища для многих из этих беспокойных, страстно жаждавших свободы молодых людей. Здесь, среди трупов и частей тела каторжников и женщин-самобийц, иным из надзирающих унтер-офицеров, которые в другом месте могли рывкать по поводу утерянной ленты от парика или пятна от пудры, становилось дурно, а некоторые из них и вовсе избегали заглядывать сюда. А если и сам высочайший избегал появляться здесь, боясь расстроить свои нервы, чего мы не беремся, правда, утверждать, то анатомичка была островом свободы... Шиллер показал себя здесь как способный ученик. В свидетельстве, выданном юному медику, не имевшему вообще плохих оценок, в графе «анатомия» значилось «очень хорошо».

В том же 1776 году, когда Шиллер занялся медициной, он пережил первое вдохновляющее событие в своем несколько запоздалом научном образовании. Речь идет о занятиях философией с профессором Абелем, Фридрихом Абелем, который был только на восемь лет старше Шиллера, сыном окружного головы в Вайхингене на Энце, того самого, который сумел от знаменитого разбойника Швабии, Зонненвирта, своего пленника, добиться раскаяния и признания. Ему предначертан был старожуртембергский путь образования, все этапы его он прошел с блеском, впоследствии оценив их достаточно критически. Ученому был 21 год, и он намеревался перейти из монастыря в Гёттингенский университет, когда Карл Евгений взял его в свою новую школу. В дальнейшем он держался независимо по отношению к своему протектору и правителю государства. Цель, которую он преследовал на занятиях философией, Абель сформулировал однажды следующим образом: «Посредством своего предмета я стремился прежде всего взрастить добрых и мудрых людей; для меня важно было, чтобы ученики, постигнув дух и принципы философии, могли обратиться их с пользой на другие науки и искусства, которыми они овладевали или которыми им предстояло овладеть».

Принципом школьного преподавания философии, морали, эстетики, психологии, как его осуществляли Абель, а также и Дрюк, Шотт, Наст, Молль, Шваб, было стремление повернуть теорию к жизни, научить ее практическому использованию. Ученик должен был постепенно «выработать привычку к самостоятельному мышлению, уметь свободно и логично рассуждать, стройно излагать мысли, приучить себя к осмысленному чтению книг» (Юлиус Клайбер). Через эту казарменную школу лился чистый поток просвещения. На Вильгельма фон Гумбольдта* эти учителя произвели сильное впечатление во время его визита осенью 1789 года.

Шиллер с увлечением занимался философией у Абеля, неизменно выражал желание подойти к учителю и после урока, чтобы продолжить разговор о предмете, о котором шла речь на занятии. Особенно восторгалось Шиллера то, что для оживления своего урока учитель цитировал отрывки из литературных произведений. Вот что сообщает об этом Абель в своих воспоминаниях: «Я привык при объяснении психологических понятий зачитывать отдельные отрывки из поэтических сочинений, чтобы сделать свой рассказ более ярким и убедительным; чаще всего я прибегал к этому, когда разъяснял борьбу долга со страстью или одной страсти с другой, в этих случаях я обращался к знаменитым тво-

рениям Шекспира, зачитывая, например, отдельные места, подходящие к теме, из «Отелло» в переводе Виланда». Шиллер «слушал тогда как замороженный; с горящим взором и страстным нетерпением, выразившимся на лице, он поспешил после урока к учителю и попросил у него произведение великого драматурга — и с тех пор он читал и изучал его постоянно и с неослабевающим вниманием».

Это были часы, когда молодому человеку, одержимому страстным желанием познания, школьные занятия, общение с учителями могли доставлять высшую духовную радость; одновременно они должны были обогащать его, сообщать душевное равновесие, умиротворение. Но подобная увлеченность занятиями была исключением. Впоследствии Шиллер неоднократно подчеркивал, что из того объема знаний, который должен был усвоить ученик, он почерпнул для себя немного. «Из одной классной комнаты в другую сопровождал его сонм его собственных образов, мыслей и чувств, и если что-то и удерживалось в его памяти из того, что сообщал учитель, то происходило это чаще всего независимо от его воли», — отмечала позднее его свояченица Каролина. Несмотря на это, во все годы учебы в Академии, начиная с 1776 года, Шиллер получал высокие оценки, что свидетельствует о его сильно развитом интеллекте.

«В период возмужания он отличался недостаточным душевным равновесием». Так говорит в своей книге «Гениальные люди» тюрингский психиатр Эрнст Кречмер о молодом Шиллере. Какое место в биографии нужно отвести образу шестнадцати-семнадцати-восемнадцатилетнего юноши, находящегося в состоянии брожения? Этот высокий, неуверенный в себе полумужчина представляет собой нечто вроде карикатуры на зрелого человека, каким он стал в последующие годы. Все характерные черты уже налицо, но несоразмерны подчас до смешного. Таков и его внешний вид: высокий, длинноногий, бедра едва толще икр, гусиная шея, очень белая кожа, рыжие волосы, светлые глаза, часто воспаленные. И вместе с тем развитое чувство собственного достоинства, гордая осанка. Дошел рассказ о том, что одна прачка или прислуга, увидев его, воскликнула полуозлобленно, полувосхищенно: он воображает, что важнее герцога!

Возможность глубже заглянуть в душу семнадцатилетнего Шиллера дают письменные свидетельства размолвки с двумя его друзьями, прежде всего с Шарфенштейном. Шиллер был в высшей степени склонен к дружбе и нуждался в ней. Его ближайшими друзьями были братья Ховены, товарищи по играм и по дому, еще когда вместе жили в Людвигсбурге; Петерсен, житель Пфальца, уроженец северного Шлезвига; Шарфенштейн и Буажоль из Мёмпельгарда — вюртембергские французы. Из них всех ровесник Георг Шарфенштейн, «пожалуй, больше всех обнаруживал сходство с ним в пылкости и энергии» (Юлиус Гартман) *.

Друзья пылали любовью к поэзии, и каждый из них пытался подражать прославленным образцам. А ими были: Клопшток, прежде всего как создатель «Мессиады», затем Шекспир и Гёте («Гёц» и «Вертер»), а также Лессинг. Наряду с классиками почитались Геллерт, Гесснер,

Эвальд Клейст, Глейм, Уц, Хёльти, Хагедорн, «Векфилдский священник» * и «Агатон» Виланда. В таком порядке называет их Ховен. Занятия литературой и первые пробы пера... В голове уже теснились образы, разгоряченное воображение с живостью рисовало картины, трепетное перо скользило по бумаге — одно за другим рождались собственные поэтические творения; в радостном возбуждении друзья читали свои сочинения друг другу, спорили, обсуждали. «Мы мечтали увидеть их напечатанными; каждый из нас что-то писал. Шиллер сочинил драму с трагическим сюжетом — кажется, «Козимо Медичи», Ховен — роман в духе «Вертера», Петерсен — какую-то слезливую пьесу, я — пьесу о рыцарях. Потом мы писали каждый рецензию на сочинение другого и, естественно, давали ему высокую оценку». Это пишет Шарфенштейн. И добавляет: «Весь этот хлам, впрочем, никуда не годился».

Возвышенное и смешное рядом. И все же в неуверенных поэтических опытах Шиллера нельзя не увидеть нечто большее, чем просто дилетантски-детскую пробу пера, — то было истинное чувство, оно породило эти неумелые или подражательные стихи; каким неподдельным, искренним чувством пронизаны, например, послания Шарфенштейну, «Селим Сангиру», — они были для него святы, эти поэтические излияния. Воспитанник Массон, уроженец Мёмпельгарда, шутки ради сочинил произведение, в котором осмелел всю эту братию «стихотворцев». Буажоль и Шарфенштейн почувствовали, что насмешник не так уж несправедлив, признались в том, что и в отношении Шиллера цитировали язвительные слова. Тот был огорашен. Он пишет Шарфенштейну: «Да, верно, я слишком превознес тебя в своих стихах! Верно! Бесспорно верно. Сангир, которого я так люблю, жил только в моем сердце. Одному богу известно, как он зародился в нем; но жил он только в моем сердце, и я обожал его в тебе, его несхожем подобии! Господь не покарает меня за это, ибо я заблуждался только из любви — не из сумасбродства, не из криводушия. Видит бог, подле тебя я забывал обо всем, обо всех! Подле тебя я расцветал, ибо гордился твоей дружбой; но я хотел возвыситься ею не в глазах человечества, а перед горними силами, к которым так рвалось мое сердце, чей голос, казалось, говорил мне: вот единственный, кого ты вправе любить. Я расцветал в твоём присутствии — и все же никогда не был больше принижен, чем в минуты, когда я смотрел на тебя, слышал твои речи, видел, как ты чувствуешь то, чего не могли выразить твои уста; в эти мгновения я казался себе таким маленьким, как никогда и нигде, я возносил мольбы господу, чтобы он сделал меня равным тебе! Шарфенштейн! Он с нами, он все слышит и покарает меня, если это не так! Но это так, видит бог, это так. Ты без труда вспомнишь, как в предвкушении этих блаженных минут я дышал только дружбой, как всё, всё, даже мои стихи, одушевлялось чувством дружбы. Господь да простит тебя, если ты можешь столь низко и неблагодарно, столь ложно судить обо всем.

А что скрепляло нашу дружбу? Корысть? (Я говорю здесь о себе, ибо, видит бог, в тебе я не умею до конца разобраться.) Или легкомыслие? Сумасбродство? Были то низкие, земные или высокие, бессмертные, божественные узы? Ответ мне! Ответ! О, дружба, подобная нашей, могла бы длиться вечно! Ответ мне! Ответ искренне! Где бы ты

мог сыскать другого, кто бы так одинаково с тобою чувствовал, как тогда, в тихую звездную ночь у моего окна, или на той вечерней прогулке, когда мы взорами говорили друг с другом! Перебери всех, всех вокруг себя, где найдешь ты такого, как твой Шиллер, где, среди тысяч, найду я того, кто стал бы мне тем, кем ты мог стать! Верь, верь мне всей душой, каждый из нас был подобием другого; верь мне, отсвет небес мог бы пасть на нашу дружбу, она взросла бы на прекрасной, плодородной почве; нам обим она не предвещала ничего, кроме рая. Пусть бы один из нас десять раз умер, смерть не отняла бы у нас ни часа... Какая то могла быть дружба!.. И вот! вот!.. как это случилось? как зашло так далеко?

Да, я стал холоден!.. Знает бог... я остался Селимом, а Сангира не стало. Потому я и стал холоден, но пойми меня правильно — холоден в ваших глазах! Тревога, порывы моей души, долго, долго бросавшие меня из стороны в сторону, улеглись, я обрел покой, способность чувствовать, могучую опору, и вот стал холоден к тебе» (VII, 7—8).

Далее в письме он неоднократно призывает в свидетели всевышнего: «Послушай, Шарфенштейн, господь властвует над нами, господь слышит меня и тебя, да рассудит он нас!» В памяти оживают сцены в спальне, поэтические конвенты на кровати то у одного, то у другого из товарищей. Теперь Шиллеру кажется, что уже и тогда друг его относился к нему с насмешкой. «Ну что ж, я стал мериться с тобой, и ты перед посторонними людьми со злобной усмешкой процедил: «Он вырос телом и духом!», и тут же обернувшись ко мне: «Здоровенный детина!» «О, неужели ты не заметил, как я тогда покраснел и ничего еще не заметил? Ты выставил на посмеяние мое самолюбие, и я стоял, господь знает, с каким чувством, меня уязвлял мой великий порок. Но эта издевка, этот миг... от тебя... на глазах у всех... О, я не мог плакать, мне пришлось отвернуться; лучше смерть, чем еще одно такое мгновение из-за тебя!... Да не прожжет эта слеза твоей души!» (VII, 11).

Письмо заканчивается повторением одного сентиментального стиха.

В совершенно ином тоне выдержано письмо, отправленное немногим позже Буажолу, которого Шиллер, справедливо или нет, но, во всяком случае, сильно преувеличивая его вину, первого подозревает в коварных умыслах и дает ему это понять. Буажоль ответил ему письмом, в котором содержится оправдание вместе с жалобой на низость людей. Шиллер заменяет доверительное «ты» на отчужденное «вы»; холодное, вежливое, даже «придворное» письмо. «Почему я пишу вам только сейчас? Весьма терпеливо ждал я в течение трех дней, в надежде, не произойдет ли в вас перемена и не откажетесь ли вы от вашего письма. Прошу вас, прочтите снова ваше письмо и подумайте, что вы написали! Простите меня, мой друг, если не найдете во мне сочувствия к вам и вашим жалобам. Вы не несчастливы, предвижу, эти слова мои вас более всего удивят, вы не испытываете боли, коль скоро могли написать такое! Как можно было столь смехотворным образом говорить о ваших страданиях? Содержат ли эти ваши фантазии, этот бред хоть малую долю истинного страдания, о котором вы говорите? Как можно впадать в столь разительные крайности? Ведь вы то и дело

противоречите себе; сперва вы принижаете себя, потом вдруг чрезмерно начинаете гордиться собой, своими достоинствами; вы хотите бежать от людей, проклинаете их — и вслед за этим превозносите их, пишете о добром чувстве к ним, вы уцепились за слово, невинное слово в моем письме к Шарфенштейну — «*Буажо!*» и в своих фантазиях додумались до того, до чего бы не додумался ни один человек, и меньше всего я сам, ни о чем подобном даже и не помышлявший, в то время как писал... — и во всем этом должно видеть выражение страдания? Но друг мой, не есть ли это плод больного воображения? Я прошу вас, прочтите еще раз ваше письмо и признайтесь чистосердечно: Разве не стоит оно того, чтобы от него отказаться? Я не могу, не могу высказать всего того, что чувствую, могу сказать только: *прочитайте его снова сами!*

Почему вы называете людей злодеями? Потому только, что не все по душе вам? Но не думаете ли вы, что такое возможно? Разве не повторяем мы друг другу, как мало мы нуждаемся в людях? Разве мы не должны со спокойствием мудрецов взирать на их глупости? Разве должны мы требовать ответной любви, если любим сами? О, я прошу вас! Неужели вы не знаете людей? Разве недостает у вас душевных сил возвыситься над этим? Разве они не причиняют нам боль без видимых на то оснований, и что толку от того, что они пресмыкаются потом перед нами, если мы никогда не захотим уподобиться им? Что же повергает вас в отчаяние? (Но я знаю доподлинно, что все это лишь фантазия и мои убеждения вам ни к чему.)

Но вы упрекаете меня в равнодушии, в гордости, в ненависти к вам! Да, мой друг, некоторые обстоятельства действительно могли натолкнуть вас на подобные мысли...»

Далее же он становится более резким. Он гневно упрекает Буажоля за высказывание, будто бы он, Шиллер, «не обладает истинным сердцем», что все это «фантазерство, поэзия, которую я будто бы усвоил при чтении Клопштока», — короче говоря, Буажоль никогда не был настоящим другом. В конце письма поразительное признание: «Я — юноша, созданный из более тонкого материала, чем многие, и я редко попадал в цель, часто, часто скользил мимо...» И далее: «Прощайте! Я хотел прочесть это на вашем лице и не спрашивать, но не будем отягчать те немногие годы нашей жизни, когда нам предстоит еще столько испытать».

Эти оба письма являются самыми ранними и наиболее характерными свидетельствами о жизни Шиллера, написанными его рукой. «Он удалился от меня с чувством подавленности», — писал Шарфенштейн. Позднее они снова обрели друг друга, и мы благодарны ясному взгляду и доброму юмору Шарфенштейна, оставившего нам важные сведения о жизни Шиллера. Впоследствии постепенно наладились отношения и с Буажолем.

Благодаря Шарфенштейну мы имеем сведения о том, что уже в Академии Шиллер читал и высоко ценил «Лаокоона» Лессинга — «он называл его Библией для деятелей искусства». Лессинг писал в этом труде: «Я знаю, что мы, утонченные европейцы, принадлежащие к более благоразумному поколению, умеем лучше владеть нашим ртом и глазами. Приличия и благопристойность запрещают нам кричать и плакать».

И далее: «Не таков грек! Он был чувствителен и знал страх; он обнаруживал и свои страдания, и свое горе; он не стыдился никакой человеческой слабости, но ни одна не могла удержать его от выполнения дела чести или долга» *. Это могло сильно подействовать на молодого Шиллера, ибо и в том и в другом он мог узнать самого себя.

«Господь властвует над нами, господь слышит меня и тебя» — это в духе домашних богослужений отца. «Верный страж Израиля» — так начиналась одна из утренних молитв Каспара Шиллера; бог есть отец и судья в одном лице. Непокколебимое представление о боге, глубже коренящееся в Ветхом, чем в Новом завете. Детская вера Шиллера, привитая отцом и взлелеенная матерью, сохранялась в Карлсшуте на протяжении трех-четырёх лет, хотя проводимые соответственно приказу и под наблюдением молебствия не слишком способствовали укреплению молодых людей в их вере, так же как и многократно повторяемое высказывание высочайшего протектора о том, что страх божий есть начало всякой мудрости и знания.

Перемена в представлениях Шиллера о боге происходит под влиянием Абеля. «Убежден в истинности и божественности Ветхого и Нового заветов, но что касается церковных догматов, то больше согласен с Землером * и Гроцием *, чем с символическими книгами» — так однажды высказался Абель. Этот преподаватель более чем кто-либо другой мог способствовать проникновению в Академию идей Просвещения, ни в коем случае не используя при этом троянского коня; Карл Евгений прекрасно понимал, что берет в школу просвещенный ум, несмотря на тайное несогласие многих. Живая манера преподавания Абеля, умение подойти к ученикам, которые были немногим моложе его, оказывали на них сильное воздействие. При этом он был далек от того, чтобы подрывать в молодых людях христианскую веру. Но на уроках философии он обрушивал на верующие головы мысли, которые, не будучи направленными против христианства, могли возникнуть и без него. В прохладном потоке просвещенных мыслей и просвещенной морали мистически сверкающий рубин веры тускнеет и начинает испускать слабое красноватое мерцание.

Наряду с Абедем сильное влияние на юного Шиллера оказал некто Гаус. Он прибыл в Штутгарт в 1776 году в качестве гарнизонного проповедника и спустя год умер в тридцатилетнем возрасте. Гаус был автором широко распространенного «Молитвенника, идущего от сердца, направленного против употребления шаблонов», отмеченного в равной мере печатью пиетизма и Просвещения. Субъективность религиозного восприятия, к которому стремился Гаус, должна была пленить молодого Шиллера, равно как самонаблюдение и самоанализ, а также диалектическое противоречие между «казаться» и «быть», между внешним и внутренним — все это соответствовало его собственным представлениям, выводам из психологических занятий Абеля. Гаус за короткое время своей деятельности показал себя как вдумчивый литератор. Шиллер был его внимательным читателем. Такие его выражения, как «трещина в мироздании», «колесо природы», «равнодушный», встречаются в ранних стихах Шиллера.

Здесь уместно рассказать об одном случае, который позволяет

сделать некоторые предположения относительно религиозных воззрений молодого Шиллера. В 1780 году, последнем году пребывания его в Академии, умер один из его друзей, младший брат из семейства фон Ховенов. Ему было девятнадцать лет. Шиллер как медик во все время болезни товарища был рядом с ним; вместе с его братом Вильгельмом и их матерью оставался всю ночь у смертного одра. Он впервые видел смерть человека. Сохранились два письма, написанные им под впечатлением этого переживания; одно адресовано отцу Ховена, другое — сестре Христофине.

Из письма капитану фон Ховену, Штутгарт, 15 июля 1780-го, четверг: «Но разве вы *потеряли* сына? Потеряли? Разве он был счастлив и утратил счастье? Надобно ли сожалеть о нем или, скорее, ему завидовать? Правда, я задаю эти вопросы убитому горем отцу, душевные страдания которого, конечно, не могут сравниться с моими, но ведь также и мудрому человеку, христианину, знающему, что господь волен в жизни и смерти и что вечно мудрое провидение властвует над нами. Что он утратил такого, что не будет стократ возмещено ему? Разве он оставил здесь то, чего с радостью не обретает там, и уже навеки? Разве не умер он в чистоте и невинности сердца, наделенный всей полнотой юношеских сил для принятия вечности, еще не успевший оплакать бренности всего земного, бессмысленной суеты сует здесь, где рушится столько планов, где увядает прекраснейшая радость и так много, много надежд рассыпается в прах?»

В книге премудрости о безвременной смерти праведника сказано: «Душа его была любезна господу, потому он поспешил вознести ее над земной юдолью. Он рано достиг совершенства и мудрости не по летам. Он вознесен, чтобы злоба не изменила разума его или коварство не прельстило души его».

Так и сын ваш возвратился к тому, кем был послан в мир. Чистый сердцем, он лишь раньше пришел туда, куда мы придем позднее и с более тяжелой ношей грехов. Он ничего не потерял и все приобрел.

Дорогой отец любимого моего друга, я вам излагаю не затверженные наизусть общие места, но подлинное, правдивое убеждение моего сердца, почерпнутое из печального опыта. Тысячу раз завидовал я тому, как стойко ваш сын боролся со смертью, а я бы отдал свою жизнь за него с тем же спокойствием, с каким ежевечерне отхожу ко сну. Мне еще нет двадцати одного года, но я могу смело признаться вам, что мир для меня не имеет более прелести. Я не радуюсь ему, и день моего выхода из Академии, который еще несколько лет назад был бы для меня радостным праздником, даже не вызовет на моем лице веселой улыбки. С каждым шагом по пути жизни я все больше утрачиваю радость и чем ближе подхожу к зрелости, тем горше сожалею, что не умер ребенком. Будь жизнь моей собственностью, я бы охотно отказался от нее после смерти вашего милого сына, но она принадлежит матери и трем беспомощным без меня сестрам, у отца же моего уже начинает седеть голова» *.

Можно было бы предположить, что автор этого письма — убежденный христианин. Но весьма вероятно то, что некоторые места в первой части цитированного текста заимствованы из напечатанной

надгробной речи. Мы имеем дело с сочетанием приличествующей традиции и подлинного потрясения, причем в этом потрясении звучит смертная тоска юноши Шиллера. «Несомненно, что мысль вытесняет веру» (В. Мюллер-Зейдель)*, и нужно добавить — собственным сильным чувством.

Смертная тоска еще явственнее выражена в письме, адресованном сестре и написанном четыре дня спустя. «О дорогая моя, с каким трудом освободился я от впечатлений смерти и человеческого страдания. Ведь очень печально, милая сестра, видеть, как умирает молодой человек, умный, добрый, полный надежд. Я был очень привязан к покойному — славному, благородному юноше. Ты знавала его в Людвигсбурге необузданным, легкомысленным, грубоватым, но за десять лет, проведенных в Академии, в особенности же за два последних года, он очень изменился к лучшему, превратившись в тонко чувствующего, впечатлительного, нежного и умного юношу. Я смело могу тебе сказать, что с радостью положил бы за него жизнь. Он был очень дорог мне, а жизнь была и осталась для меня тяжким бременем.

Добрая моя сестра, что выстрадало бы твое чувствительное сердце и сердце моей нежной матери, что, господи, выстрадал бы мой почтенный, милый отец, возложивший на меня столько надежд — больше, чем я когда-нибудь смогу осуществить, — окажись я, единственный сын и брат, на месте моего друга! А ведь могло быть, а может, и будет, что и вам не придется радоваться моему выходу из Академии, что я — видишь, я не решаюсь перед тобой выговорить эти слова, но ведь все может случиться — кому дано заглянуть в тайные книги судьбы...

Для меня это было бы желательным, тысячекратно желательным исходом. Я больше не радуюсь жизни, я почитал бы себя счастливым *безвременно* расстаться с нею. Прошу тебя, сестра, если так случится, будь умницей, утешься и утешь своих родителей».

В письме проскальзывают мрачные мысли. «Ты не знаешь, в какой мере я внутренне изменился, как я опустошен. Да ты никогда и не должна узнать, *что подрывает силы моего духа*». Последние слова подчеркнуты. Их надо оставить так, как они есть, — тайна безутешного мгновения; всякая попытка разъяснить их увела бы в неизвестность. Вместе с письмом Шиллер посылает книгу «покойного военного пастора Гауса. Если хочешь, оставь ее себе». Книга, которая долгое время занимала его, уже не нужна. Жизнь движется вперед. После признания отчаяния, несколькими строками ниже, приписка: «Белье пришли поскорее. Башмаки тоже. Попроси милого папу прислать стопу бумаги и несколько перьев. Напомни милой маме о чулках и попроси ее сделать мне рубашку без манжет — ночную. Можно из грубого холста» (VII, 13—14). Кто хочет, может усмехнуться.

Переживание, связанное со смертью товарища, находит отражение в стихотворении «Могильная фантазия». В нем нет и следа от христианского утешения. Прекрасен проясненный взгляд на жизнь

юноши, который, по всей видимости, отражает и собственные переживания Шиллера:

Бодрым казался в людских он собраниях,
Бодрым, как серна, и знал ли предел
Он, необузданный, в дерзких желаньях?
Нет, как орел в облаках, он был смел.
Как с приподнявшейся гривой густою
Конь негодует на узы с в о и, —
Так никогда не склонялся главою
Он перед сильными бренной земли.

Стихотворение оканчивается без утешения:

Гроб закрыт навек, отец бессильный!
Выше, выше холм растет могильный, —
Не вернется сын к тебе назад!

(I, 83—84, перевод Ф. Мюллера.)

Уже в 1776—1777 годах этот студент-медик — поэт. Он задумывает большое драматическое произведение — «Разбойники». Можно назвать, пожалуй, четыре источника, к которым восходит замысел этой пьесы, — два из них следует искать в Швабии, один в Англии и еще один в Испании. Живым образом стал для них народный герой из английских лесов Робин Гуд; в «Дон Кихоте» Сервантеса его внимание привлекла фигура благородного разбойника Роке, оба могли бы стать крестными отцами Карла Моора. В «Швабском журнале» за январь 1775 года Шиллер натолкнулся на рассказ Шубарта под названием «Из истории человеческого сердца», в котором автор рассказывает о двух братьях, резко отличавшихся друг от друга. Итак, впечатления от прочитанного, то, что поразило воображение, что подхватила и дополнила богатая фантазия. Но был в Академии один человек, который мог рассказать о несчастном, но не лишенном благородства лесном бродяге, самом знаменитом разбойнике Швабии, Зонненвирте Шване из Эберсбаха, человек, который к тому же еще и видел этого разбойника. Это был любимый и почитаемый учитель Абель.

Ему было девять лет, когда Зонненвирта схватили в Вайхингене на Энце и каждый день водили на допрос из тюремной башни в Карлсшule занимал должность; благодаря своему уму и интуиции он сумел добиться признания от этого одичавшего и ожесточившегося, но по природе своей честного человека. «Шван, одаренный от природы выдающимися способностями — ум, остроумие, фантазия, память, деловитость, пыл, решительность и храбрость, — обладал в зародыше большими добродетелями и большими пороками. Лишь от внешних условий зависело, кем он станет: Брутом или Катилиной». Так говорил профессор Абель об этом разбойнике, на которого он когда-то, будучи ребенком, взирал с удивлением. Однако этот человек не стал ни заговорщиком, ни тираноборцем, из него вышел довольно обыкновенный драчун, вор, разбойник и убийца. Но для Абеля это была фигура трагически-величественная. Таким он предстал

в его рассказе перед учениками, перед Шиллером. В литературе уже сотни раз указывалось на то, что рассказ Шиллера «Преступник из-за потерянной чести», написанный в Дрездене в 1785 году, опирается на сообщения Абеля. Это, конечно, верно. Гораздо реже, однако, обращают внимание на то, что и замысел «Разбойников» с Карлом Моором в качестве главного героя в значительной степени возник под сильным впечатлением от рассказа Абеля. Впрочем, и сам Абель утверждал в разговоре с Петерсеном: «Идея этого произведения подсказана ему частично образом главаря разбойников Роке из «Дон Кихота» и историей так называемого Зонненвирта, или Фридриха Швана, о котором тогда много говорили в Вюртемберге и о котором он меня часто спрашивал (мой отец был чиновником, который занимался следствием по делу Швана)...»

Как, когда воспитанник Шиллер записал на бумагу в Академии свои стихи, монологи, сцены для «Разбойников»? Свободное время после обхода едва ли можно было использовать: как правило, оно отводилось для игр и спорта на свежем воздухе или для работы в саду, где у каждого воспитанника был свой участок земли; в плохую погоду упражнялись под крышей или играли в мяч. Можно было улучшить момент между ужином и отходом ко сну, но этот промежуток был слишком коротким. Быть может, удавалось выкраивать час-другой в воскресные дни. Однако Шиллер уже тогда использовал для своих занятий ночные часы. Для этого требовалось согласие товарищей, которым мог мешать свет горящей свечи, но они знали, что он поэт. То, что помещение закрывалось в десять вечера, давало даже известную гарантию ночным занятиям. В большинстве спален находились надзиратели, в этом смысле Шиллеру везло: на протяжении многих лет не было случая, чтобы в их комнате оставался на ночь надзиратель, — тогда бы ни о каком писании нечего было и думать. Однако оставались дежурные офицеры, делавшие временами обходы. Нервы поэта были постоянно напряжены, он как вор должен был прислушиваться к каждому подозрительному шороху. Горящая сальная свеча в уголке, где писал Шиллер, сильно мешала спящим, так же, по-видимому, как и само писание, во время которого он «шаркал ногами, сопел и издавал разные звуки» (Петерсен).

Воспитанникам разрешалось подниматься до побудки и использовать свободное время для своих нужд: привести в порядок записи лекций или что-нибудь в этом роде. Шиллер поберег бы свои нервы, да и нервы товарищей, если бы воспользовался именно этой возможностью. Но об этом ничего не известно, это не соответствовало, вероятно, его внутреннему ритму. Местом, где можно было чувствовать, что ты предоставлен самому себе, и где даже ночью горел свет, была больничная палата. Когда Шиллера отправляли туда, скажем из-за воспаленного горла, то он непременно использовал этот короткий период свободы для того, чтобы писать. Как будущий медик, он переступал порог палаты не только в качестве пациента. «Учащиеся-медики в конце своей учебы обязаны были дежурить в

больничных палатах, наблюдать за больными. Однажды, когда подошла очередь Шиллера, он пришел к больному и сел к нему на кровать. Вместо того чтобы побеседовать с ним и осмотреть его, он принялся так бурно жестикулировать и делать такие резкие движения, что больной испугался и решил: присланный к нему врач, должно быть, впал в буйное помешательство». Так пишет Петерсен.

В этом отказе от ночного сна таилось нечто опасное, разрушительное. Со времен учебы в Академии Шиллер мучился бессонницей. В какой мере его организм был предрасположен к ней, в чем он сам был повинен — где причина, где следствие? Сам он тяжело воспринимал этот недуг. По тогдашнему обычаю у воспитанников были альбомы, в которые они делали друг другу разные записи. Девятнадцатилетний Шиллер однажды выбрал для этого строфу из вюртембергского сборника псалмов, которая, видимо, была особенно ему близка:

Когда больной идет в кровать,
Где должен день и ночь лежать —
Пусть в серебре и злате, —
Он громко роскошь проклянет,
Когда он ночью не уснет
В украшенной палате.
Он будет каждый час считать
И весь в слезах рассвета ждать.
(Перевод А. Гугнина.)

Странно, но также и в его диссертации «Опыт о связи между животной и духовной природой человека» звучит подлинный гимн освежающему сну. Она начинается так: «Во время сна снова обретают целебное равновесие жизненные силы, которые так необходимы для продолжения нашего существования; беспокойные идеи и ощущения, напряженная деятельность — все, что мучило нас в течение дня, снимается общим расслаблением сознания, вновь восстанавливается гармония душевных движений, и проснувшийся человек спокойнее приветствует наступающее утро».

Шиллер еще молодым человеком многое делал во вред этому «общему расслаблению сознания». В Академии процветала торговля запрещенными товарами — кофе и прежде всего табаком, который больше нюхали, так как курить было очень рискованно. Был один воспитанник, который активно занимался «черной торговлей» — Шиллер называл его всемогущим — и снабжал пол-Академии контрабандным товаром. Шиллер всю жизнь прибегал к возбуждающим средствам, прежде всего к крепкому кофе, табаку, вину, шампанскому и ликерам.

Интерес его к медицине становился все более серьезным и глубоким. Важнейшими лекциями и практическими занятиями тогда были: патология, семиотика и терапия у Консбруха, химия и фармакология у Ройса, неврология и хирургия у Клейна. Он с увлечением занимался философией и психологией, пренебрегая другими гуманитарными предметами и языками. Жадный интерес, любопытство он проявлял к людям, к человеку. Это побуждало его к занятиям медициной.

Ему не надо было преодолевать отвращение, когда он работал в анатомическом театре.

Случай с воспитанником Граммоном — самое живое и поучительное свидетельство того, как проявил себя начинающий медик Шиллер в области психиатрии. Граммон, вюртембергский француз, сын господина Шпециала из Мёмпельгарда, был ровесник Шиллера. Случай с ним заслуживает подробного описания, так как дает особенно наглядное представление об Академии; двадцатилетний Шиллер, пылкий, восторженный автор «Разбойников», проявляет себя здесь осмотрительным, вникающим в подробности дела врачом, вместе с тем своеобразно выявляется в разговоре с больным его противоречивое отношение к Академии.

Граммон-отец занимал одну из первых церковных должностей в графстве Мёмпельгард. Обращают на себя внимание его письма, содержащиеся в личном деле сына, — как правило, отцы воспитанников редко обращались к руководству школы. В ноябре 1779 года он умер. Получив сообщение о смерти, интендант Зегер в ответном письме от 11 декабря на имя опекуна пишет, что он передаст «это печальное известие сыну самым благопристойным образом, но не раньше, чем пройдут экзамены за нынешний год», с тем чтобы дать возможность ему сдать их успешно. «При этом заверяю вас, что будущее благополучие молодого человека станет моей постоянной заботой». Последующие события показали, что это обещание не было пустой фразой.

Смерть отца была одной, но не единственной причиной того, что молодой Граммон почувствовал себя совершенно несчастным и его стали посещать скорбные мысли о побеге или самоубийстве, которые он не раз высказывал в кругу товарищей. Когда 11 июня он попросил у Шиллера снотворное, тот уговорил его лечь в больничную палату, сообщив о состоянии его здоровья интенданту Зегеру, и организовал дежурства возле больного. Юные медики, поочередно сменяя друг друга, наблюдали за ним и докладывали о его самочувствии. Дежурства были распределены между пятью воспитанниками. Это были Фридрих Ховен, Якоби, Лишинг, Плинингер и Шиллер. Отчеты юных медиков, составлявшиеся ежедневно в течение шести недель, содержат наблюдения, которые в целом представляют собой редкостный для того времени материал из области психиатрии.

Акты были дополнены медицинским заключением, сделанным совместно профессорами Ройсом, Консбрухом и Клейном, в котором «ипохондрическая меланхолия» пациента объясняется органическими расстройствами кишечника; ко всему прочему указывается, что «небесполезным могло бы быть пребывание в Тейнахе» (на водах). Наконец, было приложено заключение профессора Абея на четырех страницах. Оно начинается так: «Частично на основании собственных наблюдений, частично по сообщениям других, а в основном по рассказам самого воспитанника Граммона я сделал заключение о его душевном состоянии и описываю его здесь так, как того требуют

мои убеждения и долг по отношению к каждому из вверенных мне его герцогской светлостью учеников. В течение многих лет все помысли воспитанника Граммона были направлены на поиски истины, особенно в сфере религии. Он привык к тому, чтобы любое исследование проводить со всей душой, величайшим старанием, исключительной точностью, строгостью и тонкостью». Далее следует: «...когда он находится среди своих лучших друзей, ему неожиданно приходит в голову мысль, что всякая любовь есть эгоизм и тому подобное, и радость его тогда обращается в горчайшую скорбь».

Отчеты, написанные о больном Граммоне двадцатилетним Фридрихом Шиллером, представляют собой ценность как документ, свидетельствующий и о его собственной жизни. Прежде чем процитировать выдержки из его отчетов — необходимый отбор и ограничение их представляется для биографа делом нелегким, — обозначим происшедшее за это время с указанием дат и в определенной последовательности. Речь идет о событиях, которые глубоко задели Шиллера; они все приходятся на начало лета 1780 года: 11 июня Шиллер делает соответствующие выводы из намерений Граммона покончить самоубийством. 13 июня умирает Август фон Ховен. 15 июня Шиллер пишет письмо отцу умершего. Примерно в тот же день интендант поручает Шиллеру наблюдение за Граммонам. 19 июня он пишет примечательное письмо своей сестре Христине. 26 июня он подает первый подробный рапорт о состоянии Граммона: «В соответствии с всемилостивейшим приказом внимательно наблюдать за болезнью и высказываниями моего друга беру на себя смелость набросать картину его болезни, опираясь на милостиво предоставленную мне возможность и близкие отношения, бывшие у меня до сих пор с ним.

Болезнь, по моим понятиям, является не чем иным, как ипохондрией, таким несчастным состоянием человека, в котором он становится жертвой взаимодействия между телом и душой; это болезнь глубоких умов и восприимчивых натур и большинства великих ученых. Тесная связь между телом и душой бесконечно усложняет возможность определить первоначальный источник заболевания — где его искать: в теле или душе.

Пиетистская мечтательность кажется мне основой возникновения болезни. Она обострила его совесть и сделала его крайне восприимчивым ко всем явлениям добродетели и религии и спутала его понятия. Изучение метафизики привело к тому, что все истины стали для него в конце концов подозрительными, оно толкнуло его в другую крайность: если до этого он слишком увлекался религией, то теперь скептические размышления нередко вызывают сомнение в основных ее постулатах.

Его нежное сердце не могло перенести эту колеблющуюся неуверенность в важнейших истинах. Он стремился к убеждениям, но в поисках их заблудился и вышел на неверную дорогу, погрузился в мрачное неверие, разочаровался в благоденствии, в божественном и стал считать себя несчастнейшим человеком на земле. Все это я

выяснил во время частых бесед с ним, так как он ничего не утаивал от меня, что касалось его состояния.

К этому беспорядку в его понятиях постепенно присоединилось телесное расстройство (я не могу с уверенностью утверждать, что основой этого является органический недостаток в области живота). Возникли затруднения в пищеварительном процессе, вялость и головные боли, которые являются следствием нарушенного душевного состояния и в свою очередь ухудшают его.

Все это привело к ужасной меланхолии, в которую он погружен уже несколько недель».

Затем Шиллер описывает самый критический момент в состоянии пациента, когда тот отказывается от еды, заявляя, что «не видит никакого смысла в том, чтобы продлевать свою жизнь, так как она была бы ему только в тягость». Лишь к вечеру Шиллеру удалось вызвать больного на разговор. «Изливая свои жалобы и испытывая в результате этого облегчение, он становился податливее и ободрялся». Пациент выразил желание довериться наблюдению лейб-медика Хопфенгертнера (внимание герцога к молодому человеку проявилось и в том, что он послал к нему своего личного врача) «и признался, что был сам себе мучителем и усугубил свою болезнь».

Герцог позаботился о том, чтобы сменить ему обстановку, и дал указание перевести больного в свою деревенскую резиденцию Хоенгейм, где лично навестил его. Но отдых был недолгим.

Рапорт Шиллера от 11 июля:

«До полудня наш ипохондрик все еще чувствовал себя усталым от вчерашней поездки и был в сильно угнетенном состоянии. Это можно объяснить, конечно, тем, что он покинул веселую, приятную местность, где он пребывал дотоле благодаря милости светлейшего герцога. Он выражал недовольство всем и, кроме работы в саду, не желал чем-либо заниматься. Иногда он просил меня прочесть ему из жизнеописаний Плутарха. В остальном гулял или спал, причем просыпался с мрачными мыслями или головной болью. За обедом ел мало. Даже свое вино, которое ему обычно нравилось, отставлял, предлагал его мне. Я приберег его до вечера и уговорил выпить вместе со мной в саду, чем надеялся немного взбодрить его. Он не может отвязаться от мысли о том, что неспособен испытывать чистое удовольствие, даже эта последняя развлекательная поездка мало что дала ему; единственное, что может способствовать его выздоровлению, как он считает, несмотря на все возражения, — это порвать все узы, связывающие его с Академией».

В высшей степени примечательно сообщение от 16 июля. Беспкойный больной «наконец из состояния усталости погрузился в сон, во время которого его застала их герцогская светлость». Тогда произошел, по всей вероятности, длинный разговор втроем: герцог, Шиллер и больной. Разговор этот вращался вокруг вопроса о

свободе молодых людей в школе герцога. Я беру на себя смелость утверждать, что это была одна из самых необычных ситуаций, в которой когда-либо оказывался Шиллер (в высшей степени необычная и для Карла Евгения). Шиллер сообщает: «В беседе с его светлостью герцогом больной утверждал, что в Академии он никогда не сможет поправиться. Все кажется ему здесь отвратительным. Все наши увещания были напрасны...» Тогда Шиллер заметил ему, что если он оставит учебу, то лишится каких-либо видов на будущее; Граммон возразил — батраком или нищим, все равно он чувствовал бы себя гораздо более счастливым, нежели здесь, потому что был бы свободен... «Наши горячие увещания были напрасны». Наши — его и герцога! Порешили на том, что Граммон потерпит еще какое-то время, затем поедет на воды в Тейнах. Больной понял наконец, сколь безмерно «велики были милость и мягкость» высочайшего повелителя. Но и это чувство он обращает в жало, вонзая его в собственное сердце, когда говорит, что он «достоин того, чтобы считаться самым неблагодарным из сыновей».

21 июля Шиллер снова сопровождает больного. Он находит пациента «полным бодрости и жизни» и использует случай, чтобы убедить его в необходимости продолжать учебу, «ибо это есть единственное и надежное средство отвлечься от себя и обратиться на другие предметы». Граммон на этот раз живее воспринял все: «Он открыл мне свое сердце, согласился со многим и заверил меня в том, что охотно останется в Академии, если только ему предоставят те свободы, которые необходимы для того, чтобы выправилось его физическое и душевное состояние». Рапорт заканчивается выражением уверенности в благополучии исхода. Случай с Граммоном, в котором Шиллер проявил себя как друг и врач, не обошелся для него без неприятностей.

Какой-то негодяй нашептал коменданту, что Шиллер и другие попытаются устроить побег больному. В своем письме от 23 июля полковнику Зегеру Шиллер отверг это подозрение. Как и в письме Буажолю, но еще более четко и ясно, этот молодой человек, который как поэт еще должен был пройти долгий путь созревания, проявил себя как мужчина с острым умом, как человек, владеющий всеми тонкостями придворной дипломатии, чтобы действенно и умно защищать свои честные намерения.

Граммон после пребывания на шварцвальдском курорте Тейнах не смог заставить себя вернуться в Академию и с высочайшего разрешения приехал в Мёмпельгард, где занялся механическими музыкальными часами. Некоторое время он был домашним учителем в Петербурге; Мария Федоровна, вюртембергская принцесса, детские годы которой прошли в Мёмпельгарде, впоследствии супруга престолонаследника, а затем императрица, приглашала туда многих вюртембергцев и мёмпельгардцев. Однако Граммон снова вернулся в Штутгарт, был при дворе гувернером пажеского корпуса и наконец профессором прославленной гимназии — его потомство процветало в Вюртемберге и, может быть, процветает и поныне.

Слово «придворный» применительно к Шиллеру употреблялось неоднократно. Высказывалось также мнение, что воспитанники Академии иначе, чем семинаристы и учащиеся монастырского училища, чувствовали «свет» или ощущали его дыхание. Академия стала любимым детищем Карла Евгения; отсюда, естественно, тесная связь школы со двором. На праздничных и официальных церемониях, на ежегодных присуждениях премий, к примеру, присутствовал весь двор. Часто бывала в Академии и Франциска фон Хоэнгейм, сопровождая своего возлюбленного повелителя. Эта высокая, обаятельная, хотя и не отличавшаяся особой красотой женщина в течение многих лет была единственной представительницей прекрасного пола, которую видели школьники и которая в немалой степени возбуждала их воображение. Все знали ее, она знала каждого. Много раз присутствовала она при смотре, который устраивал его светлость «своим сынам» при входе в столовую, не забывая при этом про штрафные билеты. «Вообще казалось, что он назначал наказания в ее присутствии с тем, чтобы графиня могла просить за дрожащего воспитанника», — высказывает предположение старый биограф Боас * (1815—1853). Возможно, он был прав. Настолько человечески прекрасными были отношения между Карлом Евгением и Франциской, которая формально была его фавориткой (лишь много лет спустя они смогли наконец заключить брачный союз), что это придавало ее роли патронессы — защитницы школьников особую привлекательность.

В дни рождения Франциски в январе и герцога в феврале в школе устраивались празднества с торжественными речами и театральными представлениями. В 1779—1780 годах участие Шиллера в подобных торжествах было особенно активным, его уже знали и при дворе как поэта и пламенного оратора. Ко дню чествования Франциски герцог приказал составить торжественную речь на тему «Является ли слишком большая доброта, общительность и щедрость добродетелью?». «Добродетель — это бумажные деньги, которыми он (Карл Евгений) повсюду расплачивался», — шутивно замечает старый Вельтрих *. Это была не та тема, которая могла бы зажечь пламенный ум. Но Шиллер искусно справился с ее диалектическим узлом. Кто владеет высоким искусством добродетели? Мудрец. Одно пустословие соответствует другому. «Мудрец добр, но не расточителен. Мудрец общителен, но он утверждает свое достоинство». Затем следует отрывок из оды Клопштока «Королю»:

Благо великое жить по божьим законам,
Вокруг себя много деяний добрых
наблюдая...

(Перевод А. Гугнина.)

И Шиллер спрашивает, обратив взгляд на протектора Академии: «Есть ли более добродетельное деяние, чем воспитание юных?» Что, впрочем, нельзя не признать неверным. Но это еще не все. Шиллер ссылается на Марка Аврелия *. И затем говорит: «Зачем я должен

блуждать в дебрях истории, уходящей в глубь времен, в поисках благородной доброты и приветливости среди покрытых пылью развалин древности? Светлейший герцог! Не с вызывающей краску лицемерной речью, исполненной низкой лести (ваши сыны не обучены лстить), нет, но с очами, отверстыми истине, я возглашаю: «Это Она — любезная подруга Карла; Она — друг людей! Она — лучший друг всех нас! Мать! Франциска!» И так далее, в высшей степени эффектно. Карл Евгений и дама его сердца остались очень довольны.

«Ваши сыны не обучены лстить»? Но с какой целью произносились эти речи? Было бы глупо возмущаться подобным воскурением фимиама, глядя сквозь призму двух столетий. Церемонии тогда жили еще обычаями позднего барокко. Но если еще и в наши дни, когда церемониал выглядит жалким подобием прошлого, на юбилеях и по разным подобного рода случаям (не говоря уже о надгробных речах) громко, во весь голос произносится ложь, стоит ли возмущаться? Тем не менее в биографии Шиллера важно установить, что автор «Разбойников» был чрезмерно учтив. И это можно объяснить. Не надо забывать, что Шиллер, как и его товарищи, несмотря на все их мятежные порывы, почитали Карла Евгения и не были уж настолько слепы, чтобы не видеть достоинств, которыми обладал их весьма своеобразный повелитель при всем его сложном характере; и к Франциске относились с симпатией как Шиллер, так и все эти молодые люди. Следовательно, Шиллер говорил и прославлял не вопреки своему внутреннему убеждению. Далее: Шиллер ничего не делал вполсилы. Если он в «Разбойниках» хотел наплевать на все условности, отбросить их, то он сделал это радикально. И когда ему поручали приготовить торжественную речь, он относился к этому серьезно, воодушевлялся и упивался образами и каскадами слов, которые переполняли его.

Спустя месяц, в день рождения герцога, была сыграна небольшая пьеса «Ярмарка», написанная Шиллером: она утеряна, о чем нам приходится сожалеть. Торжественная речь ко дню рождения Франциски в 1780 году снова была поручена Шиллеру. «Добродетель, рассмотренная в ее последствиях» — так была определена тема, предложенная Шиллеру, и поэт разработал ее блестяще, как и в предыдущем году. Как они произносились, эти речи, в присутствии всего двора, учителей, школьников? Шиллер всегда читал и ораторствовал не слишком хорошо, голос его возвышался до крика. В этом смысле школа мало что дала ему, хотя занятия по языку и риторике могли бы его отучить от этого. Как он держался, хорошо ли владел собой во время выступления с торжественной речью? Очевидно, это ему неплохо удавалось, поскольку ему дважды поручали выступить на чествовании Франциски.

14 декабря 1779 года Академию посетил путешествовавший инкогнито герцог Саксонии-Веймара, которого сопровождал Гёте; они возвращались из Швейцарии. Оба гостя присутствовали при вручении награды, которое состоялось в Белом зале нового дворца; Шиллеру были вручены три медали: за успехи в практической медицине, фар-

макологии и хирургии (награда за немецкий язык была присуждена Эльверту). Так тридцатилетний Гёте узнал о способном молодом медике, который в свою очередь молча и восторженно смотрел на автора «Вертера» и «Гёца».

Итак, Карл Евгений познакомился тогда с Гёте, который произвел на всех впечатление своей любезностью и придворными манерами. К следующему дню рождения герцога было решено поставить одну из пьес Гёте. Выбрали трагедию «Клавиго». Трудно понять, почему исполнение главной роли было поручено Шиллеру, явно не обладавшему актерскими способностями. Это можно объяснить только тем, что Шиллер, воодушевившись постановкой пьесы, сам предложил свои услуги, и еще тем, что никто другой не выразил желания заучивать наизусть большой текст. Почему эта роль увлекла его, понять нетрудно — многое в ней написано как будто специально для него.

«Клавиго (*поднимаясь от письменного стола*): Этот журнал будет пользоваться доброй славой, все женщины придут от него в восторг. Скажи мне, Карлос, ты не считаешь, что мой еженедельник — из первых в Европе?» *

Так начинается пьеса. Но Шиллер, играя эту роль, резко выкрикивал слова, рычал, неистовствовал, так что вместо Клавиго вышла жалкая карикатура. Читая сообщение об этом представлении, самовыражении актерствующего воспитанника Шиллера, вспоминаешь знаменитого психиатра Кречмера *. «Тысячи людей с душевной аномалией делают в этом возрасте те же гениальные ужимки, так же по-театрально громко кричат, вопят, топорщатся». Короче говоря, трагедия превратилась в комедию. Впрочем, сам герцог в это время отсутствовал.

Придворные праздники проводились по единому образцу: торжественная речь, спектакль, опера и музыка, но все довольно скромно. Образно выражаясь, это было «печенье домашней выпечки»; все было взято из Академии, то есть бесплатно. Широкая профессиональная специализация школы позволяла готовить пополнение для оркестра, оперы, балета и театра — таким образом молодые люди могли показать, чему они научились.

Время, когда двор Карла Евгения был одним из самых блестящих в Европе, осталось позади, оно кончилось в 60-е годы. У Фрица Шиллера, бывшего ученика латинской школы в Людвигсбурге, в памяти оставались еще живыми картины жизни города и двора в тот период. Теперь резиденция Карла Евгения, имение в Хознгейме, выглядела более скромно, единственным украшением ее были прекрасные парки и сады. Это соответствовало новым взглядам герцога, а также и духу времени. Идеальным образом властителя теперь стал *country gentleman*¹ — в начале столетия им был «король-солнце», центр торжественного церемониала из бургундско-испанской традиции, — и в моду вошла деревенская неприхотливость и скромность нравов.

¹ Помещик, сквайр (*англ.*).

Относительная простота вюртембергского двора в 1770—1780-е годы заключалась и в том, что здесь говорили почти исключительно на немецком языке, к тому же еще окрашенном — в устах Франциски — тягучим швабским наречием, к тайному удовольствию северогерманских придворных чинов. Карл Евгений, судя по его орфографии, тоже, должно быть, говорил с заметным оттенком швабского диалекта, хотя в этом отношении ни в какое сравнение не шел со своей Франциской, орфография которой сегодня представляет собой документ для изучения диалекта. Французское при этом дворе играло второстепенную роль. Даже в театральном искусстве французское влияние, которое в первой половине XVIII столетия во многих немецких придворных театрах было чрезвычайно сильным, постепенно ослабевало.

В опере, как и прежде, доминировали итальянцы. Изучение итальянского языка для воспитанников КарлсшULE, занимавшихся музыкой и театральным искусством, было обязательным.

Вообще преподавание новых языков в Академии велось на таком высоком уровне, который был ранее неизвестен вюртембергским учебным заведениям. Французский язык был обязателен для всех. Преподавание английского языка было введено в 1776 году, и Шиллер, таким образом, овладел его основами. В тех случаях, когда в КарлсшULE были ученики из других стран, использовались русский, польский и датский языки.

Какое значение имел в Академии французский язык? Посредником между французской культурой и штутгартским двором долгие годы был Йозеф Уриот. Он оказывал влияние на библиотечное дело, ему была поручена до создания Академии подготовка молодых актеров, он являлся Maître de Plaisir¹ и автором торжественных речей на французском языке в честь Карла Евгения; в то же время он был хорошим знатоком и интерпретатором великой литературы своей страны. В Академии он руководил постановкой французских пьес и дирижировал музыкальными представлениями; кроме того, ему приходилось давать много уроков, что очень утомляло его, уже немолодого человека. Громкие речи, которые он произносит, вредят его здоровью, пишет он в одном прошении на имя герцога, поэтому для поддержания сил ему нужно 'deux Eumer d'un vin tel que Votre Altesse le jugera propre pour un homme de 63 ans' («два ведра вина такого качества, которое ваша герцогская светлость сочтет подходящим для 63-летнего мужчины»)... Так как объем преподавания французского языка возрос, Уриоту добавляли учителей и помощников.

Таким образом, Шиллер получил основательные знания французского языка. Серьезным учебником была «Королевская французская грамматика» де Пеплье, в которой содержались также образцы писем, изречения и анекдоты. Ученики читали на занятиях произведения Корнеля, Расина, Фенелона, Д'Аламбера и Вольтера. Любимыми книгами были «Всеобщая история» Боссюэ * , письма мадам

¹ Наставник (учитель) в сфере приятных развлечений (франц.).

де Севинье * и «Заира» Вольтера. Шиллер не испытывал перед французами такого же восхищения, как перед Клопштоком, Шекспиром, Гёте, Лессингом, но он приобрел знания, представление о литературе, широту взгляда. Он познакомился с французской драмой, историческими сочинениями и философией, стилем писем Версальского двора и французских ученых. Его знание французского языка, полученное в Академии, оказалось настолько основательным, что впоследствии он мог поддерживать многочасовые сложные разговоры с темпераментной мадам де Сталь (которая не владела немецким языком).

Автора «Разбойников» не воспламенили ясность французского мышления и правила французского театра. Шиллер был создателем «Разбойников» от первых набросков, которые предположительно относятся к весне 1775 года, до первого представления в Мангейме в 1782 году. Примечательным в истории создания «Разбойников» был один майский день 1778 года. Воспитанники совершали тогда свою обычную прогулку под наблюдением надзирателя, они поднялись на Бопсер — возвышенность, покрытую лиственным лесом, каких немало было в штутгартской долине. В лесу Шиллер и еще пять его товарищей скрылись в чаще — несомненно, с молчаливого согласия сопровождавшего их офицера. Они нашли подходящее место под толстым деревом, взволнованный Шиллер извлек рукопись «Разбойников» из кармана мундира, откашлялся и начал громко и бурно декламировать. Это был единственный текст, который соответствовал его выпренному исполнению. Товарищи, стоявшие вокруг, были восхищены и захвачены услышанным. Это были Фридрих фон Ховен, старший из друзей, товарищ по дому в Людвигсбурге, позднее ставший врачом; Шлоттербек, сын каменщика, взятый герцогом в школу прямо с улицы, впоследствии хороший художник и гравёр, не добившийся, однако, больших успехов; Капф, сын ротмистра из католической Верхней Швабии, грубиян и весельчак; он был отправлен в Африку офицером проданного голландцам полка и утонул во время высадки десанта перед Батавией¹; Хейделлофф, незаконный отпрыск ганноверского курфюрста, ставшего впоследствии королем Георгом I, сын придворного скульптора из Рейнской области, в Академии показал себя способным к живописи и стал театральным художником, некоторое время был в Веймаре, ослеп. Наконец, Даннекер из Штутгарта, сын конюха, ставший одним из значительнейших скульпторов Бюртемберга; ему мы обязаны огромным бюстом Шиллера — вершиной портретного искусства; возможно, что при работе над ним он вспоминал чтение пьесы в лесу Бопсера.

Всемирно известная сцена могла бы послужить поводом для небольшого экскурса: кто и кому читал свои произведения в Штутгарте? Напомним лишь об одном случае. Осенью 1797 года в доме Rapna охваченный волнением Гёте читал только что написанную пьесу «Герман и Доротея». Слушателями были: хозяин дома купец Рапп и его жена, уже упомянутый Даннекер с женой и в ногах у

¹ Старое название Джакарты.

матери пятилетняя дочурка Ранна (в конце она просила читать дальше).

Уже в 1779 году Шиллер написал диссертацию по медицине, он представил ее в октябре. Тема — «Философия физиологии». Вряд ли ее можно было назвать шедевром, ибо по сегодняшним меркам он имел позади едва семь семестров специальной учебы, да и то в рамках общей подготовки. Но сохранившиеся части позволяют считать ее хорошо продуманным и содержательным исследованием. Работа, написанная на немецком и латинском языках, делилась на главы: Духовная жизнь. Кормящая жизнь. Размножение. Взаимосвязь этих трех систем. Сон и естественная смерть. Великолепное введение звучным языком воспевает божественный план мира — христианство, в изложении чувствуется просветительская струя, вероятно с привкусом масонства, что не должно удивлять, если мы вспомним о сильном влиянии Абеля.

Трое цензоров — Клейн, Консбрух и Ройс — оценили работу довольно скептически. Кандидат Шиллер довольно дерзко задевает признанные авторитеты. «При этом автор слишком смел, часто резок и нескромен по отношению к достойным мужам», — пишет Клейн. Бесцеремонное обращение с достопочтенными париками не нравится также Консбруху, который, впрочем, находит в работе «много хорошего и основательно продуманного», но также и чересчур смелого: «То, что душа вселяется в ребенка только во время рождения, — мнение слишком смелое даже для поэта»; но рецензент соглашается с тем, что и противоположная теория имеет свои противоречия. Все трое не рекомендуют работу к печати.

В письме к Зегеру герцог пишет, что он также против печатания диссертации, «хотя я и должен согласиться, что эта последняя не лишена достоинств и что в ней много огня. Но именно данное обстоятельство — мое глубокое убеждение в том, что огонь этот еще слишком силен — и заставляет меня отказаться от опубликования настоящей работы. Думаю, что будет очень хорошо продержат Шиллера еще год в Академии, чтобы жар его поостыл. Если он будет так же прилежен, из него еще может выйти великий человек» (VII, 713).

Шиллер, который видел себя уже на свободе, или по крайней мере вне стен Академии, был жестоко разочарован. Этот дополнительный год мало способствовал «охлаждению» молодого человека. На этот год приходится смерть Августа Ховена и душевное заболевание Граммона. Занятия в Академии не отягощали его — лекции о Гомере и Вергилии, курс психологии у Абеля, а также курс итальянского языка, несколько неожиданный, однако столь прекрасному латинисту он, должно быть, доставил удовольствие и пошел на пользу. Что касается медицины, то этот год был годом практических занятий, с неизменным дежурством в больничных палатах, включая дежурство возле Граммона и наблюдение за ним.

В это же время он продолжал трудиться над диссертацией «Опыт исследования вопроса о связи животной и духовной природы человека». Поскольку это исследование носило слишком философский

характер, от него потребовали написать еще и вторую работу по теме из практической медицины «О различии между лихорадками воспалительными и гнилостными». Первая диссертация получила положительный отклик. Автор говорит о «чудодейственной и удивительной силе, объединяющей гетерогенные основы человека в единую сущность. Человек не душа и не тело, человек есть теснейшее сочетание этих обеих субстанций». Как Шиллеру ни хотелось порой бросить эти кропотливые наблюдения за природой и навязать природе и человеку выдуманные законы, — как однажды умно заметил Петерсен — все же его укрощенная фантазия позволяла ему угадывать и намечать взаимосвязи, которые много позднее исследовала наука. Согласно установленному в Академии правилу, диссертация начиналась с посвящения высочайшему протектору, содержавшему изъявления благодарности в высокопарных выражениях; для Шиллера это было привычным делом, ибо ему уже не раз приходилось в Академии составлять торжественные речи в честь герцога и других высоких гостей. Правда, среди похвал в этом посвящении находим и весьма верные замечания, как, например, то, что герцог «с свойственными ему проницательностью и умением безошибочно оценивать людей» собственнически «выбрал из общей массы ученых» достойных преподавателей.

Работу рекомендовали к печати. Необходимую договоренность с типографией обеспечил сам автор; пользуясь возможностью, он составляет предварительную смету расходов и для своих «Разбойников». 9 и 12 декабря состоялись выпускные экзамены. 15 декабря Шиллер получил свидетельство об окончании учебного заведения и был отпущен из Академии.

Годы, проведенные в Карлсшуте, на глазах у герцога, во многом сформировали Фридриха Шиллера. Вхождение в новую среду, необходимость подчинения, пылкое воображение и мятежность духа, небрежение к занятиям и страстные порывы к знанию, оказавшие плодотворное влияние на его развитие, — все сосредоточилось в этом отрезке времени. Он никогда не отдалял себя от своих товарищей, всегда испытывал чувство единения с теми, с кем судьба назначила ему пройти этот путь. Впоследствии, вспоминая об Академии, он по-разному оценивал годы, проведенные там. Вот одно из его высказываний, опубликованное в «Рейнской Талии» за 1784 год: «Его школа обеспечила счастье многим сотням воспитанников, хотя именно мне с ней, может быть, меньше всего повезло».

ПОЛКОВОЙ ЛЕКАРЬ

Ветер свободы был подобен ветру хмурого и промозглого декабрьского дня. Карл Евгений не забыл про свое обещание позаботиться об устройстве будущей жизни мальчика, чем склонил отца Шиллера к согласию отдать сына в его, герцогскую, школу. Правда, устроил он это будущее не столь блестящим образом, как обещал. Шиллер был наз-

начен «полковым доктором» в штутгартский гарнизон, в гренадерский полк Оже; он должен был носить форму военного фельдшера, ему даже не присвоили лейтенантского звания, а месячное жалование составляло 18 гульденов. Полк Оже, в котором насчитывалось немногим более двух рот, был едва ли не самым жалким во всей и без того не слишком представительной вюртембергской армии и состоял по большей части из людей, от которых хотели избавиться в других местах; обмундирование соответствовало составу, было затасканным и в заплатках. Новые условия жизни Шиллера оказались не менее тяжелыми, чем у викария бедного деревенского прихода.

Поведение Карла Евгения по отношению к Шиллеру не один раз служило доказательством того, что он угадал способности, таившиеся в этом молодом человеке. Равнодушие, чуть ли не пренебрежение, которое он проявлял по прошествии времени, есть проявление несообразного характера этого властителя. Подобное отношение он вообще выказывал нередко. Его чутье на людей помогало ему угадывать таланты, и он проникался желанием дать таким юношам возможность проявить себя, не скупился на посулы; но в дальнейшем если и не отказывался выполнить обещание, то поступал непоследовательно, бывал часто мелочен, а если речь шла о деньгах, действовал с расчетливостью, доходившей до скупости.

Несмотря на разочарование, которое пришлось испытать семье, а в особенности честолюбивому отцу, переживавшему неудавшуюся карьеру сына еще болезненнее, чем он сам, Шиллер мог воспринимать теперешнее полусвободное существование в качестве военного медика как нечто лучшее в сравнении с тем, что он имел до этого. С ним по-прежнему оставались друзья. Шарфенштейн, годом раньше закончивший Академию и теперь уже лейтенант, еще прежде написал дружеское письмо Шиллеру, положив тем самым конец их старой размолвке. Ну а сейчас, коль скоро они оба в армии, он раскрывал другу свои объятия. Они встретились во время смотра, когда Шиллер был представлен как полковой медик. «Тот час, когда он должен был явиться перед полком, был и часом нашей встречи; как ненавистен был мне в ту минуту весь этот декорум, лишавший меня возможности заключить в объятия того, с кем я так долго был разлучен! Но до чего комично выглядел мой Шиллер, втиснутый в эту форму военного медика, тогда еще старого прусского образца, а уж на полковых фельдшерах казавшуюся особенно нелепой и безвкусной! Маленькая треуголка едва прикрывала макушку в том месте, где была нацеплена толстая и длинная искусственная коса; тонкую шею его стягивала узенькая, из конского волоса лента. Но более всего потрясала его обувь: здоровенные ботфорты, подбитые внутри войлоком, придавали его ногам сходство с цилиндрами, значительно превосходившими по объему тонкие ляжки, обтянутые узкими штанами; не имея возможности сгибать ноги в коленях, он шагал в этих ботфортах, чересчур надраенных ваксой, как журавль. Весь этот костюм, столь несообразный с сущностью Шиллера, не раз служил причиной дикого смеха нашей братии».

Служба не слишком отягощала полкового медика. Правда, однажды, в разгар эпидемии дизентерии, ему пришлось немало по-

трудиться, и тут он показал, на что способен. Он имел право заниматься частной практикой, но почти не прибегал к ней. Его гениально-буршеские замашки не соответствовали представлениям о солидном враче. Но гренадерам приходилось, разумеется, принимать его таким, каким он был; весьма скоро прошел слух, будто он прописывал повышенную дозу рвотного, чтобы скорее выявить болезнь. Шиллеру было дано строгое указание обо всех сомнительных случаях ставить в известность лейб-медика Эльверта, но он не следовал ему. Эльверт, дальний родственник, был человеком добрым и, щадя Шиллера, пошел на то, что дал распоряжение, согласно которому все подчиненные ему медики должны были показывать их рецепты сначала ему.

Шиллер наслаждался своей полусвободной жизнью всеми фибрами души. В тот период он вел отчасти разгульный, бесшабашный образ жизни, напоминающий студенческую жизнь тех лет, представление о которой мы можем составить по описаниям Лаукхарда *. Вместе с лейтенантом Капфом, грубоватым малым, он снимал тогда комнату в нижнем этаже дома на Кляйненграбен, позднее переименованной в Эберхардштрассе. В ней стояли две походные кровати; печь служила для обогрева и приготовления пищи; из прочей обстановки были стол и две скамьи; для платья — настенные вешалки; по углам — пустые бутылки, сваленная в кучу картошка, стопы отпечатанного текста (по мере того, как они приносились из типографии); обиталище это было насквозь прокурено. «Как-то раз встречаю я на улице Шиллера, он пригласил меня зайти к нему; Капфа дома не было, а Шиллер забыл взять с собой ключ; он не стал обращаться за ним к домовладельцу и одним ударом ноги вышиб дверь напроц...» — так сообщает Конц, друг его детства со времен жизни в Лорхе. Домовладельцем был профессор Гауг *. Надо заметить, что оба постояльца, лейтенант Капф и полковой медик Шиллер, имели к своим услугам денщиков, «двух малых». Но для тех, видимо, уборка жилья была уж слишком низкой работой (Шиллер: каналья мой парень), а может быть (и даже скорее всего), сами молодые господа чувствовали себя в этой берлоге естественно, нимало не смущаясь обстановкой, которая давала, должно быть, ощущение полноты и непринужденности бытия.

Неизменным местом встреч друзей был трактир «Бык» на Хауптштеттерштрассе. Сохранилась (удивительная случайность!) записка, которую Шиллер оставил однажды в трактире: «Очень мило, тоже мне друзья. Был здесь — но никого, ни Петерсена, ни Рейхенбаха. К дьяволу! Что же сегодня с маниллой? Черт поberi вас всех! Если захотите меня видеть — я дома. Adieu, Шиллер». Под «маниллой» (название карточной игры) подразумевалась рукопись «Разбойников». Сохранился также счет хозяина трактира Бродхага, в котором содержится перечень того, что было съедено и выпито господами Шиллером и Петерсеном в течение десяти летних недель: вино, ветчина, хлеб и салат (вероятно, картофельный) — всего на 13 гульденов и 39 крейцеров, что составляло примерно месячное жалованье Шиллера. Это были пирушки, озорные, шумные и благопристойные. Правда, однаж-

ды Шиллер прилично напился, это случилось на офицерском банкете его полка, устроенном по случаю дня рождения герцога, следовательно 11 февраля. Шиллер не держался на ногах, и его доставили домой на носилках. Штутгарт насчитывал в то время около 18 000 жителей, и трудно было что-либо скрыть от постороннего взгляда. После того памятного вечера в глазах штутгартцев он сделался пьяницей. (Но он никогда не был им, хотя, помимо кофе, постоянно употреблял вино и даже более крепкие напитки для поддержания тонуса, в случаях легкого недомогания. Правда, он не обладал чрезмерной выносливостью в отношении напитков, как, например, Гёте.)

Шиллер не имел права самовольно отлучаться из города, он должен был просить об увольнении даже в тех случаях, когда ему хотелось просто навестить родителей и сестер, живших в Солитюде — в двух часах ходьбы от города. Семья поселилась там в конце 1775 года, за несколько недель до того, как в Штутгарт была переведена КарлсшULE. Каспар Шиллер был назначен управляющим герцогскими садами и парками. В возрасте 52 лет ему представилась наконец возможность заниматься деятельностью, которая более всего соответствовала его потребности прилежно трудиться, его знаниям и наклонностям. Дом, в котором семья жила в 80-е годы, находился по соседству с апельсиновыми оранжереями; сам дом стоял на возвышенном месте, в ясные дни взору открывались отсюда неоглядные просторы, а в открытые окна веяло ароматом цветущих деревьев. Шиллер охотно приводил сюда друзей, они всегда находили самый радужный прием, ощущали тепло и заботу, особенно со стороны матери. Шарфенштейн вспоминает: «Это было на редкость прекрасное материнское сердце, я не знал более замечательного, теплого, домашнего существа, чем эта женщина. Как часто мы совершали набеги туда, к ней, когда хотели изведать блаженство! Чего там только не пекли и не жарили для любимого детища и его товарищей!» По-своему выказывал радушие и отец, живо интересовался новостями и сам был не прочь рассказать историю-другую из своей армейской жизни. Теперь он обрел наконец покой и был доволен. Но сын! Как немилостиво обошлась с ним судьба! А ведь он окончил, и успешно, одно из лучших учебных заведений Германии. А кем он был в своей форме военного фельдшера? Тем же, что и его отец в молодые годы, вовсе не получивший никакого образования!

Теперь Шиллеру ничто не препятствовало общаться с женщинами, которых в стенах Академии, изолированной от внешнего мира, он практически не имел возможности даже видеть. Должно быть, он испытывал непривычное чувство, пожалуй, отчасти и робость. В штутгартский период жизни он встретил женщину, которая в немалой степени захватила его воображение. Выражаясь старомодным слогом (что здесь вполне уместно), он одухотворил ее образ, сделал предмет своей музыки, другими словами — обрушил на нее поток страстных, эмоциональных стихов. Луизе (Лауре) Фишер было немногим более тридцати лет; вдова недавно умершего офицера, мать двоих детей, «художавая блондинка с голубыми сияющими глазами» (Боас) *.

По-солдатски грубовато выразился о ней Петерсен: «Что внутри, что снаружи — левая бабенка, усохшая, как мумия». Но многие высказывались о ней более любезно. Отмечали живой ум. Если не ум, то, во всяком случае, образованность. Кроме того, она играла на клавесине. Шиллер, восприимчивый к музыке, но не слишком изощренный в ней, восторгался ее игрой. «Лаура за клавесином» — так называется одно из стихотворений, которое преподнес ей в дар восхищенный автор. «Чуть коснешься ты струны послушной, — чудо! — то, как статуя, бездушный, то бесплотный, молча я стою» (I, 109). По меньшей мере полдюжины из ранних его стихотворений посвящено Лауре. Это лучшие из них.

Он видел перед собой женское существо, за клавесином или на софе, и образ этот стал для него желанным воплощением всего женского пола. Благопристойная вдова взяла с него слово оставаться в рамках приличий, «быть послушным», каких бы усилий это ни стоило. «Поклялся я, да, я поклялся обуздывать себя», — говорится в стихотворении «Вольнодумство страсти». Но ему, «отравленному сладким ядом», лишь с трудом удавалось сдерживать клятву.

Как быстро от твоих горячих прикосаний,
Как быстро, о Лаура, прочь
Спадает цель моих поспешных обещаний
И долга твоего ярмо как просто превозмочь.

Уж пробил час, вечерний, долгожданный,
Уж брезжит счастье мне —
Послушно замолчал упрек в устах желанных,
Послушно взор твой близится ко мне.

И страх объял меня пред столь доступным счастьем,
Я не достиг его.
Пред божеством твоим робеет сладострастье,
Я, страждущий! Я не достиг его!

(Перевод А. Гугнина.)

Стихи, в которых отразились личные переживания. Впрочем, их отношения ни для кого не были тайной. Фишер бывала в гостях у Шиллеров в Солитюде. Она была знакома с Генриеттой фон Вольцоген из Тюрингии: ее сыновья учились в Академии, и она время от времени приезжала в Штутгарт. В мае 1782 года обе, Вольцоген и Фишер, вместе с Шиллером ездили в Мангеймский театр. И с детьми Фишер Шиллер подружился, затевал с ними шумные игры.

В 1781 году им написано так много стихов, что невольно приходит мысль об их «фабрикации». Почти все писались в спешке, небрежно; экзальтированные, часто крикливые, они рассчитаны на сильный, резкий эффект; некоторые циничны, написаны в грубовато-буршеской манере и невольно вызывают смех. Однако во всем этом чувствуется мощь слова, угадывается гений. Изучение ранней поэзии Шиллера подобно прогулке по винному подвалу поздней осенью; справа и слева в бочках молодое вино, оно бродит, шумит, урчит, булькает, клоочет. Под сводами царит кислотоватый ароматный запах, не совсем

безопасный, смешанный с ядовитыми эссенциями. Пройдет время, и может получиться великолепное вино.

В начале года умер один из товарищей — Иоганн Христиан Векерлин. Шиллер написал «Элегию на смерть юноши», которая начинается словами:

Словно близкой бури стон печальный,
Слышен скорбный колокольный гул. (I, 96)

Элегия была напечатана в типографии Мэнтлера за счет пожертвований коллег-медиков. Это произведение доставило поэту много неприятностей с цензурой. Цензоров привело в ярость свободолюбие, которым пронизано это траурное стихотворение не без едких слов по адресу пиетистов и ортодоксов:

Только драгоценна та дремота
В тесном доме, где ты спишь, мертвец!
Там проходят радость и забота,
Мукам человеческим — конец.
Пусть вопит неистовой кликушей
Клевета! Пусть, брызгая слюной,
Злобствует обман и криводушие...
Там они не властны над тобой...
Пусть апостольскую маску подлость носит... (I, 96—97)

Подобные стихи сделали полкового врача в тесном Штутгарте, по его словам, «более подозрительным, чем двадцать лет практики». Кстати, неприятности, которые пришлось пережить Шиллеру в связи с элегией, имели место незадолго до того банкета, после которого он приобрел славу пьяницы, отсюда можно себе представить, что говорилось в домах Штутгарта об этом «червивом плоде» с дерева Карлсшале.

При изучении стихов, собранных Шиллером в конце этого года, иногда создается впечатление, что поэт, своенравный и язвительный, хотел еще раз утвердиться в своей плохой репутации. Публикацию произведения вроде «Кастраты и мужчины» можно оценить как мужское бахвальство самого грубого и неприятного свойства. В этом раннем громоподобном стихотворении Шиллера слышны отзвуки барокко. Поэты барокко тоже открыто мечтали о блаженстве чувственной любви, но Квиринус Кульман * или Иоганн Кристиан Гюнтер * высказывались о ней как о чувстве сокровенном и прекрасном. Упомянутое стихотворение Шиллера подходит скорее для фривольных страниц в студенческих журналах.

Упомянутый сборник есть «Антология на 1782 год», выпущенная самим Шиллером, с вымышленным обозначением места издания: «Отпечатано в типографии Тобольска» (что до сих пор вызывает у многих обывателей восторги по поводу того, как быстро слава поэта проникла в далекую Сибирь). Указанием на Тобольск автор хотел заклеймить духовную пустыню своей вюртембергской родины — так, как он ее иногда воспринимал; но действительность не была такой пустынно-ледяной. Антология содержит множество колкостей по адре-

су «Альманаха муз», незадолго до этого выпущенного Штойдлином *, в котором стихам Шиллера не нашлось подобающего места; антология была сознательной акцией, рассчитанной на создание конкуренции.

«Посвящается моей госпоже смерти» — так выглядит посвящение, в нем говорится: «Всемогущественнейший царь всего Мяса, постоянный Уменьшитель государства, непостижимый Ненасытец во всей природе! С верноподданническим подкожным трепетом осмеливаюсь я целовать стучащие фаланги у твоего прозорливого Величества и со смирением возлагаю перед твоей высохшей известковостью эту книжицу...» — и в таком духе на протяжении более четырех страниц. Это не глубокомысленный тон, в котором Вандсбекский вестник ведет диалог со своим другом Хейном *. Это грубоватый тон парней, который нравился полковому врачу. Роберт Миндер связывает это посвящение с постоянно находившимся под угрозой состоянием здоровья поэта. «С необъяснимой энергией Шиллер жил бок о бок со смертью» *. И в самом деле, это одно из проявлений гигантского подвига человека, о жизни которого мы ведем рассказ; к этому мы еще не раз вернемся. Что касается посвящения, то факультет мог свидетельствовать: смерть — последняя инстанция врачей.

Антология на три четверти состоит из ранних произведений Шиллера. Чтобы создать видимость большого круга сотрудников, он поместил свои произведения одиннадцатью различными псевдонимами. Другие материалы принадлежат его прежним учителям Абелю и Хаугу *, а также его товарищам Ховену, Петерсену и Людвигу Шубарту, сыну узника в Асперге. В основном же «Антология на 1782 год» представляет собой поэтическое свидетельство молодого Фридриха Шиллера. Грубые, окрашенные непристойностью произведения здесь единичны. Конечно, они обращали на себя внимание не только потомков, но прежде всего поражали современников. Стихи отличаются смелостью и в другом отношении; таково произведение «Дурные монархи», которое несет на себе влияние «Гробницы государей» Шубарта. Много написано в духе Клопштока.

Вдаль, сквозь сонмы миров, тех, что из бездны вод
К жизни вызвал творец, вихрем стремлю полет,
Уповая
Стать у самого края,
Бросить якорь, где тишь и мгла,
Где граница мира прошла. (I, 124)

То здесь, то там строфа, которая на долгое время врезается в сознание поколений.

Привет тебе, прекрасный!
С кошицею цветов,
Природы упоенье,
Пришел ты средь лугов! (I, 124)

Но лучшими являются стихи, посвященные Лауре. Шиллер позднее весьма критически оценил свои ранние произведения, только немногие из них отобрал для издания. Грубое и шутовское он сорвал как струп со старой раны. К отбору для антологий и альманахов он подходил

с такой строгостью, что не делал исключения даже для самого Гёте. Его несправедливая резкость к гениальному Бюргеру, видимо, основывалась на том, что он находит нечто родственное между ним и молодым Шиллером.

Полковой врач приобрел первый практический опыт как автор и издатель в области полиграфии, издательского и журнального дела. В мае 1781 года он анонимно взял на себя редактирование листка «Сообщения для пользы и удовольствия. С милостивого герцогского разрешения. Штутгарт. Напечатано у Кристофа Готфрида Мэнтлера». Побочное занятие, небольшое достижение, ибо в основном это букет чахлах цветов, заимствованных из других публикаций; издание почло в конце года. Недовольство «Швабским альманахом муз» Штойдлина побудило Шиллера издать собственную «Антологию на 1782 год». Он не только сам написал для нее большую часть стихотворений, но и на собственные средства издал ее (правда, на деньги, взятые в долг). Поскольку он не расплатился еще с прежним долгом — 150 гульденов, которые им заняты были у жены одного капрала на печатание «Разбойников», то теперь он должен был сумму, превышавшую размеры годового жалованья.

Совместно с профессором Абедем и Петерсенем Шиллер затевает издание журнала «Виртембергский реперторий литературы» *. Первая объемистая книжка журнала содержала значительный материал, написанный Шиллером, без указания имени автора: статью о немецком театре; обстоятельную и ценную для потомков аннотацию на «Разбойников», рецензии (некоторые из них задевают несимпатичного ему Штойдлина); философский диалог двух друзей «Липовая аллея была излюбленным местом их размышлений» — место действия наваяно, должно быть, воспоминаниями о детски-серьезных разговорах приятелей в Людвигсбурге.

В Германии тогда было три крупных журналиста, все трое родом из южных местностей (четвертый, Мельхиор Гримм * из Регенсбурга, обосновался в Париже). Первый журналист Шлёцер *, родом из Гогенлоэ, издавал в Гёттингене «Штаатсанцайгер», который приобрел необыкновенную популярность. «Что скажет об этом Шлёцер?» — заметила однажды со вздохом Мария Терезия после заседания кабинета; Екатерина II посылала длинные письма из Петербурга в Гёттинген. Второй — Вильгельм Людвиг Векрлин * из Вюртемберга, для которого путь на родину был закрыт, но не из-за отношений с герцогом — тот ничего не имел против него, а по причине семейных интриг. Он издавал содержательные журналы и брошюры, которыми восхищались самые светлые умы в Германии, но в жизни ему не везло.

Третий был Шубарт, живший после изгнания его из Людвигсбурга в Аугсбурге, а затем в Ульме и издававший «Немецкую хронику» — газету, которая приобрела исключительную популярность. В 1777 году Карл Евгений, действуя через своего чиновника в Блаубойре, обманным путем завлек его на вюртембергскую территорию и там приказал арестовать и заключить в крепость Асперг. Герцог и вообще-то никогда не любил Шубарта, а уж когда тот позволил себе грубые насмешки в адрес Франциски, окончательно вышел из себя. В течение года Шубар-

та содержали в мрачной темнице, находившейся в башне крепости. Затем положение его было несколько улучшено: ему отвели более приличное помещение, он мог свободно передвигаться внутри крепости; выражаясь не слишком лестно — был на положении «тюремного клоуна». Ему разрешалось, а, точнее он должен был музицировать, сочинять стихи ко дню рождения офицеров, их дочерям давать уроки музыки, во время празднеств выступать в роли Maître de Plaisir, разыгрывать шута. Так он влачил свои дни. На свободу, как ему было обещано, он должен был выйти лишь в 1787 году.

Комендантом крепости был генерал Ригер, сам переживший когда-то ужасные дни заключения в Хоэнтвиле. Осенью 1781 года крепость посетил Ховен, к тому времени врач сиротского приюта в Людвигсбурге; он как раз попал на празднества по случаю дня рождения Ригера, устройтелем которого был Шубарт... «Занавес поднялся, вышел ведущий и начал читать приветственный стих, сочиненный Шубартом специально к этому дню. Едва он произнес первые слова: «Благородный Ригер», как генерал тотчас зааплодировал, крикнул «бис», и слова «благородный Ригер» были повторены» (Боас). Ригер пригласил Ховена еще раз посетить крепость и привести с собой Шиллера. В Асперге уже знали «Разбойников». Ригер, человек весьма своеобразный, решил устроить встречу старого и молодого поэтов, задумав придать ей необычный, драматический характер. Он велел Шубарту написать рецензию на «Разбойников». Шубарт писал: «Едва ли могу назвать другого такого же молодого немца, как Шиллер, у которого из души высекались бы святые искры гения, подобно пламени, вспыхивающему над жертвенным алтарем».

Встреча их произошла в один из ноябрьских дней. Появление в крепости Шиллера, который прибыл туда в сопровождении Ховена, вызвало у коменданта бурную радость. Далее была разыграна настоящая сцена. Ригер провел гостей к Шубарту; Шиллер представился ему как доктор Фишер. Спустя некоторое время зашел разговор о «Разбойниках». Доктор Фишер заметил, что знаком с автором, и даже близко. Ригер обратился к Шубарту: «Да ведь вы, кажется, написали рецензию, не хотели бы вы?..» И хотел того Шубарт или нет, но текст уже в руках; тяжело дыша и фыркая, он принялся читать. А не хочет ли рецензент познакомиться с автором? О! Ригер: «Вот он, перед вами». Замешательство. Слезы. Объятия. Ригер очень доволен собой: все удалось как нельзя лучше! Так выглядела эта встреча, одна из самых удивительных сцен в этом многострадальном месте Швабии. Шиллер и Ховен, который описал ее для грядущих поколений, покинули крепость очень довольными.

Вечным творением юношеских лет Шиллера остается его драма «Разбойники». Со всей определенностью можно сказать, что, создавая «Разбойников», он меньше всего помышлял о литературной славе, а повиновался могучему, неудержимому, боровшемуся с условностями чувству. Охваченный этим настроением, он часто говорил: «Мы напишем такую книгу, которая непременно будет сожжена рукой палача».

Так пишет Шарфенштейн. Песнь протеста, в вычеркнутых поздние строках, крик протеста. Определение «юношеское произведение» не является неправильным, но оно звучит снисходительно и сглаживающе для такой неуравновешенной пьесы, в спешке, украдкой, в ночные часы набросанной экзальтированным семнадцати-восемнадцатилетним юношей, пьесы, которая живет вот уже два столетия и пользуется мировой славой.

По окончании Академии главной заботой Шиллера было напечатать и выпустить в свет «Разбойников». Вместе с печатанием было положено начало долгам, которые с годами все увеличивались и давили на него. То, что он принужден был обратиться за деньгами к жене унтер-офицера, свидетельствует о том, что его друзья так же, как и он, не имели средств — ведь доброй воли у Ховена, Шарфенштейна и Петерсена было не занимать. В марте 1781 года печатник уже имел в руках наличные деньги и принялся за дело. Указанные места издания: «Лейпциг» и «Франкфурт» были фиктивными; издатель, заклиная или шутя, выбрал два больших ярмарочных города. Знаменитый девиз «На тиранов», так же и рычащий лев, который украшает лист, принадлежат не Шиллеру, а граверу из Академии, сделавшему это бесплатно *. С ликованием были встречены первые отпечатанные листы; остальные, следовавшие за ними, складывались стопками в комнате, где обитали Шиллер и Капф; в задумчивости взирал на них гордый сочинитель, ибо сбыт их представлялся достаточно проблематичным. В конце марта Шиллер послал первые семь отпечатанных листов в Мангейм придворному книготорговцу Швану, с тем чтобы заинтересовать его.

Шиллер не промахнулся адресом, отослав листы Швану. Получив «свежеиспеченное», как он писал Шиллеру, торговец зачитывает его директору Национального театра, барону Дальбергу. (О Мангеймской театральной жизни будет сказано в следующей главе.) Таким образом, Шван связал Шиллера с очень важным для него лицом. Однако он не решился издать пьесу; ему казалось, что многое в ней не отвечало требованиям публики. В июне «Разбойники» были напечатаны полностью тиражом 800 экземпляров по цене 48 крейцеров, или 12 грошей. Один экземпляр направляется Швану, который признает большие сценические возможности пьесы и связывается с Дальбергом и другими деятелями Национального театра, в том числе с Иффландом. В начале лета Шиллер получает от Дальберга лестное письмо с предложением сделать сценический вариант и с намеками на возможность дальнейшего сотрудничества.

Свое ответное письмо Дальбергу Шиллер облакает в учтиво-изысканную форму, сообразуясь с правилами составления посланий знатным особам, но выказывает при этом скромность и чувство собственного достоинства. К похвалам Дальберга он отнесся лишь... как к поощрению своей музыки. «Глубочайшая убежденность в собственной слабости не позволяет мне видеть в них нечто большее. Но если когда-нибудь в будущем моих сил достанет на подлинно мастерское произведение, то я и мир будем исключительно обязаны этим теплой отзывчивости вашего превосходительства» (VII, 16). Он пишет, что

желал бы со временем обосноваться в Мангейме: «Милостивое предложение вашего превосходительства касательно моих «Разбойников» и последующих пьес мне бесконечно ценно, но для того, чтобы им воспользоваться, мне, собственно, нужно было бы точнее ознакомиться с партикулярными обстоятельствами театра вашего превосходительства, с господами актерами и non plus ultra¹ театральной механики; короче говоря, увидеть все собственными глазами, ибо иначе я никогда не смогу отрешиться от впечатлений штутгартского городского театра, все еще пребывающего в состоянии несовершеннолетия» (VII, 16—17). Слова «городской театр» не слишком учтивы — колкость, от которой он не мог удержаться, — это был придворный театр, правда, «из разряда обычных сцен, ничем особенно не блиставших» (Рудольф Краус). Подписывая письмо, Шиллер добавляет к своему имени звание доктора, которое он не заслужил.

Много времени в этом году Шиллер уделяет критическому просмотру, изменению и переработке «Разбойников». При этом его самолюбие не было задето. «Я все вспоминаю, — пишет его учитель Абель, — нашу прогулку с Шиллером и библиотекарем Петерсенем. Предметом разговора тогда были недостатки пьесы. Отбросив всякое самолюбие, он сам тонко и умно разбирал пьесу, выискивая недочеты, вместе с тем внимательно выслушивал доводы и замечания своих друзей, не выражая при этом неудовольствия или нетерпения». Так же охотно он откликнулся на требования и пожелания Дальберга о переработке пьесы для мангеймской сцены. Только в одном пункте он долго не хотел соглашаться. По духу и содержанию, как это замыслил автор, «Разбойники» должны были быть современной пьесой. И в самом деле, разбой и воровство были фактом реальной действительности, явлением социальным, особенно в Швабии. Зонненвирт Абеля был просто одним из многих, и с того времени мало что изменилось. (Дальберг предлагал перенести действие пьесы в позднее средневековье, ко времени царствования Максимилиана I. *) Причины понятны: чтобы отвести всякие подозрения со стороны цензуры, лучше перенести время действия в прошлое. Но автор упорно не соглашается сделать это; переписка его с Дальбергом, касающаяся вопросов переделки пьесы, длится с начала октября до середины декабря. Утверждение Дальберга о том, что такая шайка не могла существовать «в нашем светлом столетии, при нашей отшлифованной полиции и решительности законов», не соответствовало действительному положению вещей. Истинные и здравые соображения, из которых, быть может, исходил Дальберг, он, по-видимому, не высказал прямо. В конце концов Шиллер сдался — что оставалось ему делать?

Между тем слухи о «Разбойниках» распространились за пределы Штутгарта и Мангейма. Первая рецензия на пьесу появилась 24 июля в «Эрфуртишен гелертенцайтунг», и первым рецензентом, вероятно, был известный критик Тимме из Арнштадта, человек весьма неглупый.

¹ Наилучшими образцами (лат.).

«Живой полнокровный язык, огненный стиль, стремительное развитие идеи, смелый полет фантазии, некоторые неаргументированные выражения, поэтическая декламационность и склонность не подавлять блестящую мысль, а сказать все, что только может быть сказано, — все это характеризует автора как молодого человека, у которого не просто бурно кровь течет по жилам и есть богатый дар воображения, но горячее сердце, переполненное чувством и стремлением к благородному делу. Если мы имеем основание ждать немецкого Шекспира, то вот он, перед нами». Такая оценка приобретает тем большее значение, если учесть, что было немало критических высказываний в адрес пьесы; к тому же рецензент является, скорее, приверженцем классических правил, скептически настроенным по отношению к «неистовым гениям». Он возражает, правда несправедливо, против множества действующих лиц — «к чему целая шайка?». Или: «Рассказы Шпигельберга не только скучны, но и отвратительны». И так далее. Шиллер отнесся к этой оценке очень серьезно и высказанные замечания учел при переработке.

«Единственная драма, выросшая на вюртембергской почве» (VI, 519). Этими словами начинает Шиллер обстоятельную авторецензию на «Разбойников», которая была опубликована в журнале «Вюртембергский репертуарий» * без указания имени автора. Эта фраза примечательна как признание, в котором нашло отражение решение Шиллера о бегстве из Вюртемберга. К тому времени поэт работал над второй пьесой, «Фиеско», и надеялся, видимо, закончить ее не «на вюртембергской почве». Обстоятельная, написанная живым языком авторецензия содержит краткое изложение содержания, психологическую обрисовку характеров славных персонажей, отрывки из текста и критические замечания. «Разбойник Моор не вор, но убийца. Не негодяй, но чудовище. Если не ошибаюсь, Плутарху и Сервантесу обязан этот странный человек своими основными чертами (сноска относится к Роке из «Дон Кихота»), чертами, которые, по образцу Шекспира, сплавлены самобытным духом поэта в новый, правдивый и гармоничный характер. Ужаснейшие из его преступлений — следствие не столько дурных страстей, сколько нарушенного равновесия хороших» (VI, 524). Остроумно порицает он самого себя: «Кроме того, следовало, в общем, соблюдать большую благопристойность и мягкость. В действительности Лаокоон может реветь от боли, но в изображительном искусстве ему разрешено лишь страдальческое выражение лица. Автор, верно, возразит: я изображал разбойников, и изображать разбойников скромными было бы промахом с точки зрения естественности. Правильно, господин сочинитель! Но зачем вы остановились на разбойниках?» (VI, 534). Премьера «Разбойников» на сцене Мангеймского национального театра состоялась вечером 13 января 1782 года. За день до спектакля Шиллер тайно выехал из Вюртемберга вместе с Петерсеном. По дороге в Мангейм, в Шветцингене, оба так увлеклись хорошей кельнершей, что едва успели к началу представления. «Ему отвели специальную ложу, откуда бы он, оставаясь скрытым от посторонних взглядов, мог смотреть, как играли его пьесу. Но поскольку он допустил неосторожность, назвав при въезде

в город свое имя, то все уже знали, что на спектакле присутствует сам автор...» Так свидетельствует Шван, у которого друзья остановились. Состав исполнителей был превосходным; знаменитый Бёкк играл Карла Моора, еще более знаменитый Иффланд — Франца. Театр был переполнен — люди приехали из Пфальца, Дармштадта, даже из Франкфурта, — спектакль имел небывалый успех. Описание того, как играл Иффланд Франца Моора, оставленное одним из современников (Бёттигер), дает некоторое представление о спектакле:

«Со страшным, устремленным вперед взглядом, сначала горящим, затем постепенно застывающим, в торжественной, но словно окаменевшей позе — правая рука выброшена вперед, как бы для борьбы, а левая судорожно прижата к груди, как бы для защиты, — он выкрикнул: «Мститель там, в небесах?» Возникла пауза. Тихое, робкое, боязливое: «Нет!» Снова пауза. Удар молнии, которого он боялся, не испепеляет его. У богоотступника растет преступная решимость. «Нет!» — рычит он еще раз, скрежеща зубами, подняв к небу сжатую в кулак руку и топнув ногой. Теперь ему не страшен и тот, кто на небесах. Но внезапно на него низвергается целый ад. Волоса поднимаются дыбом, колени трясутся и подгибаются. Впечатление приближающейся смерти! Молния пронзает омраченную душу, и ему чудится всевышний судия с весами, подвешенными к небу. „А если... — бормочет он, хрипенье вырывается из груди, —... если все тебе зачтет-ся! (Это слово он произносит раздельно). Зачтется еще этой ночью!"»

После спектакля — веселое пиршество при участии всех актеров (при этом, конечно, как отмечает Петерсен, «много пустой болтовни об искусстве»). С неохотой возвращается Шиллер в Штутгарт, с отвращением надевает снова свою фельдшерскую униформу. Однако служба, профессия, или как это еще назвать, становится второстепенным занятием. У поэта и издателя много дел. Одна за другой выходят в свет «Антология на 1782 год», «Виртембергский репертуарий». Пылкое воображение подсказывает замыслы новых драматических произведений, является мысль написать трагедию о Конрадине, навеянная впечатлениями от прогулок в детстве по окрестностям Лорха, по славным местам исторического прошлого; образ Конрадина вытесняется Фиско — яркой фигурой в истории Генуи; полковой врач погружается в изучение исторических трудов, прежде всего французских исследований. В то же время поэт поглощен дальнейшими заботами о «Разбойниках». В апреле пьеса выходит в издании Швана, представляющем собой вариант, переработанный для сцены; впрочем, это было еще более дешевое издание, чем издание самого Шиллера (32 крестцера вместо 48).

Поэта неудержимо тянет в Мангейм. В мае герцог уезжает в Вену, чтобы лично поблагодарить императора Иосифа II *, который возвел его Академию в ранг университета. Шиллеру настолько тягостно испытывать на себе власть своего повелителя, что его отсутствие он тотчас использует для поездки в Мангейм. Он и на этот раз не оформляет официального увольнения, однако ставит в известность своего шефа, полковника фон Рау. Он отпрашивается в обществе ка-

питанши Фишер и госпожи фон Вольцоген. Ховену второпях отсылает записку: «Прихвати на случай две рубашки и что-нибудь приличное из платья, из того, что надеваешь под сюртук. Разумеется, сапоги и, пожалуй, дуката два денег. Если можешь и хочешь, то приезжай». Но Ховен приехать не смог.

Генриетта фон Вольцоген была вдовой барона Эрнста Людвига фон Вольцогена, тюрингенского помещика, который состоял в родстве с семейством фон Ленгефельд. Она осталась вдовой в тридцать лет и почитала за счастье, что ее четыре сына воспитывались в Академии герцога Вюртембергского. Из-за них она переселилась в Штутгарт.

Эта поездка, в прекрасное время года и в обществе двух дам в четырехместном экипаже, была не слишком удачной. Из-за отсутствия некоторых актеров не могли дать «Разбойников», как было обещано. Вместо них играли «Гражданина мира» Гольдони и «Юную индианку» Шамфора *. Шиллер вел переговоры с Дальбергом, и тот обещал ему сделать все для его устройства в Мангейме, но оба знали, что главная проблема — это уход с вюртембергской службы. Шиллер заболел гриппом и вернулся в Штутгарт с температурой, беспокойный, отягощенный думами.

Конечно, его поездка не осталась незамеченной в Штутгарте, не только потому, что он был с двумя дамами, а из-за беспечного поведения в дороге. Миновало несколько недель, все оставалось по-прежнему, никаких известий не было и от Дальберга. 28 июня Шиллер получает приказ явиться в Хоэнгейм к герцогу; к его дому был подан конь из герцогской конюшни, что означало благосклонное настроение высочайшего повелителя. Он скачет по полям и лесам в резиденцию Карла Евгения. (Шиллер ездил верхом не без охоты, но плохо.) Его светлость встречает «своего сына» приветливо, прогуливается с ним по садам, показывает то и другое. И вдруг как выстрел из пистолета: «Он был в Мангейме, я знаю все; я говорю, полковник также знает об этом». Шиллер выкладывает все начистоту. Но берет под защиту своего начальника — тот-де ничего не знал. Светлейший холерик меняется в лице. Он угрожает — а Шиллеру известно, как быстро угроза приводится в исполнение, — грозит крепостью, где уже сидел Шубарт, грозит лишиться отца места и куска хлеба. Шиллер не сдается (быть может, он, несмотря на страх, в глубине души наслаждался своим благородным поведением в столь драматический момент?). Он отпущен в немилости — «это еще отзовется», — обратный путь он проделал пешком. Но вот оно — четырнадцать дней ареста, и ничего больше, и, кажется, не столь уж нелепо видеть в этом скрытое доказательство благосклонности. Шиллер, сидя на гауптвахте с пером и чернильницей, воспринял это не так. Весьма вероятно, что именно в эти дни, когда он находился под арестом, зародилась мысль о «Коварстве и любви», мещанской трагедии, обличающей деспотизм двора. Не тяжким был арест, но и это не привело к добру: Шиллер проиграл в карты вахтенному офицеру 15 гульденов.

Это было в начале лета 1782 года. Герцог запретил Шиллеру всякие сношения с заграницей (к которой относился Курпфальц как ближайший имперский город), и главным образом из-за того, что

премьеры «Разбойников», столь беспримечательной пьесы, состоялась в Мангейме, а не в его Штутгарте, а это-то и задело герцога. Он еще испытывал в равной степени неудовольствие и гордость, когда думал об этом своем непокладистом сыне. Но к концу лета наступил резкий перелом в его отношении к Шиллеру. Поводом послужил случай едва ли не смехотворный.

«Но мошенника (сделать. — *Прим. перев.*) — это дело посложнее! Тут необходим подлинный национальный гений и известный, как бы это сказать, мошеннический климат. Поэтому я советую тебе: съезди-ка в Граубюнден. Это Афины нынешних плутов» (I, 417). Так говорит Шпигельберг в 3 сцене 2 действия, и слова эти вставлены в текст «Разбойников» только потому, что один, особенно нелюбимый, надзиратель в Карлсшуте был уроженцем Граубюндена. И вот нашелся по крайней мере один из читателей «Разбойников», житель Граубюндена, некто д-р Амштейн, который счел, что возмутительные места в тексте достойны публичного порицания, и с тем выступил на страницах одного журнала: «В защиту Бюндена против поношений иностранного сочинителя комедий». Журнал был прислан Шиллеру с требованием дать опровержение. Ответа не последовало. Но его противник из Бюндена не успокаивается. Он обращается к людвигсбургскому инспектору садоводства, члену-корреспонденту экономического общества в Бюндене г-ну Вальтеру с просьбой довести дело до сведения его герцога — что тотчас и последовало. Именно это становится для Карла Евгения той каплей, которая переполнила чашу. Он мог бы этот вопрос, который инспектор представил на его разбирательство, преподнести как дело необычайной важности, обдумать и с улыбкой уладить. Но он, напротив, снова вызывает Шиллера в Хоэнгейм, набрасывается на него с угрозами: вплоть до разжалования — никаких больше комедий. Кроме медицинских сочинений, ничего больше; и с тем герцог отпускает его.

Следует, между прочим, заметить, что вопросы чести жителей Швейцарской конфедерации * в те годы снова привлекли к себе внимание. Именно в том, 1782 году, в Гларусе была сожжена несчастная женщина, признанная ведьмой. Возможно, это было последнее подобного рода позорное деяние в цивилизованной Европе. Векрлин, крупный швабский журналист, должным образом прокомментировал этот случай в своем «Хронологе». Вскоре после этого власти города Гларуса обратились к властям Оттингена-Валлерштейна с настоятельной просьбой о том, чтобы писателю посадили в тюрьму; так как никаких ответных действий не последовало, то выступили с требованием, чтобы он предстал перед собранием городского совета Гларуса. А так как и оно осталось без внимания, то решили, что журнал должен быть сожжен рукой палача (как представлял себе судьбу своих «Разбойников» Шиллер); вместе с тем дали публикацию о розыске Векрлина, который «отказывает во всякой почтительности к суверену (Гларуса)», с описанием его личности, оно заканчивалось словами: «и вообще исключительно безобразное создание». Розыскиваемый поспешил напечатать это в своем журнале. Нескоролько лет спустя возник новый конфликт из-за чести одного кантона с швабским

публицистом Армбрустером, который порицал нравы жителей Золотурна. Жители Цюриха вступились за честь дружественного члена Швейцарской конфедерации и арестовали автора; на допросе он признался, что информацию получал от жителя Золотурна по имени Люти, который в настоящее время пребывает в Лионе. Вследствие чего совет Золотурна обратился к Франции с требованием *lettre de cachet*¹. («Фосшише цайтунг» перевела это как «разыскное письмо».) Достойный ответ французской стороны: «Если Люти провинился как писатель, то и порицать его следует как писателя». Но тот доставил радость своим властям тем, что сам вернулся на родину, так что они могли его засадить теперь под арест.

В деле Граубюндена против Шиллера момент оскорбления достоинства кантона, вероятно, оказал решающее влияние на ход жизни великого человека. Так кажется, но следует поставить вопросительный знак. Несомненно одно: протест жителя Бюндена был единственной причиной, которая побудила герцога запретить поэту писать, — не содержание «Разбойников», которое можно воспринимать как революционное, не покоряющий огненный язык, не дерзость и отчаянность, кипящие в этом произведении *. Напротив: Карл Евгений взорвался оттого, что премьера состоялась за границей, а не в Штутгарте, где пьеса была поставлена двумя годами позже. Обоснованность и необоснованность «запрета писать» являют собой особенно наглядный пример странного смещения деспотизма и широты взглядов, которое неизменно поражает нас в этом правителе.

В ряду причин, которые привели Шиллера к бегству из Вюртемберга, упрямство оскорбленного врача из Хура является важным звеном. С другой стороны, можно задаться вопросом: а не предпринял бы он попытки после окончания Академии все равно вырваться отсюда, рано или поздно? «Мои кости сообщили мне доверительно, что им суждено истлеть не в Швабии», — заявил он другу Эльверту, едва став полковым врачом. Теперь, в конце августа 1782 года, он принял твердое решение. Свидетельство Шарфенштейна: «Он сказал коротко: я не могу так жить, я должен уйти». Правда, письмо, которое Шиллер написал герцогу 1 сентября, свидетельствует о том, что он сделал еще одну, последнюю, попытку остаться на родине.

«Фридрих Шиллер... всеподданнейше просит о милостивом дозволении и впредь публиковать свои литературные произведения». Затем: «Внутреннее убеждение в том, что мой государь и неограниченный повелитель в то же время является мне вторым отцом, дает мне смелость сделать вашей светлости ряд верноподданнейших представлений с целью просить о смягчении относящегося ко мне приказа». Смирненная, идущая от сердца просьба, в которой, однако, неожиданно прорывается гордость: «Из всех многочисленных воспитанников герцогской Академии я первый и единственный привлек к себе внимание и завоевал для нее известное уважение» — честь, которую он относит на счет адресата, ибо ему он «обязан своим образованием» (VII, 34). Но протянутая, просящая о примирении рука повисает в

¹ Королевский указ о заточении без суда и следствия (*франц.*).

пустоте. Письмо не соблаговолили даже принять; под угрозой ареста ему вообще запрещают обращаться к герцогу с какими бы то ни было прошениями. Между этим отцом и этим сыном все было кончено.

Теперь ничего не оставалось делать, как только бежать, и по возможности скорее; о причинах столь поспешного решения еще будет сказано. «И пошел он искать человека и встретил Рафаила. Это был ангел, но он не знал. И сказал ему: можешь ли ты идти со мною в Риги Мидийские и знаешь ли эти места? Ангел отвечал: могу идти с тобою и дорогу знаю...» Биограф не совершает кощунства, цитируя в этом месте описания жизни Шиллера Библию. Ибо молодой Шиллер, готовясь покинуть свою родину и своих родителей и отправиться в неведомое (несмотря на Дальберга и Швана — совершенно неведомое), нашел друга, который решил бежать вместе с ним и поддерживать на чужбине, как ангел помог молодому Тобию.

Андреас Штрейхер родился в Штутгарте 13 декабря 1761 года, следовательно, был на два года моложе Шиллера. Его отец, каменотес, умер еще до рождения сына, и Андреас вырос в сиротском доме; к счастью, там не остался незамеченным его музыкальный дар. Будучи еще совсем молодым, он приобрел известность своей игрой на клавесине. В ноябре 1780 года на публичном диспуте в Карлсшуте он впервые увидел Шиллера, юношу «с рыжеватыми волосами, длинными нескладными ногами, ресницы его часто вздрагивали, когда он живо возражал, в то время как говорил, рот неизменно раскрывался в улыбке; бросались в глаза его прекрасно очерченный нос и глубокий, смелый орлиный взгляд, светившийся из-под широкого выпуклого лба». Он видел затем, как в столовой с ним доброжелательно беседовал герцог, опираясь рукой о спинку его стула. Несколько позднее Андреас Штрейхер познакомился с Шиллером. Их свел вместе Цумштег, из всех учеников Карлсшуте наиболее блиставший музыкальной одаренностью; он написал музыку к некоторым сценам «Разбойников», впоследствии был женат на племяннице капитанши Фишер. Знакомство скоро переросло в сердечную дружбу, они виделись почти ежедневно. Из большого круга друзей Андреас Штрейхер был единственным, кому Шиллер доверил тайну своего побега.

Впрочем, было совершенно необходимо ограничить круг посвященных. Герцогу служили многие уши, по найму и без найма. Труднее было с отцом; он ни о чем не должен был знать. От него тщательно скрывали все приготовления к побегу, с тем чтобы он мог дать офицерское слово чести, что ничего-де не подозревал. Что перенесла мать в эти последние дни уходящего лета, об этом можно только догадываться. Добрая, набожная и работающая женщина привыкла жить, подчиняясь воле мужа, который при всей своей порядочности был человеком жестким и вспыльчивым. И вот теперь, посвященная в тайну сына и принявшая близко к сердцу дело, которое он задумал, она, вынужденная вводить в заблуждение своего супруга и повелителя, должна была собраться с силами, чтобы мужественно выдержать все до конца. Ей пришлось замкнуться, но в душе она противилась тому, что тайно теперь делала; зная и соучаствуя, она готовила разлуку с

любимым сыном. И едва ли она справилась бы с этим, если бы не ее тихая, но сильная дочь Христофина, помогавшая ей словом и делом. Мнение Христофины: так как герцог, обещавший обеспечить приличное будущее ее брата после окончания им Академии, на деле не постарался устроить ничего лучше, чем эта служба, то Фриц вправе уйти с нее.

Нужно было спешить; во второй половине сентября предстояло событие, которое могло чрезвычайно благоприятствовать побегу. Давно уже прошли времена, когда одно за другим устраивались пышные придворные празднества, продолжавшиеся нередко по несколько дней подряд. И вот теперь в резиденции Карла Евгения снова готовились к многодневным торжествам. Вюртембергский дом соединился с одним из великих дворов. Племянница Карла Евгения Доротея, впоследствии Мария Федоровна, дочь его брата Фридриха Евгения, наместника в Мёмпельгарде, вышла замуж за русского престолонаследника Павла. (Впоследствии она стала императрицей, когда ее супруг взошел на престол, перенесла его убийство*; она была матерью будущего царя Александра I.) Супружеская пара под небрежно соблюдавшимся инкогнито «графов фон Норден» совершила путешествие по Западной Европе, посетила Англию, Нидерланды, Францию, побывала в Мёмпельгарде, где при маленьком вюртембергском дворе прошло детство Марии Федоровны. Возвращаясь теперь в Петербург, они решили нанести визит правящему дяде в Штутгарте. Мария Федоровна, как и все ее многочисленные братья и сестры — ее старший брат Фридрих позднее стал первым вюртембергским королем, — была крепким созданием с круглыми красными щеками; великий князь Павел — невзрачной наружности, с выразительными глазами и неуравновешенным характером. Прибытия этих высоких гостей, этой будущей русской императорской четы, и ожидал в середине сентября Карл Евгений.

Нарушение привычного порядка, которое следовало ожидать во время празднеств, увеличивало шансы для бегства, однако приближавшееся событие вынуждало спешить. Андреас Штрейхер согласился сопровождать беглеца; он должен был весной 1783 года, как предполагал раньше, ехать в Гамбург, брать уроки у Филиппа Эмануила Баха. В интересах друга он решил повременить с отъездом (а позднее, также в интересах друга, и вовсе отказался от этого важного для него дела). Белье и книги Шиллера постепенно переносили из родительского дома в Солитюде к Штрейхеру. В последние месяцы Шиллер написал «Заговор Фиеско в Генуе. Республиканская трагедия». До последних дней он лихорадочно работал над ней, находясь еще на родной земле; рукопись была упрятана в багаж беглеца.

В эти дни в Штутгарте, Солитюде, Хоэнгейме, в Людвигсбурге, на границе были приведены в движение сотни людей, громыхали повозки — все готовилось к торжественной встрече русских гостей. Из дневника баронессы Оберкирх, эльзаски по происхождению, придворной дамы и доверенной великой княгини Марии Федоровны:

«17 сентября. Мы все выехали из Карлсруэ, с тем чтобы позавтракать в Энцберге, маленьком городке на границе герцогства Вюртем-

бергского, где герцог приказал соорудить легкие залы из листьев и еловых ветвей. Это было очаровательно. Множество юных девушек ожидали принцессу с роскошными букетами; они любезно приветствовали и обслуживали их высочества в этом импровизированном помещении. Завтрак был восхитительный. Благодаря герцогу Вюртембергскому наш разговор проходил очень живо и непринужденно; в нем столько ума, и он умеет его показать. Вечером под грохот пушек мы въехали в Штутгарт при стечении всего населения, которое собралось здесь, чтобы увидеть графиню фон Норден и ее семью. Повсюду царил радость. Вюртембергский дом очень любим своими подданными. Великому князю был устроен чуть ли не триумфальный прием; на домах вспыхивала иллюминация; вокруг герцогского замка всю ночь толпились любопытные, все сотрясало от приветственных криков...»

И далее все проходило в том же праздничном великолепии. Большая итальянская опера, сочиненная придворным капельмейстером Поли, артисты и оркестр, как отмечает баронесса Оберкирх, по большей части из учащихся Академии; блестящая публика, знатные гости из Пфальц-Цвейбрюккена, Гессен-Дармштадта и прочие. 18 сентября — большой торжественный обед «с большим количеством гостей», затем изысканный ужин для избранного общества; 21 сентября местом торжеств стал Хоэнгейм, его сады Оберкирх сравнила с Трианоном *; вечером *bal paré*¹ в Штутгарте. 21 сентября празднества переносятся в Людвигсбург. Запись в дневнике от 22 сентября:

«Посещение дома для сирот военных, где по указанию герцога воспитываются дети из бедных солдатских семей. Это благодеяние для герцогства и для армии, насколько можно говорить об армии такого незначительного государства. Во время посещения фарфоровой мануфактуры герцог делал всем презенты и своей знатной племяннице преподнес несравненного Гименея. К ночи отправились в Солитюд, в великолепный замок, который когда-то, в бурные годы своей жизни, герцог велел выстроить на возвышенности в трех милях от Людвигсбурга; оттуда открывается вид на великолепную, широко простирающуюся местность. Замок был иллюминирован, равно как и шоссе; казалось, что перед тобой солнечный дворец...»

В этот вечер, когда половина жителей Штутгарта высыпала в окрестности города, чтобы полюбоваться дивной иллюминацией, а двор и высокие гости в расцветном огнях Солитюде после оперы собрались в Лавровом зале, где их ожидал у ж и н , — в это время через Эслингские ворота, где караулом командовал лейтенант Шарфенштейн, два господина, назвавшиеся доктором Риттером и доктором Вольфом, проследовали в повозке, груженной двумя тяжелыми чемоданами и маленьким клавишином. Когда город остался позади, они свернули с дороги, которая вела в Эслинген, и повозка покатила в направлении Вайхингена, Бреттена, Мангейма. Оба спутника наконец с облегчением вздохнули. Они пересекли прямую, как шнур, аллею, по которой несколько часов

¹ Костюмированный бал (франц.).

назад проследовал двор, направлявшийся из Людвигсбурга в Солитюд. Из воспоминаний Андреаса Штрейхера:

«Около полуночи слева от Людвигсбурга небо осветилось багровым заревом, и когда повозка выехала на дорогу, ведущую в Солитюд, взору предстал возвышавшийся на холмах замок, весь, со всеми своими строениями, ярко освещенный огнями, — отсюда, на расстоянии полуторачасовой поездки, он являл собой ошеломляющее зрелище. В ясном, чистом воздухе все было исключительно хорошо видно, и Шиллер мог указать своему спутнику даже то место, где жили его родители; потом, словно задетый каким-то невидимым излучением, воскликнул с подавленным вздохом: „Моя мать!“»

Глубокой ночью, уже 23 сентября, они остановились на почтовой станции в Энцвайхингене (дом сохранился до сих пор). Друзья заказали себе кофе. Шиллер достал брошюру со стихами Шубарта — бедный Шубарт! Если бы они ехали днем, то справа от себя увидели бы Асперг и могли бы послать узнику привет. Шиллер начал читать самое сильное стихотворение Шубарта «Княжеский склеп»:

Так вот он, склеп, наполненный князьями!
Так вот где, в этих каменных гробах,
Покоится холодный, гордый прах
Людей, считавшихся богами!

Как скупо здесь ложится свет дневной
На эти разукрашенные плиты,
Которыми заботливо прикрыты
Все ужасы страны родной.

У заспанной девушки, которая ставила на стол чашки, холод пробежал по спине. Строфа за строфой звучит в доме, объятom ночным покоем:

Не дышит необузданную страстью
Грудь мертвеца, таившая разврат;
Не разольет она свой гнусный яд
Во вред любви, труду и счастью.

(Перевод В. Крылова.)

Лошади запряжены, снова в путь. Через три часа начнет светать. В 8 часов утра повозка пересекает курпфальцскую границу.



МАНГЕЙМ

ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ

Целью побега, местом, с которым связывались надежды и где должна была начаться новая жизнь, был Мангейм.

Так же как и Людвигсбург, это был новый, застроенный по заранее разработанному плану город, соперник старой резиденции — Гейдельберга и уже на протяжении многих лет столица Курпфальца, раскинувшегося по обоим берегам Рейна. Город быстро возвысился, став торговым центром и сильной крепостью на Рейне, но до того пережил немало разных событий. Здесь хозяйничали солдаты Тилли, потом Бернгард Веймарский, завоевавший эти земли, а во время так называемой Орлеанской войны, в 1689 году, французы сожгли город и крепость дотла. Но благодаря усилиям жителей и по воле курфюрста на этом месте был возведен новый город, больше и прекраснее прежнего, и сюда из Гейдельберга в 1720 году переехал двор. Вместительный замок во французском стиле, несколько массивный, стал центром придворной культуры. Особого расцвета достигла музыка. Моцарт нашел здесь любезных коллег и публику, понимающую музыку и сумевшую оценить его гений. В ноябре 1778 года он сообщает отцу: «Хвала богу и спасибо, что я снова нахожусь в моем любимом Мангейме! Я уверяю вас, что если бы вы были здесь, то сказали бы именно так». И далее: «Как я люблю Мангейм, так и Мангейм любит меня!» Слова эти имеют тем большее значение, если вспомнить, что Моцарт отнюдь не везде встречал такое понимание, не говоря уже о Вене. Но духовная жизнь этого города не исчерпывается культивированием музыки. Здесь имелись значительные собрания произведений искусства, прежде всего античного, которым город обязан страсти курфюрста Карла Теодора* к коллекционированию. В 1762 году была учреждена Академия наук, а в 1775 году — Немецкое общество, имевшее целью заботу о немецком языке и литературе.

Непринужденность, терпимость, восприимчивость к новому были свойственны этому городу, который не знал ни старых ценностей, ни достойных уважения традиций, ни закостенелой гордости потомственных семейств, ни окаменелости устоявшейся системы правления. В этом молодом городе мог встретить участливое к себе отношение каждый, кто способен был хоть в чем-то проявить себя. Изгнанные

гугеноты и валлоны нашли приют в этом городе, даже евреи получили здесь возможность сносного существования. Сложная история курпфальцского дома, в котором переплелись лютеранская, реформатская и католическая линии, была причиной столь терпимого отношения — хотя и не повсеместно, а, пожалуй, только в Мангейме, — какое известно было лишь в Голландии. Была даже построена церковь Согласия, которая служила бы всем вероисповеданиям, — после постройки она подверглась разрушению; на ее месте возвели конкордатскую церковь для валлонской и немецко-реформатской общин.

С 1742 года Мангейм был резиденцией курфюрста Карла Теодора; сверстник Карла Евгения, он правил Пфальцем столько же, сколько последний Вюртембергом. Он получил образование в Нидерландах, был светским человеком, воспитанным на французский манер; его неудержимая страсть сделать свою резиденцию импозантной и блестящей в немалой степени способствовала процветанию Мангейма; при этом он был жестким, совсем *ancien régime*¹. Насколько сильно он был привязан к Мангейму, он почувствовал, когда получил известие о смерти в Мюнхене Макса Йозефа, с которым угасла правившая до сих пор ветвь Виттельсбахов. «На этом кончились твои хорошие дни!» — вырвалось у него тогда. Ибо это означало, что он, будучи баварским курфюрстом, должен был теперь сидеть в Мюнхене и оттуда править своим Пфальцем.

Для города Мангейма это династическое событие имело важное значение. «Сознание, что наш курфюрст вскоре покинет Мангейм, повергло здешних жителей в глубокое отчаяние. Многие тысячи жили здесь благодаря князю, который ежегодно вводил в оборот солидные суммы, вследствие чего процветали ремесла и каждый бюргер мог зарабатывать». Так пишет барон фон Дальберг, который был тогда не больше как камергер. А ровесник Шиллера, уже известный актер Иффланд, приглашенный из Готы, несколько позднее писал: «По прибытии в Мангейм мы узнали, что многие семьи последовали вслед за двором в Мюнхен, но и они едва составляли половину тех, кто намеревался выехать. На первых порах жизнь в Мангейме протекала еще довольно оживленно; по многолетней привычке еще многие чужеземцы посещали эту блестящую резиденцию, у некоторых соседних князей оставались там дома... так что бывали дни, когда в городе царил оживление и даже великолепие. И только потому, что многие семьи одна за другой выезжали в Мюнхен, все это заметно померкло. Тоскливое затишье все сильнее ощущалось в городе; многие ремесла, служившие изготовлению предметов роскоши, свертывались, а других и вовсе не стало... Всеобщим лозунгом стало ограничение... Распространился дух уныния, среди которого меркли всякие проблески радости. Но нигде, пожалуй, не ощущалось так сильно это всеобщее настроение, как в театре».

Однако именно на театре эта перемена в жизни города отразилась самым необычным образом. Разумеется, что начало театру в Мангейме было положено в то время, когда туда переехал двор курфюрста. Он был даже центром европейского театра рококо. В 1730 году из Франции бы-

¹ В духе старого режима (*франц.*).

ла ангажирована превосходная труппа, которая играла вначале в городском дворце, а затем в торговом доме на Парадеплац; то, что предлагалось на протяжении многих лет мангеймской публике, было копией репертуара парижской Comédie-Française. Весь французский театр от Расина до Вольтера нашел отражение на этой немецкой сцене; были поставлены двадцать пьес только одного Мольера.

Между тем на территории замка был возведен оперный театр курфюрста, творение Алессандро Галли-Биббиена *, который воздвиг здесь уже несколько примечательных сооружений, в том числе храм иезуитов. Здание оперного театра было одним из самых великолепных в Германии. Выдержанный в белых и золотых тонах, с пятью ярусами, он вмещал две тысячи зрителей; в нем имелись возможности для сооружения грандиозных декораций во вкусе времени — фантастических или реалистических: дворцы, храмы, застенки; тысяча свечей освещала сцену, тысяча двести — зрительный зал. Этот оперный театр был открыт 17 января 1742 года (почти за 40 лет до премьеры «Разбойников») пышной постановкой оперы «Мерида». В Мангейме периода правления Карла Теодора в высшей степени счастливо сочетались страсть к театру и искушенность зрителя с чрезвычайно изыскательным отношением к музыке. Клопшток отмечает: «Здесь утопают в блаженстве музыки». Шубарт пишет: «Еще ни один оркестр мира не достигал такого совершенства, как Мангеймский. Его форте подобно грому, крещендо словно водопад, диминуэндо — журчание хрустального ручейка, убегающего вдаль, пиано — едва ощутимое дуновение весеннего ветерка». Английский путешественник, почитатель Фридриха Великого лорд Фордис заявил: «Прусская тактика и мангеймская музыка ставят немцев выше всех народов». Большим событием в истории мангеймского театра была постановка четырех опер Иоганна Христиана Баха *, соединявшие в себе элементы итальянской и немецкой музыки, они являли собой совершенно новый образец оперы, что особенно восхитило Моцарта. Одна из них — пасторальная комическая опера — была исполнена в театре Неккен в Шветцингер-парке, летней резиденции курпфальцского двора. Из всего сказанного нетрудно понять, какую утрату должен был понести Мангейм с переездом оттуда двора.

Итальянская опера, французский театр... но здесь всерьез были сделаны попытки, хотя и малоуспешные, создать и немецкий театр. Первое, что попытались сделать в этом направлении, — это привлечь к курпфальцскому театру не кого-нибудь, а самого Лессинга. Но это не удалось, так как приглашавший его министр фон Гомпеш, увидев Лессинга перед собой, наяву, испугался собственной смелости и стал выдвигать перед великим человеком мелочные «но» и «если». Среди мангеймцев, которые с открытым сердцем встретили Лессинга, был Шван, тот самый, который позднее расчистил сюда дорогу Шиллеру. Лессинг, вернувшись в Брауншвейг, писал: «С некоторым опозданием, дорогой Шван, письменно выражаю вам и вашей жене признательность за дружеское ко мне расположение, благодаря которому мое пребывание в Мангейме было столь приятным. Но вы оба так добры, что легко простите мне эту небрежность, когда скажу, что я хотел сперва закончить с известным делом. Перед отъездом все шло как будто к тому, что дело

вот-вот решится; однако письмо, которое я на днях получил от министра, настолько туманное и все вокруг да около — короче, такое министерское, что вы, пожалуй, и через два года не получили бы от меня письма, если бы я решил ждать конца дела...» Несколько позднее Лессинг писал министру в таких выражениях, в каких тогда не осмеливались обращаться к министрам: «Так поступают только с ребенком, если не хотят сдержать данное ему обещание, перевирая слова таким образом, чтобы поверили, будто он сам отказался от обещанного. Ребенок хорошо чувствует несправедливость, но только потому, что он ребенок, он не знает, как нужно поступить. Но если его превосходительство не считают меня таким ребенком, то я могу уже быть довольным».

Итак, привлечь в Мангейм Лессинга не удалось. Может показаться смешным, что создание немецкого театра после неудачной попытки с Лессингом было поручено французцу Маршану, уроженцу Страсбурга, получившему воспитание в Париже; но он имел некоторый опыт постановок на немецкой сцене, в частности во Франкфурте. Гёте дружески-снисходительно отозвался о нем как о приятном человеке, директоре, «который сам немного пел и пописывал стихи». Так как Маршана со всех сторон снабжали подходящими текстами, в том числе и Шван, то с немецким театром дело пошло на лад. Но когда двор переехал в Мюнхен, то туда перебралось и театральное общество Маршана. Выбор пьесы, которая была поставлена на прощание, показывает, что оно было на верном пути: это «Минна фон Барнхельм» Лессинга.

Барон Вольфганг Гериберт фон Дальберг показал себя человеком, который упорно и изобретательно противился грозящему запустению Мангейма. Правда, его предложение о переводе университета из Гейдельберга в Мангейм было положено под сукно.

Более плодотворными оказались его усилия по созданию немецкого национального театра. Декретом от 2 сентября 1778 года ему официально было поручено его учреждение. Два счастливых обстоятельства благоприятствовали Дальбергу в осуществлении этой задачи.

Прежде всего нашлось вместительное, пригодное для этой цели прекрасное здание. Незадолго до этого, с 1775 по 1777 год, Лоренцо Кваглио, итальянец, получивший образование в Вене, на основе старых складских строений возвел здание того Национального театра, которое до второй мировой войны (когда оно было разрушено) оставалось самым замечательным архитектурным сооружением в Мангейме.

Второе счастливое обстоятельство, которое помогло Дальбергу, касалось состава труппы. Этому предшествовало траурное событие. Конрад Экгоф родился в Гамбурге в 1720 году; сын солдата, простой честный человек с незаурядными актерскими способностями, друг Лессинга, «отец немецкого театрального искусства», который кое-что сделал для поднятия авторитета сомнительного актерского сословия, — этот Экгоф умер в 1778 году в Готе, где он вместе с группой блистательных актеров ставил спектакли при тамошнем скромном дворе. После его смерти герцог утратил интерес к театру, разрешил еще один год ставить спектакли, а осенью 1779 года окончательно закрыл театр. Известные во всей Германии актеры получили приглашения из других мест, но Дальбергу удалось с помощью ловких агентов осуществить искусный

маневр: почти вся труппа переходит в Мангеймский национальный театр: Бейль, Бек, Иффланд — молодые, темпераментные актеры, лучшие представители школы Экгофа—Лессинга. Их руководителем становится Зейлер, рекомендованный Лессингом, он уже прибыл на место с небольшой труппой; это было счастливым приобретением. Мангейм располагал лучшей актерской труппой в Германии. Это была сцена, на которую с вожделием взирал из Штутгарта Шиллер. Здесь впервые были поставлены его «Разбойники» — где лучше могли бы это сделать? Именно с ним — с немецким национальным театром — связывал Шиллер, бежавший с прежней службы, свои планы на будущее.

Беглец и его спутник переночевали в Шветцингене. 24 сентября «с раннего утра начали приготавливаться к отъезду в Мангейм. Извлекли из чемоданов все лучшее, чтобы придать себе более представительный вид — так еще можно было рассчитывать на внимание, ибо бедным и несчастным почти всегда отказывают» (Андреас Штрейхер). Им совершенно необходимо было произвести хорошее впечатление, так как оба располагали весьма скудными денежными средствами. В то время как они преодолевали в повозке последний двухчасовой отрезок пути, Шиллер, по-видимому, был погружен в расчеты, которые могли обнадеживать. Разве рукопись «Фиско», спрятанная в багаже, не стоила нескольких золотых монет? Без предварительного уведомления о приезде они появляются перед режиссером и актером Вильгельмом Христианом Мейером, который приятно удивлен такой неожиданностью — ибо он уважает автора «Разбойников»; и еще больше удивляется, но теперь уже без удовольствия, когда понимает, что перед ним беглец, эмигрант. Андреас Штрейхер пишет: «Хотя господин Мейер уже раньше знал от самого Шиллера о его плохом житье-бытье в Штутгарте, однако он считал, что Шиллер принял решение слишком поспешно. Как образованный светский человек, он воздерживался от возмущения во время дальнейших объяснений Шиллера...»

Мейер вошел в положение Шиллера и его спутника. Нежданных гостей пригласили к обеду, в близлежащем доме сняли для них квартиру — многие квартиры пустовали в связи с переездом двора. Багаж был отправлен к месту жительства. Это в первую очередь. В то же время он советует Шиллеру направить письмо на имя герцога с просьбой о прощении. По словам Штрейхера, сомневаться в которых у нас нет оснований, Шиллер сам уже обдумал такое письмо и Мейер только укрепил его в этом намерении, рекомендовав сделать это без промедления. «Пожалуйста, господин Шиллер, в соседней комнате вам никто не мешает». Шиллер следует совету и пишет два письма, одно — интенданту Зегеру, другое — самому герцогу. Ниже приводится письмо Зегеру.

«Уверенность в том, что я обращаюсь к человеку, сочувствующему моему несчастью и достаточно мудрому, чтобы разобраться в моем положении, к человеку, относящемуся ко мне как отец, дает мне смелость открыть перед вами свое сердце и в минуту, когда все последние упования оставляют меня, искать прибежища в великодушии и благородном образе мыслей того, кто некогда был моим другом. Месяц назад его герцогская светлость запретил мне публикацию литературных произведе-

ний. Во-первых, я льстил себя надеждой именно в этих писаньях перед всем миром воздать должное воспитательному методу, положенному в основу Академии герцога Карла. Во-вторых, справедливость к моему собственному таланту требовала, чтобы я продолжал эти работы, ибо то небольшое, что мне довелось поведать миру, приумножило мое годовое содержание на пятьсот гульденов, а следовательно, мне было невозможно с молчаливым безразличием принять запрет, лишающий меня всех этих преимуществ и всех видов на будущее. Я осмелился просить его герцогскую светлость о дозволении изложить в письменной форме и представить на его августейшее благоусмотрение обстоятельства дела. Эта моя просьба была отклонена, и моему генералу был отдан приказ — в случае если с моей стороны еще раз последует такая просьба о письме, подвергнуть меня аресту. Поскольку, однако, мне необходимо, чтобы этот запрет был либо снят, либо смягчен, то я бежал сюда, чтобы в безопасности изложить всемиловитому повелителю мою беду. В моем чрезвычайно стесненном положении я жду великодушной поддержки от просвещенного ума и доброго сердца вашего высокоблагородия, ибо окажусь несчастнейшим изгнанником, если его светлость не дозволит мне возвратиться. Не знающий жизни, я оторван от друзей, семьи и родины, а скудные мои таланты на весах большого света весят слишком мало, чтобы я мог на них полагаться...»*

Письмо герцогу: «Несчастье подданного и сына не может оставить равнодушным милостивого государя и отца. Я нашел ужасный путь, чтобы тронуть сердце моего милостивейшего повелителя, так как все естественные пути оказались для меня закрытыми. Ваше высочество строжайше запретил мне публиковать литературные произведения и общаться с иностранцами. Я надеялся верноподданнейше привести вашей герцогской светлости важные доводы против этого и потому просил милостивого разрешения изложить свою верноподданнейшую просьбу в письменном виде; так как моя просьба была отклонена под угрозой ареста, а мое положение делало в высшей степени необходимым милостивое смягчение этого запрета, то я в отчаянии был вынужден избрать теперешний путь...»

Он не просит своего государя ни о чем больше, кроме как о терпимости к его литературной деятельности и о милостивом снисхождении к его своевольному поступку. «Эта единственная надежда придает мне силы в моем ужасном положении. Но если моя надежда обманет меня, то я стану несчастнейшим человеком и вынужден буду, отвергнутый своим государем и разлученный с родными и близкими мне людьми, скитаться как изгнанник по чужим краям». И заключительная фраза: «Я умру со всеми чувствами сына, на которого прогневался отец».

Эти два письма дают богатый материал для размышлений. В какой степени отражают они, если оставить в стороне обязательные общие фразы с изъявлением преданности, неподдельные мысли и чувства Шиллера? То, что он питал к Зегеру и в особенности к Карлу Евгению наряду с другими еще и сыновние чувства, едва ли вызывает сомнение. Не примешивается ли к этим движениям души нечто вроде тоски по родине, теперь, когда он только что покинул пределы тесного отечества? Или эти письма хорошо продуманы, тактически взвешены, являются

ся своего рода алиби? Весьма вероятно, что они должны были послужить для защиты семьи от немилости государя. Можно предположить также и предвзятость по отношению к явно потрясенному хозяину, принявшему гостей. Не веет ли от этих строк страхом перед неизвестностью, сомнением в собственной смелости и силе? Что другому можно было бы обозначить: сознательно и подсознательно бушующие жизненные силы. Верный спутник его в своих воспоминаниях отмечает, что Шиллер вышел потом из соседней комнаты и прочел ожидавшим письма — и это наводит на некоторые раздумья: не был ли он одержим честолюбивыми помыслами, в то время как составлял, именно теперь и здесь, эти послания, в высшей степени эффективные, достойные мастера слова? Биограф предлагает свои вопросы думающему читателю. Ответ он не навязывает. Каждый наверняка припомнит критические ситуации в своей собственной жизни и признается, что, оглядываясь на прошлое, он с трудом и приблизительно может определить мотивы своего поведения.

27 сентября после обеда у Мейера собралась группа актеров, среди них Иффланд, Бек и Бейль. Шиллер решил прочесть им свою новую пьесу.

Читатель помнит: вернувшись в Штутгарт после премьеры «Разбойников», Шиллер, колебавшийся между драмой о Гогенштауфенах и сюжетом из времен Карла V, остановился на последнем и приступил к работе над драмой, предметом изображения в которой должна была стать борьба между Gian Luigi de'Fieschi (Фиеско) и Андреа Дория за власть в Генуе в 1547 году. С февраля по сентябрь писал он, одержимый радостью творчества, сцену за сценой, акт за актом. Его учитель Абель, видевший, с каким вдохновением трудился тогда поэт над своей новой пьесой, писал, что эта вещь должна была получиться более совершенной, без погрешностей, какие он сам находил в «Разбойниках». В эти месяцы Шиллер не раз говорил: пусть погибают мои «Разбойники», лишь бы жив был «Фиеско». И в самом деле, в период между «Разбойниками» и «Фиеско» происходит необычайно усиленный процесс творческого созревания поэта. При всей необузданности юношеского огня новая пьеса отмечена печатью несравненно более высокого мастерства, которое чувствуется и в обработке материала, и в выборе языковых средств.

В гостях у Мейера артисты расположились вокруг большого круглого стола. Лучше этой публики Шиллер и желать не мог и, раскладывая перед собой рукопись, заранее наслаждался успехом, в котором не сомневался. На одном дыхании он читает первый акт, все тринадцать явлений. Молчание. Встают с мест, разговаривают вполголоса, снова садятся; вошел господин Бейль, Шиллер читает уже второй акт. Никаких намеков на аплодисменты. Хозяин дома угощает грушами и виноградом. И снова разговоры, хождения, кто-то под каким-то предлогом удалился, за ним еще и еще; только Иффланд пока остается на месте. Андреас Штрейхер, верный друг, в растерянности; хозяин дома вызывает его в соседнюю комнату: «Скажите же мне откровенно, вы уверены, что это тот самый Шиллер, который написал «Разбойников»?» И в ответ на возмущенные заверения снова допытывается: «Но вы точно знае-

те, что эту вещь написал именно Шиллер? Может быть, ее написал кто-то другой и только издал под его именем? Или ему помогал кто-нибудь еще?»

Результат чтения был убийственным. «Самое худшее из всего, что мне когда-либо доводилось слышать... жалкая, вычурная, бестолковая пьеска». Это слова Мейера. Редко какое произведение прочитывалось автором вот так, от корки до корки, как «Фиеско». И никогда скверная «игра» Шиллера не портила так сильно впечатление от произведения, которое он читал, как теперь и здесь, ибо в кругу актеров, представлявших лучший театр, он совершенно изуродовал свою пьесу с ее высоким пафосом напыщенной, фальшивой патетической декламацией; вдобавок ко всему его произношение: Фиеско, Веррина, Бургоньино вместе с мавром из Туниса — все говорили на тягучем швабском диалекте. Тишина во время чтения двух актов, незаметный уход были поистине высшим проявлением вежливости, на которую были способны огоршенные слушатели. И если правда, что многие образованные швабы воспринимают свой диалект как травму, которую они получили на всю жизнь — во что я не очень верю, — то это чтение «Фиеско» должно было бы еще сильнее утвердить их в сознании своего недостатка, доставляющего им огорчения.

Слова Мейера «настолько потрясли» Андреаса Штрейхера, что «он на какое-то время потерял дар речи». Остаток вечера проходит в тягостной атмосфере. О «Фиеско» никто не говорит. Но когда оба приезжих собрались уходить, Мейер попросил рукопись, с тем чтобы прочесть самому и составить представление о пьесе в целом. Это был луч солнца, на миг проглянувший в этот хмурый осенний вечер. Когда друзья остались вдвоем, Шиллер после долгого молчания дал выход своему разочарованию в яростных нападках на актеров, этих низких интриганов; и под конец заявил: если ему не удастся здесь стать драматургом, то он вступит на актерское поприще, «ибо, собственно говоря, никто не может декламировать так, как он». Если его верному спутнику незадолго до этого было чуть не до слез, то сейчас у него была причина для смеха.

На следующее утро довольно рано Штрейхер направляется к Мейеру и видит совершенно преобразившегося человека. За ночь Мейер прочел пьесу и теперь называет ее совершенным произведением. «А знаете ли вы, в чем причина столь удручающего впечатления, которое произвела на слушателей эта пьеса? Почему ее сочли за убогую вещь? Все дело в швабском выговоре Шиллера и в этой его, черт возьми, проклятой декламации!..» Теперь нужно приложить все усилия для того, чтобы пьеса была поставлена на сцене; для этого, правда, необходимо привлечь на свою сторону Дальберга, который все еще отсутствовал. Друг мчится с радостной вестью к Шиллеру, но не решается раскрыть ему причину вчерашней неудачи.

Какое воздействие оказали письма, которые Шиллер в первый же день своего приезда в Мангейм прямо или косвенно адресовал отцу своего отчества?

В первой половине того дня, когда состоялось чтение пьесы «Фиеско», пришло письмо от генерала Оже, написанное им по поручению герцога; в нем говорилось, что Шиллеру следует воспользоваться благо-

приятным моментом и возвратиться в отечество, ибо его герцогская светлость сейчас в милостивом расположении духа — в связи с пребыванием высоких гостей. Такой ответ мог означать все: и доказательство милости, и ловушку. Шиллер тотчас же ответил и просил о конкретных гарантиях. И снова письмо от Оже, подобное первому. Переписка продолжалась до тех пор, пока Карл Евгений не приказал генералу в конце октября прекратить ее. Вместе с письмами шли и разные слухи — каждая весть из Штутгарта воспринималась Шиллером и его окружением с жадностью и опасениями. Жена Мейера была в Штутгарте в тот день, когда Шиллер бежал, и оставалась там в последующие дни; по возвращении в Мангейм она сообщила, что упорно ходят слухи о том, будто бы герцог намеревается устроить погоню, а может быть, потребует выдачи Шиллера у правительства Пфальца. Шиллеру настойчиво советовали держаться подальше от вюртембергских границ, ехать куда-нибудь еще, во Франкфурт например, — все письма ему будут пересылать туда.

Девять дней было суждено провести эмигранту в Мангейме, дней, полных беспокойства, страха и горчайшего разочарования, и это несмотря на то, что он был дружески принят и окружен почитателями его «Разбойников». Но не было прочным его положение среди мангеймцев, ни с кем он не чувствовал себя уверенно: ни с дружески расположенным к нему Мейером, ни со Шваном, а тот, кто мог решить его судьбу — Дальберг, был на празднествах в Штутгарте. Рушились надежды, которые он возлагал на «Фиеско» — ведь он должен был не только умножить его славу, но и вывести из материальных затруднений, ибо он оставался совсем без денег. А от своей семьи, своих друзей он был отрезан.

Фридрих Шиллер мог бы найти смерть в водах Рейна или еще где-нибудь. Должны ли мы благодарить Андреаса Штрейхера за то, что Шиллер не покончил с собой, мы не знаем. Но мы знаем, что Шиллер в лице этого молодого человека имел спутника, которого словно бы ниспослало небо. Когда мангеймские друзья выставили поэта на проселочную дорогу, он сказал ему, как само собой разумеющееся, что пойдет с ним. Он так же беден, как и Шиллер. Но в письме к матери он просит денег: она должна прислать их во Франкфурт. 3 октября во второй половине дня они покидают Мангейм, идут пешком, ибо денег на верховых лошадей или место в дилижансе у них не было. Ночуют в деревне при дороге — вероятно, это Лампертгейм. Следующий день они идут двенадцать часов по горной дороге до Дармштадта. Шиллер неразговорчив, его не интересуют крепости и руины. Его попутчику мы обязаны тем, что знаем, какие мысли занимали поэта во время этого утомительного пешего марша: не то, на что он будет жить в последующие недели, не то, что будет с «Фиеско», этой трагедией в двойном смысле слова, а замысел новой драматической пьесы «Луиза Миллер», позднее ставшей известной всему миру под названием «Коварство и любовь». Из трудного сегодня через неизвестное, наполненное заботами завтра он протягивает нить в послезавтра. В Дармштадте они находят хорошую квартиру; мертвецки усталые, укладываются в постели, но среди ночи их поднимает на ноги страшный грохот барабанов. Возможно, что в момент пробуждения они вспомнили о вюртембергском отря-

де особого назначения, и у них мелькнула мысль, что их настигла погода. Они босиком бросаются к окнам: не пожар ли? Но нигде ничего не видно. На следующее утро они узнают: бой барабанов извещает о наступлении полночи, таков старый обычай в этом городе.

Утром, прекрасным осенним утром, Шиллер чувствует слабость, но проявляет желание преодолеть шестичасовой путь во Франкфурт. В следующей деревне он делает попытку подкрепиться вишневой наливкой, разведенной водой. В полдень они находят трактир, но покидают его из-за грубых посетителей. Две сотни шагов — и Шиллера покидают силы. На лесной поляне он сваливается и засыпает. Спутник возле него на карауле. «С какой заботой и беспокойством провел время дежуривший, пока спал больной, может понять только тот, кто знает дружбу не только через обмен взаимными любезностями, а и по Действительным страданиям и преодолению невзгод». Часа через два появляется офицер-вербовщик, видит двух молодых мужчин и пытается в соответствии со своей профессией затеять разговор, разумеется вежливый: «Ах, здесь отдыхают!» — но получив от Андреаса Штрейхера резкий отпор, оставляет их и отправляется дальше. Шиллер просыпается, он отдохнул и готов продолжать путь. Еще до вечера они пришли в Заксенхаузен, расположились в гостинице «К аистам», что на мосту через Майн.

Шесть дней, с 6 по 10 октября, Шиллер провел во Франкфурте и в Заксенхаузене. Среди городов, в которых он бывал, столицы встречались очень редко. В детстве он видел швабский Гмюнд, и его отец в свойственной ему поучительной манере называл его вольным городом. После Франкфурта он лишь один раз, осенью 1793 года, прожил несколько недель на имперской земле в Хейльбронне, неподалеку от границ своей родины. У Шиллера не было такого опыта пребывания в людных местах, как у Гёте и Виланда. Чем он занимался во Франкфурте? Ежедневно ходил на почту, с сознательным любопытством рассматривал исторические достопримечательности древнего города, где происходила некогда коронация, наблюдал за его жизнью; во время прогулок по городу заглядывал в книжные лавки, а в послеобеденные и вечерние часы то расхаживал взад и вперед по гостиничной комнате, то устремлялся к столу и начинал быстро писать; он работал уже над драмой «Луиза Миллер». Но первое, что ему следовало сделать, — это написать Дальбергу.

«Ваше превосходительство по возвращении в Мангейм, где я, к сожалению, не мог вас дожидаться, верно, уже узнали от моих друзей обо всем, что со мной происходит. Выражение *я в бегах* исчерпывающе рисует мое положение. Но худшее еще впереди. У меня нет средств, необходимых для противоборства моей злополучной судьбе. Для того чтобы не подвергать себя опасности, мне пришлось поспешно, и как раз во время пребывания великого князя, убраться из Штутгарта. Тем самым я внезапно подорвал всю свою экономику и сумел расплатиться далеко не со всеми долгами. Я уповал на мое пребывание в Мангейме, надеясь при поддержке вашего превосходительства и благодаря моей пьесе не только освободиться от долгов, но еще и поправить свои дела. Все это рухнуло из-за моего внезапного отъезда. Я покинул Штутгарт с опустошенным сердцем и пустым кошельком. Мне бы следовало краснеть

от стыда, делая вам такие признания, но я знаю — они меня не унижают. Достаточно печально уже и то, что на мне подтверждается гнусная истина: ни одному вольнолюбивому швабу не дано ни расти, ни совершенствоваться.

Если все мое поведение до сих пор, если все, что известно вашему превосходительству о моем характере, внушает вам доверие к моему чувству чести, то дозвольте мне откровенно попросить вас о поддержке. Хотя мне крайне необходима теперь та сумма, которую я ожидал от моего «Фиеско», тем не менее раньше чем через три недели я ничего не смогу представить театру — ведь мое сердце было так долго стеснено, а сознание того, в каком положении я нахожусь, далеко уводило меня от поэтических грез. То, что к указанному сроку моя работа окажется не только *готовой*, но, как я надеюсь, и *достойной* внимания, дает мне мужество ходатайствовать перед вашим превосходительством о выплате мне задатка в размере причитающейся мне суммы, ибо сейчас я нуждаюсь в деньгах, вероятно, больше, чем кто-либо в жизни. Мне необходимо отослать в Штутгарт около 200 флоринов. Должен вам признаться, это беспокоит меня куда больше, чем то, как буду я влечить свое существование. Я не успокоюсь, пока не почувствую себя в этом смысле чистым.

Кроме того, отложенная мною на дорогу сумма через неделю будет исчерпана. Работать с подлинным вдохновением я пока еще не в состоянии. Следовательно, сейчас у меня и в голове нет никаких ресурсов. Если бы ваше превосходительство (раз уж я все сказал) и на этот случай ссудили бы меня сотней флоринов, я бы полностью вышел из положения. А в дальнейшем, если на то будет ваша милость, вы либо передадите мне доход от первого представления моего «Фиеско» с упраздненным абонементом, либо мы договоримся о соответствующей цене за эту пьесу. В обоих случаях мне было бы не трудно (если просимая мною теперь сумма превысит ту, которую я получу) погасить весь долг при расчете за следующую мою пьесу. Эту мою точку зрения, вернее говоря, горячую просьбу повергаю на благоусмотрение вашего превосходительства с верой в то, что у меня достанет сил выполнить взятые на себя обязательства.

Поелику нынешнее мое положение достаточно явствует из вышесказанного, я считаю излишним докучать вашему превосходительству *назойливым расписываньем* своей нужды. Быстрая помощь — сейчас единственное, чего я могу желать и на что смею надеяться; я просил г-на Мейера передать мне ответ вашего превосходительства, каков бы он ни был, не желая затруднять вас письмом ко мне» (VII, 35—36).

Это письмо, исторгнутое из глубины стесненной души, не нуждается в пояснении. Когда Шиллер таким образом «снял тяжелый груз со своего сердца, он частично обрел свою прежнюю веселость», пишет его друг. Он с любопытством вглядывался в жизнь этого большого города, которая была здесь ключом. Гёте в своей книге «Поэзия и правда» писал об этих местах: «Всего больше мне нравилось гулять по большому мосту через Майн. Длина, прочность и красивый внешний вид делали этот мост поистине примечательным сооружением, к тому же он был едва ли не единственным (старинным) памятником того

попечения о гражданах, каковое является долгом гражданских властей. Река, живописная как вверх, так и вниз по течению, тешила мой взор... Нагулявшись в Заксенхаузене и уплатив крейцер перевозчику, мы любили переправляться через реку. И вот уже опять оказывались на своем берегу и спешили на Винный рынок подивиться тому, как работают механизмы подъемных кранов при разгрузке товара, но еще интереснее было наблюдать за прибытием торговых судов: чего-чего тут не насмотришься и какие чудные люди иной раз сходят с них! Возвращаясь в город, мы всякий раз благоговейно приветствовали Заальгоф, который как-никак стоял на месте, где некогда высился замок императора Карла Великого и его преемников. Далее мы углублялись в ремесленный город и, особенно в базарный день, смешивались с толпою...»

Андреас Штрейхер вспоминает, как в первый день пребывания в городе они возвращались с почты: «На обратном пути с моста через Майн можно было наблюдать за деятельной суетой проходящих и уходящих людей, за кораблями, которые стояли под загрузкой и разгрузкой, мы видели наряду с частью Франкфурта Заксенхаузен, а также желтоватые воды Майна, на поверхности которого отражалось безоблачное вечернее небо. Все это поднимало его настроение и вызывало замечания, которые были тем интереснее, что своей безграничной силой воображения он придавал значение ничтожным предметам и мог связать ближайшее с самым отдаленным». Это последнее замечание показывает, как хорошо изучил верный спутник своего достойного восхищения друга. Как мал был мир, который видел Шиллер собственными глазами, — эта полоска Германии между Верхним Рейном и Эльбой, часть Богемии и незадолго до смерти поездка в Берлин. Но как сумел он благодаря творческой фантазии запечатлеть в слове никогда не виденные им ландшафты, города и местечки, которые знал только по географическим и топографическим книгам и картам!

Три дня во Франкфурте проходят в тревогах и надеждах. Вместе с тем друзья испытывают приятное возбуждение от избытка новых впечатлений. Они с удовольствием питаются простой пищей в своей гостинице, с любопытством осматривают незнакомый город, заглядывают в книжные лавки. Шиллер как бы мимоходом осведомляется у книготорговцев о «Разбойниках», и, когда слышит то, что надеялся услышать, он не может устоять перед тем, чтобы не назвать себя — вот он, автор, стоит перед вами! И книготорговец, который, вероятно, воображал себе создателя пьесы в виде гениального босяка с черной повязкой на глазу и саблей на боку, немало дивится, глядя на этого приятного и вежливого молодого человека со светящимися глазами. То, что ни на второй, ни на третий день на почте ничего не оказалось, Штрейхер почел за хорошее предзнаменование, ибо ожидаемые деньги не могут быть присланы так быстро, как ординарное письмо. Сам он начинает всерьез думать о поездке в Гамбург.

На четвертый день они рано утром идут за почтой; на этот раз их ждет пакет с письмами из Мангейма для «доктора Риттера». Они спешат в гостиницу, чтобы прочесть их вместе в спокойной обста-

новке. В первую очередь письма из Штутгарта, из них они узнают о всеобщем возбуждении, вызванном бегством Шиллера, ему напоминают о том, чтобы он проявлял чрезвычайную осторожность; далее письмо от Оже с требованием немедленно возвращаться. Во всем этом было мало приятного. Одно письмо, самое важное, от Мейера, Шиллер вскрывает последним; он читает его про себя, в уединении. Потом подходит к окну, молчит. Затем он обращает к своему спутнику покрасневшее лицо. Его просьба оказалась напрасной; Дальберг отказывается выплатить аванс.

В своих ранних драмах Шиллер заставляет своих персонажей вопить, кричать, дико жестикулировать, скрежетать зубами. Поэт мог бы теперь, нимало не стыдясь своего верного спутника, плакать или извергать проклятия, но он сохраняет удивительное спокойствие. С отказом Дальберга ускользает последняя надежда, Шиллер остается «с опустошенным сердцем и пустым кошельком»; это холодное и обидное послание было к тому же ответом на письмо, в котором откровенность и достоинство сочетались с сердечной доверительностью. Шиллер запретил себе всякое ругательное слово и оскорбительное замечание, он собирается с мыслями, обдумывает, как теперь поступить, что предпринять, и наконец решает перебраться поближе к Мангейму, откуда легче было бы связаться в случае необходимости с Мейером и Шваном.

В тот же день, после обеда, он предлагает одному издателю свое стихотворение «Бес Амур» за 25 гульденов. Стихотворение понравилось, но издатель не хочет платить более 18 гульденов. Но и это весьма приличная сумма для того, у кого пусто в кошельке. Однако гордость автора не позволяет ему пойти на такую уступку. Сделка не состоялась, Шиллер снова оказывается на улице без денег (а стихотворение было потеряно через несколько недель).

Андреас Штрейхер получает деньги, которые он просил на поездку в Гамбург; но теперь он отказывается от нее и от своего плана — продолжить образование у Карла Филиппа Эмануэля Баха. Она остается в трудную минуту рядом с другом. Десять лет спустя в одном из писем к Штрейхеру Шиллер скажет: «Непоколебимая при любых обстоятельствах верность навсегда останется для меня драгоценным воспоминанием». Они стоили друг друга.

В первой половине дня 11 октября друзья сели на торговое судно, отплывавшее в Майнц. Через несколько часов добрались до города, осмотрели достопримечательности, посетили знаменитый собор. В гостинице им довелось услышать любопытный разговор: в соседнем номере, за тонкой перегородкой, две женщины возбужденно говорили о «Разбойниках» и о том, как интересно было бы взглянуть на автора — это воистину звучало как приглашение к театральному появлению. Если верить пометке в одном из последующих писем, он не упустил такую возможность и выпил с дамами кофе. Затем оба совершили небольшую поездку по Рейну, пользуясь прекрасной осенней погодой. «На следующий день, на рассвете, они покинули Майнц, где без новых знакомых дам насладились великолепным зрелищем: слиянием потоков Рейна и Майна — и удивлялись чисто немецкому

своенаравно, с которым оба потока обозначили свое нежелание объединяться резким разделением голубоватой и желтой окраски». Хотелось бы знать, кому пришла в голову мысль о немецком нежелании объединяться — очевидно, не Шиллеру.

В этот день они решили добраться до Вормса, до которого было девять часов ходьбы. По пути в Вормс между пологими холмами и широкими равнинами лежат старинные знаменитые места виноделия — Наккенгейм, Нирштейн, Оппенгейм. В Нирштейне они решили подкрепиться, так как Шиллер был утомлен и молчалив. Несмотря на скромные денежные запасы, они заказали лучшее старое вино. «Так как они не были знатоками благородных вин, то им казалось, что у этого напитка, как и у многих знаменитых вещей, слава больше, чем они того заслуживают. Но когда они вышли на улицу, когда ноги пошли быстрее, дух взбодрился, будущее чуть приоткрыло свой темный покров и можно было с большей уверенностью идти навстречу ему, они убедились в том, что вино воистину является утешителем, и отдали ему должное». На какое-то время волшебный напиток окрылил их, но затем утратил свое благотворное воздействие. Чтобы скорее попасть в Вормс, они проехали остаток пути в дилижансе и прибыли в город ночью. Утром на почте их ждало известие от Мейера: он приглашал встретиться в Оггерсгейме.

Оггерсгейм — обедневший во время войн городишко со скромной графской резиденцией, на левом берегу Рейна, в часе ходьбы от мангеймского моста через Рейн, между двумя шоссейными дорогами, обсаженными деревьями. Здесь, в трактире при скотопрогонном дворе, путешественников встречают господин и госпожа Мейеры и с ними два мангеймца, прибывшие сюда, чтобы увидеть уважаемого поэта. Мейер неохотно и вымученно излагает отрицательную позицию Дальберга; Шиллер облегчает ему эту тягостную миссию, с достоинством и по-деловому. Договорились о том, что Шиллер и Штрейхер пока останутся здесь, в этом трактире. Шиллера для большей осторожности решили именовать доктором Шмидтом (вместо доктора Риттера), а Штрейхера — доктором Вольфом; с хозяином гостиницы Шиком условились о питании и угловой комнате во втором этаже. Кровать оказалась только одна на двоих, что было неудобно, но по тем временам — обычное явление; не только братья или сестры, не только подмастерья спали обыкновенно по несколько человек на одной кровати; даже путешественники должны были быть готовы к тому, чтобы насладиться звуками, запахами и толчками в бок, причиняемыми незнакомым соседом по кровати. Из Мангейма друзьям доставили чемоданы и клавесин.

Здесь они прожили семь недель, до глубокой осени. Прият, крыша над головой, не надо заботиться о том, как прокормиться сегодня, где устроиться на ночлег, но каждую неделю надо думать о том, чем платить за жилье. А за этим — неотступная мысль «что же дальше?» и страх — нам, заглядывающим в прошлое, он кажется преувеличенным — перед тем, что герцог вот-вот что-нибудь предпримет по отношению к сбежавшему от него полковому медику. Чтобы запутать следы, он указывает в письмах выдуманный обратный адрес. Так, 18 октября

он пишет Христофине из «Лейпцига». Он вынужден писать, что у него все благополучно, но сквозь строки можно уловить, чем он озабочен. Примечательно, что в этом письме он намекает уже на Бауэрбах, имение фон Вольцгоенов в Южной Тюрингии, как на возможное пристанище.

«У меня все очень хорошо, до того, что не терпится увидеть себя наконец полностью свободным — и от моей маски, и от комедийной роли. Я совершил уже порядочное путешествие по свету, ты еще меня мало знаешь, сестрица. Дела мои идут хорошо. Я свободен и здоров, чувствую себя как рыба в воде, а разве свободному человеку может быть плохо. У меня ни в чем нет недостатка, долги свои я уплачу, как только наступит срок и когда решится моя история с герцогом. Успокой добрых родителей. Скажи милому отцу, что я написал ему письмо от всего сердца, так же, как и он мне, и что я из хороших побуждений так разговаривал с ним, чтобы его судьбу отделить от своей. Моя любимая, я надеюсь, что мы оба скоро увидимся. В Бауэрбах я не еду потому, что хочу оградить Вольцгоенов, по крайней мере до тех пор, пока не утихнет буря. Скажи ей об этом и поцелуй ее за меня миллион раз. Поцелуй дорогую Луизу и добрую Нанетту; если захочешь показать письмо дорогим родителям, скажи им, что я всем сердцем и всей душой остаюсь их послушным, свободным и радостным сыном. Пусть они не беспокоятся обо мне, у меня все хорошо. Если я больше не вернусь, то продайте мои оставшиеся вещи. Вырученные деньги можно использовать на полную оплату счета Ландауэра. О других я позабочусь. Не забывай меня, моя любимая. Скоро напишу тебе еще...»

И все же жизнь при скотопрогонном дворе не была лишена известной прелести. Шиллеру было приятно, когда его товарищ импровизировал, сидя за клавесином, а он в это время что-нибудь сочинял. «Поэтому еще во время обеда он скромно осведомлялся у Ш.: «Вы не будете сегодня вечером снова играть на клавесине?» И вот спускаются сумерки, и он шагает назад и вперед по комнате, освещенной чаще всего только луной, что-то невнятно и взволнованно бормочет». У поэта было своеобразное отношение к музыке. Он никогда не учился ей, ничего в ней не понимал, но любил ее как грунтовку для работы своей мысли. Ему было уже достаточно, если кто-нибудь в соседней комнате играл марш. Андреас Штрейхер был очень одаренным музыкантом, и то, что он играл на своем маленьком инструменте в полутемной комнате, было, пожалуй, выше понимания поэта — ему просто нравилось, что играли, и это вполне удовлетворяло его друга.

Несмотря ни на что, ему неплохо работалось в этом простом трактире скучного городка, но он был занят не тем, чего ждали от него его мангеймские друзья. Сейчас необходимо было как можно скорее переработать «Фиеско» в соответствии с пожеланиями Дальберга. Он неохотно отрывался от новой работы — трагедии, которую все еще называл «Луизой Миллер»; он брался за «Фиеско», но скоро отодвигал рукопись в сторону и снова обращался к «Луизе Миллер», забывая обо всем на свете. Обдумывая характеры персонажей, он видел перед собой актеров мангеймской труппы. Так прошло две

недели; наконец он заставил себя оторваться от новой пьесы и всерьез засел за неприятную и трудную работу по переделке «Фиеско». Около 8 ноября он завершил ее и передал рукопись через Мейера Дальбергу.

Существует письмо, которое было отправлено в те дни сверстнику и коллеге-медику, доктору Фридриху Якоби. Послание датировано 6 ноября, средой, отправлено из «Э.», что должно было, видимо, обозначать Эрфурт. «В данное время я нахожусь на пути в Берлин» (VII, 37). Маскировка, вымышленные поездки: «Не исключено, что в Берлине я изменю свои намерения и, при содействии важных лиц, отправлюсь в Петербург» (VII, 38). Впрочем, Шиллер стремится отчасти устранить путаницу, вызванную его искусственно замаскированными письмами в Штутгарт. «Они ...преследовали весьма важную цель — уберечь от опасности мою семью и по мере возможности придать законный вид моему своевольному поступку. Этой цели я, кажется, достиг, и тем самым вся эта история будет исчерпана. Если бы герцог без всяких двусмысленных оговорок согласился с моими требованиями, я бы, конечно, не только *должен* был, но и *мог бы* возвратиться с почетом и выгодой, и весь мой замысел получил бы иной вид» (VII, 37). Но и в дальнейшем эта игра с запутыванием, которую он затеял с момента побега, будет продолжаться. Серьезным, пожалуй, является раздумье о том, следует ли ему и дальше заниматься писательством или вернуться к медицине. Его разочарование отражено в следующем замечании: «Мангейм, в сущности говоря, неподходящая для меня сфера. Он слишком мал, чтобы благоприятствовать мне как медику, и слишком бесплоден, чтобы дать мне возрасти как писателю. Взять на себя службу в театре? Но это не входит в мои намерения, да и вообще, какой в этом прок, он очень оскудел, обеднял и все больше и больше приходит в упадок» (VII, 38).

В этом месяце, ноябре, Шиллеру исполнилось двадцать три года — кажется, что все расчеты рушатся, самые реальные надежды оказываются обманчивыми. Разрыв с отечеством, который еще в октябре казался делом поправимым — Оже в очередной раз написал, что беглецу нечего опасаться, — теперь представляется окончательным, страх перед гневом герцога становится истерическим. Чтобы не попасть в должники к хозяину гостиницы, Штрейхер еще раз просит у матери выслать денег, а Шиллер закладывает часы. Второй раз рухнула надежда, возлагавшаяся на «Фиеско», и Мангейм, заманчиво сиявший из штутгартской дали, превратился в груды пепла, под которой остались погребенными несбывшиеся ожидания.

В письме, отправленном Христофине также 6 ноября, сквозит благочестие по отношению к давно покинутому отеческому дому:

«Дорогая сестра! Вчера вечером я получил твое письмо и спешу снять тревогу твою и наших добрых родителей о моей судьбе. Мой полный отрыв от отечества и семьи, свершившийся теперь, был бы для меня очень болезненным, если бы я не ожидал его и не способствовал ему, если бы я не видел в нем необходимого веления неба, которое не хотело сделать меня счастливым на родине. Небу мы вверяем свое будущее, от него, *и лишь одного его*, мы зависимы. Ему я вверяю вас, мои дорогие, пусть он даст вам силы пережить

мою судьбу, а также со временем разделить мое счастье. Вырванный из ваших объятий, я не знаю лучшего и надежнейшего прибежища для моего самого дорогого сокровища, кроме бога. Из его рук я хочу снова обрести вас — и пусть эта слеза будет последней, которая упадет здесь.

Твое пожелание, чтобы я устроился в Мангейме, не может быть исполнено. Если бы мне посчастливилось быть там, я предпочел бы более близкое соседство с родными и искал бы там должность, если бы меня не сделали столь гордым мое близкое знакомство с мангеймскими друзьями и их поддержка. Я пишу тебе сейчас, находясь на пути в *Берлин*.

Та же самая наивная игра в запутывание: в Берлин, может быть, в Петербург. От всего сердца ложные заверения в том, что он не терпит нужды, так как его «работа хорошо оплачивается». В Берлине его рекомендовали Николаи *, и у него ни в чем не будет недостатка. А следом за тем: «У меня нет иной мысли, как добиться счастья при помощи медицины, я попытаюсь в течение полугода найти должность врача». Такие мысли приходили ему в голову, он знал, что отцу эти строки доставят радость, но как должны Христофина и родители связать все это между собой?

Необходимо показать, как этот обман, продиктованный, вероятно, необоснованным страхом, будет продолжаться и в следующие месяцы. В семье созрела потребность во встрече. Письмо от 19 ноября Шиллер просто посылает якобы из Мангейма: «Так как я в настоящее время нахожусь в Мангейме и через 5 дней уеду навсегда...» — и предлагает встретиться на почте в Бреттене; должны приехать мать и Христофина, взяв с собой Фишер и фрау фон Вольцоген. Мать и сестра приехали, названные дамы нет — по понятным причинам. Как мог отнестись к этой поездке отец Шиллера? Во всяком случае, он не запретил ее. «В полночь мы услышали, как подъехал к гостинице всадник. Это он, подумали мы, и, как только он вошел и спросил у кельнера, не приехали ли две дамы, мы тотчас же узнали его голос и бросились ему навстречу. Он был очень весел, полон надежды на будущее и говорил до самого утра. Мы пробыли вместе целых три дня». Так вспоминает Христофина. Это было между 23 и 25 ноября. «Очень весел и полон надежды...» — хотя темным казалось это будущее. Но желание не огорчать самых любимых людей и юношеский оптимизм, который вспыхнул с новой силой при встрече с близкими, позволили ему скрыть свои тревоги и три дня казаться радостным. Обе женщины поплакали на прощанье, но пустились в обратный путь несколько утешенные. А Шиллер скачет на нанятом коне в Мангейм, в неизвестность и темноту.

И снова его «Фиеско» отказано в милости перед судейским столом Дальберга. 16 ноября поэт писал ему:

«Я живу сейчас в напряженнейшем ожидании вестей о том, как ваше превосходительство нашли моего «Фиеско» и подтвердились ли вообще мои предположения или не подтвердились. То, что я уже Целую неделю ничего не имею от вас, заставляет меня думать, что путаное развитие сюжета требует известных усилий от критически

мыслящего читателя, так же как требовало их от автора. Я хотел создать сложную картину действующего, но поверженного честолюбия — если это мне удалось, то я не сомневаюсь, что она многое скажет театральной дирекции, актеру и зрителю. Если бы мне удалось, кроме того, еще издать эту пьесу в том виде, в каком мне бы хотелось, и вовсе откинуть мысль о театре, то после изъятия одного только эпизода она стала бы значительно проще. Если вы, ваше превосходительство, еще не вынесли решения относительно пригодности моей пьесы для театра, то прошу вас пока что сообщить мне только свое суждение драматурга, которое чрезвычайно меня интересует» (VII, 39—40).

Через два-три дня Мейер вынужден сообщить ему, что и новая редакция признана непригодной, ее не примут и не оплатят. И этот отказ, о котором добром Мейеру было, видимо, не так легко сообщить, Шиллер встретил без жалоб, внешне спокойно и с исключительным самообладанием. Он отправился к Швану и продал ему «Фиско» для печати по одному луидору за лист, из них 10 луидоров наличными, из которых в первую очередь было уплачено хозяину гостиницы в Оггерсгейме. Несколько недель спустя Шван писал Виланду довольно сухо: «Я много раз советовал ему не рисковать на поприще драматургии и поэтического искусства, а полностью посвятить себя главной науке — медицине, где он мог добиться действительно больших успехов. Но я не думаю, что он последует моему совету. У меня печатается новая его трагедия, которую я у него купил, чтобы обеспечить ему деньги для поездок».

В конце ноября театральный совет еще раз занимался «Фиско»; Иффланд внес предложение оплатить новую редакцию хотя бы скромной суммой, но все напрасно. В самом деле, не оставалось ничего, что могло бы еще задерживать Шиллера в Мангейме. Но должен был последовать сигнал для выступления в поход, предупредительный свисток, должна была быть объявлена тревога. Однажды к Мейеру заходит какой-то офицер, весьма настойчиво интересуется Шиллером; Мейер, думая, как бы не попасть впросак, делает вид, будто бы ничего не знает. Появляются Шиллер и Штрейхер, на них тотчас же обрушивается это страшное известие, вдруг раздается звонок — друзья со страхом бросаются за смехотворно тонкую драпировку. Так повторялось несколько раз, ибо Мейеры были очень общительными и к ним постоянно заходили разные люди. Между тем стали искать более надежное убежище, и мадам Куриони из театра могла сыграть роль ангела-хранителя. У нее оказались ключи от пустующего дворца барона фон Баадена, там друзья и находят приют. Успокоившись, они наслаждаются изысканной обстановкой. На стенах чеканка на меди, выполненная Лебруном, с изображением всех двенадцати битв великого Александра, «кои оказались приятным развлечением вплоть до глубокой ночи» (Штрейхер). На следующий день выяснилось, что волнения были напрасны — это лейтенант Козериц, товарищ по Академии, захотел навестить Шиллера и ради этого, собственно, приехал в Мангейм.

Теперь можно было бы и посмеяться над этим, однако напряжение

не спало: разве то, что не случилось сегодня, не могло произойти в любое время? Мы не хотим анализировать мысли и ощущения мангеймских друзей и покровителей, и в первую очередь добросердечной супружеской пары Мейер. Они считали, что поэт должен перебраться в другое место, где бы он чувствовал себя в большей безопасности. А сам Шиллер? Трусость была ему чужда, и он презирал ее, он мог найти в себе достаточно мужества и находил его в разных жизненных ситуациях. Тем не менее оставаться в Мангейме, с которым в данный момент все было покончено, значило подвергать себя немалой опасности. Крепость Асперг бросала длинную тень, судьба Шубарта стояла перед его глазами; мысль о судьбе сокола, заключенного в клетку, была для него ужасна. Теперь он всерьез думает о предложении фрау фон Вольцоген, обещавшей ему обеспечить в случае нужды пристанище в ее тюрингенском имении в Бауэрбахе; он просит ее о необходимых для этого письменных распоряжениях и получает их с почтой.

Прощай, Мангейм, прощай, Оггерсгейм. В трактире при ското-прогонном дворе состоялось сердечное прощание — жена хозяина и дочери были очень расположены к этому гостю. Штрейхер и Мейер помогают укладывать вещи. Оггерсгейм был примечательной остановкой на жизненном пути, и многие это понимали, не только более поздние историки литературы и биографы... «По чудесной аллее мы прошли в Оггерсгейм, где находилась резиденция супруги курфюрста. Я посетил ту самую гостиницу, в которой останавливался великий Шиллер после своего бегства из Штутгарта. Это место стало для меня священным — мне стоило больших усилий сдерживать подступавшие к глазам слезы благоговения перед гениальным поэтом. О замке супруги курфюрста я, собственно, ничего не могу сказать — я не видел ничего, кроме домов и садов, голова моя была занята мыслями о Шиллере...» Так описывал в письме к матери свое первое путешествие восемнадцатилетний Гёльдерлин.

День 30 ноября оказался против обычного настоящим зимним днем, холодным и снежным. Штрейхер, Мейер, Иффланд и другие мангеймские друзья сопровождали Шиллера до Вормса. Случилось так, что в зале почты, где он временно остановился, труппа бродячих актеров предложила показать свое искусство. Общество не посмело отказать им; была показана «Ариадна на Наксосе» в обработке Иоганна Кристиана Брандеса. Убогая, смехотворная пьеса, истинно балаганная комедия. Гром, под раскаты которого Ариадна спускалась со скалы вниз, изобразался при помощи мешка картошки, которую высыпали в железную ванну. Мангеймские господа отбили себе ладони, хлопая от удовольствия и сотрясаясь от смеха. Однако Шиллер иначе отнесся к спектаклю. Его растрогала бесхитростная игра этих актеров, сквозь жалкую оболочку он ощутил волшебство поэзии. И после, во время ночной трапезы, прощального ужина с вином «Молоко любимой женщины», он оставался серьезным и задумчивым. Наконец мангеймцы отправляются домой, а Шиллер располагается на ночлег в своем холодном номере.

ИНТЕРМЕЦЦО В БАУЭРБАХЕ

Герцогство Саксония-Мейнинген из всех саксонских земель было наименее саксонским. Расположенное западнее и южнее Ренштейга, древней военной пограничной дороги между Тюрингией и Франконией, пролежавшей по гребню Тюрингенского леса, оно было франкским по наречию и обычаям. Это верховье Верры, холмистая местность между Тюрингенским лесом и Рёном, глиноземные и ракушечно-известковые возвышенности, луга, поля и леса; Мейнинген — резиденция со всеми полагающимися атрибутами, разумеется карликовых размеров, его придворный театр пользовался известностью в Европе, но это было уже по прошествии того времени, о котором мы ведем речь.

Утром 7 декабря 1782 года Шиллер прибыл в Мейнинген; он остановился в гостинице «Олень». Позади был семидневный путь, проделанный в почтовом дилижансе по тряской дороге, под конец — через заснеженный Рён; от холода, проникавшего в карету, не согрело тонкое летнее пальто. Фрау фон Вольцоген заранее рекомендовала его библиотекарю Рейнвальду; Шиллер послал ему сообщение о приезде и пригласил к обеду. И вот он знакомится с человеком, суховатым на вид, но вежливым и образованным; Рейнвальд дает ему первую информацию об этом новом маленьком мире; но дорогу в Бауэрбах он, очевидно, недостаточно подробно описал, ибо Шиллер только под вечер собрался выехать — багаж оставался еще в гостинице — и в пути был застигнут темнотой. До Унтермасфельда шла еще довольно сносная дорога через долину Верры; но дальнейший путь, в сторону от долины — в гору, через цепь холмов, по глубокому снегу да еще сквозь темень, а приезжий был плохо защищен от холода. Наконец с облегчением видит он в белой ложбине под темным ночным небом дома Бауэрбаха (в тогдашних сообщениях речь шла об избушках), со светящимися окнами. Шиллер идет к управляющему имением Фойгту. Тот, видимо, был заранее уведомлен хозяйкой о прибытии гостя, ибо в комнатах, в господском двухэтажном доме, куда он приводит приезжего господина, доктора Риттера, уже все приготовлено. Ему отведены две комнаты на втором этаже. Железная печка излучает тепло и бросает красноватый отблеск на пол; неподалеку от нее — небольшой, удобный для работы стол; в соседней комнате кровать, застланная свежим постельным бельем, как бы приглашает к отдыху.

На следующий день, в воскресенье, он пишет верному Андреасу Штрейхеру:

«Любезный друг! Наконец-то я здесь, счастливый и довольный, что уже пристал к берегу. Много даже превзошло мои надежды; никакие нужды более не страшат меня, ничто извне уже не помешает моим поэтическим грезам, моим высоким иллюзиям.

Дом моих Вольцогенов — весьма изящное и приятное строение, где я совсем не скучаю по городу. Мне предоставлены все удобства, стол, обслуживание, стирка, отопление, — все эти обязанности превосходно и с большой охотой выполняют обитатели здешней деревни. Я приехал вечером — надо вам знать, что езды сюда из Франкфурта

45 часов, — предъявил письма и был торжественно препровожден в господский дом, где тотчас же начались уборка, топка и приготовление постели. Сейчас я не могу и не хочу заводить никаких знакомств, так как у меня до ужаса много работы. Ну и задам же я страху на пасхальной ярмарке!» (VII, 40—41).

Шиллер рекомендует ему поддерживать отношения со Шваном и Мейером, еще лучше — ездить к ним. Затем следуют строки, которые отражают всю горечь его разочарований в Мангейме: «Если тебе нужно чье-нибудь расположение, то надо либо сделаться подлецом, либо стать этому человеку необходимым. Одно из двух, иначе ты идешь ко дну» (VII, 41). Испытанному во всех ситуациях другу отправлено это письмо в воскресенье, тогда же послано письмо Швану: «Дорогой друг, с радостной душой я могу сообщить, что прибыл на место, как человек, потерпевший кораблекрушение и с трудом вырвавшийся из волн». Он просит его взять под свое покровительство «оставшегося друга и земляка», то есть Андреаса Штрейхера: «Сделайте это для меня».

На берегу, на месте — как понятны эти слова. Более чем полгода с того момента, как он решился бежать, не было ни одного вечера, чтобы он спокойно мог отойти ко сну, а просыпаясь, он каждый раз глядел в лицо неизвестности. Здесь наконец он мог чувствовать себя в безопасности. Это ощущение отражено не только в письмах, которые он пишет сразу по прибытии в Бауэрбах, но и в его более поздних высказываниях. Когда Бауэрбах был далеко позади, он писал (5 мая 1784 года, Рейнвальду): «Не сочтите это за пустые слова, если я скажу, что мое пребывание в Бауэрбахе было самым приятным и, видимо, никогда не повторится».

Укромный уголок... «Мне всегда доставляет несказанное удовольствие, находясь в возможно меньшем телесном пространстве, носиться по всей великой земле» (VII, 178). Это выдержки из письма Лотте Ленгефельд (ноябрь 1788 года). «Иероним в жилище», как изобразил его Дюрер, — это одна сторона сущности Шиллера. Другой рисунок Дюрера: рыцарь, которому не страшны ни смерть, ни черт, скачет к своей цели — и это тоже Шиллер.

Временами бывало — и кого это удивит? — что укромный уголок казался ему тесен, и он тосковал по большому миру. И тем не менее над этим временем — от декабря до июля — веет ветерок деревенской идиллии. К тому же здесь — на этот счет он не испытывал ни малейшего сомнения — он первый человек; зная латынь, он мог вспомнить пословицу, что лучше быть первым в глухом уголке, чем вторым в Риме. Здесь он — законный наместник владелицы имения, а жители деревни, начиная от управителя Фойгта (он же и учитель) и до последнего крестьянина, — только подданные Вольцгоенов; потому у автора «Разбойников» не должны были возникать никакие сомнения. И если он долгие годы испытывал на себе судьбу беженца, то нигде она не благоволила к нему так, как в этой деревне, потому что Шиллер был здесь на положении человека из привилегированного сословия, если уж это называть современным словом.

Деревенская идиллия... Зимнее время в тепле, под крышей, зане-

сенной толстым слоем снега, за низкими окнами кружатся снежные хлопья, он сидит за столом недалеко от печки, в окружении книг, которыми его снабжает библиотекарь Рейнвальд из Мейнингена, пишет и пишет, пока на последнем листе не появляются слова: «Спокойной ночи — я больше не могу держать перо». Весна... Письмо Рейнвальду начинается так: «Бауэрбах. Рано утром, в беседе, 14 апреля 1783 года. Понедельник. В это дивное ласковое утро я думаю о вас, друг мой... и о моем Карлосе. Природа открывается моей душе в безоблачном, сияющем зеркале, и кажется мне, что мои мысли правильны» (VII, 47). Он охотно работает в этой беседке в теплые дни, с раннего утра до полудня. Если заглянет гость, час-другой можно провести за обедом и приятной беседой прямо здесь, в саду, или пройтись до ближайшего холма и за каменным столиком выпить чашечку кофе.

Деревенская повседневность наглядно отразилась в письме, которое Шиллер адресовал владелице имения, полностью войдя в роль заботливого управляющего (от 23 апреля 1783 года): «Недавно возник спор из-за овец. Фойгт и его сторонники запретили выгонять скотину на луга. Вирт, Шнупп, Цигенбейн и Штрауб (чья жена недавно умерла) возражали против этого. Суд два раза высказался за управителя, но, несмотря на это, последние выгнали овец на луга, не щадя и ваши собственные. Я застал сцену, которая была для меня неприятной, хотя и заслуживает кисти мастера. Фойгт и его семья пришли с дубинками, чтобы прогнать овец, но крестьяне стали сопротивляться, говорить грубости, выставлять всякие доводы и тому подобное. Сын Вирта натравил на учителя собаку, и тот, опасаясь, как бы не началась драка, приказал ударить в колокола и поднял на ноги всю деревню. Судебный староста запретил ему всякие насильственные наказания за нарушение запрета и назначил на завтра заседание суда. Мое мнение (я выслушал обе стороны): потребуйте от старосты, который обязан представлять ваши интересы, чтобы он выступил против неуважительного поведения соседей. Вы должны это сделать, если хотите, чтобы выполнялся приказ и сохранялось спокойствие. А общину вы должны оградить от его произвола. Он тоже не безгрешен, это вы очень хорошо знаете, но грубость и насилие со стороны других также безответственны, и, как я слышал, один конфирмант за день до конфирмации в насмешку над управителем справил большую нужду за органом во время богослужения». Этот случай в церкви из деревенской повседневной жизни, точнее, имевший место в воскресный день, еще очень далек от деревенских сцен Брейгеля...

Наиболее постоянным собеседником Шиллера в Бауэрбахе был еврей по имени Маттих; по местным преданиям, он отличался «веселым нравом, некоторой образованностью и здравым природным умом»; Шиллер предпочел его всем обитателям Бауэрбаха. Зимними вечерами он играл с ним в карты. Но особенно он любил брать его с собой на прогулки. Возможно, они беседовали о религиозных вопросах, или Маттих показывал ему достопримечательности местности — его родины? — рассказывал ему саги и истории, например о крепости Хеннеберг, которую захватили и разрушили во время Крестьянской войны. Шиллер размашисто шагал рядом с ним, наклонив голову, и

внимательно слушал. Старые истории волновали воображение — прекрасные сюжеты для баллад; он попросил однажды рассказчика подождать, присел на лесной полянке и достал свою записную книжечку; на следующий день Маттих осторожно осведомился о записях. «Ничего не получилось, я порвал», — ответил Шиллер. Случалось, что Маттих, который со своим скарбом много ходил по окрестным деревням, сидел дома, устав от дальних дорог, а в это время за ним приходили от Шиллера. А его жена ворчала, что он попусту тратит время с этим праздным парнем. Его ответ остался в семейных преданиях: «Замолчи, не знаю, что со мной делается, когда он зовет меня, но я должен идти за ним...» Таковы факты, связанные с лоточником Маттихом.

Среди знакомых, которыми обзавелся Шиллер в Бауэрбахе и его окрестностях, первое и важнейшее место принадлежит библиотекарю Рейнварльду. Герману Рейнварльду перевалило тогда за сорок лет, он был разочарован в жизни и терпел лишения; незначительная и плохо оплачиваемая должность не соответствовала его основательному юридическому и лингвистическому образованию. Существуют два его портрета, один сделан в юности, другой — в более поздние годы; печально видеть, что скромное лицо доверчиво глядящего в мир человека сменилось маской озлобленного, угрюмого филистера. Шиллер вдохнул в этого преждевременно состарившегося, холодного человека словно бы луч теплого света. «Сегодня этот молодой человек — Шиллер — открыл мне свое сердце, он очень рано прошел школу жизни, и я считаю его своим другом. Я не думаю, что подарил свое доверие недостойному, тогда я бы обманулся во всем. В нем живет необыкновенный дух, и я верю, что наступит время, когда Германия с гордостью будет произносить его имя. Я видел искры, которые сверкали в глазах этого человека с омраченной судьбой...» Так записано в дневнике Рейнварльда.

К нему, понимающему и опытному человеку, в этом единственно доступном для Шиллера городе поэт обращается со всеми пожеланиями и вопросами касательно книг и журналов, а также всевозможных необходимых мелочей, как чернила и почтовая бумага или «фунт хорошего нюхательного табака для бедного изнемогающего друга». Но прежде всего он поверяет ему свои драматургические замыслы. «Через 12 — 14 дней я закончу новую трагедию, тайным судьей которой хочу назначить вас (17 ноября)»; имеется в виду «Луиза Миллер», над созданием которой он яростно работает в своем убежище. Но окончание ее затягивается, ибо его уже увлекают новые замыслы, в голове роятся иные образы: Мария, королева Шотландии, дон Карлос, испанский инфант, они рядом с ним в низкой комнате, они сопровождают его во время прогулок. Его занимает драматический набросок «Имгоф», который так и не был воплощен, снова маячит Конрадин. Кроме того, в декабре нужно было написать предисловие к «Фиеско». И между делом он создает забавный подарок герцогству Саксония-Мейнинген, где в то время возникло беспокорство в связи с захватническими устремлениями соседней Саксонии-Кобург, — одно шуточное стихотворение

ad hoc¹, «Странная история знаменитого похода, который хотел предпринять Гуго Сангериб, король Ассирии, в страну Иудею, однако должен был прекратить незавершенное дело. Из одной древней хроники извлек и в смешных стихах представил Симеон Кребсауге, бакалавр». Эта вещь, отредактированная Рейнвальдом, появляется в «Мейнингенских еженедельных сообщениях» к удовольствию двора.

Среди писем, которые направил Шиллер из Бауэрбаха, только письма Рейнвальду отражают его чувствования и в первую очередь творческие замыслы. В них слышатся сетования на одиночество и оторванность от мира. «Я должен заметить, что придерживаюсь того мнения, что если гений и не будет подавлен, то может страшно деградировать, сжаться, если у него нет толчка извне» (21 февраля). «Мое состояние одиночества подобно стоячей воде, которая начала бы жить, если бы в ней время от времени происходило небольшое волнение» (март). Об одном театральном календаре, который вызвал его неудовольствие, он высказался словами Гёца фон Берлихингена: «Перед его кайзеровским величеством у меня должный респект, но он может меня...» (март). Уже цитировалось начало одного письма, сочиненного в беседке под сияющим весенним небом. Здесь нужно привести его полностью. Этот утренний час отмечен «прорывом» в мышлении Шиллера.

«По-моему, любой поэтический вымысел не что иное, как восторженная дружба или платоническая любовь к созданию нашего ума. Объяснюсь точнее.

Создавая характеры, мы по-новому перемешиваем наши чувства и наши исторические познания о чужих чувствах — в положительных давая возобладать плюсу, или свету, а в отрицательных — минусу, или тени. И как из обыкновенного белого луча, в зависимости от того, как он упадет на плоскость, рождаются тысячи и тысячи красок, так, по моему убеждению, в нашей душе спят первоосновы всех характеров, чтобы затем благодаря действительности и природе или благодаря художественной иллюзии обрести либо прочное, либо только призрачное и мгновенное бытие. И тогда все порождения нашей фантазии в конце концов только *мы сами*. А что такое дружба или платоническая любовь, как не сладострастное слияние двух существ? Или созерцание себя в зеркале другой души.

Любовь, друг мой, сия великая и непогрешимая область чувств, в конце концов только *счастливый* обман. Разве *чужое*, никогда не становящееся *нашим* существо заставляет нас страшиться, пылать и млесть? Конечно, нет. Все это мы претерпеваем лишь для самих себя, для нашего *я*, отражением которого это существо является. Я здесь не делаю исключения даже для бога. Бог, думается мне, так же равнодушен к серафиму, как и к червю, неведомо для себя его славящему. Он зрит *себя*, свое великое бесконечное *я*, рассеянным в бесконечной природе. Сумму всех сил он мгновенно перечисляет на себя, во всей механике мироздания зрит *свой совершенный образ*, словно отраженный в зеркале, в его *очертаниях* любит себя, в *знаке* — *обозначаемое*.

¹ Здесь: к случаю, кстати (*лат.*).

С другой стороны, в каждом отдельном создании (в большей или меньшей степени) он находит частицы своего существа. Выражаясь образно, если душе, по Лейбницу, присуща хотя бы единая черта божества, то душе мимозы от него передалась лишь одна простейшая *точка* — возможность чувствовать, а величайший после бога мыслящий дух... но ведь вы меня уже поняли. От этих образных сравнений я перехожу к более чистому понятию любви. Так же как совершенство не может существовать само по себе, а заслуживает этого наименования лишь в силу известного отношения к всеобщей цели, так и мыслящий дух не может уйти в самого себя и самим собою удовлетвориться. Вечное и неизбежное стремление найти дугу для этого угла, а из дуги вывести круг означает — соединить в неразъемлемое тело рассеянные черты красоты, звенья совершенства, другими словами — извечное внутреннее стремление перейти в другое существо или вобрать его в себя, к себе притянуть — это и есть любовь. И разве во всех проявлениях любви и дружбы — от ласкового рукопожатия и поцелуя до самого пылкого объятия — по-разному не выражается единое, стремящееся к слиянию существо?

Теперь я затрону пункт, к которому приблизился окольным путем. Ежели дружба и платоническая любовь — только смешение нашего существа с другим, чуждым, только страстное домогательство его качеств, тогда и то и другое, собственно, лишь иной вид воздействия поэтического вымысла, короче: существо, почитаемое нами другом или героем нашего произведения, и есть поэтический вымысел. В обоих случаях *мы* идем новыми путями и оказываемся в новых положениях, *мы* приземляемся в иных плоскостях, видим *себя* раскрашенными другими красками, *мы* страдаем в других телах. Если мы можем пламенно сочувствовать нашему другу, то в сердце у нас найдется тепло и для наших поэтических героев. Было бы, однако, преждевременно сделать отсюда вывод, что из способности к дружбе и платонической любви вытекает способность к истинному художественному творчеству. Ибо я могу полностью *прочувствовать* большой характер, не умея его создать. Но при этом можно считать доказанным, что у большого поэта достанет сил и на высшую дружбу, даже если ему и не довелось проявить ее. Бесспорно то, что мы должны быть друзьями наших героев, раз нам суждено вместе с ними распалиться гневом, трепетать, плакать и отчаиваться, что они должны быть для нас самостоятельными людьми, поверяющими нам свои сокровенные чувства, изливающими на нашей груди свои страдания и радости. Отсюда следует, что наши восприятия — это рефракции, нечто не первичное, но порожденное состраданием. Мы, поэты, трогаем, потрясаем, воспаляем сильнее всего тогда, когда сами почувствовали страх за наших героев и сострадание к ним. Один крупный философ, сейчас не припоминаю его имени, заметил, что симпатию вернее и сильнее всего пробуждает симпатия же. Теперь я отдаю себе полный отчет в этой сентенции. Поэтому надо быть не столько *живописцем* своего героя, сколько его *возлюбленной*, его *задушевным другом*. Участиливость любящего подмечает во сто крат *больше* нюансов, нежели самый зоркий взгляд наблюдателя. Благополучие и неудачу, счастье

и несчастье любимого нами мы впитываем в себя куда большими дозами, чем то, что мы не так любим, хотя и изучили досконально. Посему «Юлий Тарентский» растрогал меня больше, чем лессингова «Эмилия», хотя Лессинг несравненно наблюдательнее Лейзевица *. Лессинг был надсмотрщиком над своими героями, а Лейзевиц — их другом. Поэт, если можно так выразиться, должен сам себе быть читателем, а если он поэт театральный — сам себе партером, публикой...

Я *многое* сказал вам, и сказал, как вижу сейчас, перечитывая письмо, *слишком кратко*. Может быть, в другой раз я это разовью.

Теперь еще несколько слов о моем *Карлосе*. Надо вам признаться, что в известной мере он заменяет мне возлюбленную. Я ношу его в своем сердце, брожу с ним по полям и лесам в окрестностях Бауэрбаха. Когда он будет наконец готов, вы сопоставите меня и Лейзевица с нашим Карлосом и Юлием не по величию кисти, но по яркости красок, не по *мощи* владения инструментом, но по *тональности*, в которой мы играем. У Карлоса, если я смею прибегнуть к такому сравнению, душа шекспировского Гамлета, кровь и нервы лейзевицевского Юлия, *пульс* — мой. Кроме того, я считаю своим долгом отомстить в этой пьесе своим изображением инквизиции за поруганное человечество, пригвоздить к позорному столбу ее гнусные деяния. Я хочу — пусть даже из-за этого мой Карлос будет потерян для театра, — чтобы меч трагедии вонзился в самое сердце той людской породы, которую он до сих пор лишь слегка царапал. Я хочу... но вы, боже упаси, еще станете смеяться надо мной...

Ваше последнее письмо, мой дорогой, воздвигло вам нерушимый памятник в моем сердце. Вы — та благородная душа, которой мне так долго недоставало и которая достойна владеть мною со всеми моими слабостями и вдребезги разбившимися добродетелями, ибо *первые* вы потерпите, а *вторые* почтите слезой. Дорогой мой друг! Я не тот, кем мог бы быть. *Возможно*, я бы стал велик, но судьба слишком рано начала противоборствовать мне. Любите и цените меня за то, чем я мог бы стать под более счастливым созвездием, и уважайте во мне те намерения, осуществлению которых воспрепятствовала судьба; главное же — всегда оставайтесь мне *другом*» (VII, 47—50).

В двадцатитрехлетнем Шиллере вдумчивый исследователь обнаруживает черты духовной зрелости, проявление высоких творческих потенций, а также жизнерадостное, исполненное достоинства поведение в повседневной жизни; вместе с тем налицо признаки юношеской незрелости, проявляющейся в еще очень неуверенных отношениях с женщинами. Это видно из его поведения по отношению к его охранительнице, фрау фон Вольцоген, о котором можно судить по письмам.

Вдове баронессе Генриетте фон Вольцоген, урожденной баронессе Маршалк фон Остгейм, матери четырех сыновей, учившихся в Карлсшуте, было в ту пору тридцать семь лет; это была женщина с приятными чертами лица, сердечная и участливая, но боязливая и легко возбудимая. Достаточно было незначительного или надуманного повода для того, чтобы привести ее в трепет. Рейнвальд пишет о ней: «Тот, кого я люблю, может поучиться чувству дружбы, любви

к людям, доброте у фрау фон Вольцоген, но порядку и постоянству он должен учиться у других» (в письме от 24 мая сестре Шиллера Христофине). Поэт был признателен ей, но, видимо, не только это чувство питал он к этой женщине; он возбуждался и легко воспламенялся под влиянием женского обаяния, а она была лишь немного старше его оставшейся в Штутгарте Лауры и, вероятно, внешне интереснее...

С конца декабря по конец января фрау фон Вольцоген с дочерью жила в тюрингенском имении своего брата, Вальдорфе, находящемся в трех часах пути от Бауэрбаха. В это время они навещали друг друга и проводили вместе целые дни. На Новый год дамы были в Бауэрбахе. И хотя Шиллер намеревался после этого нанести ответный визит им в Вальдорф, он взволнованно берется за перо: «Я не знаю, отправлю ли я это письмо раньше, чем сам явлюсь к вам. Во время вашего отсутствия я словно обокрал сам себя. Я испытываю чувство большого восторга, как человек, который долго смотрел на солнце. Оно стоит перед ним, хотя он уже давно отвел глаза. Но он не видит ничего другого, ослепленный его лучами». В наскоро написанном письме есть примечательная фраза, которая отражает события прошедшей осени в Мангейме: «Я обнимал полмира, пылая самыми жаркими чувствами, но оказалось, что я держал в руках холодный лед». И подпись: «И не забудьте, что три часа каждое мгновение думает о вас ваш нежнейший друг Ф. Шиллер». После этого он снова находится четыре-пять дней у ног своей покровительницы.

Несмотря на всю теплоту взаимных чувств, их отношения не могли оставаться безоблачными. Фрау фон Вольцоген трепетала от страха, что герцог узнает наконец о местонахождении Шиллера, и тогда он выплеснет чашу своего гнева на ее сыновей и выгонит их из Академии. Карл Евгений никогда ничего подобного не делал, но опасения женщины понять нетрудно, и прежде всего ее страх, что станет известно, где скрывается Шиллер. Кажется, что болтовня штутгартской Дульсинеи Шиллера — Фишер принесла вред; впрочем, и сам Шиллер не очень следил за соблюдением своего инкогнито. Испытывая тревогу за своих сыновей, женщина заставила Шиллера написать несколько писем с фальшивым обратным адресом. Прямо в Вальдорфе он вынужден был написать письмо, отправленное якобы из Ганновера на имя фрау фон Вольцоген, в котором он сообщает о своих планах путешествий в Англию и Америку. Оно содержит также заверение в том, что он никогда не будет «умалять авторитета» герцога Вюртембергского, а также суровое порицание Фишер — все в точном соответствии с пожеланиями фрау фон Вольцоген. Такое же «обманное» письмо получает и верный друг Андреас Штрейхер: «Я жалкая игрушка в руках судьбы! Все мои планы рушатся! Какой-то дурацкий чертенок словно мячом швыряется мною в этом подлунном мире...»

Вы только послушайте!

«Когда письмо до вас дойдет, меня уже не будет в Бауэрбахе. Но не пугайтесь. Возможно, что я устроюсь еще лучше» (VII, 42).

Наполовину соответствует правде примечание: «Г-жа фон Вольцоген, правда, уверяла меня, что ей очень хотелось бы служить мне опорой в планах моего будущего счастья... Но... я сам должен понять, что долг по отношению к детям стоит для нее на первом месте, а они безусловно пострадают, если герцог В. что-нибудь пронюхает; с меня этого было довольно» (VII, 42). Действительно, можно спросить, как Шиллер мог и дальше со спокойной совестью чувствовать себя в безопасности в Бауэрбахе, несмотря на тревогу своей покровительницы. Он пробыл там еще полгода, ощущая себя то одиноким, то очень довольным. Можно предположить, что Рейнвальд, которому были известны слабости сострадательной женщины, умел успокоить Шиллера.

Но не только тревоги, испытываемые женщиной, и ее женское обаяние были причиной смутнения, которое переживал чувствительный поэт в период этих зимних встреч. То, что рядом с ней была юная, шестнадцатилетняя дочь, имело свои последствия. Он испытывает все более сильное влечение к этой девушке, образ ее возникает перед Шиллером после ее отъезда, в дни его зимнего одиночества. «Еще цельная, как из рук создателя, невинная, прекраснейшая, нежнейшая, чувствительная душа; еще ни одного следа всеобщей испорченности на чистом зеркале ее души» — такой нарисовал он ее в письме к ее брату Вильгельму спустя несколько месяцев.

Когда в марте Генриетта фон Вольцоген сообщила ему в письме, что лейтенант Винкельман, также воспитанник Карлсшутле, будет сопровождать ее и дочь во время весенней поездки из Штутгарта в Тюрингию, в Шиллере вспыхнула ревность, и в длинном письме от 27 марта он убеждает свою покровительницу не брать с собой этого господина, ибо тогда перестанет быть тайной его пребывание в Бауэрбахе. То, как Шиллер искусно маскирует свое намерение отделиться от предполагаемого соперника опасениями за то, что раскроется тайна его местопребывания — а именно это и внушало страх госпоже фон Вольцоген, то, как он с невинным видом чернит этого Винкельмана — «Я совершенно не желаю умалять его достоинства, он действительно обладает некоторыми ценными качествами, но...» — все это напоминает прямо-таки манеру Франца Моора. Но то, что Шиллер ради мнимого сердечного дела прибегает к уловкам, чуть ли не мошенничеству, приносит свои результаты. Он получает утешительное письмо от мамы-защитницы. Нет, господин фон Винкельман не будет их сопровождать.

С легким сердцем ожидает он возвращения дам к 20 мая. Из письма Шиллера Рейнвальду: «Я дал указание подданным торжественно обставить приезд госпожи фон Вольцоген, что дало возможность очень приятно провести вечер. Я распорядился соорудить аллею из молодой зелени от самого въезда в деревню к их дому. Во дворе перед домом была сделана триумфальная арка из еловых веток, которую вы еще сможете увидеть, ибо скоро, очень скоро сами придете сюда, мой дорогой. От дома под звуки выстрелов все направились в церковь, которая была убрана зеленью и цветами. У нас была приличная духовая музыка, и пастор произнес приветственную речь и так далее». Через восемь дней дамы ненадолго уезжают; речь шла

о том, чтобы у герцогини Саксонии-Готы обеспечить содержание для Лотты. Шиллер, оставленный один, пишет госпоже фон Вольцоген: «Бауэрбах. Рано утром, 8 мая 1783, среда. Все добрые гении сегодня с вами. Я сижу здесь, тру глаза и думаю, что я один должен пить кофе, но мое сердце находится между вами и нашей Лоттой и сопровождает вас в комнату герцогини...» И он советует порвать связь с герцогиней. Он, автор трагедий, хочет позаботиться о Лотте...

Это было смело. В длинном письме от 30 мая он изливает свою душу. «Никогда я не нуждался так в вашем ласковом ободрении, как теперь...» Чувство влюбленности, которое он испытывает к Лотте, подозрение, что она чувствует себя связанной с кем-то другим, отчаянная надежда с помощью воображаемых доходов от трагедий оградить любимую девушку от недостойной ее службы и одновременно мрачное сомнение в своих возможностях: «...передаю вам мою трагическую музу в качестве скотницы, если вы содержите животных». Мысли о побеге и вечная привязанность. «Я перечитал то, что написал. Сумасшедшее письмо. Но вы простите мне его. Если в устном виде я дурак, то в письменном, видимо, немногим умнее».

Мрачные размышления сменяются радостью, хотя и кратковременной. Праздник троицы в деревне, прогулки, гости, завтрак в саду, танец крестьян во дворе усадьбы. (Шиллер сообщает Рейнвальду: «Я открыл в этих людях много тонкости, что мне тем более приятно, ибо я не ожидал найти ее у столь простых людей».) Во время длительной прогулки, которую совершает владелица имения со своим подопечным, она по-матерински добросердечно высказывается по поводу его мечтаний, связанных с дочерью; здесь она проявила известную проницательность, хотя обычно ее довольно легко можно было ввести в заблуждение.

«Моя «Луиза Миллер» в 5 часов утра уже выгоняет меня из постели. И вот я сижу, чищу перья и пережевываю мысли» (VII,51) — так начинается письмо Шиллера к Рейнвальду, датированное 3 мая. Еще в середине февраля поэт решил, что он справился с трагедией. Но так как посещение дам в мае и июне сделало систематическую работу невозможной — кроме того, сцена жизни казалась ему более захватывающей, чем театральная, — то завершение ее затянулось до июля месяца. Вспомним: первые контуры этой «мещанской трагедии» обозначились летом 1782 года, когда он сидел под арестом в Штутгарте. После неудавшегося дебюта в Мангейме он вместе со Штрехером отправился во Франкфурт и по дороге обдумывал замысел драмы. В Заксенхаузене он начал писать. Затем в Оггерсгейме, под временной крышей при скотопрогонном дворе отложив переработку «Фиско», он целиком погрузился в работу над «Луизой Миллер». И вот теперь, в Бауэрбахе, он должен был завершить ее, хотя его буйная фантазия рисовала уже образы и сцены из «Дон Карлоса» и «Марии Стюарт».

«Луиза Миллер», переименованная позднее в «Коварство и любовь»,

из всех произведений Шиллера наиболее тесно связана с живой современностью. Из других драм только «Разбойники» были восприняты как современное произведение, время действия которого лишь по настоятельному требованию Дальберга было перенесено в средние века. Все другие пьесы отражали исторические события — в очень свободной интерпретации, как в «Дон Карлосе», или научно обоснованно, как большая часть трилогии «Валленштейн». Только в «Коварстве и любви» мы переживаем современность Шиллера, ее общественные проблемы: пережитое, услышанное, увиденное, а также узанное по преданиям. Людвигсбург являл собой одно время образец сосуществования блестящего двора и скупого, простого, пропитанного пиетизмом бюргерского мира. Тогда была уместна французская поговорка: «Персики и дыни для господина барона, а прутья и палки для глупых». Но ни в чем не было столь разительных отличий, как во взглядах на отношения между полами. То, над чем в одном мире могли только посмеяться или разве что пожать плечами, в другом считалось позором и осуждалось на смерть и вечное проклятие. Из этого конфликта столь различной морали берет свое начало трагедия о Луизе Миллер.

Правда, общественная карусель находилась то на резком подъеме, то на спаде. «Двор и сераль кишели тогда подонками итальянского общества» (I, 645) — это замечание леди Мильфорд можно было бы отнести в какой-то мере на счет Вюртембергского двора 1750-х годов, когда молодой Карл Евгений дал полную волю своим страстям и когда люди типа Виттледера и Монмартэна выжимали соки из подданных. Людвигсбург 1760-х годов находился в полном блеске, в течение одного или двух зимних сезонов он считался одним из лучших дворов в Европе. Затихший Людвигсбург 1770-х годов живет — добрыми или недобрыми — воспоминаниями о недавнем прошлом. Штутгартский двор времен Карлсшутле отличался скорее скромностью, нежели роскошью, и рядом с Франциской было неммыслимо засилье фавориток. Хоэнгейм, собственно резиденция Карла Евгения, в то время, когда Шиллер был юношей, представлял собой имение. Сияющее, ужасное, пестрое отошло в область приукрашенных преданий, оживляемых тем немногим, что мог видеть сам поэт, будучи еще ребенком. Кое-что из прежних недобрых времен еще сохраняется, например сдача внаем солдат (знаменитый полк Мыса Доброй Надежды!), и едва ли смягчатся различия моралей в вопросах секса.

То, что музыканта Миллера не было бы без Шубарта, а леди Мильфорд без Франциски, — совершенно очевидно. Но очевидно также и то, что Миллер не является точной копией Шубарта, как леди — Франциски. Оба дали импульсы пламенной фантазии и холодному рассудку Шиллера — импульсы, но не более.

В биографии Шиллера, в которой должен быть воспроизведен также и его характер, необходимо указать на необычную жестокость, которой наделяет молодой драматург своих персонажей. «Но удивительное дело, еще со времен «Разбойников» на его талант налип какой-то привкус жестокости, от которой он не отделался даже в лучшие свои

времена»¹, — заметил Гёте в разговоре с Эккерманом. Жестокость, которая свирепствует в «Разбойниках», можно объяснить юностью поэта — неким подобием игры в индейцев; ужасное соседствует здесь с комическим. «Но с «Коварством и любовью» не до шуток» (Эмиль Штайгер)*.

В эту трагедию Шиллер вложил то, что он ощутил и проглотил в свои молодые годы как унижение и обиду и — что не исключено — впоследствии воспринимал как нечто оскорбительное. Детство с незаслуженными постоянными побоями, холодные и мрачные стороны пребывания в Карлсшуте, до смехотворного ограниченное существование его как полкового врача и, наконец, ледянице душу разочарования, которые пришлось испытать в Мангейме, — все это воплотилось в жестокой игре изощренного коварства и наивной любви. Вывести образы подлецов и свести счеты с ними — это тоже способ отомстить за унижения, которые были перенесены с достоинством; и при этом не задеть ни одного конкретного живого человека. Жестокое пригвоздить стихом и предназначить для сцены. «Послушай! Ты, наверное, был подручным у палача. Иначе откуда бы у тебя взялось умение медленно и верно проводить железом по хрустящим суставам и томить сжимающееся сердце ожиданием последнего удара?» — говорит Луиза Вурму (3 действие, 6 явление) (I, 674). Шван порицал Шиллера за подобные высказывания о мучителях и палачах.

В сельском уединении он не только завершил работу над «Луизой Миллер», но и сделал первые наброски «Дон Карлоса». Над этой пьесой он трудился больше всего в апреле. Первый акт создавался здесь, сцена в королевском саду в Аранхуэсе могла быть написана в беседе. С «Дон Карлосом» поэт выходит за рамки своих юношеских драм. Несмотря на то что в ней так резко очерчена проблема взаимоотношений отца и сына (основное переживание его юных лет), так переполнена чувствами сентиментальная дружба с маркизом де Позой (в дружеских клятвах воспитанников Академии могло звучать подобное), так до предела доведена пагубная страсть принца к своей мачехе, в целом эта «драматическая поэма» свидетельствует о внутреннем успокоении, уверенности и прояснении: произошло очищение от шлаков грубости, непристойного, омерзительного и ужасного. В Бауэрбахе возник еще и общий план произведения, составленный Шиллером не для себя, а как своего рода проспект для театров, которые должны были заинтересоваться пьесой.

В часовом механизме его судьбы повернулось одно колесико. В марте он неожиданно получает письмо от Дальберга, любезное, с извинениями, отмеченное явным интересом к «Луизе Миллер». Что было причиной такого поворота в поведении интенданта? Прежде всего у него создалось впечатление, что герцог Вюртембергский не помышляет о мести бежавшему от него полковому врачу — более того, проявляет холодную невозмутимость; письмо отца Шиллера Швану внесло успокоение и ясность на этот счет. Затем интендант

¹ Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М., «Художественная литература», 1981, с. 150.

оценил итоги прошедшего вялого сезона и вспомнил, какой приток зрителей издалека вызвала в свое время постановка «Разбойников» и какая сумма поступила при этом в кассу. Шиллер не торопится с ответом и 3 апреля отправляет умное, сдержанное, дипломатичное письмо. (Письма в холодной и в то же время изысканно-придворной манере он любил сочинять всегда, начиная с юных лет — стоит вспомнить только о послании Буажоло.)

Он извиняется за задержку с ответом, которая произошла вследствие переговоров с лейпцигским книготорговцем Вейгандом относительно его новой пьесы, которые, однако, не удовлетворили его финансовые требования. Затем следует сдержанный ответ на вопрос о его личном самочувствии. И далее: «Ваше превосходительство, несмотря на мою недавнюю неудачную попытку, видимо, еще не совсем разuverилось в моем драматургическом даровании. Я ничего большего не желаю, как по праву пользоваться вашим доверием, но так как я не хотел бы подвергать себя опасности вновь обмануть его, то я и беру на себя смелость заранее предостеречь вас касательно некоторых особенностей пьесы.

Помимо многообразия характеров и сложности интриги, пожалуй, слишком вольной сатиры, осмеивающей знатных плутов и глупцов, этой трагедии присущ еще и тот порок, что комическое здесь перемешано с трагическим, веселое — со страшным, и, хотя кончается она достаточно трагично, в ней все же выступают на первый план несколько веселых характеров и ситуаций. Если в этих недостатках, о которых я умышленно предупреждаю ваше превосходительство, нет ничего, что могло бы отпугнуть театр, то думаю, что остальным вы будете довольны. Но если они на спектакле будут очень бросаться в глаза, все остальное, как бы превосходно оно ни было, тоже окажется непригодным для вашей конечной цели, и тогда мне лучше пока что попридержаться пьесу. Но это вы решите сами. Моя критика слишком зависит от моего настроения и самолюбия» (VII, 46—47).

Он дает понять, что письмо не явилось для него радостной неожиданностью, и даже делает вид, что предостерегает. Но Дальберг не дает ввести себя в заблуждение и настойчиво проявляет свою заинтересованность.

Итак, Вейганд из Лейпцига остается ни с чем. А всего за несколько недель до получения письма Дальберга Шиллер зашел с ним в делах довольно далеко. Лейпцигский издатель «согласился брать все мои рукописи и был настолько любезен, что освободил меня от необходимости присылать работы для предварительного просмотра», — пишет Шиллер Рейнвальду. Между прочим, Карл Евгений посетил Вейганда во время своего путешествия по Северной Германии. В дневнике герцога есть запись от 28 января 1783 года: «Отсюда мы отправились к книготорговцу Вейганду, у которого пробыли полчаса...» Вейганд, знавший о «Разбойниках» Шиллера, но не о его жизни, поздравил герцога с таким знаменитым подданным. Поэт, который узнал об этом от Вейганда, пишет Рейнвальду: «Подумайте, дорогой, что мог там сделать герцог Вюртембергский». (Мы полагаем, что досада и гордость за этого выпускника своего учебного заведения уравнове-

силы чаши весов.) На обратном пути герцог, а это было 18 февраля, по «длинной и плохой дороге» между Эйзенахом и Фульдой проехал недалеко от убежища «сбежавшего и блуждавшего по свету Шиллера» (как он однажды выразился).

Решение в пользу Дальберга имело важные последствия. Снова обратив свои взоры в сторону Мангейма, Шиллер в середине июня отказался от предложения Рейнвальда сопровождать его в поездке в Готу и Веймар. Верный Штрейхер глубоко сожалел об этом и заявил, что Шиллер из-за этого потерял драгоценное время — кто может судить об этом? Рейнвальд еще с весны советовал Шиллеру выбираться из бауэрбахского гнезда и выходить в широкий мир. Он понял, что одиночество было полезным только на короткое время и уже начало пагубно сказываться на творчестве поэта — самоотверженное высказывание, ибо близость Шиллера озаряла и согревала его мрачное существование. Посоветовавшись с Рейнвальдом и фрау фон Вольцоген, он решает совершить сначала разведывательную поездку в Мангейм, выяснить, на что он может рассчитывать в Курпфальце, затем вернуться в Бауэрбах обсудить дело. Но прежде нужно было позаботиться о средствах. У одного деревенского еврея он берет весьма солидную ссуду при поручительстве фрау фон Вольцоген. 24 июля 1783 года Шиллер выезжает в Мангейм.

Мы знаем: прощание было окончательным. С начала зимы до середины лета прожил он здесь, в этом местечке, среди лугов и полей, между поросшими лесом пологими холмами — они составляли его мир, были ореховой скорлупой, в которой он уютно сидел, в то время как фантазия его блуждала по всему свету — по Шотландии, до Кастилии. Пожалуй, никогда и нигде он не был избавлен от бессонницы, страданий и болезней так, как в этот период своей жизни. В этом смысле Бауэрбах оказался действительно «самым счастливым убежищем Шиллера».

ДРАМАТУРГ

Шиллер прибыл в Мангейм 24 июля. Андреас Штрейхер — он не имел никакого понятия о том, где находился его друг, а работники театра ничего не сообщили ему о последних переговорах — не поверил глазам своим, когда в одно из своих обычных посещений Мейеров застал у них Шиллера «с радостным лицом и цветущим видом». Свидание с верным другом, с супругами Мейер и Шваном было единственно радостным переживанием, которое доставила Шиллеру его поездка. Мангейм был погружен в ленивую летнюю спячку. Дальберг, от которого сейчас зависело все, находился в Голландии, Иффланд — в Ганновере. Правда, в театре шли спектакли, так как в городе находилась часть двора, но это были банальные комедии. Так у Шиллера неожиданно оказалось свободное время. Он посетил Оггерсгейм и трактир при скотопрогонном дворе, где его дружески приветствовала семья хозяина. Как досужий путешественник, он осмотрел достопримечательности города, дворцовые постройки, церковь иезуитов, обсерваторию.

Сильное впечатление на него произвел античный зал, который посетили некогда Лессинг и Гёте; он был сооружен по указанию Карла Теодора в 1767 году. Шиллер описал его в «Письме датского путешественника», опубликованном в «Рейнской Талии». В самом начале этого письма мы встречаем удивительное замечание, которое мог бы сделать сегодня, двести лет спустя, какой-нибудь путешественник, осматривающий, скажем, индийскую выставку: о том, как омрачается восприятие искусства при виде человеческой нищеты. «В цветочных аллеях княжеского сада фигура голодного с впалыми глазами, молящего о подаении... Как быстро низвергает все это мою вознесшуюся гордость». И далее: «Я вижу теперь, как проклятия тысяч людей, подобно прожорливой куче червей, кишат посреди этого высокопарного разложения. Великое и восхитительное внушает мне отвращение. Не вижу ничего, кроме хилого, умирающего человека: одни глаза, а щеки горят лихорадочным румянцем и лгут о цветущей жизни, в то время как в хрипящих легких свирепствуют огонь и разложение. Таковы, любезнейший, чувства, охватывающие меня при виде достопримечательностей, в каждой стране выставленных на удивление путешественнику. Такая уж беда со мной, что о всяком в глаза бросающемся общественном начинании я могу думать, только сопоставляя его с благополучием общества в целом — и как много *больших* величин становится в этом зеркале *маленькими*, как много мишурных ореолов теряет свой блеск!» (VI, 542).

Уже неоднократно подчеркивалось, что, несмотря на свою бедность и лишения, Шиллер постоянно ощущал себя человеком, принадлежащим к привилегированному сословию, как, например, в Бауэрбахе по отношению к подданным Вольцоген, так же было и после, когда он стал надворным советником и профессором и получил дворянский титул. И тем примечательнее подобное проявление чувств по отношению к бедным и обездоленным. При дальнейшем чтении «Письма датского путешественника» обращает на себя внимание перемена настроения и тона. Кажется, что, переступив порог храма искусств, он забыл о впечатлении, которое произвел на него нищий на ступенях. «Я только что вернулся из Музея антиков в Мангейме. Здесь горячая любовь одного немецкого государя со вкусом собрала благороднейшие памятники греческого и римского ваяния. Всякий местный житель и приезжий могут совершенно свободно наслаждаться этой сокровищницей древности» (VI, 543). Затем следуют описания отдельных произведений искусства — фарнезского Геркулеса, «Лаокоона», — в которых Шиллер в основном следует Винкельману («История искусства древности», 1764), описания хотя и экзальтированные, но сухие. Но затем слова: «Видишь, друг мой, как почуял я Грецию в этом торсе» (VI, 547). И далее: «А между тем мир жил своей жизнью в тысячах преобразений и форм. Троны возникали и низвергались. Суша вставала из вод, земли становились морями. Варвары, смягчаясь, делались людьми, люди, дичая, становились варварами. Прекрасная страна Пелопоннеса выродилась вместе со своими обитателями; где некогда порхали грации, веселились Анакреоны и Сократ умирал за истину — там расселись теперь турки. И все же, друг, живо, живо

еще то золотое время в этом Аполлоне, в этой Ниобе, в этом Антиное, и вот лежит этот *торс* — недостижимый, неистребимый, — неоспоримое вековечное свидетельство о божественной Элладе, вызов, брошенный этим народом всем народам земли» (VI, 547). Примечательно «Письмо датского путешественника». Читая эти несколько страниц, мы видим Шиллера, который сочувствует проклятым этой земли и поэтому не хочет, кажется, замечать прекрасное; Шиллера — вдумчивого эстета, облекающего трезвые рассуждения в восторженные слова; Шиллера, который поэтически осмысляет ход мировой истории.

Две недели он проводит в нетерпеливом ожидании, в праздности, хотя и не без пользы. Он стремится назад, в Бауэрбах, и уже из Франкфурта пишет Генриетте фон Вольцоген: «Моя лучшая, любимая подруга, среди ужасной людской суматохи мне вспоминается наша беседа в саду. Если бы я был снова в ней!» В письмах, отправленных в Бауэрбах, он посылает приветы маленькой еврейской девушке: «И Юдифи передайте привет, мне приятно, что она еще помнит меня». Потом весьма сдержанно он сообщает: «Моим друзьям я доставил своим приездом много радости, но очень ясно дал понять, что эту поездку я предпринял исключительно для собственного удовольствия и ни для чего более», и далее: «Пока не вернулся Дальберг, я ничего не могу сообщить вам о моих намерениях».

10 августа возвращается Дальберг и в тот же день встречается в театре с Шиллером; он чрезвычайно любезен и обходителен с ним и дает понять, что рассчитывает на сотрудничество с поэтом.

Вольфганг Гериберт фон Дальберг происходил из рейнского старинного дворянского рода, исконно обитавшего в местности между Вормсом и Крейцнахом. Он родился 18 ноября 1750 года в замке Гернсгейм. На его воспитание было положено немного усилий. Он должен был стать священнослужителем, но поступил, как и его отец, на придворную службу. В двадцать лет он уже курпфальцкий камергер. Он рано усвоил, как наполнить жизнью и деятельной силой пустую, слегка посеребренную чашу придворной должности. О том, как он деятельно пытался противостоять грозящему запустению Мангейма, когда курфюрст вынужден был переселиться в Мюнхен, о его усилиях по созданию Национального театра уже было рассказано.

Отношение Дальберга к Шиллеру нельзя подвести под общий знаменатель. Тщательной и дорогостоящей постановкой «Разбойников» — это была премьера Шиллера в подлинном смысле этого слова — он заложил основу его славы. Но когда спустя восемь месяцев поэт, порвавший все связи с отечеством, бежал в Мангейм, рассчитывая на его помощь, он холодно отстранился от него. «Дальберг был корректным, в высшей степени осмотрительным придворным, для которого шаткое положение поэта, не имеющего под ногами почвы, было столь же неприемлемо, как и любое компрометирующее и подрывающее бюргерское уважение поведение сотрудника его театра» (Фр. Вальтер)*. Если Шиллер позднее в «Луизе Миллер» обрушивает ярость на холодный и коварный мир двора, то причиной тому могли быть также и унижения, которым он подвергался со стороны этого умного придворного.

Дальберг был придворным, который жил сословными интересами и придерживался политической ориентации двора. Но он был человеком умным и в дозволенных границах мог кое на что отважиться. Постановка «Разбойников» была по-своему политически рискованным делом. Но таким же образом он поставил на своей сцене и Шекспира — вопреки сопротивлению публики. Несмотря на сословную гордость или чванство, он мог смеяться шуткам в адрес высшей власти, если они были остроумны. Осенью 1783-го предстояло праздновать именины супруги курфюрста, в честь которой Шиллер должен был сочинить стихи. «Я их пишу, по своей проклятой привычке, сатирические и острые. Сегодня посылаю их Дальбергу — он очарован и восхищен, но они никому не нужны, ибо они скорее пасквиль, чем похвала...» (из письма к госпоже фон Вольцоген).

В августе была достигнута вершина во взаимном согласии между интендантом и поэтом (после этого отношения развивались только по нисходящей). Дальберг рассыпается в любезностях и готов идти во всем навстречу. Дипломатические опасения относительно недружественной реакции герцога Вюртембергского улетучились. Высокое мнение о гении Шиллера сочеталось с экономическими надеждами на хороший театральный сезон. Чтение сцен из «Луизы Миллер», которое было устроено у Дальберга при большом стечении слушателей, прошло хорошо; еще до этого Шиллер кое-что прочел понимающему и посвященному во все дела Швану. Уже в августе был подписан договор, о содержании которого Шиллер сообщает в письме госпоже фон Вольцоген:

«1. Театр получает от меня три новые пьесы — «Фисеско», мою «Луизу Миллер» и третью, которую мне еще предстоит написать до истечения действия нашего договора.

2. Контракт, собственно, заключен на год, с 1 сентября сего года до последнего дня августа следующего. Я исхлопотал себе разрешение по состоянию здоровья жаркую летнюю пору провести где-нибудь в другом месте.

3. Мне выплачивают пенсioen в размере 300 флоринов, 200 из которых я уже получил. Кроме того, за *каждую пьесу*, написанную мною для театра, я получаю весь сбор с одного спектакля, с какого именно — я определяю сам. Сбор этот обычно колеблется от 100 до 300 флоринов. Тем не менее пьеса остается моей собственностью, и я вправе продать ее кому угодно, а также и напечатать. Таким образом, я безусловно могу рассчитывать до конца августа 1784 года получить 1200—1400 гульденов, 400—500 из которых пойдут на погашение долгов» (VII, 53).

Содержание договора передано правильно. Но последний абзац — это благое умозрительное ожидание, опрометчивый расчет.

31 августа в честь Шиллера дается блестящее представление «Разбойников» при большом стечении публики. 1 сентября вступает в силу договор, согласно которому Шиллер становится оплачиваемым драматургом. 1 сентября малярия, «холодная лихорадка», укладывает Шиллера в постель.

В летнюю жару в застойной воде крепостных рвов и каналов, а также испорченной питьевой воде развилась инфекция, которая поразила

каждого третьего жителя Мангейма. И неудивительно, что и Шиллер стал ее жертвой. И тем не менее нас трогает символика такого совпадения. Слово «символ» первоначально обозначало «смешивать в одну кучу». И здесь судьба смешала в один день, 1 сентября 1783 года, достижение цели, к которой он страстно стремился в течение нескольких лет, со вспышкой опасной и имевшей тяжелые последствия болезни.

2 сентября умирает один из добрых его знакомых, режиссер Мейер, чей дом одним из первых посетил Шиллер по возвращении в Мангейм. Шиллер был прикован к постели две-три недели, ему был обеспечен внимательный уход. Госпоже фон Вольцоген он пишет: «Я находился в хороших руках, ухаживали за мной, как за родным сыном. Во время болезни мне доставлялись всевозможные развлечения, и моя комната редко когда не была полна посетителей» (VII, 54). В октябре он весьма неразумно совершает поездку в Шпейер. Рецидивы болезни преследуют его до самой зимы. Ослабила ли решающим образом эта «холодная лихорадка» здоровье Шиллера, трудно сказать с полной уверенностью. Но многое говорит за это.

Когда случилась болезнь, Шиллер снимал у мадам Хаммельман уютную и довольно дорогую комнату с прекрасным видом на дворцовую площадь. Видимо, из денежных соображений Шиллер переехал на другую квартиру, и снова с Андреасом Штрейхером; новые его хозяева — строитель Хальцель, человек, готовый прийти на помощь, и его столь же добрая жена. Хотя он и находился со своим вернейшим другом у добропорядочных людей, эту осень и зиму, мучимый приступами лихорадки, Шиллер прожил очень плохо и неразумно. Вдова Мейера, заботившаяся о его питании, имела весьма смутное представление о пище для больного; мясо и мясные бульоны она устранила из его рациона и в течение нескольких недель кормила его постными супами, морковью, репой, картофелем; к тому же он сам прописал себе чрезмерную дозу хинной коры, чем испортил свой желудок. Единственно, что доставляло ему наслаждение, это отменное бургундское, несколько бутылок которого ему подарили друзья к 24-летию. Из письма Шиллера госпоже фон Вольцоген от 14 ноября:

«Представьте себе, моя дорогая, как приятно я был вчера оторван от письма! Стук в дверь моей комнаты. «Войдите». И входят — вообразите себе мой радостный испуг — профессор *Абель* и *Бац*, тоже мой друг. Оба, чтобы избежать заболевания в Штутгарте, отправились во Франкфурт, заехали сюда и оставались у меня целые сутки. Как прекрасно прошло время в объездах моих землячков и ближайших друзей! Мы едва могли прийти в себя от беспрерывных рассказов и вопросов. Они у меня обедали и ужинали (видите, куда хватил — гостей принимаю), и посему мои бутылки бургундского были подарком небес. Чтобы показать им город, я вчера и сегодня выходил из дому. Не беда, выздоровлю на день-другой позже, зато какое неописуемое удовольствие». Затем он сообщает кое-что из штутгартских сплетен, без которых не обошлось при встрече учителя с учеником.

В это время идет очень оживленная переписка между поэтом и его семьей в Солитуде, который кажется ему, после поездки в Тюрингию, не таким уже и далеким. Так как кое-какие из слухов об интересном

беглом земляке, ходившие в самом Штутгарте и за его пределами, были близки к истине, то в Солитуде слышали о возвращении сына в Мангейм и его болезни. Во время первого приступа лихорадки он просил мать и сестру приехать к нему. В теплом письме от 14 сентября отец объяснил ему, почему их поездка не может состояться — по финансовым соображениям и по другим причинам: «По нашему здравому размышлению было бы всего лучше, если бы ты сам приехал сюда». Он дает подробные советы, как лучше с подобной просьбой обратиться к герцогу. «Жить изгнанником вдали от родины, не иметь возможности свободно посещать своих — это трудное дело, ради которого можно кое-чем пожертвовать, и я бы сделал все, чтобы забыть все происшедшее». Отец не обиделся, когда сын не согласился с ним. Несколько преждевременно поэт сообщает родным о своем выздоровлении; это известие было радостно воспринято в семье, о чем свидетельствует ответное письмо отца от 10 ноября. Из него видно, что Каспар Шиллер начинает примиряться с деятельностью сына в качестве театрального поэта: «Я, конечно, очень бы желал, чтобы ты, мой дорогой сын, имел возможность поехать в Вену или Берлин, ведь Мангеймский театр все же не так знаменит...» Но вместе в тем: «Право же, медицина дала бы тебе более верный кусок хлеба и более прочную репутацию». Это очень понятное соображение капитана, но и сын с момента своего бегства частенько подумывает об этой возможности.

Наиболее важным документом из этой переписки является письмо верной сестре Христофине от 1 января 1784 года, истинно родственное письмо. Сначала он извиняется за свое молчание: «Это ужасающая суета и своего рода стыд, что мне до сих пор так и не удалось осуществить мои планы касательно счастья близких, и в первую очередь твоего. В каком долгу наши поступки у наших надежд! И как часто необъяснимый рок насмехается над лучшими нашими намерениями! Итак, наша милая матушка все еще прихварывает. Я охотно верю, что изнуряющая грусть не дает ей поправиться и что медикаментами тут, пожалуй, не поможешь. Но ты ошибаешься, милая моя сестра, уповая, что мое присутствие возвратит ей здоровье. Наша добрая матушка, я бы сказал, питается заботой. Если одна забота отпадает, она обязательно сыщет другую. Как часто мы это шепотом говорим друг другу! Прошу тебя, повтори ей это теперь от моего имени. Я говорю только как врач, ибо наш добрый отец, наверное, чаще и убедительнее меня заверял ее, что такое состояние духа не улучшает жизни и несовместимо с верой в господ» (VII, 56).

Он снова затрагивает вопрос о возвращении на родину — мысль, которая его сильно занимала, — видимо, болезнь оказала свое влияние. Но для него делом чести, пишет он, было бы вернуться в Вюртемберг не ранее, чем он добьется большого авторитета, чина и признания, и не раньше, чем ему удастся доказать, что он не нуждается в герцоге Вюртембергском. В противном случае его возвращение будет выглядеть «выклянченным». «Большая часть Германии знает о моих отношениях с вашим герцогом и о том, каков был мой отъезд из Вюртемберга. Интерес ко мне шел в ущерб герцогу. Как паду я во мнении публики (а от нее зависит все счастье моей будущей жизни), какой урон будет нане-

сен моей чести подозрением, что я искал этого возвращения...» (VII, 57). В глазах всего мира «откровенное, благородное мужество, которое я проявил при самовольном отъезде», будет тогда выглядеть ребяческой поспешностью. Его преследовала болезнь, угнетали долги, но гордость его не была сломлена — она не будет сломлена никогда.

«В театре я чувствую себя свободно, как в собственном доме», — читаем в одном из писем Шиллера госпоже фон Вольфоген. Мир актеров стал и его миром или частью его. Мангеймский национальный театр был одним из первых в Германии, где была постоянная труппа. А вообще в течение столетий артисты были в буквальном смысле «бродячим или странствующим племенем», и добропорядочные бюргеры не знали различия между ними и прочим бродячим народом — торговцами, знахарями, паяльщиками, цыганами; и в самом деле, многочисленные театральные труппы с их паяцами и прыгунами, кочевавшие с места на место, мало чем отличались от них. На родине Шиллера их называли «Scheurenpurzier» (лачужные кривляки). Ребенком, в Лорхе и Людвигсбурге, Шиллер часто слышал это слово. Смотри соответствующие рисунки Хогарта! Героические усилия Нойберина и Экгофа не сводились только к поднятию художественного уровня — они стремились также поднять общественный авторитет их сословия. Роман Гёте «Вильгельм Мейстер» по большей части вырастает из напряженных отношений между воплощенным в главных действующих лицах бюргерским миром и миром театра: Марианна и Филина, несчастный принцпал, а также старый арфист и Миньона — все они живые фигуры из того красочного мира.

Каспар Шиллер обнаружил свою малую осведомленность в театральных делах, когда писал, что если уж театр, то лучше Венский или Берлинский. В действительности же именно в Мангейме немецкое театральное искусство достигло такого уровня, до которого оно еще никогда не поднималось. Если окинуть взглядом театральную жизнь времен Лессинга и Шиллера — наглядное представление о ней дают воспоминания искущенного в сценическом искусстве и не скупящегося на описания актера Йозефа Антона Христа (1744—1823), — можно по достоинству оценить серьезность деятельности Мангеймского национального театра, заслугу знающего мир, умного и энергичного Дальберга.

Август Вильгельм Иффланд был одной из самых заметных фигур Мангеймского театра как актер и драматург. Ему принадлежат воспоминания «Моя театральная жизнь», которые оканчиваются 1798 годом, а дожил он до 1814 года. «Как причудливо бессвязно проявлялись сентиментальность и искусство в этом превосходном человеке», — записал старый Гёте в свой дневник с мрачной припиской — «в Наши дни» (1831) существует лишь полуискусство. Август Вильгельм Иффланд родился 19 апреля 1759 года в Ганновере, в семье канцелярского регистратора. Самое прекрасное в его автобиографии — это воспоминания о его первых впечатлениях от театра, которые он получил еще ребенком. Глубокая, волшебная, почти болезненная взволнованность, подобная той, которая была у Ганно Будденброка Томаса Манна. Эти яркие впечатления сопровождали ребенка и по дороге домой, где за «каждой оконной занавеской» разыгрывалась пьеса.

Дома старший брат читал вслух отрывки из «Драматургии» Лессинга. Иффланд вспоминает: «Я сидел в углу, никем не замеченный, и слушал с большим вниманием. Понимал я очень немного, но воспринимал изрядно. Я никогда не засыпал во время таких разговоров, как бы долго они ни продолжались. Они породили мои первые смутные представления об этом искусстве, а может быть, и нечто большее. Я подумал: это что-то редкое, раз оно так действует на умных и хороших людей».

Жизненным поприщем Иффланда стал театр. То, что он несколько лет сидел на школьной скамье с Карлом Филиппом Морицем, является примечательной случайностью — и того тоже сначала притянула к себе сцена. Почти семнадцатилетним юношей Иффланд тайно покидает родительский дом и родной город, на первый взгляд без всякой цели, а через три недели появляется в Готе в труппе Эггофа. Спустя месяц после своего бегства из дому он впервые в жизни вышел на сцену, которая навсегда стала его миром. Через некоторое время с труппой Эггофа он приезжает в Мангейм. Здесь он встретил крупнейшего тогда немецкого актера Фридриха Людвига Шрёдера, видел его в роли короля Лира и выступал в одном спектакле с ним, исполняя роль шута. Спустя два года Иффланд играет Франца Моора в «Разбойниках», затем Вурма в «Коварстве и любви». Как друг и недруг, как партнер и соперник, он имел значение для Шиллера во время его пребывания в Мангейме: амплитуда его отношений к поэту изменялась от искреннего восхищения до злобной насмешки. Оба никогда не теряли друг друга из виду; некоторые из последних писем Шиллера адресованы Иффланду (уже в Берлин).

Были и еще трое деятелей театра, с которыми Шиллер поддерживал доверительные отношения. Бейль был высокоодаренным актером, причем, что весьма редко, лишенным тщеславия; в пьесах Шиллера он играл роли мужчин, наделенных душой: Швейцера в «Разбойниках», Миллера в «Коварстве и любви». Из более грубого дерева был «вырезан» Бёкк, среди учтивых саксонцев неделикатный венец, человек, умевший производить эффект; он был первым исполнителем роли Карла Моора в «Разбойниках», позднее играл роль президента в «Коварстве и любви». По-настоящему дружен был Шиллер с Беком, который как актер едва поднимался над средним уровнем, зато был добрым и сердечным товарищем. К тому же он был женат на очень красивой и любезной Каролине Циглер. Оба участвовали в постановке «Коварства и любви», он в роли Фердинанда, она — Луизы. Шиллер был очень опечален, когда молодая женщина внезапно умерла летом 1784 года, вероятно в результате несчастного случая на сцене. Ее преемницей стала Катарина Бауман, молодая, необычайно красивая девушка — Шиллер обожал ее. После одного, впрочем не очень удачного, представления «Коварства и любви» поэт подарил ей свой мастерски выполненный Шарфенштейном миниатюрный портрет. В ответ на это она довольно насмешливо спросила, что ей с этим портретом делать. Шиллер: «Видите ли, я странный чужак и ничего не могу вам на это сказать». Такой ответ вполне мог быть достоин монастырского послушника. Эта дама в глубокой старости без сожаления вспоминала об этом эпизоде; она считала, что одежда Шиллера была слишком небрежной для того, чтобы в него можно было влю-

биться. И это при том, что поэт, сильно стесненный в средствах, все же достаточно переплатил тогда денег портным и парикмахерам. Но до конца своей жизни он так и не овладел всеми тонкостями туалета и прически; его гордость драпировалась в небрежность.

Шиллер был влюблен также и в Маргариту, старшую дочь книго-торговца и издателя Швана. В его доме поэт находил себе опору во время своего пребывания в Мангейме. Вообще Шван был первым, кто за пределами Вюртемберга оценил гений Шиллера, именно он при содействии Дальберга сделал поэта известным немецкой общественности. К Шиллеру он относился без энтузиазма, ради него он ни на что не отваживался и не рисковал. Но он всегда был высокого мнения о поэте; своим твердым характером, опытом, добрым советом он оказывал ему дружескую поддержку. Он заслуживает того, чтобы о нем рассказать.

Христиан Фридрих Шван родился 12 декабря 1733 года в семье переплетчика и дочери священника в Пренцлау, местность Уккермарк. Он обучался в знаменитых франконских заведениях, в сиротском доме города Галле. Затем он там же поступил в университет, изучал теологию и право. Получив теологическое образование, выступил с удивительной проповедью в своем родном городе. Но он не стал священником и поступил сначала учителем в дворянское имение в Мекленбурге-Штрелице. После инцидента с прусским военным, который в погоне за рекрутами перешел границу, хозяин Швана направил его в Гамбург. Жизнь в большом портовом городе казалась ему восхитительной. Однако он вернулся к своим занятиям учителя. Когда началась Семилетняя война — солдатом стать ему не захотелось, — он переселился сначала в шведскую Предпомеранию, а оттуда в Гамбург. Его рекомендовали графу Мольтке в Копенгагене, однако там не нашлось для него места. И вот молодой человек, находясь в чужом портовом городе, решает уплыть в Америку. В поисках парохода он сталкивается с неким Зеглером, который намеревается отбыть в Санкт-Петербург. Шван меняет свой курс с запада на восток и решает присоединиться к нему. Паспорта — нечто подобное требуют русские — у него не было, но один заболевший пассажир, оставаясь на берегу, отдал ему свой. Так он счастливо приплывает в Петербург, быстро осваивается в кругу многочисленных немцев, получает протекцию и рекомендацию, устраивается на пажескую службу при дворе. Все идет хорошо, даже блестяще, до тех пор пока Екатерина II после кровавого путча не оказывается на троне и всех фаворитов прежнего царя спускает вниз по служебной лестнице *. Спустя некоторое время, прошедшее в бесплодных ожиданиях, Шван вместе с товарищами по несчастью отбывает с направляющимся в Любек торговым судном. Путешествие оказывается беспокойным, но после семи трудных недель он вступает на землю Гольштинии. Благодаря милости принца он поступает на службу своему прусскому отечеству в качестве аудитора, нечто вроде армейского судьи. Уходит с этой службы, оказывается в Гамбурге и направляется в Голландию. Здесь впервые он пробует свои силы в литературе, публикует «Anecdotes russes ou Lettres d'un officier allemand»¹ и в Гааге, хорошо устроившись на квар-

¹ Русские анекдоты, или Письма немецкого офицера (франц.).

тире у продавца устриц, вступает в дело книгопродавца из Вюртемберга. Это было в 1764 году, когда Швану исполнилось тридцать лет. Новый книгопродавец из Голландии переезжает во Франкфурт-на-Майне, вступает в долю к одному книгопродавцу и женится на его дочери.

Спустя год, в 1765 году, он создает свое дело в Мангейме, наблюдает, как интерес двора и публики к французскому театру ослабевает, и обращается к немецкому. «Я сразу начал с того, чтобы привлечь к себе как можно больше самых лучших немецких поэтов и других хороших авторов, пишущих по вопросам искусства», — заявил он. Как книготорговец и издатель, он становится одной из центральных фигур в Мангейме. В 1776 году в Брауншвейге ведет переговоры с Лессингом. По приезду в Мангейм Лессинг останавливается у Швана. В этом же самом доме хорошо чувствовал себя Шиллер. Но только «милая маленькая женщина» (как называл жену Швана в письме Лессинг) к тому времени уже умерла.

Вместе с отцом жили дочери Маргарита и Луиза; Маргарите было семнадцать-восемнадцать лет, а Луизе около десяти. Шиллер с удовольствием работал в этом доме. Если маленькая мешала ему, то он по-дружески журил ее, называя ее забавными именами, которые она запомнила: маленький травяной чертенок, Knipperdolling, и другими. Маргарита была внимательной слушательницей, он охотно читал ей вслух только что написанный текст. Она была хороша собой, начитанна, умна, но холодна; на его влюбленность она не ответила взаимностью. Шиллер писал ее отцу письмо, в котором просил руки его дочери. Но многоопытный Шван ответил решительным отказом. Он считал, что она не подходит ему. Возможно, он был прав, и его отказ не разбил сердце Шиллера.

Луиза дожила до глубокой старости, ей мы обязаны воспоминаниями о жизни Шиллера в Мангейме. Вот одно из воспоминаний, относящееся ко времени, когда поэт болел малярией: «Однажды, помню, возвращаясь с прогулки, мы проходили мимо дома, где жил Шиллер. Ставни были наглухо закрыты, но мой отец сказал, что хочет непременно зайти и узнать, как чувствует себя поэт. Подойдя к двери комнаты, мы услышали, что он громко говорит. Когда вошли, то увидели: в совершенно темной комнате горели две свечи, на столе стояли две бутылки бургундского вина и стакан, а Шиллер в одной рубашке носился по комнате. Мой отец начал бранить поэта, выговаривая ему, что разве для того он изучал медицину, чтобы доводить себя до такого возбуждения во время болезни. Успокоившись, поэт ответил, что в данный момент он занят мавром (в «Фисско») и, чтобы войти в нужное настроение, должен был закрыть ставни».

Это напоминает ночные занятия в больничной палате Академии. Шиллер часто использовал для работы ночное время или создавал вокруг себя искусственную темноту. Но это не значит, что только в такой обстановке у него рождались мысли и слова. Бауэрбахская беседа была его излюбленным рабочим местом, всю жизнь он охотно писал под сенью деревьев, в беседках, садовых домиках. Он мог сочинять также во время прогулок, и мысли и образы, которые обдумывал при ходьбе, переносил затем на бумагу. То же бывало и в период его пребывания в

Мангейме. «Площадка под гигантским тополем на острове Мюлау была излюбленным местом Шиллера, туда он охотно ходил гулять» (Рабек) *. Возле одного из его часто менявшихся жилищ была садовая беседка, в которой он со стаканом пфальцкого — «славного винца» — с удовольствием работал.

Работа над «Фиеско» и «Коварством и любовью» была основным занятием Шиллера в течение года, когда он был театральным драматургом. Он продолжал работать над ними вплоть до самой премьеры: вычеркивал, улучшал, переделывал. В начале карнавала 1784 года, 11 января, в торжественной обстановке состоялась премьера «Фиеско». Бёкк исполнил главную роль, Иффланд играл Веррину, Бейль — мавра. Шиллер написал «Обращение к публике», которое, как было принято в Мангейме, вывесили рядом с афишей. Если внимательно вчитаться в текст, то станет понятно, почему «Фиеско» не мог иметь успеха у публики. Среди сотни зрителей могло найтись три или четыре человека настолько образованных, чтобы понять это «обращение», как бы хорошо оно ни было написано, и заинтересоваться разницей между историческим Фиеско и тем, каким он выведен в пьесе. А потому гордые слова, свидетельствовавшие о способностях Шиллера как пропагандиста — театрального драматурга, оказались обращенными в пустоту: «Священным и торжественным было всегда то тихое, то великое мгновение в театре, когда сердца многих сотен, будто по всемогущему мановению волшебной палочки, трепещут по воле художника, когда, сбросив все личины и уловки, естественный человек внимает отверстыми чувствами, когда я веду в поводьях душу зрителя и могу по своей прихоти забросить ее, словно мяч, в небо или в преисподнюю. И преступление по отношению к гению, по отношению к человечеству — упустить это счастливое мгновение, когда сердце так много может утратить или найти. Если каждый из нас научится ради блага отечества отказываться от той короны, которой он способен завладеть, тогда мораль Фиеско — величайшая в жизни» (VII, 539).

Премьера не была провалом, но публика, которая напряженно ожидала нечто вроде новых «Разбойников», осталась безучастной. Пьеса была показана еще только дважды, 25 января и 15 февраля. «Фиеско» публика не поняла. «Республиканская свобода здесь — звук без всякого значения, пустое слово; в жилах жителей Пфальца не течет римская кровь... Мангеймцы говорят, что вещь для них слишком ученая» (VII, 719). Так писал Шиллер Рейнвальду. Большой успех пьеса имела в Берлине, где в течение трех недель ее поставили четырнадцать раз.

Мангеймская публика снова тепло встретила автора «Разбойников» в пьесе «Коварство и любовь» — это название, которое окончательно закрепилось за пьесой «Луиза Миллер», предложил актер Иффланд. Вследствие наводнения ранней весной театральные спектакли были временно отменены. В это время проходили репетиции пьесы «Коварство и любовь», в которых принимал участие автор; при этом не обходилось без шуток в его адрес. Об одном таком случае сохранилось воспоминание: «Шиллер присутствовал на одной из репетиций «Коварства и любви» и громко выразил свое неудовольствие по поводу исполнения роли музыканта. Актер (Бейль) промолчал. Вскоре после этого был по-

казан эпизод, в котором раньше времени удалилась со сцены жена Миллера; актер крикнул ей вслед, что ему нужно соблюсти один нюанс. «Какой?» — спросила она. «Согласно указаниям драматурга, я должен дать вам пинка». Молодой автор молчал».

Важным воспоминанием из жизни Шиллера мы обязаны Андреасу Штрейхеру, который был приглашен в его ложу на премьеру «Коварства и любви». «Спокойно, радостно, но углубившись в себя, лишь изредка роняя слова, он ожидал, когда поднимется занавес. Но как только начался спектакль — кто мог бы описать этот внимательный взгляд, полный ожидания, эти хмурающиеся брови, если что-то исполнялось не так, как того хотелось, этот блеск глаз, когда та или иная сцена производила на публику нужное впечатление, — кто в состоянии описать все это! Во время первого действия он не проронил ни слова и только под конец произнес: «Все идет хорошо». И в самом деле, все шло хорошо. Зрители были в восторге и стоя устроили автору овацию. Это было 15 апреля. А за два дня до этого состоялась собственно премьера во Франкфурте. Директор тамошнего театра Гроссман давно интересовался Шиллером и еще в марте посетил его в Мангейме.

Пьеса начала свой путь по сценам — вплоть до Московского Малого театра. В Берлине ее поставили в ноябре 1784 года на сцене театра на Беренштрассе; эта инсценировка увековечена в гравюрах Ходовецкого *, но еще раньше в «Фоссише цайтунг» была помещена критическая статья по поводу вышедшего из печати текста пьесы: «Воистину снова произведение, которое позорит наше время! Как только может человек писать и издавать такую бессмыслицу и что у него в голове и сердце, если он с удовольствием может смотреть на такие порождения своего духа! Но мы не хотим быть многословны. Кто хочет и может прочесть 167 страниц, наполненных отвратительными повторениями богохульных выражений, где один франт осторожно ухаживает за глупой жеманной девицей, страниц, наполненных грубыми плебейскими шутками или непонятной галиматьей, — пусть проверит сам. Писать так означает попирать ногами вкус и здравую критику, и в этом на сей раз автор превзошел самого себя. Из некоторых сцен могло бы что-нибудь получиться, но все, к чему прикасается автор, превращается в ничто. Продается в «Фоссише буххандлунг», цена 10 грошей».

Спустя несколько недель тот же самый рецензент, которому пьеса не дает покоя, пишет еще раз, заканчивая статью словами: «Но довольно, я умываю руки от этой шиллеровской грязи и впредь буду остерегаться заниматься ею». Автором этого двойного «разноса» является Карл Филипп Мориц, написавший позднее автобиографический роман «Антон Рейзер», — странный, очень несчастный современник Шиллера, проживший короткую жизнь (1756—1793), обладавший мечтательным и вместе с тем скептическим умом. Спустя год после этих критических статей поэт и рецензент познакомились в Лейпциге; Шиллер отнесся к Морицу с большим уважением, многое в критике признал обоснованным. Они подружились.

В январе 1784 года Шиллер был избран членом Мангеймского немецкого общества. Событие, важное с двух точек зрения. Во-первых, это имело общественное значение — он причислялся к знатым лицам

города. В связи с этим подтвержденным курфюрстом членством ему было пожаловано пфальцское подданство. И то и другое было важно для эмигранта. Он упоминает об этом в двух письмах, отправленных в Штутгарт. 18 января он пишет Вильгельму фон Вольцогену довольно сдержанно: «Теперь я член Курфюрстского немецкого ученого общества и, таким образом, душой и телом курпфальцкий подданный — эти мелочи интересуют вас не менее, чем меня ваши». С большим воодушевлением он сообщает об этом старому товарищу по академии Цумштегу: «Теперь я живу в Мангейме, в приятном поэтическом угаре — Курпфальц стал моим отечеством, так как благодаря приему меня в ученое общество, протектором которого является курфюрст, я получил подданство курфюрстского Пфальца и баварское. Моя среда обитания — театр, в котором я живу и работаю, а моя страсть счастливым образом сочетается с моей должностью».

Мгновение энтузиазма — или только бодрое слово, адресованное в Штутгарт, где люди не должны сожалеть или сочувствовать ему? Правда отражена в письме Рейнвальду (от 4 мая 1784 года): «Один и отрезан — несмотря на мои многочисленные знакомства, все-таки одинок, без руководства должен я справляться со всем своим хозяйством, к несчастью имея все, что может вызвать ненужное расточительство. Тысяча мелких огорчений, забот, замыслов, которые непрерывно возникают, отвлекают мой ум, рассеивают поэтические грезы и свинцом ложатся на каждый взлет вдохновения... Дорогой друг, я еще не был здесь счастлив, и я почти сомневаюсь в том, что на этом свете я еще могу рассчитывать на счастье». Затем вздох сожаления о чудесных днях, проведенных в Бауэрбахе.

В конечном итоге бесплодными оказались его отношения с Немецким обществом; попытки Шиллера сделать его носителем своих драматургических идей оказались напрасными. Это в значительной степени объясняется тем, что Дальберг, от которого многое зависело, проявлял сдержанность. Кроме того, в обществе могло быть недовольство этим неистощимым на фантазии и идеи молодым человеком с его небрежной манерой одеваться, плачевным финансовым положением, наивными влюбленностями, пронзительным швабским декламационным пафосом. Самым важным выступлением Шиллера в Обществе была его речь на тему «Каково воздействие хорошего постоянного театра?». Позднее она была опубликована в «Рейнской Талии» под более соответствующим ее содержанию названием — «Театр, рассматриваемый как нравственное учреждение». «Повышение общего благоденствия» — это тон просвещенного абсолютизма, стиль торжественных речей в Академии — «что театр содействует просвещению человека и народа» — говорит о том же самом и звучит современно. Две цитаты помогут понять содержание. «Область подсудности театру начинается там, где кончается царство светского закона... Целый мир истории и легенды прошедшего и будущего к его услугам. Дерзновенные преступники, давно превратившиеся в прах, призваны к суду всесильным кличем поэзии...» (VII, 17). И далее: «Один особый разряд людей имеет причину быть благодарнее всех прочих театру. Только здесь сильные мира сего слышат правду и видят человека» (VI, 21). (К последней ци-

тате необходимо сделать хронологическое примечание. Эту речь Шиллер произнес 26 июня 1784 года. 5 мая в связи с гастролями Иффланда в Штутгарте были поставлены силами бывших воспитанников Академии «Разбойники» — в присутствии Карла Евгения! Это событие, о котором Шиллеру, естественно, было известно, могло подсказать оба приведенных абзаца.) Примеры, использованные Шиллером в его речи, взяты по большей части из Шекспира и Лессинга или, самонадеянно, из «Разбойников». Между прочим, в начале он говорит о «мести мелких умов гению, до которого им не дотянуться».

Из того, что Шиллером конкретно было сделано в Немецком обществе, известна услуга, оказанная им его штутгартскому другу Петерсену. Общество предложило весьма примечательный вопрос, за лучший ответ на который полагалась премия: «Каковы изменения и эпохи в развитии основного немецкого языка со времени Карла Великого и что он приобрел или утратил в каждую из них в своей силе и выразительности?» Петерсен прислал довольно объемистую рукопись. Премия была присуждена профессору Мейстеру из Цюриха, но Шиллер, будучи одним из трех членов жюри, добился, чтобы Петерсен, чья работа по достоинствам была не намного ниже той, которую отметили премией, получил также «приличное вознаграждение». В письме к Петерсену от 1 июля Шиллер подчеркивает: «В этом моя самая малая заслуга, я признаюсь тебе в том, что так получилось не из-за нашего знакомства, а благодаря моему убеждению». «Приличное вознаграждение» представляло собой золотую медаль стоимостью в 25 дукатов. Сам Шиллер, как это будет сказано позже, был в это время весь в долгах.

Со временем и во взаимоотношениях Шиллера с актерами, несмотря на товарищеское общение, появляются неприятные моменты. Даже на сцене прославленного Мангеймского национального театра большое место занимают неприхотливые развлекательные пьесы, наскоро состряпанные комедии, мелодрамы, легкие для исполнителей: «Генриетта, или Гусарский разбой», «Два дяди для одного» и тому подобное. Шиллер со своими пьесами выдвигал высокие требования перед актерами, и это со временем начинает их нервировать; к тому же сказывается большая нагрузка, падающая на актеров, занятых во многих пьесах, которые Дальберг считал необходимыми для постановок.

К этому надо добавить, что по старому обычаю многие актеры сами сочиняли пьесы и поэтому рассматривали поэта как конкурента. Особенно это относилось к Иффланду. Как раз в то время, когда Шиллер был театральным драматургом, Иффланд в полную меру выступил в качестве создателя пьес. Он начал с двух пятиактных, которые позднее сам счел за неудачные попытки. Затем последовала пьеса «Преступник из тщеславия» * (название предложил Шиллер), имевшая успех в Мангейме, затем столь же успешно поставленная во Франкфурте. За эту пьесу, «семейную картину», автору была присуждена золотая медаль Немецкого общества — в отношении Шиллера никто об этом и не думал. Так как Иффланд при всей самоуверенности был чувствителен и достаточно умен для того, чтобы не видеть в драмах Шиллера возвышенно парящий дух, то он должен был воспринимать его в качестве соперника. Шиллер, хотя его гений заслуживал и находил восхищение,

а характер — сердечную дружбу, давал много поводов для насмешек; кто желал навредить ему, мог без большого труда выставить его в смешном виде. Это выражалось не только в болтовне и хихиканье в актерской среде — только Бек оставался его надежным другом; летом 1784 года отношение актеров к Шиллеру резко ухудшилось.

Весь этот год был для Шиллера затянут темными тучами, но случались и просветы. К ним можно отнести удачную постановку «Коварства и любви», а также поездку, которую он совершил вместе с Иффландом и Бейлем во Франкфурт в конце апреля — начале мая. Расположились в гостинице «Черный Козел». Шиллера всюду приглашали в эти дни, торжественно встречали и обильно угощали — «едва ли был хоть один трезвый час», — какие радостные дни в сравнении с осенью 1782 года! С той поры его слава возросла, это было очевидно. Но он по-прежнему беден, и положение его непрочно — сознание этого было теперь только сверху подернуто пеной шампанского.

Это были небольшие гастрольные выступления, которые мангеймцы давали вместе с труппой Гроссмана в имперском городе. В первый вечер Иффланд и Бейль играли в «Преступнике из тщеславия», в последний вечер в «Коварстве и любви» — каждый раз с большим успехом. После первого спектакля Шиллер пишет Дальбергу: «Еще под впечатлением вчерашнего вечера спешу сообщить вам, ваше превосходительство, о триумфе мангеймского театрального искусства, который оно торжественно пережило во Франкфурте... и это действительно правда, что Иффланд и Бейль выделяются среди лучших здешних актеров, как Юпитер Фидия среди гипсовых поделок. Игра Иффланда и Бейля вызвала революцию среди франкфуртской публики. Она прониклась теплым чувством к сцене...» Среди знакомых, которыми обзавелся Шиллер в эти дни, была супружеская пара Альбрехтов; она была ведущей актрисой, чувствующей, сентиментальной натурой. Альбрехты были знакомы еще по Мейнингену с Рейнвальдом — Шиллер не писал ему со времени отъезда из Бауэрбаха.

И вот теперь, в день возвращения в Мангейм, это нужно срочно навестать: «С чувством мучительного стыда берусь я за перо...» Длинное письмо, добросовестный отчет. Из него уже приводился отрывок, ибо нигде больше Шиллер не говорит так ясно о своем одиночестве при всей занятости и о своих гнетущих заботах. И он высказывает свою любимую мысль — «отгородившись от большого света, жить в философском спокойствии во благо самому себе, своим друзьям и счастливой мудрости».

Одной из главных причин мучительного беспокойства, которое сопровождало Шиллера в Мангеймский период как физическая лихорадка, было бремя долгов. Жить должником во все времена не было чем-то необычным, а в XVIII столетии тем более. Но чтобы жить спокойно с долгами, нужно было иметь известное предрасположение к этому и особый талант, как о том говорится в стихотворении Гёте:

С мужчинами сражаясь,
Средь женщин наслаждаясь,

Кругом в долгах ходить —
Вот так и нужно жить.

(Перевод А. Гугнина.)

Но это не было в духе Шиллера. Вюртембергско-протестантская бережливость и щепетильность, воплощение которых он видел в своих родителях, и особенно в отце, были у него врожденными и привитыми воспитанием, против чего он никогда не бунтовал. Правда, он охотно предавался веселью с веселящимися; в письме его отца мы читаем трогательные строки: «Я упрекал бы себя в несправедливости, если бы ставил в вину молодому человеку, моему сыну, все дозволенные удовольствия или возражал бы против них. Нет! Мне было бы жаль, если бы он после тяжелой умственной работы не мог отдохнуть и развлечься». Затем следовало предостережение: «Но делать так, что дней отдыха больше, чем дней, отданных занятиям, видимо, недопустимо». Именно потому, что отец был образцом добросовестности без мелочности, сын воспринимал его как пример для себя. Эти серьезные принципы и гордость делали мысль о долгах мучительной. Каждое напоминание кредитора или займодавца вонзалось словно жало в тело.

Подсчитаем его долги. Основу долговой горы составляет ссуда на сумму 150 гульденов, взятая им на печатание «Разбойников», это было в марте 1781 года. Спустя год он занял почти такую же сумму на издание «Антологии на 1782 год». Этот долг числился за ним, когда он покинул Вюртемберг. Следующий долг прибавился, когда он жил в Бауэрбахе. Хотя он жил в доме фрау фон Вольцоген в качестве гостя, однако деньги на питание — он получал его из гостиницы — и на необходимые мелкие расходы хозяйка имения выдавала ему в кредит. Вельтрих * считает, что все это составило 540 гульденов, что мне кажется слишком много, ибо это значит 70 гульденов в месяц. Но если даже этот долг был значительно меньше и не представлялся столь неотложным ввиду дружеских отношений, его нельзя не учитывать. Тяжкий груз взвалил он на свои плечи, когда перед отъездом из Бауэрбаха взял ссуду у еврея — вероятно, на сумму почти 600 гульденов, что вдвое превышало его штутгартские долги! Фрау фон Вольцоген была поручительницей, и это была уже наполовину обязывающая сделка между друзьями.

Если даже деньги, которые Шиллер должен был непосредственно своей по-матерински относившейся к нему подруге, свести к минимальной сумме, то все равно в целом его долги ко времени возвращения в Мангейм составляли самое малое тысячу гульденов. Это было втрое больше того жалованья, которое было положено ему как театральному драматургу. Что думал он о погашении долгов? (Пересчет старинных денег на покупательную способность сегодня может дать только приблизительное представление о значительности суммы. Здесь сильно заблуждается даже обычно точный Вельтрих, если в 1900 году он оценивает один гульден в 10 марок. Если же мы рейнский гульден сопоставим с 20 западногерманскими марками 1980 года, при очень осторожном расчете, то это даст 20 000 долга — при годовом жаловании в 6000!)

Все несчастье из-за долгов, которое Шиллер испытывал на протя-

жении многих лет, прорывается наружу в письме от 8 октября 1784 года к фрау фон Вольцоген: «Ваше письмо, моя дорогая, и положение, в котором я поневоле перед вами очутился, повергли меня в отчаяние.

Злосчастная судьба, возмущившая нашу дружбу, заставила меня показаться вам тем, кем я никогда не был и не буду, — неблагодарным подлецом! Вы сами поймете, моя милая, как больно мне хоть на мгновение быть занесенным в список тех, кто злоупотребил вашим доверием. Видит бог, я этого не заслужил. Но что теперь пользы в общих чертах рассуждать о наших отношениях. Подумайте лишь об одном: разве ужасное чувство пристыженности, с которым я должен вспоминать о моей благодетельнице, не оправдывает — этого я не смею сказать, — но хоть не делает понятным мое молчание? Как часто я, со стесненным сердцем, со всей моей жаждой дружбы, готов был бы полететь к вам, моя дорогая, если б ужасное сознание полной невозможности исполнить ваше желание и уплатить мои долги не приковывало меня к месту. Мысль о вас, всегда доставляющая мне столько радости, из-за сознания моего бессилия стала для меня источником мучений. Не успевал *ваш образ* встать в моей душе, как передо мной возникала вся картина моего злосчастья. Я боялся писать вам, так как не мог, ни разу не мог написать ничего, кроме вечного: наберитесь со мною терпения» (VII, 61—62).

Это длинное письмо, и как могло продолжаться все дальше без просьб и обещаний — это ужасно: видеть честного и гордого человека, выставляемого в виде мастера делать долги.

В середине лета жена капрала Фрике, которой он был обязан выплатить старый штутгартский долг, под натиском кредиторов в панике отправилась в Мангейм, чтобы получить помощь, то есть деньги, от своего должника. Фрау Гельцель открывает дверь и говорит, что квартиранта нет дома, затем, подозревая что-то неладное, она сообщает Шиллеру о визите и узнает, в чем дело. Супруги Гельцель не были состоятельными людьми, но нужда квартиранта растрогала добрых жену и мужа. Они одолжили 200 гульденов, и капральша, уже подвергнутая полицией аресту за долги, могла благополучно возвратиться домой. Старый долг был уплачен, но возникло новое обязательство. Много лет спустя Шиллер сторицей вознаградил за это доброе дело: он не раз посылал им деньги и помог попавшему в нужду семейству тем, что устроил их сына в Мангеймский театр. Благодарственное письмо Анны Гельцель является также документом из жизни Шиллера. Вот выдержка из него: «...мой сын должен был сесть, он был так взволнован, что даже заплакал. Не деньги повлияли на него, сказал он, а то, что Шиллер затратил на нас свое драгоценное время».

Срок действия договора с театром истек в конце августа — доходы с него были давно истрачены, — а в это лето были сплошные заботы и волнения. По одному пункту договора оставалась у него задолженность — это новое драматургическое произведение, которое он должен был представить. Имеется в виду «Дон Карлос». Но работа, которую требовалось проделать перед постановкой «Фиеско» и «Коварства и любви» («Фиеско» нужно было переработать почти заново), прочие необходимые дела, связанные с повседневной театральной жизнью, но

прежде всего повторявшиеся приступы малярии, позволили продвигнуться с «Дон Карлосом» не намного дальше того, что было сделано еще в Бауэрбахе. 7 июля Шиллер пишет Дальбергу: «Сейчас я больше чем когда-либо занят своей новой пьесой. Откуда бы не получал письма, в них настаивают на том, чтобы я взялся за большую историческую пьесу, прежде всего за моего «Карлоса», план которого видел Готтер и нашел его большим... одна такая пьеса принесет автору, а также и театру, в котором он творит, более быструю и большую славу, чем три пьесы...» Действительно, после этого письма поэт ощущает внутренний подъем и относительное внешнее спокойствие, чтобы работать дальше над «Дон Карлосом». Андреас Штрейхер помогает ему, как когда-то в Оггерсгейме, тем, что импровизирует на клавесине. Вечером Шиллер читает верному другу то, что написал днем.

Дальберг не намеревался продлевать договор с поэтом. Манера Шиллера доверительно делиться своими планами и проектами часто приносила ему вред. Со времени бегства он никогда окончательно не расставался с мыслью о том, чтобы снова вернуться к медицине, учиться дальше, заниматься практикой. То ли под влиянием писем отца, то ли из-за внешних обстоятельств, но эта мысль возникала постоянно; а то, что занимает Шиллера, он непременно должен сообщить в разговоре или в письме. Таким образом в Мангейме начали ходить слухи о том, что Шиллер хочет продолжать изучать медицину в Гейдельберге.

Когда наступило 1 сентября и договор не продлили, поэта уволили из Национального театра. Дальберг пустил эту карту в игру — возможно, из добрых побуждений и участия в судьбе молодого человека, возможно, для того, чтобы свою черствость прикрыть завесой любви к ближнему. Шиллер как нельзя более облегчил ему принятие такого решения, когда 24 августа письменно сообщил о своем намерении снова стать медиком... Дальберг послал к нему придворного советника Мая, одного из двух врачей театра. Май, тертый калач, тип придворного из «Коварства и любви», сделал свое дело превосходно. Насколько превосходно — видно из письма, написанного Шиллером Дальбергу на следующий же день:

«То, что ваше превосходительство поручили мне передать через придворного советника Мая, снова преисполнило меня горячим и сердечным уважением к прекрасному человеку, который принимает столь великодушное участие в моей судьбе. Если бы с давних пор возвращение к моему главному занятию не было единственным моим сердечным желанием, то уже одно это прекрасное движение вашей благородной души принудило бы меня к слепому послушанию». Где-где, а в данном случае Шиллер проявляет себя явным глупцом. Далее доверительно просит он Дальберга ни более ни менее как об авансе под будущие пьесы — практически о годичном вознаграждении в качестве театрального драматурга. Письмо заканчивается такими словами: «Могу ли я надеяться получить решение вашего превосходительства в письменном или устном виде: Я ожидаю его со страстным нетерпением». Дальберг вообще не отреагировал на его послание.

Это письмо воистину свидетельство неземной наивности. Но оно содержит важную мысль, которая волновала людей творческого тру-

да до и после Шиллера. Поэт признает, что совпадение призвания и профессии, склонности и заработка ради хлеба оказывает сковывающее воздействие на его творчество... «Уже давно и не без причин я опасался того, что рано или поздно погаснет огонь моего поэтического искусства, если оно останется средством добывания хлеба, и, наоборот, оно должно было бы стать для меня новым стимулом, если бы я использовал его как отдых и посвящал ему самые светлые моменты моей жизни». Если бросить взгляд на дальнейшую жизнь Шиллера, то станет видно, что «добывание хлеба» и творчество оставались всегда близкими друг другу; но никогда они не совпадали, как это было в тот год, когда он работал «театральным поэтом». Возвращение к медицине, исполнение якобы единственной потребности души, осталось написанным на бумаге, и весьма сомнительно, вышло ли что-нибудь из этого, если бы Дальберг пошел навстречу желанию Шиллера и предоставил ему ссуду. Но он даже и не подумал об этом. Его отношение к Шиллеру упало почти до точки замерзания.

Год, когда Шиллер был театральным драматургом, должен был окончиться недостойной шуткой — постановкой язвительно-грубодатой пьесы, и именно на подмостках, где мир увидел «Разбойников». 3 августа — Шиллер был в это время в Шветцингене, Дальберга также не было — поставили фарс «Черный человек», изготовленный Готтером по французскому образцу. Теперь Фридрих Вильгельм Готтер из Готы был не кем-нибудь, а одним из видных немецких театральных критиков, и в Мангейме он имел особый вес, так как сыграл важную роль при вербовке театральной труппы Экгофа. Иффланд, Бёкк, Бек высоко ценили его. У Готтера было свое отношение к Шиллеру, он воспринимал «Разбойников» как варварское вторжение в светлый мир театра. С резким неудовольствием он отреагировал на то, что автор этой пьесы получил должность в Национальном театре, которому он покровительствовал. Главное действующее лицо в этом фарсе — театральный драматург Фликворт, образ, который во французской пьесе носит имя Chevillard, но Готтер задумал его как пародию на Шиллера. Это относится к тому времени, когда «Фиеско» уже был известен; Готтер знал о предшествовавших трудностях и переделках. Это нашло отражение в фарсе:

« Ф л и к в о р т : Но пятый акт? О, ты, злосчастный пятый! Риф, из-за которого потерпел кораблекрушение мой коллега, и я должен на тебе разбиться? *(Задумчиво.)* Передо мной два пути, оба указаны Аристотелем. Заговор раскрыт. Король Август II побеждает себя. Предатели помилованы. *(Пауза.)* Нет! Это так похоже на двадцать других пьес. Я не ворую. Я оригинален! Я низвергаю добродетель. Чем аморальнее, тем страшнее!»

Этот театральный драматург — любитель делать долги и голодающий. Хозяин гостиницы Квик, у которого осведомляются о его постояльцах, отвечает: «...и еще один поэт, которого я не считаю, ибо кормлю его бесплатно». Повторяющиеся сцены, где голодный Фликворт изнывает над закрытыми мисками. В одном месте Готтер заставляет своего Фликворта воскликнуть: «Господи! Афины заставляли своих великих мужей испытывать нужду». И это не было упущено. Фликворт был втиснут в костюм, который Мангейм видел на Шиллере: голубой

сюртук со стальными пуговицами, длинные грязно-белые чулки, огромные пряжки на башмаках, открытая шея. Эту роль исполнял Иффланд, большой мастер пародии. Публика редела и умирала от смеха.

После этого спектакля Иффланд написал Дальбергу витиеватое письмо: «Этим мы сами при всей публике бросили в Шиллера первый камень. Я боязливо избегал всякой аналогии». Последняя фраза абсолютно лжива. Но сожаление могло быть искренним: «Мы не должны были ставить эту пьесу. Из уважения к Шиллеру». Возможно, что Иффланд принимал участие в злобной, коварной проделке и что он исполнял роль Фликворта с комедиантской радостью. Но после он испытал нечто вроде стыда и даже счел нужным выставить себя перед Дальбергом порядочным человеком. Как всегда «искренность, порядочность, снисходительность, доброжелательность», в которых Иффланд клялся, оглядываясь на те годы, были ущербны.

А Шиллер? Подчас он жил вне или на грани действительности. В низости, на которую сам он не был способен, очевидно, не подозревал и других. Но реакция — а она все-таки была, — гордое молчание.

РАЗВЯЗКА

Из театра Шиллер был уволен. Он оставался пока жить в Мангейме, продолжались дружеское общение с театральными деятелями, встречи, разговоры, переписка. Но не было особых причин, серьезных задач, которые бы задерживали его «в фатальном Мангейме», так выразился Андреас Штрейхер. Это продолжалось до апреля 1785-го, и это было подлинное бедствие. И если было что-то утешительное в этот период, то источником его был не Мангейм. Что доставляло дополнительные огорчения в эти месяцы его и без того бедственного положения — это взаимоотношения с семьей. В Солитюде оставили мысль о его возвращении. Уже упоминалось о том, что отец в конце концов примирился с писательской профессией сына; успехи его были приятны старику, пусть даже они достигались на театральном поприще. О том, что профессия врача представлялась более серьезным занятием, он, разумеется, никогда не забывал напоминать, да и сам сын нередко возвращался к этой мысли — «единственной потребности души», как мы уже говорили. Не это было предметом огорчений. Семью угнетала забота о прежних штутгартских долгах. Кроме того, возникло новое обстоятельство, стоившее волнений и нервов; оно касалось верной, любящей Христофины.

Долги — о них снова придется говорить. Отец был достаточно хорошо осведомлен. Показания барометра можно установить по его письмам: «Я хочу, если об этом заранее узнаю от тебя, любимый сын, какой долг у тебя генеральше фон Хольшен, поручиться на определенное время с тем, чтобы не опорочить тебя и дать возможность спокойно работать, но я должен быть уверен в том, что ты не оставишь меня на произвол судьбы в ущерб твоим сестрам» (конец декабря 1783 года). В письме 19 февраля 1784 года говорится: «...я не хочу терять ни одного мгновения, чтобы по-отечески не посоветовать тебе, как облегчить и окончательно улучшить твоё положение, но должен, однако, заметить, что вряд ли ты был счастлив тем, что отец имел

бы средства и намерение выручать тебя из затруднительных положений... Пока ты, мой любезный сын, будешь рассчитывать на доходы, которые должны еще поступить, и тем самым ставить их в зависимость от случая или несчастья, до тех пор ты будешь находиться в стесненных обстоятельствах...» И в том же письме: «Госпожа фон Вольцоген может подождать... ибо она одна из тех персон, которые были причиной расстройств твоих дел». Затем следует резкое предостережение относительно игры в карты: «Человек с такими талантами, как ты, позорит себя подобным несерьезным времяпрепровождением».

Сын обещал уплатить в феврале 50 гульденов. 9 марта отец пишет: «Любезный сын! Уже прошел февраль, а ты не прислал денег для уплаты процентов». После резких слов следуют примирительные: «Я могу понять, что, по твоему мнению, только в последний момент выяснилась невозможность высылки денег, но должен заметить, что об этом ты мог и должен был знать уже давно». Отец указывает на перст божий, который должен предостеречь сына, «с тем чтобы он отказался от упрямства и следовал совету своего отца и других истинных друзей». И далее пишет, что лучше бы он остался на родине и что «у него вообще часто бывают такие дурацкие настроения, которые невозможно выносить даже его лучшим друзьям». Но Шиллер, видимо, еще в феврале выслал 50 гульденов в счет погашения долга. В письмах отца за май и июнь месяц не затрагивается этот проклятый вопрос. Но осенью и зимой долги снова станут предметом его горьких, почти отчаянных упреков.

Произошло событие, вызвавшее возбуждение и досаду всех участвующих сторон. Виновником его оказался не кто иной, как библиотекарь Рейнвальд из Мейнингена, надежная опора Шиллера: он сделал предложение Христофине. О жизни этой девушки он знал от Шиллера, видел ее письма и сам начал переписку с ней. Рейнвальд в осеннюю пору своей безрадостной жизни ощутил дыхание весны; он отправляется в Швабию. В Солитуде его приняли дружелюбно. «Здесь я устроен несказанно приятно, люблюсь садом, который кажется безграничным. Все мои описания не в состоянии передать красоту этого вида... Здесь я нахожусь в гостеприимном семействе, в моей комнате запах апельсинов и великолепных цветов сада, самые вкусные обеды и наилучший десерт, какие я когда-либо едал». Легко угадать причину увеселительной поездки этого бережливого и расчетливого человека. Христофине в то время было 27 лет, по тогдашним понятиям — почти старая дева. Отец быстро понял причину посещения этого человека, который был чуть ли не на двадцать лет старше дочери, и согласился с его намерениями. Христофина должна была идти под венец. Но вначале они совершат совместное путешествие и навесят Фрица.

Они встретились 24 июня в Мангейме и пробыли там две недели. Поэт был как будто бы счастлив видеть свою любимую сестру, вместе с тем радостно приветствовал дорогого и верного Рейнвальда. Но то, что они прибыли вместе, неприятно задело его. С самого начала Шиллер дал понять, что он против их союза. Он был сердечно привязан к своей Христофине. Он ценил Рейнвальда как образованного, честно го человека, но знал также педантичность, филистерство этого

прозябающего в лишениях и разочарованиях взрослого ребенка, знал, в каких жалких условиях он жил. Туда не должна попасть его Христофина. Но не была ли она уже помолвлена? Фатальное предзнаменование для пребывания втроем. Они посещают выставки произведений искусства, совершают поездки в Шветцинген, в Гейдельберг, осматривают там большую бочку *. Ко всему прочему Рейнвальду было поручено (отцом Шиллера) помогать советами в его денежных делах. Порой все это становилось невыносимо. Как раз во время их пребывания у Шиллера произошли два события, которые стали тяжким испытанием для него: появление злополучной жены капрала Фрике и постановка фарса «Черный человек». И ко всему — мрачное лицо подавленного разочарованием и обидой Рейнвальда и вопрошающие и беспокойные глаза Христофины.

Христофина сообщает ему о своем возвращении в безобидном письме. Не ее собственная, а печаль брата заботит ее: «Напиши мне как можно скорее, но только правду. Ты не должен обижаться на меня, я знаю, что ты меня щадишь в подобных случаях, но по твоим письмам я замечаю, если ты пишешь неправду, и чему это помогает?» И Рейнвальд, возвратившийся уже в Мейнинген, пишет без следа неприязни: «Я ничего не могу поделать против того, что люблю ее. Я не смог найти никакой причины для равнодушия к ней; старание понравиться, незаметно стать необходимым — так я отношусь к ней...» Только через пять месяцев он раздраженно дал выход своему огорчению и разочарованию в неблагодарном друге: «Несмотря ни на что, я буду думать о Мангейме с досадой и отвращением», — писал он. И далее: «Моя боль пройдет, но вы еще долгое время останетесь несчастным, так как вы либо недостаточно знаете людей, либо не умеете быть им полезным». Христофина также написала в конце декабря письмо брату, в котором нашло отражение ее печальное настроение. Но в нем нет ни одного слова о собственном горе, только сочувствие заботам брата и боль из-за того, что он не хочет ей сообщить об этом: «...конечно, я мало смогу помочь тебе, но разве не есть утешение открыть кому-нибудь полностью свое сердце? Я бы поступила именно так. Разве твоя сестра, которая уже много, истинно много, страдала, не стоит того, чтобы быть твоим другом, и разве она не в состоянии понять всю боль твоей души? Поверь мне, мой дорогой, мое сердце уже много страдало из-за тебя».

В резком тоне пишет отец (письмо от января 1785 года): «С большой неохотой отвечаю на твое последнее письмо от 21 ноября прошлого года (не сохранилось. — *П. Л.*), которое уж лучше бы никогда не читать, чем еще раз испытать горечь, содержащуюся в нем». Речь идет о деньгах. Затем он сообщает о предполагаемом союзе Христофины с Рейнвальдом: «Теперь я должен кое-что сказать относительно твоей сестры. Так как ты со своей стороны сообщил Рейнвальду, что я и твоя сестра должны на словах и на деле свернуть с намеченной дороги, то дело кажется законченным... И разве ты поступил хорошо, препятствуя партии, якобы не подходящей для твоей сестры из-за возраста и материального положения? Это знает только бог, которому известно будущее. Так как у меня за плечами 61 год

и я могу оставить после своей смерти небольшое состояние; так как твои надежды, мой сын, счастливо оправдаются, ведь не напрасно же ты стараешься многие годы вылезти из нужды... то со всех точек зрения было бы не плохо, если бы Христофина устроилась и... смогла бы совершенно приспособиться к нему и его характеру, так как она, слава богу, еще не заражена зазнайством и преувеличением и может смириться с любыми условиями».

На самом деле брачный торг Рейнвальда и Христофины был положен в долгий ящик. В ноябре 1784 года идет переписка между отцом Шиллера и огорченным Рейнвальдом, в письмах того и другого сквозит раздражение. Наконец старый Шиллер пишет 18 октября смягченно и ясно: «Итак, вы думаете, что удовлетворены добрым сердцем моей дочери и тем, что мы могли сделать ее хорошей хозяйкой и собеседницей, воспитывая в страхе божьем, и то, что можете забыть о временно недостающих всем средствах, таким образом, по божьей воле и с согласия моей дочери: вы получаете мое и моей жены согласие и пусть бог благословит и осчастливит вас в вашем намерении». И Рейнвальд отвечает в примирительном тоне, советует «внимательно проверить склонность доброго существа»: «Обстоятельство, о котором вы сообщаете мне в вашем ценном письме для обдумывания, что ваша первая дочь небогата, было для меня новым, так как я этим не интересовался, но оно меня не пугает». Добропорядочное письмо заканчивается не без удара в спину нарушителя спокойствия Фрица. Доброе дело требует времени, и менее доброе — также. Рейнвальд и Христофина были официально помолвлены осенью 1785 года и поженились в июне 1786 года. Христофина в смиренной и бедности будет служить своему супругу. Смыслом ее жизни станет слава ее брата.

В этот беспокойный для Шиллера период жизни появляется первая любящая женщина. Вспомним о его запутанных и до некоторой степени комических отношениях с овдовевшей капитаншей Фишер, его «Лаурой». Вспомним его влюбленности то в одну, то в другую актрису, довольно легкое увлечение Маргаритой Шван — никогда, собственно, не было речи о любви. Шарлотта фон Кальб родилась 25 июля 1761 года в семье Маршалка фон Остгейма в замке Вальтерсхаузен, расположенном на берегу реки Заале. Таким образом, она была моложе Шиллера, что во многих описаниях обходили вниманием. Шарлотте с раннего детства было суждено испытать несчастье, к тому же она имела дар предчувствия. Она была еще ребенком, когда один за другим умерли ее родители. Братья и сестры были разъединены и пристроены кто где у родственников: едва только девушка успевала обвыкнуться в одной обстановке, как ее помещали в другую. Двадцати лет она была представлена двору в Мейнингене — и понравилась. Это была высокая, несколько полная девушка, с пышными белокурыми волосами. Одна из принцесс приблизила ее к себе, Шарлотта расцвела. Ее сестры (в семье было четыре сестры и один брат) одна за другой вышли замуж, соответственно сословному положению, но браки их не были счастливыми. Сестра Вильгельмина умерла при первых родах, почти в тот же день их любимый брат погиб на дуэли. Шарлотта, которая заранее предчувствовала горестные события, оставила

всякую надежду на счастье. Ее отправили к сестре Элеоноре, на которой должен был жениться Иоганн Август фон Кальб; Гёте так характеризовал этого человека — он показал себя средним коммерсантом, плохим политиком и гнусным человеком. Затем появляется его брат, Генрих фон Кальб, офицер на французской службе, отличившийся в Америке. Дымка приключений окутывала его, брат считал целесообразным женить его на Шарлотте. При всех несчастьях Остгеймы были людьми состоятельными; 23 октября их обвенчали. Генрих фон Кальб не был негодяем, как его брат, но брак с чувствительной молодой женщиной находился под недоброй звездой. «Листопад, буря, мороз, окоченение — вот что досталось мне изведать» — редко какой женщине дано облечь в такой образ свое разочарование браком.

В мае 1784 года супружеская пара фон Кальбов приезжает в Мангейм и вскоре знакомится с Шиллером. Супруги привезли с собой послания от фрау фон Вольцоген и Рейнвальда. Вероятно, вспомнили о том, что Шарлотта была в числе молодых дам, которые послали поэту лавровый венок в Бауэрбах. В тот день, когда они встретились, вечером в театре играли «Коварство и любовь»; Шиллер позаботился о том, чтобы на этот раз не упоминали имени глуповатого гофмаршала Кальба. Фрау фон Кальб попыталась в своих воспоминаниях передать то впечатление, которое произвел на нее поэт: «В расцвете жизни... его глаза блестят задором молодости, держится торжественно, в то же время задумчив, словно им движет неожиданная мысль. Не скован робостью, задушевен, когда с собеседником можно говорить, веря в то, что ты будешь понят... Во время разговора резкая порывистость, которая сменяется почти женской мягкостью...» Супруги Кальб отправились сначала в гарнизон по ту сторону Рейна, но в августе устроились на постоянное жительство в Мангейме. 8 сентября Шарлотта родила первого ребенка, которого назвали Фрицем (его домашним учителем станет Гёльдерлин). Спустя два дня мать на почве галлюцинации впадала в длительный обморок, который первым обнаружил Шиллер и срочно вызвал врача.

Весь остаток своего пребывания в Мангейме Шиллер неизменный гость в доме Кальбов, независимо от того, был ли хозяин дома или нет — чаще всего он пребывал в своем полку. Шарлотта видит в поэте интересного ей человека, он выслушивает ее и сам раскрывает ей свое сердце — и даже больше: позволяет ей влиять на ход его мыслей. Шарлотта фон Кальб была тем, кого тогда называли «прекрасной душой». Но при этом она была также и привлекательной женщиной, молодой, несчастной в своем браке. Шиллер, легко воспламенявшийся, не всегда помышлял только о беседах с ней. Эмиль Штайгер предполагает относительно именно госпожи фон Кальб, что «влюбленный в большинстве случаев не останавливался на полдороге». Другие авторы связывают юношеское стихотворение «Свобода страсти», о котором говорилось в главе «Полковой лекарь», с Шарлоттой — но это был бы как раз тот случай, когда любовник останавливается на половине пути. Я не разделяю этого мнения. То, что это стихотворение, судя по тому, как оно названо, прямо относится к Лауре, нельзя упускать из виду, если даже это не представляется убедительным доказательством.

Прежде всего, эротизм сверхкрасноречивых строф полностью соответствует чувствам свежее испеченного выпускника Карлсшале, находящегося *vis-à-vis*¹ со своей овдовевшей капитаншей; но едва ли то же может соответствовать душевному состоянию двадцатипятилетнего, который не был уже столь наивным, но обладал достаточным опытом, чтобы таким образом не выставить напоказ женщину, подобную Шарлотте фон Кальб.

Нужно иметь в виду, что в последнюю четверть XVIII века в высших кругах общества брак вовсе не воспринимался как нечто священное. Продуманно построенный роман Гёте «Избирательное сродство» убедительно иллюстрирует это. Рикарда Хух * говорила о романтизме: «Удивительно, как в это время высшая идея о важности и вечности любви выступает вместе с великодушной терпимостью против неверности и всяких любовных заблуждений». То и другое было заметно уже во времена юности Шиллера. И его окружение было иным, чем у музыканта Миллера.

Шиллер не был великим влюбленным. Шарлотта внутренне была готова ко всему, к любому действию, которое могло изменить, перестроить ее жизнь, но он — нет. Их встреча доставила обоим утешительные и счастливые минуты. Однако ни он не был в состоянии изменить ее печальную судьбу, ни она не способна была избавить его от мучительной неизвестности и забот. Дом Кальбов имел для Шиллера еще и другое значение. Генрих фон Кальб, по каким-то причинам свободный от ревности, принимал много гостей в своем доме, где царила Шарлотта — этому она научилась при небольшом дворе Мейнингена. Пребывание в ее салоне помогло Шиллеру избавиться от некоторых буршеских манер. Умение держаться в обществе далось ему без особого труда, ибо придворный этикет не был совершенно чужд его натуре — кое-чему он мог научиться в последние годы учебы в Академии. Таким образом, госпожа фон Кальб, вероятно, сознательно, способствовала в этом смысле воспитанию поэта; но и она не могла ничего поделать с его равнодушием к одежде.

В мангеймском обществе Шиллер встретился с Софи Ла Рош, уже старой женщиной, которая жила тогда в Домгернгофе около Шпейера, но месяцами находилась в Мангейме, посещая театр и концерты. Она была родом из Верхней Швабии, в течение всей жизни ее любил платонической любовью молодой, затем не очень молодой и наконец состарившийся Виланд. Она была плодовитой писательницей, ее «Историю фрейлейн фон Штернгейм» читала вся Германия. Через свою дочь Максе она стала родоначальницей семьи Брентано. Эта дама внимательно следила за Шиллером, восхищалась его умом, но отвергала его юношеские драмы. Шиллер в своем письме к фрау фон Вольцоген отмечает: «Статскую советницу фон Ла Рош я знаю очень хорошо, и это знакомство одно из самых приятных в моей жизни. Нежная, добрая, умная женщина в возрасте между 50 и 60 годами, с сердцем девятнадцатилетней девушки».

«Не качайте головой, мой уважаемый, если неожиданно увидите

¹ Наедине (франц.).

меня в качестве журналиста и встретите на улице, где вы чувствуете себя как дома и знаете все входы и выходы. Позвольте мне, бедному страннику, мирно продолжать мой путь; я только подбираю пакеты, которые падают с вашей тяжело нагруженной повозки. Не лишайте меня небольшого заработка. Мне будет довольно трудно. Seriously, дорогой друг, мое теперешнее положение, независимое и не связанное с определенными занятиями, а также советы, идущие как от своих, так и посторонних людей, которым недостает театрального журнала, побудили меня обратиться к публике с вопросом, считают ли меня человеком, способным издавать его. Возможно, что я сдержу свое обещание, как только публика поддержит мое предложение; и это должна решить сейчас подписка».

Так пишет Шиллер 16 ноября 1784 года Гёкингю. Он был издателем «Журнала о Германии и для Германии», директором канцелярии в Эльрихе на Гарце (для многих людей, например для начитанных дам, большой человек; как раз в то время, в ноябре 1784 года, у него гостили балтийские фрейлины Элиза фон дер Рекке и ее спутница София Беккер; последняя, обычно довольно смелая дамочка, признается в своем дневнике, что она с «замирающим сердцем» ожидала встречи со знаменитым человеком — таким авторитетом пользовались литераторы). Шиллер послал в августе для его журнала две статьи, одна из них «Об игре Иффланда в «Короле Лире», написанная ровно через три недели после постановки позорного фарса, — красноречивое свидетельство редкой способности Шиллера явно игнорировать оскорбления.

Предполагавшийся театральный журнал, о котором Шиллер будто бы информировал Гёкинга, назывался «Рейнской Талией»; вышел всего один номер, позднее его продолжением стал журнал «Талия», издававшийся в Саксонии. Мысль об издании журнала возникла, когда не был продлен договор с театром; в течение осени он принял определенную форму и заставил поэта заняться деловой перепиской, чтобы завербовать подписчиков. Так, он писал своему давнему другу Шарфенштейну, извиняясь за то, что «мое первое письмо тебе представляет собой купеческое послание»; Мейстеру в Цюрих: «Ваш кружок, корреспонденция, рекомендации обещают мне наилучший успех»; Бертуху в Веймар: «Разрешите мне, уважаемый господин, без обиняков, прямо воззвать к вашей доброте и просить оказать дружескую услугу прежде, чем я стану достоин ее».

«Рейнская Талия» вышла в марте 1784 года. Объявление о ее выходе представляет собой примечательный документ. Он содержит важнейшее автобиографическое высказывание, из тех, что Шиллер когда-либо фиксировал на бумаге. Сколь ни значительны эти строки, их не следует принимать за абсолютно достоверные. Они являются свидетельством того, как двадцатипятилетний поэт оценивал свою предшествующую жизнь. Обращает на себя внимание жесткая формулировка, касающаяся товарищей по Карлсшутле: «Четыреста, что меня окружали». Здесь острые и меткие размышления о бегстве в мир идей, его знание людей, мотивировка его «Разбойников». Некоторые основные положения его исповеди: «Я пишу как

гражданин мира, который не служит ни одному князю. Рано я потерял свое отечество, чтобы сменить его на широкий мир, который я видел прежде только в подзорную трубу. Странная ошибка природы присудила меня стать на моей родине поэтом. Склонность к поэзии оскорбляла законы заведения, где я воспитывался, и противоречила замыслам его основателя. Восемь лет боролось мое одушевление с военным порядком. Но страсть к поэтическому искусству пламенная и сильна, как первая любовь. То, что должно было ее задумить, разжигало ее. Чтобы бежать от условий, ставших мне пыткой, мое сердце устремлялось в мир идеалов, не зная, однако, действительного мира, от которого меня отделяли железные прутья, не зная людей (ибо четыреста, что меня окружали, были одним-единственным созданием, верным слепком с одного и того же образца, от которого пластическая природа торжественно отказалась); не зная склонностей свободных, себе самим предоставленных существ; ибо здесь созревала только одна склонность, которую я не хочу сейчас называть. Всякая другая сила воли чахла, в то время как одна-единственная судорожно напрягалась; всякое своеобразие, всякая резвость на тысячу ладов играющей природы пропадала в размеренном такте господствующего порядка — не зная прекрасного пола (как известно, двери этого заведения открываются перед женщинами до того, как они становятся интересными, или когда они перестали быть интересными), не зная людей и людских судеб, моя кисть непременно должна была нарушить грань между дьяволом и ангелом, должна была создать чудовище, какого, к счастью, не существовало на свете, которому я потому лишь пожелал бы бессмертия, чтобы увековечить небывалый случай родов, которые произошли от противоестественного соития субординации и гения. Я разумею «Разбойников». Эта пьеса появилась. Весь нравственный мир заклеил автора как оскорбителя Его Величества. Пусть ответственен во всем будет климат, в котором поэт родился. Если из всех обвинений, без числа писавшихся против «Разбойников», какое-либо меня заденет, это то, что я два года тому назад позволил себе изображать людей — прежде чем мне повстречался хоть один. «Разбойники» стоили мне семьи и отечества»¹.

В журнале помещены доклад «Каково воздействие хорошего постоянного театра?», некоторые сцены из «Дон Карлоса», «Примечательный случай женской мести» — перевод из Дидро; уже упомянутое «Письмо датского путешественника» о Музее антиков в Мангейме. Среди мелких заметок содержится в качестве легкого чтения «Валленштейновская театральная война», которая ничего общего не имеет с Фридрихцем, история о том, как некая мадам Валленштейн была уволена строгим и корректным Дальбергом по причине плохого ее поведения и моментально устроена на сцене мюнхенского театра, к досаде интенданта мангеймской сцены, — «жалкая театральная потасовка», как назвал ее Шиллер в своем письме Гёкингу. «Рейнская Талия» — первый шаг на пути, с которого Шиллер больше

¹ Шиллер И. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 6, М.—Л., Гослитиздат, 1950, с. 561—562.

никогда не сойдет. Он останется умным журнальным издателем, журналистом, мудрым и осмотрительным в отношении с публикой и издателями.

Не только несчастье возвещает о себе предзнаменованиями. В затянутом облаками 1784 году проглядывают солнечные лучи, которые возвещают о том, что вопреки серьезным испытаниям судьба поэта вернется к лучшему. Незадолго до рождества Шиллер поехал в Дармштадт; фрау фон Кальб рекомендовала его тамошнему двору, придворной даме, состоявшей в родстве с фон Вольцогенами. Карл Август, веймарский герцог, находится здесь в гостях (знала ли об этом Шарлотта?). На второй день рождества Шиллер читает при дворе в присутствии Карла Августа первый акт «Дон Карлоса». На следующее утро правитель Веймара беседует с Шиллером и по просьбе последнего «с большим удовольствием» жалует ему титул веймарского советника. Это было как раз то, на что Шиллер надеялся в начале года: титул, чин — в тогдашнем обществе это значило много. Даже брать взаймы и жить долгами было легче, если удостоверяли свое звание.

Одновременно с получением долгожданного чина наступило небольшое облегчение, которое Шиллер не мог оставить без внимания. Благодаря хлопотам доброжелательного Антона фон Клейна Немецкое общество предоставило ссуду на сумму в 132 гульдена, которая на самом деле была замаскированным подарком. Уже до этого Клейн кое-что сделал для Шиллера в другом отношении, что для повседневной жизни поэта было немаловажно. Из благодарственного письма Шиллера: «Так как вы вчера были так добры, разрешив мне присылать к вам за писчим материалом, я сразу воспользуюсь этой любезностью и прошу передать несколько пачек хорошей писчей и почтовой бумаги, если она есть, а также перья и сургуч; ввиду неслыханных затрат на эти предметы, которые я делал до сих пор и должен был бы делать в будущем, я буду в высшей степени благодарен вам за ваше внимание».

В мае 1784 года он получил издалека послание, своего рода объяснение в любви, привезенное с лейпцигской ярмарки Гёцем, компаньоном Швана. Шиллер пишет фрау фон Вольцоген: «Несколько дней назад мне был сделан сюрприз, лучший в мире. Я получил пакеты из Лейпцига и нашел в них четыре письма от совсем чужих людей, исполненные тепла и любви ко мне и моим писаниям». Ему были присланы прекрасно выполненный бумажник, портреты поклонниц и поклонников, хвалебные письма, песня из «Разбойников», положенная на музыку... «Вот видите, любезнейшая, бывают у вашего друга совсем неожиданные радости, которые становятся еще дороже оттого, что изобретают их чистая воля, чистое, свободное от какой бы то ни было корысти чувство и душевная симпатия. Такой дар от вовсе незнакомых людей, не вызванный ничем, кроме чистосердечнейшего уважения, преследующий одну-единственную цель — выразить признательность за несколько радостных часов, проведенных за чтением моих произведений, — такой дар вознаграждает меня лучше, нежели громогласные славословия света, служит един-

ственным и сладостным воздаянием за тысячи мрачных минут. И когда я задумываюсь над этим и представляю себе, что, может быть, есть на свете еще не один круг людей, любящих меня, радующихся тому, что они меня узнали, что, может быть, лет через сто или больше, когда и прах мой уже давно развеется, люди будут благословлять мою память и на мою могилу приносить дань слез и восхищения, — тогда, моя любезнейшая, я радуюсь, что призван быть поэтом, примиряюсь с богом и моей нередко столь тяжелой участью» (VII, 59—60). Эти слова читаются с волнением и через двести лет. Отправителями были Дора Шток, дочь лейпцигского чеканщика по меди, ее сестра Минна, а также Христиан Готфрид Кёрнер и Фердинанд Губер из Дрездена — его восторженные читатели.

Трудно понять, почему прошло более чем полгода, прежде чем Шиллер написал ответ. Наконец он собрался и в письме Губеру «с краской на лице» оправдывает свое молчание тогдашним душевным состоянием; он с чувством заявляет: «...я признаюсь вам, что ваши письма и подарки были приятнейшими из всего когда-либо испытанного мною за время моего писательства...» Письмо заканчивается выражением неуверенной надежды на личное знакомство. В январе 1785 года приходят ответные письма. Дора Шток: «Сколько радости доставили вы нам вашим любезным, замечательным письмом, ничто не может превзойти ее, разве только возможность видеть вас и говорить с вами: исполните наши надежды, не допустите, чтобы они исчезли подобно прекрасному сну...» Фердинанд Губер: «Все незначительные и действительно редкие проявления обиды... полностью искупаются и вознаграждаются вашим письмом — письмом, полным теплоты и сердечности». Кёрнер: «Ваше молчание, благородный человек, было для нас неожиданным, но объяснимым...» Каждое из этих писем излучает готовность к деятельной дружбе.

Затем следует обстоятельное письмо Шиллера Кёрнеру, датое 10 февраля: «В то время как половина Мангейма теснится в театре... я лечу к вам, мои дорогие, чувствую себя в этот миг куда более счастливым» (VII, 67). Эта мысль не покидала его после получения последних писем: «Эти люди принадлежат тебе, ты принадлежишь этим людям». Письмо исполнено искренности и окрашено юмором. В течение десяти дней перерыва в написании послания в нем явно созрело решение поехать в Саксонию, к новым друзьям: «...Лейпциг в мечтах и чаяниях кажется мне розовой зарей, встающей из-за лесистых холмов» (VII, 69). И через две страницы: «Я твердо решил, коль скоро обстоятельство хоть в малой степени будут благоприятствовать мне, сделать Лейпциг целью моей жизни и своим неизменным местопребыванием» (VII, 70). Он полон энтузиазма: «Сколько несказанных блаженств сулит мне пребывание у вас...» (VII, 72). Почти одновременно было отправлено еще одно письмо Губеру, носящее деловой характер и преследующее цель получить задаток в 300 талеров для «Рейнской Талии». Ответы из Саксонии не могли не быть доброжелательными. Шиллера приглашают от всего сердца. А Кёрнер добыл у Гёшена, в издательском деле которого он участвовал, просимую солидную сумму для «Талии»...

В конце марта Шиллер посылает последнее письмо из Мангейма своим друзьям, он уже наполовину готов к отъезду. Из письма Губеру: «Моя душа вынуждена двоиться, я сваливаюсь с высоты моих идеальных миров, лишь только разорвавшийся чулок напоминает мне о здешнем мире». Он не хочет заниматься домашним хозяйством, но заботится о своем будущем гнезде, все продумывает. Он желает, чтобы вместе с ним жил друг «...всегда находящийся подле меня, словно ангел-хранитель, которому я мог бы верить зарождающиеся во мне мысли и чувства». Ничего больше он не требует... «Мне не нужно ничего, кроме спальни, которая одновременно служила бы и кабинетом и гостиной. Необходимая мне мебель — это хороший комод, письменный стол, кровать, софа, стол и несколько кресел. Если все это у меня есть, то я для своего удобства больше ни в чем не нуждаюсь. Я не могу жить в первом этаже, а также под самой крышей, кроме того, я бы очень не хотел, чтобы из окна открывался вид на кладбище...» Затем: «Я люблю людей, а следовательно, и людскую сутолоку». Есть он любит в обществе. Перечень пожеланий показался ему, очевидно, слишком длинным: «Мои требования, разумеется, бесконечно наивны, но вы избаловали меня своей добротой» (VII, 73—75).

Лейпцигский аванс давал давно желанную возможность уплатить наиболее гнетущие долги, среди прочих погасить старые штутгартские обязательства. Этим самым были снова восстановлены хорошие отношения с отцом. Получение чина благотворно действовало на семью. Отец очень положительно отзывался о «Рейнской Талии», прежде всего о сценах из «Дон Карлоса» — «чрезвычайно глубоко продумано и отточено», — уважительно заметил, что высокие гонорары лейпцигских книготорговцев его не удивляют, так как «у этих парней есть люди, которые умеют понять и оценить хорошее». Но ничто так глубоко не растрогало родителей, как благочестивая фраза в конце письма сына: «Слезы благодарности богу за то, что он не отверг нашу бедную молитву».

В первые дни апреля Шиллер прощается со всеми. В доме Швана дочь Маргарита преподнесла ему вышитый бумажник. Если он и простился с Шарлоттой фон Кальб, то буквально «на лету» — из этого плена он бежал. Последний вечер он проводит с другом, в котором он никогда не разочаровывался, — с Андреасом Штрейхером. Они проговорили до полуночи о своем будущем. Довольно странно: Шиллер мечтает заняться юриспруденцией, это поможет ему быстрее продвинуться вперед в сравнении с другими, идущими черепашьим шагом, — таким образом он со временем непременно займет какой-нибудь достойный пост при одном из маленьких дворов Саксонии. Поэзии он будет отдаваться только в часы «наивысшего вдохновения». Друзья расстаются, обещая писать друг другу, но не раньше, чем когда один станет капельмейстером, а другой — министром. Впоследствии они все же переписывались какое-то время, хотя Шиллер и не стал министром. С этого вечера друзья уже больше не виделись. Но после смерти друга Андреас Штрейхер редким образом проявил свою верность.

Ранним утром 9 апреля 1785 года Шиллер уехал из Мангейма.

В САКСОНИИ И ТЮРИНГИИ

СРЕДИ ДРУЗЕЙ

«Я восхваляю Лейпциг, он является маленьким Парижем и средоточием образованных людей». Лейпциг в XVIII веке приобрел среди других немецких городов лестную репутацию, которую современники часто подтверждали и редко оспаривали. Город был известен многим иностранцам. Он являлся пунктом пересечения транспортных путей, наряду с Франкфуртом был важнейшим торговым центром Центральной Европы, имел университет, который отличался высоким уровнем преподавания, но еще больше — необычайно учтивым поведением студентов и потому привлекал к себе сыновей из добропорядочных семей и дальних мест. Для последующей славы города имело большое значение то, что долгие годы здесь провел Иоганн Себастьян Бах, служивший в должности кантора церкви св. Фомы, но в то время этот факт был предметом гордости только для немногих посвященных. Более важным для образованных современников было то, что Готшед и Геллерт создали свои кафедры, способствовавшие литературному образованию немцев. Лейпциг занимал уже ведущее место в книготорговле и издательском деле; такие люди, как Брайткопф и Гёшен, имели добрую репутацию. С Лейпцигом связывались представления о махинациях, оборотливости, но в то же время о чистоте, вежливости, порядке. Шестнадцатилетний студент Гёте, только что устроившийся здесь, пишет Корнелии: «Что бы ты сказала, сестричка, если бы увидела меня в моей теперешней комнате? Ты бы воскликнула: «Так аккуратно! так аккуратно, брат!» Открой глаза и посмотри!» В книге «Поэзия и правда» можно прочесть, как он прибыл туда как раз к ярмарке и увидел картины, знакомые ему по родному городу, но с заметной примесью славянского духа: поляков, русских, греков. «...и у меня открылись глаза на самый город с его прекрасными, высокими, схожими между собой зданиями. Мне он очень нравился, да и вообще нельзя отрицать, что в Лейпциге, особенно когда наступает затишье после воскресных и праздничных дней, есть что-то весьма импозантное, — но и ночью, при лунном свете, полутемные его улицы нередко соблазняли меня на ночные прогулки... Лейпциг не воскрешает перед нашим взором старые времена; в его памятниках олицетворена новая, недавно прошедшая эпоха оживленной торговли, зажиточности и богатства. Но зато уж совсем в моем вкусе были грандиозные на вид здания с фасадом, выходящим на две улицы, которые, чуть не до небес замкнув собою дворы, походили на могучие крепости, едва ли не на целые города»¹.

А вот отзыв путешественника князя Пюклера, посетившего город в более позднее время: «Лейпциг понравился мне, зимой он так опрятен; мне приятны его старинные высокие дома, просторная рыночная площадь и добродушные саксонские физиономии (много хоро-

¹ Гёте И. В. Собр. соч. в 10-ти тт., т. 3, М., «Художественная литература», 1976, с. 206.

шеньких девушек, они надолго остаются в памяти)». Таким описывают город, который должен был стать поворотным пунктом в жизни Шиллера. Здесь он наконец обрел то, что искал со времени своего бегства.

Он ехал с Гёцем, бухгалтером Швана, который направлялся на ярмарку; поездка в апрельскую погоду была неприятной и к тому же дорогой, так как приходилось часто нанимать лошадей, чтобы вытащить повозку из грязи, — «дорога к вам, мои дорогие, трудна и мучительна, словно она ведет на небо», читаем в записке, которую Шиллер посылает друзьям по приезде. Он остановился в гостинице «Голубой ангел», прекрасном здании, которое служило квартирой принцу Брауншвейгскому во время Семилетней войны, в высшей степени тягостной для Лейпцига (здание простояло до 1920 года под названием *Hôtel de Russie*). Позднее он снял комнату в «маленьком Йоахимстале», в доме, где проживали также супруги Альбрехт: она — красивая, сентиментальная, очень расположенная к поэту актриса; они познакомились во Франкфурте, когда Шиллер ездил туда с Иффландом и Бейлем.

Первым из лейпцигского круга друзей, кого увидел Шиллер, был Губер: Кёрнер задержался в Дрездене. Фердинанд Губер, моложе Шиллера на два года, был сыном преподавателя языков в Лейпцигском университете и француженки, способный и увлекающийся молодой человек, чьим воспитанием, к сожалению, занималась одна только властолюбивая мать. Французский был, можно сказать, его родным языком, он хорошо знал английский, переводил с обоих. Он сблизился с более старшим по возрасту Кёрнером, нуждаясь в живом общении, участии и руководстве. Эта дружба привела к тому, что он стал ухаживать за старшей сестрой невесты Кёрнера Минны Шток, Дорой, и дело дошло до помолвки. Дора была очень одаренной и, несмотря на свой физический недостаток, жизнерадостной девушкой. Губер оказался неспособен направить прекрасные порывы своей молодости в нужное русло; и для Доры было, пожалуй, счастьем, что помолвка расстроилась. Когда Шиллер приехал туда, он застал еще этот «четырёхлистник» — содружество двух молодых мужчин и двух сестер — в пору его цветения. Они-то и были теми людьми, от кого он получил первое послание, содержащее похвалы его гению.

Итак, Шиллер приехал 17 апреля, и первым, кого он встретил, был Губер. На следующий день он познакомил его с сестрами Шток. Они были дочерьми известного гравера, с которым под одной крышей жил Гёте в студенческие годы и у которого он многому научился. В книге «Поэзия и правда» он вспоминает о добропорядочности этого семейства и упоминает дочерей, одна из которых счастливо вышла замуж, а другая стала прекрасной художницей; обе остались на всю жизнь его друзьями. Сестры с бьющимися сердцами готовились к встрече с Шиллером, ибо представляли его себе не иначе как Карлом Моором, в сапогах со шпорами, эдаким молодцом, внушающим страх. Каково же было их удивление, отчасти даже разочарование, когда Губер появился с рыжевато-белокурым, несколько неуклюжим и явно смущенным человеком, который произнес учтивое приветствие на непривычном диалекте! Только когда они уже разговорились, исчезла

его застенчивость, он стал общительнее, в его словах засверкали зарницы.

Местом, которое Шиллер часто посещал в Лейпциге, была кофейня Рихтера. С того времени, когда турки в последний раз безуспешно расположились под Веной (1683 год) и победители захватили в оставленном ими лагере мешки, наполненные кофе, в Вене началось увлечение этим напитком, распространившееся затем по всей Западной Европе; в городах повсюду стали возводить кофейни. В Лейпциге их было восемь, и рихтеровская считалась лучшей. Она размещалась во втором этаже роскошного здания в барочном стиле, построенного когда-то известным Романусом, а затем ставшего собственностью торговца винами Рихтера. Здесь встречалась «половина лейпцигского мира», как писал Швану Шиллер, особенно литераторы, — в некотором роде прообраз «Романского кафе». Автор «Разбойников» часто оказывался в центре внимания большого числа любопытствующих, что постепенно становилось тягостным для него. Из письма Швану от 24 апреля 1784 года: «Странная это штука — писательская репутация, дорогой мой. Немногих достойных и значительных людей, заинтересовавшихся писателем, чье внимание ему приятно, роковым образом оттесняет целый рой таких, что вьются вокруг него, как навозные мухи, рассматривают его, словно диковинного зверя, а если у них за душой к тому же оказывается несколько наклеянных листов, то они еще именуют себя его коллегами» (VII, 77). Несколько своеобразным свидетельством его популярности явился случай, произошедший с Шиллером во время прогулки его с мадам Альбрехт, когда они посетили палатку, где дрессированные собаки представляли комедию. Директор заведения узнал обоих, приветствовал как коллег и не захотел с этих благородных служителей искусства взять входную плату.

В то время было добрым обычаем, хотя это иногда и становилось тягостной обязанностью, когда приезжий с именем знакомился в городе с значительными людьми, которые проживали здесь, — с учеными, литераторами, деятелями искусства, фабрикантами. Так, Шиллер, по большей части в кофейне, познакомился с известными людьми: композитором Хиллером *, поэтом Вейссе *, проповедником Цолликофером, актером Рейнеке, который был горячим приверженцем «естественного направления», отвергал стих и связную речь на сцене (позднее он склонил Шиллера сделать переработку «Дон Карлоса» в прозе), художником и гравером Эзером, директором Академии рисования, живописи и архитектуры, другом Винкельмана, который оказал большое влияние на эстетические взгляды Гёте. За исключением Рейнеке, все эти заслуженные господа не возбудили в Шиллере особого интереса.

Шиллер, впервые совершивший дальнюю поездку, впервые оказавшийся в северной части Германии, не испытывал склонности к путешествию с точки зрения познавательного интереса, созерцания красот. Странствия, к которым он был способен и призван, он совершал в своей комнатухе за письменным столом, и они были великолепны, они вели через пространство и время — в Антверпен Карла V, кастильские резиденции его сына Филиппа, богемские леса, через

швейцарские горы и, наконец, перед самой смертью, в просторы России. Путешествия, которые он совершал в действительности, не производили на поэта особого впечатления. Правда, он умел чувствовать и видеть красоту природных ландшафтов, у нас будет случай показать это. На редкость мало было у него впечатлений от чужих городов, хотя он не упускал возможности посетить примечательные храмы и выставки. Но почти ничего из того, что ему довелось увидеть, не нашло отражения в его письмах, которые все же являются самыми важными свидетельствами о его жизни. Чтобы нагляднее представить места пребывания Шиллера, которые были этапами его жизненного пути, мы должны прибегать к описаниям других современников. Оживленные улицы и просторные площади Лейпцига не отразились в письменных заметках Шиллера. О ярмарке в письме к Швану он заметил только, что она не оправдала его ожиданий.

Знакомства в кофейне также не оставили в его жизни особого следа. Человек, к которому он стремился, хотя и не видел еще его в глаза, Кёрнер, отсутствовал. Христиан Готфрид Кёрнер был тремя годами старше Шиллера; он происходил из семьи тюрингенского священника, его отец был суперинтендантом в Лейпциге. Образование Кёрнера шло скачками — курса обучения в знаменитой княжеской школе в Гримме он скорее коснулся, чем прошел его, потом он изучал естествознание в Гёттингене, юриспруденцию в Лейпциге; затем сопровождал одного молодого человека из знатной семьи в его путешествиях, объездив с ним пол-Европы. Позднее энергичный и умный юноша добился заметного места в саксонском государственном аппарате. Он был старшим консисторским советником, одновременно асессором в трех земельных депутациях: сельскохозяйственной, мануфактурной и коммерческой. Имел состояние. Что касается устройства личной жизни, то этот вопрос он решил, хотя и болезненно, к началу 1785 года. Соединению с любимой им Минной препятствовал отец, не дававший согласия на этот союз, ибо дочь гравера не могла быть, по представлениям отца, мыслившего в духе своего сословия, парой для его сына. Но оба родителя вскоре умерли, один за другим; печальное событие сделало возможным желанный брак. Примечательно, что в двух письмах, от 2 и 8 мая, Кёрнер, следуя внутренней потребности, пускается в своего рода биографическую исповедь — и это в письмах к человеку, который моложе его и которого он знает только по его произведениям и немногим письмам, — проявление своеобразного саксонского характера, его особенности легко и охотно высказываться и доверяться своему *vis-à-vis*, что другим, ординарным, людям представляется вещью обременительной, неприятной и отталкивающей. У Кёрнера эта особенность сочеталась со способностью вдохновляться, готовностью содействовать, жизненной активностью — все это делало его поистине гением дружбы.

Вот выдержки из «Истории жизни» Кёрнера: «Мои юношеские планы были связаны с писательской деятельностью. Но у меня всегда была склонность браться за новое дело, если только там недоставало людей. Самое интересное занятие теряло для меня привлекательность, если я встречался с чем-то более неотложным. Так я переходил

от одного предмета к другому». Он пишет о том, как он побывал на всех факультетах. «Теология могла бы привлечь меня, если бы философия не возбудила во мне сомнения». Медицина? Нет. «Оставалась только юриспруденция. Я избрал ее как занятие, которым мог заработать на жизнь». Он изучает все, как Мефистофель с учеником. Естественные науки и философию он поминает добрым словом, но остановился на юриспруденции и, будучи довольно толковым и не повесой, кое-чего в ней достигает.

Во втором письме он высказывает свое отношение к искусству: «С самых ранних лет у меня надолго укоренилась мысль о том, что художник работает для развлечения себя и других. Родители и учителя приложили много усилий для того, чтобы подавить во мне склонность к развлечениям, им удалось при помощи своего рода страстной, монашеской набожности приучить меня к такому послушанию, что я испытывал угрызения совести за каждый час, в который предавался какому-нибудь удовольствию без уведомления и разрешения на то моего наставника». (В этом отношении Карлсшуле выгодно отличается от саксонской княжеской школы.) Кёрнер медленно освобождался от предвзятого отношения к искусству: «Я рано научился чувствовать отвращение ко всему посредственному в произведениях искусства. Отсюда недостаточная активность стремления создавать самому». Медленно формировалась его способность оценивать, которая возвысилась до умения восхищаться подлинными художественными творениями. Первое письмо начинается словами: «С невыразимо радостным настроением сажусь я за письмо моему Шиллеру». В конце второго послания читаем: «Обрести покой, оказавшись у цели своих желаний, рядом с Шиллером, — кто знает, чем все это может стать для меня! По крайней мере Шиллер не должен уж слишком возвышаться надо мной, если мы оба будем чувствовать себя хорошо, находясь рядом».

На первое письмо Шиллер сразу же ответил длинным восторженным посланием. Здесь уже чувствуется энтузиазм, который найдет отражение в оде «К радости»: «Кто сберег в житейской выюге дружбу друга своего». Примечательна фраза: «Итак, в путь, в добрый путь, милый странник, решившийся как брат, как верный друг сопровождать меня в моем романтическом путешествии к правде, к славе, к счастью!» (VII, 80), — примечательна, так как Шиллер употребляет здесь слово «романтическое» по отношению к собственному путешествию; примечательно, но не является предметом широкого рассмотрения. В порыве, который можно принять за романтический, поэт заверяет: «Это не экзальтация», и далее: «Благодарите творца за лучший из даров, которым он мог осчастливить вас, — за чудный талант воодушевления» (VII, 80). Кёрнер в своем ответном письме от 14 мая: «То, что в наших письмах стоит «вы», мне неприятно. Мы *братья* по выбору больше, чем могли бы быть по рождению. Я желаю тебе счастья, друг».

Между тем в начале мая Шиллер переселяется в деревню Голис, расположенную в получасе ходьбы от города. Она была любимым местом летнего отдыха, сельским местечком с небольшим дворцом, к которому примыкал парк; состоятельные обитатели Лейпцига имели там собственные дома. Вскоре здесь собирается весь кружок новых

знакомых, сестры Шток и Губер, супруги Альбрехт и Рейнеке. Книготорговец Гёшен проводит день в городе, а вечером отправляется в Голис, где ночует у Шиллера, в летней квартире. По сравнению с ней жильё в Бауэрбахе можно назвать господским, а комнату в Оггерсгейме при скотопрогонном дворе — удобной. Узкий крестьянский дом, к которому, вероятно еще прежде, был пристроен сарай, принадлежал торговцу карпами; помещения в нижнем этаже он сдавал внаем пекарю. Под самой крышей располагались две побеленные известью комнатки; одна из них, служившая спальней, была настолько мала, что посетители, бывавшие там позднее, удивлялись, каким образом помещался в ней Шиллер со своими длинными ногами, и в особенности тогда, когда там бывал еще и Гёшен. Из комнаты открывался довольно живописный вид на рощицу и далее, на простиравшуюся сельскую местность с ее лесочками, липовыми аллеями, с перерезанными речкой Плейсе долинами и возделанными полями, составлявшими скромную прелесть этих мест.

У поэта были особенные привычки. «Шиллер вставал тогда очень рано, уже в 3 или 4 часа, и имел обыкновение гулять на свежем воздухе. При этом я должен был следовать за ним с водой и со стаканом. В 5 или 6 часов Шиллер обычно возвращался домой и делился с жившим в том же доме книгопродавцем Гёшеном своими идеями, нередко становившимися предметом для спора. Во время утренних прогулок Шиллер ничего не записывал, а предавался своим мыслям. Записи он делал уже по возвращении домой. Он выходил на прогулку легко одетым — в шлафроке, с открытой шеей. В эти часы он исхаживал обычно все поля вдоль и поперек. Шиллер был всегда дружелюбен, лицо его было бледно, густо покрыто веснушками, волосы рыжеватые, он был очень высок ростом...» Этим описанием мы обязаны И. К. Шнейдеру, который двенадцатилетним мальчиком был у поэта вроде посыльного. (Так как Шиллер очень рано приобрел популярность, которую сегодня трудно себе представить, свидетельства очевидцев о нем не являются редкостью. Именно в маленьких местечках из чувства местного патриотизма люди, знавшие его лично, специально опрашивались, чтобы восстановить все подробности. Впрочем, домик в Голисе давно бы снесли, если бы его не купило в 1856 году лейпцигское Шиллеровское общество.)

Весна и лето в Голисе — это мечтания, занятия и общение с друзьями на лоне природы. Он продолжает работать над «Дон Карлосом», над очередной книжкой «Талии», первый номер которой вышел в свет еще в Мангейме под названием «Рейнская Талия»; продолжение издания этого журнала было хлопотно, тем более что сбыт его оказался значительно ниже ожидавшегося. Шиллер охотно писал здесь, на лоне природы. Всю жизнь Шиллер вдохновлялся то ночью, которую он создавал искусственно, то при дневном свете под открытым небом. Он облюбовал себе два места для работы: под липой и в беседке во фруктовом саду. Он как будто следовал девизам, которые приказал выбить некий придворный советник и профессор Бёме на камне, установленном на острове, омываемом рекой Плейсе, — «уединенные размышления» и «приятные размышления»; Бёме, стро-

гий ментор студента Гёте, был, можно сказать, открывателем Голиса. После обеда в длинные летние вечера безобиднейшие занятия; игра в карты, кегли, посещение кабачка «Вассершенке», где довольствовались обычным, кисловатым на вкус лейпцигским пивом, но иногда раскошеливались и на знаменитое мерзебургское. Высшим наслаждением в этот летний период с его развлечениями было катание на лодках по Плейсе.

Гёшен в письме к Бертуху в Веймар: «Я прожил полгода в одной комнате с Шиллером, и он внушил мне глубочайшее уважение и дружбу. Своим деликатным поведением и тонким проявлением души в дружеском кругу он представляется большой загадкой по сравнению с творениями его ума. Я не могу передать вам, насколько он мог быть уступчивым и благодарным за любое критическое замечание, как он работает над собой, стремясь к нравственному совершенству, и как сильна в нем склонность к длительной работе мысли». И снова мы встречаемся с удивлением современников, которое вызывала в них добропорядочность этого человека, автора «Разбойников».

Доказательством способности Шиллера вдумчиво и без обиды относиться к острой, даже враждебной критике (какой уверенностью в себе надо для этого обладать!) является случай с Морицем, с которым Шиллер познакомился в это лето; это был тот самый автор, который раскритиковал в «Фоссише цайтунг» его пьесу «Коварство и любовь» (выдержки из нее мы приводили в главе «Драматург»). Как только поэт и рецензент встретились, они тотчас углубились в обстоятельный разговор, и Шиллер по многим пунктам признал справедливость критики Морица, ибо теперь, по прошествии времени, он приобрел более остраненный взгляд на свои юношеские трагедии. Мориц со своей стороны (в автобиографическом романе «Антон Рейзер») признал за «обоими произведениями большие красоты и сам указал места, достойные самого Шекспира, но вскрыл также недостатки и пороки гения в них, которые, несомненно, должны были оказать пагубное влияние на нравственность. Люди, подобные Рейзеру и Шиллеру, могут быстро сойтись, как скоро они выяснят пункты, в которых они расходятся. Приятный ужин благотворно подействовал на обоих, и прекрасная летняя ночь скрепила заключенный здесь союз дружбы».

Наконец наступил день, когда состоялось знакомство Шиллера и Кёрнера. «Дорогой друг, вчерашний день, второе июля, я не забуду до конца жизни», — пишет Шиллер на другой день после встречи. Могучий порыв высокого чувства ощутил он в себе: «Мое сердце размягчилось. То, что открылось мне в великолепной перспективе будущего, была не греза, но философски твердая уверенность». Встреча состоялась в имении Кандорф около Борны, которое принадлежало одному из кузенов Кёрнера. На обратном пути все трое — Шиллер возвращался оттуда вместе с Гёшеном и Губером — завернули в трактир и, выпив там вина, пришли в веселое настроение и тогда только вспомнили вдруг, что у Кёрнера сегодня день рождения. В приподнятом настроении вернувшись в свою «келью» в Голисе, Шиллер написал письмо. В этом письме нашли отражение чувства и мысли, высказанные в разговоре с Кёрнером при первой их встрече. С чувством стыда огля-

дывается Шиллер на свою прошлую жизнь. «Я почувствовал в себе смелый порыв и то (может быть, великое), что природа тщетно хотела учинить со мной» (VII, 83). Он обвиняет в этом себя и тех, кто воспитывал его: «Одна половина была изничтожена дурацким методом моего воспитания и капризом судьбы, но другая, притом большая, мною самим». Эта встреча, дружба с Кёрнером должны решительно все изменить. «...Божественный промысел удивительным образом свел нас друг с другом и дружбой нашей сотворил чудо» (VII, 84). Восторженное письмо, содержащее душевные излияния — жалобу, обвинения, одушевления, но оправданное уже тем, что здесь закладывалась основа дружбы на всю жизнь, которая выдержала все неизбежные испытания. Впрочем, письмо заканчивается некоторыми замечаниями, которые имеют целью помощь со стороны Губера.

Оглядываясь на Мангейм и Штутгарт, он не может удержаться от раздражения. Швану Шиллер написал сразу же; в письме к нему он делится свежими впечатлениями о Лейпциге, а также просит руки его дочери Маргариты, очевидно под влиянием помолвок Кёрнера и Губера. Как известно, Шван хотя и доброжелательно, но решительно заявил о своем несогласии, мотивируя отказ тем, что они не подходят друг к другу (Маргарита об этом позже очень сожалела). Обидное, однако, было в том, что Шван предпринял новое издание «Фиеско», не поставив в известность об этом автора и не выплатив ему гонорара, к тому же заказанные Шиллером экземпляры включил в его счет. Поступок Швана облегчил поэту передачу всех дел в руки Гёшена. Но то, что человек, на которого он мог положиться в жестокие мангеймские времена, проявил по отношению к нему непорядочность, еще сильнее утвердило поэта в его мрачном взгляде на этот «столь фатальный» город. В адрес земли отцов и самих отцов Шиллер редко высказывался столь недвусмысленно и резко, как теперь.

Дружба Кёрнера вызволила его из-под тяжелейшего гнета, постоянной долговой нужды. Уже в марте Гёшен, ободренный и поддержанный Кёрнером, отправил в Мангейм солидный аванс, с помощью которого поэт мог разделаться с самыми досадными долгами. Во время встречи в Кансдорфе Кёрнер почувствовал, что друг чем-то угнетен, и в сердечном письме от 8 июля он пишет: «О денежных делах мы должны полностью договориться... Почему ты мне сразу не написал, сколько тебе нужно? Коль скоро у тебя возникнут малейшие затруднения, то сообщай мне с первой же почтой и называй сумму, я всегда найду возможность тебе помочь». Можем ли мы измерить, что должны были значить для Шиллера эти слова, написанные рукою друга? К тому же Кёрнер выражает свою готовность помочь с удивительным тактом: «Я знаю, что ты в состоянии, коль понадобится, заработать на хлеб, обеспечить себе необходимое. Но позволь мне по меньшей мере на год освободить тебя от необходимости зарабатывать на хлеб». Следствием этого предложения был солидный договор, заключенный между Шиллером, Гёшеном и Кёрнером, а также кредит, который при поручительстве Кёрнера открыл Шиллеру один Лейпцигский банкир. Шиллер писал Кёрнеру 11 июля: «За твое великодушное и благородное предложение я могу только одним отблагодарить тебя — чистосердеч-

но и радостно принять его» (VII, 88).

Первые траты, которые совершил освобожденный от денежных забот поэт, — это две вазы в античном вкусе, которые он подарил Кёрнеру и его Минне на свадьбу. Приложенное к ним послание кажется чересчур приподнятым — и мастера сочинять письма могут сбиваться с толку при торжественных случаях: речь идет о затеянном Зевсом споре о рангах между любовью, добродетелью и дружбой (Карл Евгений поразился бы этому). Свадьбу отпраздновали в Лейпциге. Затем молодая пара отправилась в Дрезден, Шиллер и Губер верхом сопровождали карету до Губертусбурга. На обратном пути Шиллер упал с коня и ушиб правую руку, что лишило его возможности писать. Он не был хорошим наездником, имел неподходящую для этого фигуру и еще в Карлсшуте получил очень плохую оценку за верховую езду.

Ушибленная рука была, видимо, главной причиной того, что ему разонравилось в Голисе. Он занимался тем, что в угоду Рейнеке диктовал новый вариант «Фисеско» с вновь восстановленным трагическим концом. Что еще он должен был здесь делать? Кёрнер с молодой женой в Дрездене, Дора у них, Губер, в надежде на дипломатический пост, тоже там. 6 сентября, напрягая больную руку, Шиллер пишет Кёрнеру: «Мое пребывание в Голисе до сих пор было как у отшельника — грустное и пустое. Даже природа утратила красоту — мрачные, неласковые дни осени словно сговорились между собой после вашего отъезда... Я прохожу мимо мест моих прежних радостей, как приезжий мимо руин Греции, тихий и грустный». И затем более определенно: «Я должен быть с вами — мои дела требуют спокойствия, времени и настроения... Напиши мне, дорогой Кёрнер, с ближайшей почтой, в двух строках: могу ли я приехать».

11 сентября 1785 года рано утром со специальной почтовой каретой вместе с доктором Альбрехтом он выезжает из Лейпцига и около полуночи прибывает в Дрезден.

ДРЕЗДЕН

Шиллер увидел Дрезден примерно таким, каким его нарисовал Каналетто *, — между этими двумя событиями прошло всего четверть столетия. Среди немецких резиденций Дрезден блистал — он был красивее Вены, значительнее Мюнхена, несравненно роскошнее Берлина. Конечно, лучшие времена были давно позади, когда здесь появился Шиллер, — впрочем, и когда город рисовал Каналетто. Август Сильный не был ни образцом добродетелей, ни сколько-нибудь значительной фигурой в борьбе держав, но в своей страсти созидателя, покровителя изящных искусств, мануфактур он представлял собой явление, порожденное эпохой барокко, равных которому не было среди государей за пределами Франции. В период правления Августа Сильного (1694—1733) и его сына Августа II (1733—1763) Дрезден достиг расцвета, это был «век Августов». Оба являлись курфюрстами Саксонии и одновременно королями Польши; так как они редко бывали в Варшаве, то весь королевский блеск приходился на долю Дрездена. Все это

окончилось со смертью Августа II, но уже до этого многое было здесь обезображено пруссаками, которые в начале Семилетней войны штурмовали этот город, грабили и хозяйничали в нем на протяжении многих лет; Гёте, посетивший однажды Дрезден, будучи еще студентом Лейпцигского университета, был опечален зрелищем многих разрушенных и опустелых улиц: «Моренштрассе, лежавшая в развалинах, так же как Крейцкирхе с ее треснувшей колокольней, глубоко врезались мне в память и навсегда темным пятном остались в моем воображении»¹.

Эти раны уже зарубцевались ко времени приезда Шиллера, но в целом город являл собой далеко не тот вид, который он имел в самые блестящие времена этой резиденции. И тем не менее никогда Шиллеру еще не доводилось жить в таком большом и прекрасном городе. Несмотря на упадок, который он пережил, Дрезден насчитывал тогда около 60 000 жителей; больше, чем Франкфурт-на-Майне, вдвое больше, чем Лейпциг, много больше, чем Мангейм или Штутгарт, не говоря уже о Йене и Веймаре. Дрезден являл собой собрание выдающихся творений искусства, там была одна из самых значительных в мире коллекций картин. На редкость удивительно то, что Шиллер почти не освоил этот прекрасный город, в котором он прожил почти два года. С одной стороны, это можно объяснить тем, что воспитанные в духе эстетики Винкельмана оставались равнодушны к красоте барокко. В лице последующих поколений, «детей и внуков», великие зодчие барокко нашли не слишком больших почитателей своего искусства. Генрих фон Клейст, посетивший Дрезден в 1800 году, холодно отметил: «В Цвингере много роскоши, но мало вкуса». Спустя год он писал о «прекрасной долине Эльбы», она «простиралась под нами как картина Клода Лоррена — пейзаж, казавшийся мне вытканым на ковре», — при этом он говорил об общем впечатлении. Шиллер живет в Дрездене, погруженный в мир своих мыслей и в кругу своих друзей. Кажется, что для него, обладающего тонким чутьем на все изысканное, курфюрстский двор вообще не существует. Только во время зимнего карнавала он ощутил горячее дыхание мира барокко.

Но он был восприимчив к красотам природы. 13 сентября он пишет Губеру: «Дорога сюда была и в самом деле очень приятной, жаль только, что вечер и ночь застigli нас как раз подле красивых мест. Когда промеж двух гор внезапно, и для меня впервые, открылась Эльба, я громко вскрикнул. О дорогой мой друг, как мне все это было интересно. Эльба сообщает романтический характер всей окрестной природе, а из-за удивительного сходства этих мест с краем моего поэтического детства они становятся мне в три раза дороже. Мейсен, Дрезден и его предместья так похожи на мою родину!» (VIII, 126). Мы снова встречаем слово «романтический». Примечательно, что ландшафты вокруг Эльбы напоминают ему родную долину Неккара. В том же письме он называет «райской» долину Эльбы вокруг Дрездена. Это его тронуло. Но сам великолепный город оставил его равнодушным.

¹ Гёте И. В. Собр. соч., М., «Художественная литература», 1976, т. 3, с. 273.

О жителях Дрездена спустя два года после отъезда он отозвался с большой антипатией: «...а дрезденцы совершенно плоский, съезжившийся, несносный народец, возле которого никому не может быть хорошо. Они влачатся в атмосфере корыстных побуждений, и свободного, благородного человека совсем не видно за голодным гражданином, если этот последний когда-либо и был иным» (VII, 187, из письма Лотте и Каролине Ленгефельд от 4 декабря 1788 года). Примечательно, что Зейме, который сам был саксонцем, немногим позже высказался точно так же. («Прогулка в Сиракузы», 1802 год): «Здесь (в Дрездене) столько мрачных, несчастных, озверелых физиономий, каждые пять минут перед тобой возникает тип с таким выражением на лице, будто его подвергли публичному наказанию либо он сам готов учинить что-нибудь в этом роде... Многие мелкие чиновники с виду какие-то служители при дворе или в коллегиях, из тех, что тянут свою ляжку и со злостью и руганью набрасываются на всякого, кто наступит им на хвост». Эти два высказывания заставляют задуматься над тем, не искажают ли резиденции характер своих жителей.

В полдень 12 сентября 1785 года полил такой сильный дождь, что Шиллер вынужден был послать за портшезом, в котором его доставили из гостиницы «Золотой ангел» в дом Кёрнера на Коленмаркт. Велика была радость свидания, в прекрасном настроении все садятся за стол. К вечеру едут в Лошвиц на виноградник Кёрнера. Шиллер описывает подробности: «Виноградник расположен в часе езды от города и довольно обширен; земли там вполне достаточно, чтобы подвигнуть изобретательный Кёрнеров ум на всевозможные выдумки. У подножия горы стоит дом куда более вместительный, чем дом Энднера в Голисе. При доме прелестный маленький сад и наверху, в винограднике, изящная беседка. Вид, открывающийся оттуда на закат, должен быть совершенно восхитителен. Кругом, куда ни глянь, виноградники, сельские домики и поместья». В том же письме Губеру: «Эту ночь я впервые провел под одной крышей вместе с нашими милыми друзьями. Минна — очаровательная хозяйка. Вчера вечером они торжественно проводили меня в отведенную мне комнату, где все уже было заботливо приготовлено. А нынче, как только проснулся, услышал сверху звуки клавесина. Можешь ли представить себе, сколь живительно это на меня подействовало».

За завтраком Шиллер в порыве восторга так чокнулся с хозяйкой, что разбил свой бокал. Друзья сделали из этого жертвоприношение богам, а чтобы акт посвящения не осквернялся повторениями, решили в будущем пить вино только из серебряных кубков. Эти осенние недели были посвящены работе над «Дон Карлосом». Насколько хорошо был настроен Шиллер, показывает случай, вызвавший поначалу досаду. Мы цитируем все стихотворение, ибо едва ли где-нибудь еще Шиллер так прелестно отобразил в стихах свои будни:

¹ Верноподданнейшее про memoга в консисторский совет кёрнеровской женской прачечной депутации в Лошвице, переданное убитым горем автором трагедий, подано в нашем жалком убежище недалеко от подвала

Прошение

Мой дар иссяк, в мозгу свинец,
И докурилась трубка.
Желудок пуст. О мой творец!
Как вдохновенье хрупко!
Перо скребет и на листе
Кроит стихи без чувства.
Где взять в сердечной пустоте
Священный жар искусства?
Как высечь мерзнущей рукой
Стих из огня и света?
О Феб, ты враг стряпни такой, приди, согрей поэта!
За дверью стирка. В сотый раз
Кухарка заворчала.
А я — меня зовет Пегас
К садам Эскуриала.
В Мадрид, мой конь! — и вот Мадрид.
О смелых дум свобода!
Дворец Филиппа мне открыт,
Я спешил у входа.
Иду и вижу: там, вдали,
Моей мечты создание,
Спешит принцесса Эболи
На тайное свиданье.
Спешит в объятия принца пасть,
Блаженство предвкушая.
В ее глазах — восторг и страсть,
В его — печаль немая.
Уже триумф пьянит ее,
Уже он ей в угоду...
О дьявол! Мокрое белье
Вдруг шлепается в воду!
И нет блистательного сна,
И скрыла тьма принцессу.
Мой бог! Пусть пишет сатана
Во время стирки пьесу!

*Ф. Шиллер, домашний и хозяйственный поэт (I, 152—153).
(Перевод В. Левика.)*

Стихотворение по случаю, милое, спонтанное, моментальный снимок. Высокое чувство, охватившее Шиллера в эту осень 1785 года, вылилось в другом стихотворении, которое можно рассматривать как первое из его великих поэтических творений, — в оде «К радости»: «Радость — пламя неземное». Шиллеру было почти 26 лет, когда он написал эти строфы. Ему полностью было отказано в том, что даруется немногим, Мёрике например: при воплощении мечты уверенность, которая позволяет молодому человеку находить стихи совершенной красоты. Гений Шиллера пробивается к свету с громадным напряжением и великолепно проявляется в «Разбойниках». А его юношеские стихи? Словно бурей подгоняемая фантазия, с трудом обузданная рифмами и размером; кое-что могло бы казаться в них смешным или отталкивающим, если бы они не свидетельствовали о захватывающей силе языка. Также и в стихах зрелых лет редко можно почувствовать нечто идущее от дара, позволяющего легко срывать цветы недостижимого. Только изредка он находит простой мотив народной песни: «В долине у бедных пастухов». Редко укрощенная сила воплоща-

ется с гениальной простотой в дифирамбе «Никогда, поверь, боги никогда не появляются одни».

К радости

Радость, пламя неземное,
Райский дух, слетевший к нам,
Опьяненные тобою,
Мы вошли в твой светлый храм.
Ты сближаешь без усилия
Всех разрозненных враждой,
Там, где ты раскинешь крылья,
Люди — братья меж собой.

Хор

Обнимитесь, миллионы!
Слейтесь в радости одной!
Там, над звездною страной, —
Бог, в любовь пресуществленный.

Кто сберег в житейской выюге
Дружбу друга своего,
Верен был своей подруге, —
Влейся в наше торжество!
Кто презрел в земной юдоли
Теплоту душевных уз,
Тот в слезах, по доброй воле
Пусть покинет наш союз!

Хор

Все, что в мире обитает,
Вечной дружбе присягай!
Путь ее — в надзвездный край,
Где Неведомый витает.

Мать-природа все живое
Соком радости поит.
Все — и доброе и злое —
К ней влечение таит.
Нам дает лозу и счастье
И друзей в предсмертный миг,
Малой твари — сладострастье,
Херувиму — божий лик....

Хор

Ниц простерлись вы в смиренье?
Мир! Ты видишь божество?
Выше звезд ищи его;
В небесах его селенья.

Радость двигает колеса
Вечных мировых часов,
Свет рождает из хаоса,
Плод рождает из цветов.
С мировым круговоротом
Состязаясь в быстроте,
Видит солнца в звездочетам
Недоступной высоте.

Хор

Как миры без колебаний
Путь свершают круговой,
Братья, в путь идите свой,
Как герой на поле брани.

С ней мудрец читает сферы,
Пишет правды письмена,
На крутых высотах веры
Страстотерпца ждет она.
Там парят ее знамена
Средь сияющих светил,
Здесь стоит она склоненной
У разверзшихся могил.

Хор

Выше огненных созвездий,
Братья, есть блаженный мир.
Претерпи, кто слаб и сир, —
Там награда и возмездье!

Не нужны богам рыдания!
Будем равны им в одном:
К общей чаше ликования
Всех скорбящих созовем.
Прочь и распри, и угрозы!
Не считай врагу обид!
Пусть его не душат слезы
И печаль не тяготит.

Хор

В пламя, книга долговая!
Мир и радость — путь из тьмы.
Братья, как судили мы,
Судит бог в надзвездном крае.

Радость льется по бокалам.
Золотая кровь лозы,
Дарит кротость каннибалам,
Робким — силу в час грозы.
Братья, встаньте, пусть, играя,
Брызжет пена выше звезд!
Выше, чаша круговая!
Духу света этот тост!

Хор

Вознесем ему хваленья
С хором ангелов и звезд.
Духу света этот тост!
Ввысь, в надзвездные селенья!

Стойкость в муке нестерпимой,
Помощь тем, кто угнетен,

Сила клятвы нерушимой —
Вот священный наш закон!
Гордость пред лицом тирана
(Пусть то жизни стоит нам),
Смерть служителям обмана,
Слава праведным делам!

Хор

Братья, в тесный круг сомкнитесь
И над чашею с вином
Слово соблюдать во всем
Звездным судьей клянитесь!

(I, 149—152. *Перевод И. Миримского.*)

Этот гимн занимает свое место в биографии Шиллера, является ее частью. Он — выражение вновь обретенной радости жизни — или, может быть, впервые так почувствованной радости жизни? Освобождение от жестокого гнета и мучительной нужды, спокойствие души в кругу близких друзей; отражение философских разговоров с лучшим другом Кёрнером. Этот гимн, мощный и прекрасный сам по себе, на крыльях бетховенской музыки облетел всю землю и не перестает звучать до сих пор. Каждую новогоднюю ночь эфир наполнен ею *.

Летом 1785 года Рейнвальд снова ездил в Вюртемберг, где наконец состоялась его помолвка с Христофиной. Получив уведомление об этом, Шиллер пишет сестре очень продуманное, серьезное письмо с налетом досады: «Поскольку твое решение касательно Рейнвальда было мне сообщено чисто исторически, после того как ваша помолвка уже состоялась...» — написано сухо, с едва ощутимой теплотой затаенной грусти и со стремлением к справедливости по отношению ко всем. Он говорит о настойчивости друга, скромном улучшении его положения. «Ты его знаешь, следовательно, ты готова ко всему, что неизбежно настанет, и, конечно, сумеешь справиться с тем, что не будет для тебя неожиданностью. Он оценит жертву, которую ты ему принесла...» Эти трезвые слова написаны перед тем, как он дает свое формальное братское благословение. Он настоятельно просит сестру показать жениху свои письма с предостережениями (а также письма госпожи фон Кальб): «Они напомнят ему о его обязанностях в отношении тебя». И далее: «Я никогда не переставал быть ему другом, скажи это и ему, и нашему отцу. Недоразумения между нами всегда были только следствием его ипохондрии и моей чувствительности. От того, что он стал мне зятем, я не могу любить его больше, чем когда он был мне только другом. Я теперь по обязанности делаю то, что тогда делал добровольно» (VII, 90). Разумно, честно и открыто.

В конце октября друзья покидают виноградник и снова живут в городе. Губер и Шиллер поселяются в одной комнате и ведут совместное холостяцкое хозяйство. Оно не доставляет особых хлопот, ибо совсем рядом богатый, благоустроенный дом Кёрнера; деятельная Минна заботится также и о том, чтобы в их комнате время от времени устраивали уборку, к неудовольствию поэта. В совместной жизни двух

друзей Шиллер выступал в роли наставника, а Губер — в роли восторженного подопечного, при этом Шиллер, конечно, по-мужски предостерегал младшего от увлечений, но сам легко становился их жертвой. Большая часть усилий со стороны Шиллера и Кёрнера, направленных на то, чтобы вывести Губера на осмысленную жизненную дорогу, оказалась напрасной. Губер прожил недолгую (умер раньше Шиллера), бесполойную жизнь, так и не достигнув хоть сколько-нибудь значительных успехов в литературе; он всегда с благодарностью оценивал встречу с Шиллером как вершину своей жизни.

Кёрнер был главенствующей фигурой и серьезной поддержкой для Шиллера в эти два года пребывания его в Дрездене и остался его другом на всю жизнь; последнее письмо Шиллера к нему написано 25 апреля 1805 года, за две недели до смерти. «Когда Шиллер в 1785 году по приглашению своих юных покровителей приехал в Лейпциг, в лице Кёрнера, бывшего на три года старше его, он нашел друга, который превосходил его по части образования, вкуса и искренности в светской жизни». С этим отзывом Бергхана нужно согласиться — во всяком случае, что касается вкуса и светского опыта. Воспитанию и образованию Кёрнера также мешали внешнее принуждение и внутреннее беспокойство — в этом он откровенно признался новому другу. Но он был свободен от мучительного бремени гениальности, оставался в основе своей гармонической натурой; был принят в обществе благодаря происхождению и состоянию; он был старше поэта на три года, что в этом возрасте имеет известное значение. Начало их отношений друг с другом было слегка подернуто дымкой сентиментальности и восторженности. Разными путями создавалась эта нерушимая дружба: в повседневном домашнем, деловом и духовном общении.

Дружеский кружок, центр которого составляли «пятеро счастливых», был довольно узок. В него входили художник Графф, сделавший портрет Шиллера, супружеская пара Альбрехтов. Несмотря на изрядную удаленность, к нему причастны были несколько жителей Лейпцига, Гёшен, продавец фаянса Кунце с супругой. Немногие письма Шиллера к фрау Кунце отличаются особо любезным тоном: «Извините, любезнейшая, что снова докучаю вам письмом. Это назойливый человек, скажете вы наверное, своими письмами он не дает покоя. Разве я не знаю, что он мне нравится, очень нравится? В чем же еще хочет заверить меня этот дурак своими пространными посланиями...» Это из письма Шиллера фрау Кунце, которое написано им после нескольких месяцев молчания.

Одно замечание в письме супругам Кунце от 7 декабря 1785 года: «Сейчас я ужасно занят, если считать занятием то, что я должен много сделать». Действительно, этот период был не особенно плодотворным и наводит на мысль о том, что поэт, измученный заботами и истерзанный волнениями, задумывал и осуществлял грандиозные планы в относительно спокойный период, которым он обязан помощи Кёрнера.

На исходе осени и зимой Гёшену отправляются пакеты с рукописями — материал, предназначенный для «Талии»; журнал выходит в

свет в феврале 1786 года. Все материалы написаны самим Шиллером, и лишь частично изменены даты — по ним можно проследить особенности развития автора. Едва ли не странным представляется то, что такое грубое, уже упоминавшееся стихотворение, как «Свобода страсти», которое, вероятно, имеет отношение к капитанше Фишер, опубликовано снова и в этом сборнике; оно не становится скромнее от того, что в примечании к нему, предназначенном для цензуры — конечно же, в Саксонии была цензура, — указывается, что речь идет об отчаянии вымышленного любовника...

К ранним стихам можно, пожалуй, отнести также фантазию «Resignation» («Резиньяция»), печальную жалобу о потерянной молодости:

И я, и я в Аркадии родился,
И мне на утре дней
Цветущий мир в блаженстве поручился;
И я, и я в Аркадии родился,
Но был печален миг весны моей.

(Перевод А. Кочеткова)

Воспоминание о годах, проведенных на родине, представляет собой «Преступник из-за потерянной чести. Истинное происшествие». Эта новелла непосредственно связана с детскими впечатлениями Абея от разбойника Зонненвирта, который известен в истории под этим именем. Она начинается словами: «Во всей истории существования человека нет главы более поучительной для сердца и ума, чем летопись его заблуждений» (III, 495). Это высказывание можно отнести также к «Разбойникам» и «Коварству и любви». О новом периоде жизни Шиллера возвестила ода «К радости», помещенная в начале журнала. Будущий историк проявляется в трех материалах, относящихся ко времени Филиппа II. Одна статья о Филиппе II, принадлежащая Мерсье, переведена Шиллером; стихотворение «Непобедимая армада», написанное Шиллером в январе 1786 года под впечатлением текста Мерсье: «Плывет, плывет — и грузно пенит волны...», и, наконец, три первых явления из II акта «Дон Карлоса», с большой сценой, где участвуют отец и сын.

«С каждым днем мне все дороже становится *история*. На этой неделе я читал книгу по истории Тридцатилетней войны, и голова моя все еще не остыла от этого чтения. Подумать только, что эпоха величайших национальных бедствий была одновременно блистательнейшей эпохой человеческой силы! Сколько великих людей породил этот мрак! Мне бы хотелось лет десять кряду не изучать ничего, кроме истории. Кажется, я стал бы совсем другим человеком. Как ты думаешь, удастся ли мне наверстать упущенное?» (Письмо от 15 апреля 1786 года Кёрнеру, VII, 95—96). Обращение к истории является результатом пребывания в Дрездене. Первоначальный интерес к ней проявляется уже в «Фиеско». В начале 1782 года в штутгартской библиотеке он штудировал исторические труды. Прежде всего это были французские историки; например, кардинал де Рец *, «Подробное историко-политическое сообщение о республике Генуе» Хэберлина *, «История правления императора Карла V» Робертсона *

в 6-ти томах, французское издание которой, вышедшее в Амстердаме, он, вероятно, прочитал. Для историка труды, написанные на французском языке, представляют трудность, но тем больше они привлекают. Особое место занимает величественная фигура короля Карла V, стоящая у истоков занятий историей Шиллера, она отбрасывает тень на «Фиеско», а также на «Дон Карлоса». Позднее Шиллер блестящим образом охарактеризовал свое отношение к нидерландцам в начале «Истории отпадения соединенных Нидерландов от испанского владычества», хотя автор решительно выступает на стороне протестантов. Важнейшие исторические работы Шиллера в собственном смысле и в драматической интерпретации охватывают столетие между 1550 и 1650 годами: «История отпадения соединенных Нидерландов от испанского владычества», «История Тридцатилетней войны», «Дон Карлос», «Мария Стюарт», «Валленштейн». «Это были времена, богатые драматическими событиями. Мы находили там сцены, достойные описания, людей, с которых можно было писать портреты, проекты и заговоры, великие взаимосвязи, требующие раскрытия, — ничего подобного ни до, ни после история не знала» (Голо Манн, «Шиллер как историк»)*. То, что Шиллер в большинстве случаев сочувствовал испытаниям, выпавшим на долю протестантов в борьбе против сил контрреформации, могло быть следствием его вюртембергского происхождения.

Ровно через год после приезда к друзьям Шиллер испытывает состояние уныния, чуть ли не пресыщения жизнью. Причиной тому было, очевидно, отсутствие Кёрнера с женой и Губера. Еще не освободившись от тоскливого настроения, он пишет Кёрнеру 20 апреля: «И что мне, бедному рифмоплету, от всей прелести погоды? И именно сейчас, когда я должен наслаждаться ею один, а потому вовсе не наслаждаюсь? Все здесь живет и творит, радуется, любит, спаривается, а я — я остаюсь безутешен». Спустя одиннадцать дней он пишет Губеру: «Сейчас я почти бездеятелен. Почему — мне трудно сказать. Мое сердце сжалось, огни моей фантазии погасли. Я должен пережить кризис. Так и природа умирает, чтобы возродиться вновь. Возможно, что ты меня не поймешь, но я уже себя понимаю. Я мог бы устать от жизни, если бы стоило тратить силы на то, чтобы умереть».

Вероятно, не случайно ему начали грезиться лица, связанные с его прошлой жизнью. Шиллер пишет Рейнвальду, дружески извиняется за свою лень писать, переходит с «вы» на «ты»: «Черт возьми, разве мы не родственники или не будем ими? То-то же». В другом письме он приглашает его сотрудничать в «Галии». Из Мангейма приезжает Шван с обеими дочерьми. Собственно говоря, в отношении Шиллера со Шваном пролегла трещина: Шван позволил себе грубое своеволие, выпустив новое издание «Фиеско» без выплаты поэту гонорара, он наотрез отказал ему, когда тот просил руки его дочери Маргариты. Тем не менее он счел для себя возможным нанести визит поэту. Он был уверен: то, что он сделал для поэта, перевешивает все произошедшее после недоразумения; кроме того, он испытывал, по-видимому, некоторое любопытство. Шиллер

встретил гостей с распростертыми объятиями.

Из воспоминаний младшей дочери Швана, Луизы: «Из Лейпцига мы написали Шиллеру, что приедем в Дрезден, и как только в Мейсене мы подъехали к почте, кого мы увидели у ворот? Шиллера, в сюртуке мышинного цвета со стальными пуговицами. Он все еще стоит у меня перед глазами. Это было большой радостью; он сопровождал нас потом, когда мы осматривали замок и фабрику фарфора. Потом мы все вместе отправились в Дрезден, Шиллер верхом на лошади. Там у моего отца было много знакомых; Шиллер водил нас к Кёрнерам, Штокам и капельмейстеру Науману; он пригласил нас на концерт, где пел Кёрнер со своей Минной. Вместе мы посетили знаменитого художника Граффа *. Незаконченный портрет Шиллера стоял на мольберте». Луиза упоминает здесь среди прочих и актрису Альбрехт, «тоже любовь» Шиллера, как она остроумно предположила и прямодушно высказалась. Швана тотчас усадили позировать, а Шиллер с сестрами пошел гулять к Брюльским террасам. «Шиллер был так сердечен, совсем как сын и брат».

Предположение Луизы Шван относительно мадам Альбрехт вызывает сомнение, когда читаешь отзыв актрисы о внешнем виде Шиллера: «Обычная одежда Шиллера состояла тогда из поношенного серого сюртука, и принадлежности его туалета по качеству материала и по тому, как они выглядели на нем, ни в коей мере не соответствовали даже самым скромным требованиям эстетического вкуса. Вместе с этими недостатками туалета его лишенная привлекательности внешность и частое употребление нюхательного табака производили неблагоприятное впечатление, которое еще более усиливалось его привычкой опускать низко голову в то время, когда он погружался в раздумья. Только на его прекрасном лбу и во вдохновенном взоре отражались следы великих, возвышенных мыслей, которые он именно тогда, по большей части ночью, переносил в рукопись своего «Дон Карлоса».

Как бы ни заботился Шиллер о своей внешности, он никогда в этом не преуспел. В июле у Кёрнеров родился первый ребенок, Шиллер должен быть крестным отцом. Это ставит его в затруднительное положение, и он обращается к Кунце с просьбой о солидном займе, так как «расходы, связанные с сим обстоятельством, должны превысить сумму, которой я располагаю; кроме того, мне надобно заказать такой костюм, к которому я мог бы носить шпагу». Ребенок прожил только полгода.

На север Германии, в Саксонию — туда вынужден был устремиться поэт, чтобы найти действенную помощь. Во время кризиса, обусловленного меньше внешними, а больше духовными причинами, который он пережил в Дрездене, ободрение и признание снова пришло с севера. Если отвлечься от кружка его товарищей по Карлсшутле в его родной Швабии и знакомств в Мангейме, то самый большой резонанс Шиллер находит на севере (причем могли играть роль религиозные предпосылки) — в Северной Германии, в Дании, которая тогда была тесно связана с немецкой культурой*. Его воздействие на юге, в Баварии, Австрии, длительное время было

незначительным, при этом император Иосиф II являл собой любопытное исключение. Правда, в последние годы своей жизни Шиллер видел, как его слава распространилась по всем землям, где говорили на немецком языке.

А теперь в Дрездене он получает из Берлина хвалебное стихотворение от простой женщины по фамилии Каршин, которая писала незамысловатые стихи на берлинском диалекте, но пользовавшиеся, однако, популярностью; она дружила с Глеймом и Рамлером.

О Шиллер, ты, Шекспиру равный,
Хоть в царство теней он сошел;
Моора Карла образ славный
Макбета даже превзошел.
Семь раз «Разбойников» смотрела
Я и рыдала всякий раз...

(Перевод А. Гугнина.)

К стихотворению было приложено письмо, которое свидетельствовало о хорошем понимании театрального искусства. Оно заканчивалось словами: «Однако приезжайте сами в Берлин, приезжайте, прежде чем старый лодочник отплывет со своей старой, шестидесятирехлетней «любительницей аплодировать». А. Л. Каршин». В Гамбурге большой интерес к поэту проявил Фридрих Людвиг Шрёдер, который начинал воздушным прыгуном, а затем сделался крупной фигурой в тогдашней театральной жизни; он поднял на высоту начатое Экгофом и Лессингом «естественное направление», он породнил Шекспира с немецкой сценой. Шиллер устремился навстречу Шрёдеру, с тем чтобы предложить «Дон Карлоса» и все последующие пьесы — опометчиво и без учета интересов Гёшена. Шрёдер приглашает Шиллера в Гамбург. Но поездка не состоялась, и Шиллер не увидел Гамбурга, впрочем, так же, как и никакой другой морской порт. Выражаясь фигурально, протянутый конец каната упал в воду.

Рождество 1786 года Шиллер встречает с Губером за стаканом пунша и с рождественским кексом, присланным из Лейпцига супругами Кёрнер. Из письма Шиллера Кёрнеру, написанного несколько дней спустя: «С одной стороны, меня удручает, что всю радость своей жизни я поставил в зависимость от вас и сам по себе даже в течение одного месяца не умею чувствовать себя счастливым. Господи боже мой, что же это будет дальше! Однообразие нашей недавней жизни начинает делаться мне необходимым... Впрочем, вы позволите мне отчасти взвалить вину и на тот жалкий суррогат, который вы мне оставили в Дрездене... Для жизни и работы вы стали мне необходимы. Я мало что или ничего собой не представляю. Для Губера я ничего не значу, а он для меня — весьма немного. Праздники совсем выбили меня из колеи. Уж так повелось, что на рождество все должны гулять и веселиться. Развлечения в такие дни — своего рода труд и обязательство». Это два экивока в адрес Губера и примечательное рассуждение о праздничных днях. В письме, окрашенном в темные тона, выражено опасение, что Шиллер может

потерять дружбу Кёрнера. «Вы так много значили для меня, а я для вас еще так мало — даже меньше того, что мог бы значить... Черный ангел моей ипохондрии, вероятно, преследовал вас и в Лейпциге. Простите же меня за это». Затем он сообщает о своей работе над «Дон Карлосом». «Хочешь узнать, как далеко я продвинулся в моей работе? Сцена маркиза и королевы уже в разгаре, впрочем, ты ее знаешь. Теперь все становится очень интересным, но я боюсь, как бы результат моих трудов не оказался ниже, намного ниже моего замысла и значительности ситуации». И далее: «В золе нет-нет да мелькнет искорка, вот и все» (VII, 98—99).

Такие письма являются моментальными снимками состояния души. Не следует считать их безусловным отражением чувств. Спустя две недели настроение меняется. Шиллер вместе с Губером жил в доме Кёрнеров во время их отсутствия: «Для меня будет непривычным снова уезжать из вашего дома. Я постепенно так сроднился с ним и с твоей комнатой, в которой, будь сказано к твоему вящему стыду, прекрасно работается». Менее доволен он кроватью Кёрнера: «Вообще я для кровати слишком велик или она для меня слишком мала, ибо одна из моих конечностей проводит ночь на весу».

Гениальные люди несут через всю жизнь более тяжкое бремя, чем те, которые принадлежат к здоровой посредственности или как их там называют. Шиллер в этом отношении не был исключением. Но что делало его жизнь трудной, а порою и мучительной, так это прежде всего внешнее принуждение, которое он испытал в юности, и физические недуги в более поздние годы. Среди гениальных людей только немногим удавалось сохранять душевное равновесие, как он. «Черный ангел моей ипохондрии», очевидно, парил временами и над ним, но эта хищная птица снова исчезала, не садилась ему на голову, не долбила клювом его мозг. Шиллер обладал даром общения с людьми, прекрасным талантом дружбы. Великим любящим он, видимо, никогда не был. Но в отличие от родственных умов, таких, к примеру, как Жан Жак Руссо, его идеальная любовь к человечеству не контрастировала с холодностью в живом общении с людьми. И всегда в его письмах и дошедших до нас воспоминаниях сверкает согревающий юмор.

Дружба Шиллера с Кёрнером выдержала все испытания. Глубокое дружеское расположение и радостное настроение поэта воплотились в драматической шутке «Предобеденное время Кёрнера», которую Шиллер написал к 31-й годовщине со дня рождения друга, пришедшейся на 2 июля 1787 года. Вещь немного напоминает сегодняшнему зрителю, если он это читал, утренний прием у супруги маршала в «Кавалере роз» *, только она более тесно и совершенно конкретно связана с семейной жизнью Кёрнера и теми, кто у него бывал. Шиллер сам исполняет в пьесе одну роль; он с удивлением замечает, сколь незначительны успехи друга, и выслушивает нотацию от Минны: «И снова он там задерживает моего мужа. Разве не видит он, что ему нужно в консисторию? Шут!» Но в пьесе много и других сцен; например, приходит знакомый, предлагающий новое музыкальное сочинение, соседка, желающая продать молодое вино, сапожник,

которому надо снять мерку для новых сапог, наконец кандидат теологии приносит господину советнику консистории диссертацию — все эти роли Шиллер исполнил сам. А в промежутках между ними — другие сцены: друзья дома, кто-то приходит занять денег, затем является настройщик фортепьяно, потом Дора просит деньги на хозяйственные расходы — так проходит предобеденное время Кёрнера, — ничего не написано, в консисторию он не идет. Это пример шиллеровского юмора и сердечного согласия друзей, которое в прошлую зиму подверглось новому испытанию на прочность.

Во всей Саксонии только дрезденский карнавал представлял интерес, так как здесь была резиденция католического двора (Август Сильный перешел в католическую веру из-за польской короны). Во вторую зиму своего пребывания в Дрездене Минне Кёрнер захотелось принять участие в маскараде, о котором в лютеранском Лейпциге она еще в юности слышала сказочные вещи. Будучи сыном суперинтенданта и сам советник консистории, Кёрнер колебался. Но Шиллер и Губер, а особенно Дора, были согласны принять участие в празднике. И вот все пятеро бросились в карнавальный вихор.

Минна вспоминает: «Среди оглушительного шума и суеты собравшихся здесь людей разных национальностей и стран, от шутовской распущенности у меня стало тревожно на душе, я не отпускала руку моего мужа, Губер был с Дорой, а Шиллер оказался предоставленным самому себе и счастливому случаю; через несколько часов мы с Кёрнером и сестрой покинули бал-маскарад и вернулись домой. Шиллер и Губер еще оставались там, и от последнего я узнала, что друг Шиллер очень нескромно воспользовался свободой поведения масок и завел не слишком лестное знакомство».

Шиллер — мы очень хотели бы знать, в каком costume он был, — по всей видимости, в эту ночь не испытывал скуки. Позднее, уже при веймарском дворе, он принимал участие в подобных празднествах как внимательный наблюдатель и изложил свои соображения о двойственной роли носящих маски. Здесь, в свои двадцать шесть лет, оказавшись в переливающимся всеми красками призрачном мире, заранее обреченный на одиночество в своем маленьком кружке, он искал приключений и нашел в своем роде одно из них. Госпожа фон Арним была, можно сказать, «гвардейская дама» среди придворных особ, искушенная во всех придворных интригах и имевшая кое-какой опыт в делах сводничества. Она присутствовала на бале-маскараде, свободно чувствовала себя в суতোке и умело направляла своих красивых дочерей. Поэт попал в поле ее зрения. Она подслала к нему девятнадцатилетнюю дочь Генриетту. Это была черноволосая красавица, одетая цыганкой, по ладони она предсказывала кавалерам их будущее. И вот она склонилась над рукой Шиллера — словно пылающий факел прикоснулся к снопу сухой соломы. Всю ночь он не отстает от нее ни на шаг и последующие недели и месяцы томится любовным чувством.

«Гвардейская дама» отметила это со сдержанным удовольствием. Поэт был достаточно известен, чтобы стать украшением ее дома,

который он теперь настойчиво посещал каждый вечер. Но дама решила для себя, что он не должен переходить дозволенных границ, ибо его кошелек был не слишком туго набит, хотя он и приносил подарки, которые явно не соответствовали его средствам. Еврейского банкира и графа Вальдштейна-Дукса не должен смущать рыжеволосый литератор, домогающийся Генриетты (итак, один господин из рода Валленштейнов вражески пересек дорогу будущему автору «Валленштейна»). Опытная рука госпожи Генриетты все направляет в нужное русло: свет в окне (в каком — они условились заранее) для Шиллера значил: «Стоп! Генриетта занята семейными делами, а для соперников: "Entrez!"¹.

Бедный Шиллер! (Но также и бедная Генриетта!) Из воспоминаний Минны: «Каждый вечер теперь Шиллер отсутствует за нашим чайным столом; я сразу догадалась, где он проводит свои вечера, и сказала ему прямо в лицо... поскольку мне было известно легкомыслие матери и ее дочерей, то мною было сделано немало предостережений; это оказалось напрасным. Наш друг безрассудно и опрометчиво влюбился; тогда я представила доказательства, что он не единственный, кому оказывается предпочтение в этом доме, но и это не могло его отвлечь...» И в самом деле, Шиллер не мог быть совершенно уверенным в своей возлюбленной, а в кругу друзей и вовсе не слышал ничего другого, кроме предостережений и напоминаний об этом. Даже Губер, который слишком был занят самим собой, и тот возвысил свой голос: «Как имя твоего великого гения? Я хочу позвать его сюда, так как уже настало время, чтобы спасти Карлоса от падения. Встряхнись, черт побери! Верни себе былую силу».

Настойчивые советы друзей, но прежде всего неопределенность и двойственность в поведении Генриетты привели к тому, что чувство Шиллера — пожалуй, никогда еще он не был так сильно влюблен, как теперь, — стало ослабевать. Потомство должно более снисходительно отнестись к Генриетте фон Арним, чем Минна Кёрнер. Девушка подчинялась воле своей властной матери, ставшей циничной от долгого пребывания при дворе, так что дочь ее, хотя и не лишенная способности чувствовать, не могла принимать никаких самостоятельных решений.

Существуют письма Генриетты Шиллеру, которые заставляют изумляться. «Если я хочу для себя хорошего настроения на весь (день), то (я) должна сразу же, ранним утром писать вам и сказать, что я всегда и беспрестанно думаю о вас, занимаюсь только вами. Мысль о вас — единственное, что для меня важно; все другое, если бы даже оно касалось блага государства, для меня второстепенно; когда я думаю, как изменилась я в эти три месяца, которые знаю вас...» Это письмо любящей женщины, которая, несмотря на свою молодость, уже поклялась не проявлять чувства ни к какому другому мужчине, — сознавал ли поэт, насколько близок он был здесь к среде, которую бичевал в «Коварстве и любви»? Фрейлейн заканчивает свое письмо насмешливым замечанием в адрес одного из протеже сво-

¹ Входите! (франц.).

ей матери, того, что из рода Валленштейнов: «Недавно мне помешали, пришел толстый граф В. Почтенный господин мне уже скоро надоест, он лишил меня стольких прекрасных мгновений, особенно в последний вторник...»

Этой весной порвалась нить, внутренне связывавшая их какое-то время. «Вам лестно пробуждать чувства, на которые вы не отвечаете» — эти слова Шиллер написал ей и тем обидел ее. Она ответила: «Я боюсь, что эта мысль была более уместна в моем письме вам, чем в вашем мне». Удивительное, умное письмо пишет Генриетта фон Арним Шиллеру 5 мая: «Должна ли именно я быть возвышенным существом, чтобы заслужить вашу любовь? Не есть ли то ваша заслуга, что я хочу любить вас превыше всего? Но это, думаете вы, нетрудно, а вот быть любимой вами — это уже, конечно, что-то значит. Я хотела бы стать на некоторое время легкомысленным и пустым существом, за которое вы меня принимаете, — я была бы, вероятно, спокойнее. Тогда я не любила бы вас и была бы менее несчастлива, чем теперь». И в конце: «Живите счастливо и спокойнее, чем я, но пожалейте по крайней мере меня — нет-нет, ради бога, не жалейте». Позднее Генриетта вышла замуж и, став графиней Кунгейм, жила в имении Кошене в Восточной Пруссии. Когда умер ее муж, она вышла замуж за его дядю. Овдовев вторично, она вернулась в Дрезден. Она и в старости всегда помнила, что ее когда-то любил Шиллер.

Для четы Кёрнеров влюбленность Шиллера стала предметом серьезной заботы, они видели в ней не что иное, как опасное заблуждение, и придумывали все возможное, чтобы направить его мысли в другое русло. В апреле Кёрнер сумел убедить друга в необходимости переменить обстановку, что должно было пойти ему на пользу, а Тарандт — прекрасное место; он сразу же снял ему комнату в гостинице «Олень». Тарандт расположен южнее Дрездена, в нескольких часах пути от него, между скал и покрытых лесом холмов, в долине, которую пересекает бурный поток Вейстрица. Спустя тринадцать лет здесь побывал один немецкий поэт, который был в восторге от этих мест: «Там, на полоске долины, между скалами и рекой висит дом, тесный и простой, словно как для мудреца сироты. Нижняя скала обеспечивает местечку устойчивое положение, свисающие ветви дают ему тень, волны Вейстрица сообщают прохладу... В очаровательной долине Тарандта я был неописуемо счастлив» (Генрих фон Клейст в письме от 4 сентября 1800 года к Вильгельмине фон Ценге). Шиллер не проникнулся очарованием. 22 апреля 1787 года он пишет: «Сегодня был первый сносный день из шести, которые я здесь провел. Я бродил по горам в направлении Дрездена, ибо там наверху уже сухо. Моцион был крайне необходим мне, так как эти дни, проведенные в комнате, да еще питье пива, которому я предался с горя, вызвали у меня какую-то дурацкую историю с животом, никогда прежде не бывалую.

При столь скверной погоде в городе я мог бы двигаться больше, там уже нашлись бы места для прогулок, здесь же кругом болото, а когда я, моциона ради, прыгаю у себя в комнате, дом дрожит и

хозяин в испуге осведомляется, что я изволю приказать» (VII, 100).

Впрочем, Шиллер и здесь встретился с Генриеттой фон Арним, но граф Вальдштейн помешал влюбленным в этом романтическом месте. Серьезные письма шли из Тарандта в Дрезден и обратно. Во время пребывания Шиллера в этом местечке произошел разрыв отношений между любящими. Когда Шиллер в конце мая вернулся в Дрезден, эта глава его жизни была завершена.

Завершилась история с прекрасной фрейлейн фон Арним, но подошло к концу и пребывание поэта в Дрездене — одно могло быть связано с другим. О «пяти счастливых» уже не могло быть и речи. Но несмотря на увлечение, дружба между Шиллером и Кёрнером окрепла, а отношения с кёрнеровскими дамами остались дружескими; приправленные насмешкой, они не пострадали в момент обострения. Свидетельством спасенной во время кризиса дружбы стал подарок Шиллера ко дню рождения — стихотворение «Предобеденное время Кёрнера».

Но игривое настроение не может завуалировать желание Шиллера уехать из Дрездена. Его работа в течение двух лет не была особенно успешной. Вышло три номера «Талии»: в феврале 1786 года, весной того же года и в январе 1787 года; так как 1 номером считалась «Рейнская Талия», то вышли номера 2, 3, 4. О разнообразном содержании 2 номера уже говорилось. Номер 3 содержит дальнейшие сцены из «Дон Карлоса», «Философские письма». В большинстве своем старые, относящиеся к «академическому времени» работы. В 4 номере — новые отрывки из «Дон Карлоса», а также «Духовидец» — собственно, фрагмент романа из жизни людей сомнительной чести, мракобесов и шарлатанов, которые в период перехода от рококо к Просвещению занимались своим делом. Калиостро мог быть моделью для фигуры армянина, главного героя этого произведения, которое начинается очень интересно и заканчивается выдуманными письмами. Важнейшим результатом дрезденских лет было продолжение, шлифовка и завершение «Дон Карлоса», первые сцены из которого были набросаны в бауэрбахской садовой беседке. Эта драма является вехой на пути театрального драматурга Шиллера, отмеченной огнем его юношеских произведений и явственными чертами более позднего «классика». В экзальтированных, но великолепных сценах, где выступает отец и сын, вспыхивают зарницы его собственных переживаний:

...мне двадцать третий год,
А что успел я сделать для бессмертья?

Такие слова вкладывает в уста Карлоса Шиллер, и в них он сам — Карлос. Ему уже исполнилось двадцать шесть. В конце июня выходит «Дом Карлос, инфант Испанский» в стихах, изданный Гёшеном (неправильное написание Шиллером слово "Dom", по-португальски, вместо испанского "Don" попало в печать). Поэт долгое время сомневался, годится ли его пьеса для сцены, — видимо, опыт с «Фиес-

ко» сыграл свою роль. Он считал, что сделанный им в Голисе прозаический вариант более подходит для театра. Теперь он предлагает их оба руководителям театров: Шрёдеру в Гамбурге и Коху в Риге. Пьесой заинтересовались также Дёбелин в Берлине и Гроссман в Ганновере. Стрелка компаса показывает на север. В Риге в то время театральное искусство достигло расцвета благодаря усилиям Зигфрида Готхельда Коха, образованного режиссера, сторонника Шекспира; там же успешно выступил Христ, которому мы обязаны живыми зарисовками о жизни тогдашних актеров.

Шрёдер ухватился за пьесу обеими руками. Он установил гонорар в 21 луидор и всерьез попытался уговорить Шиллера переехать в Гамбург: «Вы свободны? Можете поменять Дрезден на Гамбург? На каких условиях?» Умно, со знанием дела он подчеркивает, что условия в его театре во многом отличаются от мангеймских... Шиллер дал согласие на поездку в Гамбург ко времени проведения осенней ярмарки.

Гамбург — далекая, но видимая цель. Однако ближе, так сказать по пути в Гамбург, находится Веймар. Здесь можно было бы наконец познакомиться с Виландом, драматургическим взглядом которого Шиллер был многим обязан; он был вообще главенствующей фигурой в литературной Германии (литературным папой римским? Конечно, нет! Скорее литературным аббатом — обязательным, мягким, хорошо осведомленным). В Веймаре живет Шарлотта фон Кальб, любящая и почти любимая. И разве случайно, что Шиллер с опустошенным сердцем, после разрыва с Генриеттой, снова стремится к ней? Она пригласила его. И случайно ли, что незадолго до отъезда в Веймар он внимательнее ознакомился с трудами Гёте? Шиллер попросил Гёшену прислать ему «Вертера», «Гёца» и «Ифигению».

19 июля Шиллер вместе с Кёрнером и супругами Кунце совершает прощальную прогулку по лесу вблизи Лошвица. На следующее утро он выезжает в Веймар, а затем, видимо, в Гамбург; но сначала в Лейпциг, к Гёшену.

ЗНАКОМСТВО С ВЕЙМАРОМ

Еще немного — и Шиллер мог бы встретить по пути в Веймар, в Наумбурге на почте при смене лошадей, господина, которого он любил называть, после того как был удостоен титула советника, «мой герцог» — Карла Августа, герцога Саксонии-Веймара, ехавшего в Потсдам. Но он опоздал. 21 июля Шиллер прибывает в Веймар. Герцог в отъезде. Гёте все еще в Италии. Другие из «веймарских богов и идолопоклонников» (так выразился Шиллер в своем первом письме Кёрнеру) также отсутствуют: Боден, Бертух, Рейнгольд...

Веймар, одна из двадцати саксонско-тюрингенских резиденций; полусельский городок рядом со скромным двором насчитывает шесть тысяч душ, он кажется маленьким и бедным даже по сравнению с такими средними резиденциями, как Мангейм или Штутгарт. К тому же дворец, сильно пострадавший от пожара, все еще не восстановлен. Молодая герцогская пара жила в Фюрстенгаузе под одной

крышей с некоторыми придворными чиновниками и казной; Карл Август, тогда тридцатилетний мужчина, и супруга Луиза, его сверстница, урожденная принцесса Гессен-Дармштадта, — оба здоровые, крепкие натуры, но не гармоничная пара. В Виттумском дворце жила герцогиня-вдова, мать Карла Августа; ей было под пятьдесят, когда здесь появился Шиллер. Виттумский дворец, расположенный в центре города, около театра, и «Фюрстенхаус», расположенный среди зелени, представляли собой скромные строения и ни в какое сравнение не шли с дворцами барочных резиденций. Зеленая долина реки Ильм, протекавшей по восточной окраине города, оживляла общую картину. Небольшие сельские дворцы вокруг — Бельведер, Эттерсбург, Тифурт — при всей своей скромности имели приятный, приветливый вид и благодаря Гёте стали широко известны.

Вступление Шиллера в этот маленький мир, который однажды должен был стать и его миром, несравненно запечатлено в письмах к Кёрнеру. Они одновременно являются свидетельством его самосознания и обострившейся способности делать выводы; «ничего более умного, более ясного, более беспристрастного нельзя прочесть», как было сказано однажды Е. Кюнеманом. Зрелым, просвещенным, внутренне собранным вступает Шиллер в новую жизнь. К тому же у начала ее стоит, конечно, женщина, которая наполняет жизнью его прошлое: это Шарлотта фон Кальб. Шиллер в письме Кёрнеру отмечает: «Наше первое свидание после разлуки было таким волнующим, так ошеломило нас, что мне кажется немыслимым вам его описать. Шарлотта ничуть не изменилась... Странно мне было, что в первый же час нашего свидания я чувствовал себя так, словно только вчера расстался с нею. Таким родным мне все было в ней, так быстро связались вновь все разорванные нити общения». И далее: «Шарлотта — большая, своеобразная женская душа...» (VII, 107—108).

В это летнее время в городе были Виланд и Гердер, с которыми все-таки Шиллер познакомился. «Итак, я посетил Виланда, к которому пробрался через целую толпу прелестных ребятешек мал мала меньше. Наша первая встреча походила на возобновившееся знакомство. Одно мгновение решило все. Мы начнем не спеша, сказал Виланд, надо иметь время, чтобы стать чем-то друг для друга. В эту первую встречу он предначертал весь ход наших будущих отношений. Он считает удачей, что мы только теперь нашли друг друга... Его внешность меня удивила. Мне не пришло бы в голову искать в этом лице того, что он собой представляет, но оно очень скрашивается в мгновения, когда проглядывает его душа, когда он говорит с одушевлением. А он очень скоро одушевился, стал оживленным и пылким. Я чувствовал, что ему хочется понравиться мне, и знал, что сам ему не неприятен... Он с удовольствием сам к себе прислушивается, говорит пространно, иногда до педантичности обстоятельно, так же как пишет, речь у него не плавная, но выражения определенные. Он наговорил, в общем, много заурядного, и, слушая его, можно было бы соскучиться, если бы меня не интересовала его личность; и все же он занимал меня весьма приятно. Что же касается наших отношений, то я не могу быть недовольным ими» (VII, 109—110).

Виланд родился в местности Биберах, шваб, как и Шиллер, но с другим произношением; вырос в столичных условиях, почти что земляк, в ту пору ему было 54 года. В обществе пользовался значительным авторитетом как воспитатель принца. Как литератор был известен, даже знаменит своими модными романами и поэтическими произведениями, овеянными иронией и фривольностью; к тому же он был издателем очень влиятельного литературного журнала «Тойчер Меркур» (с 1773 года). У него была умная голова и посредственный характер: часто был боязлив, иногда мужествен; он ни с кем не враждовал, был со всеми любезен, но ни с кем не сходилась близко; обладал прекрасным качеством: за чужим гением, даже если он ему и не нравился, Виланд наблюдал и признавал его.

Когда Шиллер появился в Веймаре, Гердеру было около сорока пяти лет. Виланд, хотя и не выезжал дальше Швейцарии, был светским человеком благодаря своему глубокому образованию и обширной переписке. Гердер родился в восточнопрусском городке Морунгене, жил в трудных условиях, затем учился в Кёнигсберге у Канта (не став его последователем), был проповедником в Риге, оттуда отправился в длительное морское плавание, которое великолепно описал, и далее во Францию; был проповедником и воспитателем принцев при маленьких северогерманских дворах в Бюккебурге и Эутине; затем Страсбург, где он встретился с Гёте, который впоследствии содействовал его устройству в Веймаре в должности суперинтенданта. Даже в кратком жизнеописании нельзя не упомянуть о том, что Гердер страдал глазной болезнью, которая преследовала его всю жизнь. Он видел мир как бы сквозь пелену, но его душа познала многообразие народов и культур, своеобразие их языков; в этом он превосходил многих. «Сейчас вернулся от Гердера... Он мне пришелся очень по душе. Речь его исполнена ума, огня и силы, но чувства его — это либо ненависть, либо любовь. Гёте он любит страстно. Это своего рода обожествление. Мы страшно много о нем говорили...» У Шиллера сложилось впечатление, что он его не читал и имеет о нем смутное представление. Но о конфликте его с Карлом Евгением он что-то слышал: «Он ненавидит его как тирана». Для Шиллера важнее всего было теперь установить более тесную связь с этим влиятельным человеком — «в его присутствии чувствуешь себя хорошо. Кажется, я ему понравился, так как он много раз повторял, что хотел бы почаще со мною встречаться» (VII, 111).

Вскоре, 12 августа, Шиллер пишет Кёрнеру; привожу выдержку из письма, которое является свидетельством о Гердере, о Шиллере, о духе времени: «В прошлое воскресенье впервые слышал проповедь Гердера на евангельский текст о праведном домоправителе, разъяренный им очень умно и тонко: ты же знаешь двусмысленность этой притчи. Вся проповедь походила на разговор с самим собой, плавный, общепринятый, естественный, — не столько речь, сколько разумная беседа. Выдержка из практической философии, примененная к тому или иному случаю из гражданской жизни, — поучения, в равной мере уместные и в мечети, и в христианском храме. Манера говорить так же проста, как и содержание; никакой жестикуляции, никакой игры

голосовыми средствами; во всем серьезность, выразительность. Он, несомненно, исполнен сознания своего достоинства. Уверенность, что таково и всеобщее мнение, придает ему бодрости, непринужденности; это вполне очевидно. Он чувствует себя сильнейшим умом, окруженным лишь подчиненными существами. Гердерова проповедь понравилась мне больше всех, которые мне доводилось слышать, но должен тебе откровенно признаться: мне вообще никакая проповедь не нравится. Публика, к которой обращается проповедник, слишком пестра и разнородна для того, чтобы манера проповедника могла всем прийтись по вкусу, а он не может наподобие писателя игнорировать менее подготовленную ее часть. Итак, что же получается? Либо он твердит в уши разумному человеку прописные истины и мистические идеи, так как принужден жертвовать им для неразумного, либо ему остается скандализовать и сбивать с толку второго, для того чтобы заинтересовать первого. Проповедь существует для простого людина. Если развитой человек высказывается за проповедь, значит, он глупец, фантаст или ханжа. Впрочем, при чтении моего письма это место можешь пропустить. Церковь была битком набита, и у проповеди имелось одно большое преимущество — она длилась недолго» (VII, 125—126).

Шиллер не пробыв в Веймаре и недели, как уже получает приглашения, которые дают ему возможность побывать при дворе. В маленькой резиденции было два месторасположения двора: одно у правящего герцога и другое — у вдовствующей герцогини Анны Амалии. В первом — летнее затишье, и Шиллера приглашают к Анне Амалии вместе с Виландом, который уже много лет является незаменимой фигурой при дворе. Анна Амалия, в ту пору ей было уже под пятьдесят, племянница Фридриха Великого, не улучшила своего положения, выйдя в семнадцать лет замуж и переехав из Брауншвейга в Веймар. В том, что Веймар, несмотря на внешнюю неприязнительность, переживал подъем, была заслуга и этой маленькой, но энергичной женщины. «Она невелика ростом, хорошо выглядит, у нее одухотворенное лицо, брауншвейгский нос, прелестные руки и ноги, легкая и в то же время величественная походка, говорит она прекрасно, но быстро, в ней много приятного и привлекательного» — такой рисует ее один из современников. Гёте назвал ее «загачным существом» и позднее в разговоре с Эккерманом охарактеризовал ее как «государыню до мозга костей, при этом исполненную человеческих чувств и склонную к радостям жизни»¹.

Итак, 17 июня эта дама принимает Шиллера в Тифурте, в своей летней резиденции. Перед встречей произошел странный обмен ролями — не новичок был смущен, а герцогиня. Виланд «стремился внушить мне терпимое к ней отношение, так как знал, что она будет смущена». Но все идет гладко. «Мы провели там два часа за чаем и болтали всякую ерунду». Это был маленький кружок: возле герцогини камергер фон Эйнзидель * и придворная дама Луиза фон Гехгаузен,

¹ Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М., «Художественная литература», 1981, с. 150.

скрюченное создание, но остроумное; итак, пятеро, и нет необходимости в пустой болтовне. После чая герцогиня гуляет с Шиллером в парке, показывает ему достопримечательности, а Шиллер старательно развлекает ее. На следующий день он снова приглашен на концерт и ужин. С самого начала он имеет успех. Но о сиятельной даме сам он отзывается весьма холодно; из письма к Кёрнеру: «Сама она меня отнюдь не покорила. Мне не нравится ее лицо. Она чрезвычайно ограничена, ее интересует одно лишь чувственное, и этим объясняется вкус к музыке и живописи, которым она обладает или думает, что обладает... Она малоразговорчива, и хорошо в ней то, что она не настаивает на строгом соблюдении этикета...» И затем столь же скромно, сколько и гордо: «Я сам не знаю, откуда взялись у меня самоуверенность, чинность, которые я здесь выказал» (VII, 115).

В соответствии с существовавшим тогда пониманием свободы поведения при этом дворе к отношениям между Шиллером и фрау фон Кальб относились с тактом и уважением. Дело доходит до того, что их приглашают вместе: «Здесь очень внимательны к таким мелочам, и даже сами герцогини не скупятся на подобные знаки благоволения». Несмотря на это, отношения между Шиллером и Шарлоттой сложны. В течение месяцев связь была настолько тесной, что неизбежно встал вопрос, к чему она приведет. Шарлотта надеется на развод с нелюбимым мужем и на совместную жизнь с поэтом. Шиллер согласен на «брак втроем», что в те времена не являлось редкостью, но, по сути, он стремится прочь от этой женщины, которой многим обязан, но не может ответить на ее страсть. В этих отношениях с совершенно равнодушным супругом и нерешительным возлюбленным мечтательная женщина играет жалкую роль. От гибели ее спасает понимание своего несчастья. Она не впадает в отчаяние, когда Шиллер зимой примыкает к другому кругу, она погружается в привычный мрак, отзывается на любое дружественное чувство и другие движения души.

Веймарское общество, несмотря на наличие великих умов, было ограничено и своеобразно, но не нетерпимо; каждый мог переживать свой роман и быть счастливым на свой лад. После восьми месяцев пребывания в Веймаре Шиллер пишет Кёрнеру: «Я начинаю чувствовать себя вполне сносно, и способ, которым я этого добиваюсь — ты удивишься, как я раньше не додумался до этого, — способ этот: никем не интересоваться, конечно, я мог бы об этом подумать в первые же недели моего пребывания, ибо, куда бы ни посмотрел, все поступают одинаково. Многие семейства уподобились улиткам, которые едва вылезают из своей раковины, чтобы погреться на солнце. В этом смысле Веймар представляет собой рай. Каждый может погрузиться в свои частные дела, не привлекая к себе внимание. Спокойное, еле приметное герцогское правление позволяет жить мирно и наслаждаться воздухом и солнцем. Если кто хочет к чему-то пристроиться, куда-либо проникнуть, блистать, тот найдет, конечно, подходящих для себя людей. Поначалу я все представлял себе слишком значительным и весомым; себя считал очень маленьким человеком, а всех окружающих — крупными людьми...» Теперь он живет размеренно: две прогулки в день, дважды видится с Шарлоттой, посещает Боден *, Бертуху, Фойгта; по

понедельникам ходит в клуб. «В остальное время нахожусь дома и работаю».

Наблюдения Шиллера над жизнью общества в Веймаре подтвердил Боден, который еще два года назад писал: «Частное лицо в Веймаре живет в большинстве случаев бедно. Официанты герцога получают жалованье еще по-старому, когда роскошь была умеренней и запросы скромнее. Все семьи должны были себя во всем ограничивать, дабы не наделать долгов. Дружеские встречи, званые обеды и ужины были делом непривычным; поэтому люди стали чужды друг другу, старательно не отступали от этикета в отношениях друг с другом, с тем чтобы не сблизиться». Так жили Гёте (у которого не было недостатка в деньгах), Виланд, Гердер: каждый для себя в своей «улиточной скорлупе». Боден разрушил в доме графини Бернштаф один за другим три авторитета. Он был, видимо, весьма своеобразным человеком. Софи Беккер писала о нем: «У этого человека крепкое, почти колоссальное тело в сочетании с тонким умом, практическим знанием света, веселым нравом и честным, открытым сердцем». У него была несокрушимая натура, ибо великан похоронил трех жен и десятерых детей. Он был ревностным масоном, всесторонне образованным человеком, незаменимым деятелем любительского театра, но прежде всего известным переводчиком с английского: ему принадлежат переводы «Истории Тома Джонса, найденыша» Филдинга и «Сентиментального путешествия» Стерна.

Вообще основательное знание иностранных языков было интересной особенностью веймарской «республики ученых». Виланд перевел произведения Шекспира. Бертух, который занимал различные общественные должности и параллельно руководил на филантропических началах фабрикой искусственных цветов, перевел с испанского языка «Дон Кихота» и произведения с французского.

Гердер вообще открыл немцам выход к мировой литературе; в этом отношении он оказал сильное влияние на Гёте. «На этих днях пребывал я и в саду Гёте... Дух Гёте преобразил всех людей, принадлежащих к его кругу. Высокомерное философическое презрение ко всякого рода умозрению и исследованию, доведенная уже до аффектации приверженность к природе и благоговение перед своими пятью чувствами, короче говоря, некоторая ребячливая наивность разума отличают и его, и его здешнюю секту. Они предпочитают собирать травы и заниматься минералогией, нежели путаться в пустопорожних мыслях. Идея сама по себе, может быть, вполне здравая и полезная, но ведь и ее можно довести до крайности...» (VII, 127). И далее в том же письме от 12 августа: «Имя Гёте... множеством людей (и помимо Гердера) произносится со своего рода молитвенным благоговением, как человек он вызывает еще больше любви и восторга, чем как писатель. Гердер признает за ним *ясный*, универсальный ум, правдивость, искренность чувства, величайшую чистоту сердца!.. Во всем он любит свет и ясность...» Таким он видит образ Гёте, зеркально отраженный со всех сторон. Шиллер упоминает одну скучную прогулку, совершенную им в знатной компании, во время которой он обратил внимание только на одну женщину, Шарлотту фон Штайн; ей было тогда 45 лет. Поэт отмечает: «Я понимаю,

что Гёте так безоглядно привязался к ней. Красива она, видимо, никогда не была, но лицо у нее какое-то мягко-серьезное и необычайно открытое» (VII, 129).

Среди многих знакомств, которые завел здесь Шиллер, — а это были люди, в той или иной степени близкие Гёте, — заслуживает упоминания встреча поэта с одним человеком, ставшим впоследствии тестем Гёте. Им был Вульпиус, известный тогда благодаря роману о разбойниках «Ринальдо Ринальдини», шедевру тривиальной литературы. Эту встречу Шиллер описывает в письме к Кёрнеру, и его следует процитировать не из-за значительности фигуры Вульпиуса, а из-за мастерского воспроизведения комической ситуации: «Стук в дверь. «Войдите».

И вот входит маленький тщедушный человек в белом фраке и зелено-желтой жилетке, сутулый и изрядно сгорбленный.

«Кажется, я имею счастье, — произносит человек, — видеть перед собой г-на советника Шиллера?»

«Да. Это я».

«Я услышал, что вы находитесь здесь, и не мог побороть в себе желания увидеть человека, пьесу которого «Дон Карлос» я только что смотрел».

«Ваш покорный слуга. С кем имею честь?»

«Я не имею счастья быть вам знакомым. Мое имя Вульпиус».

«Весьма признателен за внимание, сожалею лишь, что я зван в один дом. И как раз (к счастью, я был одет) собирался уходить».

«Прошу покорно извинить меня. Весьма рад был повидать вас».

С этими словами человек откланялся, и я продолжаю письмо» (VII, 112—113).

В конце августа Шиллер неделю проводит в Йене. Дорога туда кажется ему пустынной и малопривлекательной, но он обращает внимание на более живописный ландшафт, когда подъезжает к Йене: «Йена выглядит, или кажется, солиднее Веймара; более длинные улицы и высокие дома свидетельствуют, что ты как-никак находишься в городе». Шиллер наносит визит зятю Виланда Рейнгольду, профессору философии. Его супруга, урожденная Виланд, очень нравится гостю. «Совершенно неспорченное существо», — пишет он и добавляет: «...никогда еще мне не было так привольно в чужом доме». И далее: «Совсем счастливым я не могу быть нигде, ты это знаешь, ибо настоящее нигде не позволяет мне позабыть о будущем. Шесть дней в Йене я пробездельничал. Уже это одно должно было отравить мне чистую радость» (VII, 132).

Рейнгольд был кантианцем (Кёрнер, которому адресуется письмо, — также). Не все в нем понравилось Шиллеру; он признается: «Мы прямо противоположные натуры. У него холодный, ясный и глубокий ум, которого у меня нет и который я не умею ценить, но фантазия у него убогая, бедная, а дух ограниченнее моего» (VII, 133). Ум, дух, фантазия — кажется странным, что Шиллер отказывает себе в «холодном, ясном и глубоком уме», биограф не может с ним полностью согласиться.

Шиллер знакомится еще с некоторыми немцами: профессором Шютцем, издателем газеты «Альгеймайне литературцайтунг» *, Готлибом Гуфеландом — «в тиши размышляющим умом», кузеном врача, который ссужает большую часть денег для издания газеты. В последний вечер, на котором присутствует госпожа фон Кальб, он знакомится с тайным церковным советником Грисбахом, от которого он услышал интересные высказывания об университете. «Я уехал из Йены в отличном расположении духа и поклялся себе, что видел ее не в последний раз» (VII, 133), — пишет Шиллер.

Шесть дней безделья отравили ему чистую радость... Они оторвали его от «Истории отпадения Нидерландов». Над ней Шиллер трудится с пламенной страстью, не обращая внимания на недомогание. Это первая из его исторических работ. Она так и не была завершена, однако представляет собой новаторское произведение. Все увидено крупным планом и перенесено на бумагу отточенным языком. Какие мастерские портреты он создает! Вот что пишет он об Антоне Перено, младшем из Гранвеллов: «В этом человеке удивительным образом сочетались разнообразные свойства: проницательный, многосторонний ум, редкая легкость в ведении больших и сложных дел, обширнейшая ученость, а рядом с этим упорное прилежание и неистощимое терпение, самый предприимчивый дух и машиноподобная аккуратность. Дни и ночи этот трезвый, не знающий сна человек мог проводить за государственными делами; он обдумывал одинаково добросовестно и тщательно и важное и пустяки. Нередко на него работали разом пять секретарей на пяти языках; сам он, как утверждали, говорил на семи. Все медленно выработанное испытующим умом принимало в его устах силу и привлекательность, и истина, опираясь на могучий дар красноречия, неудержимо увлекала всякого слушателя. Его преданность была неподкупна, потому что душа его не знала никаких страстей, которые ставят человека в зависимость от других. С удивительной проницательностью вникал он в душу своего господина, и часто один взгляд раскрывал для него весь ход мыслей короля, подобно тому как отбрасываемая тень указывает на приближающийся предмет. С большим искусством оказывал он помощь ленивому уму, придавал бесформенному намеку вид законченной мысли, а затем великодушно предоставлял повелительно славу изобретения. Гранвелла понимал трудное и столь полезное искусство отступать в тень самому и отдавать свой гений другому. Так он властвовал, скрывая свою власть, — только так можно было властвовать над Филиппом II» (IV, 114).

Фрагменты «Истории отпадения Нидерландов» — это плод ежедневного труда в Веймаре, где при сведенном до минимума общении у него оставалось достаточно времени для прогулок, во время которых он обдумывал материал, а также для интенсивной работы. Шиллер поселился вначале в гостинице «Наследный принц», затем переехал на квартиру, которую ранее занимала госпожа фон Кальб; она состояла из двух комнат и кладовой, он обзавелся также слугой, который «в случае необходимости мог писать». Таким образом, жилось ему вполне хорошо. Он поддерживает отношения с госпожой фон Кальб, благодаря ей он усвоил светские манеры, стал увереннее держаться в обществе. В

этом отношении Шарлотта показала себя необычайно умной женщиной; удивительно, как она сумела воспитать в нем умение с достоинством держаться при дворе, так, что это не вызывало к нему неприязни.

Несмотря на отсутствие Гёте, в Веймаре не забыли отпраздновать его 38-летнюю годовщину. Кнебель — одна из незаменимых веймарских фигур, старый уже человек, бывший воспитатель принца, эстет, автор дневника, один из действительно близких друзей Гёте. Он был устройтеlem праздника в его саду. Шиллер вспоминает: «Мы наелись до отвала, и я пил рейнвейн за здоровье Гёте. Вряд ли он в Италии мог предположить, что я нахожусь среди гостей в его доме, но судьба причудливо плетет свою нить» (VII, 138). После ужина все увидели, что сад иллюминирован, а затем вспыхнул фейерверк. В жизни здешнего общества известную роль играет «клуб», созданный на английский манер, но по-веймарски простой. Мужчины встречаются в нем, дискутируют, развлекаются. Гердер не появляется, ибо «здесь играют в карты, едят и курят табак». Шиллер тоже с неудовольствием отозвался «о здешних пустых кавалерах», но сам довольно охотно проводит время в клубе. Осенью было образовано общество, собиравшееся по средам, для недворян; как ни удивительно, но могли присутствовать дамы; затем возник, по инициативе Шиллера, клуб холостяков. Они собирались по пятницам. Шиллер играет в вист. Карточная игра в течение всей его жизни была приятным развлечением.

Письма Шиллера к Кёрнеру являются важнейшим источником сведений о его жизни этого веймарского периода. Вместе с тем обращают на себя внимание письма, адресованные Губеру в сентябре и октябре. В отношениях с Губером в последние дни пребывания его в Дрездене образовалась трещина. Теперь, издали, эти разногласия уже не кажутся существенными. «У меня на душе бесконечно много такого, о чем я тебе никак не могу писать. Здесь у меня много знакомых, среди них действительно хорошие люди, но ни одного друга, которого бы я мог любить». Знакомых он называет по порядку: Бертух, широкий жизненный размах которого импонирует Шиллеру; Боде, колосс, с юмором и умом, — этот ему не совсем симпатичен (возможно, потому, что Боде слишком метко характеризует окружающих); придворный медик Уфеланд. Гердер сильно его притягивает, вот если бы только он смог «преодолеть себя, чтобы стать его другом». Шиллер быстро распознал слишком податливый характер Виланда, но справедливо оценил его суждения по вопросам литературы. Итог, подведенный им в письме к Губеру от 6 октября: «Я здесь полностью изолирован». И просьба: «Никому не давай читать это письмо». Эти письменные высказывания несколько похожи на исповедь, но в них есть что-то и от сиюминутного настроения.

Возможно, тон этих писем был бы более радостным, если бы его отношение к Шарлотте фон Кальб не осложнялось многими проблемами. Любовник надеется на прибытие ее супруга; он заботится о дружественных чувствах к нему. Из других веймарских дам в кружке его личных знакомых — Корона Шрётер, певица и актриса. Ее красота уже отцвела, когда она встретила с Шиллером, но она не утратила вели-

колепного голоса и высокого сценического искусства. Поэт и певица почувствовали симпатию друг к другу.

Авансы саксонских друзей помогли ликвидировать давние штутгартские долги, а также некоторые более поздние; но он оставался еще должен Генриетте фон Вольцоген. Вскоре после своего приезда в Веймар он сообщает ей: «Теперь мы стали ближе друг к другу на несколько десятков миль» — и собирается приехать в Бауэрбах в конце сентября. В этом письме слишком перемешаны сердечная благодарность, смущение из-за неуплаченных долгов, уверения в готовности погасить их. «Ни время, ни судьба не могут изгладить из моей души сладкое воспоминание о вашей доброте, вашем сердечном благожелательстве». И: «Верьте мне, дорогая Вольцоген (мы еще серьезно поговорим об этом), верьте мне, что все многочисленные препятствия, которые в эти три-четыре года возникали на моем пути, когда я не мог оплатить долги, многие часы моей жизни превращали в часы мучений...»

Конечно, Шиллер не приехал в Бауэрбах к назначенному времени, и почти удивительно, что спустя два месяца он все-таки собрался в дорогу. В Мейнингене он посетил Рейнвальдов, своего зятя и сестру. Дружеские послания сгладили напряженность, которая возникла из-за его первоначально резкого противодействия их союзу. Теперь, казалось, ничто не препятствовало возможности, так сказать, радостного свидания. Но, видимо, оно было не столь уж радостным, ибо Шиллер, который всегда охотно делился, и прежде всего с Кёрнером, своими впечатлениями, переживаниями и мыслями, совершенно умолчал о своем визите к Рейнвальдам.

Не в самом приятном настроении Шиллер приезжает в Бауэрбах: это было 25 ноября, то есть почти ровно через пять лет после той зимней ночи, когда он беглецом прибыл сюда под эту спасительную крышу. Две недели проводит он снова в старом гнезде. Здесь сын Генриетты Вильгельм, дочь Шарлотта и ее жених, господин фон Лилиенштерн. Приятное свидание, радость, никакой скуки. Шиллер читает вслух сцены из «Дон Карлоса», первые сцены им были набросаны еще здесь. Вместе с Вильгельмом он совершает поездку верхом в Мейнинген, посещает там театр. С визитами объезжает все окрестные помещичьи имения. Разговор о литературе с Рейнвальдом. В Мейнингене его представляют правящему герцогу (следует напомнить, что «его герцогом» в Веймаре он еще не был принят). Вильгельма он приглашает съездить вместе с ним в Веймар. Были ли разговоры о долгах, об их постепенном погашении, о процентах? Конечно. В марте будущего года вступит в силу план погашения задолженности... Так проходит две недели. В письме к Кёрнеру от 8 декабря 1787 года он сообщает: «Итак, я снова был в тех краях, где прожил затворником с 82 по 83 год. Тогда я еще не знал жизни; я, замирая, стоял у ее порога, и моя фантазия работала неудержимо. Теперь, через пять лет, я приехал не без некоторого опыта касательно людей, житейских обстоятельств и себя самого. Те чары словно ветром сдуло. Я ничего не чувствовал. Ни один из тех уголков, что некогда скрашивали мое одиночество, ничего не говорил моему сердцу. Все это утратило общий со мною язык» (VII, 144).

Ранним утром 5 декабря Шиллер и Вильгельм Вольцоген верхом на лошадях отправились в горы Тюрингенского леса, пересекли их и к вечеру оказались в местечке Ильменау. На следующий день снова в седле до Рудольштадта, куда прибыли уже под вечер, здесь живут кузины Вильгельма — сестры Ленгефельд. Старшая из них так описывает их появление на улице Рудольштадта: «Они были закутаны в плащи; мы узнали нашего двоюродного брата, который шутки ради наполовину закрыл свое лицо; другой всадник был нам незнаком и возбудил наше любопытство. Вскоре все прояснилось: двоюродный брат приехал навесить нас и попросил разрешения пригласить к нам на вечер своего спутника, Шиллера». Поэт также упоминает об этом знакомстве в письме к Кёрнеру спустя несколько дней: «В Рудольштадте я тоже задержался на денек и познакомился с одной весьма почтенной семьей. Там живет некая г-жа фон Ленгефельд с одной замужней дочерью и другой, еще девицей. Оба эти создания (не будучи красивыми) очень привлекательны и чрезвычайно нравятся мне. Они удивили меня осведомленностью в новейшей литературе, тонкостью суждений, чувств и ума. Обе хорошо играют на клавесине, что позволило мне приятно провести вечер. Окрестности Рудольштадта необычайно красивы. Я об этом никогда не слышал и был поражен» (VII, 146).

Нет, никакого предчувствия. Все зимнее путешествие было бы излишним и случайным, если бы не этот заезд в Рудольштадт, где Вильгельм Вольцоген решил появиться, на удивление своим кузинам. 7 декабря Шиллер снова в Веймаре. О другом путешествии, в Гамбург, к Шрёдеру, уже не было и речи. Могла бы эта поездка изменить жизнь Шиллера?

Жизненные интересы Шиллера были связаны с узким пространством земли Тюрингия, в котором каждый из маленьких городов играл свойственную ему роль: Веймар, Йена и Рудольштадт. Одним из основных стремлений Шиллера была потребность в тихой комнате ученого размышлять о великом и безграничном, творить, действовать. «Я питаю бесконечное почтение к этому огромному, стремительному человеческому океану, но мне хорошо и в моей скорлупке» (VII, 181), — читаем в одном из его писем от 1788 года.

Этой зимой 1787—1788 годов Шиллер работает рьяно, иногда по 12 часов в сутки, над «Историей отпадения Нидерландов». Кёрнер сетует на то, что он, полностью погрузившись в исторические писания, забыл о своем главном предназначении — драматическом творчестве. Поэт писал о «солидном» и в ответ на возражение Кёрнера заметил: «Твою недооценку истории я считаю несправедливой». И продолжает: «Наоборот, по собственному опыту знаю, что неограниченная свобода в отношении материала делает выбор более трудным и сложным, что вымыслы нашего воображения далеко не встречают у нас такого уважения и доверия, чтобы стать краеугольным камнем здания, и этим они отличаются от фактов, внушительно поставленных перед нами как бы высшей рукой и тем самым недоступных для нашего своеволия»¹. Шиллер высказывается в защиту «основательности»,

¹ Шиллер И. Х. Ф. Собр. соч., т. 8, с. 202.

«поучительности», выдвигает перед Кёрнером (или самим собой) задачу написать о прекрасно созданном историческом произведении — об исторической драме, об опыте по созданию «Фиеско» и «Дон Карлоса», но о будущих набросках подобного рода речи не идет.

Перед поездкой в Бауэрбах ему пришла в голову мысль взять в жены дочь Виланда Амалию, а так как он имеет обыкновение поверять Кёрнеру малейшие движения своей души, пишет ему и об этом — никакой влюбленности, ничего похожего, но «она доброе существо, прекрасно воспитанная для того, чтобы стать женою, крайне небольшие запросы и прекрасные качества хозяйки» (можно подумать, что мы слышим снова старого капитана Шиллера). Но когда Кёрнер в одном из писем к Шиллеру серьезно рассмотрел эту идею, поэт, который уже преодолел этот мимолетный порыв, смущенно отвечает: «Это была лишь мимолетная мысль... Возможно, что мне суждена более интересная девушка» (VII, 146). Он будто бы не видит никакой радости в женитьбе... Спустя месяц в конце письма о преимуществах истории (7 января 1788) он заявляет: «Я жажду налаженного семейного существования, и это единственное, на что я еще надеюсь».

ЛЕНГЕФЕЛЬДЫ

Княжество Шварцбург-Рудольштадт было маленьким, замкнутым в себе миром. Леса, поля, луга, с рассыпанными среди них деревнями; горы и долина, по которой протекает извилистая река Заале. В середине живописно раскинулся Рудольштадт с населением в четыре тысячи человек. Над ним возвышается замок-резиденция Хейдексбург, после пожара заново отстроенный в 1735 году. Оттуда управляет князь своей маленькой страной — таможнями, дорогами, государственной землей, лесничеством, войском, юстицией, канцеляриями, казной и регистратурой. И здесь — микрокосмос в микрокосмосе — двор со всеми должностными, от оберштаблмейстера до посыльного. Двадцать три высококордных семейства помогают своему князю управлять, помогают доходных или по крайней мере почетных должностей, составляют ему общество. Два раза в неделю отправляется посыльный в Веймар и Йену; таким образом осуществляется связь маленького государства с миром.

К высшей знати принадлежат и Ленгефельды. Карл Кристоф фон Ленгефельд был управляющим лесным хозяйством маленького государства; прямой, честный человек (и по должности, и по характеру обнаруживавший некоторое сходство со старым Шиллером в Солитюде), он развернул такую деятельность и выказал столько старания, что Фридрих II лично уговаривал его перейти на прусскую службу. В 46 лет он женился на 18-летней Луизе фон Вурмб, из тюрингенских дворян, родственнице Вольцогенов. Супруг был не только намного старше ее, но и не совсем здоровым: в 30-летнем возрасте он перенес паралич. Со всем этим Луизе пришлось смириться. Будучи волевым человеком, он прекрасно руководил своим ведомством, одним из важнейших в княжестве. У супругов родилось трое детей, сын умер в малолетстве, дочери выросли и расцвели. В 1763 году родилась Каролина, тремя годами

позже появилась на свет Шарлотта, которую в семье звали Лоло. Когда умер отец, Каролине было тринадцать, а Шарлотте десять лет.

Отец арендовал имение Гейзенгоф, которое принадлежало веймарскому оберштальмейстеру фон Штайну, мало примечательному супругу госпожи фон Штайн, приобретшей известность благодаря своим отношениям с Гёте. Здесь росли Каролина и Лотта. Последняя пишет в своих воспоминаниях: «На небольшой возвышенности, покрытой фруктовыми деревьями, находился наш дом. Впереди него был большой двор с примыкавшим к нему маленьким садом. Прямо перед нами высился княжеский замок, справа — старая церковь, звон колоколов настраивал меня на серьезный и меланхолический лад. Я часами стояла у окна, смотрела на темные окна башни, слушала колокольный звон и следила за плывущими по небу облаками. Впереди расстился горизонт. Вдали живописно виднелись горы и старый замок...»

Луиза фон Ленгефельд стала вдовой в 32 года. От Гейзенгофа пришлось отказаться. Жизнь в поместье, с ее привычным ритмом и заботами, закончилась, пришлось покинуть природу и леса. Переселились в городок, на новое местожительство: дом на улице, а параллельно ему — садовый дом; оба соединены внутренними постройками; просторно, удобно, но никакого широкого, ничем не заслоняемого горизонта. Перед вдовой встала теперь жизненно важная задача: при всех стесненных материальных средствах вести соответствующий дворянскому званию образ жизни и обеспечить своим дочерям видное положение в обществе. Ее рисуют довольно суровой женщиной, что кажется понятным по разным причинам, но она из приличия и понимания обстоятельств принуждает себя к доброте, и это ей удается — редкое достижение. Как *chère mère* она вошла в историю литературы. В семье она была авторитетом.

Несмотря на трудное материальное положение, вдова Ленгефельд ради образования дочерей предпринимает поездку в Швейцарию, с пребыванием в течение года на берегу Женевского озера. Когда они уезжали оттуда весной 1783 года, Каролина была уже обручена с господином фон Бойльвицем, к тому времени ей исполнилось 18 лет; Лотте — пятнадцать. По пути в Швейцарию их внимание привлекает Вюртемберг. Они посещают Людвигсбург, крепость Асперг, где по их просьбе бедный Шубарт играет им на клавесине, затем осматривают Солитюд и Хоэнгейм, наносят визит знаменитому священнику Гану и просят его объяснить новейшую счетную машинку... В Солитюде при посредничестве Вольцогенов они знакомятся с семьей Шиллера. Так дамы и Лотта побывали на родине поэта (сам он в это время находился в Бауэрбахе). Они получили представление и о жизни в Карлсшуте — к тому времени женщинам уже не возбранялось переступить порог Академии, — там они бывали на обеде. Лотта отмечает в своем дневнике: «Каждое их движение зависит от жеста надзирателя. Тяжело становится на душе, когда видишь, что с людьми обращаются как с марионетками». Надо заметить, что дневник, который она вела во время поездки в Швейцарию, свидетельствует о ее наблюдательности. Лотта признает сама, что в детстве и юности она неохотно училась; но она обладала ясным умом. Обратный путь их, год спустя, лежал через Ба-

зель, Колмар и Мангейм; они надеялись познакомиться с Шиллером, встреча, однако, была мимолетной.

Каролина во время этой поездки отчаянно влюбилась в своего кузена Вильгельма фон Вольцогена. Но мать заботится, чтобы дочь, которая уже была помолвлена с Людвигом фон Бойльвицем, вышла за него замуж. Каролина смирилась с этим браком и не испытывала к супругу ненависти. Это был статный, добродушный сельский помещик, не способный на романтические порывы, но не злобный и доброжелательный. Что делало жизнь Каролины и его собственную сносной, так это постоянные отлучки, так как он находится на службе у принца, а тот любит путешествовать. Этот брак был наконец расторгнут в 1794 году. Путь к соединению с Вильгельмом фон Вольцоген был открыт.

Каролина и Лотта не были похожи друг на друга. Каролина более жизненная, активная натура, быстро загорающаяся, порывистая, остроумная, мечтательная, романтическая. Она неплохо сочиняет. Когда анонимно был издан ее роман «Агнеса фон Лилен», то многие читатели приписывали его Гёте. Лотта другая. Она соответствует типу девушек, которые были не редкостью в старой Германии: они смотрят на нас с картин Дюрера и романтиков; внутренне спокойные, ждущие исполнения желаний, тихие, мечтательные. Эти существа были деятельными и ловкими в домашнем хозяйстве, живыми и естественными на лоне природы — в саду, лесу, поле, замкнутыми, неуверенными и робкими в обществе; они любили грезить и фантазировать, затаясь в маленькой комнате или где-нибудь в излюбленном уголке — в саду, в лесу; долгие годы выглядели полудетьми; многие из них так постепенно и увядали, становясь старыми девами, добросердечными тетушками.

Такой была Лотта фон Ленгефельд. Девушка из сельской местности, но дворянского происхождения, а значит, предмет, на который направлены честолюбивые помыслы матери, которые являлись двигательной пружиной в поступках этой энергичной женщины, действовавшей, разумеется, согласно своим сословным представлениям. Связями, которыми она обзавелась в Гейзенгофе, прежде всего со Штайнами и тем самым с веймарским двором, был обозначен путь в придворное общество. Еще совсем молоденькой девушкой Лотта проводила время в обществе госпожи фон Штайн. Умная женщина находила удовольствие в общении с наивным, добрым ребенком. Для жизни Лотты имела немалое значение близость к женщине, которую Гёте любил как никого другого. С ее сыном Фрицем Лотта оставалась в дружеских отношениях до самой старости.

Во время новогоднего карнавала 1787 года, того самого, который в Дрездене сводит Шиллера с Генриеттой фон Арним, Лотта фон Ленгефельд делает первые шаги по паркету веймарского двора. Лотте было двадцать, но она оставалась еще полурепенком, а фрейлейн фон Арним исполнилось семнадцать, но что касается светского опыта, то она превосходила свою неизвестную соперницу настолько, как если бы была человеком, старше по возрасту по крайней мере лет на двадцать. Застенчивая девушка находит сразу двух поклонников. Она привлекает внимание самого Кнебеля — незаменимая фигура при дворе, — которому к тому времени было уже далеко за тридцать. Другой, следовав-

ший, так сказать, в кильватере Кнебея, был молодой британец по имени Герон; человек с тонким вкусом и энергичный, он некоторое время находился при веймарском дворе и довольно сильно увлекся Лоттой. Но роман окончился в самом начале. В скором времени Герон сядет на судно, которое доставит его в Индию. Лотта грустит по своему юно-му герою.

В конце этого года Шиллер, прибывший в сопровождении Вильгельма, познакомился с Ленгефельдами, этим «добросердечным семейством», как его назвала жена Гердера Каролина, урожденная Флахсланд. Следуя пожеланиям матери и госпожи фон Штайн, Лотта участвует в жизни веймарского общества целый сезон, живя в доме госпожи фон Имгоф, сестры госпожи фон Штайн. На одном бале-маскараде Шиллер и Лотта встретились вновь, спустя неделю Шиллера приглашают в дом Имгоф. В это время (февраль 1788 года) между ними завязывается переписка. «Только что промчавшиеся сани привлекли меня к окну; смотрю — это едете вы! Я видел вас, и это уже кое-что на сегодня!» (VII, 155), — читаем в первом письме, которое пишет Шиллер своей будущей жене. А перед возвращением Лотты в Рудольштадт он написал ей: «Вы уедете, моя милая фрейлейн, и я чувствую, что вы увезете лучшую часть моих теперешних радостей» (VII, 156).

Здесь все иначе, чем во время его прежних встреч с женщинами. Лотта не пробуждает в нем страстного желания, но ему хорошо в ее присутствии, от нее исходит ясность и приятная теплота; когда она уходит, он ощущает мороз и темноту. И тогда он снова стремится к ней. Это больше, чем дружба, но и не влюбленность. «Хорошо темперированными» можно назвать чувства, которые он питает к свежей, скромной девушке. К тому же она образованна и достаточно восприимчива, чтобы с ней вести разговор о своих книгах, занятиях, планах. Начавшаяся однажды переписка не прерывается. К ним присоединяется старшая сестра Лотты, и два года подряд туда и обратно посылаются сотни исписанных листов, иногда по несколько раз в день: Шиллер пишет Лотте, Каролине, сразу обоим сестрам, Каролина — Шиллеру, Лотта — Шиллеру. Эти письма являют собой почти ни с чем не сравнимое свидетельство обмена мыслями, духовного общения между тремя людьми, наглядное отображение повседневной жизни. Для биографа — бесценное сокровище, почти подавляющее своей полнотой.

У Шиллера в эту первую веймарскую зиму не было недостатка в занятиях и делах. Началось печатание «Истории отпадения Нидерландов», часть ее была опубликована в «Тойчер Меркур» Виланда; продолжение повести «Духовидец», которая никогда не была закончена, стихотворение «Боги Греции» — все это серьезные произведения, но они не удовлетворяли его собственные, напряженные ожидания. О глубококом внутреннем беспокойстве говорит одно примечательное письмо к Губеру, которое было написано незадолго до новой встречи с Лоттой. «Ты не поверишь, что я уже почти 5 лет выбит из колеи естественных человеческих чувств; этот вывих составляет мое несчастье, так как неестественность никогда не может сделать счастливым». Существует, полагает он, лишь одно лечебное средство — женитьба. Он продолжает описывать свое состояние, и это является классическим отображением

жизненного кризиса. «Ни ты, ни Кёрнер — а кто же еще? — не можете отплатить за разрушения, которые причинили моему уму и сердцу ипохондрия, перенапряжение, своеволие представлений, забота о судьбе. Если вы хотите судить обо мне по обычным масштабам или рассматривать мое состояние с точки зрения естественных условий, то, будь не в обиду вам сказано, вы подвергаетесь опасности ошибиться. Все двигательные пружины, которые помогали моей деятельности в предшествующие годы, полностью отказали. Посуди сам, является ли то, что мне только и остается, — нужда и долг (погашение задолженности) — источником радости для меня или пружиной для достижения величия и совершенства? Я рассчитываю на *одну* черту моего характера, которую я еще спас из великого опустошения моего существа: на мою порядочность, на мягкость моего сердца, которая поможет мне переносить тяготы и приняться за работу, которую я сейчас выполняю лениво и с досадой. Если мне удастся радости и горести существа, полностью преданного мне, включить в сферу моей деятельности, то у меня будет еще один могучий стимул для приложения моих сил. Каково мое теперешнее состояние и каково оно было тогда, когда ты меня узнал? Фатально продолжающаяся цепь из напряжения и усталости, опиумный полусон и опьянение шампанским. Наслаждался ли я в то время, когда мы были ближе, чувством равновесия, которое Кёрнер редко теряет и которое нередко испытывал ты? И каким другим образом я могу обрести это постоянное чувство довольства, если не в домашней жизни?»

Встреча с Лоттой Ленгефельд подействовала на него умиротворяюще и смягчающе. Этому не противоречит то, что Шиллер в своем письме к Кёрнеру от 6 марта скрывает, даже отрицает это событие. Кёрнер кое о чем прослышал, но Шиллер оспаривает это, противореча самому себе: «Но все это дремлет глубоко в моей душе, и даже сама Шарлотта, видящая меня насквозь и стерегущая меня (здесь имеется в виду другая Шарлотта, фон Кальб), еще ничего не заподозрила»¹.

«...Сельское уединение и наслаждение дружбой и прекрасной природой... Я не знаю высшего счастья» (VII, 158) — так пишет Шиллер 11 апреля Лотте. Она должна подыскать для него летнюю квартиру — само собой разумеется, недалеко от Рудольштадта, как было условлено. Для Лотты, для обеих сестер это было приятное поручение. Сначала остановились на жилище придворного садовника, но вскоре сестры отказались от него — любопытные прохожие могли бы заглядывать к нему в окно. Лотта пишет: «Поэтому мы выбрали другую деревню... расположенную на берегу Заале: позади нее высются горы, у подножия которых простираются поля, а вершины венчают темные леса; виднеются луга на противоположном берегу Заале и широкая долина. Я думаю, что эта местность понравится вам, вчера я унесла в моей душе впечатление покоя, что мне было очень приятно». Дом принадлежит кантору и учителю Унбегауну, его жена будет варить кофе и вообще обслуживать (несмотря на то что в этой летней квартире у господина советника будет слуга, для которого также найдется местечко).

Это место называется Фолькштедт. В первой половине мая Шиллер

¹ Шиллер И. Х. Ф. Собр. соч., т. 8, с. 212.

поселяется здесь и наслаждается свежим летним воздухом; довольный, он пишет Кёрнеру о «весьма удобной, веселой и опрятной квартире», хвалит «восхитительный вид». Он пишет в этом письме (от 26 мая) о приятных отношениях с Ленgefельдами, но уверяет: «Однако *очень* тесной душевной связи с этим домом или *исключительно* с каким-либо отдельным лицом я постараюсь избежать» (VII, 162). Он обеспечил себя всем необходимым для работы; продолжение «Духовидца» и «Нидерландского восстания». Но почти каждый день, чаще всего под вечер, он навещает «добросердечное семейство».

Каролина вспоминает: «Как приятно было нам после скучного «кофейного» визита выйти навстречу гениальному другу, под сенью прекрасных деревьев — на берегу Заале. Лесной ручей, впадающий в Заале, и узкий мост через него были местом, где мы ожидали поэта. Когда мы видели его, идущего к нам в сиянии заката, то мы испытывали приятные, радостные чувства».

Но дождливая погода и простуда часто нарушали эту идиллию. В начале июня поэт сообщает Кёрнеру: «Удовольствие сельской жизни испорчено сильным катаром, который появился у меня после приезда сюда, его эпидемия свирепствует здесь. Конечно, я мог получить его во время моих возвращений из города ночью, и я, вероятно, простудился, но откуда бы он у меня ни появился, он мне гнусно навредил, и моя голова почти разламывается. Ты можешь легко представить себе, что потеря времени из-за этого и досада по поводу обмана всех моих прекрасных ожиданий в самом начале сельской жизни — все это становится невыносимым». Он «коленипреклоненно» умоляет сестер прислать ему книгу сказок о Роговом Зигфриде и Мелузине, чтобы «сбросить с себя пудовую тяжесть скуки».

Но не всякая непогода действовала на поэта угнетающе. «Во время грозы Шиллер не оставался в тесном доме. Он бродил по полям и лесам, любовался с горных вершин этим великолепным природным явлением, которое здесь, в горах, выглядит еще величественнее, оно поражало его и возбуждало». Мы должны быть очень благодарны дочери хозяйки дома в Фолькштедте, которая оставила это надежное свидетельство о том, что Шиллер наслаждался грозой. Его восторг, когда однажды во время прогулки на лодках по Эльбе их компанию застала гроза, его возгласы, обращенные к грохочущим облакам, — эта сохранившаяся в преданиях, но не подтвержденная точными документами сцена представляется более достоверной благодаря описанию, которое нам оставила урожденная Унбегаун. Восторг Шиллера во время грозы является аргументом против часто высказываемого мнения о том, что он жил только в мире идей и не чувствовал природу. К этому можно добавить и другие соображения. С юных лет ему были известны античные мифологические представления. По верованиям древних, после смерти от молнии пострадавший попадает в общество богов. У Шиллера часто бывали моменты, когда в нем пробуждалось желание уйти из жизни. К его порывам во время грозы могло примешиваться чувство и желание отдать себя на волю судьбы.

Трогательные представления пробуждают те же воспоминания, относящиеся к лету 1788 года: «В подобных случаях или когда ожидают

его позднего возвращения из города заботливые хозяева посылают людей с фонарями навстречу ему, чтобы не случилось беды. Чаще всего, если ничто не мешало, в дорогу отправлялся сам хозяин. Такое внимание к нему производило на Шиллера глубокое впечатление».

Вечера у Ленгфельдов по большей части посвящались чтению. То, что Шиллер читал явно плохо, сглаживалось атмосферой симпатии и гармонии. Он читал то, над чем работал. Но прежде всего он познакомил женщин с Гомером в переводе Фосса, что привело их в восхищение. Шиллер всегда охотно делился своим мнением о прочитанном. Когда у него оказалась биография Дидро, написанная его дочерью, — великий энциклопедист умер в 1784 году — он был так восхищен, что отдельные места цитировал в письмах к Кёрнеру. Не каждая из книг, которые он прочитывал, доставляла ему радость. «Очерк немецкого государственного устройства рейха» Пюттера, «История немцев» Шмидта, многотомное издание, могут быть причислены к «фолиантам и старым запыленным писателям», о которых он со вздохом писал госпоже фон Вольцоген. Писателем, к которому он испытал интерес в это время, был Монтескьё; он проштудировал его «Дух законов» и «Размышления о причинах величия и падения римлян». Чистейшую радость доставляли ему всегда древние: Гомер, Софокл, Еврипид, Плутарх и Лукиан.

В древний мир переносит нас его единственно значительное стихотворение того времени, «Боги Греции»:

В дни, когда вы светлый мир учили
Безмятежной поступи весны...

Эти две первые строки выдают слабость многострофной оды, славящей веселый, блестящий мир богов, в которых греки никогда так не верили:

Как дворцы, смеялись ваши храмы,
На истмийских пышных торжествах
В вашу честь курились фимиамы,
Колесницы подымали прах.
Стройной пляской, легкой и живою,
Оплеталось пламя алтарей;
Вы венчали свежее листвою
Благовонный лен кудрей.

Так изображена радостно обращенная к богам жизнь, в данной строфе — Олимпийские игры. Но:

Все цветы исчезли, облетая,
В жутком вихре северных ветров;
Одного из всех обогащая,
Должен был погибнуть мир богов.
Я иду печально в тверди звездной —
Там тебя, Селена, больше нет;
Я зову в лесах, над водной бездной:
Пуст и гулок их ответ! (V, 156—159).

(Перевод М. Лозинского.)

Это направлено против иудейско-христианского представления о боге, что было замечено и вызвало много нареканий. И Кёрнер также сдержанно отметил: «Некоторые выпады я бы убрал, они задевают только неуклюжую догматику, а не утонченное христианство. Они ничего не добавляют к ценности стихотворения, а придают ему бравурный вид, что тебе не нужно для придания остроты твоим работам». Особое неудовольствие выражает на страницах «Немецкого музея» граф Фридрих Леопольд Штольберг *, президент правительства в Этуине, о котором Шиллер позднее, в связи с высказыванием последнего против Гёте, заметил: «Такое важничающее пустословие, такое высокомерное бессилие и претенциозное, открыто претенциозное ханжество» (29 ноября 1795 года). На Морица, строгого судью «Коварства и любви», стихотворение «Боги Греции» произвело необыкновенное впечатление своей поучительностью и просветленностью.

Шиллер, обладавший способностью критически относиться к своим произведениям, высоко ценил это стихотворение. В одном письме из Фолькштедта он прямо-таки защищает его от критики Кёрнера: «Мне очень нравится это стихотворение, так как оно пронизано умеренным воодушевлением» («умеренное воодушевление» звучит несколько смешно, однако «умеренность» надо понимать, соотнося это с безграничными «бурей и натиском» юношеских произведений). Шиллер указывает затем на «любимейшие места», их не менее десяти, и добавляет, «не за мысли, а за дух, которым они пронизаны и которым, как я думаю, они дышат». Друг Кёрнер вообще является критиком-почитателем. К аплодисментам за введение к «Истории отпадения Нидерландов» он добавляет такое замечание: «Против благозвучия твоих периодов и языка у меня нет возражений; но там и сям я нашел слишком много украшений».

В то время когда Шиллер находился в Фолькштедте, 5 августа умерла Генриетта фон Вольцоген, в возрасте 43 лет. В письме Шиллера к ее сыну Вильгельму содержится кое-что из его медицинской практики: «Утешением для меня и всех нас служит то, что тихая и быстрая смерть избавила ее от многих мучений, которые были неизбежны. Сердца ее детей и друзей страдали бы еще больше, если бы продолжалась ее жизнь в мучениях и без надежды на улучшение». И в конце: «Ах! Она была для меня всем, чем могла бы быть моя мать!» Но на похороны он не поехал, хотя от Рудольштадта до Бауэрбаха было не так уж и далеко.

Время, проведенное в деревне, было для него утешением при этой первой и серьезной в его жизни потере. Хотя они виделись почти ежедневно, маленькие подарки кратчайшим путем доставлялись из дома Ленгефельдов в его летнюю квартиру; сестры посылали все, что созревало в саду: вишни, абрикосы, а также разную снедь. Шиллер, если его организм не выкидывал по временам злые шутки, вел здоровый и разумный образ жизни, какого у него долгое время не было. Тем не менее даже и в это время он прибегал иногда к помощи опиума. «Купаюсь каждый день» — эта фраза из письма к Губеру может смутить того, кто знает обычаи тех времен. Целебного источника, чью воду можно было использовать не только для питья, но и для купанья в ушате или в кадке, там не было. Надо думать, что имелось в виду купание в речке.

Письма, которые посылались туда и обратно каждые полчаса, говорят о веселом времяпрепровождении.

Лотта пишет Шиллеру: «Так как небо прояснилось и воздух такой чудесный, то мы решили сегодня пить кофе в Гумбахе. Наверное, у вас будет время пойти с нами в половине пятого?» Гумбах был княжеским садоводством с охотничьим домиком. Или: «Добрый день, хотели сообщить вам, что мы не пойдем в Гумбах (как вы сказали), а будем пить кофе в саду, так как вечером к нам собирается навеститься госпожа фон Штайн, и мы встретим ее там». Шиллер в свою очередь пишет утром Лотте: «Как же вы спали сегодня в вашей *изящной* постели? И смежил ли *сладкий* сон ваши *прелестные, милые* веки? Скажите мне об этом в двух-трех крылатых словечках, но я прошу вас, возвестите мне правду! Вы не станете кривить душой, ибо вы слишком разумны». И далее: «Что поделявает ваша сестра? Постукивают ли уже туфли на ее изящных ножках или она еще покоится в мягкой, прекрасно разглаженной постели?» Он с нежностью думает об обеих. Другое место из этого же письма: «...и мы проживаем этот день тихонько вместе — болтая, читая и радуясь, что мы вместе в этом мире» (VII, 168).

Лотту пригласили на несколько дней в Кохберг, имение семьи фон Штайн. В начале сентября Гёте приехал туда в гости. В июле он вернулся из Италии: «Да, мой дорогой, я вернулся и сижу в моем саду, за стеной роз под ветвями цинерарии, и постепенно прихожу в себя. Я был счастлив в Италии, многое развилось во мне, что раньше задерживалось...» (21 июля 1788 года, письмо к Якоби). Итак, в Кохберг, где находится женщина, которую он так давно любит. Оттуда эта компания — Гёте, госпожа фон Штайн, ее сын Фриц, Каролина Гердер — едет в Рудольштадт. Здесь происходит наконец встреча между Гёте и Шиллером; если быть точным, то эта встреча не первая, ибо Гёте со своим герцогом в декабре 1779 года посетил Академию в Штутгарте и видел, как Шиллер получил свои награды из рук правителя страны; но встречей это нельзя назвать. Итак, встреча здесь, в столовой Бойльвицев, в саду Ленгефельдов. С искренним желанием, с бьющимися сердцами Лотта, а может быть, еще больше Каролина готовились к ней. «Мы были очень взволнованы этой встречей и ничего большего не желали, как сближения, которое не состоялось» (Каролина).

Сближение и в самом деле не состоялось. Видимо, Гёте уже заведомо решил вежливо отделаться от автора «Разбойников». В Италии он обрел внутреннее спокойствие и не был склонен сближаться с этой горячей головой. Все ограничилось светской беседой. Атмосфера была усложнена присутствием г-жи фон Штайн, которой в эти дни стало ясно, что в отношениях с ее некогда пламенным поклонником возникла трещина, которая никогда не исчезнет. Гёте углубился в журнал, заметив в нем «Богов Греции». На следующее утро Шиллер писал Лотте: «Я очень хорошо спал и утром чувствую себя бодрым». Ни слова о Гёте.

12 сентября он пишет Кёрнеру: «Наконец-то я могу рассказать тебе про Гёте, чего, как я знаю, ты с нетерпением ожидаешь! Я провел в его обществе почти все прошлое воскресенье... Первое впечатление сильно изменило внушенное мне высокое мнение об этой якобы привлекательной и красивой фигуре. Он среднего роста, держится натянуто и так же

ходит. Выражение лица у него замкнутое, но глаза очень выразительные, живые, и взгляд его встречаешь с удовольствием. При большой серьезности в его лице много благожелательности и доброты. Он брюнет и показался мне старше, чем, по моим расчетам, должен бы быть. Голос у него чрезвычайно приятный, его рассказ течет плавно, полон остроумия и жизни. Слушать его большое удовольствие, а когда он в хорошем настроении, как на сей раз и было, он разговаривает охотно и с интересом. Наше знакомство свершилось быстро и без малейшего принуждения. Однако общество было слишком большое, все слишком ревниво стремились привлечь к себе его внимание, чтоб я мог оставаться с ним наедине или говорить о чем-либо, кроме самых обыкновенных вещей. Охотно и с увлечением вспоминает он об Италии. И то, что он рассказал о ней, дало мне самое четкое и живое представление об этой стране и тамошних людях... В общем, мое исключительно высокое мнение о нем после этого личного знакомства не изменилось, но я сомневаюсь в том, чтобы мы с ним когда-либо очень сблизились» (VII, 169—170). Мир знает, что оба нашли друг друга в невероятно плодотворном диалоге — но до того должно было пройти шесть лет.

Полгода прожил Шиллер в гостеприимном доме кантора Унбегауна, находившемся в получасе ходьбы от него. Мать привыкла к этому другу дома и воспринимала его гармонические отношения с Каролиной и Лоттой как благотворные. Впрочем, и Бойльвиц не составлял исключения. Приветливый муж находил общий язык с тещей, свояченицей и не в последнюю очередь с Шиллером — но только не со своей женой. Госпожа фон Ленгефельд имела достаточно времени для того, чтобы задуматься над вопросом о том, не будет ли иметь серьезные последствия доверительное общение Шиллера с ее семьей. А так как она была далека от мысли о разводе пары Бойльвицев, то мог быть только его союз с Лоттой. С точки зрения дворянского достоинства, будучи бедной и хорошо зная скромное экономическое положение друга дома, она с тревогой обдумывала такую возможность. Но эта забота была мягко завуалирована, ибо Шиллер отнюдь не выступает в роли влюбленного соискателя руки ее дочери, а Лотта питает к нему чувство преклонения и сердечной дружбы, но никакого страстного волнения. Это могло бы, скорее, возникнуть у Каролины.

Осенью Шиллер подхватил простуду с температурой, а к тому же еще он испытывал острую зубную боль. Было установлено, что сестры не должны навещать больного. Обменивались записками. Каролина: «Чувствовать себя маленьким и не суметь помочь!» Лотта: «Живите терпеливо, хорошо — не могу сказать, мы будем часто думать о вас». В его коротких посланиях, написанных в постели, с головной, укутанной толстой повязкой, светится юмор, который редко у него исчезал: «В своем воображении я отчетливо вижу, как вы грустно и одиноко сидите за столом, с Дудушкой на коленях». (Дуду называли белую кошку Лотты — впрочем, это редко, чтобы Шиллер упоминал животных.) Когда у них появился дорогой гость, старший сын Софи фон Ла Рош, и Лотта предложила, чтобы Шиллера доставили к ним в портшезе, он заявил, что не может отчетливо говорить из-за опухших щек: «Никто лучше не может подтвердить это, чем мой Людвиг: если я прошу пить, то он

приносит трубку, требую чай — он подносит мне домашние туфли». (Людвиг был слугой у господина придворного советника.) До ноября Шиллер находился на свежем воздухе. Свой 29-й год рождения он празднует еще у Ленгефельдов. Наконец, с тяжелым сердцем, он возвращается в Веймар, чувствуя, что оставляет позади.

Приятное времяпрепровождение не должно затушевывать того, что Шиллер каждый день расценивал как потерянный, когда он не мог продолжить свою работу, прежде всего историю, рецензии, переводы и очередное философское стихотворение. В первое время летнего пребывания на лоне природы первоочередной работой было завершение «Отпадения Нидерландов» — причем окончание этой работы, вышедшей в Лейпциге у Крузиуса как первый том, не являлось исчерпывающим исследованием предмета. «История отпадения соединенных Нидерландов от испанского владычества» осталась каркасом, заполненным великолепным введением, двумя приложениями о суде над Эгмонтом и осаде Антверпена. Итак, каркас, но не законченное произведение. Если отвлечься от воплощения темы Валленштейна, то никогда больше Шиллер так точно не воссоздал историю, как в этом произведении, явившемся первым плодом его проснувшейся в Дрездене страсти к истории. Наряду с этой большой работой были написаны две небольшие статьи на исторические темы: одна из них о правлении иезуитов в Парагвае (можно предположить, что он и не представлял себе, какую тему он затронул в ней) и статья «Завтрак герцога Альбы в Рудольштадтском замке в 1547 году», которая представляет собой скромное восхваление правящего дома в Рудольштадте и женской храбрости — между прочим, образец хорошего рассказа об историческом факте. Обе статьи появились в октябрьском номере «Тойчер Меркур» Виланда.

Среди рецензий одна особенно выделяется хорошим знанием материала и уважительным отношением рецензента к автору: это разбор «Эгмонта» Гёте, опубликованный в сентябрьском номере йенской «Альгемайне литературцайтунг», то есть вскоре после встречи с Гёте. К досаде сестер Ленгефельд, особенно Каролины, которые уже ознакомились с текстом, в конце рецензии было действительно критическое замечание. Каролина: «Мы почти не могли простить Шиллеру его рецензию на „Эгмонта"». В целом же рецензия представляет собой основательный, исполненный ума и глубокого проникновения разбор, о котором Гёте с похвалой отзывался в разговоре с герцогом. Кёрнер тоже одобрительно отметил: строгость и уважение, без аффектированной лести.

Одна из статей была посвящена Гольдони. Замечательные люди, умершие и живые, представляли для Шиллера неисчерпаемый интерес. В письмах Кёрнеру он набрасывает меткие характеристики людей. Так, о министре фон Кеттельгодте, собственно регенте Шварцбург-Рудольштадта, он пишет: «Представитель гротескной породы, чудовищная комбинация чиновника, ученого, юнкера-земледельца, светского человека и «обломка прошлого». Чиновник он, говорят, превосходный и тащит груз как осел; но главное, на что он претендует, — это научный вес. Он собрал библиотеку, которая для частного лица удивительно обширна, но не пригодна ни для какой цели. Библиотеку я, конечно, прилежно

посещал бы — хотя бы ради того, чтобы в старом мусоре романов и мемуаров отыскивать золотое зернышко, — если бы только можно было избежать встреч с хозяином. К несчастью, он крайне тщеславен в отношении знакомств с учеными, особенно со знаменитостями, и от него никак не отвязаться. После того как до его сведения дошло, что я похвалил его библиотеку, мне пришлось провести у него за ужином весь вечер, и он велел поймать на улице моего слугу, чтобы обеспечить меня в Фолькштедте вином» (VII, 165). Это также воспоминание о рудольштадтском обществе.

Поэтическим результатом этого лета было стихотворение «Художники»:

Прекрасен гордый облик человека,
Стоящего на склоне века, —
Он сбросил тяжкий гнет оков,
Ему открыты тайны мироздания,
Он погружен безмолвно в созиданье,
Могучий сын веков.
Трудясь с усердьем непреклонным,
Завоевав могущество — законом
И волю — разумом, в борьбе он стал сильней..

Эпохальным самоутверждением начинается это стихотворение, в пятистах строках которого воссоздается возникновение и подъем искусств на протяжении истории человечества. Длинный ряд прекрасных образов утомительно поучителен. Совершенно явно, что поэт в период создания этого стихотворения общался с жаждающими знания, поклонявшимися ему и терпеливыми женщинами.

Достоинство людей вам вверено богами.
Храните же его!
Оно падет без вас! Оно воспрянет с вами!

И далее:

Летите ввысь в слепящем свете,
Отбросив цепи дней лихих,
Зарю грядущего столетья
В твореньях отразив своих.

Это стихотворение поэт неоднократно перерабатывал.

«Я действительно с трудом уехал из Рудольштадта, я провел там много прекрасных дней и завязал дорогой узел дружбы. Вместе с одухотворенным общением, которое не совсем свободно от известного мечтательного восприятия мира и жизни, какое нравится мне, я нашел там сердечность, свободу и деликатность, свободу от предубеждений и понимание того, что дорого мне. При этом я всем своим существом наслаждался неограниченной внутренней свободой и абсолютной непринужденностью в отношениях, и ты знаешь, как хорошо быть среди людей, для которых свобода другого — священна. К этому нужно добавить: я действительно чувствую, что в известном смысле что-то *дал* этим людям и благотворно воздей-

ствовал на них. Мое сердце совершенно свободно, тебе на утешение». Так писал Шиллер Кёрнеру сразу же по возвращении в Веймар (13 ноября); что касается последней фразы, то можно верить: у него еще не было никакого твердого намерения жениться.

В письме Кёрнеру он останавливается на затруднениях Виланда с «Тойчер Меркур». Сотрудничество Шиллера в литературных журналах и его меняющиеся планы для ангажирования то в одном, то в другом — это труднообозримое поле его деятельности. Его собственным созданием была «Талия», начало которой было положено еще во время пребывания его в Мангейме. В мае 1788 года вышел пятый номер, шестой появился в марте 1789 года, вслед за ним — седьмой. Когда Шиллер находился в Фолькштедте, Кёрнер представил ему план создания нового журнала, который также должен был издаваться Гёшеном (и заменить «Талию»?). Шиллер в письме от 12 июня обстоятельно отвечает на это предложение: «Как основа журнала, который должен попасть во многие руки, твой план явно слишком серьезен, очень солиден и, я хочу сказать, очень благороден. Посмотри на журналы, которые добились успеха, и подумай, как они сумели это сделать... Если мы будем исходить из твоей идеи, то должны не замечать этого». Далее он очень подробно рассуждает о том, что надо печатать, чтобы это было прибыльным, а затем заканчивает скептическим поворотом — Кёрнер может свои вещи публиковать в «Талии». И с Виландовым «Меркур» он, Шиллер, не хочет порывать, «зная почему».

Действительно, он попросил доставить ему в деревню из «Тойчер Меркур» важные материалы: рецензию на Гольдони, письма о «Дон Карлосе», «Боги Греции». Наряду с собственной «Талией», Виландовым «Меркур» нужно было думать и об йенской «Альгемайне литературцайтунг». Именно в ней публикуется важная рецензия на «Эгмонта». Как только Шиллер вернулся в Веймар, старый Виланд осаждает его с предложениями о совместном редактировании «Тойчер Меркур»; большой задаток должен сделать предложение привлекательным. Шиллер пишет Кёрнеру: «После моего возвращения я нашел «Меркур» в смертельной опасности. У Виланда горит земля под ногами, и он очень нуждается во мне. Если я не решу связаться с ним ради «Меркур», то журнал может закрыться. Относительно меркантильной стороны он сделал мне чистосердечное признание». Затем он делает, по всей видимости, точный, продуманный расчет относительно того, что журнал должен иметь и имеет, в конце указал прибыли. Кёрнер может предположить: его друг посвящает себя этому делу целиком и хочет построить на нем свое дальнейшее существование... Но все приняло другой оборот.

В то время когда Шиллер находился в состоянии высокой творческой активности — переводил Еврипида, писал продолжение «Духовидца», заканчивал письма о «Дон Карлосе», — он был приглашен государственным советником Фойгтом, занимавшимся вопросами высшего образования в Тюрингии, который предложил ему место профессора истории в Йенском университете. Это было 9 декабря. После согласия Шиллера, данного скорее в состоянии

удивления, чем воодушевления, Гёте в качестве министра составил памятную записку для тайного совета, на котором, с согласия герцогов Веймара и Готы, Шиллер был предложен в качестве профессора университета в Йене. Он, хотя и находился на территории герцогства Саксония-Веймар, был также университетом для Саксонии-Гота, Саксонии-Кобург и Саксонии-Мейнинген. В эти герцогства (герцог из Готы уже дал свое согласие устно) были направлены запросы, на которые был получен положительный ответ. 15 декабря Шиллер нанес визит Гёте, который энергично содействовал этому делу. Это было не выражением чрезмерной благодарности, а скорее, признанием в том, что он смущен таким проявлением доверия, полон сомнения в своей научной подготовке. Гёте утешает: *docendo discitur* (обучая, учатся). Дело идет своим ходом. Неслыханные налоги должны быть назначены (60 талеров). 21 января 1789 года следует формальное назначение его профессором. Наконец 30 апреля он получает свой докторский диплом и дает магистрскую клятву. Все формальности были улажены довольно быстро, при явной благожелательности, при действенной поддержке Гёте.

Чувства и мысли Шиллера в связи с таким ошеломляющим поворотом в его жизни отражаются в письмах. Письмо от 15 декабря к Кёрнеру выдает прямо-таки паническое настроение. «По всем вероятностям, через два или три месяца ты получишь известие, что я стал профессором истории в Йене; это почти что решено... Меня одуррачили, в особенности Фойгт, который весьма горячо хлопотал об этом назначении. Я давно к этому стремился, но мне хотелось подождать год или даже несколько лет, чтобы лучше подготовиться... Вот как обстоят дела. Я нахожусь в ужаснейшей спешке, так как при многих-многих работах, предстоящих мне зимой и крайне необходимых из-за денег, я могу подготовиться лишь очень поверхностно. Дай мне совет! Помоги мне! Я просил бы отколотить меня, если бы мог на сутки заполучить тебя сюда»¹.

Кёрнер отвечает: «Конечно, я бы желал, чтобы это событие произошло двумя годами позднее. Между тем речь идет о том, чтобы тебе теперь обеспечили *значительное* содержание, которое удовлетворяло бы по меньшей мере часть твоих потребностей. Сейчас ты все же зависишь от книгопродавцев, чтобы заработать деньги, спрашивается, не будет ли обременительнее новая зависимость. Если тебе будут хорошо платить за пару часов лекций, то у тебя, вероятно, останется больше времени для занятий и работы, чем при теперешнем образе жизни. Что касается необходимости подготовки, то я думаю, что ты очень боязлив. Ты создал такой исторический труд, который тебе, как и любому, дает право без стеснения подняться на кафедру. Поле истории настолько обширно, что нельзя требовать от тебя, чтобы ты освоился во всех ее разделах». Кёрнер рекомендует проявить настойчивость в требованиях относительно обеспечения. Он отмечает: «Меня радует, что Гёте проявил такой живой интерес к тебе». Вероятно, из этой дружеской переписки можно сделать

¹ Шиллер И. Х. Ф. Собр. соч., т. 8, с. 262.

вывод, что почтение к академическим кафедрам является продуктом XIX столетия — во всяком случае, раньше оно не было так распространено.

В переписке с сестрами из Рудольштадта, которую Шиллер охотно поддерживает, несмотря на загруженность всякой работой, относительно этого обстоятельства сначала речи не было. Но затем в письме к Каролине и Лотте от 23 декабря можно прочесть: «Но одну новость о себе я могу и должен сообщить вам, так как она на определенное время разрушит одну из моих самых прекрасных надежд. Уже почти решено, что я будущей весной направляюсь в Йену как профессор истории. Насколько это в целом согласуется с моими желаниями, настолько мало меня радует быстрота, с которой все произошло; после ухода Эйхгорна это во многих отношениях стало необходимым. Я сам позволил себя *одурачить*, а теперь, когда уже поздно, я хотел бы отступить... Итак, прекрасные несколько лет независимости, о которой я мечтал, исчезли, моего прекрасного будущего лета также не будет; и все это мне должна заменить ужасная кафедра. Самым лучшим во всем этом деле всегда будет соседство с вами».

Переписка Шиллера, Лотты и Каролины во всей обширной корреспонденции Шиллера представляет собой особенно привлекательную часть. В ней мы находим продолжение в течение полугода бережно поддерживаемого доверительного разговора троих. Она отчетливо отражает характер обеих сестер. Письма Каролины отличает мечтательный тон, она была одухотворенной и темпераментной женщиной, омраченной и связанной неудачным браком, полной стремления раскрыться перед другом. «Таково мое собственное состояние, когда дисгармония иных человеческих натур до боли трогает мое существо, что, собственно, связано с болезнью, и я надеюсь, что избавлюсь от этого. Я много говорю о себе, но я охотно позволяю вам заглянуть в мою душу» (рано утром, в среду, 10 декабря). Каролина подобна вечеру, а Лотта — утру. Обе сестры охотно рассказывают о прочитанном, и при этом Лотта оказывается достойной своей остроумной сестры как в восприятии, так и в оценке.

В письмах Шиллера отражена глубокая привязанность к сестрам, неподдельное участие во всем, что происходит вокруг них, будь то даже зубная боль у их матери. Он поверяет им многое на этих листах, но однажды очень тонко замечает: «Если в мои письма и просачивается нечто меланхолическое, то вы должны думать, что это настроение прошло, как только получите письмо». В декабре было необычно холодно. Хотя в Веймаре Шиллер и не наслаждался приятным уютом, мы встречаем в его письмах зимнего периода такие замечания: «Эта зимняя погода делает мою комнату и мое тихое усердие тем приятнее и легче...» В переписке троих, которая длилась всю зиму, они утешаются тем, что Йена и Рудольштадт находятся недалеко друг от друга, так что можно видеться чаще, если «серьезный господин профессор еще захочет спуститься к ним», как выразилась однажды Лотта.

В письмах Шиллера того времени, когда одна его нога упиралась

в стремя, чтобы сесть и поскакать к нелюбимой профессуре, зазвучало нечто такое, что в его жизни, мыслях и восприятии редко проявлялось: интерес историка к современной личности. Прусский король Фридрих II умер летом 1786 года. Шиллер находился тогда в Дрездене, где было мало причин с волнением вспоминать воинственного соседа — героя войн. Но «Фридрих Единственный», как его называли современники, имел большое значение в юные годы Шиллера, в его честь он был назван Фридрихом. Еще впереди пойдет речь о том, как Шиллер, историк по влечению, держался в странном отдалении от величественных событий и великих личностей своего времени. Его интерес к Фридриху ограничивается чтением и был непродолжительным исключением. Возможно, что он был пробужден Лоттой, которая через деверя познакомилась с посмертными записками короля и сообщила об этом другу в пространном письме от 15 января. В ответном послании он умно и критически оценивает „Histoire de mon temps” короля. И здесь Шиллер обнаруживает достойное отношение к враждебной партии (за что упрекал его Кёрнер в связи с «Историей отпадения Нидерландов»). «Роль, которую он предоставляет играть Марии Терезии, обрисована тонко, но не без злости». Несмотря на такую благородно критическую дистанцию, он оценивает воспоминания Фридриха как «единственную книгу, подкрепляющую силы, которую я прочел в то время».

Тема Фридриха возникает в переписке с Кёрнером, который побуждает его создать «Фридрициаду». Шиллер, не отклоняя это, пишет: «Эпическое стихотворение в XVIII веке должно быть чем-то совсем иным, чем в эпоху младенчества мира. Именно это и притягивает меня к твоей идее: наши обычаи, тончайший аромат нашей философии, наше государственное устройство, домашний быт, искусства... Думал я и о том, какую эпоху из жизни Фридриха мне выбрать. Я охотно взял бы какую-нибудь бедственную ситуацию, которая позволила бы несравненно поэтичнее обрисовать его дух. Например, битву при Коллине и предшествующую победу под Прагой *...» (VII, 206—207). Вероятно, следует иметь также в виду, что его герцог ориентировался на Потсдам и занимал командный пост в прусской армии. Но, как бы там ни было, Шиллер никогда не написал поэмы о Фридрихе Великом.

В то время как Шиллер готовится к новой жизни, в тихом доме Ленгефельдов происходит волнующая перемена: *chère mère* призвана воспитывать дочь наследного принца; занималась этим до сих пор особа с дурным характером. Шиллер реагирует на эту большую новость несколько саркастически: «Я преклоняюсь перед геркулесовским мужеством — выполнять тяжелейшую работу под горячим солнцем. Отвага велика, и вся княжеская семья должна за это устроить процессию — в рубашках и со свечами в руках всю долгую зимнюю ночь петь духовные песни перед ее окном...»

А затем он с уважением отдает должное новому положению семьи. Десятки писем были направлены в оба адреса в течение последующих месяцев.

«Только никакой ипохондрии, и все пойдет хорошо», — взывает

Кёрнер перед лицом грядущих изменений. В предвесеннее время Шиллер снова приезжает в Йену, знакомится с клубной жизнью профессоров, заботится о жилье, а именно о помещении без собственной аудитории (имелись и такие). В поисках жилища помогала чета Шютц. Сам Шютц — профессор красноречия и поэтического искусства, издатель «Альгемайне литературцайтунг», к которой Шиллер относился с почтением. Договорились о квартире на Йенергассе, 26, «Шраммерай», в солидном доме, где сестры Шрамм сдавали квартиры и готовили обеды. 11 мая 1789 года Шиллер переехал в Йену.



ПРОФЕССУРА

Йенский университет в отличие от Лейпцигского еще не пользовался особой ученой славой и, уж во всяком случае, не мог похвастать воспитанностью студентов.

Правда, царившие здесь еще в первой половине XVIII века жестокие, кровавые нравы уже несколько смягчились. Газета «Фоссише цайтунг» в 1765 году поместила сообщение из Йены, в котором говорилось: «В наше благонравное время даже местному университету нельзя отказать в том, что он становится все более благонравным и сим заслужил соответствующую репутацию». Как раз в ту пору удалось без каких-либо столкновений распустить воинственные студенческие землячества; в самом скором времени, однако, они возродились. Магистр Лаукхард, знавший студенческие нравы тех лет как никто другой, в 1776 году следующим образом описывает местных буршей:

«Йенцы пришлись мне по душе, от гиссенцев они отличались лишь еще большей грубоватостью манер. Йенец, по крайней мере в ту пору, вовсе не признавал тонкого обхождения; на учтивость здесь смотрели как на важничанье, и повсюду у студентов был в ходу тон простой и суровый. Но при всем том йенец никогда не бывал оскорбительно груб или нагл; мало того — сплошь и рядом он проявлял истинное радушие и услужливость. Впоследствии я наблюдал куда более тонкое обращение в Гёттингене, узнал я изысканную вежливость лейпцигских студентов, а все же милее всех мне мои йенцы... Мне уже говорили, что в Йене нередки драки, и я и впрямь убедился, что здесь куда как легко попасть в переделку. Разрешались споры, правда, схваткой на шпагах, но, поскольку обычно отыскивали порядочных секундантов, стычки эти редко оказывались опасны для жизни... Приятели мои старались сделать мое пребывание в тамошних краях насколько возможно приятным. В их обществе я усердно обходил окрестные селения — Аммербах, Лихтенхайн, Лебштадт, Цигенхайн, — а также и мельницы, и однажды у маслобойни, во время баталии со здешними мужланами, на мою долю досталось немало крепких тумачков. А у лесопилки, да еще и в Венигенйене, встречались мне не раз и те злосчастные нимфы, кои столь постыдным образом наносят урон кошелькам, здоровью и нравственности молодых людей...»

Изменились ли порядки в Йене к тому времени, как Шиллер стал здесь профессором университета? Спустя три года после того, как он получил эту должность, в Йену приехал некий Генрих Стеффенс, норвежец по национальности, который впоследствии стал видным представителем «романтического» направления в естествознании и близко сошелся с Гёте и Шиллером. Двадцати лет от роду, преисполненный радужных надежд, въехал он в свою новую «обитель муз»:

«Мы остановились в «Черном медведе», и вечером того же дня мы с приятелем стали свидетелями происшествия, которое говорило о грубости нравов, все еще распространенной среди студентов. Друга своего я встретил здесь же на постоялом дворе, он приехал сюда несколькими днями раньше. Он сетовал по большей части на скверную еду — и правда, жителю Севера, привыкшему к сытным, питательным блюдам, здешняя пища могла показаться ужасной. Мы не виделись с ним уже довольно давно; нам о многом надо было друг другу рассказать. Стемнело, я выглянул из окна, обозревая незнакомую местность, и тревожное предчувствие грядущих невзгод закралось в мое сердце. И вдруг издали донесся громкий шум — топот, крики множества людей; толпа быстро приближалась к постоялому двору, все громче и громче становились крики. Незадолго до того в нашу комнату внесли свечи, но к дому уже неслась ревушая толпа, и к нам тут же ворвался слуга — предупредить, чтобы мы погасили свечи. Зачем? — с любопытством осведомились мы, и еще: что нужно этой шумной толпе? Разумеется, мы догадывались, что это — студенты. Слуга же поведал нам, что студенты вознамерились сместить тогдашнего проректора, профессора А., которым были недовольны — по какой причине, мне неизвестно. Все явственней доносились до нас крики студентов, коих, должно быть, собралось не меньше сотни. Кричали: «Гаси свет!», и тут же слышался звон разбитых стекол — если кто-то не сразу повиновался приказу. Должен признаться, что происшествие это... настроило меня на весьма печальный лад. Не затем, сказать по правде, я так стремился в Йену».

Еще в августе 1787 года, впервые приехав в Йену, Шиллер обратил внимание на независимое поведение студентов. «Что студенты здесь в почете, видно уже с первого взгляда. Впрочем, даже закрыв глаза, можно узнать, что находишься среди студентов, ибо все они шествуют победоносной походкой...» (Из письма Кёрнеру, VII, 135.)

И вот этим молодым людям 26 мая 1789 года в шесть часов вечера Шиллер читал свою вступительную лекцию, и студенты большими группами устремились в аудиторию: увидеть на кафедре самого автора «Разбойников» — такого зрелища никто не хотел упустить. Аудитория, предназначавшаяся для лекции, оказалась слишком тесной. Впоследствии Шиллер напишет Кёрнеру: «В половине шестого аудитория была полна. Я видел из окна Рейнгольда, как через улицу переходила одна кучка за другой, и этому не было конца. Хотя я был не вполне свободен от страха, тем не менее эта все увеличивающаяся толпа доставляла мне удовольствие и мое мужество скорее даже возросло. Кроме того, я запасся известной твердостью, чему немало способствовала мысль, что моя лекция не должна бояться сравнения ни с какой

другой, читаемой в Йене, и вообще желание, чтобы все, кто будут меня слушать, признали мое превосходство. Между тем толпа мало-помалу выросла настолько, что забила переднюю, площадку и лестницу, и целые группы уходили». Тогда было решено перенести лекцию в большую аудиторию — Грисбахха. «Тут произошла самая веселая сцена. Все бросились наружу пестрой толпой — по Йоганнисштрассе! Эта улица, одна из самых длинных в Йене, была вся усеяна студентами. Пока они мчались что было мочи, чтобы занять в грисбаховской аудитории хорошее место, вся улица всполошилась и люди высыпали к окнам. Сначала все вообразили, что пожар, и у дворца пришла в движение стража. «Что это? Что случилось?» — раздавалось со всех сторон. Тогда начали кричать, что это будет читать новый профессор» (VII, 217).

Далее Шиллер описывает, как он пробирался к кафедре «по аллее из зрителей и слушателей» (VII, 218). Упоминает он и о своем самочувствии, о своих ощущениях: «При всей духоте в зале на кафедре было сносно, так как открыты были все окна и до меня доходил свежий воздух». И дальше: «У меня хватило мужества твердо произнести с десятков слов, а затем я вполне овладел собой и читал таким сильным и уверенным голосом, что сам был поражен». После лекции студенты исполнили под окнами его квартиры серенаду, кричали «Виват!». Хорошее начало.

Правда, отнюдь не начало устойчивой академической карьеры. У нового профессора был недостаток — плохая дикция, и когда рассеялись толпы любопытствующих, число его слушателей заметно побавилось. Некто Гедике, учитель из Пруссии, в служебных целях посетивший ряд университетов, присутствовал на вступительной лекции Шиллера, и вот что мы читаем в его заметках: «Совсем недавно сюда был назначен профессором известный поэт и драматург Шиллер и в первом же семестре имел здесь необычайный успех. Ему пришлось читать лекцию в самой просторной из местных аудиторий, которая, однако, не могла вместить всех желающих. Еще во время моего пребывания в Йене его введение во всеобщую историю слушали около четырехсот человек. Признаться, однако, мне трудно понять причину необычайного его успеха. Читал он слово в слово по написанному, и притом торжественным, напыщенным тоном, который по большей части нисколько не подходил к тем заурядным историческим фактам и географическим сведениям, которые ему надлежало изложить. Да и все, что он читал, больше походило на речь, нежели на академическую лекцию. Прелесть новизны и желание увидеть знаменитого драматурга на кафедре в совершенно новой роли — вот отчего, должно быть, произошло стечение большого числа слушателей; к тому же за эти лекции ничего не надо было платить...»

Гедике успел также свести личное знакомство с Шиллером: «Шиллер — человек весьма обходительный, хоть внешность его поначалу способна отпугнуть».

«В чем состоит изучение мировой истории и какова цель этого изучения?» — гласила тема вступительной лекции. Шиллер начал ее словами: «Радостна и почетна возложенная на меня обязанность

пройти с вами по той области, которая открывает для мыслящего наблюдателя столь много поучительного, дает деятельному светскому человеку столь великолепные образцы для подражания, философу — данные для важных выводов и всем без различия — богатые источники для благороднейшего наслаждения — пройти вместе с вами по огромному и широкому полю всеобщей истории. Когда я вижу перед собой столь много превосходных молодых людей, которых привела сюда благородная любознательность и среди которых зреет уже не один творческий ум для грядущего столетия, долг, лежащий на мне, превращается в удовольствие, но вместе с тем я чувствую, как суров и важен этот долг во всем его объеме» (IV, 9). Как видим, Шиллер трактует тему наглядно и в неразрывной связи с жизнью: «Учебный план ученого, работающего ради хлеба насущного, отличается от учебного плана, который составляет себе философский ум» (IV, 10) — здесь затрагивается извечная дилемма всех, кто изучает науки.

Далее Шиллер непосредственно обращается к предмету своей лекции. Рассказывая об открытиях европейских мореплавателей, об их встречах с «дикарями» (Шиллер не упоминает при этом о соприкосновении европейцев с высокоразвитыми культурами других народов — ацтеков, инков, китайцев), он рисует ужасающую картину страха и безграничного произвола и тут же, круто переменяя ход мыслей, замечает: «Такими были и мы. Восемнадцать столетий тому назад Цезарь и Тацит нашли нас не в лучшем состоянии» (IV, 16).

Далее следует беглый обзор этих восемнадцати веков, пронизанный твердой верой в прогресс. И странно звучит для наших ушей хвала, пропетая Шиллером своему времени — мол, сколь многого достигли мы в конечном счете! Даже об анемичной «Священной Римской империи германской нации» отозвался он благосклонно: «Тень римского императора, которая сохранилась по эту сторону Апеннин, творит для мира несравненно больше добра, чем страшный его прообраз в Древнем Риме, потому что она поддерживает полезную государственную систему *единодушием...*» (IV, 18).

Состояние Европы в современную ему эпоху Шиллер живописует с удовлетворением: «Мир охраняется теперь постоянной готовностью к войне, и эгоизм одного государства стоит на страже благоденствия другого. Общество европейских государств превратилось как бы в одну большую семью. Ее члены могут еще враждовать друг с другом, но, надо надеяться, уже не смогут разорвать друг друга на части» (IV, 18). (Ровно через семь недель после того, как новый профессор Йенского университета нарисовал эту картину, разразилась Великая французская революция, за которой последовал долгий период войн, завершившихся лишь спустя десять лет после смерти Шиллера.)

Вслед за этим приводилось несколько красноречивых примеров из всемирной истории, сведения об источниках и наконец — искренний совет взяться за изучение истории, которое дарит разуму свет и воспламеняет сердце благотворным энтузиазмом. И напоследок — вновь похвала современной Шиллеру эпохе: «Все прошлые века, не сознавая того или не достигая цели, напряженно работали над тем, чтобы подняться до нашего человеческого века» (IV, 28).

Йена была приятным городком, расположенным «в прелестной местности, окруженной высокими горами», как сообщал старый справочник (1735 года издания), в котором упоминались и красивый здешний каменный мост, и полезные травы, произрастающие в горах. Красотой пейзажей, непринужденностью своего быта Йена необыкновенно привлекала многих. Эрнестина Фосс писала Г. Кр. Бойе: «Едва ли найдется другой такой город, где всякий может жить, как в Йене, единственно сообразуясь со своими желаниями».

Шиллер с удовольствием поселился здесь; город сразу понравился ему. 30 мая 1789 года он писал Каролине и Лотте: «Впрочем, в Йене я веду жизнь более приятную, нежели в Веймаре или в любом другом месте, где прежде доводилось мне жить. Сама мысль о том, что я здесь живу, уже радует меня, и крепнет моя связь с окружающим миром, потому что здесь я вместе с другими — часть единого целого. Всякий визит ко мне молодых людей или профессоров, любое дело, в которое я благодаря этому оказываюсь вовлеченным, вновь пробуждает у меня эту мысль и возобновляет удовольствие, доселе мне неизвестное».

На первые три лекции Шиллера был огромный наплыв слушателей: в аудиторию Грисбаха, в переднюю и в вестибюль набилось около пятисот человек — должно быть, больше половины студентов со всех факультетов университета. Четвертая лекция не состоялась из-за болезни лектора. После этого студенты уже не толпились у кафедры Шиллера. На некоторых из последующих лекций — увы, их все чаще приходилось отменять из-за болезни профессора — порой присутствовало десятка три слушателей, не больше. После вступительной лекции Шиллер в том же семестре прочитал лекции о первых законодателях — Моисее, Ликурге и Солоне. Слушатели ощутили силу и пламень его мысли. Между тем известно свидетельство некоего Франца Хорна * (хоть свидетельство это и передано ему третьими лицами, но оно заслуживает доверия), отмечавшего некоторые недостатки Шиллера-лектора — «в частности, избыток патетики, декламации, неспособной, однако, скрыть пробелы в знаниях профессора. Было очевидно, что даже наиболее интересное из рассказанного было прочитано им совсем недавно, быть может, всего лишь вчера». Профессор Шиллер, пожалуй, не стал бы опровергать это суждение — по крайней мере в той его части, которая касается поспешной подготовки к лекциям и пробелов в знаниях лектора. Завершился семестр в середине сентября.

Планы женитьбы, а затем и семейная жизнь — об этой перемене в жизни Шиллера пойдет речь в следующей главе — вынуждали Шиллера одновременно с чтением лекций в университете еще более настойчиво искать возможности дополнительного заработка. Ведь его профессорская должность до поры до времени оставалась неоплачиваемой, и потому, как ни приятно ему было ощущать себя «частью единого целого», он тем не менее стремился изменить свое положение к лучшему. В октябре Шиллер, правда, отклонил предложение стать профессором «философских и изящных наук» в лицее, который только создавался во Франкфурте-на-Майне. В то же самое время

он тщетно добивался оплачиваемой должности у коадьютора Карла фон Дальберга, впоследствии архиепископа Майнцского, который по большей части жил в Эрфурте, расположенном неподалеку от Йены. Перед Шиллером стояла, таким образом, двойная задача: добиться, чтобы ему оплатили преподавание в университете, а следовательно, и впредь серьезно заниматься преподавательской работой, и одновременно продолжать, следуя глубокой внутренней потребности, свою литературную деятельность, по возможности на выгодных условиях. Первым делом Шиллер осуществил издание собственных лекций, которые, таким образом, оказались в продаже.

Кое-какие доходы мог к тому же дать журнал «Талия», в седьмом номере которого, в мае 1789 года, появилось продолжение «Духовидца». Восьмой номер журнала вышел лишь осенью, но в нем уже три произведения принадлежали перу Шиллера: перевод из Еврипида, статья об «Эгмонте» и очередное продолжение «Духовидца». В девятом выпуске, за январь 1790 года, редактором которого был Губер, шиллеровских сочинений нет. В десятом номере, вышедшем в конце лета 1790 года, напечатана лекция Шиллера о законодательстве Моисея. Его же вступительная лекция, правда в переработанном виде, появилась в журнале «Тойчер Меркур».

Некто Мауке задумал новое периодическое издание под названием «Собрание исторических мемуаров». Шиллер работал над материалами для этого издания с поистине бешеной энергией, но и требовал за них солидных гонораров. Мауке писал Бертуху 9 января 1790 года: «Вчера был я у господина профессора Шиллера, поскольку он прислал мне письмо, требуя деньги за второй том; как явствует из прилагаемой расписки, я выплатил ему 51 талер, но он желает получить еще столько же в ближайшее время... Вообще, я заметил, что господин профессор весьма нуждается в деньгах. Он тут же сделал мне новое предложение: он желал бы издать целый трактат по своим лекциям, и рукопись у него уже готова, однако напечатать ее представляется возможным лишь через полгода. Тогда он потребовал, чтобы я выплатил ему вперед половину гонорара, а в качестве залога намерен вручить свою рукопись».

И еще одно издание — «Исторический календарь для дам»; Шиллер затеял его вдвоем со своим верным другом Гёшеном. Главным трудом в нем должна была стать история Тридцатилетней войны. Шиллер в ту пору вкушал первые, истинно блаженные недели супружеского счастья и пребывал в прекрасном расположении духа; он не стал просить своего друга и издателя об авансе за труд для календаря, вместо этого он беспечно сообщил ему, что ради упрощения дела выписал на его имя вексель на сумму в 275 талеров. Шиллер не знал, что Гёшен находился тогда в крайне стесненных обстоятельствах: Кёрнер только что вышел из его издательства, а еще один участник предприятия, Бертух, после неудачи на ярмарке «Михаэлисмессе» в 1789 году удалился от дел и, не считаясь с тяжелым положением ком-

паньона, потребовал, чтобы ему немедленно вернули его долю. Гёшен, стало быть, никак не мог помочь Шиллеру, но каким-то образом — дальнейшая переписка по этому поводу не сохранилась — все же удалось договориться с кредиторами. Спас обоих — как автора, так и издателя — коммерческий успех Дамского календаря. Шиллер отчаянно запаздывал с присылкой материала, хотя неделю за неделей трудился как одержимый: «Работаю по четырнадцати часов в сутки, пишу, читаю», — сообщал он 18 июня 1790 года Кёрнеру. Однако в конце концов календарь все же был готов к сроку. Гёшен, только что вырвавшийся из тисков досадных денежных затруднений, заплатил ему настолько щедрый гонорар, что Шиллер счел нужным поблагодарить его в следующих выражениях: «Вы не заплатили мне, а наградили меня, превзойдя любые ожидания даже самого ненасытного автора».

Но вернемся к осени 1789 года. Этот год сыграл огромную роль во всемирной истории. И поэтому здесь стоит упомянуть еще одно имя — вспомнить гостя, который навестил Шиллера по пути из Парижа: это был еще довольно молодой человек по фамилии Шульц, романист и путешественник. Вечером 30 октября Шиллер в заметно приподнятом настроении писал Каролине и Лотте: «Шульц рассказывает весьма занимательные подробности о парижском бунте — дай только бог, чтобы все это оказалось правдой! Боюсь, он сейчас упражняется в сочинении небылиц, а уж когда сам всему этому поверит, сразу же и напечатает». В том же шутовском духе Шиллер продолжал: «Кое-что из того, что мне запомнилось, я вам сейчас расскажу — при дворе эти истории будут иметь успех». Далее следовали истории о том, как король, которому подсунули кокарду, взял ее в рот, чтобы освободить себе руки и аплодировать вместе со всеми; анекдот о словах, сказанных королю мелочной торговкой, державшейся с ним запанибрата; рассказ о смятении самого Шульца, когда толпа подвыпивших людей прямо на улице вложила ему в руки ружье и объявила его своим предводителем; и еще одна история про короля, который после волнений во дворце получил на завтрак лишь каплю кислого вина и немного черного хлеба...

Подобные анекдоты забавляли и пленяли Шиллера, хоть он и сильно сомневался в их достоверности. Однако, судя по всему, что известно нам ныне, он в ту пору нисколько не догадывался, что совершилось событие, которому суждено было изменить мир и произвести замешательство в «большой семье европейских государств». Поистине странное впечатление производит явная — или же кажущаяся — слепота этого гениального человека, который был к тому же страстным историком, непонимание им величайших событий его времени. Рассказывали, будто еще в бытность свою в Карлсшуте он оставался безучастным, когда его приятели взволнованно обсуждали отпадение североамериканских колоний от Великобритании *. Правда, впоследствии он с большим вниманием отнесся к Французской революции. И уж вовсе непостижимо, что Шиллер словно бы не заметил Бонапарта, захватывающее восхождение которого к императорскому трону совершилось еще при его жизни.

Преподавательская деятельность ничем особенным не порадовала Шиллера, если, конечно, не считать первых счастливых шестнадцати-семнадцати дней. В ноябре 1789 года с ним приключилась особенно досадная неприятность. Формально Шиллер был назначен экстраординарным профессором философии; в предварительном объявлении он, однако, успел назвать себя профессором истории. Этим весьма оскорбился его коллега, профессор Генрих, и не нашел ничего лучшего, как поднять шум в тот самый день, когда Шиллер отмечал свое тридцатилетие.

«Эта жалкая перебранка нынче вконец испортила мне настроение и развеяла всю радость; она еще живее напомнила мне о том, что я торчу здесь, и притом без всякой надобности и пользы», — писал он в день своего рождения Шарлотте и Каролине. Как бы ни называлась его профессура — ординарной или экстраординарной, — нелепость всей этой школярской системы вновь бросилась поэту в глаза, когда один из студентов, совсем еще молодой человек, вручил ему первый платный взнос за его лекции, «что показалось мне предельно смехотворным. По счастью, студент оказался новичком и смутился еще больше моего. Тут же он поспешил уйти».

После идиотского протеста профессора Генриха факультет, кое-как соблюдая приличия, уладил это дело: Шиллеру «в частном порядке» разъяснили юридическую сторону вопроса, о чем, кстати, излишне было бы позаботиться уже 6 мая, когда Шиллер обосновался в Йене.

Это смехотворное происшествие оказалось той каплей, которая переполнила чашу терпения Шиллера, и без того до предела раздраженного своим профессорским амплуа, длившимся уже полгода. Выше уже говорилось, что он подумывал о перемене своего положения, возлагая при этом особые надежды на коадьютора Карла фон Дальберга, брата его хорошего знакомого — интенданта Мангеймского театра. Странный человек был этот «Дальберг, пекущийся о всяком благе» (так сказал о нем Гёте). Имперский барон Карл фон Дальберг, родившийся в 1744 году, уже начиная с 1772 года был коадьютором архиепископа и заместником Майнцкого курфюрста в Эрфурте. Впоследствии стал он и курфюрстом Майнцским, а после развала старой империи — главой князей Рейнского союза (чем навлек на себя гнев новоиспеченных тевтонских патриотов) и на протяжении нескольких лет, покуда существовало это временное государственное образование, был также великим герцогом Франкфуртским. Дальберг всегда ревностно покровительствовал искусству и наукам, хоть сам и не обладал ни широкой образованностью, ни даже элементарным вкусом. Не был он наделен и той осмотрительностью и — одновременно — напористостью, с которыми его младший брат руководил Мангеймским театром. Однако в то бурное время судьба щедро одарила его высокими званиями и должностями. И он беспечно плыл по волнам бурного моря жизни, будто позолоченный, надутый одним лишь воздухом шар. Когда же буря улеглась, его отнесло в спокойную, тихую заводь, где Дальберг прожил совсем недолго и умер в бедности, потому что всю жизнь щедро раздаривал свое состояние

нуждающимся. Конечно, его не назовешь великим человеком, но второй такой вряд ли отыщется среди немцев.

Карл фон Дальберг представлялся Шиллеру важным лицом — ведь он был знаком и с Лоттой, и с Каролиной и весьма расположен к ним, особенно к последней. В письмах сестер человек этот звался не иначе как «клад» или «золотой клад, сокровище», как коадьютор Майнцский он мог рассчитывать на самую первую роль в имперском союзе. В ту хмурую осень 1789 года Шиллер надеялся, что благодаря посредничеству коадьютора ему, возможно, удастся получить должность в «столь роковом Мангейме», в Гейдельберге или в Майнце. Да, человек, чье здоровье навсегда подточено лихорадкой, подхваченной в мангеймских болотах, велит невесте утешать себя надеждой на благодатное покровительство тамошних небес... Надежда звучит и в письме Каролины от 15 ноября, хоть в нем ничего и не сказано по существу: «Одним словом, в Майнце у нас твердые виды, как только он станет курфюрстом — он не из тех, кто отказывается от своих слов. И виды эти радуют меня чрезвычайно. Кoadьютор всегда рад встретиться с тобой, тебе стоит подумать о том, чтобы его навестить. Мне хотелось бы, чтобы ты стал его другом, он этого достоин, и у него тысячи приятных черт, которые соединят вас узами дружбы». «Как только он станет курфюрстом». Дальберг стал им лишь спустя тринадцать лет.

Встреча коадьютора с Шиллером состоялась в начале декабря, и произошла на большом званом вечере у герцога Карла Августа. На вечер были приглашены все йенские профессора. Карл Август, «мой герцог», как часто называл его Шиллер, после того как стал надворным советником в Веймаре, до сей поры нисколько не интересовался судьбой своего нового подданного — разумеется, не из какой-либо личной антипатии, а исключительно по причине полного равнодушия к университету как таковому; в те дни прусская военная служба привлекала его куда больше хозяйничанья в своем родовом владении. Да и сам Шиллер на этом приеме нисколько не старался завязать беседу со «своим герцогом», а искал общества Дальберга, хотя «в столь большом и разнородном обществе не приходилось и помышлять о частной беседе».

Однако именно герцог, который то и дело вмешивался в беседу Шиллера с коадьютором, как-никак вскоре принял необходимые меры и выручил Шиллера из самого затруднительного положения, что заставило поэта остаться в своей должности профессора. Еще в декабре Карл Август узнал от госпожи фон Штайн о помолвке Шиллера с Лоттой фон Ленгефельд, и умная Штайн, должно быть, не упустила случая пояснить, насколько будущему супругу необходим твердый оклад. А ведь еще 12 декабря Шиллер писал Кёрнеру: «Отрадно мне было узнать, что и у тебя тоже университетские порядки вызывают отвращение; только в последних моих письмах к тебе мне не хотелось прямо говорить, что весь этот образ жизни, все эти неизбежные обстоятельства, неотделимые от профессуры, глубоко мне противны, но если бы эта жизнь сулила хоть какие-то, пусть самые ничтожные, материальные выгоды, я бы счел обязанным с ней

смириться... Однако... я очень мало верю в щедрость моего герцога».

Все же, поддавшись уговорам, он 23 декабря обратился к герцогу с письменным ходатайством о твердом окладе; от госпожи фон Штайн через сестер Ленгефельд Шиллер быстро получал необходимые вести и советы. В первый же день Нового года — сестры Ленгефельд как раз гостили на праздниках в Веймаре, куда вместе с ними приехал и Шиллер, — герцог пригласил поэта к себе и пообещал назначить ему годовое жалованье в размере двухсот талеров. Это и был тот минимум, на который рассчитывали, на который надеялись молодожены, — с его помощью отныне можно было как-то сводить концы с концами в семейном бюджете. Шиллер принял это предложение. При его обостренном чувстве порядочности и собственного достоинства на самочувствии поэта благотворно сказалось явное смущение герцога: увы, сказал тот, большего он не может ему предложить — «понизив голос и с растерянным видом».

В новом году Шиллер мог продолжать чтение лекций, уже не испытывая столь мучительного душевного гнета. Кстати, может, именно потому, что убавилось бремя и дух его стал свободнее, Шиллер в эту зиму отказался от зачитывания по бумаге заранее заготовленных лекций и перешел к свободному изложению предмета, что само по себе было большим положительным сдвигом, учитывая его прежнюю лекторскую манеру. Он читал курс всеобщей истории «от франкских королей до Фридриха II», а также «Историю Древнего Рима». Вероятно, второй курс, прочитанный, кстати, публично, был наилучшим из этих двух — ведь человек, знакомый с латынью, можно сказать, с молодых ногтей, должно быть, хорошо представлял себе жизнь древних римлян.

В новом семестре, с середины мая, наряду со своим обязательным курсом всеобщей истории Шиллер начал также читать курс «теории драмы», в основу которого он полностью положил свои собственные идеи и собственный опыт работы в театре. Лотта, его молодая жена, слушала лекции из соседней комнаты. Временами казалось, что университетская кафедра и впрямь может стать одним из орудий его духа. «Хотя образцовым профессором я никогда не стану, однако же и не это поприще уготовила мне судьба» (из письма Кёрнеру от 16 мая).

И правда, Шиллер так и не стал образцовым профессором. Йенская профессура оказалась для него лишь ступенью на жизненном пути — само это сравнение уже раскрывает ее роль: ступень важна лишь в миг, когда идущий на нее взобрался, но уже спустя секунду она всего лишь трамплин для следующего шага. И не высокими должностями, не величиной доходов измеряется успех восхождения. Это постепенное раскрепощение духа, растущая способность гения преодолевать все напасти судьбы. Любой обыкновенный человек обязан честно исполнять свой долг на вверенном ему посту, но нет такой обязанности у гения — он должен следовать иному предназначению. (Правда, на эту привилегию чаще всего претендуют люди бестолковые, ошибочно возомнившие себя гениями.)

Семестр, начавшийся в октябре 1790 года, стал последним упорядоченным семестром в преподавательской деятельности Шиллера. Он представил обширную программу лекций: «История европейских государств» — пять часов; публичная лекция об истории крестовых походов; «Всеобщая история средних веков и нового времени» — пять часов. Этот курс, однако, так и не был прочитан. Зимой лекции не раз отменялись из-за тяжелой болезни Шиллера, а 2 марта он подал заявление с просьбой освободить его от чтения лекций в летнем семестре. На этом все почти что и кончилось. Зимой 1792—1793 годов Шиллер еще читал у себя на дому курс эстетики, собрав десятка два слушателей. Он продолжил этот курс и в следующем семестре, однако вряд ли он успел прочитать больше двух-трех лекций. За этим последовала длительная поездка в Вюртемберг. Когда Шиллер возвратился оттуда, в Йенском университете изредка еще объявлялись его лекции; ни одна из них, однако, не состоялась.

ПОМОЛВКА И ЖЕНИТЬБА

«Итак, свершилась наша разлука! Мне трудно поверить, что миг, которого я столь долго страшилась, теперь уже миновал. Пока еще мы видим одно и то же, одни и те же горы окружают нас. Но неужели же завтра этому суждено измениться? Да пребудут с вами всегда духи добра и веселья и да окутает вас мир блеском красоты, бесценный друг! Так хочется сказать вам, сколь дорога мне ваша дружба, сколь безмерно радуется она меня. Но, надеюсь, вы чувствуете это и без слов. Вы же знаете, что я скупа на слова, не умею выражать свои чувства и объяснять их другим. Но поверьте, от этого я не меньше ценю вашу дружбу. Присылайте мне весточки так часто, как только сможете, как только будет у вас к тому охота, чтобы я могла следить за полетом ваших мыслей и не отвыкала от них. Это и смягчит боль разлуки, и доставит мне много счастливых мгновений. Доброй ночи вам! Доброй ночи! Будьте здоровы и счастливы, как желаю вам этого я. Вспоминайте обо мне почаще и с приязнью. Adieu! Adieu!»

Так писала Лотта фон Ленгефельд в дни, когда настал конец летнему отдыху Шиллера в Фолькштедте, а с ним и близкому соседству, подарившему Шиллеру и двум его приятельницам — сестрам Каролине и Лотте — долгие часы общения и чувство, весьма близкое к счастью. Спустя два дня Шиллер отвечал Лотте из Веймара:

«Мою первую же спокойную минуту я посвящаю вам. Я только что возвратился домой после того, как весь день повсюду таскал свое бременное тело, навещая разных людей, и за этот труд я вознаграждаю себя оживленными раздумьями о дорогих приятельницах моих, коих мне не довелось увидеть нынче, к чему я покамест никак не могу привыкнуть. Нынче первый день, который я прожил без вас. Ведь еще вчера я мог созерцать ваш дом и дышал одним воздухом с

вами. Я не в силах представить себе, что миновало лето, что уже не вернутся полные одухотворенности вечера, когда, окончив свой дневной труд и отложив в сторону бумаги, я спешил к вам, чтобы в вашем обществе насладиться жизнью. Нет, я не могу, да и не хочу вообразить, что отныне нас разделяют мили и мили. Все здесь сделалось мне чужим; чтобы чувствовать к чему-то интерес, надо, чтобы в этом участвовала душа, — душа же моя осталась с вами. Я здесь словно оторван от всего самого дорогого...»

Так говорил с Лоттой Шиллер в ноябре 1788 года. Последующие же месяцы сопровождались такой обильной перепиской, какую лишь редко оставляли нам замечательные люди прошлого. Три человека беспрестанно обменивались письмами, ведя друг с другом нескончаемый разговор. Разговор этот вели не просто Он и Она, а трое: мужчина и две женщины. Это последнее обстоятельство дало современникам Шиллера, даже таким почтенным, как Вильгельм фон Гумбольдт и его невестка Каролина фон Дахерёден, отличный повод для пересудов, да и не одного человека побудило впоследствии взяться за перо. А «ведь и пересудами не стоит пренебрегать», как однажды заметил старик Фонтане в своем «Штехлине». Впрочем, ничего столь уж необычного не было в этом обстоятельстве, хоть оно временами и доставляло участникам треугольника немало тревог.

Выше уже говорилось о том, какими разными были сестры Ленгефельд: старшая обладала натурой сильной и страстной, младшая была трогательна в своей свежести и невинности. Возможно, что Каролина больше привлекала друга дома — Шиллера как женщина, чем Лотта в ее девичьей простоте. Однако, хоть поэт и испытал на себе известное влияние более свободных взглядов, в ту пору распространившихся в обществе, все же он не мог не ощущать постоянной преграды между собой и замужней Каролиной, тем более что он был знаком с ее — пусть нелюбимым — мужем и по-своему его оценил. А Каролина, даже находясь под обаянием Шиллера, все же хранила в душе неутоленную тоску по Вильгельму фон Вольцогену; образ его всегда жил в ее сердце. Но если считать, что были предпосылки для пылкого романа Шиллера с Каролиной, такому при всех условиях воспрепятствовала бы госпожа фон Ленгефельд, или, как называли ее дочери, «*chère mère*». Разумеется, Шиллер должен был понимать, да и наверняка понимал, что навсегда войти в эту семью он мог, лишь женившись на Лотте.

Эта неопределенность, захватывающая напряженность и сложность его отношений с сестрами Ленгефельд несколько не смущала Шиллера: «Сколь прекрасна дружба, дарованная нам провидением! Слова бессильны выразить всю нежность этих отношений, но тонко и остро чувствует ее душа».

Брак с Лоттой отнюдь не положил конец этой дружбе. Всю свою жизнь любя жену, Шиллер неизменно глубоко чтил также свояченицу, даже и после того, как, расторгнув неудачный брак с Бойльвицем, Каролина наконец обручилась с предметом своей первой любви — кузенном Вольцогеном. Насколько известно, никогда между сестрами

не возникало из-за этого вражды. И если между ними и существовало известное соперничество в смысле духовного влияния на Шиллера, то ему это должно было быть лишь приятно и лестно, и никак не мучительно.

В литературе о Шиллере этот период порой называют временем «двойной любви» или уж вовсе мелодраматично — временем «двойного жениховства»; так или иначе, обстоятельство это не ускорило решения поэта о женитьбе. Его друг Кёрнер подходил к этому вопросу трезво и хладнокровно, как в ту пору было принято в свете: он считал, что Шиллеру надо или вообще отказаться от женитьбы, или же поправить свои дела браком по расчету. Прибегнув в своем ответе Кёрнеру к грубому тону, некогда усвоенному им в бытность свою полковым лекарем, Шиллер для вида вторит ему: «Если бы ты мог в течение года найти мне жену с приданым в двенадцать тысяч талеров, с которой я мог бы жить и к которой я мог бы привязаться, я дал бы тебе в ближайшие пять лет одну фридрициаду, одну классическую трагедию и — раз уж ты так помешался на этом — полдюжины хороших од, а тогда академия в Йене может лизать мне...» (8 марта 1789 г., VII, 203—204).

С помощью такого рода выходок он пытался скрыть от Кёрнера свои истинные чувства, давно проснувшиеся в его душе, и этим же объясняется некоторое — временное — охлаждение в дружбе обоих мужчин.

С тех пор как «*schöne mère*» стала фрейлиной при герцогском дворе и переселилась в замок Хейдексбург, в доме, где жили сестры, сделалось непривычно тихо — тихо и скучно, тем более что Бойльвиц часто бывал в отъезде, хоть это и радовало Каролину. Должно быть, скука и побудила сестер предпринять летом 1789 года поездку на воды в Лаухштедт...

Лаухштедт, поселок, расположенный неподалеку от Лейпцига, около Галле, в местности, не могущей похвастать живописностью («ни-какого пейзажа», как однажды сказал Зольгер * об одном из уголков страны), получил в дар от природы могучий целебный источник и стал в ту пору модным курортом, процветанию которого немало способствовал саксонский двор. Дворец, в котором размещалась высшая знать; павильоны, где пили целебные воды и принимали ванны; колоннады, просторный курзал — все это в сочетании с аллеями и пышными садами придавало захолустному городку облик герцогской резиденции в миниатюре (нынешний Лаухштедт — зеленый остров посреди безрадостного индустриального пейзажа, и притом образец бережного ухода за памятниками старины). Знаменитый театр, воздвигнутый по проекту Гёте, появился немного позднее. Словом, курорт переживал пору своего расцвета. Дрезденские придворные, лейпцигские купцы, профессора из Лейпцига, Галле и Йены, сохраняя между собой необходимую дистанцию, спешили по аллеям Лаухштедта в павильоны, где пили целебную воду и принимали ванны. Местная вода, с ее высоким содержанием железа, слыла чрезвычайно полезной — слава ее, порожденная научными трактатами, в дальнейшем поддерживалась восторженными отзывами гостей курорта. Тайный

советник Гофман, тот самый, который изобрел капли Гофмана, первым воспел Лаухштедт во всеуслышание. Каролина и Лотта провели здесь полтора месяца. Как знать, быть может, Лотта прочитала где-то, что местный источник творит чудеса, исцеляя наряду со многими другими недугами также и «женское малокровие».

Сестры выехали в Лаухштедт 10 июля. Во второй половине дня они прибыли в Йену — первый город, где они сделали остановку на своем пути, — и расположились в доме Грисбаха. Все трое — Шиллер, Каролина и Лотта — жили в радостном предвкушении этой встречи: «Вы уж устройте, чтобы нам побольше видеться с вами, а не то в Йене нас непременно охватит мрачное настроение», — просила Шиллера 6 июля Каролина.

Но увы, в силу неблагоприятного стечения обстоятельств сестрам не удалось избежать этого приступа мрачного настроения. И 13 июля Лотта пишет Шиллеру: «...Сколько всего надеялась я услышать и узнать от вас в Йене, но злая судьба воспротивилась этому, и мне так мало довелось с вами говорить. Не хочется вспоминать, как погасла моя радость, моя надежда на долгие беседы с вами; то была жестокая игра случая, и мне нелегко будет забыть этот злоеющий вечер».

По каким-то неожиданным и, должно быть, неотвратимым причинам Шиллеру удалось освободиться лишь под вечер, но в доме у Грисбаха он застал большое общество, в том числе — ни больше ни меньше — самого Гёте, да еще и Кнебеля, в свое время имевшего виды на Лотту. Нет сомнения, что вечер этот был мучительным для всей троицы, спаянной узами нежной дружбы. «Зловещим» назвала его Лотта. Возможно, ее тяготило и пугало присутствие Кнебеля. Но можно предположить и другое: что и эта вторая встреча Шиллера с Гёте оказалась прохладной. Впрочем, может, в словах Лотты и не следует искать ничего иного, кроме разочарования: каково, должно быть, наконец-то вновь увидеть того, с кем давно жаждешь встречи, но в свете светского раута лишиться возможности по-настоящему общаться с ним!

На другое утро Шиллер долго сопровождал верхом карету сестер, однако развеять тяжелый осадок, оставшийся от вчерашней встречи, ему не удалось.

В самом начале его жизни в Йене душевное состояние Шиллера было подвержено резким колебаниям. Сама Йена поначалу произвела на него крайне приятное впечатление. Триумфальный успех его первых трех лекций воодушевил его. Однако уже 24 июля, спустя две недели после той самой неудавшейся встречи с сестрами Ленгефельд, Шиллер в очередном письме в Лаухштедт с горечью признавался: «Сказать по правде, каждый день я совершаю одно прискорбное открытие за другим, вижу, что нелегко мне будет ужиться со здешней публикой. Уж очень расхожий товар вокруг...»

Но прошло лишь несколько дней, и, собираясь в Лаухштедт проездом через Лейпциг, поэт отправил своему другу и издателю Гёшену, пригласившему Шиллера остановиться у него, самое что ни на есть веселое письмо, хоть и писал его, помня о своей вине перед адреса-

том — ведь он до сих пор не прислал ему обещанного труда для Дамского календаря:

«От души буду рад, дорогой друг, вновь увидиться с вами и познакомиться с вашей милой женой. Однако сейчас, когда мне так стыдно моей вины перед вами, я, право, не в силах принять ваше любезное предложение остановиться у вас. Ваша доброта была бы все равно что раскаленный пепел на мою грешную голову, а ваши столы, стулья, шкафы, домашние туфли, а также кровать, в которой вкушал бы я сон, громовым голосом читали бы мне устрашающие нотации насчет ответственности автора перед издателем... А стало быть, я намерен лишь напроситься к вам в гости на чашку кофе или тарелку супу и убедительно прошу вас не садиться напротив меня, чтобы глаза ваши, памятуя о моих прегрешениях, не разевали, глядя на меня, свою немую пасть, — пользуясь выражением Шекспира...»

В минуты безмятежности, в общении с близкими ему людьми, Шиллер излучал светлый юмор.

Своеобразно протекал короткий визит в Лаухштедт, по-новому осветив странную дружбу мужчины с двумя женщинами; последствия его между тем оказались чрезвычайно благодатны. Шиллер, в душе которого тем временем уже созрело решение жениться, застал свою Лотту в настроении, которого никак не ожидал, и при виде ее холодного спокойствия не нашел в себе мужества для решающего объяснения с ней. Каролина, однако, сказала ему, что за кажущимся равнодушием Лотты таится пылкая привязанность, что младшая сестра ждет признания любимого друга. Но Шиллер не посмел произнести слова признания и лишь по прибытии в Лейпциг доверил их бумаге:

«Правда ли это, бесценная Лотта? Могу ли я надеяться, что Каролина прочла в вашей душе и ответила мне так, как ответило бы ваше сердце на то, в чем я не осмеливался признаться? О, как тягостна стала мне эта тайна, которую я должен был хранить с тех пор, как мы узнали друг друга! Часто, когда мы еще жили вместе, я собирал все свое мужество и приходил к вам с намерением открыть ее, но мужество всегда покидало меня. В моем желании мне мерещилось себялюбие, мне казалось, что я имею в виду только *мое* счастье, и эта мысль отпугивала меня. Если бы я не мог стать для вас тем, чем вы были для меня, мое страдание опечалило бы вас и я своим признанием разрушил бы прекрасную гармонию нашей дружбы, я потерял бы и то, что имел, — вашу чистую дружбу сестры» (VII, 222).

Это письмо Шиллер отослал утром 3 августа. Вечером того же дня он вновь взял за перо, теперь уже обращаясь к обеим сестрам: «Нынешний день — первый, когда я чувствую себя вполне, вполне счастливым...» (VII, 223).

Затем он заводит речь о Кёрнере, приехавшем в Лейпциг:

«Милые, дорогие подруги, я только что расстался с моим Кёрнером — моим и, конечно, также вашим, — и в первой радости нашего свидания я не в силах был умолчать о том, что заполняет всю мою душу» (VII, 223).

Шиллер излил душу Кёрнеру, и на этот раз друг не стал охлаждать пыл влюбленного и делиться с ним своими соображениями насчет женитьбы. А все же хитроумный и умудренный опытом Кёрнер вплоть до того часа, когда Шиллер окончательно решил жениться на Лотте, играл в matrimониальных планах поэта в какой-то мере роль Мефистофеля. Всего лишь месяца три назад Кёрнер настойчиво рекомендовал своему другу некую богатую бюргерскую девицу по фамилии Шмидт: вздумай Шиллер жениться на ней, это был бы классический брак по расчету. Словом, нынче все встретились в Лейпциге: супруги Кёрнер, Шиллер, сестры Ленгефельд, и всей компанией совершили прогулку в Долину Роз. В простоте душевной Шиллер много ожидал от этой прогулки, надеясь, что она необыкновенно сблизит его друзей, но увы, между ними так и не промелькнула искра взаимной симпатии. А его последующее долгожданное общение с супругами Кёрнер в Йене тоже завершилось чем-то вроде легкой размолвки.

5 августа Лотта писала своему будущему мужу:

«Дважды уже начинала я мое письмо к вам, но всякий раз мне казалось: чувства слишком переполняют мое сердце, чтобы мне удалось их выразить. Да, Каролина читала в моей душе и передала вам ответ моего сердца. Одну лишь светлую, сияющую мечту лелеет моя душа — способствовать вашему счастью. И если залог этого счастья — глубокая, искренняя любовь и дружба, тогда горячее желание видеть вас счастливым будет исполнено».

Бедная Лотта — долгие и нелегкие месяцы пришлось ей пережить, прежде чем состоялась свадьба. Холодность такого выдающегося человека, как Кёрнер, могла показаться ей оскорбительным пренебрежением. А ее мать, *chère mère*, с которой сестры чрезвычайно считались, не была посвящена в свершившееся, и предстояло еще долго все от нее скрывать. Уже одно это невыносимо тяготило прямодушную Лотту; «Я истину люблю, как самое себя» — эти слова Юдифи в «Зеленом Генрихе» * полностью применимы к ней. Серьезно огорчало ее и другое: да, она станет женой Шиллера, но ни он, ни Каролина не намерены выйти из тройственного союза, который до сей поры и Лотте представлялся чем-то неизбежным, а теперь ей втайне хотелось, чтобы он распался. Временами у Лотты вспыхивало подозрение: вдруг Шиллер, в сущности, больше расположен к старшей сестре?.. И если графиня Ольга Таксис-Бардонья, хорошо знавшая женский мирок тогдашнего веймарского общества, замечает: «Время помолвки, должно быть, было для Лотты самым трудным временем в ее жизни», — то слова эти, судя по всему, справедливы.

Но и Шиллера одолевали заботы. Ведь главной причиной, из-за которой помолвку скрывали от госпожи фон Ленгефельд, была его собственная материальная необеспеченность, а ведь если до сей поры он один выносил все тяготы бедности, то отныне на карту были

поставлены его общие с Лоттой надежды и более того, как полагал Шиллер, — его честь.

И вот теперь, когда он уже сделал выбор, другая женщина предъявила на него свои права, не желая быть забытой. Речь идет о Шарлотте фон Кальб, с которой поэт был близок в бытность свою в Мангейме, о той, что так умно и заботливо ввела его в тесный мир веймарского общества, об этой одинокой, преследуемой горем женщине, хоть еще и не старой (напоминаем: она была моложе Шиллера). Как раз в ту пору Шарлотта в мечтах цеплялась за человека, которого, в сущности, давно уже потеряла, и даже советовалась с Гердером о том, как расторгнуть свой злополучный брак.

Но Шиллер в душе давно отдалился от нее. «Долгое ее одиночество в сочетании с присущим ее натуре своенравием привели к тому, что мой образ запечатлелся в ее душе прочнее и глубже, чем ее образ — в моей» — так холодно и рассудительно писал о ней поэт. В сентябре 1789 года фон Кальб как-то раз собралась было приехать в Рудольштадт, предполагая встретиться с Шиллером у Ленгефельдов. Что-то, однако, помешало этой поездке. Шиллер писал в ту пору сестрам:

«Я рад, что она уже не сможет приехать, когда я буду у вас. Ее присутствие угнетало бы нас весь день... У нее есть все основания притязать на мою дружбу, и я не могу не восхищаться тем, как чисто и бережно она хранит в душе память о первых днях нашей дружбы, если вспомнить все те странные лабиринты, в которых нам с ней доводилось плутать. Ей ничего не известно о наших отношениях, да и судить обо мне она может лишь по опыту прошлого... Но она что-то подозревает...»

Сам по себе тот факт, что Шиллер держался от нее на почтительном расстоянии, госпожа фон Кальб толковала как проявление заботливого и нежного уважения к ней поэта. Вскоре после того, как было написано это письмо, она предприняла реальные шаги, пытаясь возродить былую близость с Шиллером, но тут ее ожидало жестокое разочарование. Между ней и поэтом произошел полный разрыв: вытребовав у него назад свои письма, она сожгла их в камине. Когда Лотта фон Ленгефельд встретила с ней у общей их приятельницы — фон Штайн, Шарлотта фон Кальб поразила ее своим состоянием глубокой подавленности: «Она напоминала человека, пережившего приступ ярости, который измучил, опустошил его...»

Почти в то же время сходная участь постигла также Шарлотту фон Штайн: и ее покинул ее гениальный друг, в надежде обрести свое счастье у тихого, скромного семейного очага. Есть ли смысл говорить о вине обоих поэтов перед этими незаурядными женщинами? Если да, то, бесспорно, тяжелее вина Шиллера: слишком многим был он обязан Шарлотте фон Кальб. Впрочем, чувство благодарности — не всегда добрый советчик.

С 18 сентября до 22 октября Шиллер отдыхал в Фолькштедте, в доме кантора Унбегауна. Однако беззаботному счастью минувшего лета не было суждено повториться. Первая неделя прошла у поэта под знаком острой зубной боли, но и в дальнейшем никак не получалось истинного веселья. И не присутствие какого-либо нежеланного

гостя «угнетало» неразлучную троицу, а досадные обстоятельства, в каких они очутились, и не один день длился этот гнет, а долгие месяцы. Хоть госпожа Ленгефельд и жила во дворце Хейдексбург, все же Фолькштедт был совсем рядом, и нелегко было нашим троицам друзьям утаивать важнейшую перемену в их жизни от этой деятельной и властной дамы, привыкшей к тому же единолично решать все семейные дела. Уже в последнем своем письме, отправленном сестрам накануне его отъезда в Фолькштедт, Шиллер предусмотрительно и чрезвычайно настойчиво наказывал обеим ни в коем случае не обделять вниманием *chère mère* в дни его пребывания на отдыхе, подчеркнуто взывал к их дочерней любви.

Эти осенние недели были полны неизвестности. Размышляя о материальной основе будущей семьи, следовало решить вопрос, должен ли Шиллер в надежде на твердый оклад остаться в Йене или же молодым лучше обосноваться в Рудольштадте, где жизнь дешевле и где можно ожидать доходов от литературного заработка поэта, освободившегося от профессуры. Рассчитывали в какой-то мере на покровительство коадьютора, на возможную должность при майнцском дворе. Кстати, Кёрнер в ту пору собирался оставить свою службу при саксонском дворе, сменив ее на такую же в Веймаре, и Шиллер также предпринял шаги в том же направлении.

Лотта, тайно помолвленная с Шиллером, терзалась также глубокими сомнениями относительно истинных чувств своего жениха — на будущий союз, таким образом, легла не только тень властной матери, но и могучая тень сестры. К началу учебного семестра Шиллер уехал в Йену.

Заботы, однако, сопровождали его повсюду. «Я готов обшарить все уголки земли, чтобы найти место, предназначенное судьбой стать обителью нашей любви», — восклицал он в письме, которое отправил сестрам в день своего тридцатилетия. Прекрасные письма жениха не могли, однако, развеять сомнения, донамавшие Лотту. В другом письме, например, Шиллер писал: «Приветствую вас, дражайшие сокровища души моей! Уже брезжит прекрасный, лучезарный день, который принесет мне ваши письма. Они необходимы мне, в тревожной тоске прожил я эту долгую, эту нескончаемую неделю; все мое существо снедает испепеляющая жажда жизни, которая мила мне лишь с вами рядом».

Поистине трудно вообразить, что такое можно писать не *одной* любимой женщине, а сразу двум. И лишь 15 ноября Шиллер наконец нашел для своей невесты верные, утешительные, все проясняющие слова:

«Ты, может быть, боишься, милая Лотта, что могла бы перестать быть для меня тем, что ты есть. Для этого ты должна была бы перестать меня любить. Твоя любовь — это все, что тебе нужно, и моя любовь облегчит ее для тебя. В этом-то и состоит высшее счастье нашего союза, что оно опирается только на себя и в простом круге вечно движется вокруг себя, и мне никогда не приходится в голову опасение когда-либо стать для вас чем-то меньшим или меньше получать от вас. В нашей любви нет ни боязни, ни настороженности —

как мог бы я между вами обеими радоваться моему существованию, как мог бы я сохранять силу своей души, если бы мои чувства к вам обеим, к каждой из вас не были исполнены сладостной уверенности, что я не лишаю одну того, что оставляю для другой! Свободно и уверенно движется моя душа между вами, и все любвеобильней возвращается она от одной к другой: тем же лучом — простите мне это гордо звучащее сравнение, — той же звездой, которая лишь раз но отражается от разных зеркал.

Каролина мне ближе по возрасту и поэтому более схожа со мной по образу наших чувств и мыслей. Она затронула во мне больше чувств и мыслей, чем ты, моя Лотта, но я ни за что не хотел бы, чтобы это было иначе, чтобы ты была иной, чем ты есть. То, в чем Каролина опережает тебя, ты должна принять от меня, твою душу должна распустилась в моей любви, ты должна стать *моим* творением, твой расцвет должен пасть на весну моей любви. Если бы мы нашли друг друга позже, ты лишила бы меня этой прелестной радости — видеть, как ты расцветаешь для меня» (VII, 236—237).

Этими строчками Шиллер снял тяжелый камень с души своей будущей жены. Правда, мы уже знаем, что у Лотты были еще и другие заботы. Отныне Шиллеру не терпится начистоту объясниться также и с *chère mère*. И он решил сделать это еще до того, как ему удалось упорядочить свои служебные и материальные обстоятельства — в этом была несомненная дерзость, на которую он, однако, отважился.

15 декабря Лотта и Каролина наконец собрались с духом и из Эрфурта покаялись матери в состоявшейся тайной помолвке — должно быть, расстояние, отныне отделявшее их от замка Хейдексбург, придало им мужества. А 18 декабря сам Шиллер написал *chère mère* письмо, в котором просил у нее руки Лотты:

«Я отдаю все счастье моей жизни в ваши руки. Я люблю Лотхен — ах, как часто это признание было у меня на устах, — не может быть, чтобы это укрылось от вас! С первого дня, как я вошел в ваш дом, милый образ Лотхен больше не покидал меня. Я угадал в ней прекрасное, благородное сердце. В столь многие радостно прожитые часы ее нежная, чуткая душа во всех обликах являлась мне. В тихом и близком обращении, чему вы сами часто бывали свидетельницей, ткалась неразрывнейшая связь моей жизни. С каждым днем росла уверенность во мне, что только с Лотхен я могу стать счастливым. Быть может, я должен был подавить это чувство, когда я еще не предвидел, станет ли Лотхен моей? Я пытался, я принуждал себя это сделать, и это стоило мне многих страданий. Но невозможно бежать от своего высшего блаженства, спорить с громким голосом сердца. Все, что могло убить мои надежды, проверял и взвешивал я за этот долгий год, когда я боролся со своей страстью, но сердце все это опровергло. Если Лотхен может найти счастье в моей искренней, вечной любви и если я вас, глубокоочтимая, могу ясно в этом убедить, то нет больше ничего, что могло бы говорить против высшего счастья моей жизни. Мне нечего бояться, кроме нежного опасения матери за счастье своей дочери, счастье же я ей дам, если только

любовь может сделать ее счастливой. А что это так, я прочел в сердце Лотхен!» (VII, 244—245).

Луиза фон Ленгефельд ответила поэту согласием с обратной почтой. Поступок весьма достойный, тем более что решение наверняка далось ей нелегко. Для этого ей надо было подавить свою врожденную гордость аристократки, да и к тому же примириться с тем, что ее Лотта и в финансовом отношении не составит себе хорошей партии. Однако *chère mère*, видимо, давно уже поняла, что сердечная дружба этого неотвязного гостя с ее дочерьми может обрести естественное и благопристойное завершение исключительно в браке с Лоттой. Внешность Шиллера вряд ли могла показаться этой суровой даме особенно привлекательной. И все же она была готова назвать поэта своим зятем, а уж одно это доказывает, что она «почувляла веяние его духа» (да простится мне эта цитата из Уланда)*.

Шиллер тотчас написал ей письмо с изъявлением глубокой благодарности, но от взволнованных сердечных излияний сразу же перешел к деловой стороне — к своему имущественному положению:

«Моя искреннейшая, невыразимейшая благодарность, достопочтеннейшая, дражайшая матушка, за блаженство всей моей жизни, которым вы меня дарите, вверяя мне Лотхен! Как я могу отблагодарить за это словами! Моя душа глубоко взволнована, слишком взволнована, чтобы я мог сейчас с полным самообладанием писать вам. Но я не могу молчать в эту минуту радости, и я должен был излить на вас всю полноту моего сердца. О, насколько дороже становится еще ваш дар от того, как вы его мне приносите! Это великодушное доверие, с которым вы вверяете мне счастье Лотхен, насколько оно приумножает мой безграничный долг перед вами! Поверьте мне, я чувствую, что вы мне доверяете, и понимаю, как трудно вам ограничить все ваши надежды на счастье Лотхен одной моей любовью. Но я чувствую не менее живо, что никогда, никогда у вас не будет причин раскаиваться в этом доверии!

Блестящего внешнего счастья я не могу предложить Лотхен ни теперь, ни в будущем, хотя у меня есть основания надеяться, что года через четыре или лет через пять я буду в состоянии создать для нее приятные условия жизни. Вы знаете, на чем основываются все мои виды — только на моем собственном трудолюбии. У меня нет таких средств, о которых вы уже давно не знали бы, но и моего прилежания *достаточно*, чтобы обеспечить нам с внешней стороны беззаботное существование.

На восемьсот талеров мы в Йене можем неплохо прожить. Мы могли бы обойтись и меньшей суммой, если бы в первые же годы умели со всем справляться. Триста талеров составляют верный доход от моих лекций, и он с каждым годом будет повышаться по мере того, как я смогу посвящать им больше часов. В ста пятидесяти или двухстах талерах мне не откажет герцог, так как год я прослужил даром. Поскольку эти деньги ему надо выдать из *своей* шкатулки, он, пожалуй, не так легко пойдет на это, но все-таки он, наверно, принесет эту маленькую жертву для моего и Лотхен счастья. Помимо этих четырехсот или пятисот та-

леров, мне остается весь доход от литературных работ, который до сих пор был моим единственным ресурсом и который с каждым годом повышается, так как мне и писать становится все легче, и платят мне за мою работу все лучше. Прежде чем приехать в Йену, я довольно легко зарабатывал каждые два года от восьмисот до девятисот талеров. То же самое возможно и теперь, без особого напряжения. И это если не считать никаких счастливых случайностей, которые могут удвоить мой доход. Такой удачей могло бы стать мое предприятие с «Мемуарами», которые обеспечили бы мне ежегодный текущий доход в четыреста талеров почти без моего личного труда. Но я сейчас не принимаю в расчет ничего такого, что зависит от удачи. Из сказанного выше вы видите, что мои отношения со здешним университетом принесут мне (в случае если герцог сделает для меня мало) четыреста талеров и мои писательские труды — столько же. А на восемьсот талеров мы можем жить.

Я не отрицаю, что 1790 год будет для меня заметно труднее всех следующих, так как в этом году мне предстоит заново разрабатывать все то, что потом будет служить мне как уже готовое. Если бы я следовал только голосу разума, я в этом году еще не стал бы помышлять о соединении (!) с Лотхен. Но как же я могу потерять целый год моего счастья? Я не смею и не хочу описывать вам, моя дражайшая матушка, как трудно был прожит мной уже прошлый год из-за моей разлуки со всем, что я любил. Даже для моего прилежания существенное условие — чтобы сердце мое наслаждалось; в союзе с Лотхен все мои занятия станут для меня легче. Вы сами чувствуете это. Мне не надо ничего добавлять. То, что я здесь изложил вам, относится только к первым годам. Но у меня есть кое-какие виды...» (VII, 245—246).

Будущий зять Луизы фон Ленгефельд, при всей безупречной честности в описании своего имущественного положения, все же заметно открылен радужными надеждами. И впрямь, вскоре после того, как было отправлено это письмо, герцог наконец назначил поэту жалованье, что, несомненно, во многом облегчило положение Шиллера, с нетерпением дожидавшегося этой важной для него перемены, а также несколько успокоило мать Лотты. Латинскую пословицу «кто дает быстро, дает вдвойне» применительно к данному случаю можно было бы перефразировать следующим образом: «втройне дает тот, кто дает в нужную минуту», — словом, эта милость была сейчас более всего необходима новоиспеченному жениху.

Готовясь создать семью, Шиллер решил также восстановить отношения со своими родителями и сестрами. На протяжении четырех лет, начиная с осени 1785 года, связь между сыном, покинувшим родной край, и его отчим домом в герцогской резиденции Солитюд хоть никогда и не прерывалась полностью, но все же была сведена до минимума; вероятно, какое-то время скудная взаимная информация просачивалась лишь через чету Рейнвальдов. Должно быть, когда Шиллер только поселился в Дрездене, ему стало казаться, будто «старик шпионит за ним»; в раздражении у него вырвались резкие слова, которые, вероятно, дошли до слуха родителей. С тех пор он на долгие годы, хоть нигде этим и не козыряя, вошел в роль сына-бунтаря, восставшего против родительской опеки и вынужденного от нее бежать.

18 августа 1789 года — иными словами, вскоре после тайной помолвки — Шиллер писал сестре Христофине, возвратившейся в Мейнинген после визита в родительский дом: «Сердечно счастлив за тебя в связи с твоим приятным пребыванием в родных местах, в лоне нашей семьи; ты и без лишних заверений поверишь мне, что еще сердечнее я желал бы разделить с вами эту радость. Так давно вырвала меня судьба из круга семьи, что я чуть ли не привык считать, будто я и вовсе один на свете, и лишь смутная тоска, которая часто влечет меня к моим близким, еще напоминает мне, что у меня есть родные».

Надеюсь, писал Шиллер, что «в ближайшие годы» мне удастся предпринять поездку на родину, «и, возможно, я тогда привезу с собой новую сестру для тебя и добрую дочь для наших родителей, которой они будут рады».

Да, такими сердечными словами Шиллер давно не радовал своих родных, хоть он и не торопится увидеть их — недаром он обещал навестить их «в ближайшие годы».

Больше всего страдала от этого отчуждения мать Шиллера: после того, как ушел из дому сначала любимый сын, а затем и старшая дочь, с которой она была особенно близка, на ее долю выпало безрадостное существование бок о бок с глубоко честным, но суровым и наивно-эгоистичным супругом. В самом конце 1789 года она занемогла, и настолько тяжело, что в течение нескольких дней сын уже считал ее покойницей. 3 января 1790 года он писал Лотте и Каролине: «Должно быть, моей матери уже нет в живых».

Странное впечатление производит это письмо: оно может показаться рассудочным, но вместе с тем говорит о глубоком сыновнем понимании тяжелой участи: «Я рад, что она избавилась от своей страдальческой доли...» И дальше: «Оборвана связь, через нее соединявшая меня с людьми, первая связь в моей жизни. Мать очень любила меня и приняла из-за меня немало мук».

Сочувственно писал Шиллер также об отце, который, как он полагал, ныне, в свои 67 лет, остался один. Далее он продолжает: «Матушка была добрая, разумная женщина и своей неизбывной добротой ко всем, даже к людям, отнюдь ей не близким, неизменно завоевывала искреннюю их любовь. С тихим смирением несла она свою тяжкую участь, больше всего заботила ее всегда судьба ее детей. Когда я думаю о ней, то чувствую, сколь все же неискоренимы в нашей душе ранние впечатления детства. Но мне нельзя думать о ней».

Временами Шиллер предстает перед нами как восторженный поклонник эпистолярного жанра. Но на этот раз волнение замкнуло ему уста, и, сдерживая свои чувства, он написал: «Мне нельзя думать о ней».

Однако вскоре из письма отца он узнал о чудесном выздоровлении матери. И седьмого января сын ответил отцу: «Как я рад был, дорогой отец, вашему последнему письму и как оно было мне нужно!» (VII, 250).

О своей помолвке Шиллер написал ему еще несколькими неделями раньше. Теперь же он сообщал: «Герцог очень интересуется моей женьтибой. Недавно я был у него и получил ежегодную пенсию в двести талеров; та любезность, с которой он мне их дал, должна повисить для

меня их ценность. Лотхен, которая вместе с сестрой проводит эту зиму в Веймаре и часто бывает там при дворе, он встречает с большим участием и почтительностью». Это письмо, к которому приложено и другое — от Лотты, — заканчивается словами: «Пусть небо ниспошлет вам тысячу благ, любезный отец, и подарит моей матери веселую, безболезненную жизнь. Об этом молит всем сердцем ваш послушный и вечно благодарный сын Фриц» (VII, 251—252).

Разумеется, нет причин уличать Шиллера в хвастовстве, но все же он с большим удовольствием рассказывал отцу о своем нынешнем положении в обществе. В самом начале года герцог Мейнингенский пожаловал ему титул надворного советника, что Шиллеру было весьма кстати, учитывая взгляды среды, к которой принадлежали его жена и теща. И он не мешкая сообщил отцу:

«Герцог Мейнингенский, пожаловав мне титул надворного советника, сделал мне тем самым подарок, который как-никак позволит мне предложить жене приличное положение, и, возможно, вследствие этого она не столь сильно ощутит утрату прежнего ранга. А ведь я не могу оставаться к этому совершенно равнодушен, хоть мою жену и ее близких это весьма мало заботит». (Но, разумеется, это заботило их чрезвычайно!)

В дни, когда влияние Французской революции уже начало распространяться за пределы Франции, творец «Разбойников» и «Коварства и любви» старался приспособиться к устаревшим общественным условиям — разумеется, без всякого усердия и тем более восторга, но с каким-то веселым безразличием. В письме к Кёрнеру он с улыбкой рассказывает об оплошности Гердера: «На обеде у герцогини он принялся рассуждать о дворе и придворных и при этом сравнил двор с головой, покрытой коростой, а придворных — со вшами, которые в ней копошатся. Говорил он это, сидя за столом, так что многие слышали его слова. Нелишне при том будет вспомнить, что и он, и жена его усиленно наведываются ко двору и двор усиленно поддерживает их. Но довольно об этих проказах».

Первые недели нового года были посвящены подготовке к предстоящей женитьбе. Госпожа фон Ленгефельд со своей стороны обещала молодым денежную помощь в размере ста пятидесяти талеров в год — эта сумма вместе с жалованьем, которое назначил Шиллеру герцог, должна была составить материальную базу будущей семьи. К этому должны были также прибавиться доходы поэта от литературных трудов; все вместе обеспечивало вполне солидные, но отнюдь не наилучшие предпосылки для прочности семейного бюджета. И с этой минуты Шиллер хоть вежливо и деликатно, но все же стал настаивать на скорой свадьбе.

Судя по всему, будущие супруги, как и мать невесты, единодушно стремились обставить бракосочетание самым скромным образом, да и впоследствии столь же скромно вести общее домашнее хозяйство. Для этого, без сомнения, были вполне разумные основания. А все же напрашивается вопрос: может быть, Луиза фон Ленгефельд, при всей ее любезности и сочувствии молодым, все же рассматривала этот союз как некий мезальянс? Не считала ли она в глубине души,

что девице из аристократического рода не следовало опускаться до брака с человеком бюргерского сословия, пусть даже кое-как украшенным титулом надворного советника, но при том не располагающим ни состоянием, ни какой-либо внушительной должностью, ни даже солидной профессией? Ответа на этот вопрос не будет, но у нас есть право его задать.

«Мы обвенчаемся в моей комнате, в полной тишине» — разумеется, эти слова, которые мы читаем в письме Шиллера от 12 января, способны вызвать удивление. Все же венчание, происходившее 22 февраля при блекнущем свете весеннего дня в деревенской церкви в Венигейне, было несколько торжественнее. Четверо подъехали к церквушке: жених и невеста, ее мать и сестра. Это было готическое строение без башни, состоявшее по преимуществу из высокого хора под ровной крышей. В своих воспоминаниях Лотта писала: «Когда я переступила порог этой тихой деревенской церквушки, по небу плыли легкие вечерние облака и вечернее солнце заливало их алым блеском. Опираясь на руку Шиллера, я вошла в эту безыскусную церковь и там дала обет хранить ему верность до самой смерти».

Затем все общество проделало тот же недолгий путь назад в город. Вечер провели вчетвером — тихо и спокойно — за чаем... «Лишь то следует праздновать, что уже нашло свое благополучное завершение; церемония, приуроченная к началу того или иного предприятия, подрывает охоту и истощает силы, рождающие усердие, которое должно служить нам поддержкой в долгих трудах. Из этих празднеств самое непристойное — свадебное торжество, а уж его особенно следовало бы справлять в тишине и смирении, лишь с огнем надежды в груди».

Вот что мы читаем в «Годах учения Вильгельма Мейстера» — книге, написанной Гёте спустя несколько лет. Шиллер, восхищавшийся этим романом, при чтении приведенных выше строк, должно быть, вспомнил день своей свадьбы. Он не раз впоследствии повторял, что свадьбу обставили столь тихо и скромно, дабы избежать шумных студенческих поздравлений. Это было правдоподобное объяснение, пригодное во всех необходимых случаях. Да только вряд ли оно открывало истинную причину. Первого марта того же года Шиллер писал Кёрнеру: «Перемена совершилась так спокойно и незаметно, что я сам этому удивился, а ведь в женитьбе меня всегда отпугивала свадьба».

Что же касается *shêge mête*, то и она, возможно, из соображений, о которых мы уже догадались, нисколько не возражала против того, чтобы бракосочетание было обставлено так скромно и просто.

Простой была, однако, не только церемония бракосочетания — простым был и быт молодой семьи. Да и можно ли вообще толковать о каком-то быте? «Удивительное у вас хозяйство», — как-то раз заметил молодым Гёте, и заметил верно. Новобрачные решили расположиться в «Шраммайе», иными словами — у сестер Шрамм, по-матерински опекавших многих студентов: в их просторном доме, где сдавалось множество комнат, Шиллер поселился еще холостяком и уже около года снимал там большую и удобную квартиру. Теперь

он предполагал снять для нужд семьи еще несколько комнат. «Сегодня я говорил с девицами Шрамм насчет квартиры, но они доказали мне, что расширить ее за счет дополнительных помещений никак нельзя. Точно так же и по соседству, сколько ни ищи, жилья для Лины нет. Все же я нашел выход из положения, который устроит нас на ближайшие месяцы...»

В распоряжении молодоженов, таким образом, оказались все те же комнаты, которые и прежде занимал Шиллер, — «три смежных помещения с довольно высоким потолком и со множеством окон, обитые светлыми обоями... Много мебели, и притом красивой...»

Казалось бы, такое жилье должно было вполне устроить молодую чету на первое время. Однако поначалу Шиллер был полон решимости поселить в этой квартире также и Каролину. Об этом еще пойдет речь дальше. И к тому же в ту пору люди знатного сословия не могли жить без прислуги. У Шиллера был слуга, или дядька, по имени Генрих, и для него, по счастью, нашлась каморка, в которой прежде складывали дрова. Лотта привела с собой двух девушек — «Зиммериху», которая служила ей горничной, и кухарку. Появление кухарки свидетельствует о том, что в первое время для Шиллеров в просторной кухне сестер Шрамм готовился отдельный обед, от чего впоследствии супруги отказались. Но пока суд да дело, надо было поместить в той же квартире еще двух женщин, и Шиллер распорядился разделить пополам деревянной перегородкой большую комнату с нишами: «Обе кровати лучше разместить в нише, и уже одно это позволит освободить всю комнату, а раз так, значит, мы сможем также расставить здесь сундуки и шкафы и потом в той же комнате завиваться».

Лотту завивала «Зиммериха», а Шиллер приглашал к себе для той же цели парикмахера.

Да, временное жилье оказалось довольно-таки тесным, это надо признать. А уж как Лотте хотелось домашнего уюта. В воспоминаниях о своем детстве она следующим образом описывает дом старого пастора: «Истинным праздником для нас, детей, был визит к старому пастору, духовнику всей нашей семьи, который вдвоем со своей женой вел поистине патриархальную жизнь. Круглые стекла окон в комнате, большой, орехового дерева, шкаф с крупными рюмками из шлифованного стекла, стеклянными вишнями, фарфоровой коровой на крышке масленки — все это было мило моему сердцу и радовало его... На кофейном столике лежала красивая накидка. В одной из стен комнаты зияло окошко, сквозь которое можно было заглянуть в кухню, откуда доносился до нас запах кофе и где выпекались вкуснейшие пироги. Радостное ожидание угощения было мне дорого. Стол пестрел щедрыми дарами осени, а я, уютно примостившись тут же, прислушивалась к простодушной беседе и словно бы растворялась в этом уютном мире».

Сомнительно, был ли когда-либо у Лотты и Шиллера по-настоящему уютный дом. Во всяком случае, квартира, которую они снимали у сестер Шрамм, казалась лишь своеобразным временным пристанищем — не больше.

Так складывались внешние обстоятельства этого брака. В глубокий, восхитительный хаос одновременной сердечной склонности человека к двум сестрам женитьба привнесла упорядочивающий элемент, но никоим образом не означала коренной перемены, которая позволила бы разрубить этот узел. Трагическая фигура Каролины, излучающей любовь, умоляющей и требующей любви, омрачала будни молодой семьи. Кстати, пришло время ввести в эту повесть о Шиллере два персонажа, которые сыграли большую роль в жизни Шиллера, Лотты и особенно Каролины: влияние этих людей на исход «тройственного союза» было немалым и по большей части благотворным. Речь пойдет о Каролине фон Дахерёден и ее женихе — Вильгельме фон Гумбольдте.

Сестры Ленгфельд, и особенно Каролина, уже много лет состояли в дружбе с Каролиной фон Дахерёден — красивой, умной и доброй девушкой, сверстницей Лотты. Вдвоем с отцом, в прошлом числившемся на прусской службе, она коротала зиму в Эрфурте, где находилась резиденция коадьютора, лето же проводила в родовых имениях — чаще всего в Бургёрнере. Девушка эта была членом «Союза Добродетели» — общества, созданного в Берлине усилиями в первую очередь образованных и честолюбивых еврейских женщин во главе с Генриеттой Герц *, которая была родом из сефардов и впоследствии вышла замуж за врача. Это был кружок эстетов, возвращенный на ниве просвещения, привнесшего Лессингом, Мендельсоном и Николаи (его благотворным влиянием на еврейское население Северной Германии). Устремления этого кружка, однако, сплошь и рядом отклонялись от русла просвещения, превыше всего ставящего светлый разум, и тяготели к романтическим течениям. Дружеский союз его членов скрепляли высокие интеллектуальные претензии, слегка приправленные мечтательностью (впоследствии, в период французской оккупации, этот кружок был взят под наблюдение, его рассматривали как ячейку патриотического бунта). Каролина фон Бойльвиц примкнула к этому кружку, родственному ее натуре. Состояли в нем также Карл Ла Рош, сын Софии, и чуть позднее — Вильгельм фон Гумбольдт.

Шиллер познакомился с Каролиной фон Дахерёден в дни, когда сестры Ленгфельд лечились на водах в Лаухштедте. «Редко удается встретить столь милое, во всем согласное трио», — писал он ей, имея в виду ее дружбу с сестрами Ленгфельд. Когда Дахерёден серьезно заболела, Шиллер принял в ней горячее участие. А когда она выздоровела, он с глубокой искренностью, но не без некоторого эгоизма писал ей: «Я постоянно страшился, не для того ли providение поманило меня зрелищем вашего милого, прекрасного лица, чтобы затем вновь лишить меня этой радости, и, быть может, навсегда».

Вильгельм фон Гумбольдт тем временем жил в Париже, однако занят он был больше самим собой, нежели жизнью бурлящей столицы мира. Возвратившись оттуда, он в сочельник встретился с Шиллером, и хоть он и был на семь лет моложе поэта, но они очень быстро нашли общий язык, подружились, и дружба их во все времена была благотворной для обоих.

Каролина фон Дахерёден понимала все своеобразие отношений

между Шиллером, Лоттой и Каролиной и вдумчиво и тактично способствовала распутыванию узла. Порою Лотта уже собиралась отказаться от своего счастья в пользу сестры, обладавшей более сильной натурой. Однако Дахерёден, несмотря на глубокую привязанность к своей тезке и сподвижнице по берлинскому кружку, заставила Лотту вновь обрести веру в самое себя, которую та уже готова была утратить, и бесспорно в нужном направлении воздействовала также на старшую сестру, как, впрочем, вероятно, и на Шиллера, стремясь устранить все препятствия на пути к браку поэта с Лоттой. И Гумбольдт со своей стороны также советовал Шиллеру поскорее предпринять нужные шаги к женитьбе.

Мы обращаемся к Гумбольдту и Каролине Дахерёден как к свидетелям тогдашних отношений между Шиллером, Лоттой и Каролиной. Гумбольдт, в частности, в январе 1790 года писал:

«Шиллер освоился здесь в первые же часы. Короче, он не стеснялся. Но зрелище их общения друг с другом подчас огорчает меня. Видеть, как Каролина склоняется к нему со слезами на глазах, с выражением восторженной любви в каждой черточке лица... нет, я не в силах этого передать...»

В марте Дахерёден пишет: «Попроси Карла (очевидно, Карла Ла Роша), чтобы он особенно не рассказывал друзьям про отношения между Каролиной, Лоттой и Шиллером; кто не понял всего, что с этим связано, тот и вовсе ничего не поймет. Лотта спокойна, Шиллер тоже, Каролина пребывает в каком-то мягком, умиротворенном настроении. Ах, мой Вильгельм, разве узнаешь до конца человеческое сердце?...»

В мае она же сообщает: «Лотта очень мила, у нее много природного ума. Шиллер, видно, счастлив с ней, и чувства его к Каролине улеглись, а Лотту успокаивает то, что Каролина ныне всей душой предана Дальбергу».

Хоть в этих замечаниях и ощущается склонность к пересудам, пусть в предельно облагороженном варианте, пронизанном к тому же чувством дружбы и глубокого понимания, но они лишь показывают, как благотворно взаимная привязанность супругов сказывалась на отношениях внутри «тройственного союза», проясняя их и снимая всяческую напряженность.

Когда человек в первые месяцы после женитьбы уверяет всех, что он счастлив, этому не стоит придавать особого значения: естественное чувство рыцарства и даже просто самолюбие не позволяют мужчине утверждать обратное. Однако признание Шиллера, которое мы находим в его письме к Кёрнеру от 16 мая, все же несет на себе несомненную печать истинности: «Совсем иначе мне живется подле любимой жены, чем заброшенному и одинокому, — даже летом. Лишь теперь я полностью наслаждаюсь красотой природы, и среди нее я принадлежу себе» (VII, 256).

О глубокой близости, установившейся между супругами, свидетельствуют и письма, которыми они обменивались, когда Лотта ездила

к матери на празднование ее дня рождения. Всего шесть дней были разлучены молодожены, но в этот короткий промежуток времени успели написать друг другу столько писем, сколько в наши дни люди не напишут за многие годы.

Он: «Что подделывает моя милая женушка? Я все еще не в силах поверить, что она уехала, и ищу ее во всех комнатах. Но повсюду пусто, и лишь в оставленных ею вещах я нахожу ответ ее существа. Вид всего, что принадлежит ей одной, всего, что напоминает мне о ней, несказанно радует меня».

Она: «Вокруг все уже объято сном, но я не буду знать покоя, пока не пожелаю тебе, мой дорогой, любимый, доброй ночи. Сейчас, должно быть, ты уже спишь, а мне все кажется, будто я должна поспешить на твой зов, будто я слышу твой голос; без тебя жизнь для меня все равно что сон; я не там, где моя телесная оболочка, — ведь душа моя, самые лучшие, самые теплые мои чувства устремлены к тебе. Как живется тебе без меня? Ради нашей любви — не напрягайся сверх меры, единственный мой и любимый, не взваливай на себя слишком много работы; порой меня охватывает такой страх, что этим ты можешь себе повредить».

Когда же настал черед другой непродолжительной разлуки, Шиллер писал жене: «Прежде чем отправиться спать, я должен еще раз послать привет моей маленькой женушке. Наверно, ее уже давно прогнали в постель, и ночной чепчик на ее головке уже сполз набок».

Она: «Наверно, любимый, ты думаешь, что твоя женушка сейчас уже спит, но не торопись посмеиваться над нею, — здесь никто не гонит ее спать...»

Кстати, в причудливом хозяйстве молодой четы завелась также и кошка: «...береги нашу принцессу», — просит мужа в очередном письме Лотта. И пусть квартира в доме сестер Шрамм была для Шиллеров лишь временным пристанищем, всего лишь подобием семейного очага, все же она предоставляла любящим известные удобства и уют.

Единственным облаком, омрачавшим семейное счастье, была тревога за здоровье поэта. Не одни лишь смутные предчувствия волновали молодую женщину. В «Волшебной флейте» Моцарта, созданной композитором в это же самое время, мы находим отзвук той же трагической судьбы и верности до последнего вздоха:

Тамино: Ты видишь врата страха,
Жестокий смертный бой.

Памина: С тобою — хоть на плаху,
Знай: всюду я с тобой.

СО СМЕРТЬЮ БОК О БОК

Когда, окрыленный надеждой, юный беглец Шиллер примчался в Мангейм — былую обитель его раннего драматургического триумфа, — он встретил здесь настолько сдержанный прием, что в первые

же часы пребывания в этом городе вынужден был приняться за сочинение смиренного оправдательного письма к своему герцогу. После множества горьких разочарований, поисков, блужданий, невзгод он добился наконец вождеденной должности драматурга Мангеймского театра — и в тот же день на него обрушилась смертоносная лихорадка...

Теперь сбылась его мечта о доброй жене, и «зависть богов», как он сам назвал ее в одной из своих баллад, какое-то время дремала, но уже очень скоро, еще на первом году супружеской жизни, возобновились приступы недуга, которые настолько изнурили организм поэта, что отныне — мы приводим выражение Роберта Миндера * — он всегда жил лишь «бок о бок со смертью».

«...любимый, не взваливай на себя слишком много работы; порой меня охватывает такой страх...» — выше уже мы приводили эти слова из письма молодой жены Шиллера. В предыдущей главе мы, однако, ничего не сказали о том, над чем же трудился в ту пору поэт. Завершив в 1787 году «Дон Карлоса», Шиллер в течение ряда лет не писал ничего такого, что умножило бы его литературную славу и популярность. Отойдя от драматургии, о чем неутешно сожалел Кёрнер, он старался углубить свои знания истории, интерес к которой столь ярко обнаружился в «Дон Карлосе». К этому подталкивали его и внешние обстоятельства: необходимость зарабатывать на жизнь и разные деловые соображения. Его первым крупным трудом на этом поприще стала «История отпадения Нидерландов», которая по насыщенности содержания и выразительности языка может служить великолепным образцом исторической прозы, но, разумеется, неспособна была взволновать читающую публику; к тому же этот труд не был закончен.

Одновременно с научно-историческими работами Шиллер писал продолжение своего «Духовидца». Обаяние этого опыта романа в большой степени заключено в том, как умело сдерживает поэт свое пылкое воображение, увлекшее его в Венецию тех лет, однако авторский пыл Шиллера, который, что ни говори, не был романистом, под конец заметно иссякает и словно бы растворяется в вымышленных им письмах. Фрагмент заканчивается фразой: «У одра моего друга я узнал наконец эту неслыханную историю», однако сам Шиллер навсегда утаил ее от своих читателей, и неслыханную историю так никто и не услышал.

А о работах, которые поэт был обязан выполнять как профессор университета, уже говорилось выше. Малозаметные на первый взгляд, литературные труды Шиллера в период 1789—1790 годов требовали от него напряженных усилий, многие из них создавались под давлением обстоятельств, да притом в срочном порядке. Но все же и этот тяжелый подневольный труд временами озарялся нежданной радостью. В одном из своих писем к Каролине Бойльвиц — от 3 ноября 1789 года — Шиллер сказал: «Я пережил несколько счастливых дней, Каролина, и наблюдал при этом за своим собственным сердцем. Работа, вначале ничего не сулившая мне, внезапно, при счастливом умонастроении, облагородилась под моим пером и приобрела такое совер-

шенство, что изумила меня самого». И дальше: «И я никогда так живо не сознавал, что сейчас в немецком мире нет никого, кто мог бы написать именно *это*, кроме меня» (VII, 233).

Гордые слова, но преувеличения в них нет.

Предметом этого труда, принесшего Шиллеру неожиданную радость, были достопримечательные события из жизни Алексея Комнина *, византийского императора времен крестовых походов, записанные его дочерью Анной: перед читателем оживали картины времен рыцарства, времен Византийской империи, зажатой в тиски между христианским Западом и исламом. Эту биографию, вышедшую из-под пера гениальной женщины (как назвал ее Бертольд Рубин), с помощью студента Берлинга Шиллер перевел с греческого. Да и вообще в те годы он много времени отдавал переводам с греческого, в особенности Еврипида.

Приступая к работе над «Полным собранием исторических мемуаров», Шиллер предназначал его для такого круга читателей, «которым их деятельность не позволяет сделать историю предметом собственных занятий и которые поэтому могут посвятить чтению исторических произведений лишь часы своего досуга» (так писал он в предисловии к изданию) (V, 404).

В «Мемуарах» такого рода — кстати, Шиллер счел необходимым соответственно обосновать сохранение французского слова «*Mémoires*» — он усматривал «то неоспоримое преимущество, что этот вид исторических сочинений одновременно удовлетворяет и ученого знатока, и поверхностного дилетанта: первого — достоинствами содержания, второго непринужденностью формы. Сочиненные чаще всего светскими или деловыми людьми, они всегда находили наилучший прием именно в этих кругах. Историк ценит их как незаменимых руководителей, на которых в определенные периоды истории ему приходится едва ли не исключительно полагаться. То, что они написаны очевидцем или, во всяком случае, современником, то, что они ограничиваются одним только главным событием или одним только главным героем и никогда не преступают пределов жизни одного человека, то, что они изображают свой предмет в тончайших оттенках и раскрывают самые мелкие подробности событий и сокровеннейшие черты характеров, — все это накладывает на них отпечаток достоверности, подлинности, придает им убедительность и ту живость изображения, какой не может сообщить своему произведению никакой историк, широкими мазками рисующий картины революций и связывающий один отрезок отдаленных времен с другим» (V, 404).

Задуманное издание, стало быть, представляло собой собрание исторических сочинений: часть публикаций была, однако, связана с длительной работой над переводами. А лекции о законодательстве Ликурга и Солона, как и об эпохе крестовых походов, являясь своеобразным смешением едва ли не дилетантски сколоченного материала и мастерского изложения, тем не менее потребовали от новоиспеченного профессора университета напряженной подготовки. Но прежде чем мы обратимся к главному труду Шиллера, созданному в 1790 г о д у , — к «Истории Тридцатилетней в о й н ы», — нелишне

бросить взгляд на пьесу, написанную им в том же году и насчитывающую всего несколько сцен — очевидно, предназначавшуюся не для театра, а лишь для любительского исполнения.

С точки зрения историка литературы, «Умиротворенный мизантроп» — так называется пьеса — не представляет особенного интереса, упомянуть же о ней стоит потому, что в ней отразились общественные взгляды Шиллера этого периода. Действие пьесы разыгрывается в среде землевладельцев-аристократов, уже затронутых влиянием прогресса и гуманизма, но при том привычно и горделиво властвующих над народом в унаследованных родовых поместьях. Шиллер изобразил здесь тот самый круг, с которым в какой-то мере оказался связанным как знакомством, так и в силу своей женитьбы на Лотте Ленгефельд. В главной роли он вывел крупного землевладельца, человека сурового и справедливого, строго исполняющего свой долг по отношению к другим людям. Он делает все необходимое, что уже предписано временем, для «блага» своих подданных, но при том, будучи мизантропом, отказывается признать «облагодетельствованных» людьми, во всем ему равными, пока наконец не удастся его «умиротворить», обратив в иную веру. Впечатления от быта помещичьих семейств в Тюрингии — Вольцогенов в Бауэрбахе, Штайнов в Кохберге, Дахерёденов в Бургернере — смешиваются с мотивами, несущими на себе явные следы того духа Просвещения, который Шиллер впитал в себя еще в бытность свою в Карлсшуте. Словом, эти сцены, написанные для любительского театра, интересны для нас как свидетельство социально-критических и социально-конформистских взглядов Шиллера.

Приступив к работе над «Историей Тридцатилетней войны» в мае 1790 года, Шиллер писал ее много лет, хотя разного рода серьезные причины неоднократно вынуждали его к длительным перерывам в работе. Когда же у Шиллера выдавалась возможность полностью сосредоточиться на этом труде, он достигал необыкновенных высот как в смысле охвата материала, меткости критического видения и оценки, так и по выразительности изложения. Как известно, труд этот предназначался в «Исторический календарь для дам», издававшийся Гёшеном. «История Тридцатилетней войны» много лет кряду составляла основное зерно «Календаря», и уже сам по себе этот факт красноречиво свидетельствует о тяге к образованию и самообразованию, наблюдавшейся среди тогдашних женщин — точнее, среди представительниц высшей ее прослойки. Кстати, этот «Дамский календарь» обладает огромной библиографической ценностью и обладал таковой уже в момент выхода в свет, будучи украшен гравюрами и эстампами, а также снабжен таблицами — «месячниками» и астрономическими сведениями; миниатюрный формат издания позволял ему уместиться в самой изящной сумке для рукоделия.

«Высокое мастерство» автора «Истории Тридцатилетней войны» «в стиле, композиции, в оценке событий» отмечал Голо Манн. Мастерским было не одно изложение — даже с позиций современной науки труд Шиллера должен быть признан безусловно ценной работой; и это при том, что поэт располагал весьма скудной исторической документацией. Не отвечает современному уровню исторической науки лишь

чрезмерное подчеркивание Шиллером роли религиозных мотивов в развертывании событий. В столкновении противоборствующих сил религиозным мотивам чаще всего принадлежала третьестепенная роль, хотя, возможно, в условиях непрерывного нашествия и отступления войск, нашествия и отступления солдат, то католиков, то протестантов, народ и впрямь мог воспринимать Тридцатилетнюю войну как войну религиозную. И еще в одном вопросе позиция Шиллера ныне представляется нам устаревшей (хоть ее и не стоит бездумно отметить): он положительно оценивал Вестфальский мир и его последствия — вплоть до своего времени*.

«Но свободной и непорабощенной вышла Европа из этой странной войны, в которой она впервые познала себя как целокупную общину государств; и одной этой всеобщей взаимной симпатии государств, впервые зародившейся, собственно, в эту войну, было бы достаточно, чтобы примирить гражданина мира с ее ужасами» (V, 10).

Примечательна склонность Шиллера-историка подчеркивать благодетельные последствия тяжелых смут. Исследуя влияние Вестфальского мира на европейскую государственность, он выражает своеобразную удовлетворенность положением Германии во второй половине века (аналогичные высказывания уже прозвучали в его вступительной лекции). Таким образом, в этом выдающемся историческом труде мы отмечаем ту же исходную концепцию, что и в пьесе «Мизантроп», являющейся плодом свободного воображения.

Изучение огромного исторического материала, связанного с Тридцатилетней войной, пробудило у Шиллера дремлющую жажду художественного творчества: «Все вокруг вновь облекается в поэтические образы, и часто что-то опять шевелится в моей груди» (VII, 256), — писал он 16 мая 1790 года Кёрнеру. У него возник замысел эпической поэмы, воспевающей Густава Адольфа, драмы, посвященной Валленштейну. Но пройдет еще много лет, прежде чем он завершит это произведение — быть может, самое замечательное из всех его творений. В конце 1790 года, 26 ноября, он писал Кёрнеру: «Работу в области драматургии вообще, вероятно, придется отложить на довольно долгий срок. Пока я не овладею вполне греческой трагедией и свои смутные догадки о правилах и мастерстве не превращу в ясные понятия, я не стану браться за какую-либо драматическую разработку. Кроме того, я должен развивать, сколько могу, свою деятельность в области истории, чтобы по возможности улучшить свое существование (!). Я не вижу, почему бы мне, если я серьезно захожу, не стать первым писателем-историком в Германии...» (VII, 260).

«История Тридцатилетней войны» заметно укрепила веру Шиллера в свои творческие возможности. И первые годы семейной жизни были по преимуществу отданы работе над этим крупным трудом. Шиллер трудился со спокойным сердцем, довольный, что рядом Лотта. Случалось, он шагал по комнате взад и вперед, размышляя о том, как ему лучше совладать со своим материалом, и радовался, если Лотта в это время играла в соседней комнате на пианино мелодию Глюка, а не то и марш. Поэтому Лотта продолжала учиться музыке. Она также

много читала, изучала языки, например итальянский, но прежде всего — английский. Своему шурину Рейнвальду она признавалась в письме от 27 августа 1790 года: «Любовь к Англии у меня врожденная, и я чуть ли не готова поверить, будто однажды уже жила в этом мире, и непременно в Англии — таким знакомым кажется мне этот язык...»

Лотта с успехом, хоть и по-дилетантски, занималась также рисунком и живописью. Домашнее хозяйство вряд ли отнимало у нее много времени — напрашивается лишь вопрос, что же делали ее слуги, которых как-никак было трое, в квартире сестер Шрамм на протяжении всего дня.

Письма, которыми обменивались супруги в дни, когда Лотта уехала в Рудольштадт на празднование дня рождения своей матери 27 июля, говорят о большой душевной близости и супружеском согласии:

Лотта: «Без тебя жизнь моя все равно что сон... Как отчетливо я чувствую нынче, как и всегда, что лишь рядом с тобой, лишь под взором твоих глаз жизнь способна радовать меня своими прекрасными цветами. Без тебя оскудела бы моя душа. Истинно живу я лишь рядом с тобой. Ах, каждый час нашей разлуки причиняет мне боль, а что уж говорить о многих днях».

Шиллер: «Среди всего, что окружает меня, так тоскливо мне, одиноко, словно в былые дни, за месяц до нашей свадьбы».

Среди многочисленных гостей, которые этим летом навещали Шиллеров в доме девиц Шрамм, спустя несколько дней после возвращения Лотты из Рудольштадта появился датский литератор Енс Баггесен *, человек неизменно восторженный, переполненный чувствами. Баггесен слыл в тогдашней Дании одним из первейших знатоков творчества Шиллера (в ту пору Дания, поскольку в нее входили Шлезвиг и Гольштейн, была теснейшими узами связана с немецкой культурой). Баггесена ввел в дом Шиллера Рейнгольд, вот только он появился там не в самый удачный момент: как раз тогда Шиллер много дней мучился зубной болью.

Впоследствии Баггесен рассказывал: «Я не помнил себя, не помнил, что делаю и говорю, не знал, куда деваться от смущения, когда мы вошли в комнату Шиллера, откуда с улыбкой устремилась нам навстречу его красивая, милая, нежная, грациозная, пухленькая жена... Он же, высокий, худой, бледный, с незавитыми желтыми волосами, с пронизывающим взглядом почти недвижных глаз, учтиво приветствовал меня в своем доме. Он ужасно мучился зубной болью, обе щеки его страшно распухли, и ему все время приходилось держать у рта носовой платок, так что он с трудом говорил. Он был безукоризненно вежлив, но сквозь вынужденную бодрость проглядывала глубокая подавленность».

Гостей угощали чаем и беседой, затем Лотта сыграла несколько пьес на пианино. В дневнике Баггесена мы находим меткое замечание: «Это дало нам повод заговорить о музыке, в которой Шиллер несколько не разбирается, хоть и очень любит ее, как он сам мне сказал».

В дневнике Баггесена мы найдем далее заметки о стесненных

денежных обстоятельствах Шиллера, и то, что Баггесен прознал об этом, должно было впоследствии принести благодетельные плоды. Найдём мы здесь и портрет поэта — при всей суровости его необычный и примечательный:

«Шиллер — это вулкан, вершина которого покрыта снегом. На вид он холоден, все его обхождение с самыми близкими из друзей и с женой в особенности — холодное. В обществе он все равно что нуль, ни интересным, ни остроумным собеседником его не назовешь, по большей части он просто молчит. Никому не довелось услышать от него оригинальную идею или хотя бы остроуту. Лишь иногда, что, правда, случается крайне редко, он способен растрогаться, и тут он становится трогателен до слез для всех, кто только окружает его. Ни жене, ни кому-либо из друзей он нипочем не скажет доброго слова — да, с женой он говорит сухим, жестким, холодным, равнодушным, раздраженным тоном, однако пишет он совсем по-другому, и все его письма проникнуты сердечностью и умом».

В то лето Шиллер до изнеможения трудился над своей «Историей Тридцатилетней войны», стараясь все же во что бы то ни стало отослать ее Гёшену в положенный срок для опубликования в «Историческом календаре для дам». Напомним, что Гёшен в ту пору находился в труднейшем положении, вторичный провал разорил бы его. Не будучи детально осведомлен о положении своего издателя и друга, Шиллер, однако, сознал нависшую над ним угрозу. 12 сентября 1790 года поэт писал Гёшену: «Тысячу наилучших пожеланий успеха на предстоящей книжной ярмарке. Я рад был бы молить небо за вас и за предприятие ваше, вот только не состою с небом в приятельских отношениях».

Знал он также, что необходимо погасить некий вексель, который уже однажды был отсрочен... Как известно, успех «Исторического календаря для дам» стал для Гёшена спасительным якорем, и издатель выплатил поэту необыкновенно щедрый гонорар. Какая великодушная дружба автора с издателем! В письме Шиллера Гёшену от 5 ноября читаем:

«На ближайшую среду, дражайший друг, приходится день моего рождения, который вы обещали отпраздновать со мною вместе в моей квартире. Я сердечно прошу вас не забыть о вашем обещании, и жена моя тоже присоединяется к моей просьбе; приезжайте к нам непременно, если только позволят вам ваши дела. Будет литься шампанское, и, должно быть, выйдет и умная беседа. А остановитесь вы у меня...»

В октябре Шиллер сделал в работе небольшой перерыв, надеясь отдохнуть в Рудольштадте.

«Много ли играют у вас в шахматы и готовы ли уже столики для игры в тарокхомбре? Я намерен беспутничать вовсю и надеюсь, вы мне в этом поможете», — писал он 5 октября свояченице и жене, которая уже успела выехать. В другом письме Шиллер выражал надежду, что втроем они будут совершать веселые вылазки за город. Затем, уже из Рудольштадта, он писал Кёрнеру: «Эти две недели я хотел провести в полном бездельи и покамест честно придерживаюсь этого

намерения. После трудного нынешнего лета такой отдых мне необходим».

Однако уже 1 ноября, возвратившись в Йену, Шиллер признался тому же Кёрнеру: «Двенадцать дней провел я в Рудольштадте за едой, питьем, игрой в шахматы и жмурки. Я хотел праздновать всюю, и этот отдых принес мне пользу, хотя под конец и стал мне невыносим. Я не могу долго предаваться безделью, особенно такому, когда ум не имеет пищи в общении с другими. Даже лекции теперь доставляют мне больше удовольствия...» (VII, 259).

Возобновились лекции. Но это были последние регулярные лекции в жизни Шиллера. А 31 октября в гости к Шиллерам, в дом сестер Шрамм, пришел Гёте. Он приехал из Дрездена, воодушевленный рассказами Кёрнера о Шиллере, что весьма способствовало общению двух поэтов. Зашла между ними речь и о философии Канта, к изучению которой Шиллер обратился под влиянием Рейнгольда и затем никогда уже ее не оставлял. (В старости Гёте говорил Эккерману: «Шиллер настойчиво советовал мне бросить изучение философии Канта. Он уверял, что Кант ничего не даст мне. Сам же ревностно его изучал».) Приятной, насколько можно судить, оказалась эта встреча. Но началом дружбы она еще не стала. Дружба должна была родиться лишь спустя четыре года.

От этого времени сохранились два письма Шиллера к отцу. Верный вюртембергским традициям старик Шиллер послал молодой чете в подарок через Рейнвальдов доброе швабское вино. Сын же отправил отцу «Исторический календарь для дам», не забыв упомянуть, что получил за свой труд 80 луидоров. Отец отвечал, что в Швабии «Календарь» расходуется хорошо. Сын 29 декабря написал ему в ответ:

«Мне весьма приятно, что мой «Исторический календарь» успешно распространяется в Швабии. Моя репутация историка мне отнюдь не безразлична, учитывая мои отношения с герцогом. Пусть и он наконец узнает, что, живя за границей, я никак не опозорил его, и, если это несколько больше расположит его ко мне, тут уж пора будет мне самому к нему обратиться».

Далее Шиллер обронил, что не прочь бы наведаться в родные места. Письмо это примечательно еще и тем, что в нем упоминается «великолепный курс лечения», которое назначил матери Шиллера доктор Консбрух.

И вот 1790 год на исходе. В день Нового года чету Шиллеров пригласила к себе на обед Шарлотта фон Штайн. Затем супруги отправились в Эрфурт, к коадьютору Дальбергу, которого в письмах привыкли называть «золотым кладом» (Шиллер сплошь и рядом прибегал к сокращению: «З. кл.»), где уже дожидалась их Каролина фон Бойльвиц. Там же они нашли и другую Каролину — невесту Вильгельма фон Гумбольдта. Дальберг, при высоком его сане, был общим их другом и покровителем, всегда готовым прийти им на помощь, хотя эта готовность еще не подвергалась сколько-нибудь серьезным испытаниям. Он был сердечно расположен ко всем трем молодым женщинам, но истинно дружеское чувство питал прежде все-

го к Каролине фон Бойльвиц и глубоко восхищался гением Шиллера.

Трогательное доказательство этого дружеского расположения — картина, собственноручно написанная им в подарок Шиллеру и Лотте ко дню их свадьбы, хоть она и несколько запоздала к торжеству. Правда, добрым намерением коадьютора-живописца и исчерпывается ценность этого подарка — нелепого и сугубо дилетантского творения: на картине был изображен Гименей, вырезающий на коре дерева инициалы Шиллера и Лотты, все это на фоне водопада. Любезность и радушие Дальберга, его высокий сан, а затем и еще более высокий пост в одряхлевшей империи сделали его душой дружеского кружка. А для Шиллера начались визиты в театр, торжественное заседание Курфюрстской академии наук, принявшей поэта в свое лоно; концерты...

Каролина фон Дахерёден с волнением и любопытством ждала встречи с четоу Шиллеров; при всем доброжелательстве к молодежи, она все же очень жалела самую близкую свою подругу и сподвижницу по Берлинскому Союзу Добродетели — Каролину фон Бойльвиц, которая, после того как Шиллер женился на ее сестре, уже не могла так часто видаться и общаться с ним, как прежде. Фон Дахерёден обстоятельно излагала в письмах свои впечатления жениху («ах, мой Билл, конечно, должен все знать»). В частности, в день Нового года она написала ему: «Вчера вечером сюда приехали Шиллер и Лотхен. Я была бесконечно рада вновь увидеть их, знать, что эти два милых существа вновь рядом со мной. На лице у Лотхен — выражение сладостного покоя, удовлетворенности, глубокого внутреннего довольства». И дальше: «Мне и радостно, и больно лицезреть Лотту рядом с Шиллером, слышать, как они при всех обращаются друг к другу на «ты»».

А в следующем письме она уже более спокойно и трезво рассказывала о том, как преобразился Шиллер: «Ты не представляешь себе, как сильно он изменился. Должно быть, он стал спокойнее внутренне, в известном смысле даже счастливее... Но я почувствовала, что некоторые струны его души больше не отзываются...» Его мечты о любви идеальной и единственной иссякли, сетует Каролина.

В этом контексте особый вес приобретает следующее ее признание: «Сама же Лотхен изменилась к лучшему. Чувства ее стали глубже, ее натура полностью раскрылась».

Вечером 3 января у Шиллера сделался сильный жар, и прямо из Зала Редутов его отнесли на носилках в дом, где он остановился. День он провел в постели и еще несколько дней — безотлучно в своей комнате. Чрезвычайно расположенный к нему и озабоченный его состоянием, коадьютор часто навещал его, и однажды в беседе с ним у Шиллера зародилась мысль создать драму, посвященную Валленштейну. Мало-помалу самочувствие поэта улучшалось.

Утром 9 января, полагая, что он уже оправился от болезни, Шиллер совершил прогулку в обществе Каролины фон Дахерёден, а затем вдвоем с Лоттой уехал в Веймар. Супругов пригласили ко двору. Здесь Шиллер встретил актера Бека, с которым некогда был дружен в Мангейме. Бек приехал в Веймар на гастроли. Шиллер уже чувствовал себя настолько хорошо, что решил оставить Лотту в Веймаре еще на

несколько дней и возвратился в Йену один. 12 января он прочитал студентам объявленную лекцию. Он полагал, что болезнь уже позади. Но на другой день с ним снова сделался жар, начались приступы кашля, рвота гноем, удушье. «Я был бы очень рад, душа моя, если бы, получив это письмо, ты сразу же взяла экипаж и приехала сюда», — написал он жене.

Жар становился все сильнее, Шиллера мучила неукротимая рвота; он ослабел настолько, что при малейшем движении лишался чувств.

Получив записку мужа, Лотта тотчас же вернулась в Йену и отныне все свое время и силы посвятила больному. Горя желанием помочь ей, в дом Шиллера устремились друзья и студенты: ночами, сменяя друг друга, они дежурили у кровати поэта. Среди них был и молодой барон Гарденберг, впоследствии прославившийся под именем Новалиса и в пестром хоре немецких романтиков возвысивший самый нежный и чистый голос. К одру больного поэта поспешил и друг былых лет — актер Бек. А герцог прислал Шиллеру для подкрепления шесть бутылок мадеры. Приехала свояченица поэта Каролина, а за ней, правда всего лишь на неделю, также и теща.

К исходу января самое худшее было уже позади. Пациент медленно поправлялся. Первое свое письмо — с начала болезни — он написал Гёшену, с убедительной просьбой об авансе. О себе он сообщал: «Я начинаю кое-как вылезать из болезни, но дело подвигается вперед крохотными шажками, оттого что уж очень сильный был приступ, а болезнь, да и лечение ослабили меня до предела. Этот приступ грудной болезни, кстати, показал мне, сколь тщательно я должен оберегать свои легкие, и я весьма опасаясь, что болезнь отразится на моем здешнем положении. Чтение лекций — слишком опасная для меня задача...» 2 марта Шиллер послал герцогу письмо с просьбой освободить его от чтения лекций. Карл Август любезно пошел ему в этом навстречу: лично посетив больного, он изъявил ему на то свое согласие. С наступлением более теплых дней выздоровление поэта ускорилося. В апреле он снова едет с Лоттой в Рудольштадт. Оба отдыхают здесь от перенесенного страшного потрясения. Раз в два дня Шиллер совершает прогулку верхом. Поправка как будто идет на лад, мрачным предостережением служит лишь «резкая боль, появляющаяся в боку при глубоком, сильном вдохе».

Здесь же, в Рудольштадте, 8 мая Шиллер пережил новое тяжелое обострение болезни, сопровождавшееся приступами удушья, жаром и ознобом, похолоданием конечностей и исчезновением пульса. Спусти несколько часов самую страшную опасность удалось отвести: местный врач доктор Конради оказался толковым человеком и не растерялся. Но через день случился новый рецидив, на этот раз с таким жутким приступом удушья, что и сам больной, и обступившие его плачущие женщины думали, что настал его последний час. В отчаянии, стремясь во что бы то ни стало спасти поэта, его домашние послали верхового гонца в Йену, к домашнему врачу Шиллеров доктору Штарке. Тот срочно прискакал в Рудольштадт, но приступ уже миновал. Измученный больной уснул.

Этот приступ, едва не стоивший поэту жизни, приключился с ним ровно за четырнадцать лет до смерти. Приступы, о которых говорилось выше, последовали 8 и 10 мая 1791 года, а умер Шиллер 9 мая 1805 года. Еще четырнадцать лет прожил он бок о бок со смертью.

Мы многое знаем об этих тяжелых днях, особенно благодаря запискам свояченицы Шиллера — Каролины: «Я читала ему вслух из «Критики способности суждения» Канта места, относящиеся к бессмертию».

А Шиллер объявил: «Всесильному духу природы должны мы верить свою судьбу и трудиться, пока можно».

«Он просил нас привести к нему наших друзей, дабы они на его примере учились, как нужно спокойно умирать, — продолжает свой рассказ Каролина. — Когда же ему сделалось трудно говорить, он взял перо и написал: «Заботьтесь о своем здоровье, без него человеку худо». Наконец врачу удалось облегчить его состояние, и он весело вымолвил, взглянув на Лотту: «Хорошо бы нам еще немного пожить вместе!»»

Каролина поведала в своих записках про бессонные ночи у одра больного, про книги, которые ему читали вслух, про долгие беседы с ним: «Его очень интересовали путешествия. В наших беседах мы мысленно исколесили все известные нам уголки мира... Особенно захватывали воображение Шиллера края у Северного полюса, где человек должен бороться за свою жизнь со всеми стихиями».

Волнующе звучат слова человека, которому в жизни почти не довелось путешествовать: «Всегда что-нибудь да вывезешь из подобного путешествия вокруг света».

Так он и жил: долгими беседами с домочадцами, чтением серьезных книг, но порой также и развлекательных, изредка перекидывался в карты с кем-нибудь из горничных — и наконец наступал желанный сон. Сплошь и рядом приходилось давать больному морфия.

Среди многочисленных посетителей больного поэта, всегда готовых прийти на помощь и, возможно, не совсем свободных от некоторого любопытства, был также йенский студент Карл Готхард Грасс. Он оставил нам свидетельство о том, как Шиллер, очнувшись от тяжелого обморока, тотчас же нежно обнял свою жену. А Лотта, в дни этих тяжелых страданий, мужниных и своих собственных, писала 23 мая золовке Христофине: «Сам он совсем уже пал духом, а каково было мне — вам, должно быть, нетрудно себе представить». Лотта заканчивает это письмо следующими словами: «Сегодня он впервые спустился с нами в сад, и в душе моей всколыхнулось глубокое чувство благодарности небесам за то, что он мне возвращен и мне вновь дано радоваться этому прекрасному миру с ним вдвоем».

Во всех свидетельствах, относящихся к дням, когда Шиллер сражался со смертью, удивляет одно: нигде не упоминается о каких-либо религиозных ритуалах, которые в ту пору были в ходу, особенно в случаях болезни. Правда, автор настоящей книги полагает, что Лотта все же не раз молилась в душе, в надежде, что бог продлит жизнь ее мужу, однако все, что достоверно известно нам о самом Шиллере, свидетельствует об одном: в эти дни тягчайших испытаний он являл лишь пример разумного отношения к ним и философскую выдержку.

Чем же был болен Шиллер? «Грудная болезнь» указывает на туберкулез; как, впрочем, и частые приступы кашля, да и весь облик больного. Сам он писал Кёрнеру, что опасался чахотки, однако течение болезни будто бы выявило иные причины. Насколько мы можем судить сегодня (и должно быть, больше узнать об этом нам уже не удастся) на основании диагноза, поставленного задним числом йенским врачом В. Вайлем, Шиллер перенес в 1791 году быстротекущее воспаление легких (крупозную пневмонию), осложнившееся сухим плевритом. За этим последовало нагноение плевры и отсюда — гнойное прободение диафрагмы. Одно то, что Шиллер после этого остался в живых, — уже почти чудо. Затем возник второй гнойный очаг — в желудке, ставший источником всех последующих осложнений со стороны живота. Хронические воспалительные очаги возникли, таким образом, в организме, сопротивляемость которого была подорвана как врожденной слабостью легких, так и перенесенной в Мангейме малярией. Вероятно, очаги болезни были все же туберкулезного происхождения; за эту версию говорят длительная, тяжелая борьба поэта с недугом, перемежающаяся лихорадка.

О своей болезни Шиллер не раз высказывался в письмах, особенно обстоятельно — в письмах к Кёрнеру, и при этом вполне ощущалась его медицинская компетентность. Из письма поэта от 22 февраля 1791 года мы узнаем, как его лечили: сильными кровопусканиями, пиявками, шпанскими мушками на груди — таковы были расхожие средства тогдашней медицины. Так или иначе, эти средства помогали ему дышать:

«Только скверные явления со стороны живота осложнили лихорадочное состояние. Пришлось дать мне слабительного и рвотного. Мой ослабленный желудок в течение трех дней извергал все лекарства. В первые шесть дней я не мог принимать никакой пищи, и это при столь сильном очищении верхних и нижних путей и при высокой степени жара так ужасно ослабило меня, что даже маленькое движение, когда меня переносили с постели на судно, вызывало обморок, и врач вынужден был с седьмого дня до глубокой ночи одиннадцатого дня давать мне вино. После седьмого дня мое состояние стало весьма серьезным, так что я совсем упал духом. Но на девятый и на одиннадцатый день последовали кризисы. Пароксизмы все время сопровождались сильным бредом, но жар в промежутках стал слабее, и я начал успокаиваться... Прошла неделя, прежде чем я мог проводить несколько часов вне постели, и очень нескоро я начал ковылять, опираясь на палку».

Шиллер хвалил старание всех, кто ухаживал за ним: «Они спорили о том, кому из них дежурить при мне». И с нежностью говорил о Лотте, «которая страдала больше, чем я сам» (VII, 262).

24 мая Шиллер снова сообщает Кёрнеру: «Дыхание мое было настолько затруднено, что, напряженно ловя воздух, я при каждом вдохе боялся, как бы в легких не лопнул сосуд». И кровь уже не грела, продолжает поэт: «руки мои леденели даже в горячей воде». Врач назначил кровопускания (основной прием старой медицины, вполне, однако, одобренный пациентом Шиллером), морфий «в силь-

ных дозах», камфару с мускусом, клизмы. «Суждение Штарке (врача Шиллера) об этой болезни таково, что источник ее — спазмы в животе и диафрагме, легкие же не затронуты; и правда, этот страшный приступ самым убедительным образом подкрепляет это суждение, ведь будь в легких порок, при таком судорожном напряжении дыхательных путей он неизбежно проявился бы, чего, однако, не произошло». Однако, по всей вероятности, диагноз Штарке все же был ошибочным.

«В эти дни я не раз смотрел смерти в глаза, и дух мой от этого укрепился... Я был бодр духом и страдал, лишь глядя на мою милую Лотту, страдал от мысли, что она не вынесет этого удара».

Любой биограф должен противиться искушению во всем решительно видеть проявление величия своего героя. Нет на свете такого человека, который был бы велик во всем. Однако еще в молодые годы Шиллер выказал великое мужество перед лицом испытаний, посланных ему судьбой. А уж с каким великим терпением возмужавший, зрелый духом поэт сносил ужасные приступы болезни! Но самое яркое, можно сказать, ни с чем не сравнимое величие проявилось в том, какие творческие подвиги на протяжении четырнадцати лет совершал этот человек, изнуренный тяжким недугом.

О том глубоком впечатлении, которое производил Шиллер на молодых людей, сохранились до наших дней два свидетельства, относящиеся все к тому же злосчастному 1791 году. Одно из них принадлежит семнадцатилетнему в ту пору Иоганну Готфриду Груберу, ставшему впоследствии профессором истории и писателем. Вот как Грубер описывает Шиллера: «Он был высокого роста и чуть ли не чрезвычайной худ. Казалось, тело его не в силах вынести огромной работы ума. Лицо у него было бледное, осунувшееся, но тихой мечтательностью светились его прекрасные горящие глаза, а высокий и гордый лоб выдавал в нем глубокого мыслителя. Он встретил меня приветливо, весь его облик располагал к себе. Никакой нарочито сдержанной гордыни или же высокомерия не замечалось в нем, столь искренен и прямодушен был он во всех своих высказываниях, столь щедро раскрывал гостю свое прекрасное сердце, что спустя каких-нибудь полчаса мне уже казалось, будто мы знаем друг друга много лет».

А вот что писал Гарденберг-Новалис, в ту пору восемнадцатилетний юноша: «Его взгляд низверг меня во прах и вновь вознес меня из праха. С первой же минуты я проникся к нему полным, безграничным доверием, и ни разу у меня не возникло даже тени сомнения, а не поторопился ли я с этим сверх меры. Но даже если бы он никогда не говорил со мной, не принял во мне участия, если бы он даже никогда меня не замечал, сердце мое все равно принадлежало бы ему, потому что я узнал в нем высшего гения из тех, которым суждено жить в веках, и я с радостью подчинился зову судьбы. Понравился ему, служить ему, хоть на миг привлечь к себе его внимание — только об этом мечтал я денно и ночью, и лишь с этой последней мыслью меркло всякий раз мое сознание, когда я засыпал... Одного слова его было бы довольно, чтобы подвигнуть меня на героические дела, и как знать, быть может, всем тем добрым и прекрасным, что осело в моей душе и сохранится в ней навеки, я обязан его примеру, а стало быть, и это по

большей части — его творение».

Весть о тяжелой болезни Шиллера распространилась повсюду, и чем дальше проникала она, тем хуже обстояло дело с точностью информации. 19 июня «Обердойче альгемайне литературцайтунг» опубликовала сообщение о его смерти. Слух о кончине Шиллера к концу июня дошел и до Копенгагена, где в узком, но влиятельном кругу друзей поэта по предложению Баггесена как раз собирались его чествовать. Торжество в честь Шиллера должно было состояться за городом, в Хеллебеке, у Зунда, неподалеку от гамлетовского замка Кроненборг. Узнав страшную весть, устроители торжества хотели было его отменить, но министр Шиммельман сказал: «Нет, теперь уж чествование непременно должно состояться, так превратим же его в поминки!» И вот, несмотря на то что небо затянули грозные дождевые тучи, все общество выехало из Копенгагена в Хеллебек: граф и графиня Шиммельман, барон фон Шуберт, в ту пору тоже занимавший пост министра, и, конечно, чета Баггесенов. Когда же прибыли на место, ветер успел уже развеять облака. Шиммельман стал распорядителем торжества — да, здесь на Севере, как некогда в Трианоне, еще умели устраивать сельские праздники! За деревьями и кустами спрятались певцы, дети в пастушеских костюмах. Баггесен начал читать:

Радость, пламя неземное,
Райский дух, слетевший к нам... (I, 144)

Оба министра и их жены запели, затем вступили хоры (ода «К радости» была переложена на музыку еще до Бетховена), а когда музыка смолкла, Баггесен произнес новую строфу:

Братья, встаньте, пусть, играя,
Брызжет пена выше звезд!
Выше чаша круговая!
Другу мертвому — сей тост!.. (I, 149)

Дети танцевали, водили хоровод — картина столь же трогательная, сколь и гротескная, что-то вроде позднего рококо под светлым северным небом, веселые поминки... без покойника.

К счастью, Баггесен состоял в оживленной переписке с Рейнгольдом, и благодаря этому датские друзья Шиллера вскоре узнали, что в тот день в Хеллебеке справили поминки по живому. Шиллер, услышав об этом странном торжестве, был очень доволен. А Лотта попросила Рейнгольда передать привет Баггесену, но при этом разрыдалась...

Для укрепления расстроенного здоровья Шиллеру посоветовали поехать на лечение в Карлсбад. 9 июля, проделав на редкость утомительное путешествие, все общество: Шиллер, Лотта, Каролина и молодой врач Эйке, посланный домашним врачом Шиллеров сопровождать больного и наблюдать за его лечением, — прибыло на воды.

Поездка на воды, в Богемию, — как-никак незаурядное событие жизни Шиллера. Но, странным образом, мы располагаем лишь скудными и малодостоверными сведениями об этих днях. Зато, должно быть, ни об одном другом отрезке жизненного пути поэта не сочинялось

столько небылиц. А уж это — следствие того преклонения, которое испытывали к Шиллеру не только жившие в Богемии немцы, но также и местные жители — чехи. Вот почему пребывание поэта в Богемии, длившееся всего-навсего около месяца, породило столько легенд. И о его визите в Эгер тоже ходили явно преувеличенные слухи. Рассказывали также, будто в Дуксе он посетил престарелого Казанову, сидевшего в дворцовой библиотеке, а еще — будто бы он ездил в Прагу, где восторженные местные театралы приветствовали его возгласами «Виват!». В действительности же Шиллер побывал лишь в северо-западном уголке Богемии, в Карлсбаде и в Эгере. Заслуга выявления немногочисленных точных сведений из вороха преувеличений и выдумок принадлежит исследовательнице Лизелотте Блументаль *.

Карлсбад в ту пору уже завоевал славу европейского курорта. Сюда стекались пациенты из всех провинций Австрии, из Венгрии и Польши, Курляндии, Дании, как и из всех уголков Северной Германии. Многих из них приводила сюда не столько потребность в лечении, сколько «охота к перемене мест», к общению с новыми людьми. Прелесть Карлсбада отчасти составлял и контраст «высоких, тесных и диких гор» с ровными аллеями, ухоженными садами, просторными, полными воздуха залами, уютными гостиницами и постоянными дворами маленького города.

Лечение на водах, где одни стаканами пили целебный напиток, а другие принимали ванны, было чрезвычайно популярно и распространено в XVIII веке; во многих семьях этому курсу ежегодно отводилось определенное время, а для иных людей, особенно для женщин, поездка на воды вообще служила единственным стимулом к путешествию. Часто люди избирали для этой цели крохотные, тихие уголки. В маленьких курортных городках, располагавших целебными источниками, каких особенно много было в Швабии, в пансионах за общим столом подчас собирались, позевывая от скуки, не больше пяти-шести человек. А уж в Карлсбад летом одновременно съезжалось гостей шестьсот-семьсот, не считая прислуги, которую они привозили с собой. Спустя четыре года Гёте писал Шиллеру из Карлсбада: «Можно проехать сто миль и не встретить такого количества людей. Все оторваны от своего дома, и поэтому каждый становится доступнее и с тем большей легкостью выказывает себя с выгодной стороны» *.

И Шиллер в Карлсбаде тоже не испытывал недостатка в обществе: были здесь и многочисленные знакомые, и друзья. Дора Шток, сопровождавшая графскую чету Гофман фон Гофмансэгг из Дрездена, к своему великому огорчению, вынуждена была покинуть Карлсбад как раз накануне его приезда. Но еще неделю Шиллер мог видаться здесь с Гердером. Правда, поскольку здешнее лечение не пошло на пользу Гердеру, а Шиллер еще долго отдыхал в гостинице «Белый лебедь» от тягот долгого пути, проделанного в жару и в пыли, приятели не могли очень уж часто встречаться, но все же у них однажды выдался чрезвычайно интересный разговор о «Шакунтале» — памятнике ранней индийской литературы, которым в ту пору был увлечен Гердер и которым он сумел увлечь также и Шиллера. Вероятно, через Гердера Шиллер познакомился с красивой и умной австрийской гра-

финей — Алоизией Лантиери-Вагеншперг. Еще много лет назад, здесь же в Карлсбаде, графиня успела слегка вскружить голову Гёте, да и герцогу его тоже; впоследствии она вторично встретила Гёте — уже в Неаполе. И еще одно литературное знакомство случилось у Шиллера в Карлсбаде — речь идет об ассессоре верховного суда фон Папе, приехавшем на воды из Ганновера, человеку большого ума и такта. В своих воспоминаниях свояченица Шиллера Каролина упоминает также и о знакомстве поэта с австрийскими офицерами, находившимися в Карлсбаде. Многие из них, полагает она, впоследствии послужили ему прототипами для создания образов генералов в драме «Валленштейн». Разумеется, подобное предположение не совсем лишено оснований, и все же оно представляется нам недостаточно убедительным.

Итак, Шиллер, здоровье которого медленно поправлялось, оказался вовлеченным в пестрый, сверкающий калейдоскоп жизни прославленного курорта, прежде всего как наблюдатель, но и как участник многих бесед, разговоров. Важнее, однако, любых новых знакомств было для него присутствие в том же Карлсбаде Гёшена. С чисто отеческим теплом заботился о больном поэте его издатель и друг. В своих письмах к Виланду он подробно рассказывал о том, как подвигается выздоровление Шиллера, как благотворно действуют на него прогулки, с каждым днем все более продолжительные, — особенно прогулки в горах. Гёшен следил и за тем, чтобы Шиллер аккуратно принимал положенную дозу целебной воды, но и не превышал ее: поэту полагалось выпивать ежедневно 18 стаканов, ведь от купаний Шиллер отказался. К тому же издатель добровольно взял на себя роль распорядителя финансов...

Уже в сравнительно сносном состоянии Шиллер собрался в обратный путь. Страшась отвратительных дорог, где больной вдоволь натерпелся мучений в июле, но, должно быть, не только по этой причине, Шиллеры и все, кто их сопровождал, решили ехать назад через Эгер. Мы не знаем, в какой мере у поэта уже созрел к тому времени замысел драмы о Валленштейне, но и для летописца Тридцатилетней войны крупная и мрачная фигура Валленштейна сама по себе должна была представлять огромный интерес. Вся компания, стало быть, остановилась в Эгере и поселилась в гостинице «Золотой олень». В здании местной ратуши Шиллер любовался выразительным портретом фридландца, будто бы скопированным с холста Ван Дейка. Посетил он и дом, где был убит Валленштейн. Вообще Эгер произвел на путников впечатление до зубов укрепленного пограничного городка — не говоря уже о старой крепости, где спрятались, а затем напали на герцога бутлеровские драгуны.

Кёрнер сердечно и настойчиво просил Шиллера непременно заехать к нему после лечения в Карлсбаде. Не совсем ясно, почему Шиллер не выполнил этой просьбы. Он лишь переслал другу записку с фон Папе (других писем Шиллера времен Карлсбада не сохранилось), в которой объяснял, что его свояченица Каролине необходимо срочно предстать ко двору, а за этим следовали такие строки: «А кроме того, все трое мы желали бы насладиться радостью встречи с вами,

будучи здоровы телом и бодры духом. Ныне же все мы больны, чувства наши притуплены, и духовные наслаждения нам недоступны».

«Все мы больны, чувства наши притуплены» — подобный итог лечения в Карлсбаде следовало бы оценить как весьма печальный, да только навряд ли он был таким на самом деле, самое большое — мог таким показаться под влиянием минутного настроения. Можно лишь предположить, что ссылка на болезнь должна была скрыть разномыслие между поэтом и его дамами. Словом, Шиллеры возвратились в Йену, но задержались там ненадолго и вскоре сроком на пять недель отбыли в Эрфурт.

Может, это коадьютор, «золотой клад», будто магнитом притягивал всех к себе и притяжение это ощущалось даже в Карлсбаде? Как бы то ни было, лишь здесь, в Эрфурте, в ежевечернем общении с Дальбергом мало-помалу улеглась напряженность в отношениях между Шиллером и его дамами. Сердечное внимание коадьютора ко всем троим закрепило благотельные последствия лечения и оказалось не менее целительным, чем эгерская вода, которую усердно пил Шиллер. Полегчало и Лотте, признававшейся в письме к золовке: «Со здоровьем дело у меня самой обстоит далеко не наилучшим образом». Как раз в ту пору в Эрфурте гастролировала веймарская труппа, и по просьбе коадьютора на ее заключительном представлении дали «Дон Карлоса». На другой день любительская труппа показала «Заговор Фиеско в Генуе». Шиллер не мог не оценить этой заботы о его здоровье и настроении.

С Дальбергом говорили и о денежных затруднениях поэта.

«Ты не поверишь, но этот год обошелся мне в 1400 талеров, не говоря уже о том, во что обходится мне простой в работе. К счастью, я выдержал ни с чем не сравнимый этот удар, не сделав долгов, мало того — я к тому же заплатил 90 талеров старых долгов, да еще 120 талеров по поручительству за другого. Гёшену, правда, я много еще задолжал, но все же надеюсь рассчитаться с ним к Новому году» — так описал Шиллер свое положение в ту пору в одном из очередных посланий к Кёрнеру.

Кoadьютор посоветовал поэту подать герцогу прошение об увеличении денежного содержания. Герцог, пренебрегая обычной в таких случаях процедурой, направил свой ответ Лотте. Письмо это рисует натуру Карла Августа во всей ее непосредственности: «Надеюсь, милая Лотхен, что болезнь Шиллера продлится недолго и скоро он уже оправится настолько, что его дух, освободившись от подвохов тела, вновь сможет взять на себя заботу о потребностях своего выздоровевшего спутника. Поскольку недостаток доходов, надо надеяться, продлится не больше года, то посылаю вам столько, сколько должно потребоваться для заполнения бреши, которая еще, возможно, останется после израсходования пособия, которое предоставляет вам ваша матушка, а также назначенной мной пенсии».

Герцог прислал 250 талеров.

Капля воды на раскаленный камень? Что ж, может, и чуточку больше, а все же не настоящая помощь. Случались — в прошлом — в жизни Шиллера и более тяжкие долги, и более острая нужда в деньгах.

Но теперь поэт уже не был молодым человеком, обязанным заботиться лишь о самом себе. И к тому же он знал, что отныне и до конца своих дней сможет рассчитывать лишь на скудный остаток сил. И еще он чувствовал, а может, даже и был уверен, что ему долго не вынести этой всегдашней, мучительной нужды в деньгах.

Профессор философии Рейнгольд, зять Виланда, один из лучших знатоков и последователей Канта, поддерживал из Йены связь с датскими друзьями Шиллера, и прежде всего с Баггесеном. В своем письме Баггесену от 16 сентября Рейнгольд нарисовал довольно мрачную картину состояния Шиллера: «Насколько худо и по сей день обстоит у него со здоровьем, вы можете заключить из следующего: и он сам, и его врач довольны и считают доброй приметой уже одно то, что состояние его не ухудшилось вследствие пребывания на водах. Боюсь, как бы его организм не был неизлечимо разрушен. А все же он работает, как в силу материальной необходимости, так и, должно быть, не в меньшей мере — в силу внутренней духовной потребности, — работает над продолжением «Истории Тридцатилетней войны».

Рейнгольд рассказывает далее о впечатлении, которое произвело на поэта известие о торжестве в Хеллебеке: «Более целительного лекарства, на мой взгляд, для него и быть не могло».

В октябре, уже в другом письме, Рейнгольд сообщал: «Шиллер чувствует себя сносно, может, он и совсем бы оправился, если бы мог хоть какое-то время отдохнуть от работы. Но положение его не позволит ему этого. Подобно мне, у Шиллера нет постоянного дохода, за исключением этих двухсот талеров, которыми мы уже и не знаем как распорядиться, стоит нам занемочь, — то ли на лекарства их употребить, то ли на еду. Я умею работать, а Шиллер это умел еще и много лучше моего, но сейчас он почти не в состоянии делать это без угрозы для жизни».

К числу поклонников творчества Шиллера в Дании принадлежал и член королевского семейства — герцог Фридрих Христиан Шлезвиг-Гольштинский-Зондербург-Августенбургский (1764 года рождения). Принц этот был образованный молодой человек, кантианец. Шиллера он долгое время не выносил, должно быть зная его лишь по его юношеским драмам, пока Баггесен не прочитал ему вслух «Дон Карлоса». Принц пришел от пьесы в восторг, выучил оттуда наизусть несколько сцен и отныне был готов принять все творчество Шиллера в целом.

Фридрих Христиан вообще был склонен к пылким порывам: первые вести о Французской революции исторгли у него слезы счастья. Лишь волей случая Шиллер разминулся с этим поклонником своим в Карлсбаде. Ведь в начале лета принцу тоже потребовалось водолечение. В Карлсбаде он встречался с Гердером и Дорой Шток, и можно не сомневаться, что при этом не раз заходила речь о Шиллере.

Последнее письмо Рейнгольда, в котором тот описывал тяжелое материальное положение Шиллера, в Копенгагене ходило по рукам. Прочитав его, Фридрих Христиан принял несчастье поэта близко к

сердцу. А Шиммельман (министр финансов) стал размышлять над тем, как ему помочь. Христиан первым решился на срочную и щедрую помощь Шиллеру. Однако датское королевство в ту пору уже достигло такого уровня развития, при котором принц должен был в подобном деле сначала заручиться согласием министра финансов.

Убедить Шиммельмана взялся Баггесен. Задача эта оказалась не из легких. «При всем моем преклонении перед Шиллером, — поддержала мужа графиня Шиммельман, — сначала необходимо помочь нуждающимся датчанам». Примечательно, какую большую роль в решении этого вопроса сыграли произведения поэта. Принц в ту пору как раз находился под обаянием стихотворения Шиллера «Художники» («Прекрасен гордый облик человека, стоящего на склоне века») (I, 165). А рецензия Шиллера на стихи Бюргера необыкновенно умножила в Копенгагене его славу «истинного поэта-философа».

К исходу ноября решение наконец созрело. Деятельный пыл Баггесена, доброжелательство Фридриха Христиана преодолели сопротивление Шиммельмана, и в результате к Шиллеру полетели письма. «Два друга, ощущающие себя гражданами мира, посылают вам это письмо, благородный человек! Оба мы вам неизвестны, но оба мы почитаем и любим вас. Мы восхищены высоким полетом вашего гения, печатью которого отмечены новейшие ваши произведения, ставшие самыми возвышенными созданиями человеческого духа... Живой интерес, который вы возбудили в нас, благородный и высокочтимый человек, пусть станет нашим заступником перед вами и оградит нас от подозрения в нескромной назойливости! И да не позволит он вам обмануться насчет смысла настоящего письма! Мы пишем его, преисполненные почтительной робости... Ваш организм, расшатанный неустанным напряжением и трудом, сказали нам, нуждается в глубоком покое, чтобы вы могли восстановить свое здоровье и была отвращена опасность, угрожающая вашей жизни. Однако условия, в которых вы находитесь, даже то, что составляет счастье вашей жизни, не позволяют вам вкушать столь необходимый вам покой. Так не доставите ли вы нам радость облегчить ваше положение и помочь вам насладиться этим покоем? Мы предлагаем вам с этой целью подарок в размере тысячи талеров ежегодно в течение трех лет».

Помимо того главного, что сообщается в последней фразе письма, в нем обращают на себя внимание два обстоятельства: первое — восторженный слог в духе тогдашнего времени — как-никак шел третий год Французской революции, — которым изъясняются и принц, и его министр, ощущающие себя гражданами мира. Далее они пишут: «У нас нет иной гордости, кроме гордости быть людьми, гражданами великой республики, границы которой шире жизни отдельных поколений, шире границ земного шара. Только люди перед вами, братья ваши, а не тщеславные вершители судеб...» В равной мере примечательно и другое — с каким тактом предлагается дар: «Примите это предложение, благородный человек! Не отказывайтесь от него, помышляя о наших титулах!»

Еще больше исполнено восторженности пространное письмо Баггесена. Но при том он сумел найти добрые, прочувствованные слова,

стараясь склонить поэта принять также предложение о визите в Данию, которое содержалось в письме Фридриха Христиана и Шиммельмана: «Приезжайте к нам! Здесь, в Копенгагене, вы обретете то, что встретишь далеко не всюду: досуг, свободу и друзей!»

Своеобразна позиция Шиммельмана в деле, сыгравшем столь важную роль в жизни Шиллера. Предлагая поэту денежную помощь, он не таясь выступал рука об руку с принцем («два друга, ощущающие себя гражданами мира») и поставил под письмом свою подпись. Но в то же время он, насколько возможно, стремился остаться при этом в тени: «Как частное лицо, я не имею ни права, ни желания полностью примкнуть в этом вопросе к принцу, словно бы причисляя себя к сильным мира сего, — ведь я всего лишь уступаю дружеским настояниям принца»; обращаясь с этими словами к Баггесену, министр «убедительно» просит его дать понять Шиллеру, чтобы тот ни в коем случае не ссылся на него, Шиммельмана, как на участника всей этой затеи. Должно быть, подобная просьба диктовалась не только скромностью министра. Очевидно, размеры великодушной денежной помощи Шиллеру смущали Шиммельмана как министра финансов, и он стремился хотя бы видимости ради как-то отмежеваться от этого дела. Сам же по себе тот факт, что Шиммельман в конечном счете все же сумел перешагнуть через свои ведомственные соображения, — свидетельство его огромного уважения к поэту.

Для Шиллера же эта помощь была неожиданным даром судьбы. Спасением. Разумеется, никто не возьмет на себя смелость утверждать, что, не будь этой датской пенсии, Шиллер не смог бы создать ни трилогию о Валленштейне, ни своего Телля, ни баллад. Вполне вероятно, однако, что эта своевременная помощь, на целых три года избавившая поэта от всех материальных забот, настолько укрепила его волю к жизни и его силы, что тем самым удалось спасти от угасания пламя гениального духа в теле, изнуренном болезнью.

13 декабря 1791 года Шиллер получил это письмо из Копенгагена. И в тот же день он поспешил сообщить новость Кёрнеру: «То, к чему я с тех пор, как живу на свете, пламенно стремился, теперь сбывается. Я надолго, может быть, навсегда освобождаюсь от всяких забот, я обрел столь давно желанную независимость духа!» (VII, 267—268).

«Свое предложение принц делает с такой деликатностью и так тонко, что это трогает меня еще больше...» — подчеркивает поэт. И заключает: «Но зачем я расписываю тебе все это? Скажи себе сам, как счастлива моя судьба!» (VII, 267—268).

16 декабря Шиллер написал Баггесену, а спустя три дня — Фридриху Христиану и Шиммельману. Вот что ответил поэт Баггесену: «Каким образом описать вам, дражайший и высокочтимый друг, все те чувства, которые всколыхнули во мне ваши письма? Я настолько потрясен и оглушен их содержанием, что, прошу вас, не ждите от меня сколько-нибудь связных слов...»

А вышло между тем длинное письмо...

Прямодушно, без околичностей Шиллер переходит к сути: «Да, дорогой друг, я принимаю предложение принца фон Г. и графа Ш.

с сердечной благодарностью — и не потому, что сделано оно настолько красиво, что этим одним уже устраняет все возможные мои сомнения, а потому, что любезность дарителей, которая выше всех второстепенных соображений, повелевает мне так поступить».

В письме к Баггсену поэт рассказывает о себе, в нем звучат признания, какие редко встретишь у Шиллера: «Начиная с колыбели моего духа и до нынешнего дня, когда я пишу эти строки, я всегда сражался с судьбой и, научившись дорожить духовной свободой, был обречен тщетно о ней мечтать. Поспешный шаг, совершенный мной десять лет назад, навсегда лишил меня возможности жить чем-то иным, кроме писательского труда. Я взял себе это ремесло, не проверив требований, предъявляемых им к человеку, не узнав трудностей, связанных с ним. Потребность писать захватила меня раньше, чем я дорос до этого ремесла знаниями и зрелостью ума. И то, что я почувствовал этот разрыв и не ограничил мой идеал писательского долга узкими рамками, которыми сам был стеснен, я считаю милостью неба, открывшего мне тем самым возможность высшего совершенствования, — однако при моих жизненных обстоятельствах милость эта лишь усугубила мои беды. Сколь незрелым, намного ниже того идеала, который жил во мне, представлялось мне все, что прежде выходило из-под моего пера! Но предугадывая возможное совершенство, я все равно вынужден был спешить и представлять на суд публики незрелый плод моего творчества и, сам столь нуждаясь в поучении, против собственной воли должен был притязать на роль учителя людей. Любое произведение, хоть кое-как удавшееся в этих крайне неблагоприятных условиях, с каждым разом все болезненнее заставляло меня ощущать, сколько задатков задавила во мне судьба».

Поэт сознает меру своего таланта, но вместе с тем относится к своему творчеству глубоко критически: «Чего бы ни отдал я ради двух или трех спокойных лет, свободных от писательского труда, которые я мог бы посвятить одному лишь учению, одному лишь формированию моих понятий, взрыванию моих идеалов».

Заметив в связи с приглашением приехать в Копенгаген, что в данный момент не может его принять, Шиллер заключает: «Простите мне, прекрасный друг мой, это длинное письмо, в котором к тому же почти обо мне одном и говорится».

Более сдержанно и продуманно, но также пронизано сердечностью письмо поэта к Фридриху Христиану и Шиммельману: «В такое время, когда последствия изнурительной болезни окутывали туманом мою душу, пугая меня мрачным, печальным будущим, вы как два добрых гения протягиваете мне руку из облаков». И далее: «Чисто и благородно, как вы даете, я, мне кажется, могу принять» (VII, 268).

С осени 1791 года Шиллеры еще уютнее обосновались в доме сестер Шрамм, или, как его называли, в «Шраммайе», где отныне все уже было им привычно. В этом большом и шумном доме супруги сделали центром тесного дружеского кружка. Сюда переселился, как толь-

ко ему исполнилось девятнадцать лет, также и Фриц фон Штайн, которому, как сыну своей приятельницы, отечески покровительствовал Гёте. Юноша с детства был с Лоттой на короткой ноге и теперь охотно приходил Шиллерам на помощь в том или другом деле.

«Девицы Шрамм уже повсюду подмели и убрали, готовясь встретить вас с супругом, ибо думали они, что вы приедете...» — писал он Лотте 14 сентября.

Обедали отныне все вместе: супруги Шиллер и Фриц фон Штайн; два шваба, земляка поэта, — магистр Нитхаммер и будущий декан Гериц; далее, профессор Фишених из Бонна и студент Фихард из Франкфурта, а временами также и случайные гости — само собой, часто сидела за этим общим столом Каролина фон Бойльвиц. Сестры Шрамм готовили на всех еду, а не то поручали это дело кухарке. И без того скромное домашнее хозяйство Шиллеров с этих пор упростилось еще больше, однако веселое общество, собирающееся за столом, после обеда нередко подолгу не расходилось, оттого что садились за карты. Словом, образовалась как бы своего рода большая семья, и просторный наемный дом, каковым, в сущности, являлась обитель девиц Шрамм, превратился в некое подобие домашнего очага. Дружеский кружок этот просуществовал вплоть до апреля 1793 года, когда Шиллеры выехали из «Шраммайя».

Выразительное описание этого причудливого, но вполне уютного быта оставил нам Филипп Конц. Воспитываясь в старом монастыре Лорха, он ребенком был излюбленным товарищем игр Фрица Шиллера — мальчика, чуть постарше его самого. Конц осуществил в монастыре то, о чем юношей мечтал его великий друг, сочинил драму о Конрадине; кроме того, он тоже усердно писал стихи, о чем, разумеется, Шиллеру было известно. В монастырской школе Конц исполнял должность репетитора — именно ему был обязан Гёльдерлин основательным знанием древнегреческой культуры. Нынче же Конц совершал, как было принято в Швабии, свое магистерское путешествие и по сложившейся традиции направился в Северную Германию. Весной 1792 года он приехал в Йену. Должно быть, Шиллера глубоко растрогала встреча с товарищем своих ранних детских лет; хотя Конц и обладал довольно комичной внешностью, но вообще-то он был веселый и добрый малый — как говорится, «легкий человек».

На все время своего пребывания в Йене Конц стал членом кружка, столовавшегося у девиц Шрамм: «Еда была простая, даже скудная, и лучшую приправу к ней составляли истинно сократическая мудрость и шутки Шиллера».

Лотту Конц называет «образцом благородного дружелюбия и скромности». Круг ее домашних обязанностей был невелик. В остальное время она читала, изучала языки, писала картины, даже брала уроки музыки; кроме того, она взяла на себя большую часть мужниной переписки. Гёриц называл Лотту воплощением «милого нрава» и «благородной стыдливости», а Шиллер — «воплощенной благовоспитанностью». «Это непристойно» — таков был часто ее приговор.

Швабам Гёрицу и Концу принадлежат два самых интересных

свидетельства, два рассказа о жизни, которую вел Шиллер в доме сестер Шрамм. При этом Гёриц подмечает множество повседневных бытовых подробностей и живо описывает их. Концу же принадлежат более глубокие суждения о характере Шиллера. Гнетущую реальность обретает атмосфера тех дней, когда читаешь: «Ни разу еще не довелось мне видеть Шиллера здоровым, мало того — я даже редко видел его одетым как следует: он почти всегда был в халате».

Даже не принимая на веру каждое слово Гёрица, читатель вынужден осознать, что Шиллер всегда испытывал недомогание, а не то и боли, приступы колики. Гёриц: «Как-то раз, когда он корчился от боли, кто-то сказал ему, что он стонет совсем как больной поэт, и он не только не обиделся на это, а, напротив, рассмеялся вместе со всеми».

От того же Гёрица мы узнаем, что в дружеском кружке нахлебников сестер Шрамм широкое хождение имели разного рода шутки и розыгрыши, и Шиллер не боялся уронить свое достоинство, участвуя в этих проделках и как зачинщик, и как объект мистификаций. Так, одно время друзья подбрасывали ему ими же состряпанные письма, выдавая их за послания ученого, которого он глубоко презирал, а Шиллер, не угадав подвоха, принимал их за подлинные: «Нет, вы только подумайте, что мне пишет этот проклятый болван!»

В другой раз смеха ради разыграли церемонию присвоения поэту докторского звания, но тут всем даже стало неловко — с таким восторгом встретил эту комедию Шиллер: он живо представил себе, как обрадуется его старик отец, и в мечтах уже видел себя лейб-медиком своего уважаемого коадьютора. Но, с другой стороны, он не считал для себя зазорным участвовать в довольно жестоких розыгрышах, да нередко сам их и придумывал. Все эти забавы и игры — в карты, бильярд и кегли — следует рассматривать в одном контексте с частым нездоровьем поэта. Если уж не хватало сил для работы, то по крайней мере он стремился как-то развлечься в общении с другими людьми, в надежде, что ночью наконец обретет сон. При сносном самочувствии Шиллер охотно выезжал верхом, хоть он и не был хорошим наездником: верховая езда считалась полезным упражнением. Правда, как-то раз, когда поэт верхом объезжал окрестности, у него вышла неприятная стычка с крестьянами, какой-то парень даже дернул его коня за уздцы, но, рассказывают, Шиллер отбивался «как лев».

За общим столом всегда велись оживленные, остроумные разговоры. Излюбленным предметом их, сообщает Гёриц, служили медицинские казусы, воспоминания юности, особенно воспоминания Шиллера об Академии. Конц писал впоследствии: «Шиллер не любил много говорить, но уж если говорил, то всегда не спеша, с достоинством, с каким-то особым обаянием, и любил он сдержанную шутливость, будучи врагом пустословия; он был всегда ровно весел, если только настроение его не омрачалось приступами недуга». Трудно было бы узнать в этом человеке автора «Разбойников», продолжает Конц. Услышав как-то раз о подлом поступке человека, которого прежде считали почтенным бюргером, Шиллер заметил: «Удивительно, что

подобные люди не падают замертво в тот же миг от одного сознания своего ничтожества».

Приглашали Конца и на вечерние ученые беседы: «Многие преподаватели здешнего университета, преимущественно молодые, собирались по нескольку раз в неделю для дружеских вечерних бесед. Кант и философия Канта неизменно вызывали самые оживленные пересуды и споры, и Шиллер редко удовлетворялся ролью слушателя — напротив, именно он пылким духом своим и пронизательным умом умел придать беседе необыкновенный интерес».

Из всех великих умов, сверкавших на интеллектуальном небосклоне в пору жизни Шиллера, наибольшее влияние на него оказал Кант. В процессе критического освоения Канта отчетливо обозначилась идейная и общественно-историческая позиция поэта. «Одновременное появление Канта и Гёте и сплетение их идей в творчестве Шиллера — таковы отличительные черты этого времени» (Виндельбанд) *.

Здесь не место для анализа того, что же так властно привлекало Шиллера в Канте. Язык Канта, сухой и запутанный, естественно, никого привлечь не может, но Шиллер рано угадал скрывающийся за ним могучий дух. Он понял, что все течения Просвещения, с которыми сам он познакомился еще в бытность свою в Карлсшule, Кант не только охватил в новом и широком обзоре, но и обогатил новым смыслом. «Орлиный полет мысли» — так Шиллер мог сказать только об Иммануиле Канте. И показательно, что Шиллер, усвоивший и обрадованный обещанием датской пенсии, сразу же взялся за изучение главного труда Канта «Критика чистого разума».

Ведь эти годы — 1791, 1792, 1793-й — не были для Шиллера особенно продуктивными. И освоение кантовских идейных сокровищ нам потому следует рассматривать как выдающееся интеллектуальное подвижничество поэта. В те же годы Шиллер продолжал работу над «Историей Тридцатилетней войны», и этот труд поднял многие годовые выпуски «Исторического календаря для дам» на уровне мировой литературы. Стали его занимать также и проблемы эстетики. Именно им он посвятил одну из своих последних лекций. Среди литературных работ меньшего объема особого интереса заслуживает его статья в «Альгеймайне литературцайтунг» о творчестве Бюргера; написанная зимой 1790—1791 года, она, однако, здесь еще не упоминалась.

Готфрид Август Бюргер (родился в 1748 году, умер в 1794 году) был человеком высокоталантливым, но преследуемым несчастьями. Поэт могучего, сочного дарования, во многом сходного с дарованием Шубарта, он был примерно в тех же letech, что и тот, однако намного превосходил его талантом (ведь Шубарт прежде всего отличался музыкальной одаренностью). И подобно тому, как стихотворения Бюргера своим бурным темпераментом, сентиментальностью и одновременно грубостью напоминали Шубарта, точно так же тональность их во многом была сходна с тональностью ранних юношеских произведений Шиллера — его драм и особенно стихотворений. Вероятно, именно поэтому Шиллер, которому к тому времени уже исполнился тридцать один год, столь раздраженно, придирчиво и

неприязненно отнесся к стихам Бюргера и холодно критиковал их с высоты ныне достигнутой им философской невозмутимости и высоких эстетических норм. И все же он не утратил при этом чувства справедливости, исключив из своей критики баллады. «В этой области немецким поэтам нелегко превзойти г-на Бюргера» (VI, 619), — признавал он. Шиллер подчеркивал: «касясь стихотворений, о которых можно сказать бесконечно много хорошего» (VI, 620), он подходит к ним с таким строгим поэтическим мерилom лишь потому, что они достойны столь внимательного рассмотрения.

Чрезвычайно интересно взглянуть, какие две основные черты творчества Бюргера по преимуществу вызвали к себе критическое отношение Шиллера — из этого мы даже больше узнаем о его эстетических взглядах, чем о поэзии Бюргера.

Прежде всего, Шиллер порицает Бюргера за деланно народный стиль: «Мы очень далеки от того, чтобы придирааться к неопределенному словечку г. Бюргера «народ»... Напрасно стали бы мы искать в наше время народного поэта в том смысле, в каком был Гомер для своего века... Теперь между избранным меньшинством нации и массой замечается громадное расстояние» (VI, 611). Об этом суждении постоянно вспоминаешь, думая о необыкновенной популярности Шиллера в народе, сохраняющейся из поколения в поколение. Поистине, Шиллер завоевал сердце народа, нисколько о том не помышляя.

Во-вторых, Шиллер корит Бюргера за воспевание своих сугубо личных сердечных переживаний и чувств. Правда, та же рецензия (занимающая двенадцать книжных страниц) содержит знаменитую фразу: «Все, что может нам дать поэт, — это его индивидуальность» (VI, 610), однако из контекста ясно, что никак нельзя понимать эту мысль буквально. Шиллер, несомненно, имеет в виду «облагороженную индивидуальность» и решительно выступает против того, чтобы поэт выражал в своих стихах специфически личные чувства и опыт. И правда, было бы нелегкой, почти тщетной задачей попытаться обнаружить в зрелых произведениях Шиллера следы его личных переживаний. Кто же захочет что-то узнать о жизни поэта, тот будет вознагражден обилием свидетельств его современников.

Эта содержательная критическая статья, опубликованная без подписи, взбудоражила общество. На Гёте она произвела впечатление настолько сильное, что он публично заявил: он был бы рад назваться автором этой рецензии. Разумеется, авторство Шиллера недолго осталось в тайне. В той же газете вскоре появилась «Предварительная антикритика» Бюргера. С деланной невозмутимостью, не без остроумия старался он возразить против выговора, учиненного ему рецензентом «тоном барина и мастера»: «Что же до меня, то я понял давно и никогда не позволю себе забыть, что я существо духовно еще не созревшее и не совершенное, а следовательно, и не мог отразить в своих стихах зрелое совершенство». За этим последовала новая статья Шиллера — «Защита рецензента от антикригики»: «Пусть вдумчивый читатель решает, повинен ли автор рецензии в грубом противоречии лишь потому, что требует от произведения искусства индивидуальности, но в то же время не может счи-

тать художественной индивидуальность, проявленную в грубом виде, не отшлифованную, со всеми примесями» (VI, 624). Вообще, Шиллер вел себя в этом деле со скрупулезнейшей порядочностью. Спустя два года после описанного спора у Конца случился с Шиллером разговор о переводах Гомера. «Особенно порадовал и восхитил его, сказал он мне, сделанный Бюргером перевод отдельных песен Гомера в ямбах...» — вспоминал впоследствии Конц. И если Шиллер и усугубил беду большого поэта, то сам по себе его поступок не бросает тени на его нравственный облик. Друг детства Шиллера Конц был весьма наблюдательным человеком. О том, как поэт работал над «Историей Тридцатилетней войны», он поведал нам следующим образом: «Он привык тут же перерабатывать все, что, бывало, вычитает накануне или даже всего лишь несколькими часами раньше из своих фолиантов — книг Гуго Гроция и других. Учитывая его способность быстро охватывать материал и присущую ему силу художественного воплощения, это не вредило его работе, как непременно повредило бы любому другому писателю, менее одаренному от природы». Конц отмечал также истинную страсть поэта к материалам для драмы — «у него просто пылает душа».

И снова вокруг Шиллера собралось множество швабов: Конц, Нитхаммер, Гёриц и еще один земляк — профессор Паулус, преподаватель восточных языков, с которым поэт был дружен много лет.

В сентябре 1792 года к Шиллеру приехала мать, а вместе с ней и младшая сестра поэта Нанетта, которой к тому времени исполнилось пятнадцать лет.

Мать с сыном не видались десять лет. После столь долгой разлуки трудно ожидать полного взаимопонимания. Старое и привычное подчас сталкивается с новым и непонятным. Вот как рассказывал об этом визите Шиллер в письме к Кёрнеру:

«Моя мать неожиданно приехала двумя днями раньше, чем я мог ожидать, судя по письмам из Солитюдта. Долгое путешествие, плохая погода и скверные дороги, к счастью, не повредили ей. Правда, она уже не та, что десять лет назад, но после стольких болезней и страданий, какие довелось ей вынести, она удивляет своим здоровым видом. Я очень доволен, что волею судьбы мать ныне оказалась со мной и я могу ее порадовать».

О младшей сестренке поэт отзывается снисходительно: «Она все еще во многом дитя природы, и, пожалуй, так оно и лучше, коль скоро ей все равно не получить приличного образования».

Все вместе сначала жили в Йене, затем направились в Рудольштадт. Старая женщина вся сияла материнской гордостью. Но все же у нее так и не наладились непринужденные отношения с невесткой.

По всей вероятности, визит матери заставил Шиллера решиться на поездку на родину, о чем он давно уже мечтал. Но сначала надо было уладить старую ссору с герцогом... Из письма матери к сыну, отправленного в день нового — 1793 — года, мы узнаем, что Шиллер, оказывается, в ту пору дважды писал герцогу, но ответа не получал.

Кстати, письмо матери изобилует жалобами на запоры, боли в желудке и в спине, рвоты, зубную боль, «а е щ е , — сетует старая ж е н щ и н а , — и война страшит нас, и все невероятно дорожает у нас, даже и хлеб и масло».

Но зато дальше мать рассказывает о постановке «Коварства и любви» в Штутгарте, где сестрам Шиллера Луизе и Нанетте «бесплатно предоставили самые лучшие места» (любопытно, что приятные вести сообщают самым четким и разборчивым почерком). И принц будто бы присутствовал на спектакле и рьяно аплодировал. Кого же имела в виду мать Шиллера? Может, толстяка Фридриха, впоследствии сделавшегося первым королем Вюртемберга? Фридрих и правда был известен как страстный театрал в отличие от своего дядюшки Карла Евгения, давно уже утратившего всякий интерес к театру.

Есть над чем погадать биографу Шиллера, когда он обращается к отрезку времени в промежутке между отъездом из Йены матери поэта, состоявшимся в октябре 1792 года, и летом 1793 года, когда он уже окончательно решил надолго уехать в Швабию. Правда, добрая, тихая жена Шиллера привыкла подчинять желаниям мужа свои собственные, но все же и она не была совершенно безгласна. А ведь ее мало прельщала перспектива длительного пребывания в Швабии, хоть она и успела побывать там до замужества и сохранила об этом крае приятные воспоминания. Но ведь к тому же этой весной она убедилась, что беременна, — за три с лишним года замужней жизни это была первая беременность. Должно быть, именно поэтому Шиллеры надумали покончить со своим полустуденческим бытом в доме девиц Шрамм и сняли для себя отдельную квартиру, пусть скромную, в садовом домике на Цветценгассе, но с видом на незастроенные поля. Разве не казалось разумней дожидаться рождения ребенка, не трогаясь с места? В душе Шиллера, однако, зашевелился своеобразный швабский патриотизм: «Через месяц я поеду в Швабию, где, возможно, проведу всю зиму. Оттуда я уже обращусь к вам с просьбой стать крестным отцом моего ребенка, ведь я лишь затем еду туда, чтобы дочери или сыну, который уже скоро родится, подарить родину получше Тюрингии», — писал Шиллер Гёшену 5 июля.

Несколькими днями раньше в письме к Кёрнеру он приводил иные доводы в пользу своего решения ехать в Швабию: «В октябре отцу исполнится 70 лет, стало быть, хотя бы ради него поездку нельзя откладывать. К тому же моя жена по состоянию своего здоровья будет настоятельно нуждаться в помощи более умелых и добросовестных врачей, в случае если беременность прервется. Я весьма рассчитываю на помощь Гмелина в Хейльбронне, где предполагаю на время осесть. Да и сам я очень надеюсь, что воздух родины окажется для меня благотворным...»

Трудно определить, какие из этих причин больше других побудили Шиллера ехать в Швабию. Бесспорно одно: в жизни супругов наступила трудная пора. Беременность у Лотты протекала тяжело, сопровождалась резким недомоганием и непрерывными болезнями. А уж самого поэта и без того ежечасно подстерегала смерть.

«Стало быть, я в равной мере должен опасаться зимы для моих

легких, как лета и весны — для моих спазмов. Вот перед каким выбором я очутился — каждый знак Зодиака сулит мне новую беду. Но при всем при этом я, как разумный человек, могу желать лишь одного — как можно дольше оставаться в нынешнем моем состоянии, ибо всякая перемена, коей я могу ожидать, может быть только к худшему», — писал Шиллер 25 января Кёрнеру.

А спустя месяц, в письме к Гёшену, он сообщил: «Началась весна, которая, правда, является другом поэтов, да только не больных, и вновь на несколько недель приковала меня к моему недугу».

Должно быть, как раз во время пребывания у него матери Шиллеру прислали номер газеты «Монитёр», в котором он прочитал новость, касающуюся его самого. 26 августа 1792 года французское Национальное собрание присвоило Шиллеру, одновременно с рядом других выдающихся иностранцев, звание почетного гражданина Франции. Французская Республика хотела выразить этим свое уважение людям, «которые посвятили свой труд и проницательный ум делу борьбы народа против деспотизма королей». В пестром списке награжденных фигурировали имена Песталоцци и Клопштока — людей, которых никак не назовешь цареубийцами, а также Джорджа Вашингтона. Далее был назван «M. Gille, Publiciste allemand».

То, что имя его пользовалось такой известностью на берегах Сены, не могло не взволновать, не растрогать поэта. Он не стал, однако, этим козырять: в письмах, которые он рассылал в те дни, нет ни единого упоминания об этом событии. Впрочем, документ, удостоверяющий присуждение почетного звания, каким-то образом застрял в Страсбурге и попал к адресату лишь в 1798 году.

В тот самый день, когда Национальное собрание приняло это решение, Гёте, находясь в рядах армии, наступавшей на Париж, оказался неподалеку от Лонгви. Как известно, армия дошла лишь до Вальми. 21 января 1793 года был казнен король Франции Людовик XVI, и это разом перечеркнуло все намерения Шиллера, собиравшегося, на правах французского гражданина, призвать Конвент к большей умеренности в своих действиях.

На какое-то время датская пенсия сняла с поэта груз материальных забот, и он уже не должен был изнурять себя ради заработка: покончив со своими обязательствами перед Гёшеном, он не взялся тотчас за другую работу, а с очерками об эстетическом воспитании, основной костяк которых уже проступал в его письмах к Кёрнеру, можно было не торопиться. Тревожась о здоровье жены и надеясь поправить свое собственное, Шиллер уехал в Швабию.

«Со смертью бок о бок» — так названа эта глава. Название это можно было бы поставить эпиграфом ко всему оставшемуся отрезку жизни Шиллера. И здесь уместно спросить себя: а была ли счастливой эта жизнь — жизнь человека, которому посвящена наша книга? Вопрос заведомо нелепый, но при том резонный — недаром во всякое время задавались им даже мудрецы.

Вслед за Аристотелем Шопенгауэр предавался глубоким раздумьям о душевном комфорте человека, иными словами — о счастье. Итоги

этих раздумий изложены в его «Афоризмах к вопросу о жизненной мудрости». Здесь можно найти фразу: «И вообще счастье наше на девять десятых зависит исключительно от состояния нашего здоровья...» Впечатляющие слова — особенно для нас, ныне изучающих жизнь Шиллера.

Нет человека, который — смутно или вполне сознательно — не задумывался бы о счастье или несчастье в своей собственной жизни. И Шиллер не составил исключения из этого правила:

«Нынешний день — первый, когда я чувствую себя вполне, вполне счастливым. Нет, до сегодня я не знал, что значит быть счастливым! Один и тот же день сулит мне выполнение двух желаний, которые одни только и могут осчастливить меня...» (VII, 223).

Читателю уже знакомы эти строки из письма Шиллера, отправленного вечером 3 августа 1789 года Лотте и Каролине, после того как он уверился в согласии Лотты стать его женой и, будто восторженный юнец, размышлял о двойном блаженстве брака с Лоттой и вечной сердечной дружбы с Каролиной. А в другом письме, посланном 13 декабря 1791 года Кёрнеру после получения спасительной вестки из Копенгагена, он восклицал: «Скажи себе сам, как счастлива моя судьба!»

С тех пор как Шиллер взял свою судьбу в собственные руки, то есть со времени его бегства в Мангейм, счастье его видится нам сверкающей молнией, сплошь и рядом вспыхивающей неожиданно-негаданно и, против всякой вероятности, ярким светом озаряющей темный, гнетущий фон, зловещую бездну. Но при этом не раз счастливый поворот событий завистью богов обращался в свою противоположность, к примеру 1 сентября 1783 года, когда, только что получив должность драматурга Мангеймского театра, Шиллер перенес жесточайший приступ малярии. Вслед за этим все годы, когда здоровье поэта еще можно было считать сносным, были омрачены бедностью и долгами. А уж начиная с тридцати второго года жизни поэта, чувство близости смерти не покидало его ни на миг и беспрерывно доносили его разного рода недомогания, боли и судороги. «Девять десятых» счастья были безвозвратно утрачены.

Но были и благотворные, целительные силы, помогавшие перебарывать недуг: дар дружбы, которым Шиллер обладал с малых лет и сохранил до последних дней; философский подход к жизни, подкрепляемый также чувством юмора, и прежде всего — его творческий гений, способный непрестанно высекать из омраченных физическим страданием будней яркие искры счастья. В одном из писем к родителям поэт признавался: «Мне всегда сказочно хорошо, когда я занят работой и работа эта продвигается успешно». Вот так «сказочно хорошо...».

Этого уже много, очень много, и разве не достойно это называться счастьем? А все же всякий, кто вознамерится изучать жизнь этого замечательного поэта, обязан положить на чашу весов еще кое-что. Речь идет о случайностях, которые Шиллер, не отриная веры отцов, должен был бы расценить как знак благосклонности божественного провидения. Взять, к примеру, эпизод с бегством в Мангейм —

на все время бегства и последующих скитаний судьба подарила ему верного спутника в лице молодого Андреаса Штрейхера, подобного тому ангелу-хранителю, который, по легенде, сопровождал бредущего в неизвестность Товия. Далее. В дни самых горьких разочарований и самой острой безысходности в Мангейме он получил неожиданный сердечный привет от неизвестных друзей из Саксонии, подсказавших ему новые пути. Дальше. Измученному болезнью человеку, не знающему, останется ли он жить, вдруг будто с неба свалилась помощь — датская пенсия. И наконец — дружба с Гёте, в последний период жизни Шиллера достигшая накала, о котором прежде нельзя было и мечтать. Разве все это не Счастье?

А его союз с Лоттой? Конечно, о супружеском союзе никто не может ничего сказать с уверенностью, кроме самих супругов, да и то лишь на исходе жизни, хотя и тут мнения их могут не совпасть. Случаются и вовсе несчастливые браки, а вот представить себе совершенно счастливый брак нелегко — ведь дитя человеческое неразумно. Но достаточно заменить понятие «счастливый» понятием «хороший» — и это сразу же приблизит нас к реальности. И, судя по всему, что нам известно, супружество Шиллера с Лоттой было хорошим супружеством. Шиллеры воспитали четверых детей — двух мальчиков и двух девочек. Они не блистали какими-либо необыкновенными способностями, но выросли людьми достойными, жизнеспособными, здоровыми телом и душой, что уже само по себе удивительно, когда речь идет о потомках гения. Задним числом это лишь подтвердило верность взаимного выбора. И это тоже — Счастье.

В своем творчестве Шиллер часто возвращался к мотиву человеческого счастья и особенно проникновенно сделал это в балладе «Поликратов перстень». Пусть читатель заново перечитает ее. Мы же процитируем отсюда лишь три строчки:

Чтоб верной избежать напасти,
Моли неведомые власти
Подлить печали в твой фиал. (I, 260)

ПОЕЗДКА В ШВАБИЮ

8 августа 1793 года Шиллер и Лотта приехали в Хейльбронн. Их путь лежал через Нюрнберг, дорога «была утомительной, но все обошлось без каких-либо неприятных происшествий». В Нюрнберге супруги вновь увиделись с Баггесеном, своим датским ангелом-хранителем, который в человеческом своем обличье мог похвастать множеством приятных качеств, но прежде всего — был любознательный и восторженный поэт. Баггесен прибыл в Йену как раз накануне отъезда Шиллеров — словом, в весьма неподходящий момент, хотя они и оказали ему самый радушный прием — впрочем, ввиду непродолжительности встречи договорились вторично увидеться в Нюрнберге.

В Хейльбронне Шиллер с женой вначале поселились в гостинице «К солнцу». Через неделю поэт обратился к бургомистру с официаль-

ной просьбой о предоставлении ему убежища. «Вашей светлости вряд ли покажется удивительным, что город, который находится под властью просвещенного правительства и процветает, вкушая истинную свободу и обладая замечательной культурой нравов, город, расположенный к тому же в красивой плодородной местности, — привлекает чужестранцев и внушает им желание приобщиться на некоторое время к этим благам».

Хейльбронн, вольный имперский город, оставался здоровым общественным организмом и в период, когда большинство старинных городов-республик переживало упадок. «В прежние времена город славился могучей развитостью общественного начала, но и до сей поры здесь нет недостатка в хорошем, умеренном управлении», — заметил Гёте, посетив Хейльбронн спустя четыре года. В своем дневнике Гёте также хвалит «красивую, плодородную местность» вокруг города: в широкой долине Неккара, окаймленной пологими холмами, издавна занимались огородничеством, хлебопашеством, виноградарством. У Шиллера было чувство, что он вернулся на родину, «в родную Швабию»: пусть Хейльбронн франконский город, но ведь со всех четырех сторон он окружен территорией Вюртембергского герцогства. Поселившись в этом городе, Шиллер поступил разумно. Радуюсь здесь встрече с родиной, он в то же время оградил себя от возможных проявлений гнева со стороны «старого Ирода» (как однажды назвал он Карла Евгения в письме к Кёрнеру). Родные и друзья без труда могли навещать его в Хейльбронне. На случай же, если бы Карл Евгений предпринял какие-либо враждебные или подозрительные действия, Шиллер намеревался провести в стенах имперского города всю зиму и осень.

Была еще одна причина, почему Шиллера, так сказать, магнитом тянуло в этот город: здесь жил доктор Гмелин. «Гмелин оказался веселым малым и умным врачом. Он все еще чрезвычайно увлекается магнетизмом, однако прибегает к нему крайне редко, а не то и вовсе воздерживается от этого. Если судить по тому, что я узнал из немногих наших с ним бесед об этом предмете, моя вера в пользу магнетизма скорее уменьшится, нежели возрастет...» (Магнетизм был тогда в большей моде — в любом доме за чаепитием велись о нем нескончаемые разговоры.) Образ Гмелина запечатлен на страницах книги Юстинуса Кернера «Картинки моего отрочества». Кернера еще в детстве немало помучили врачи, и в конце концов его пришлось показать знаменитости — придворному советнику доктору Гмелину. Гмелин принял пациента. Весь приспешенный добродушия, он вначале завел с ним ученый разговор, а затем «ласково взглянул на меня, — свидетельствует Кернер, — и тихо произнес: «Так, милый мальчик, выходит, и над тобой уже успели поиздеваться врачи! Пойдем-ка со мной, я не стану пичкать тебя лекарствами». Он отвел меня вверх по лестнице в комнатку... стены которой были увешаны птичьими чучелами; велел мне сесть на стул, он глубоко заглянул своими черными глазами в мои глаза и начал руками поглаживать меня от головы к животу; при этом он несколько раз подул мне под ложечку. Мне ужасно захотелось спать, и скоро я забылся сном... Впоследствии,

по прошествии многих лет, я понял, что Гмелин «магнетизировал» меня». Когда Шиллер жил в Хейльбронне, Юстинусу Кернеру было семь лет. Значит, описанный сеанс у Гмелина произошел несколько позже.

Не успел Шиллер прибыть в Хейльбронн, как тотчас же к нему приехал отец; он привез с собой дочь Луизу — сестру Шиллера, которая хотела помочь невестке в домашних хлопотах, особенно после родов. Старик едва дождался встречи с сыном. Одиннадцать лет не виделись они, и все это время отец издалека с тревогой и гордостью следил за судьбой сына. Старик все еще состоял на службе у герцога и потому вынужден был испросить отпуск у своего «всемилостивейшего» господина для свидания с сыном; согласие он получил тут же. Шиллер заключил из этого, что нет причин опасаться каких-либо коварных происков со стороны «швабского короля» (как он порой называл Карла Евгения). А к бургомистру Хейльбронна с просьбой о разрешении на жительство и о защите он обратился из чистой предосторожности. И несколько позже, когда Карл Евгений во всеуслышание заявил, что будет игнорировать пребывание Шиллера в Вюртемберге (звучало это весьма недружелюбно, но впоследствии обернулось на благо поэту), Шиллер решил немедленно переселиться в Людвигсбург.

Хейльбронн, уютный город, расположенный в прекрасной местности, оказался, однако, не совсем удобен для длительного проживания. Жизнь в этом городе требовала очень больших затрат. Прежде всего Шиллер постарался поскорее выбраться из гостиницы. Он нашел себе квартиру в импозантном доме торговца Руоффа на Зюльмерштрассе; с нехитрым хозяйством умело справлялась здесь его сестра Луиза. Этот месяц в Хейльбронне Шиллер жил, как мог сражаясь со своим всегдашним недугом. «Знакомств я покамест завел здесь немного, поскольку большую часть времени проводил дома. Люди здесь менее скованны, чем можно было ожидать, однако интереса к наукам или к искусству выказывают мало. Кое-какую литературную пищу предоставляет мне небольшая здешняя библиотечка, выдающая книги на дом, да жалкая книжная лавка. Зато мне весьма по душе вино с некарских виноградников — с каким удовольствием я бы тебя им угостил!» (из письма Кернера от 27 августа 1793 года).

Из Хейльбронна, «не спрашивая разрешения у швабского короля», Шиллер ненадолго наезжал в Людвигсбург и в Солитюд. А 8 сентября вся семья перебралась в Людвигсбург. Шиллеры «отлично устроились» в доме Фишера, в самом центре города, с его приветливым в идеом, — города, выстроенного по единому плану; здесь Лотта уже спокойно могла ожидать родов. Сюда приехала к ней ее сестра Каролина, так что прежде неразлучная тройка вновь воссоединилась. Каролина отправилась в Швабию уже за несколько недель до этого, чтобы пройти курс лечения на водах в Каннштатте¹. Вместе с Каролиной приехала и ее золовка Ульрика фон Бойльвиц, так что при Лотте оказалось теперь несколько женщин.

¹ Ныне Бад Каннштатт, пригород Штутгарта, расположенный на правом берегу Неккара.

Шиллер снова в Людвигсбурге! Возвращение в места, где ты некогда жил, пробуждает у большинства людей грустное чувство, смешанное со светлыми воспоминаниями. Но Шиллеру была чужда всякая сентиментальность. Не взволновала его и поездка в Бауэрбах: «Былого очарования как не бывало. Я не чувствовал ничего». В Людвигсбурге будущий поэт провел годы детства, от восьми до тринадцати лет. До сих пор здесь жили тогдашние его приятели: Ховен, закадычный друг прежних лет, обитал тут же, в доме за углом. Город почти не изменился за прошедшие годы, лишь кроны деревьев в аллеях стали гуще, а тени — резче, и замок обступила тишина. Здесь Шиллер на каждом шагу встречал свое прошлое. И что бы он ни говорил, оно не могло оставить его равнодушным. В первом же письме, отправленном Кёрнеру из Людвигсбурга, поэт писал: «Город очень красив и приветлив, и хотя это резиденция герцога, но живут тут как в сельской местности» (VII, 285). Кстати, Шиллер был, наверное, единственным, кто помечал в своих письмах, что они отправлены из «Людвигсбурга в Швабии».

Шиллер ощущал свое сродство со швабами (в свое время это нашло выражение в самом плохом стихотворении, какое он когда-либо позволил себе написать: «Ну что вы там, в земле своей, дерете нос подчас...») ¹. В юные годы это чувство было естественным, но и потом оно не умерло и вот ныне побудило его поспешить на родину. Шиллер любил своих швабов. «Терпимость, дорогой друг, нужно привозить с собой в любой уголок земли, а вот всюду ли она будет столь вознаграждена, как среди благонравных и крепких швабов, — это еще вопрос», — писал он 23 марта 1788 года Вильгельму фон Вольцогену. «Меня весьма обрадовала весть, что вы намерены отправиться в мое любимое отечество, и притом не обойдете своим вниманием моего батюшку. Швабы — славный народ, я все больше и больше убеждаюсь в этом, знакомясь с другими провинциями Германии», — утверждал он в письме к Швану от 2 мая 1788 года. В свою бытность в Йене Шиллер поначалу преимущественно вращался в кружке выходцев из Швабии. А Гёшену он однажды сказал, что хотел бы подарить своему ребенку отечество получше Тюрингии.

Ребенок этот — мальчик — появился на свет 14 сентября 1793 года, в Швабии, как и желал его отец. При родах присутствовали мать Шиллера и его младшая сестра Нанетта, обязанности врача взял на себя Ховен, здесь же была и его жена. А Шиллер как раз спал в тот миг, когда его благополучно родившийся сын издал свой первый крик. Поэт сразу же сообщил о долгожданном событии сначала Кёрнеру и Гёшену, а 16 сентября Рейнвальду: «С радостным сердцем посылаю вам весть, что позавчера, 14 сентября, моя Лотта подарила мне сына, здорового и крепкого мальчика; и мать и ребенок чувствуют себя прекрасно. Знаю, что вы целиком разделите со мною эту радость. Все прошло благополучно, хотя роды начались для нас столь неожиданно, что мы едва управились со всеми необходимыми домашними приготовлениями».

¹ Начальная строка стихотворения «Граф Эбергард Грейнер (Военная песня)». — Собр. соч. в 8-ми тт., т. I. М.—Л., Academia, 1937, с. 46. Перевод Л. Мея.

Мальчика нарекли при крещении Карлом, что производит несколько странное впечатление. Ведь обычно ребенку дают имя по зрелом размышлении, тем более когда речь идет о первенце, да еще о сыне. Но совпадение имен у сына Шиллера и бывшего «повелителя» поэта, «отца швабов», хоть кого способно удивить. Ныне известно, что супруги Шиллер дали своему ребенку это имя в честь коадьютора фон Дальберга, к которому оба были привязаны всей душой. И все же само имя Карл должно было вызывать в сознании Шиллера не только приятный, но несколько расплывчатый образ «золотого клада», но еще и другой образ, а именно — столь многими ненавидимого, но многими и почитаемого правителя Вюртемберга. В любом случае воспоминание о герцоге не помешало поэту назвать своего сына именем Карл... Зато престарелые родители Шиллера, державшие внука над купелью, совсем не знали его преосвященства барона фон Дальберга; воплощенным провидением был для них другой Карл — герцог Вюртембергский.

Впрочем, той же осенью старого герцога, около полувека властвовавшего над Вюртембергом, настигла смерть. Утром 8 октября он по обыкновению отправился на охоту, однако из-за сильных болей вынужден был вскоре возвратиться домой. Придворному врачу не пришло на ум ничего другого, как сделать ему кровопускание. Казалось, больной был спасен. Однако после вечерней прогулки в карете у герцога той же ночью начались приступы таких невыносимых болей, что «только вера в бога удержала его от самоубийства», как он впоследствии признался придворному священнику Блайбимхаузу. Еще дважды Карла Евгения по его приказанию возили в Штутгарт, где он надзирал за ходом строительных работ в новом замке. Но на этом все кончилось. Он лежал в своей опочивальне на верхнем этаже флигеля в замке Хоэнгейм (впоследствии там размещалась келарня) и лишь по прошествии нескольких дней позволил протопить печь. У одра умирающего собрались члены семьи герцога, его советники. Франциска не отходила от него ни днем, ни ночью. Умирал он долго, в муках, и лишь в ночь на 24 октября смерть взяла свое. 30 октября гроб перевезли в Людвигсбург и ночью погребли его в глубоком тесном склепе замка, в «Могиле князей», столь мрачно воспетой Шубартом.

На отпеванье это все свершилось.
В толпе несметной скрыты, мы на нем
Присутствовали в чуждом одеянье... (III, 213)

Эти строки мы извлекли из «Мессинской невесты», и при всей осторожности, которая напрашивается, когда нам может показаться, будто мы набрали — в зрелых творениях Шиллера — на след собственных его переживаний, все же нельзя не признать, что строки эти навевают воспоминание о том темном осеннем вечере, когда поэт из окна своей комнаты следил за озаряемой неверным светом факелов траурной процессией, которая сопровождала тело герцога к фамильному склепу. Ховен сохранил для потомства слова, которые однажды на прогулке при виде склепа произнес Шиллер: «Вот где упокоился неуго-

монный этот человек! Много недостатков имел он как правитель, и еще больше пороков имел он человеческих, но первые перекрываются его достоинствами, а память о вторых следует похоронить вместе с ним...» Нет нужды гадать о том, какой смысл вкладывал Шиллер в эти слова. Они лишь свидетельствуют о высоком чувстве справедливости, присущем поэту, — ни один судья не мог бы вынести более продуманного суждения, — да к тому же и подводят итог многолетним напряженным отношениям тирана-воспитателя с его гениальным воспитанником.

Вскоре после смерти герцога Шиллер посетил Академию. Интендант ее, фон Зегер, провел поэта по всей анфиладе помещений, столь хорошо ему знакомых. Вдвоем они вошли в столовую и не преминули остановиться поочередно у каждого из восьми длинных столов, и за каждым столом сидевшие здесь юноши встречали гостя громкими приветственными криками. По свидетельству Й. Хр. Фр. Майера, Шиллер принял эти почести «благодарно и с заметным волнением». После обеда поэт посетил кабинеты искусства и естественнонаучных экспонатов. А во время прогулки он замедлил шаг у садового участка, некогда принадлежавшего ему. Здесь все еще стояло деревянное сооружение — дубовый пень с дверцей, подаренный ему в день его рождения, — забавное воспоминание о юности поэта.

Существованию Академии вскоре пришел конец. Всего лишь на полгода пережила она своего основателя. Преемником Карла Евгения, который, при обилии детей, умер, не оставив престолонаследников, стал его брат Людвиг, добродушный пожилой господин, настолько прославившийся своим кротким нравом, что от него ожидали чудес. Однако единственным заметным актом его короткого правления стало закрытие Академии — он никак не мог уразуметь, зачем она нужна. Естественно, Шиллеру-отцу очень хотелось, чтобы его знаменитый сын нанес визит новому правителю Вюртемберга, но сын и не думал об этом, и, стоило ему услышать, как хвалят нового хозяина, он тотчас начинал превозносить достоинства прежнего. В письме к Кёрнеру от 17 марта 1794 года Шиллер высказывает сожаление по поводу закрытия Академии без сентиментальных вздохов, лишь отмечая ее заслуги: «Искусства процветают здесь так, как ни в одной другой области Южной Германии...» (VII, 294).

В Людвигсбурге Шиллер много времени проводил в обществе Ховена. Они встречались каждый день, нередко вместе обедали или ужинали. Поскольку Шиллер отнюдь не утратил интереса к медицине, многие разговоры друзей велись на эту тему. Но, случалось, Шиллер начинал восхищенно рассказывать, к примеру, о новом переводе Гомера, выполненном Фоссом, и целыми вечерами читал его вслух.

Состояние Шиллера временами делалось сносным, но вскоре вновь брала верх болезнь: «Я счастлив по крайней мере тем, что сейчас один я из всей семьи моей болен», — заметил он в одном из своих писем. Ховен свидетельствует: «К сожалению, насладиться его обществом очень часто мешало его болезненное состояние, спазмы в груди; однако в дни, когда ему бывало лучше, с какой полнотою изливалось все богатство его духа, сколь исполненным любви представляло его нежное,

участливое сердце... Поскольку лишь изредка мучительные приступы удушья отпускали его, то и работать он мог недолго, часто прерываясь, но в то же время писал он почти ежедневно, большей частью по ночам...»

Судя по всему, жены обоих друзей не были причастны к их дружбе. Хотя Ховен с женой и оказали помощь при родах Лотты, все же женщины из семьи Шиллера так и не сдружились с ними. Каролина, отныне всерьез занятая своим разводом с фон Бойльвицем, по всей вероятности, была поглощена собственными заботами. Лотте же не нравились земляки мужа, она не находила в них должной культуры и утонченности — лишь Нитхаммера (из кружка швабов, проживавших в Йене) и Конца исключала она из того числа, но отнюдь не Ховена. При всей своей воспитанности она довольно откровенно высказалась на этот счет в письме к Фрицу фон Штайну от 6 февраля 1794 года: «О женщинах мне ничего не хотелось бы говорить — настолько они необразованны, грубы и болтливы, что и сказать нельзя». В том же письме она рассказывает о своем ребенке, что он такой здоровый и крепкий, «как я и не смела надеяться». Однажды мы уже отважились задуматься о том, насколько счастлив был в своей жизни Шиллер. Мы не позволим себе рассматривать с этой точки зрения жизненный путь его жены. Шарлотта фон Шиллер намного пережила своего мужа, и, возможно, задним числом ее совместная с ним жизнь все больше представлялась ей в золотом ореоле. В действительности же каждый новый день приносил с собой новые заботы.

Впрочем, сказанное вовсе не значит, что Шиллер в Людвигсбурге лишь безудержно наслаждался обществом старых друзей. 4 октября он писал Кёрнеру: «Вижу здесь многих своих старых знакомых, но мало кто из них меня интересует. Здесь, в Швабии, не так много людей с богатым внутренним содержанием, как ты думаешь, и притом они не умеют облечь его в надлежащую форму. Некоторые, когда я уезжал отсюда, отличались светлым, возвышенным умом, а теперь стали очень меркантильны и огрубели» (VII, 286). Это написано в довольно-таки невеселом по тону письме. Для Конца он находит скучные слова похвалы и даже о Ховене отзывается сравнительно сдержанно: «Один из моих ближайших друзей юности, доктор Ховен, стал очень неплохим врачом, но как писатель — к чему у него была большая склонность — он отстал. С ним прошел я все ступени духовных исканий с тринадцати до двадцати одного года. Вместе писали мы стихи, занимались медициной и философией. Обычно я направлял его вкусы. Теперь наши пути столь несхожи, что мы едва могли бы понять друг друга, не останься у меня в памяти кое-что из медицинских познаний». И дальше, с горечью: «Я пока что мало работаю, зачастую бывают дни, когда я не выношу даже вида пера и письменного стола. Этот упорный недуг со столь скупой отмеренными мне передышками часто очень угнетает меня. Никогда я не был так богат творческими замыслами, и никогда еще из-за наипрезреннейшей из всех помех — моей физической немощи — я не был так мало вынослив. О чем-нибудь большем не смею и думать...» (VII, 287). И еще ниже: «До чего мне во всем мешает моя болезнь!» (VII, 288).

Письма — все равно что моментальные снимки. Вот что писал Шиллер своим родителям 8 ноября: «Мне очень жаль, дражайшие родители, что не могу отпраздновать свой день рождения с вами. Но я хорошо понимаю, что дорогому батюшке сейчас никак нельзя покидать Солитюд, когда со дня на день ожидают приезда герцога. Ведь вообще-то не так уж и важен какой-то определенный день, если хочешь повеселиться вместе с родными — всякий день, который я проведу с моими милыми и дорогими родителями, станет для меня желанным праздником, словно это и впрямь день моего рождения... Всю прошедшую неделю я был весьма прилежен, и все мне удавалось. Мне всегда сказочно хорошо, когда я занят работой и работа эта подвигается успешно». Слова эти уже цитировались выше, когда речь шла о счастье и несчастье в жизни Шиллера. Ко дню рождения отец прислал сыну подарок: портрет сына, написанный Людовикой Зиманович. Поблагодарив отца, сын заметил: «Как бы ни был я рад этому памяtnому подарку от вас, все же еще больше радуюсь я тому, что волею судьбы мне посчастливилось быть вашим сыном и жить поблизости от вас. Нам следует, однако, лучше использовать это время...»

Людовика Зиманович, в девичестве Рейхенбах, некогда жила в том же доме, где поселилось семейство Шиллеров после переезда из Лорха в Людвигсбург. И ей, и маленькому Фридриху в ту пору было всего по семь лет, они играли вместе и дружили в последующие годы, пока Шиллера не отправили в Академию. Веселая пухленькая девушка получила разностороннее художественное образование и стала превосходной портретисткой. Ей обязаны мы портретами родителей Шиллера. Теперь же, когда он вновь приехал в Швабию, художнице хотелось написать портрет также и самого «милого Фрица». Так той же осенью и возник поясной портрет, исполненный пастелью. Если не считать великолепного мраморного бюста поэта работы Даннекера, портрет работы Людовики Зиманович, должно быть, самое верное изображение Шиллера из всех, какими мы располагаем. Вслед за ним появился и еще один портрет, почти в натуральную величину, с которого позднее было сделано несчетное число копий. Сестра Шиллера Нанетта писала 12 декабря 1794 года старшей сестре Христинине, называя художницу по ее девичьей фамилии — Рейхенбах: «Рейхенбахша была у нас здесь несколько дней, писала портрет Шиллера; правда, он еще не совсем закончен, но сходство такое, что можно лишь хвалить... поза выбрана удачно: Шиллер сидит и видны обе руки, одна свешивается со спинки стула, другая спрятана под отворотом жилета. Фриц очень рад был повидать Людовику, и она тоже очень радовалась. А теперь и я здесь тоже и, стало быть, обещаю рассказывать тебе обо всем, что тебе захочется узнать...» Поза выбрана удачно, писала девушка. О портрете еще можно сказать, что художница невольно передала осунувшийся вид Шиллера — следствие подорванного здоровья. Несколько позже Людовика написала также и Лотту, создав прекрасный, выразительный образ жены поэта.

Летом 1794 года, уже возвратившись в Йену, Шиллер переслал художнице небольшую сумму денег: «Мне и вправду стыдно, дорогая подруга, что за труд, который вы потратили на изготовление на-

ших портретов, равно как и за потраченное вами время, я могу предложить лишь небольшое вознаграждение. Будьте же снисходительны и примите прилагаемую малость как возмещение ваших затрат на краски и холст — ведь искусство ваше я не в состоянии оплатить, да и не желал бы этого делать». Кто мог бы сказать то же самое тактичнее, тоньше?

В Людвигсбурге тридцатичетырехлетнего поэта обступило детство. Его потянуло навестить свою старую латинскую школу, это древнее учебное и «колотушное» заведение, быть может, лишь потому, что там по-прежнему преподавал лучший из всех его наставников, Ян, тот самый, которого герцог в свое время пригласил в свой «питомник», а затем снова отослал в Людвигсбург. Старый учитель с глубоким удовлетворением и гордостью наблюдал за тем, как его знаменитый ученик изредка вел вместо него уроки риторики, логики и истории. Шиллер усаживался на скамейку среди учеников, клал ногу на ногу, подпирал голову рукой. На уроках истории он, как правило, придерживался учебника, написанного профессором Шрекхом, но случалось, что, воодушевившись, он выпрямлялся во весь свой рост и пылко импровизировал. Школьники знали, кто был их гость. Стоило им встретиться на улице, как они тут же окружали его: «О, господин Шиллер, пожалуйста, расскажите нам еще что-нибудь!»

Иногда он совершал вылазки за город, но не всегда они кончались благополучно. Чаше всего его сопровождал в этих прогулках Ховен — по крайней мере всегда был врач под рукой. После одной из таких длительных прогулок Ховен с трудом довел поэта до дома (он не столько поддерживал его, сколько чуть ли не нес на себе), но все же Шиллер справился с удушьем, отлежавшись в постели и выпив несколько чашек чаю. В другой раз приняла дурной оборот поездка в Штутгарт, где у поэта была назначена встреча со старыми друзьями Хаугом и Петерсеном в гостинице «Духовное подворье». Почему-то Шиллер задумал напоить допьяна Петерсена. Но случилось так, что перебрал по части вина он сам, ему сделалось худо, и он повалился на стол. К счастью, на этот раз дело обошлось без грудных спазмов, которых более всего следовало опасаться, и к тому же обратный путь больной проделал в коляске, так что эскапада эта осталась без последствий. Правда, Лотте вряд ли понравилась вся эта история.

Из воспоминаний Ховена интересен еще рассказ о праздновании сочельника. Сочельник сделался кульминацией семейных праздников лишь с начала эпохи бидермайера. Раньше же это был обыкновенный праздник, ничем не выделявшийся среди прочих. Правда, уже тогда получил широкое распространение обычай устраивать елку или пирамиду из свечей, а также делать друг другу, особенно детям, подарки «на рождество Христово». Однако и в семейном кругу, и в свете несравненно большее значение придавалось прощанию с уходящим годом и встрече Нового года. В воспоминаниях современников Шиллера о его жизни редко встретишь упоминания о праздновании рождества. Тем примечательнее этот рассказ о сочельнике 1793 года, из которого можно заключить, что в годы детства Шиллера в доме его родителей, где бы ни жили они — в Лорхе или же в Людвигсбурге, —

рождество всегда отмечалось торжественно. Вот что рассказывает Ховен:

«В сочельник я зашел к нему, и что же я увидел? Огромную елку, сияющую несметным числом маленьких восковых свечей, убранный позолоченными орехами, пряниками и разными другими сладостями. Перед нею сидел в полном одиночестве Шиллер — он весело поглядывал на елку и то и дело лакомился ее «плодами». Удивленный этой неожиданной картиной, я спросил его, что он тут делает. «Свое детство вспоминаю», — отвечал он...»

Разумеется, огромную елку нарядили для маленького сыночка Шиллера, хотя тот едва ли был способен оценить ее убранство — в лучшем случае мог лишь порадоваться сиянию свечей. «Вот до чего ребячлив, да-да, ребячлив, бывал этот большой и умный человек в те редкие часы, когда его не донимала болезнь», — заключал друг поэта.

«Лотта обычно тоже здорова и тогда рисует, вышивает на пяльцах или читает, хотя, сказать по правде, больше всего она хлопочет вокруг сына да еще и по дому. Госпожа фон Бойльвиц и ее золовка тоже еще здесь и пока не собираются уезжать; первую я очень любила, да и все другие тоже, а вот вторая не вызывала в нас большой симпатии» — так в своем письме к Христофине, уже упоминавшемся выше, Нанетта отзывается о родственницах четы Шиллеров, приехавших в Людвигсбург. Каролина твердо решила больше не возвращаться к мужу. Сестра, однако, не поддерживала ее в этом: «Это непристойно», — твердила Лотта, Шиллер же в этом споре был на стороне свояченицы.

Поэт взял на себя труд провести разговор с фон Бойльвицем об окончательном разрыве с женой и для этого обратился к нему с письмом: «Я уже давно рад был бы обсудить с вами отношения, сложившиеся у вас с Каролиной, да только скверное мое здоровье побуждало меня, насколько возможно, не думать об этом тягостном обстоятельстве, к тому же постороннему ведь и вообще затруднительно высказываться на этот счет. Но вы, дражайший друг, хотите узнать мое мнение об этом предмете, и я отвечу вам со всей искренностью, к которой, как я полагаю, обязывает меня наша дружба» (письмо от 21 января 1794 года). Вспомним, что в Академии Шиллер первоначально изучал юриспруденцию. Он, несомненно, преуспел бы в этом деле: острый аналитический ум, неукоснительное нравственное кредо, развившееся с годами умение обходиться с людьми были бы залогом успеха. Выше уже отмечалось, что ни один судья не смог бы вынести герцогу Карлу Евгению более справедливого приговора, чем тот, который вынес ему Шиллер. Так и тут: лучшего письма Бойльвицу не составил бы ни один адвокат. Настойчивость, с которой Шиллер советует колеблющемуся мужу пойти на развод, в сочетании с глубоким тактом порядочного человека способны поистине вызвать восхищение. С тем же безупречным тактом Шиллер рассматривает материальные вопросы: «Что же касается ваших расчетов с Каролиной, то, на мой взгляд, Каролине следует целиком положиться на вашу добропорядочность, и я полагаю, что она и не отважится предъявить вам никаких пре-

тензий». (Но при всем том Шиллер в своем письме скрупулезно оговаривает некоторые детали соглашения...) «Для вас же все это составит тем меньшую трату, что этим вы приобретете для себя свободу». Письмо заканчивалось последним призывом к благоразумию, как и заверением в неизменном дружеском расположении. И в самом деле, развод вскоре состоялся. Теперь Каролина могла соединить свою судьбу с судьбой Вильгельма фон Вольцогена, которого любила с юных лет.

Еще до поездки Шиллера в Швабию после долгого страдальческого молчания напомнила о себе Шарлотта фон Кальб. Не один удар обрушила на нее судьба... но теперь она просила Шиллера помочь ей найти домашнего учителя для старшего ее сына — Фрица. Шиллер ответил ей спокойным дружеским письмом и обещал заняться поисками учителя: возможно, в Швабии найдется подходящий молодой человек. И впрямь учитель вскоре нашелся. 20 сентября 1793 года Штойдлин, издатель поэтической антологии, рекомендовал на эту должность юношу по фамилии Гёльдерлин; поддержал эту рекомендацию также друг издателя — магистр Гегель. Спустя несколько дней Гёльдерлин пришел представиться Шиллеру. Поэт не мог не почувствовать, как глубоко юноша преклоняется перед ним. И надо полагать, он дружелюбно обошелся с гостем. Однако при всем при том 1 октября Шиллер отослал Шарлотте фон Кальб письмо, которое можно назвать рекомендательным лишь с известными оговорками. Молодой человек не лишен поэтического таланта, писал Шиллер, а в скобках добавил: «Впрочем, я не знаю, должны ли мы считать это достоинством или же недостатком». И дальше: «Я познакомился с ним и полагаю, что внешность его весьма вам понравится. Он производит также впечатление весьма порядочного и воспитанного человека. С точки зрения нравственности о нем отзываются хорошо, но все же, кажется, он не вполне оступенился, и я не рассчитываю на основательность ни в познаниях его, ни в поведении. Правда, возможно, что тут я к нему несправедлив...»

В дальнейшем все, однако, сложилось вполне удачно. И госпожа фон Кальб писала жене Шиллера: «Не знаю, как и благодарить Шиллера за то, что он рекомендовал нам этого милого Гёльдерлина».

И Гёльдерлину тоже немало повезло с этим учительским местом. О чем, довольный и радостный, он и сообщил в шутовском тоне своей «милейшей матушке». Но совсем иным тоном он обращался к Шиллеру: «В час, когда перед лицом великого человека я преисполнился рачения, я дал слово не посрамить род человеческий на моем нынешнем, столь быстро расширившемся поприще. Я вам дал это слово. И перед вами я отчитываюсь теперь».

В этом письме, сквозь строки которого проступает образ молодого философа, всерьез увлеченного своим предметом, содержится трогательная жалоба на то, что ему не было даровано счастье хоть немного пожить вблизи Шиллера: «Не разубеждайте меня, о благородный гений! Рядом с вами я преобразился бы как по волшебству».

Что же писал Шиллер в те месяцы, когда жил в Людвигсбурге, что выходило из-под его пера, когда у него доставало сил работать? Два разных предмета в ту пору занимали его. Во-первых, все более четко обрисовывалась тема Валленштейна. Во-вторых, продолжалась переписка с принцем Фридрихом Христианом, начатая еще в Йене, — переписка, в ходе которой Шиллер излагал свои эстетические воззрения. Поэт, несомненно, рассматривал этот труд как ответный дар в благодарность за предоставленную денежную помощь. Из «Людвигсбурга в Швабии» было отправлено принцу четыре таких письма, причем два письма по своему объему нисколько не уступали хорошему трактату.

Шиллер вновь и вновь настойчиво задумывался над понятием прекрасного. И Виланд, и Мориц, каждый по-своему, навели его на подобные размышления, но вполне возможно, что первые раздумья поэта на эту тему относятся еще к временам Академии. 21 декабря 1792 года Шиллер писал Кёрнеру: «Сама природа Прекрасного стала для меня во многом ясна... Мне кажется, что я нашел объективное понятие Прекрасного, которое отчаялся открыть Кант и которое *eo ipso*¹ становится и объективным критерием вкуса. Я хочу систематизировать свои мысли об этом в диалоге «Каллий, или О красоте» и издать это примерно к пасхе» (VII, 274). Издание это, однако, не было осуществлено. Шиллер продолжал развивать свои мысли в длинных письмах к Кёрнеру, на которые тот, кстати, весьма изобретательно и остроумно отвечал. «Исследование природы Прекрасного... уводит меня в весьма обширную область, где простираются и вовсе незнакомые мне края», — заявляет поэт в письме к другу 25 января 1793 года. Ссылаясь на своих предшественников в изучении этого вопроса, то соглашаясь с ними, как, например, с Кантом, то критикуя их, как, например, Баумгартена, Мендельсона * и всю свиту приверженцев теории совершенства, адептов Вольфа и Бёрка *, Шиллер заключает письмо следующими словами: «Может, я чуть больше приподниму занавес, когда мне снова захочется поболтать». Но уже 8 февраля Шиллер вновь возвращается к той же теме, к тем же неотступным вопросам о природе Прекрасного, о том, «какому из законов познания следует вкус». Эти рассуждения, торопливо изложенные поэтом в письме к Кёрнеру, он заново сформулировал на другой день в своем первом назидательном письме к Фридриху Христиану Августенбургскому. В этом письме, рассказывающем и о нездоровье поэта, и о его ипохондрии, мы читаем такую фразу: «То обстоятельство, что я сейчас не в состоянии творить сам — для этого необходимо ясное и свободное состояние духа, — дает мне досуг, благоприятный для размышления над принципами творчества» (VII, 277).

Исследователю жизни и творчества Шиллера следовало бы обратить особое внимание на эти слова. За ними вырисовывается и материальная необходимость, побуждающая поэта к работе, и одновременно угадывается великолепная уверенность в своих силах: если

¹ В силу этого (*лат.*).

неможное тело не позволяет духу творить, тогда по крайней мере следует обдумать и записать то, что другие по-прежнему расценят как великое достижение. Это во-первых. А во-вторых, примечательно, что поэт и философ Шиллер неизменно превыше всего ставит свое поэтическое творчество. И совсем не обязательно быть обывателем, чтобы отдавать предпочтение «Дон Карлосу», «Марии Стюарт» и «Вильгельму Теллю» перед подавляющим большинством витиеватых теоретических писаний. Ведь лишь в отдельных строфах немногих стихотворений поэзия и философия неразделимо слиты в единое целое.

В Людвигсбурге поэт продолжал работу над своими эстетико-философскими письмами к датскому принцу. В этом же городе в сентябре месяце Шиллер получил письмо от Фридриха Христиана, свидетельствовавшее о том, что его рассуждения об эстетике восприняты адресатом с известным скептицизмом: «Избавить сферу Прекрасного от господства прихоти, подчинить ее велениям разума — о такой возможности я догадываюсь, но всякий раз мной овладевает оцепенение, как только я попытаюсь себе представить, какую силу духа надо иметь, чтобы не потерпеть здесь фиаско».

В последующих письмах, которые Шиллер отсылал в Копенгаген, рассуждения об эстетике подаются в историческом контексте; так, поэт утверждает, что эстетическая культура никогда и нигде не была плодом буржуазной свободы... Читая эти тексты, понимаешь скептическое замечание Фридриха Христиана. «Не в теории, а, напротив, в художественной практике заключено непреходящее величие Шиллера» — с этим совсем недавним выводом (он принадлежит литературоведу из ГДР Айке Миддель)* нельзя не согласиться. Величие Шиллера-историка, которого в этих письмах постоянно заслоняют Шиллер-философ и Шиллер-эстетик, проявляется при изображении конкретных событий, а отнюдь не в общих его рассуждениях, к тому же зачастую набрасываемых с чрезмерной поспешностью. Датский принц, хоть и искренно преклонялся перед поэтом, все же не был его слепым почитателем. По поводу письма Шиллера от 11 ноября Христиан говорил сестре: «Первое письмо не слишком мне понравилось, оно чрезвычайно умозрительно; к тому же как в принципах, так и в выводах я очень расхожусь с Шиллером. Да и он тоже примкнул к тем, кто склонен забывать, что в теории, разумеется, можно отделить друг от друга ум и чувства человека, но в жизни они всегда проявляются как неразрывное целое...»

Пусть копенгагенцы судили обо всем по-своему, но с письмами Шиллера они при том обращались как с сокровищами. В высшем свете, в домах принцессы, Шиммельмана и Бернсдорфа их оживленно обсуждали и комментировали. Впоследствии все письма снова вернулись к принцу, который стал бережно их хранить. Из-за этого и пропали оригиналы писем. В феврале 1794 года сгорел замок Христиансбург — при пожаре погибли и письма Шиллера.

Последствия этого пожара описал сам Фридрих Христиан в Примечательном письме к поэту. «В том числе и ваши поучительные письма, благородный и досточтимый человек, которые я перечитывал часто

и с неизменным удовольствием, — их постигла та же участь. Если бы вы смогли восполнить эту потерю, вы заслужили бы этим признательность всех ваших здешних друзей, но самым благодарным из всех все же буду я, поскольку больше всех ценит и любит автора этих писем, как и «Дон Карлоса», преданный вам Фридрих Христиан». У Шиллера сохранились черновики писем, которые он, переписав начисто, посылал принцу. Речь идет по преимуществу о четырех людвигсбургских письмах.

Эти эстетико-философские письма датчанам Шиллер писал в ноябре и декабре 1793 года. О его набросках к «Валленштейну» нам мало что известно, кроме того, что он создавал их, находясь в Людвигсбурге. Поэт заинтересовался этой фигурой в процессе работы над «Историей Тридцатилетней войны». «Долго искал я какой-либо сюжет, который бы воодушевил меня; и наконец нашел...» — писал он Кёрнеру в злополучном 1791 году. Ни один из его замыслов еще не созревал так медленно, сетовал поэт, никогда прежде не изменял он столь радикально свой взгляд на главного героя, никогда столь трудно не осваивал исторический материал. Вначале Шиллер выдвинул следующую исходную концепцию: «Валленштейн пал не потому, что был мятежником, — он сделался мятежником потому, что пал». Однако, работая над драмой, поэт в корне изменил свое мнение на этот счет. Именно в этой драме Шиллера его исследовательская работа ученого-историка всего теснее сливается с поэзией. Лишь от Ховена узнаем мы кое-что о том, в какой мере Шиллер продвинулся в своей работе над драмой в людвигсбургский период: отдельные сцены были написаны прозой, а о «Лагере Валленштейна» еще вроде бы и речи не было. Из этих набросков, однако, ничего не сохранилось.

В марте 1794 года Шиллер вдвоем с Ховеном отправился в Тюбинген, где провел два дня (южнее этого города Шиллер нигде не бывал). По пути друзья остановились в Вальденбухе и решили пообедать в «Золотом орле». Приводим воспоминания Ховена: «Обед оказался вполне приличным, но зато досадил нам хозяин. Стремясь обслужить гостей сообразно их званию, он набросил на руку салфетку и застыл у нашего стола... Оба мы злились на докучливого соглядатая, но не знали, как нам избавиться от него, не выказав неучливости. Наконец он сам вмешался в нашу беседу и совершенно равнодушным тоном сообщил нам, что нынче утром похоронил свою матушку. «И вы, хозяин, так спокойно говорите об этом! — сказал ему Шиллер. — Прошу вас, не затрудняйте себя ради нас. Мы соболезуем вашему горю, понимаем всю тяжесть вашей утраты, а потому ступайте к себе, в комнату вашу, и там дайте выход слезам, а мы уж с обедом как-нибудь сами управимся». Хозяин принял эти слова за чистую монету и, все так же держа на руке салфетку, удалился к себе и больше уже не показывался». Можно считать, что в произведениях Шиллера недостает юмора, — в жизни, однако, поэт обладал этим качеством в должной мере.

Поездка в Тюбинген была задумана не случайно. Старинный здешний университет переживал в ту пору полосу подъема: поскольку закрытие КарлсшULE к тому времени было уже решенным делом, един-

ственным университетом Вюртемберга вновь становился Тюбингенский, и возникла мысль привлечь в состав его преподавателей лучших профессоров Карлсшутле. Непосредственным поводом для поездки Шиллера в Тюбинген послужила намеченная встреча поэта со своим бывшим наставником Абелем. Поэту предложили остановиться в студенческом пансионе, где жил и сам Абель, и ректор университета, столуясь здесь вместе с шумной компанией студентов (обед подавался всем в огромных мисках). «Это пришлось Шиллеру особенно по душе, — вспоминал впоследствии Абель. — Он с видимым удовольствием, весело беседовал со студентами, с любовью и восхищением смотревшими на человека, чья слава в ту пору уже гремела по всей Германии. После обеда гостя отвели в верхние комнаты дома, и здесь его восхитил великолепный вид, открывавшийся из окон. Он был в отличном расположении духа, а я и прежде знал за ним то свойство, что ввиду новых обстоятельств он тут же загорался новыми замыслами, — и тут ему сразу пришла в голову мысль: вот если бы он здесь жил, как было бы ему отрадно каждый вечер, с шести до восьми, приглашать к себе студентов и беседовать с ними о науках и искусстве! Этим он надеялся воздействовать на умы, вкусы и нравы студентов много успешнее, чем с помощью лекций; впрочем, если бы только ему позволило здоровье, он и от лекций не стал бы отказываться, просто сейчас он еще не смог бы взять на себя чтение целого курса».

Выходит, у Шиллера мелькнула мысль, а не обосноваться ли ему в Тюбингене?.. Показательно, что в письме к Кёрнеру, написанном спустя три дня, он ни словом не обмолвился о своей поездке в этот город: хоть он и размышлял над неожиданно открывшейся возможностью, но не хотел бы тревожить друга. Впоследствии, когда поэт уже возвратился в Тюрингию, неожиданная идея эта отлилась в конкретные предложения Тюбингенского университета. Однако к тому времени Шиллер уже раздумал ехать в Вюртемберг. И все же в дни пребывания в Тюбингене поэт познакомился с издателем по фамилии Котта, которому было суждено сыграть большую роль в его жизни.

Вернувшись из Тюбингена, Шиллер решил переехать в Штутгарт. А ведь поначалу он и слышать не хотел об этом... «Я ненавижу Штутгарт», — говорил он. Но теперь он все же туда уехал и прожил в этом городе семь недель, принеся ему больше интересных впечатлений, чем предшествующие полгода в Людвигсбурге. Людвигсбургская квартира Шиллеров сразу же опустела. Разделавшись с ненавистным ей браком, Каролина отбыла в Швейцарию в обществе Вильгельма фон Вольфогена, своего будущего мужа. А Шиллер с Лоттой и маленьким сыном поселились в Штутгарте, на стыке нынешних улиц Паулиненштрассе, Мариенштрассе и Райнсбургштрассе. «Я переменял местожительство, и притом чрезвычайно удачно, так как возможности для общения здесь несравненно шире: в Штутгарте собралось множество светлых умов, людей разного толка и направления. Не могу себе простить, что не решился на это раньше...» Так писал Шиллер Кёрнеру в самом начале своего пребывания в Штутгарте.

В Штутгарте в ту пору узкий круг образованных людей жил напряженной духовной жизнью, какая показалась бы невозможной даже несколькими десятилетиями раньше. То была заслуга Карла Евгения и созданной им Академии. А спустя три года в этом городе провел девять дней Гёте, которого Шиллер снабдил рекомендательным письмом, и он написал об этом так: «Лишь в Риме мне довелось жить так, как я жил здесь». Высокая оценка. Гёте свел здесь знакомство с тем же кругом, в котором в 1794 году вращался Шиллер. Центром духовной жизни был дом торговца Раппа, о котором Гёте говорил, что он одновременно деятельный коммерсант, радушный хозяин и тонкий ценитель искусства. В доме Раппа (как заметил Гёте в одном из писем к Шиллеру) было уютно, весело, к тому же здесь процветали либеральные взгляды. Дом этот был расположен рядом с соборной церковью. Готлиб Генрих Рапп первоначально торговал сукном, затем Карл Евгений поручил ему сбывать продукцию герцогской стекольной фабрики «Шпигельберг». Но и позднее Рапп продолжал играть заметную роль в экономической жизни Вюртемберга, ведал сбытом табака, делами придворного банка и стал одним из основателей вюртембергской центральной сберегательной кассы. Сестра Раппа была замужем за Даннекером — возможно, самым крупным художником из всех, кого подарила миру Швабия со времен Реформации, и, стало быть, коммерсант Рапп в самом буквальном смысле этого слова породнился с искусством. Именно в его доме, на исходе лета 1797 года, Гёте читал «Германа и Доротею». Чтение слушали супруги Рапп, супруги Даннекер и еще тихо примостившаяся у ног матери пятилетняя дочурка Раппа (когда Гёте спустя много часов закончил чтение, девчушка воскликнула: «Пусть дядя еще почитает!»).

Энергичный и приветливый коммерсант оказался искусственным знатоком поэзии, в чем вскоре убедился Шиллер. Дом Раппа сделался для поэта обителью дружеского общения. Впрочем, отсюда было всего несколько шагов до «Духовного убежища», где он имел обыкновение встречаться с куда менее утонченной компанией, и прежде всего со старым своим приятелем Петерсеном, который после закрытия Академии оказался без службы, но при том нисколько не старался снискать расположение властей, чтобы получить другую должность. Петерсен был пылким сторонником Французской революции, и его в отличие от большинства других поклонников ее в Германии не смутила даже казнь короля. Один из французских агентов летом 1794 года сообщил в своем донесении, что Петерсен близко знаком с членами вюртембергского правительства, что при том он надежный человек и пылкий приверженец Свободы. И все же агент сопроводил свой похвальный отзыв известными оговорками: с некоторых пор Петерсен не в меру пристрастился к вину и стал большим охотником до женского пола. Давний приятель Шиллера был остроумный малый, внешне чем-то напоминавший фавна, неряшливый холостяк в неизменно свисавших чулках, опьяненный духом времени и вечно хмельной от выпитого вина. Впоследствии, однако, и он примирился с порядками, господствовавшими в стране, и получил от властей должность библиотекаря.

Несравненно более значительной, к тому же исполненной важных

последствий, оказалась встреча с Даннекером. И он тоже принадлежал к числу ближайших друзей Шиллера в Академии и слушал первое чтение «Разбойников» в Бопсерском лесу. На судьбе Даннекера, который был на год старше Шиллера, можно проследить, чего мог добиться юноша из простой семьи в условиях просвещенного абсолютизма. Отец его служил у герцога конюхом. Против воли отца — хоть уже и одно то удивительно, что конюх смел в чем-то перечить герцогу, — двенадцатилетний мальчик бежал из дому и попросил правителя Вюртемберга принять его в свой «питомник»; мало того — он привел с собой еще нескольких любознательных подростков, тоже детей конюхов. Карл Евгений благосклонно взял беглецов под свою опеку. Тем не менее Даннекеру, хоть он и был смелый, крепкий мальчик и не привык унывать, все же пришлось нелегко в Академии. Дар ваятеля открыли у него сравнительно поздно, а признание он получил и того позже: когда, по совету Гуибала, ему присудили первый приз по изобразительному искусству, юноше было уже девятнадцать лет. Правда, талант снискал ему расположение Карла Евгения, который предоставил ему возможность учиться искусству ваяния в Париже и Риме. Но когда талантливый и высокообразованный питомец герцога возвратился на родину, у старого правителя Вюртемберга не оказалось для него сколько-нибудь крупных заказов...

В самом деле, лишь нынешний приезд Шиллера в Штутгарт дал скульптору повод показать, на что он способен. Чтобы создать скульптурный портрет друга, Даннекер оборудовал для себя мастерскую прямо на квартире у Шиллера. После многих сеансов был наконец готов бюст, с которого впоследствии Даннекер, уже после смерти поэта, вылепил тот огромный размеров бюст, который в свою очередь послужил образцом для большинства памятников Шиллеру. Как-то раз скульптор застал своего друга уснувшим над рукописью «Валленштейна»; обмерив его голову с помощью циркуля, он убедился, что в своей работе верно отразил пропорции оригинала. Получив летом того же года отлитую в металле копию этого бюста, Шиллер восторженно писал скульптору: «Часами мог бы я стоять перед ним, находя все новые и новые достоинства в твоей работе. Кто бы ни увидел его, все признают, что еще не видывали ничего подобного в скульптуре по степени законченности и совершенства... Тысячу раз обнимаю тебя, дорогой друг, и хочу заверить тебя, что отныне не будет такого дня, когда бы я с благодарностью и восхищением не вспоминал о твоей любви ко мне и твоем искусстве». К числу почитателей таланта Даннекера принадлежал также и Гёте, который, приехав в Штутгарт летом 1797 года, увидел здесь оригинал бюста поэта. Оценив Даннекера по достоинству и полюбив его, Гёте писал, что он прекрасен и как человек, и как художник.

Девять месяцев провел Шиллер в родных краях, и итог этой поездки достаточно значителен. О чем бы ни помышлял он, предпринимая ее, надо сказать, что во многих отношениях ожидания его не исполнились или же сбылись не совсем так, как он полагал. Впрочем, кое-что и нельзя было предвидеть. Не будь этой поездки в Швабию, мы не располагали бы теперь замечательными изображениями,

которые были созданы в эти месяцы. Не было бы ни верных, любовно написанных портретов, выполненных Людовикой, ни великолепного бюста работы Даннекера, в котором гений, созерцающий своего гениального друга, мог выразить и себя. И все же решающее значение для последующей творческой судьбы Шиллера имела другая встреча. Речь пойдет о встрече Шиллера с Коттой.

Иоганн Фридрих Котта был крупнейшим из всех немецких издателей. Один из его предков, единственный уцелевший из всех членов семьи, полностью перебитой в Саксонии в годы Тридцатилетней войны, сделался книготорговцем в Нюрнберге, оттуда в 1659 году перебрался в Тюбинген, где также стал служить в книжной лавке, затем женился на вдове ее владельца и вскоре был причислен к университету на правах *civis academicus*¹. После его смерти книжная лавка перешла к сыну, а затем к внуку. В следующем поколении деловой пыл заметно ослаб. Правнук поручил книжную лавку управляющему, но при том основал в Людвигсбурге типографию, дела которой шли успешно. Как уже указывалось, именно в том самом доме, где некогда помещалась типография, снимали квартиру семьи фон Ховена и Шиллера. Правнук, о котором шла речь, Кристоф Фридрих Котта, был счастливым отцом десяти дочерей и пяти сыновей, и один из них, Иоганн Фридрих, родившийся 27 апреля 1764 года, впоследствии поднял предприятие на невиданную доселе высоту.

Учился Котта в штутгартской гимназии, шестнадцати лет поступил в Тюбингенский университет (что само по себе не было чем-то из ряда вон выходящим), изучал математику, к которой питал особую склонность, затем с большим усердием занимался юриспруденцией и, блестяще сдав экзамены, отправился в Париж, чтобы там окончательно завершить свое образование, потому что он готовился стать домашним учителем в одном из самых аристократических семейств Польши — Любомирских, проживавших в Варшаве. Правда, впоследствии из этого ничего не вышло, отчасти ввиду сложной обстановки в Польше. И тогда отец вернул Иоганну Фридриху книжную лавку в Тюбингене, которая к тому времени пришла в совершенный упадок. Двадцатитрехлетний Котта составил письмо, поражавшее четкостью и продуманностью каждой фразы, и обратился за советом к известному лейпцигскому книготорговцу Райху, славившемуся своей энергией и опытностью. Преисполненный самых серьезных намерений и делового энтузиазма, Иоганн Фридрих 1 декабря 1787 года принял в свои руки бразды правления тюбингенского предприятия, однако предпосылки для развития дела поначалу представлялись весьма убогими. Серые трудовые будни молодого книготорговца между тем озарились праздничной вспышкой, когда княгиня Любомирская прислала ему триста дукатов — в качестве компенсации за ущерб, который он понес, тщетно дожидаясь места воспитателя в ее семье; так польская аристократка помогла тюбингенскому издательству, отчаянно борющемуся за свое существование, создать необходимый начальный капитал!

¹ Гражданин академик (*лат.*).

В 1789 году Котта взял себе компаньона в лице доктора юриспруденции Христиана Якоба Цана — тем самым был сделан решительный шаг, позволивший вывести книжную лавку и издательство из стесненных обстоятельств. Цан, отпрыск одного из участников Кальвской компании (чуть ли не единственной крупной капиталистической фирмы Вюртемберга), был образованный, дельный и в то же время состоятельный человек, к тому же жених дочери другого богатого кальвского предпринимателя — Элизабет Хазельмейер (ее облик, исполненный физической и духовной силы, запечатлен для нас в бюсте работы Даннекера). За какие-нибудь десять лет издательский талант Котты, опираясь на средства, вложенные Цаном и к тому же изрядно приумноженные за счет приданого его жены, превратил некогда захиревшее дело в одно из самых почтенных и процветающих издательских предприятий в Германии.

Первая встреча Шиллера с Коттой, устроенная Абедем, имела место в Тюбингене. О содержании их беседы можно лишь догадываться. Известно лишь, что сразу возникла взаимная симпатия. И можно не сомневаться, что в ходе этой встречи зашла речь о денежных делах. Шиллер к тому времени снова оказался в стесненных обстоятельствах: датское пособие на 1793 год было уже израсходовано, следующего еще предстояло долго ждать, и поскольку Гёшен, к которому поэт обычно обращался за ссудой, был в отъезде, он решил попросить денег у Котты; через три месяца он должен был получить ту же сумму от Гёшена, а затем вернуть Гёшену долг уже из датской пенсии. 4 мая Шиллер написал Гёшену: «Я нуждался в деньгах и не знал, где еще мне их добыть...» Но вряд ли в тот мартовский день в Тюбингене, когда Шиллер впервые встретился с Коттой, речь шла только о деньгах.

Вскоре после состоявшегося таким образом знакомства они обменялись письмами, касающимися, правда, всего лишь конкретных вопросов. Шиллер предложил издателю свой трактат о греческом театре, да и денежный аванс испрашивался весьма скромных размеров. Решающая встреча состоялась 4 мая, незадолго до отъезда поэта из Вюртемберга. Котта приехал для этого в Штутгарт, и оба отправились в Унтертюркхайм. На обратном пути было решено предпринять прогулку. И вот они на Каленштайне, пологом взгорье, возвышающемся над Неккаром, где впоследствии была возведена загородная резиденция «Розенштайн». И во время этой прогулки, в одном из красивейших уголков близ Неккара, и был заключен творческий и деловой союз поэта с издателем. День этот запомнился обоим. Даже спустя девять лет Котта в одном из своих писем заметил: «4 мая исполнится очередная годовщина нашей прогулки по Каленштайну близ Кантштатта». По всей вероятности, в тот знаменательный день разговор в основном вращался вокруг замыслов Котты об издании газеты.

В том же месяце эти замыслы обрели конкретное воплощение в двух контрактах — об издании «Альгеймайне ойропеише штаатенцайтунг» и о выпуске литературного ежесемейника «Оры». Газета впоследствии, правда без участия Шиллера, дала жизнь «Аугсбургер альгеймайнецайтунг», ставшей ведущей немецкой газетой первой половины XIX века,

сотрудничать в которой многие — от Тьера до Гейне — считали для себя честью. А такого литературного журнала, как «Орь», Германия не знала ни до, ни после этого: сделавшись его редактором, Шиллер блестяще проявил свое умение привлекать к сотрудничеству своих выдающихся современников; в этом же журнале он публиковал к тому же и собственные произведения.

Спустя два дня после той встречи с Коттой Шиллер покинул Швабию и никогда больше сюда уже не возвращался. Отправившись в эту поездку летом минувшего года, поэт, возможно, втайне надеялся, что сможет обосноваться в родных краях и климат долины Неккара, быть может, смягчит его «грудные спазмы». Быть может, он и остался бы здесь, если бы ему посчастливилось сразу же поселиться в Штутгарте, а не в захиревшем Людвигсбурге? Постановка такого вопроса оправдана; бессмысленно, однако, пускаться в долгие рассуждения по этому поводу. Для отъезда из Вюртемберга у Шиллера было много разных, но притом достаточно серьезных причин.

Прежде всего у него были основания бояться за свою жизнь, за тот небольшой ее отрезок, который осталось ему прожить. Не слишком успешный ход военных операций союзнических войск против французской армии на Рейне потребовал срочного перевода в тыл нескольких полевых лазаретов. Лазареты эти по большей части находились в чудовищном состоянии; можно лишь удивиться, для чего понадобилось тратить столько усилий на их передислокацию — может, просто стыдно было показывать их противнику. Нет сомнения, что каждый из них представлял собой инфекционный очаг, особенно свирепствовала повсюду дизентерия. 7 марта Шиллер писал Гмелину: «Темная туча лазаретов надвигается на Швабию, и мне надо бы поостеречься, чтобы молния не угодила в мою ветхую хижину». Все же поездка в Тюбинген, а затем и в Штутгарт заняла еще два месяца. Но главная причина отъезда поэта в Тюрингию тем самым уже ясна.

Была, правда, еще и другая: Лотта тяготилась обществом швабов. «В этой провинции мне не хотелось бы поселиться исключительно из-за здешних жителей», — признавалась она Фрицу фон Штайн в письме, уже цитировавшемся выше. Это письмо с не слишком любезными отзывами о швабских друзьях Шиллера и их женах было послано еще из Людвигсбурга. О Раппах и Даннекерах Лотта, разумеется, не стала бы отзываться подобным образом, но антипатия к самой Швабии и к ее обитателям уже прочно укоренилась в ее душе. Вздумай Шиллер все же обосноваться на родине, он тем самым поступил бы против воли своей жены. А уж коль скоро и сам он тоже был склонен уехать, то желание жены решило дело.

Должность профессора в Йене сама по себе не слишком привлекала его, зато он уважал герцога, благодаря которому получил эту скудно оплачиваемую профессуру. Карл Август фон Саксен-Веймарский, на которого жена и свояченица Шиллера привыкли смотреть как на своего рода доброго дядюшку, вызывал к себе симпатию: этот честный, прямодушный, грубоватый человек умел безошибочно чувствовать и ценить духовное величие. Разве можно было сравнить с ним старого, добродушного, но при том глуповатого герцога Людвиг

Евгения, ничего лучше не придумавшего, как упразднить Академию, созданную его братом?

В ту пору, когда Шиллер прогуливался с Коттой по Каленштайну, решение об отъезде было уже принято и приготовления к нему уже начались. Причин для отъезда, для возвращения в герцогство Саксен-Веймарское, казалось бы, нашлось достаточно. Шиллеру, однако, всецело захваченному идеей создания журнала «Оры», было ясно одно: необходимо привлечь Гёте к сотрудничеству в нем. Да, надо завоевать для журнала этого великого поэта, этого полубога!

Ради одного этого стоило вернуться в Тюрингию.

ЙЕНА

«ОРЫ»

После неспешного девятидневного путешествия с непродолжительной остановкой в Вюрцбурге и более продолжительной в Мейнингене, где вся семья гостила у Рейнвальдов, Шиллеры 14 мая 1794 года прибыли в Йену. Здесь они сняли квартиру на рыночной площади. В непосредственной близости от них поселился Вильгельм фон Гумбольдт с семьей, в которой только что появился второй ребенок. Гумбольдт: «Чтобы быть как можно ближе к Шиллеру, я переехал в Йену... Мы ежедневно виделись дважды, а вечера и вовсе любили проводить вдвоем и часто засиживались до поздней ночи». С самого начала их знакомства, состоявшегося в декабре 1789 года, Шиллер обрел в лице Гумбольдта, на семь лет его моложе, интересного собеседника. Теперь Гумбольдт к тому же подружился с Кёрнером, что еще больше расположило к нему Шиллера. 18 мая 1794 года поэт писал Кёрнеру: «Общество Гумбольдта мне бесконечно приятно и в равной мере полезно, ибо в беседе с ним все мои идеи и развиваются быстрее, и обогащаются. Его натуре присуща та цельность, которую можно встретить крайне редко; кроме него, я нашел ее только в тебе» (VII, 295).

Спустя несколько дней после возвращения Шиллера в Йену в университете возобновились лекции. Были объявлены и лекции Шиллера — по истории, философии и эстетике. Однако отныне он больше не поднимался на кафедру: для чтения лекций ему уже не хватало сил. Его преемником по курсу истории стал молодой профессор Вольтман, которого предусмотрительно выписали из Гёттингена: только очень покладистый человек мог дать согласие подняться на кафедру, где ожидалось появление Шиллера, заметил по этому поводу поэт. Но притом Шиллер отнюдь не чувствовал себя связанным с ним долгом благодарности. Годом позже он писал Гёте: «У нашего приятеля Вольтмана опять были весьма неудачные роды, он снова высказался о себе более чем в самонадеянном тоне. Я говорю о печатном плане его лекций по истории: устрашающее меню, которое должно испугать самого голодного посетителя» (VII, 332).

Пока Шиллер заново устраивался в Йене, Котта — из-за ярмар-

ки — находился в Лейпциге. На обратном пути он предполагал заехать в Йену. Планы издания газеты должны были наконец обрести конкретный характер. 19 мая Шиллер писал издателю:

«Я прибыл сюда четыре дня назад, и, стало быть, по приезде вы наверняка меня здесь найдете. Меня чрезвычайно радует, что мы с вами вновь увидимся в Йене и сможем наверстать то, что нам не удалось завершить на Катценштайне (Каленштайне) близ Канштатта. Со здоровьем у меня сейчас обстоит сносно, и, останься оно таким, я был бы доволен.

Однако замысел наш с газетой нам не удастся столь быстро претворить в жизнь. Для человека болезненного дело это представляется слишком утомительным и к тому же необозримым, а для издателя — слишком рискованным, на случай если бы я занемог еще сильнее. Не смогу я и столь быстро вырваться из Йены, рискнув поступиться твердым, хоть и небольшим окладом ради затеи, успех которой будет зависеть от случайных обстоятельств. Зато удобнее и спокойнее, на мой взгляд, было бы начать с издания ежеквартального политического журнала, который я легче мог бы обозревать и, всегда имея в запасе около трех месяцев, с большей легкостью мог бы обеспечивать выход его в свет. При этом я выиграл бы не только то, что благодаря этой работе освоился бы с областью политики, но и сотрудников моих мог бы подготовить и испытать в расчете на более крупное издание; вы же сами в случае успеха этого журнала могли бы почерпнуть отсюда решимость для издания более обширной публикации и лучше рассчитать преимущества таковой.

Между тем я понял, что даже и подобное умеренное начинание повлекло бы за собой большую трату сил. Что же касается меня самого, то я откровенно признаюсь, что политическим писательством стал бы заниматься не вследствие склонности, а по расчету, но так как я нипочем не позволил бы себе недобросовестно отнестись к чему бы то ни было, под чем я ставлю мое имя, то, стало быть, работа эта потребовала бы от меня несравненно больше времени и усилий, чем любая другая...»

Сомнение за сомнением... Звучат в том же письме, однако, и другие ноты: «Уж мы как-нибудь позаботимся о том, чтобы наши интересы совпали». И дальше: «Крупный литературный журнал, о котором я говорил с вами на обратном пути из Унтертюркхайма, по-прежнему представляется мне замечательным начинанием, и тут уж я мог бы втрое быть вам полезен, потому что оказался бы в своей родной стихии».

Два дня — 27 и 28 мая — Котта провел в Йене. По его решительному настоянию были заключены два контракта. «Договор об издании Всеобщей европейской газеты господином надворным советником Шиллером» написан рукой Котты и содержит чрезвычайно выгодные для поэта-редактора условия оплаты. Другой договор — об издании литературного ежемесячника «Оры» «под наблюдением надворного советника Шиллера» — написан рукой самого поэта. Пункт второй этого договора гласит: «Все содержащиеся в нем статьи должны иметь своим предметом историю, философию или же эстетику, но с

таким расчетом, чтобы они могли быть поняты не только учеными людьми».

Гонорары были определены в размере от трех до восьми луидоров, что никак не назовешь скарედностью; устанавливалась также довольно щедрая оплата за редактуру, иными словами, за работу самого редактора: ежегодно «в размере ста дукатов дополнительно». Коллегия из пяти членов, своего рода редакционный совет, должна была оценивать уровень статей и большинством голосов решать вопрос об их публикации.

Шиллер с воодушевлением брался за издание журнала «Оры». Однако под договором о выпуске «Альгемейне ойропейшецайтунг» он поставил свое имя, лишь уступая настояниям Котты, и эта уступка с первой же минуты невыносимо тяготила его. Уже 4 июня он стал умолять Котту не предпринимать никаких шагов по изданию газеты: это начинание, доказывал он, во всяком случае под его, Шиллера, руководством, «слишком сложно и рискованно». Спустя десять дней поэт уже решительно отказался от выпуска этой газеты: «Я не могу, да и не имею права, подвергать риску ни вас, ни самого себя. Себя я поставил бы под угрозу, вздумай я с моим никудышным здоровьем ринуться в область для меня совершенно новую и потому трудную, для какой мне одинаково недостает как таланта, так и склонности, да еще при необходимости соблюдать самый что ни на есть безупречный порядок. На первом году выпуска газеты напряжение сил было бы поистине неопределимо... За один этот год я окончательно загубил бы весь остаток своего здоровья...»

В своем письме от 21 июня Котта снял это бремя с души поэта: «Я должен был бы лелеять свой интерес больше вашего здоровья, если бы после изложенных вами причин не отступился бы от намерения издавать газету; так давайте же направим все наши силы на издание журнала «Оры» и, стало быть, приступим к его изданию в январе месяце».

Шиллер с радостью готов был отдать все силы делу издания журнала «Оры». Еще в начале июня он получил согласие Фихте, Гумбольдта и Вольтмана сотрудничать в журнале. Фихте был новым явлением в шиллеровском кружке. Впервые Шиллер встретился с ним в Штутгарте в начале мая. В Йену оба прибыли почти одновременно. Фихте — как преемник Рейнгольда по кафедре философии. Рейнгольд уже успел составить себе имя видного философа-кантианца. А тридцатидвухлетний Фихте был не только учеником, но и другом Канта и своей работой «Критика всяческого откровения» выдвинулся на место первого среди кантианцев. Публикация этой работы относится к 1792 году. На другой год Фихте опубликовал трактат под названием «К вопросу об исправлении общественной оценки Французской революции» — изобилующее интересными идеями, радикальное, дерзкое произведение. Сам факт приглашения Фихте в Йену говорит о духовной смелости Карла Августа: Гёте назвал это решение своего герцога «рискованным». Своим присутствием Фихте

необыкновенно украсил круг йенских знакомых Шиллера и к тому же стал для него замечательным консультантом в изучении кантовской философии. 12 июня Шиллер писал Кёрнеру: «Фихте — крайне интересное знакомство, но больше по содержанию, чем по форме. От него философия может ждать еще очень многого». Впоследствии отношения между Шиллером и Фихте не раз серьезно омрачались, но дело ни разу не доходило до разрыва. Фихте однажды назвал Шиллера «единомышленником в идейных вопросах, какие встречаются крайне редко».

«„Оры". Под этим названием с начала 1795 года будет выходить ежемесячный журнал, для издания которого образовалось общество известных ученых. Он будет заниматься всем, о чем можно говорить с эстетической и философской точки зрения, и, следовательно, будет открыт как для философских исследований, так и для исторических и поэтических произведений. Все то, что может заинтересовать лишь профессионального ученого или что может удовлетворить лишь малообразованного читателя, будет исключено; в особенности же и безусловно будет запрещено все, что относится к государственной религии и политическому устройству. Он будет посвящен области прекрасного для поучения и образования и области науки для свободного исследования истины и плодотворного обмена идей...» (VII, 301). *Res publica* — дела общественные, политика, — таким образом, исключаются из сферы внимания журнала «безусловно». Печатный текст извещения об издании журнала «Оры» был разослан всем, кого Шиллер надеялся привлечь в ряды сотрудников журнала, с его личным сопроводительным письмом. В один и тот же день — 13 июня — он написал и Гёте, и Канту (а также в Бреславль Гарве, пожилому и болезненному человеку, известному литератору; в Берлин — Энгелю и приват-доценту Йенского университета Вайсхуну).

В своем письме к Гёте Шиллер писал: «Ваше высокородие, глубокоуважаемый господин тайный советник! В прилагаемой записке общество, которое бесконечно высоко вас ценит, выражает желание, чтобы вы почтили своим сотрудничеством журнал, о котором ниже идет речь. Решение вашего высокородия поддержать своим участием это предприятие будет иметь решающее значение для его счастливого исхода, и мы с величайшей готовностью подчиняемся всем условиям, на которых вы дадите ваше согласие». И далее: «Чем больше и теснее будет участие, которым вы удостоите наше предприятие, тем более возрастет ценность последнего в глазах тех лиц из публики, одобрение которых для нас важнее всего» (VII, 301—302).

Гёте ответил на это самым благожелательным образом: «Ваше благородие, вы открываете передо мной дважды приятную перспективу как журнала, который вы думаете издавать, так и участия в нем, к которому вы меня приглашаете. Я с радостью и от всей души войду в ваше общество».

Тем самым был решающим образом расчищен путь к изданию журнала. Как будет показано далее, журнал «Оры» не оправдал

всех высоких надежд, возлагавшихся на него, да и просуществовал он недолго. Однако обмен письмами между Шиллером и Гёте насчет сотрудничества в «Орах», почтительно, умно и дипломатично высказанная просьба Шиллера и безоговорочное дружеское согласие Гёте если еще не проложили путь, то, во всяком случае, подготовили почву для другого важного события тех лет — для плодотворного сотрудничества двух великих умов. Но об этом позднее.

Рассчитывать всерьез на сотрудничество Канта в «Орах» не приходилось. Однако философ ответил Шиллеру письмом, которое обрадовало поэта. Гердер заявил, что готов сотрудничать в журнале. Гумбольдту удалось привлечь к участию в журнале Августа Вильгельма Шлегеля. Из Берлина был получен восторженный ответ от Генца, с равным успехом делавшего как дипломатическую, так и литературную карьеру: «Да будь я еще глубже погребен в делах служебных и еще больше углублен в трудах литературных — все равно, я ничем не решился бы отказаться от сотрудничества с изданием, в ценности которого нет возможности сомневаться, как только узнаешь имя его создателя. Словом, я с радостью принимаю ваше почетное предложение». Генц, однако, не прислал в журнал ни одной строчки.

Среди тех, кто дал согласие сотрудничать в «Орах», но впоследствии также не прислал в журнал ни единой строки, был и — уже находившийся в преклонных годах — добрейший Глейм, который жил в Хальберштадте. Он охотно согласился писать для журнала: «При условии, любезнейший господин надворный советник, что гонорар, который я желал бы получать ежегодно за каждые два печатных листа, вы сочтете возможным передать в качестве приданого какой-нибудь бедной девице, я принимаю ваше предложение и остаюсь с величайшим почтением к вам ваш друг и слуга — старый Глейм».

Однако Шиллеру так и не пришлось предпринимать розыски бедной, но достойной девицы...

1 сентября Шиллер написал Котте: «С нашей стороны отныне уже устранены все трудности, и уже теперь собран такой круг писателей, каким (да позволено будет мне высказать это) никогда еще не мог похвастать ни один журнал».

С этим можно согласиться и спустя двести лет. Такой журнал, который числил среди своих сотрудников Шиллера и Гёте, Гердера, Фихте и братьев Гумбольдт, остается беспримерным в истории журналистики. Этим гордым словам предпосланы совсем другие: «Однако прежде чем мы всерьез вяжемся в это предприятие, вы все же еще раз поразмыслите над тем, чем вы рискуете и на что можете надеяться».

А в конце письма Шиллер предлагает своему издателю точный подсчет — о каком бы то ни было доходе речь может идти лишь после сбыта 1300 экземпляров: «Словом, еще раз хорошенько взвесьте все и не считайтесь с нами... Но коль скоро вы все же решитесь перейти через Рубикон... тогда вы можете рассчитывать на величайшее усердие с нашей стороны, но и вы со своей стороны не должны

будете жалеть ни времени, ни изобретательности, ни усилий для журнала, потому что распространение печатного издания в мире — задача почти столь же сложная и важная, как и ее создание».

Котта добродушно отвечал поэту: «Поскольку мне уже не раз доводилось переступить через Рубикон, я уже стал не столь робок, а в данном начинании шаг этот и вообще не представляется мне столь опасным. Наша договоренность, стало быть, остается в силе...»

Шиллер, в молодые годы долго изнывавший под бременем долгов, ныне понаторел в делах. В этом смысле показательна ответственность, с какой он подходил к делу создания журнала «Оры», ведь сомнения его отчасти были обоснованы. Да и Котта при всей его смелости и предприимчивости был настроен далеко не беззаботно. Во всяком случае, он всячески старался привлечь своего состоятельного компаньона Цана к участию в затее с журналом «Оры». Котта хотел сделать Цана членом редакционной коллегии, которая должна была рассматривать присланные рукописи. Шиллер писал по этому поводу Гёте: «Я не могу осудить его за то, что в синклит, который будет распоряжаться его кошельком, ему хочется ввести близкого своего друга. К тому же этот молодой человек по фамилии Цан связан с Кальвской торговой компанией, субсидирующей фирму Котта... Я полагаю поэтому, что было бы разумно насколько возможно заинтересовать этого человека нашим начинанием...»

Гёте полностью согласился с Шиллером.

Понятно, что Котта мечтал убрать с дороги иной журнал из тех, что могли бы конкурировать с новым изданием. Еще летом 1794 года он без обиняков спрашивал Шиллера: «Не пытались ли вы поговорить с Виландом? Хорошо бы «Меркур» перестал выходить».

Шиллер был согласен прощупать почву в этом смысле, однако считал, что рассчитывать на успех в разговоре с престарелым и осмотрительным Виландом особенно не приходится, а все же надеялся, что «после первого же года издания «Ор» «Меркур», должно быть, сам прекратит свое существование, как, впрочем, и все другие журналы, на свою беду имеющие сходное с «Орами» содержание».

В этом Шиллер существенно ошибся. «Меркур» пережил «Оры» на тринадцать лет. Другое дело «Талия», журнал Гёшена. Этот журнал, которому Шиллер на протяжении предшествующих десяти лет уделял много любви и внимания, и впрямь стал хиреть после появления «Ор» — Шиллер же не хотел продолжать свою работу в нем. Старая дружба поэта с Гёшеном, начавшаяся давно, еще в то памятное лето в Голизе, вообще подверглась большому испытанию со времени знакомства Шиллера с Коттой.

Весной 1795 года на книжной ярмарке в Лейпциге между Гёшеном и Коттой произошла бурная стычка. Гёшен, у которого, по правде сказать, были причины обижаться на Котту, стал похваляться перед ним, что издаст «Дон Карлоса» с великолепными

иллюстрациями Рамберга и с гравюрами Берталотци (флорентинца, работавшего в Англии) — в Тюбингене все равно ведь не умеют красиво издавать книги, утверждал он. Котта же в отместку Гёшену заявил, что напечатает произведения Шиллера в Падуе у Бодони (иными словами, у владельца самой знаменитой по тем временам типографии). После этого Гёшен, уже дав волю своему гневу, обвинил Котту в постыдном умыкании авторов, в попытке посорить двух друзей... Котта всячески пытался доказать ему, что его деловые отношения с Шиллером сложились вполне корректно: «Все, однако, было тщетно, Гёшен продолжал неистовствовать... и я вынужден причислить эту стычку к самым жестоким, которые когда-либо выпадали на мою долю», — писал Котта 8 мая 1795 года Шиллеру. Поэт поначалу воспринял эту весть с опаской: «Право, мне весьма неприятно, что Гёшен так несдержанно себя вел, а все же грешно было бы мне обидеть его, и, стало быть, коль скоро он не желает расставаться с «Дон Карлосом», я не считаю себя вправе отнимать у него эту пьесу...»

Подготовка к выпуску журнала «Орь» уже шла полным ходом, когда Котта сделал еще одну попытку привлечь Шиллера к изданию «Всеобщей европейской газеты»: «Надеюсь, если только позволит вам здоровье, вы все же примете в ней участие, во всяком случае в той мере, чтобы это нисколько не утомило вас».

Но и это предложение, высказанное в столь осторожной форме, Шиллер сразу же категорически отклонил. Решительное нежелание Шиллера заниматься политическим освещением текущих событий проявилось даже в его критическом замечании к первому крупному очерку, написанному Гёте для журнала «Орь». Речь идет о «Беседах немецких эмигрантов» — иными словами, об очерке, посвященном весьма актуальной в ту пору теме. Разумеется, Шиллер не мог просто отклонить произведение знаменитого поэта, которого так горячо пригласил сотрудничать в журнале. Но он позволил себе, ссылаясь на «наше целомудрие в том, что касается политических оценок», усомниться: а стоит ли оставлять в тексте очерка слова, которые Гёте вложил в уста некоему тайному советнику из эмигрантов, о том, что он «надеется увидеть их всех болтающимися на виселице» (речь идет о немецких поклонниках Французской революции).

Редактор журнала «Орь», рождавшегося в столь тяжких муках, разумеется, должен был особенно ценить «Беседы немецких эмигрантов». Очень многих хлопот и усилий стоил Шиллеру этот журнал, который он стремился превратить в «эпохальное» издание (как он однажды заметил в письме к Кёрнеру). Получить материалы для номера в положенный срок оказалось делом куда более трудным, чем можно было ожидать, к тому же из переписки Шиллера с Коттой видно, что он неизменно заботился и обо всех технических деталях. Наконец почти в назначенный срок, в середине января 1795 года, вышел в свет первый номер журнала. В нем было опубликовано «Послание первое» Гёте:

Каждый читает теперь, а иные читатели даже,
Книгу едва пролистав, за перо хватаются в спешке,
Чтобы в один присест состряпать о книжечке — книгу...¹

а также начало «Бесед немецких эмигрантов». Шиллер же в свою очередь напечатал в журнале свое первое письмо «Об эстетическом воспитании человека» (его письма к Христиану Фридриху Августенбургскому погибли во время пожара в королевском дворце в Копенгагене. По просьбе принца, своего покровителя, Шиллер заново переработал эти письма по сохранившимся у него копиям и затем отослал работу в Данию. Теперь он мог использовать тот же текст для журнала «Оры»). А Фихте прислал для журнала статью «Об оживлении и повышении чистого интереса к истине».

Таким образом, в первом номере журнала «Оры» вниманию читателей предлагались творения самых выдающихся умов Германии того времени. Второй номер журнала содержал продолжение очерков Гёте и Шиллера, но также и статьи Вильгельма фон Гумбольдта и веймарского профессора-искусствоведа Майера. За год круг сотрудников журнала расширился. Живое участие принял в журнале Гердер. Кёрнер прислал статью на тему «Об изображении характера в музыке», а коадьютор фон Дальберг — очерк о художественных школах. Да и сам Шиллер, в дополнение к прежним, написал еще один исторический труд, посвященный осаде Антверпена, — своего рода заключение к прежней своей работе «История отпадения Нидерландов». Он признавался, что сделал это без особого удовольствия: «Надеюсь, однако, что со мной будет то же, что с поварами, которым самим почти не хочется есть, но которые возбуждают своей стряпней сильный аппетит у других» (из письма к Гёте).

При осмотре трех годовых комплектов журнала «Оры» — тридцати шести толстых тетрадей — прежде всего впечатляют знаменитые имена — Шиллера, Гёте, Гердера, Фихте, братьев Гумбольдт, а также других сотрудников журнала, по большей части из Северной Германии. Мы находим здесь целый ряд прекрасных работ. В «Орах» впервые увидел свет гётевский перевод Бенвенуто Челлини; Шиллер, помимо «Писем об эстетическом воспитании», опубликовал в журнале такие замечательные стихи, как «Саисское изваяние под покровом», «Раздел Земли» и «Элегию» (впоследствии оно публиковалось под названием «Прогулка»). В 1797 году в «Орах» были напечатаны также два стихотворения Гёльдерлина: «Путник» и «Дубы». Август Вильгельм Шлегель публиковал в журнале прежде всего свои переводы Шекспира. Печатали свои стихи в журнале также такие популярные поэты, как Фосс из Эйтина и Пфедфель из Кольмара. В числе авторов были и женщины: Амалия фон Имгоф, одна из племянниц госпожи фон Штайн, Элиза фон дер Рекке из Прибалтики, женщина со странностями, постоянно разъезжавшая по свету, и, наконец, София Меро, ставшая впоследствии женой Клеменса Брентано. Но при всем при том журнал не стал прибежищем высоких умов в той мере, в какой желал этого Шиллер.

¹ Гёте И. В. Собр. соч., т. I. М., «Художественная литература», 1975, с. 233. Перевод С. Ошерова.

После пребывания в Швабии поэт решил прочно обосноваться в Йене; вопреки всем прежним ударам судьбы нынче к нему все же благоволило счастье, и он был уже избалован успехом. Однако в пору зрелых лет поэта ни одно начинание не стоило ему столь большого труда и не снискало ему так мало благодарности, как издание журнала «Оры». Уже в сентябре 1795 года Шиллер, отчаявшись, пишет Котте: «Я немного жду... от признательности публики — ведь добрым делом, как правило, никому не угодишь. Но если «Орам» и суждено прекратить свое существование, то пусть по крайней мере журнал достойно окончит свои дни».

Ответив поэту с обратной почтой, Котта старался его утешить: «Я уверен, что мнение публики вскоре совершенно переменится и что к концу года мы, как это бывает со всеми изданиями подобного рода, столкнемся и с приливом, и с отливом, однако, когда буря уляжется, выяснится, что урон невелик. Но как бы ни обернулось дело, о прекращении издания не может быть и речи, и я прошу вас ни в коем случае не толковать в этом смысле то, что я писал вам насчет тех или иных мнений публики. Еще важнее для меня другое: только не теряйте радости, с которой вы делаете этот прекрасный журнал, — в противном случае он лишился бы своей души».

А спустя два месяца Кёрнер призывает Шиллера: «Ни в коем случае не идите на уступки той части публики, которая неблагожелательно судит о журнале».

Необходимость каждый месяц готовить новый номер журнала была тяжким испытанием для Шиллера с его хрупким здоровьем. После очередного приступа «безобразной катаральной лихорадки» поэт жаловался Гердеру: «Когда я уже начал поправляться, на мои плечи тяжким бременем легли «Оры», настолько, что я едва успевал пере-вести дух».

Только в одном смысле журнал поистине принес Шиллеру радость: он стал для него ареной духовного обмена и сотрудничества с Гёте.

ВСТРЕЧА

Некто Батч, профессор Йенского университета и директор Ботанического сада, человек необыкновенно деятельный, создал в Йене естествоиспытательское общество. Гёте обычно приезжал из Веймара на заседания этого общества, которые всякий раз занимали несколько дней. Одно из таких заседаний состоялось в период с 20 по 23 июля 1794 года. В нем приняли участие и Гёте, и Шиллер, оба избранные почетными членами общества. И вот этой-то встрече и было суждено в самый короткий срок привести к замечательной дружбе и глубокому духовному взаимодействию двух гениев.

Гёте следующим образом описывает встречу, состоявшуюся в тот июльский день: «...случайно мы вышли оттуда вместе, завязался разговор. Казалось, он относится с интересом к тому, о чем говорилось на Обществе. Однако он очень разумно и по существу заметил в весьма доброжелательном по отношению ко мне тоне, что подобный метод разрозненного изучения природы ни в малой степени не может

удовлетворить непосвященного, который охотно занялся бы этим.

На это я возразил, что такой способ, вероятно, не удовлетворит и ученого. Но, однако, возможен и иной метод, по которому природные явления не следует рассматривать в обособлении и изоляции, а нужно представлять всю природу живой и действенной, стремящейся от общего целого к частным проявлениям. Он попросил разъяснить эту мысль, не скрывая, однако, своего сомнения. Он не был убежден в том, что опыт подтверждает мою мысль.

Мы подошли к его дому, и, увлеченный разговором, я зашел к нему. Я с жаром стал излагать ему теорию метаморфозы растений и, взяв перо, несколькими штрихами набросал для наглядности символическое растение. Он слушал с большим вниманием и расположением. Однако, когда я кончил, он покачал головой и сказал: «Это не опыт, а только идеи». Я насторожился с некоторым неудовольствием, так как в этих словах наиболее резко отразились наши разногласия... во мне готов был пробудиться старый гнев, но я овладел собой и ответил: «Мне очень приятно, что я, сам того не ведая, имею идеи и даже вижу их глазами».

Шиллер, гораздо лучше меня понимавший жизнь и более мудрый в житейском отношении, стремясь в связи с намерением издавать журнал «Оры» скорее сблизиться со мной, нежели оттолкнуть меня, отвечал мне на это как искушенный кантианец...»¹

Серьезный спор между Гёте и Шиллером о совместимости опыта и идеи продолжался, причем упорство Шиллера «совсем расстроило» Гёте. «Но первый шаг был все же сделан. Сила обаяния Шиллера была велика — она приковывала всех, кто общался с ним. Я выразил сочувствие его планам и обещал ему для журнала «Оры» кое-что из того, что было у меня припрятано. Жена его, которую я знал еще ребенком и привык любить и ценить, содействовала нашему сближению. Наши друзья также радовались этому, и, таким образом, великим, но едва ли разрешимым столкновением субъективного и объективного запечатлели мы наш союз, который потом продолжался непрерывно и был полезен не только для нас, но и для других»².

А уж дальше Гёте подводит итог: «Для меня в особенности это было новой весной, в которой все ростки радостно поднимались рядом, возникали из раскрывшихся семян и расцветших ветвей. Наша переписка — непосредственное, чистейшее и полнейшее свидетельство тому».

Должно быть, именно после этой беседы Гёте сказал своему другу Мейеру слова, которые тот передал Кёрнеру, а Кёрнер в свою очередь — Шиллеру, о том, что «давно уже он не испытывал такого духовного наслаждения, как во время беседы с тобой в Йене».

Вторым крупным шагом к замечательной дружбе двух гениев было письмо Шиллера от 23 августа:

«Мне сообщили вчера приятную новость, что вы опять возвратились из путешествия. Таким образом, можно снова надеяться в

¹ Цит. по кн.: Абуш А. Шиллер. М., «Прогресс», 1964, с. 187—188.

² Там же.

недалеком будущем повидаться с вами у нас, чего я со своей стороны сердечно желаю. Недавние беседы с вами привели в движение всю грудку моих идей, так как вы коснулись одного вопроса, который уже несколько лет живо занимает меня. Постигание вашего духа (именно так я должен назвать свое слитное впечатление от ваших идей) пролило неожиданный свет на многое, относительно чего я сам не мог прийти к внутреннему единству. Многим из моих спекулятивных идей недоставало объекта, тела, и вы навели меня на настоящий след. Ваш наблюдательный взгляд, так безмятежно и ясно покоящийся на вещах, не подвергает вас опасности сбиться с пути, тогда как спекулятивное мышление, так же как и произвольная и только самой себе подчиненная сила фантазии легко могут заблудиться.

В верности вашей интуиции заключено — и притом гораздо полнее — все, чего с такими усилиями ищет аналитик, и только потому, что оно заключено в вас как целое, вы не замечаете вашего же богатства: ведь, к сожалению, мы знаем лишь то, что мы расчлняем. Умы, подобные вашему, редко сознают, как далеко они проникли и как мало у них причин заимствовать у философии, которая только у них и может научиться чему-либо. Она в состоянии лишь расчлнять то, что ей дано; давать — это не дело аналитика, а дело гения, который под несознаваемым, но верным влиянием чистого разума все связывает с объективными законами.

Уже давно, хоть и на некотором расстоянии, я присматриваюсь к движению вашего духа и со все возрастающим восхищением слежу за путем, который вы себе предначертали. Вы ищете законы природы, но вы ищете их на труднейшем пути, на который поостерегся бы ступить человек с более слабыми силами. Вы берете всю природу в целом, чтобы этим пониманием осветить единичное явление; во всеобщности различных ее проявлений вы ищете причины для объяснения того, что такое индивидуум. Вы подымаетесь, шаг за шагом, от простейшей организации к более сложной, с тем чтобы в конце концов самую сложную из всех — человека — вывести генетически из материалов всего мироздания. И оттого, что вы создаете его по образу природы, вы стремитесь к проникновению в ее скрытую механику. Великая и подлинно героическая идея, которая сама по себе достаточно показывает, в какой высокой степени ваш дух концентрирует все богатство своих представлений в прекрасном единстве. Вы, разумеется, не могли рассчитывать, что вашей жизни хватит для достижения подобной цели, но даже только вступить на подобный путь ценнее, чем заканчивать любой другой, — и вы выбрали его, как Ахилл в Илиаде между Фтией и бессмертием. Если б вы родились греком или даже только итальянцем и еще с колыбели были окружены избранной природой и идеализирующим искусством, то ваш путь был бы бесконечно короче, а быть может, он стал бы и вовсе излишним. Уже при первичном созерцании вещей вы восприняли бы форму их необходимости, и с первыми вашими опытами в вас развился бы великий стиль. Но раз вы родились немцем, раз ваш греческий дух заброшен в этот мир северного творчества, то вам не остается другого выбора, как или самому стать северным художником, или силою мышления

возместить вашему воображению то, чего не дала вам действительность, и таким образом рациональным путем изнутри создать Элладу. Еще в ту эпоху жизни, когда душа, будучи окружена несовершенными образами, из внешнего мира творит свой внутренний, уже тогда вы приняли в себя дикую северную природу, но ваш победный, господствующий над своим материалом гений открыл изнутри этот недостаток, а извне удостоверился в нем благодаря знакомству с греческой природой. А теперь вы должны старую, худшую природу, уже пропитавшую ваше воображение, исправить по лучшему образцу, который создал себе ваш творческий дух, и это может произойти лишь силою ведущих понятий. Но это логическое направление, которое дух вынужден принимать при размышлении, несовместимо с эстетическим, благодаря которому он только и творит. У вас, следовательно, было одной работой больше, потому что как только вы переходили от интуиции к абстракции, так вы снова должны были обратно замещать понятия интуицией и превращать мысли в чувства, ибо гений может творить только посредством чувств.

Приблизительно так сужу я о движении вашего духа, и прав ли я — вам лучше знать. Но что вы едва ли сознаете (потому что гений всегда является для самого себя величайшей тайной), так это прекрасную гармонию вашего философского инстинкта с чистейшими результатами спекулятивного разума. Правда, с первого взгляда кажется, будто не может быть большей противоположности, чем между спекулятивным духом, который исходит из единства, и интуитивным, который исходит из множественности. Но если первый целомудренно и непоколебимо ищет опоры в опыте, а последний самодеятельной и свободной силой мышления ищет опоры в законе, то не исключено, что оба встретятся на половине пути. Правда, дух интуиции имеет дело только с индивидуумами, а спекулятивный только с типами. Но если интуитивный дух гениален и если он стремится открыть в эмпирическом характере необходимости, то хотя он всегда будет порождать индивидов, но они будут обладать характером типа, а если спекулятивный дух гениален и если он, не отрываясь от опыта, возвышается над ним, то хотя он всегда будет порождать только типы, но они будут обладать жизнеспособностью и обоснованным отношением к действительным объектам.

Но я вижу, что вместо письма у меня получается трактат, — простите мне это ради того живого интереса, который вызывает во мне этот предмет; и если вы не узнаете своего отражения в этом зеркале, то, очень вас прошу, все же не бегите от него...» (VII, 306—307).

Гёте, которому в ту пору как раз должно было исполниться сорок пять лет, ответил Шиллеру столь же тепло и решительно.

«Ко дню моего рождения, который я отпраздную на этой неделе, не могло быть приятнейшего для меня подарка, чем ваше письмо, в котором вы дружественной рукой подводите итог моему существованию и своим участием поощряете меня к более ревностному, более живому применению всех сил.

Чистое наслаждение и истинная польза могут быть только взаимными, и я рад при случае рассказать вам о том, что дала мне ваша бе-

седа, что с тех дней я веду счет новой эпохе и как удовлетворен я сознанием, что без особого поощрения прошел свой жизненный путь, который мы теперь, после столь неожиданной нашей встречи, должны будем продолжать уже вместе. Я всегда умел ценить честную и столь редкую серьезность, проявляющуюся во всем, что вы писали и делали, и отныне смею рассчитывать узнать от вас самого о развитии вашего духа, особенно за последние годы. Теперь, когда мы взаимно уяснили себе, до чего мы в настоящее время дошли, мы тем беспрепятственнее сможем работать вместе.

Все, что касается меня, я с радостью буду сообщать вам, ибо, живо чувствуя, что мои начинания далеко превосходят меру человеческих сил и все земные сроки, я хотел бы многое из них передать вам и тем самым не только сберечь, но и оживить их.

Каким большим преимуществом будет для меня ваше участие, вы сами скоро увидите, при ближайшем знакомстве открыв во мне своего рода темноту и колебания, над которыми я не властен, хотя и ясно сознаю их... Надеюсь скоро провести у вас несколько дней и тогда переговорить о многом»¹.

Через несколько дней после того, как Шиллер получил этот ответ от Гёте, Лотта уехала с сыном к матери в Рудольштадт. Гумбольдты сделали своим детям прививку от оспы, а при ежедневном контакте между обеими семьями можно было опасаться угрозы заражения для маленького Карла. Шиллер настроился на несколько неупорядоченную, но и не лишенную известной приятности жизнь соломенного вдовца. Супруги обменивались веселыми родственными посланиями, в которых, естественно, отводилось много места «нашему милому сыночку». И тут Шиллер получил приглашение от Гёте: «На следующей неделе двор отправляется в Эйзенах, и я буду в течение двух недель так одинок и независим, как это редко бывает. Не посетите ли вы меня в это время, не останетесь ли пожить у меня? Вы могли бы здесь спокойно заниматься любой работой, мы бы побеседовали с вами в часы досуга, повидали бы друзей, наиболее близких нам по образу мыслей, и не без пользы расстались бы потом. Вы жили бы, придерживаясь своих привычек, и устроились бы совершенно как у себя дома»².

На это Шиллер отвечал: «С радостью принимаю я ваше любезное приглашение приехать в Веймар, но только настоятельно прошу, чтобы вы ни в чем не считались со мной в вашем домашнем распорядке. Ибо, к сожалению, мои спазмы, не дающие мне покоя ночью, обычно вынуждают меня утром спать долго, и вообще я никогда не чувствую себя настолько здоровым, чтобы точно по часам расписать предстоящий день. Надеюсь, вы позволите мне смотреть на себя в вашем доме, как на совсем постороннего человека, на которого не обращают внимания...» И далее следует фраза: «Я испрашиваю позволения лишь на печальное право быть в вашем доме больным» (VII, 312).

¹ Гёте И. В. Собр. соч. Письма. Вторая часть, т. XIII. М., ГИХЛ, 1949 с 58—59

² Там же, с. 60.

Гёте принял условия Шиллера: «Вам будет предоставлена полная свобода жить так, как вы привыкли».

Необходимо учесть, что Гёте питал глубочайшее отвращение ко всякому беспорядку, равно как и к болезням. А всякий гость, поселяющийся в доме, привносил в жизнь беспорядок даже и тогда, когда обо всем необходимым заботились другие: на то была в доме Христиана, были и многочисленные слуги. Но ведь Шиллер к тому же просил позволения болеть в доме Гёте! И тем не менее Гёте звал Шиллера к себе и вновь подтвердил свое приглашение, а уже это вернее всего свидетельствует о том, какой могучей притягательной силой обладал для него ум Шиллера, какую глубокую потребность испытывал он в долгом, неограниченном общении с ним, без всяких помех.

Почти две недели гостил Шиллер у Гёте. Поэт писал в эти дни Лотте: «Вот уже три дня как я здесь и уже довольно свыкся с жизнью у Гёте. Здесь мне предоставлены все удобства, на которые только можно рассчитывать вне стен родного дома, и живу я в анфиладе из трех комнат... Большую часть того времени, что я здесь прожил, я провел в обществе Гёте, только не мог полностью насладиться общением с ним, оттого что редко чувствовал себя хорошо. Ночами мне было много легче, и всякий раз я скоро засыпал, но спазмы так донимали меня весь день, что я даже не мог навестить Шарлотту фон Штайн...»

А еще спустя несколько дней он сообщал:

«Большую часть дня я провожу с Гёте, и если принять во внимание, как поздно я встаю, у меня еле остается время для самых неотложных писем. Несколько дней мы с половины двенадцатого, когда я встаю, до одиннадцати вечера были непрерывно вместе» (VII, 314).

А 29 сентября, возвратившись в Йену, Шиллер сразу же написал Гёте: «Вот я и снова здесь, но мыслями я все еще в Веймаре. Много времени пройдет, прежде чем мне удастся распутать все те идеи, которые вы всколыхнули во мне, но надеюсь, ни одна из них не пропадет».

Три ступени сближения: в июле — первый серьезный разговор, в августе — взаимные признания в письмах, в сентябре — две недели, проведенные вдвоем. Тем самым была как бы достигнута платформа, на которой в течение десяти с лишним лет осуществлялся непрерывный духовный обмен, и каждый из двух великих людей умел высвобождать в другом скрытые силы, поощрить, приободрить другого полным своим участием в его замыслах и тревогах. В дни, когда Гёте встретил Шиллера, он как раз работал над романом «Вильгельм Мейстер». В своем дневнике он упоминал об откликах, полученных на этот роман, как о неприятных отзывах, так и о похвалах, о встреченном понимании: «Об участии Шиллера я упоминаю в последнюю очередь: оно было самым глубоким, искренним и вместе с тем самым полным».

На протяжении ряда лет обширное поле деятельности для практического сотрудничества обоим предоставлял к тому же журнал «Орь». Здесь, перед лицом стольких и притом многообразных труд-

ностей, а также разочарований и огорчений, оба великих человека выказывали редкое единодушие. Были они согласны друг с другом также и в деловых вопросах. Когда вышел первый номер журнала, Шиллер заметил: «Пожалуй, слишком плотный получился набор — публике, разумеется, это выгоднее, чем нам».

Гёте согласен с ним: «Наше заявление о гонораре, думается мне, следует отложить... и тогда сделать расчет и выставить свои условия, потому что предоставлять господину Котте мерить наш урожай произвольными четвериками в дальнейшем не годится»¹.

Разумеется, не такой человек был Котта, чтобы ущемлять интересы Шиллера и Гёте. И главное тут — единодушие, которое перед лицом истинных трудностей и огорчений как в процессе подготовки журнала, так и впоследствии, в условиях критического к нему отношения, неизменно обнаруживали оба великих поэта; сохраняли они его и в разногласиях с другими знаменитыми сотрудниками журнала — при незначительных расхождениях с Гердером и, более серьезных, с Фихте. Вот только с братьями Гумбольдт и Шиллер, и Гёте всегда ладили великолепно.

От Йены до Веймара было недалеко: женщина-письмоносец проделывала этот путь за несколько часов, и, стало быть, письмо, написанное в полдень, к вечеру уже попадало в руки адресата. Но при всем том когда Шиллер приезжал в Веймар или же Гёте — в Йену, тогда всякий раз наступали дни самого напряженного духовного общения двух гениев. Весной 1795 года Гёте случилось прожить в Йене недель пять, каждый вечер он проводил у Шиллера. То же повторилось и в ноябре: Гёте приходил к Шиллеру после обеда и оставался у него до полуночи, а порой и дольше, и шли у них нескончаемые беседы, и высоко парил при том их дух.

Чтобы в полной мере оценить, насколько Шиллер привлекал Гёте своим интеллектом, необходимо представить себе, как выглядел в ту пору творец «Дон Карлоса». Ведь было уже явно заметно, что человек этот живет «со смертью бок о бок». «Лицом он походил на распятого Христа», — заметил как-то Мейер, художник и искусствовед. А поэтесса Фридерика Брун писала: «Казалось, он держится на ходулях, и поразительно сочетались в нем слабость и сила. Слабость изнуренного тела и сверкающая сила гения».

И Гёте, при всей его нелюбви к болезням, да и вообще ко всему болезненному, забывал обо всем, когда дело касалось Шиллера.

Особенно выразительным портретом Шиллера, относящимся к дням, когда в Йене гостил Гёте, мы обязаны ротмистру фон Функу, другу Кёрнера, с которым Шиллер познакомился еще в Дрездене. Описывая замкнутый образ жизни Шиллера, Функ пояснял: «Гёте — единственный человек, который всякий раз, когда приезжает в Йену, можно сказать, поселяется у Шиллера: он приходит к нему всякий день в четыре часа и остается еще надолго после ужина».

Ротмистр поведал нам и о том, как маленький Карл тормозит Гёте, привычно и уютно расположившегося в гостиной у Шиллера,

¹ Гёте И. В. Собр. соч., т. XIII. М., ГИХЛ, 1949, с. 68.

как постепенно разгорается беседа, подогреваемая к тому же чаем или пуншем: «Сам Шиллер непрерывно бродит, вернее было бы сказать — непрерывно носится по комнате взад и вперед, да ему и нельзя сидеться. Временами видно, как донимает его недуг, особенно когда у него начинается приступ удушья. Когда же ему становится невозможно терпеть, он выходит из комнаты и принимает какое-нибудь лекарство, хоть ненадолго облегчающее приступ. Если же в такую минуту удастся случайно вовлечь его в интересный разговор, особенно если удастся бросить какую-нибудь фразу, которую он подхватит на лету, чтобы тут же разложить ее на составные и затем снова собрать, тогда страдание его отступает, но мгновенно возобновляется, как только он закончит свои объяснения. И вообще, тяжелый труд для него — самое лучшее лекарство. Видно, в каком нескончаемом напряжении он живет и сколь сильно его дух властвует над телом, ведь стоит умышленному напряжению ослабнуть хоть на миг — и телесный недуг тут как тут. Но именно потому так трудно исцелить его: ум его, привыкший к неутомимой работе, еще больше подвигается на труд телесным страданием...» И дальше: «При таком образе жизни он будет трудиться за письменным столом до тех пор, пока однажды не выяснится, что в светильнике иссякла последняя капелька масла, и он угаснет...»

Неоднократно Шиллеру приходилось отвечать отказом на частые приглашения Гёте приехать в Веймар для посещения театра. Когда в марте 1796 года Иффланд прибыл на гастроли в Веймар, Гёте приказал построить специальную ложу для Шиллера с таким расчетом, чтобы поэт мог уютно устроиться в ней, не будучи замечен публикой, — это был поистине царский подарок, истинно дружеская услуга.

Спустя двадцать три года после смерти Шиллера Гёте скажет Эккерману: «Друзья вроде нас с Шиллером, долгие годы тесно связанные общими интересами, постоянно встречавшиеся для взаимного обмена мыслями и мнениями, так сжились друг с другом, что смешно было бы считаться, кому принадлежит та или иная мысль. Многие двустушия мы придумывали вдвоем, иногда идея принадлежала мне, а Шиллер облакал ее в стихи, в другой раз бывало наоборот, или Шиллер придумывал первый стих, а я второй. Ну как тут можно разделять — мое, твое!»¹.

Замечания Гёте относились к «Ксениям» (по-гречески: «подарки гостям»), довольно колючим двустрочным сатирическим эпиграммам, с помощью которых оба поэта в свое время успешно полемизировали с врагами и критиками журнала «Оры».

Одни сверкая вздымаются ввысь, другие пожар вызывают,
Иные бросаем шутя, чтобы порадовать взор.

В октябре 1796 года Гёте писал Шиллеру: «Наши лисы с го-

¹ Эккерман И. П. Разговоры с Гёте. М., «Художественная литература», 1981, с. 274.

рящими хвостами уже начали оказывать свое действие. Удивленью и догадкам нет конца...»¹

Это была своего рода игра, которой развлекались сами и развлекали всю читающую немецкую публику Гёте и Шиллер, но при том также своего рода поэтическое состязание. Многие из этих «Ксений» и вправду оказались весьма меткими стрелами, которые должны были жестоко язвить тех, кому предназначались. Возьмем, например, эпиграмму на книгу Б.:

Собрание ли это стихов? Да это же сбор подаяний:
Собраны бедности ради и бедностью порождены.

Это была игра, временами — просто забава. В одном из своих писем к Гёте, отправленных осенью 1797 года, Шиллер откровенно говорил о «шумных проказах», устроенных «Ксениями».

Великое, нетленное свидетельство могучего взаимовлияния двух гениев мы находим в их переписке, в свое время опубликованной еще самим Гёте. Подготовка этого издания так увлекла поэта, что даже в посвящении книги королю Людовику I Баварскому он не удержался от глубоко личного признания: «Ныне, когда, окончив работу, я вновь принужден с ним расстаться...»

А о том впечатлении, которое должна была произвести опубликованная переписка на читателей еще при жизни престарелого Гёте, мы навряд ли найдем лучшее свидетельство, чем письмо молодого Мёрике к его другу Мэрлену от 7 мая 1829 года, в котором тот подробно описал свою встречу с этой книгой. Путешествуя по Верхней Швабии, Мёрике как-то раз заночевал в Цвифальтене, где местный монастырь был отдан под приют для душевнобольных. Путник собирался лечь спать, но тут... «тут дьявол показал мне томик «Переписки», лежавший на столе. Я вяло протянул к нему руку, словно желая лишь мельком взглянуть на обложку, — это был том второй. Дьявольская книжица эта, однако, прилипла к моим рукам, страницы ее, будто одержимые нечистой силой, быстро перелетали справа налево, и скоро меня уже обступила со всех сторон священная атмосфера классики; наконец я стал читать все медленнее и медленнее, даже старался не дышать, боясь замутить безупречную гладкую поверхность глубокой бездны, в которую я погрузил свой взор, словно надеясь узреть саму душу искусства. Лишь раз поднял я от книги глаза и задумался, потеряв счет времени. Светильник уже почти догорел, но я не стал его прочищать. Мой мозг был напряжен до предела, мысли мои словно порхали, и казалось, я вознесся над самим собой, но наряду с ощущением торжественности я чувствовал также безграничную радость. Дух обоих великих людей, вместо того чтобы меня подавить, оказал на меня прямо противоположное действие. Во многих мыслях я узнавал свои собственные благоприобретенные заключения, и не раз я радостно вздрагивал, приветствуя их. Под конец мое воображение увлекло меня в сторону...»

Вот какое впечатление произвела на гениального юношу перепис-

¹ Цит. по кн.: Абуш А. Шиллер, с. 194.

ка Шиллера с Гёте — и свидетельством этим мы заключаем настоящую главу. Отныне, однако, невозможно вообразить жизнь Шиллера без Гёте. С этой поры мы не найдем такого произведения поэта (а весь литературный урожай зрелых лет еще был у него впереди), в котором нельзя было бы проследить влияние Гёте. Равно как и наоборот: под влиянием Шиллера Гёте вновь вернулся к поэзии. Словом, отныне вся жизнь Шиллера, вплоть до быта, отмечена печатью неразрывной близости его с другим гением.

ОТГОЛОСКИ

Начав, вскоре после возвращения из Швабии, подыскивать сотрудников для журнала «Оры», Шиллер не стал приглашать ученых, связанных с прежней Академией или же с Тюбингенским университетом, хотя, казалось бы, кое-кому из них — Абелью, например, — безусловно стоило предложить участвовать в журнале. Но в душе поэт уже отдалился от Швабии. Что бы ни чувствовал, что бы ни думал он годом раньше, собираясь в эту южногерманскую провинцию, теперь он окончательно решил остаться в Саксонии. Покидая свою исконную родину, он навряд ли испытывал обиду — пожалуй, скорей разочарование. О возвращении в Вюртемберг, хотя бы для непродолжительного визита, он с тех пор ни разу не задумывался всерьез.

Самым непосредственным и замечательным результатом его пребывания в Швабии было появление произведений изобразительного искусства: любовно исполненные Людовикой удачные портреты Шиллера и Лотты (последний являет нам — в чертах жены поэта — трогательное сочетание девической невинности и пережитых страданий); великолепный бюст поэта работы Даннекера, точную копию которого скульптор прислал Шиллеру в октябре 1794 года. Все родные и близкие Шиллера были в восторге от этой работы и с нескрываемой гордостью любовались бюстом поэта.

И снова — а впрочем, должно быть, впервые за все время! — родной Вюртемберг решил позвать к себе Шиллера и обратился к нему с весьма солидным предложением. Земляки поэта надеялись таким путем «вновь вернуть отечеству этого замечательного человека» (Абель). Вслед за деликатным запросом Абеля в феврале 1795 года Шиллеру было направлено приглашение занять в Тюбингенском университете штатную должность профессора — преподавателя филологии и эстетики с небольшим окладом, который, однако, впоследствии предполагалось увеличить. Котта от всей души поддерживал это предложение; 9 февраля он писал Шиллеру в деловом письме: «Если небу будет угодно, чтобы исполнились мои надежды, то в будущем мы сможем улаживать наши дела гораздо легче».

Но поэт отклонил предложение, сказав, что по состоянию здоровья не может регулярно читать лекции.

Тюбингенцы, однако, не сдавались. За первой попыткой заманить на «родину» своего великого сына последовала вторая, и вовсе необычная: поэту предлагали профессию, отныне уже никак не сопряженную с чтением лекций — Шиллеру предоставлялась полная свобода

да заниматься со студентами так, как он сам сочтет возможным и нужным. И Котта опять же ревностно поддержал эту идею: «Я все же не теряю надежды, что вы согласитесь», и дальше: «Общение с вами уже само по себе самый что ни на есть поучительный семинар, отчего отпадает надобность в регулярных учебных занятиях, — университет и без того много выигрывает, коль скоро вы окажетесь в его стенах».

В письме к Гёте от 25 марта 1795 года Шиллер делится с ним новостью и затем добавляет: «Хоть я и не изменил и навряд ли изменю первоначальное мое решение, все же в связи с этими раздумьями у меня возникли серьезные мысли о будущем, убеждающие меня в необходимости получить известные гарантии, на случай если усугубление недуга не позволит мне заниматься литературным трудом. А посему я написал господину Г. Р. Фойгту и попросил его испросить у нашего герцога заверение, что в этом крайнем случае мое жалованье будет удвоено. Если мне это гарантируют, то я надеюсь воспользоваться прибавкой как можно позже, а то и вовсе без оной обойтись; однако обещание герцога успокоит меня насчет будущего, а большего я сейчас не могу желать».

28 марта Карл Август решил удовлетворить просьбу Шиллера. Получив заверение от герцога, Шиллер тотчас же написал в Тюбинген. 3 апреля Абелью было отправлено письмо следующего содержания: «Я долго размышлял, дражайший друг, над вашим последним запросом и взвесил ваше предложение применительно ко всем моим обстоятельствам. Вывод из всех моих размышлений таков, что я поступлю разумнее, оставшись на прежнем месте, и прежде всего по таковой причине: трудно представить себе, учитывая состояние моего здоровья, что я смогу оправдать надежды, с полным правом возлагаемые на университетского наставника, и справляться с обязанностями, которые в этом случае я сам считал бы непременно исполнять. Если я приму ваше предложение, то в душе уже буду готов исполнить в ответ на это определенную работу, а это, ввиду моего физического недуга, мне как раз и не по силам. Здесь, в Йене и Веймаре, от меня ничего подобного не ждут, и герцогу известно, что я не могу нести никаких академических функций. Стало быть, я никого не обманываю и потому могу жить спокойно. К тому же веймарский двор принес мне столько доказательств бескорыстного внимания, что я не простил бы себе, вздумай я покинуть его, хотя бы и ради своего отечества. Совсем недавно герцог сообщил, что удвоит мой оклад, как только мне понадобится помощь. Войдите же в мое положение. Я убежден, что на моем месте вы поступили бы точно так же». Как умно написано, не без лукавства, но при том — какая высокая порядочность!

Шиллер сознавал, что больше уже не увидит своих престарелых родителей. Он постарался, однако, напоследок доставить радость отцу. Дело в том, что Каспар Шиллер поверил бумаге свои мысли и опыт по выращиванию деревьев — делу, которому отдал полжизни. Трактат этот назывался «Уход за деревьями в общих чертах — итог двадцатилетнего опыта и труда, вобравшего в себя множество частных случаев;

оценка заботы о деревьях, их пользы и дохода от них И. К. Шиллера». В книге говорилось по преимуществу о выращивании, посадках и уходе за деревьями, окаймлявшими проселочные дороги; труд отца Шиллера был написан с великолепным знанием дела, хорошим, ясным языком и, более того, даже содержал такие вполне отвечающие современным взглядам идеи, как например, мысль об улучшении состава воздуха благодаря насаждению деревьев и лесов.

Великий сын Иоганна Каспара нашел для этой книги издателя в лице некоего Михаэлиса, книготорговца из Нойштрелица.

С изданием книги Иоганна Каспара дело, однако, поначалу не ладилось. В августе 1795 года Шиллеру пришлось просить книгоиздателя Котту авансировать его отцу сравнительно солидную сумму (свыше 25 луидоров), которую Михаэлис вопреки заключенному договору не прислал автору. Спустя несколько недель все разъяснилось: он узнал, что Михаэлис вручил деньги для передачи его отцу человеку, который оказался непорядочным.

В 1796 году жизнь отца Шиллера медленно шла к концу. 3 марта Шиллер писал Котте: «Отец мой вследствие тяжкого недуга уже давно прикован к постели. Вы меня очень обяжете, если сможете прислать ему на некоторое время какую-нибудь развлекательную литературу, например рассказы о путешествиях и тому подобное».

В апреле поэт настоял, чтобы сестра Христофина поехала к родителям, хотя его шурин Рейнвальд сердито возражал против этого. Шиллер хотел, чтобы сестра помогла матери ухаживать за больным, и послал ей восемь луидоров на оплату проезда.

Летом французы перешли Рейн. Пушечный гром ворвался в жизнь, порой заглушая все переживания и надежды. И в письмах Гёте к Шиллеру отныне тоже рассыпаны замечания о судьбе его родного города Франкфурта, попеременно переходившего в руки то французских, то имперских войск.

В письме к брату Христофина подробно рассказывала, как в июле месяце мародерствующие французские солдаты вторглись в маленький домик семейства Шиллер при замке Солитюд (это был один из сохранившихся до сих пор так называемых офицерских домиков, полукругом обступивших замок), притом что глава семьи, старый офицер, лежал парализованный в постели; как разнужданные солдафоны, оскорбляя женщин, отобрали у них вино и хлеб и, перерыв весь дом, унесли одежду — рубашки, чулки, носовые платки; они даже не погнушались отнять ботинки у слепого нищего, сидевшего перед домом. Им на смену пришли регулярные войска генерала Ламбера. Генерал требовал от своих солдат строгой дисциплины и приказывал расстреливать мародеров, но он же велел реквизировать продукты, вино, лошадей и повозки.

Под Канштатом произошла кровавая стычка. Почта стала нерегулярно доставлять письма, временами связь и вовсе прерывалась. Христофина тревожилась, что не сможет вернуться в Мейнинген. В письмах, которые все же приходили к Шиллеру, мать рассказывала сыну о трудностях ухода за больным, не умалчивая — странным образом — ни об упрямстве, ни об эгоизме умирающего:

«Наша добрая Фена (Христофина — Фина — Фена) тоже никак не может ему угодить, и как же мне жаль ее, что она словно попала из огня да в полымя — я-то ведь за минувшие сорок лет уже ко многому успела привыкнуть».

Да, о многом говорит эта фраза! Из атмосферы несчастливого супружества сестра Шиллера попала в гнетущую обстановку дома, где надо было ухаживать за строптивым умирающим. А мать Шиллера с такой же грустью оглядывается на долгие годы своей семейной жизни. Слова эти — стон души, но при том из нее рвется — с той же искренностью — и другой стон: крик боли и тоски от сознания предстоящей разлуки со смертельно больным Иоганном Каспаром.

В одном из своих писем брату Христофина, сообщала: «Твое прекрасное письмо я должна была прочитать нашему дорогому отцу. Он как дитя рыдал над ним и истово благодарил бога за то, что он даровал ему такого сына. «Да, я постараюсь быть достойным его, — сказал он, — и отныне посвящу душу мою единственно важному — раздумьям о вечности, которая меня ждет»».

7 сентября старый Иоганн Каспар скончался. Сын предложил матери выбрать, где ей отныне хотелось бы жить — у него ли, у Рейнвальдов или же у себя на родине с дочерью Луизой (младшая сестра Шиллера Нанетта тоже умерла незадолго до этого), но при том все же советовал ей остаться на месте. Свой совет Шиллер высказал деликатно, но основания у него к тому имелись веские: «Я настаивал бы на том, чтобы вы переехали сюда ко мне, если бы не боялся, что здесь, у меня, многое покажется вам слишком чуждым и беспокойным». И дальше: «Все, что необходимо вам для спокойной жизни, будет сделано, и я, милая мама, отныне вменяю себе в обязанность следить за тем, чтобы вас не удручали больше никакие заботы» (VII, 430—431). Переезд матери в Йену, в квартиру, куда только что внес счастливый беспорядок второй ребенок Шиллера — Эрнст; к невестке, рожденной в аристократической семье и воспитанной в аристократических традициях, — да, такой переезд и впрямь был бы рискованной затеей. Старая женщина осталась у себя на родине. Еще при жизни Шиллера-отца помощник пастора Франк, полюбив Луизу, сделался другом всей семьи. Теперь молодые люди поженились, а Франк вскоре стал священником в Клеверзульцбахе. Там весной 1802 года и скончалась «госпожа майорша». Много позже священник Мёрике взял на себя уход за ее могилой, почти сровнявшейся с землей и почти неузнаваемой. Он водрузил на этой могиле каменный крест и собственной рукой высек на нем слова: «Мать Шиллера».

Еще в Людвигсбурге поэт рекомендовал Шарлотте фон Кальб молодого Гёльдерлина на должность домашнего учителя. С его легкой руки обе стороны нашли то, что искали, и были довольны. Мы уже цитировали выше письмо Гёльдерлина к Шиллеру, в котором ощущалось пылкое педагогическое рвение юноши; цитировали из него и фразу: «Рядом с вами я бы преобразился, словно по волшебству». В ноябре 1794 года Гёльдерлин вместе со своим питомцем Фрицем фон Кальбом переехал в Йену, чтобы, с согласия Кальбов, продолжить образование в здешнем университете. В письме к Нойферу он

говорит: «Близость великих умов, как и близость истинно великих, самоотверженных, мужественных сердец, то повергает меня ниц, то вновь возносит ввысь, и я должен вырваться из этих сумерек и дремоты; должен мягко, но властно пробудить и восстановить мои слабые, наполовину иссякшие силы, если не хочу окончить свои дни в грустном смирении...» «Фихте ныне душа Йены», — сообщает далее Гёльдерлин, лишь в самом конце письма упоминая о Шиллере и рассказывая, что часто бывает у него. Во время самого первого своего визита к Шиллеру молодой человек застал у него Гёте — и не узнал его! «Господь да поможет мне загладить мою оплошность и мои глупые выходки, когда я приеду в Веймар! После всего, что случилось, я ужинал у Шиллера, который всячески старался меня утешить и веселостью своей, и беседой, в которой проступал великолепный его ум, и помог забыть мне незадачу, постигшую меня при первом визите».

Впоследствии, приехав в Веймар, Гёльдерлин имел случай выразить Гёте свое уважение (он писал Гегелю: «Брат мой, я говорил с Гёте! Высшее наслаждение нашей жизни — узреть такую человечность при таком величии»). По доброму согласию с фон Кальбами Гёльдерлин скоро оставил свою службу домашнего учителя, но еще несколько месяцев оставался в Йене. Здесь, осененный гением, но и терзаемый всевозможными страхами, он и написал своего «Гипериона».

9 марта в письме к книгоиздателю Котте Шиллер сообщал: «Гёльдерлин сейчас работает над небольшим романом под названием «Гиперион». Первую его часть, которая составит около двенадцати листов, он закончит через несколько месяцев. Я был бы чрезвычайно рад, если бы вы пожелали его издать. На нем весьма заметна печать гения, и я надеюсь, что еще смогу несколько повлиять на его автора».

Немалая дружеская услуга!

Однако вскоре Гёльдерлина настиг первый серьезный душевный кризис. В мае того же года он, не простившись, сорвался с места и уехал к матери в Нюртинген. 23 июля он писал оттуда Шиллеру: «Я заведомо знал, что не смогу удалиться от вас, не оборвав струны в моем сердце. И теперь я с каждым днем ощущаю это все явственнее. Странно, что можно чувствовать себя необычайно счастливым, находясь под духовным влиянием человека, даже когда он воздействует на тебя не словом, а одной лишь своей близостью, — странно и то, что все больше ощущаешь утрату ее с каждой милей, которая отделяет тебя от него. И сколько бы ни было у меня на то причин, все равно я вряд ли заставил бы себя уехать, если бы, с другой стороны, именно это близкое соседство не тревожило меня. Я все время испытывал искушение видеть вас, а увидев вас, всякий раз чувствовал, что я для вас — ничто».

А 4 сентября, в сопроводительном письме к отрывку из журнала «Оры», Гёльдерлин продолжал:

«Я полагаю, что свойство редких людей — одаряя других, ничего не брать для себя взамен, уметь согреться даже и у льда. Мне же слишком часто приходится убеждаться, что сам я не принадлежу к числу этих редких людей. Я мерзну и костенею от холода среди зимы,

окружающей меня. И небо мое железное, и я под ним каменею... То, что я могу сказать вам хоть что-нибудь и при том — хоть что-нибудь о себе, — чуть ли не единственная моя гордость, единственное мое утешение. Навеки почитатель ваш — Гёльдерлин».

Переписка продолжалась еще какое-то время. Однажды Гёльдерлин взмолился: «Скажите мне хоть одно доброе слово, и вы увидите — оно преобразит меня».

А спустя несколько месяцев он восклицал, обращаясь к Шиллеру: «Я никогда не забуду ваше письмо, благородный человек! Оно подарило мне новую жизнь».

Через журнал «Оры» и «Альманах Муз» какое-то время еще поддерживалась связь между Шиллером и Гёльдерлином, затем нить оборвалась. Гёльдерлина судьба погнала по пути, который был ему уготован: сначала вознесла на вершину славы, затем низвергла во мрак, где он на много лет пережил Шиллера. О том, мог ли бы кто-нибудь помочь ему, спасти его, никому не дано судить. Ясно лишь одно: этого не мог сделать Шиллер, который должен был создавать свои творения, преодолевая тяжкий недуг, когда его собственная жизнь то и дело грозила угаснуть.

Рассказывают, будто как-то раз именно Гёльдерлина Шиллер назвал своим «самым любимым швабом». Да и вообще — из всего, что в жизни поэта связано с Швабией, больше всего трогает нас его доброжелательное отношение к молодому земляку и младшему собрату по перу.

Шиллер и впоследствии посылал письма и передавал поклоны Ховену и Даннекеру, Концу и Раппу. Но, по сути дела, он уже отдалился от них. Смерть отца разрубила прочные узы, связывавшие поэта с родиной, хоть он и сохранил глубокую привязанность к матери, настолько глубокую, что Лотта несколько дней не решалась сообщить ему о ее смерти.

И лишь один шваб по-прежнему продолжал играть важную роль в жизни Шиллера — это Котта, живший в Тюбингене. Он был словно бронзовый утес — оплот поэта на родной земле.

«...ОТ ТОГО, ЧТО ПИШУ СТИХИ...»

«Я сейчас живу и вовсе лихо, оттого что пишу стихи для моего «Альманаха Муз», — сообщал Шиллер Кёрнеру 4 июля 1795 года. Казалось бы, что в этом необычного? Но Шиллер еще и добавил: «Сам при этом кажусь себе чудачком». А ведь даже и тому, кто почти ничего не знает о Шиллере, все же известно, что он был поэтом, а поэт вроде бы и должен писать стихи.

Шиллер был великим поэтом-драматургом, и многие из его драматических сцен дышат истинной поэзией. Его драматургическое творчество несравненно выше стихов, хотя уже сама по себе невероятная их популярность — особенно баллад, — неизменно сохранявшаяся на протяжении многих поколений, не позволяет нам недооценивать эти стихи. Бесспорно одно: поэтической весны, вроде той, которая была дарована судьбой юному Гёте и юному Мёрике, Шиллеру

не довелось пережить. Стихи его юных лет — впоследствии они стали претить ему своей прямолинейностью и восторженностью, — эти несомненные проявления пробуждающегося гения все же были еще далеки от высокого искусства и к тому же в большой мере подражательны, а главное — несли на себе печать влияния Шубарта.

Двадцати шести лет от роду Шиллер выплеснул ликующую радость от сознания своей душевной свободы, обретенной благодаря друзьям, в оде «К радости», скоро облетевшей весь земной шар. Затем снова воцарилось молчание. В 1788-м году, первом проведенном в Веймаре, появились «Боги Греции» («В дни, когда вы светлый мир учили...») (I, 156) и «Художники» («Прекрасен гордый облик человека...») (I, 164) — образцы лирики, пронизанной глубокой мыслью: тридцать четыре длинные строфы. За этим последовал перерыв, длившийся семь лет.

Тем удивительнее этот поэтический взрыв летом 1795 года. Одним из первых, по всей вероятности, было написано стихотворение «Танец»:

Вот, проносясь, как волны, мелькают в плавном движенье
Пары, крылатой ногой еле касаясь земли... (I, 179)

Здесь поэт еще скован, несвободен, к тому же неприятно дидактичен. Но хотя недуг временами мешал поэтическому творчеству Шиллера, все же следующее стихотворение, «Власть песнопения», уже обретает совершенно иную тональность:

Вот, грохоча по кручам горным,
Потоки ливня пролились,
Деревья вырывая с корнем
И скалы скатывая вниз.
И, страхом сладостным объятый,
Внимает путник шуму вод.
Он слышит громкие раскаты,
Но где исток их — не поймет.
Так льются волны песнопенья,
Но тайной скрыто их рожденье... (I, 178)

Это напоминает юношеские стихи Шиллера, но словно бы в облагороженном, свободном от всего наносного виде. Кстати, стихотворение это вновь возбуждает вопрос об отношении Шиллера к музыке. Приведенные строки весьма подходят к некоторым частям Пасторальной симфонии Бетховена, однако она никак не могла вдохновить поэта на это стихотворение, хотя бы уже по причинам хронологического свойства. Вместе с тем стихотворение это доказывает, что Шиллер всей душой любил музыку. Музыка зажигала, порой даже опьяняла его. В его драматургическом творчестве заметна близость к оперному жанру. А все же ему доставало истинного понимания музыкального искусства — Шиллер знал это и неоднократно сам в этом признавался.

Объем написанного поэтом за эти немногие и отнюдь не свободные от тревог летние месяцы может показаться невероятным. И при всей необходимой осторожности во многих строчках стихов все же угадываются глубоко личные мотивы. Например, в обращении к ребенку:

Счастлив младенец! Пока колыбель для него беспредельна.
Зрелому мужу поздней тесен покажется мир. (I, 206)

Или еще:

Мальчик, играй на руках материнских! На острове этом
Минут заботы тебя, горе тебя не найдет:
Бережно держат над бездной тебя материнские руки. (I, 206)

Стихотворение «Античная статуя — северному страннику» навеивает образ человека, который мало путешествовал по свету и мало видел чисто физическим зрением, а все же силой своей фантазии сумел охватить и дальние страны, и отдаленные времена:

Реки ты одолел, переплыл через бурное море,
Через альпийский хребет шел каменистой тропой,
Чтобы, увидев меня, моей красоте подивиться,
Славу которой гремит весь очарованный мир.
Вот предо мной ты и можешь меня, священной, коснуться:
Ближе ли ты мне теперь? Ближе ль я стала тебе? (I, 209)

Забавным представляется нам стихотворение «Пегас в ярме», которое начинается совершенно несуразными строчками:

На конные торги в местечко Хаймаркет,
Где продавали всё — и жен законных да же, —
Изголодавшийся поэт
Привел Пегаса для продажи. (I, 180)

Хаймаркет... Не Хогарт ли познакомил Шиллера с этим местечком? Рифма «Хаймаркет — поэт» своим неотразимым комизмом затмевает вполне доброкачественный юмор, которым пронизано все стихотворение. Разумеется, некоторое знание английского языка Шиллер приобрел еще в Карлсшуте. Однако как обстояло дело с его произношением, можно вообразить хотя бы на основании этой чудовищной рифмы *.

К тому же периоду напряженного поэтического творчества относятся еще два больших стихотворения Шиллера, пронизанные философскими раздумьями: «Саисское изваяние под покровом» и «Идеал и жизнь» (первоначальное название — «Царство теней»).

Вечно юны и прекрасны боги.
Там, в блаженном их чертоге,
Жизнь чиста, безбурна и светла.
Что им бег времен и поколений!

Неизменны в этой вечной смене
Розы их бессмертного чела.
Мир души иль чувственное счастье —
Люди могут выбрать лишь одно.
В полноте изведать обе части
Лишь жильцам небес дано. (I, 189)

И чуть дальше читаем столь характерные для Шиллера строки:

Лишь над телом властвуют жестоко
Силы гибельного рока,
Но с косою Сатурна незнаком,
Однодomeц духом совершенных,
Первообраз там, в кругах блаженных,
Меж богов сияет божеством. (I, 189)

Это стихотворение Шиллер послал Вильгельму Гумбольдту и его жене Ли (Каролине) в Тегель вместе с необычным сопроводительным письмом:

«Когда вы, дорогой друг, получите мое письмо, отстраните от себя все мирское и в торжественной тишине прочтите это стихотворение. Потом запритесь вместе с Ли и прочтите ей его вслух. Жаль, что я сам не могу этого сделать: будь вы сейчас здесь, я бы вам этого не уступил. Признаюсь, я испытываю немалое удовлетворение, и если доброе ваше мнение обо мне, еще раз высказанное вами в последнем письме, заслужено, то именно этим произведением. Тем строже, однако, должна быть ваша критика» (VII, 343—344).

Под названием «Царство теней» это стихотворение было опубликовано в сентябрьском номере журнала «Оры». «Михаэлис его не получит», — говорилось далее в письме, которое мы цитировали выше и которое Шиллер писал в те дни, когда считал Михаэлиса мошенником, — как известно, впоследствии выяснилось, что подозрение это несправедливо. И поэтический урожай плодотворного лета скоро увидел свет на страницах журнала «Оры», а также в «Альманахе Муз» за 1796 год, который издавал Михаэлис.

Этот творческий взлет происходил в условиях чрезвычайно тяжелых. Почти целых три месяца, вплоть до октября, Шиллер не выходил из своей комнаты: его замучили спазмы.

«Со здоровьем у меня покамест лучше не стало. Боюсь, что это расплата за напряженные переживания всех тех дней, когда я слагал стихи. Философствовать можно вполсилы — другая половина твоего существа между тем отдыхает, но музы отнимают у человека все силы», — писал Шиллер 29 августа 1796 года Гёте.

В эту пору, когда поэт был заперт в четырех стенах, он написал также известную элегию, впоследствии получившую название «Прогулка»:

Здравствуй, моя гора с красноватой блещущей высью,
Здравствуй, солнце, чей свет мягко ее озарил. (I, 197)

Слова «...и — заодно меня, кто бежал из темницы домашней», выйдя из-под пера Шиллера, выражали лишь надежду, жившую в сердце поэта. Поистине трогательно рвение, с каким, с одной стороны, тюрингские, с другой — швабские патриоты силились доказать, будто стихотворение это относится то ли к долине реки Заале близ Йены, то ли к окрестностям Штутгарта. Правда, спор, судя по всему, иссяк, как только ушло из жизни предпоследнее поколение гимназических преподавателей. Непредубежденный читатель элегии заметит лишь, что в этом стихотворении (самого широкого — вплоть до античных времен — охвата) сконцентрированы впечатления поэта от живой природы как таковой, и не столь важно, в каком уголке земли они получены. Выбор названия для элегии — «Прогулка» — представляется вполне закономерным. Однако в других произведениях Шиллера редко встретишь природные и пейзажные зарисовки, подобные той, какую мы встретим в этой элегии:

Пчелка, жужжа, снует деловито; на клевере красном
Сонно дрожит мотылек, слабым повиснув крылом. (I, 197)

Мы находим здесь картины редчайшей яркости, ни в чем не уступающие замечательным описаниям природы, составляющим гордость немецкой литературы, хотя в принципе шиллеровский гений был обращен на иные предметы, чем, к примеру, талант Эйхендорфа или же Штифтера.

...и в прохладу
Под восхитительный свод буки густые зовут.
В тайне леса из глаз исчезает ландшафт на мгновенье,
Вьется тропинка змеей, в гору все выше ведя.
Только украдкой свет сквозь решетку листвы проникает,
И, улыбаясь, лазурь блещет порой сквозь нее.
Но разрывается полог внезапно, и проредь лесная
С шумом назад отдаст взору сиянье дня.
Необозримая даль разливается передо мною,
И, голубая во мгле, мир замыкает гора. (I, 198)

И все же описания природы у Шиллера — всего лишь обрамление его мыслей, раздумий о человечестве.

Рассмотрим еще одно стихотворение, относящееся к тому же периоду творчества поэта, — «Достоинство женщин»:

Женщинам слава! Искусно влетая
В жизнь эту розы небесного рая,
Узы любви они сладостно вьют.
В туники граций одевшись стыдливо,
Женщины бережно и терпеливо
Чувства извечный огонь берегут. (I, 186)

И в таком духе девять строф... Грубая сила мужчины, облагораживающее, умиротворяющее влияние женщины. Это стихотворение, пленяющее изысканностью формы, способно возбудить не толь-

ко полемический задор, но и насмешку, как мы покажем дальше. Биограф Шиллера не может оставить его без внимания. И лично мне оно представляется свидетельством того, что в своем отношении к женщинам Шиллер так до конца и не отделался от психологии питомца Карлсшале. В этом стихотворении тридцатипятилетнего мужчины все еще сказывается то идеализированное представление, которое сложилось о женщинах у юноши, заточенного в казарму: они-де влетают в суровую здешнюю жизнь райские розы. А что, если попробовать прочесть это стихотворение, вспомнив Франциску фон Хоэнгейм? Окажется, что оно полностью подойдет к ситуации, некогда создавшейся в Вюртемберге:

Мягкою просьбою, простым уговором
Женщина путь преграждает раздорам... (I, 188)

Разумеется, я не намерен утверждать, будто, написав это стихотворение, Шиллер имел в виду Франциску. Но очевидно, что в глубине души поэт всю жизнь смотрел на женщин примерно так же, как и в бытность свою в Карлсшале.

И вдруг однажды до его слуха долетели задорные строки:

Женщинам слава! Чулки они вяжут —
В них не замерзнешь в проруби да же, —
Рваные быстро латают штаны.
Варят мужчинам сыпную кашу.
Детей наряжают — краше и краше,
А еще деньги беречь ведь должны!

Пародию придумали в доме Шлегелей, за чаем. Братья Шлегель — Август Вильгельм и Фридрих, пятью годами моложе брата, составляли ядро «маленького отряда неустрашимых» (как назвала их Рикарда Хух) * романтиков, оказавших заметное влияние как на эмоциональный мир своих современников, так и на литературу. Поначалу Шиллер отнюдь не испытывал недоброжелательства к этим молодым литераторам. Что же до них, то ясно, что они должны были считать автора «Разбойников» своим. Юный Гарденберг (Новалис) принадлежал к числу поклонников Шиллера и неизменно питал к нему самые теплые чувства. Август Вильгельм Шлегель по рекомендации Кёрнера стал сотрудником журнала «Оры» и печатал в нем свои переводы из Данте и Шекспира. И конечно, вовсе уж неловко получилось, что родной брат Августа Вильгельма Фридрих публично раскритиковал журнал за обилие публикуемых переводов; «Очевидно, редактор журнала совершенно убежден, будто читатель все проглотит», — писал Шлегель, метя в гётевский перевод «Челлини».

Шиллер реагировал на этот выпад резко и раздраженно. В своем письме Августу Вильгельму Шлегелю от 31 мая 1797 года он заявлял: «Публикуя в «Орах» ваши переводы из Данте и Шекспира, я рад был предоставить вам возможность заработка, каковой не каждый может располагать; поскольку, однако, я вынужден констатировать, что господин Фридрих Шлегель — в то самое время, когда я даю вам подобную возможность, — публично бранит меня, заявляя, что в «Орах»

печатается слишком много переводов, то вы уж не взывайте и в будущем на меня не рассчитывайте.

И вообще — чтобы раз и навсегда освободить вас от бремени знакомства, которое неизбежно должно тяготить людей широкого образа мыслей и нежной души, позволяйте мне этим положить конец отношениям, выглядящим весьма странно в данных условиях и уже не раз обманывавшим мое доверие».

Получив это письмо, адресат стал оправдываться: почему он должен отвечать за все, что ни напишет его брат? Шиллер возразил ему: «Вас я не упрекаю и охотно верю, когда вы утверждаете, что по отношению ко мне вам упрекнуть себя не в чем; но это, к сожалению, ничего не меняет, ибо при серьезных поводах к неудовольствиям, которые мне дал и все еще продолжает давать ваш брат, взаимное доверие между вами и мной сохраниться не может... В узком кругу моих знакомств должна быть полная уверенность и неограниченное доверие, а в наших отношениях, после того, что произошло, этого быть не может...» (VII, 460—461).

Гёте осторожно пытался примирить обе стороны. Уже в старости А. В. Шлегель с ехидством вспоминал: «Вообще Гёте исполнял роль посредника весьма приятным образом. Его осмотрительная забота о Шиллере, подобная заботе мужа о слабонервной жене, нисколько не мешала ему быть с нами на дружеской ноге...»

Впрочем, Август Вильгельм Шлегель и после этого инцидента печатался в «Орах» (только не публиковал переводы!), и тем же летом Шиллер уже писал ему довольно любезные письма. Его раздражение против Фридриха Шлегеля, однако, не улеглось. Поэт с первых дней знакомства считал его «холодным насмешником». Иронические отзывы Фридриха об «Альманахе Муз» и об «Орах» глубоко обидели Шиллера, и, стало быть, упрек «Орам» в избытке переводных материалов был не причиной разрыва, а всего лишь поводом для него.

А сначала, казалось бы, складывались все предпосылки для дружбы. В июле 1796 года Август Вильгельм Шлегель с женой Каролиной, дочерью гёттингенского профессора, недавно разведенной с медиком Бёмером, приехали в Йену. Здесь Шиллеры не только встретили их со всей приветливостью, но даже отвели им квартиру... при том, что Лотта была на сносях и вот-вот должна была разрешиться вторым ребенком. Но обоюдная симпатия стала быстро увядать. Отношения между Шиллером и Шлегелем только еще складывались, когда третьим в их дружеском кружке стал Гёте, который понравился гостям гораздо больше Шиллера. Вскоре к тому же стало заметно, что Шлегели не оценили Лотту, а всего лишь мирились с ее присутствием, тогда как Шиллер, со своей стороны, невзлюбил Каролину Шлегель, ее сильную, властную натуру. И когда в Йену приехал еще Фридрих Шлегель, то его появление уже не обрадовало Шиллера, а лишь усугубило его недовольство. Таким образом, сделался неизбежен разрыв, который и произошел летом 1797 года. «Отныне между Шиллером и шлегельским кружком царил неприкрытая вражда» (Рикарда Хух).

Когда после долгого перерыва Шиллеру вновь захотелось писать стихи, он сначала не слишком верил в свои силы. В письме к Кёрнеру 3 августа 1795 года поэт жаловался, что скверное самочувствие охлаждает его творческий пыл: «Тем временем, однако, произошло кое-что, подбодрившее меня и побуждающее к дальнейшей работе. Я не отважился... выйти в открытое море, а стал кружить у берегов философии, зато хоть подготовлена почва для более свободного полета воображения».

Кстати, здесь мы сталкиваемся с очередным примером того, как Шиллер, никогда не видевший моря, вновь и вновь использует «морскую» символику. Лето 1795 года скоро привело его в царство «свободного полета воображения», и отныне он чувствовал себя в нем как дома. И позднее тоже на долю поэта выпали два периода величайшего творческого подъема, которые, так же как и в первый раз, пришлось на летние месяцы — в 1797 и 1798 годах. Плодovitость Шиллера-поэта в оба эти периода особенно удивительна, учитывая, что в то же самое время Шиллер-драматург напряженно работал над «Валленштейном».

В 1796 году Шиллер и Гёте еще продолжали так же усердно выпускать свои «Ксении». А из шиллеровских стихотворений этого периода следует отметить «Жалобу Цереры»:

Снова гений жизни веет;
Возвратилась весна;
Холм на солнце зеленеет;
Лед разрушила волна. (I, 224)

А также «Помпею и Геркуланум»:

Что за чудо случилось? Источников чистых просили
Мы у тебя, земля, — что же нам шлешь из глубин? (I, 223)

Это стихотворение следует считать особенно разительным примером того, как далеко уносился поэт на крыльях фантазии:

Глянь, как стройно вокруг стоят красивые скамьи,
Пол, возвышаясь, блестит от разноцветных камней. (I, 223)

Невольно приходит на память его же стихотворение «Античная статуя — северному страннику». Шиллеру не надо было пускаться в реальные путешествия: чтобы возбудить игру воображения, ему достаточно было любых путевых записей да еще нескольких иллюстраций в журнале — и он уже видел втрое больше любого «туриста», разглядывающего оригиналы великих творений искусства.

Летом 1797 года Шиллер, параллельно с другой работой, создал пять баллад: «Кубок», «Перчатка», «Поликратов перстень», «Ивиковы журавли», «Хождение на железный завод».

Первая из них — «Кубок» — рисует нам картину моря, и многие, глядя с крутого скалистого берега на бурлящие волны, вспомнят стихи поэта, никогда не видевшего этой картины воочию:

И воеет, и свищет, и бьет, и шипит,
Как влага, мешаясь с огнем,
Волна за волною; и к небу летит
Дымящимся пена столбом;
Пучина бунтует, пучина клокочет...
Не море ль из моря извергнуться хочет? (I, 255)

Безыскусная, едва ли не примитивная фабула приподнимается исполненным бурной фантазии, но вместе с тем вполне реалистичным описанием природы, включающим даже описание морской фауны, сделанное на основании зоологического трактата XVII века под названием "Mundus subterraneus"¹. Действие баллад «Кубок», «Перчатка» и «Хождение на железный завод» разыгрывается в придворной среде — впрочем, сюжеты двух последних заимствованы из французских источников. Еще более возвышенным стилем написаны баллады, созданные по античным мотивам: «Поликратов перстень» и «Ивиковы журавли».

«Ивиковы журавлей» Шиллер неоднократно обсуждал с Гёте. Поэт рассказал в этой балладе историю певца, спешившего в Коринф на праздник Посейдона (праздник, напоминавший Олимпийские игры), но еще в пути убитого злодеями, и историю журавлей, летевших в небе в миг, когда было совершено преступление, и ставших таким образом его свидетелями, а позднее низко промчавшихся над театром, из-за чего перепуганные убийцы сами себя выдали.

Куда бы ни ездил Гёте — во Франкфурт, в Штутгарт или же в Швейцарию, — он ни на день не прекращал оживленной переписки с Шиллером. 28 июля Шиллер писал ему: «Быть может, из лабди, в которой вы путешествуете, вылетит прекрасный поэтический голубь, если уж журавли не летят с Юга на Север». А 17 августа он сообщает:

«Посылаю вам наконец «Ивика»... Навести окончательный лоск я еще не успел, ибо только вчера вечером закончил работу, и мне крайне важно, чтобы вы поскорее прочли балладу, а я, быть может, еще успею воспользоваться вашими замечаниями» (VII, 469).

И Гёте уже 22 августа в ответном письме подвергает балладу серьезному разбору. После нескольких слов горячей похвалы он переходит к сути дела: «Вот еще несколько замечаний: 1) журавлей как перелетных птиц должна была быть целая стая, пролетающая и над Ивиком, и над театром; их появление столь же естественно, как солнце и другие закономерные явления природы. Элемент чудесного будет устранен, раз нет никакой надобности, чтобы это были те же самые журавли; это может быть только какой-нибудь отряд большой перелетной стаи, и эта случайность, в сущности, как мне кажется, и придает таинственность и необычность всей истории...»² А на другой день, уже в постскрипуме, Гёте добавляет: «По моему мнению, следовало бы Ивику увидеть журавлей еще в пути...»³

В письме от 30 августа Шиллер жалуется на тягостное обострение

¹ «Подземный мир» (лат.), по смыслу — «Подводное царство».

² Гёте И. В. Собр. соч., М., ГИХЛ, 1949, т. XIII, с. 150.

³ Там же, с. 152.

болезни: «Хоть лихорадка сегодня и отпустила меня, но зато изрядно мучает кашель... и голова разламывается от боли».

Поэт не успел дописать эти строки, как ему принесли письмо от Гёте, и он тотчас же ожил, приободрился, и эта смена настроения заметно ощущается в последующих строчках: «В связи с настоящим случаем я вновь глубоко ощущаю, насколько важны живое знание и живой опыт также и при сочинительстве. Мне, например, журавли известны лишь из немногих басен, для появления коих они дали повод, и этот недостаток живых впечатлений мешает мне заметить, как можно с успехом использовать это явление природы. Я постараюсь отвести несравненно большую роль этим журавлям, олицетворяющим собой возмездие судьбы».

А 7 сентября он вновь пишет Гёте: «В «Ивика» я по вашему совету внес существенные изменения», что вполне соответствует действительности. Насколько вдумчиво поэт вживался в обстановку, можно судить по следующим строкам, где он рассуждает о месте, на котором должен был сидеть в театре убийца: «Так как я считаю, что он сидит *наверху*, там, где расположены места для простонародья, то, *во-первых*, он может увидеть журавлей прежде, чем они появятся над центром театра; это дает мне возможность сделать так, что возглас предшествует реальному появлению журавлей, от чего здесь многое зависит, и что вследствие этого реальное появление журавлей приобретает большую значительность. *Во-вторых*, я еще выигрываю в том смысле, что, поскольку он кричит сверху, его могут лучше услышать. А посему вполне правдоподобно, что его крик слышит весь театр, хотя и не все понимают его слова» (VII, 470—471).

На этом примере особенно наглядно видно, как работал Шиллер. Казалось бы, стихотворение явно свидетельствует о его глубоком знании истории и культуры Древней Греции, и тем не менее в том же письме Гёте поэт сообщает: «Балладу, в измененном виде, я послал Бёттигеру (директору гимназии. — П. Л.), чтобы узнать от него, не противоречит ли в ней что-либо древнегреческим обычаям» (VII, 472).

Любовь Шиллера к Древней Греции с особенной силой и красотой выразилась в стихотворении «Дифирамб». И нечасто случалось Шиллеру с такой полнотой высказать свои мечты:

Знайте, с Олимпа
Являются боги
К нам не одни,
Только что Бахус придет говорливый,
Мчится Эрот, благодатный младенец,
Следом за ним и сам Аполлон.
Слетелись, слетелись
Все жители неба.
Небесными полно
Земное жилище.
Чем угощу я,
Земли урожденец,
Вечных богов?
Дайте мне вашей, бессмертные, жизни.
Боги, что, смертный, могу поднести вам?
К вашему небу возвысьте меня.

Прекрасная радость
Живет у Зевеса.
Где нектар? Налейте,
Налейте мне чашу!

Нектара чашу
Певцу, молодая
Геба, подай!
Очи небесной росой окропите;
Пусть он не зрит ненавистного Стикса,
Быть да мечтает одним из богов!
Шумит, заблестала
Небесная влага,
Спокоилось сердце,
Провидели очи. (I, 229)

Писатель Вольфганг Кёппен, наш современник, назвал это стихотворение «до безумия дерзким».

В СЕМЕЙНОМ КРУГУ

В доме у базарной площади семья Шиллеров прожила всего одиннадцать месяцев. В апреле 1795 года состоялся переезд в дом Грисбаха по Шлосгассе, 17. Здание это, на редкость импозантное — горожане называли его «Замком», — Шиллеру было хорошо знакомо и памятно. Ведь именно здесь читал он шесть лет назад свою вступительную лекцию, поскольку аудитория Грисбаха была самой большой в городе. Но не только дом, а еще и хозяин его и его жена были старыми знакомыми Шиллера и Лотты. «До чего же мне нравится Грисбах, в нем всегда чувствуешь спокойствие», — писала Лотта в одном из своих писем, относящихся ко времени ее помолвки с Шиллером. Лотта в ту пору оценила также живость характера жены Грисбаха и ее расторопность в домашних делах — «просто невероятно, что успевает переделать она за день». Из-за ее прически, выдержанной в античном стиле, кто-то дал Фридерике Грисбах прозвище «Лавровый веночек», а Шиллер — тоже в дни его помолвки с Лоттой — однажды назвал Фридерiku «женщиной с лавровым венком и черным бельем», из чего, пожалуй, можно заключить, что чистоплотность не была главной хозяйственной добродетелью этой женщины. Грисбахи были бездетны.

Иоганн Якоб Грисбах преподавал теологию, имел звание профессора и состоял членом церковного совета. Ему как раз исполнилось пятьдесят лет, когда семья Шиллеров переехала в его дом. Человек образованный и начитанный, он отличался широким кругозором, бывал в Лондоне, Оксфорде, Кембридже и Париже, к тому же обладал твердым, невозмутимым характером. Как-то раз он заседал в суде, где разбиралось дело студента-дуэлянта. Юнец имел дерзость заметить вслух, что у самого господина члена церковного совета имеются на лице шрамы — следы дуэлей. Грисбах лишь сказал на это: «Да, правда! Я заработал их в ту пору, когда был таким же глупым мальчишкой, как вы сейчас!»

Словом, переезд в дом Грисбаха был большой удачей, не в последней очереди для Лотты. В этом доме она впоследствии родила двоих

детей — Эрнста и Каролину. Насколько хорошо ужились друг с другом обе семьи, видно хотя бы из стихов Шиллера, сочиненных на день рождения госпожи Грисбах, в которых он от имени маленького Эрнста говорит:

Открой, фрау Грисбах! Полно спать!
Взгляни: да это я ведь.
Велели мне отец и мать
Прийти тебя поздравить. (I, 251)

Стремясь представить себе жизнь Шиллера в доме Грисбаха, нельзя забывать о постоянных физических страданиях, то донимавших поэта, то грозивших ему, на мрачном фоне которых проходила эта жизнь. Вскоре после переезда непрерывно возобновляющиеся приступы болезни так ослабили и измучили его, что с июля по октябрь он даже не отваживался выходить на улицу. Но в это время он писал стихи... Из-за серьезного ухудшения здоровья поэт в эти месяцы почти ни с кем не общался. Куда девались веселые застолья первых лет совместной жизни новобранцев в доме девиц Шрамм! Когда Гумбольдты летом 1795 года уехали в Тегель, у Шиллеров почти не осталось в Йене близких друзей, с которыми они встречались бы повседневно. Приятель Кёрнера, Функ, свидетельства которого отличаются особой достоверностью, в январе 1796 года записал в своем дневнике:

«Шиллер живет странной жизнью... В стороне от любого общества, он словно бы существует в своем собственном мире. Зачастую он по многу месяцев не выходит из дому, так что теперь уже от одного свежего воздуха ему делается не по себе. Это, однако, не помешало бы ему вернуться к прежнему образу жизни и вновь наслаждаться живой природой и общением с людьми, будь это способно заменить ему то величайшее наслаждение, каковое он обрел в своем уединении. Его милый проказник-сыннишка только и связывает его с внешним миром, да отцовская любовь — единственная связь, которая, в отрыве от какой бы то ни было чувственности, все же уберегла его от суровости и мизантропии, свойственных обычно затворникам». Функ добавил далее: «Жена его, которая делит с ним одиночество, не находя, однако, замены тому, что восполняет мужу его умозрительное существование, представляется мне и впрямь достойной женщиной — и тени неудовольствия не заметишь на ее лице. Если же когда-либо она и ощутит потребность в ином мужском обществе — кто же осудит ее за это?»

11 июля 1796 года, «в понедельник, около трех часов пополудни», Шиллер писал Гёте: «Два часа назад моя маленькая жена разрешилась от бремени — сверх ожидания быстро и благополучно. Желания мои исполнились во всех отношениях: родился мальчик, с виду здоровый и крепкий. Можете представить себе, как легко сейчас у меня на сердце, а ведь я к тому же ждал знаменательного события не без опасения, что приступ удушья начнется раньше, чем произойдут роды. Отныне мне уже дано пересчитывать членов моей маленькой семьи; чувство это совсем особенное, и семья с двумя детьми разнится от семьи с одним ребенком

много больше, чем я ожидал. Прощайте, жена шлет вам привет — если не считать некоторой слабости, она чувствует себя вполне хорошо».

На другой день Гёте прислал свои поздравления, а Шиллер написал ему в ответном письме: «В нашей небольшой компании все в полном порядке, как лучше и желать не приходится. Жена моя решила кормить новорожденного сама, что и мне весьма по душе. В четверг будет крещение». Гёте отвечал на следующий день: «Желаю успеха и счастья во всем, что связано с новым существом. Кланяйтесь вашей милой супруге и крестной матери малыша. На крестины я приехал бы даже и без приглашения, да только уж очень я расстраиваюсь от подобных церемоний. Зато я приеду к вам в субботу, и давайте проведем вместе несколько радостных дней. Прощайте. Сегодня и я тоже отмечаю знаменательное событие — восьмую годовщину моего брака и седьмую — Французской революции».

Как видим, письма немногословны и выпренокость им чужда, они свидетельствуют, как близко сошлись друг с другом оба поэта. Мы, правда, несколько удивимся, прочитав слова Гёте о своем «браке». Ведь возлюбленную Гёте — Христиану — по возможности игнорировали почти все окружающие, в том числе и Шиллер. И Гёте мирился с этим, как сносил он это и от людей, которых чтит куда менее Шиллера.

В условиях уединения, в котором в ту пору жил Шиллер, непрерывная переписка с Гёте и частые встречи с ним приобретают особое значение. В процессе их общения отныне всплывают и вполне будничные дела. Так, однажды Шиллер попросил друга купить обойный бордюр, и Гёте с величайшей готовностью взялся исполнить это поручение. Вдвоем они какое-то время еще продолжали сочинять все новые и новые «Ксени» — пока это развлечение вконец не надоело обоим. И в будничные дела, и в забавы ума, и в творческую работу обоих постоянно вплетаются взаимные стимулы: Гёте рассуждает о «Валленштейне», а Шиллер призывает его осуществить заглохший было замысел «Фауста».

В какой мере Гёте принимал участие в повседневных заботах Шиллера, видно на примере истории с предполагавшейся покупкой «садового дома» и его перестройки. «Садовый домик» — ныне для нас это весьма туманное понятие, поскольку подобной практике почти пришел конец. А в жизни немецких бюргеров XVIII—XIX веков они играли немалую роль. В саду обычно сооружали шалаш, беседку или устраивали грот, где в хорошую погоду можно было выпить чаю или кофе, а не то поиграть в карты, потягивая пиво или покуривая табак. Но мало того — на садовом участке, находившемся поодаль от постоянного городского дома, большей частью у городской стены или даже дальше, за воротами города, возводили, как правило, большое, просторное строение, в котором жили только летом.

О былом великолепии садов у нас сохранилось нынче самое смутное представление. Достаточно прочитать воспоминания о детстве самого Гёте или же Юстинуса Кернера. Вот как рассказывал Гёте о саде своего дедушки во Франкфурте: «Первым делом мы спе-

шили в хорошо ухоженный сад, вширь и вглубь простиравшийся за строениями. Большинство дорожек было обсажено шпалерами вьющегося винограда, часть земли была отведена под овощи, другая — под цветы, с весны до осени в пестрой своей смене украшавшие грядки и клумбы. Вдоль длинной южной стены росли прекрасные персиковые деревья, на которых летом, как бы дразня нас, зрели запретные плоды... В этом мирном уголке дед наш с деловым и довольным видом каждый вечер собственноручно ухаживал за деревьями и цветами, предоставляя садовнику выполнять более тяжелую работу. Дед не жалел усилий, надобных для поддержания и разведения прекрасной культуры гвоздик, и самолично подвязывал ветви персиковых деревьев наподобие веера, что должно было способствовать обильному урожаю и поощрять рост плодов. Сортировку луковиц тюльпанов, гиацинтов и прочих луковичных растений, равно как и заботу об их хранении, дед тоже никому не доверял, и я донине с удовольствием вспоминаю, как усердно он занимался окулировкой различных сортов розы»¹.

А вот что пишет Кернер о саде своего отца, главного судьи города Людвигсбурга, расположенном всего в четверти часа пути от города: «Крепкая изгородь окружала этот сад, в котором имелся древесный питомник, были и пчелиные улья. Являясь туда, отец оставлял шляпу и трость в садовом домике, снимал сюртук и, прихватив с собой пилу и нож, спешил заняться любимым своим садовничеством... Посредством перепрививок и окулировки он облагораживал даже дички, которые сам по большей части и выращивал из косточек или зерен; на все у него были заведены особые реестры. Впоследствии мне не приходилось больше встречать плодов чудесней тех, что я видел тогда. Здесь росли персики, вишни, груши и яблоки, все редких, крупноплодных сортов...» Поистине — бюргерский рай!..

Уносясь мыслями в детство, Шиллер всякий раз вспоминал и о садах. Но помнил он и другое: как его отец, величайший искусник по части выращивания деревьев, вынужден был продать в Марбахе последний виноградник и с тех пор так и не имел ни клочка своей земли. И нет сомнения, что Шиллеру, ныне завоевавшему славу и почет, ставшему отцом двоих детей и живущему в сносных условиях, воспоминание это служило стимулом к приобретению собственного земельного участка. К тому же поэт нуждался в свежем воздухе — жажда эта была особенно обострена многомесячным затворничеством. И еще Шиллер помнил, как успешно работалось ему в садовых беседах — будь то в Мангейме, Бауэрбахе, Голисе, Лошвице или еще где-нибудь, и любил он видеть вокруг раздолье полей. Зимой 1796—1797 годов он окончательно решил купить сад.

31 января 1797 года он писал Гёте: «Раз уж речь зашла о делах хозяйственных, позвольте мне поделиться с вами одной идеей, которая сейчас весьма меня занимает. Я принужден ныне поспешить с выбором места жительства — ведь здесь продается садовый дом,

¹ Гёте И. В. Собр. соч., М., «Художественная литература», 1976, т. III, с. 34—35.

который был бы мне удобен, останься я жить в этом городе. Поскольку мне нужен сад, а другая возможность купить его может не так-то быстро представиться вновь, то стоило бы за нее ухватиться. Существуют, однако, веские причины на то, почему я все же предпочел бы жить в Веймаре...» Далее Шиллер осведомляется, не мог ли бы Гёте обойтись без своего садового домика («Сей садовый павильон — не кичлив нисколько он...») и сдать его на лето семейству Шиллера: «Да и не жаль разве, что домик стоит и совсем не дает дохода; а меня вы весьма этим бы одолжили». Гёте отвечал с обратной почтой: «Мой садовый домик был бы к вашим услугам, однако это всего лишь летнее помещение для малого числа людей. Поскольку я сам немало в нем жывал, да притом знаю ваш житейский распорядок, с уверенностью смею сказать вам, что вы не сможете в нем жить, тем более что я приказал сломать там прачечную и дровяной сарай, без которых, однако, никак нельзя обойтись при большом семействе». А еще ниже Гёте продолжал: «Сад, что продается в Йене, должно быть, Шмидта? Если там есть где жить, вам стоило бы купить его. Коли бы свояк ваш устроился наконец в Веймаре, тогда можно было бы приглядывать здесь освобождающиеся квартиры, а уж сад вы всегда продадите без ущерба, поскольку цены на участки только растут».

Свояк — это Вольцоген, муж Каролины. Из ответа Шиллера, присланного по обыкновению тут же, с обратной почтой, видно, как его уже в ту пору тянуло в Веймар: «Весьма сожалею, что намерение мое относительно вашего садового домика невыполнимо. Не хочется мне здесь оставаться, ведь, как только Гумбольдт уедет, я останусь совсем один, да и жена моя будет лишена всякого общества». (Гумбольдты осенью вернулись в Йену, однако весной предполагали вновь уехать.) Шиллер пишет далее, что теперь он всерьез займется покупкой владения Шмидта. Затем он составил письмо к издателю Котте: «Я вынужден просить вас о большом одолжении, если только просьба эта не будет для вас некстати. Я решил купить здесь дом с садовым участком, в связи с чем я должен собрать не только все деньги, которыми я уже располагаю, но также и те, на которые могу рассчитывать в ближайшее время, ведь деньги от моей тещи поступят еще не столь скоро, а взять в долг здесь не у кого. Прошу вас в связи с этим оказать мне любезность, выдав мне еще причитающиеся сто каролинов, а также, если возможно, и еще шестьсот талеров — в виде аванса за «Валленштейна» и «Альманах»; причем я просил бы вас сделать это как можно скорее...» Котта ответил без промедления и проявил должную щедрость, выслав Шиллеру деньги: наполовину — причитавшийся поэту гонорар, наполовину — аванс, итого 2222 гульдена и 47 крейцеров, что примерно соответствовало продажной цене участка — 1150 талеров. Так Шиллер стал владельцем летнего дома и участка земли.

Участок покойного профессора Эрнста Готфрида Шмидта находился за городом — «под Йеной», как говорится в воспоминаниях сына поэта Карла, — на крутом откосе у речушки Лойтра. Дом этот был простой, но при том довольно просторный. На первом этаже жили

слуги — лакей и две служанки; Лотта с детьми расположилась в двух комнатах на втором этаже; сам же Шиллер поселился в мансарде, где была и большая комната, и тесная спальня. Конечно, не обошлось без перестроек. Тут хорошим советчиком оказался Гёте; уже через два дня после совершения купчей он приехал в Йену, чтобы осмотреть участок и дом. В начале мая вся семья Шиллеров перебралась в новое жильё: «Живите же и благоденствуйте и наслаждайтесь свежим воздухом и уединением», — писал Гёте, посылая друзьям привет из Веймара. Однако новоиспеченному домовладельцу приходилось выносить разного рода напасти — и дождливую погоду, и шум, и суету: в доме работали плотники. И Гёте участливо писал ему: «До чего же мне жаль, что вам приходится страдать из-за всего этого строительства, происходящего в непосредственной близости от вас! Когда под боком работают мастеровые — это и мука, и безвозвратная утечка времени».

Постепенно Шиллеры привыкали к своему летнему жилью. В октябре Лотта писала своей золовке Рейнвальд: «Нынешней осенью я велела разбить огород, ведь весной не успели этого сделать, и заложили большую грядку со спаржей. И обрезкой деревьев нам тоже еще предстоит заняться нынешней осенью. Удалось, правда, собрать немного слив. Шиллер обтрясал деревья, а Карл собирал сливы — для него это был истинный праздник. А Шиллер все же привык к свежему воздуху и каждый день выходит в сад; я очень этому рада, и для здоровья его это полезно». Три последних года жизни в Йене проходят то в загородном владении — летом, то, зимой, в доме Грисбаха. На другое лето Шиллер построил в стороне от садового дома на краю участка небольшой павильон-башню с купальней внизу (интересно было бы теперь узнать ее устройство) — над купальней соорудили для поэта рабочую комнату; Гёте называл этот павильон «прекрасным теремом».

В то лето Котта особенно наглядно выказал свое уважение к Шиллеру и заботу о нем. Лотте он подарил туалетный столик, но главное, заказал устроить на летнем доме поэта — за свой собственный счет — громоотвод. В конце мая Шиллер написал Котте: «...новое доказательство вашего дружеского расположения и любви ко мне и к моей семье... тронуло меня до глубины души... Теперь мы уже хорошо знаем друг друга, и каждый понимает, что другой относится к нему с истинно швабской доброжелательностью, и наше взаимное доверие зиждется на глубококом уважении; а это — вернейший залог добрых человеческих отношений».

За этот 1797 год дружба Шиллера и Котты особенно окрепла. К тому же Гёте, отправившись в путешествие по Швейцарии, по дороге туда провел две недели в Вюртемберге, где завязывал знакомства, полностью полагаясь на рекомендации Шиллера: в Штутгарте он встречался с Раппом, Даннекером и некоторыми художниками из числа бывших питомцев Академии; в Тюбингене жил у Котты. Вернувшись из путешествия, он с особой симпатией отзывался о швабских знакомых Шиллера, но особенно тепло говорил о Котте, о чем Шиллер не преминул сообщить своему издателю. Котта же

3 октября ответил ему на это: «Ваше письмо от 23 сентября доставило мне неописуемую радость, поскольку я смел лишь мечтать о добром расположении Гёте». Ожиданиям Котты, отзвук которых сквозит в этом письме, впоследствии суждено было сбыться, и на этот раз Шиллер вновь доказал свое знание людей, деловые качества и дипломатический дар.

«Пишу тебе, милый, и для меня все это будто сон, я все еще не в силах в это поверить и в душе невольно жду, что и ты вот-вот приедешь сюда следом за нами». Так начинается письмо, которое 4 июня 1798 года отправила из Рудольштадта Лотта своему мужу, оставшемуся в Йене. Сама Лотта с маленьким Карлом в эти дни гостила у матери. «Мне вчера было очень трудно решиться оставить тебя, милый, труднее, чем я о том обмолвилась, и если бы я слушалась только своего чувства, то осталась бы с тобой, хоть мне и жаль было бы лишиться *chère mère* радости видеть нас. Уж как она рада мне и Карлу. А все же скажи мне откровенно, чего бы ты желал. Маленький Эрнст все время стоит у меня перед глазами, и всякий младенец его возраста, какой ни попадается мне на глаза, трогает меня до слез... А наш почтенный Карл бегает с принцем под окнами *chère mère* и кричит что есть сил — ему очень весело. Будь добр, скажи Кристине, чтобы вымыла мою комнату, если только она не нужна тебе самому. Поцелуй за меня нашего крошку Эрнста. Обнимаю тебя. Кланяйся Гёте и напиши мне откровенно, устраивает ли тебя, если я побуду у мамы».

Шиллер отвечал: «Дорогая Лоло! От души рад, что вы благополучно добрались до *chère mère*. И здесь тоже всю вторую половину дня стояла отличная погода, так что я был спокоен за вас, находящихся в пути. В понедельник вечером сюда приехал Гёте, он велит тебе кланяться. Маленький Эрнст пребывает в полном здравии и то и дело занимает меня беседой с помощью все тех же своих четырех слов. И я до сих пор тоже чувствовал себя хорошо. Слуги добросовестно исполняют свои обязанности, так что если ты и задержишься там надолго, то можешь быть совершенно спокойна за нас...»

О семейных буднях Шиллеров мы, естественно, располагаем лишь скудными свидетельствами. Супруги редко разлучались, но такого рода письма, как цитировались выше, проливают некоторый свет на эту сокровенную область человеческих отношений. И радуешься, что это так.

Осенью 1799 года супругам Шиллер пришлось пережить тяжелое испытание. В ночь с 11 на 12 октября Лотта родила третьего ребенка — девочку, которую назвали Каролиной. Роды прошли хорошо, роженица, хоть и медленно, поправлялась, ребенок был здоров и даже вел себя как «кроткий и благонравный член семьи», сообщил на одиннадцатый день Шиллер в письме к Гёте. Но уже на другой день разразился гром среди ясного неба. Шиллер писал тогда Гёте: «С того самого вечера, как я отправил вам последнее письмо, положение мое было очень печально. В ту же ночь жене стало хуже, и

припадки ее перешли в настоящую нервную горячку, которая очень нас пугает. Правда, жена еще не очень слаба, если принять во внимание, сколько сил она потеряла, но она бредит уже третий день, за все время она ни разу не сомкнула глаз, а жар подчас очень силен. Мы все еще в большом страхе, хотя Штарке нас очень обнадеживает. Если даже не случится самого худшего, то длительная слабость неизбежна. Эти дни, как вы сами можете себе представить, я очень страдал, но страшное беспокойство, заботы и бессонные ночи не отразились на моем здоровье; возможно, конечно, что это скажется позже. Жену нельзя оставить одну ни на минуту, и она позволяет ухаживать за собой только мне и теще. Ее бред переворачивает мне сердце, я в постоянной тревоге. Малютка, слава богу, здорова. Не будь здесь тещи, такой заботливой, спокойной и рассудительной, я бы не знал, что делать» (VII, 540).

Гёте отвечал: «Ваше письмо, дражайший друг, глубоко огорчило меня. Наши судьбы сплетены настолько тесно, что я всем своим существом ощущаю невзгоды, которые выпадают на вашу долю».

Целый месяц шла борьба не на жизнь, а на смерть, и к тому же над больной нависала угроза третьего возможного исхода — безумия. После сильнейшего жара, сопровождавшегося чудовищным бредом, у Лотты началась более спокойная фаза болезни, при том, что бред все же продолжался, но затем наступило гнетущее состояние протрации. Если поначалу все заслоняла тревога за жизнь Лотты, третья и четвертая недели кризисного состояния больной прошли под страхом, как бы она не потеряла рассудок. «Один лишь бог знает, к чему все это еще может привести, я ни о чем подобном даже не слышал...» (из письма к Гёте от 4 ноября). В том же письме поэт перечислял, кстати, все способы лечения, какие применял домашний врач Шиллеров Штарке, отличный лекарь, умело использовавший все средства, какие только имелись в арсенале медицины тех лет: при жаре — опий, мускус, гиосциамин или кору хинного дерева, при летаргическом состоянии — главным образом камфару.

Шиллер, особенно в первые две недели, был полностью поглощен уходом за женой, в котором ему деятельно помогала *chère mère*. В этих крайних обстоятельствах она выказала удивительную твердость духа, выдержку и практическую сметку. Умный Штарке и хозяйка дома фрау Грисбах делали все, что только было в их силах. Как-то раз, 6 ноября, «не в силах вынести этой постоянной мучительной картины», Шиллер на несколько часов отправился в Веймар, взяв с собой сына Карла, которого затем на несколько дней оставил у Гёте. Шиллер выстоял в эту трудную пору исключительно благодаря силе духа, проистекающей, разумеется, не только из рассудка, но и от всей незаурядной его натуры.

За эти недели поэт заметно сблизился с *chère mère*. И когда беда отошла, между зятем и тещей завязалась переписка. Шиллер: «До чего же, любезная *chère mère*, желал бы я вам отдохновения, дабы вы могли поправиться здоровьем после столь долгого напряжения — душевного и телесного. Я до конца дней своих не забуду, сколь много

сделали вы для нас, и в особенности для меня. Поистине люди познаются лишь в беде...» Госпожа фон Ленгефельд отвечала: «Мне все еще недостает мужества, чтобы вспомнить то злосчастное время в Йене, лишь одно благодетельное воспоминание озаряет его — зрелище вашей верной и неустанной заботы о моей милой Лоло, оно дарит мне счастливую уверенность, что милая моя дочь в любых превратностях судьбы, опираясь на вашу нежную и участливую руку, будет счастлива и обеспечена всем необходимым».

Лотта полностью оправилась от болезни, хоть и само спасение ее остается загадкой. Сколько самоотречения проявила она, преданно ухаживая за мужем, столько же любви и заботы отдал он ей в грозный для нее час. Тут уж Тамино и Памина поменялись ролями:

Нужду и ужас смерти
Узнали мы с тобой.
Но, друг мой, я вовеки
Везде и всюду — твой.

ВАЛЛЕНШТЕЙН

Фигура Валленштейна приковала к себе внимание Шиллера, как только он углубился в изучение истории Тридцатилетней войны, «...заслуженный офицер, самый богатый дворянин Чехии. С ранней юности он служил императорскому дому...» (V, 117) — так Шиллер охарактеризовал его в своем историческом труде. Образ Валленштейна во второй книге «Тридцатилетней войны» обрел краски, четкие контуры. «Страшная, тягостная сосредоточенность выражалась на его челе, и лишь расточительная щедрость удерживала трепещущую толпу челяди на его службе» (V, 140), — говорится там в развернутой характеристике Валленштейна. Строки эти были написаны в 1790 году, вскоре после того, как поэт получил профессуру и женился. Возможно, что ему захотелось драматургически воплотить образ этого крупного полководца, как только он осознал историческое значение Валленштейна и своеобразие его характера. В январе 1791 года, во время первого приступа смертельного недуга, Шиллер впервые обмолвился о своем намерении — кстати сказать, в разговоре с Дальбергом, который в ту пору часто навещал его.

В том же году Шиллер, как известно, на обратном пути из Карлсбада заехал в Эгер — ради Валленштейна. Это был единственный случай, когда поэт воочию видел место, где происходили события одной из последующих его драм: Эгер, дом, в котором совершилось убийство, ратушу, где висел портрет Валленштейна; только добраться до крепости на вершине горы у него не достало сил. В его пьесах «Дон Карлос», «Мария Стюарт», «Орлеанская дева», «Мессинская невеста», «Вильгельм Телль» действие разыгрывалось в дальних краях, и Шиллер никак не соблазнился бы мыслью отправиться ради них в путешествие. Но Эгер, расположенный почти на пути домой, стоил того, чтобы там побывать; при всем при том Шиллера

привело сюда, надо полагать, скорее любопытство историка, нежели насущная потребность драматурга. Шиллер-художник не нуждался в созерцании реальной обстановки места действия.

Известно также, что два года спустя, в дни пребывания в Швабии, Шиллер уже работал над материалом о Валленштейне. Однако от этой подготовительной стадии ничего не сохранилось. Лишь в 1796 году Шиллер вплотную занялся реализацией замысла. Его подход к необъятному материалу лучше всего прослеживается в его письмах к Гёте.

Вот письмо от 18 марта: «Я размышлял над моим «Валленштейном» и больше ни над чем не работал... Подготовка к такому сложному целому, каковым является драма, все же странно волнует душу и ум. Уже самое первое действие — отыскать для создания всей драмы определенный метод, дабы не блуждать беспечно туда-сюда, — уже одно это отнюдь не пустяк. Сейчас я только еще сооружаю ее скелет, и, по моему разумению, от оногo все и зависит в структуре драматической, так же как и в организме человека. Хотелось бы знать, как в подобных случаях приступаете к делу вы. У меня чувства поначалу не имеют определенного, ясно видимого предмета — он возникает лишь впоследствии».

И дальше следует примечательная фраза: «Прежде всего возникает некий музыкальный настрой души, и лишь следом за ним является поэтическая мысль».

Прошло более полугодя. В письме от 23 октября Шиллер пишет: «Как радостно мне, что вы скоро опять приедете на несколько дней!.. Правда, я взялся за «Валленштейна», но все еще брожу вокруг да около и жду мощной руки, которая бросила бы меня в самую гущу» (VII, 434). Гёте отвечал: «Я весьма желал бы узнать наконец, что «Валленштейн» захватил ваши помыслы; это крайне пошло бы на пользу как вам, так и немецкому театру». Шиллер в письме от 13 ноября сообщал: «Все последнее время я прилежно изучал источники к моему «Валленштейну» и с точки зрения экономного построения пьесы достиг кое-каких, не столь уж незначительных успехов. Чем более проясняется для меня форма пьесы, тем сильнее страшит меня огромный объем материала, которым мне еще предстоит овладеть, и, право же, без некоей дерзкой веры в себя я едва ли мог бы продолжать работу».

Источники... в основном это были те же самые, какие оказались в распоряжении Шиллера, когда он писал «Историю Тридцатилетней войны». Поэт не раз сетовал по поводу бездарных, без души написанных старых трактатов, этих сухих, поверхностных книг, с которыми ему немало пришлось помучиться. Специально для «Валленштейна» он раздобыл две дельные монографии — Шираха и Херхенхана. Подлинных документов в его распоряжении было немного — пожалуй, только «Статьи по истории Тридцатилетней войны» Мурра, где приводились материалы из нюрнбергских архивов. Голо Манн показал, как Шиллер благодаря своему критическому уму и поистине сомнамбулической интуиции, основываясь лишь на скупых свидетельствах, сумел приблизиться к исторической правде,

той, что ныне известна нам в итоге освоения архивов и труда нескольких поколений историков.

Правда, задача исторической драмы состоит вовсе не в том, чтобы отобразить на сцене историю в полном соответствии с действительностью. Однако приходится лишь удивляться тому, до какой степени Шиллеру удалось в драме «Валленштейн» соотносить художественное решение замысла с исторической истиной. Главный герой лишь в одном существенно отличается от своего исторического прототипа: в пьесе полководец находится в расцвете своих душевных и физических сил, тогда как на самом деле Валленштейн под конец своего жизненного пути, в пору пребывания в Пильзене и в Эгере, был уже сломленным, больным человеком. Образ героя трагедии верно передает образ исторического героя, а отношения героя пьесы с императорским двором и безнадежный конфликт, в который он ввязался, точнейшим образом соответствуют действительности. Голо Манн писал: «Чудо состоит в том, что обе точки зрения — «Так нужно мне, чтобы получилась трагедия!» и «Так это, вероятно, было на самом деле» — полностью совместились. Действительно, в истории все произошло так, как нужно было Шиллеру, чтобы написать свою трагедию».

Лед и пламень... — никак не обойдешься без подобных грубых сравнений, следя за процессом работы Шиллера-драматурга: его пламенную, творческую фантазию смирлял и направлял в нужное русло четкий, холодный ум. Разумеется, его необыкновенно привлекала личность героя драмы. Однако всего лишь спустя три дня после первого письма к Гёте по поводу «Валленштейна» Шиллер писал Вильгельму фон Гумбольдту: «В нем нет никакого благородства, ни в одном житейском поступке он не проявляет величия; в нем мало достоинства, и все же я надеюсь, следуя по чисто реалистическому пути, создать характер драматически сильный и заключающий в себе подлинно жизненный принцип... В Валленштейне я хочу за отсутствующий идеал... вознаградить голой правдой. Задача будет тем труднее и, следовательно, тем интереснее, что подлинному реализму нужен успех, в котором идеалистический характер не нуждается... Дело его морально низко, а физически он терпит крушение. Он не велик в частностях, в целом же идет к своей цели. Он всего ждет от действия, а оно ему не удается. Он не может, как сделал бы идеалист, замкнуться в себе и вознестись над материей. Напротив, он желает подчинить себе материю и не достигает этого» (VII, 391).

Почти невероятной может показаться обстоятельность, с какой Шиллер и Гёте обменивались мыслями и соображениями относительно этого гигантского замысла. За три года, что прошли с момента первого письменного упоминания о нем до премьеры третьей части — «Смерти Валленштейна», речь о создаваемой драме заходит в более чем ста письмах, причем суждения, как Шиллера, так и Гёте, нередко отличаются большой глубиной. А ведь, помимо писем, было на этот счет и множество дружеских бесед! Вклад Гёте в этот труд очень велик — кстати, именно он предложил разделить неохватный материал на три части. Многие из высказанных замечаний так и не оста-

вили видимых следов в трилогии. Спустя несколько дней после премьеры «Лагеря Валленштейна» Гёте писал: «Какая разница между тем, что создаешь, работая для себя и в интимном кругу друзей, и тем, что выносишь в чужой круг широкой публики!»¹

В текст постоянно вносились глубоко продуманные поправки. В Марбахе хранится рукопись «Пикколомини» — это связка трех отдельно сброшюрованных частей, отличающихся друг от друга как форматом, так и цветом бумаги; написаны они прямым, четким почерком переписчика, лишь на одном листе — почерк Лотты. В рукописях этих то и дело встречаются исправления, сделанные красивым, размашистым почерком Шиллера. Вот первое явление первого действия. В первом варианте оно начиналось так:

Илло. Прекрасно, вот и вы! Я знал:
Граф Изолан не может не явиться,
Коли начальник ожидал его...

Шиллер прежде всего зачеркнул слово «начальник», заменив его словом «полководец». Но скоро он прочерками, будто молниями, исполосовал весь текст плохо удавшегося начала, и от прежнего остались лишь слова «граф Изолан»; начало выглядело теперь так:

Илло. Ну, наконец, вы здесь! Далекий путь,
Граф Изолан, вам служит извиненьем... (II, 327)

Никогда еще Шиллер не овладевал с таким усилием «строптивым» материалом.

«Он встал от письменного стола, от небольшого шаткого секретера, — встал с выражением отчаяния на лице и, понутив голову, побрел в противоположный угол комнаты, к печи, длинной и стройной, будто колонна. Он приложил ладони к кафелю, но печь почти совсем остыла, ведь было уже далеко за полночь, и тогда он, не вкусив даже этой ничтожной малости, столь нужной ему, прислонился к печи спиной, но тут же, закашлявшись, запахнул полы халата, из отворотов которого выглядывали застиранные кружева жабо; тяжело задышал, засопел носом — насморк у него, можно сказать, не проходил».

Это — начало небольшого прозаического этюда «В трудный час», написанного Томасом Манном в 1905 году для журнала «Симплициссимус»: к столетию со дня смерти поэта был выпущен памятный шиллеровский номер. С проницательностью и тонким психологизмом большого мастера писатель обрисовал драматурга, уже было отчаявшегося воплотить свой гигантский замысел. Томас Манн подметил при этом специфическую особенность творческого кризиса Шиллера-драматурга: «Нет, неудача, все напрасно. Армия! Армию обязательно надо было показать! Ведь именно армия была основой всему! И если ее нельзя представить глазам публики, мыслимо ли искусство столь грандиозное, что способно было бы навязать армию нашему воображению?»

¹ Гёте И. В. Соч., т. XIII, с. 214.

Показать в драме армию — вот в чем состояла главная проблема. Шиллер решил сделать это с помощью пролога, который, однако, вырос в первую часть трилогии — «Лагерь Валленштейна». 21 сентября 1798 года Шиллер писал Гёте: «Ночь эту я провел без сна, что и отравило мне весь день, а вследствие этого я не смог еще и сегодня отправить вам Пролог, да еще и подвел меня переписчик. Мне кажется, что Пролог — в том виде, какой он теперь обрел, — вполне сможет существовать сам по себе, как живая зарисовка одного из моментов истории и некоего солдатского быта. Мне, однако, неизвестно, все ли из того, что пришлось ввести ради создания цельной картины, может быть представлено на сцене театра. Так, к примеру, в числе действующих лиц появился еще и капуцинский монах, который читает проповеди к р о а т а м , — именно этой детали, столь характерной для того времени и для той обстановки, мне до сих пор не доставало».

Гёте тут же взял из своей библиотеки томик проповедей патера Абрахама а Санта Клара ¹ и отправил его Шиллеру. Времени было в обрез. Всего за два дня до премьеры «Лагеря Валленштейна» Шиллер прислал текст проповеди капуцина Гёте, который без конца добивался ее: «Если бы я счел, что проповедь капуцина не успеет к завтрашнему утру, пожалуй, лучше бы совсем отказаться от нее. В сущности, я рад был бы вложить в уста фигляра еще кое-что; ведь этот самый патер Абрахам — личность, внушающая уважение, и возникает задача интересная, но при том отнюдь не простая — попытаться сравняться с ним сразу и в безумном фиглярстве, и в остроте ума, а не то и превзойти его».

К числу проблем, которые в процессе создания трагедии доставляли Шиллеру особенно много забот, относится и введение в ткань пьесы астрологического мотива. Шиллер в этой связи 8 декабря 1798 года писал Гёте: «Случай очень трудный, и, с какой стороны за него ни возьмись, все равно эта смесь глупости и пошлости с дельным и вразумительным непременно вызовет нарекания. С другой стороны, я не мог особенно отрываться от самого характера астрологии, чтобы держаться как можно ближе к духу той эпохи, которому весьма соответствует избранный мотив». Гёте отвечал с обратной почтой: «Прошу у вас отсрочки, дабы собраться с мыслями о поднятом вами вопросе». И уже через три дня написал: «Астрологическое суеверие основано на смутном чувстве некоего огромного мирового целого. Исследование говорит, что ближайшие светила оказывают определенное влияние на погоду, произрастание и т. д.; стоит только начать восходить постепенно все выше и выше, и тут уж нельзя будет сказать, где прекращается это влияние. Ведь обнаруживает же астроном повсюду нарушения покоя дневного светила, вызванные другими; ведь бывает же склонен и даже вынужден философ признать дейст-

¹ «...который несомненно вдохновит вас на проповедь капуцина!» — писал Гёте. — Соч., т. XIII, с. 214.

вие на отдаленнейшем расстоянии. Так и человек должен в собственном предчувствовании только идти все дальше, и он легко распространит это воздействие и на область нравственного, на счастье и несчастье. Такие и сходные мечтания мне не хотелось бы называть суеверием; они свойственны нашей натуре, допустимы и извинительны, как и любая вера»¹. Шиллер воскликнул: «Истинный дар божий — иметь столь мудрого и заботливого друга!»

Сцену с астрологом Шиллер впоследствии поместил в начале драмы «Смерть Валленштейна»:

Валленштейн. Довольно с нас. Ко мне спускайся, Сэни.
Забрезжил день, в права вступает Марс.
Пора для наблюдений миновала!
Узнали мы, что нужно².

Решимся ли мы называть драматическую трилогию о Валленштейне абсолютным шедевром Шиллера, вершиной его творчества? Не бросим ли мы тем самым тень на его последующие драмы? Но вынесение оценок не входит в задачу биографа. Первейший долг его — подчеркнуть, как властно проступает в этом произведении личность самого Шиллера — поэта, философа и историка.

Вот выдержка из центрального монолога «Смерти Валленштейна»:

Валленштейн. ...Потрясти ты хочешь
Ту власть, что, освященная веками,
Обычаями жизни повседневной
И верой простодушного народа,
Укоренилась тысячью корней³.

«Слова эти выражают самую суть вопроса», — заметил по этому поводу Голо Манн. Чеканные, филигранные стихи — неудивительно, что десятки цитат из этого произведения стали «крылатыми словами».

12 октября 1798 года в Веймарском придворном театре состоялась премьера «Лагеря Валленштейна». Накануне премьеры Шиллер вместе с Лоттой и Вольцогенами отправился в Веймар, чтобы присутствовать на генеральной репетиции. Спектакль оправдал все ожидания (Шиллер писал Кёрнеру: «Публика довольна. Основная масса дивится и широко раскрывает рот при виде этого нового драматического чудища; но некоторых она глубоко захватила и взволновала»), после него поэт вместе с актерами отпраздновал премьеру в гостинице «У слона». Когда выпитое вино начало оказывать свое действие, Шиллер прочел проповедь капуцина, и тут его ничуть не потускневший с годами швабский акцент оказался как нельзя кстати: ведь в ядреном немецком языке Абрахама а Санта Клара (он же — Ульрих Мегерле) чувствуется швабская основа.

Через три месяца состоялась премьера «Пикколомини». 4 января

¹ Гёте И. В. Соч., М., 1949, т. XIII, с. 219—220.

² Шиллер Ф. Валленштейн. Драматическая поэма. — М., «Наука», 1980, с. 225. Перевод Н. Славятинского.

³ Шиллер Ф. Валленштейн. М., «Наука», 1980, с. 235.

1799 года Шиллеры отправились в Веймар, где поселились в уютных апартаментах герцогского дворца. В эти недели, когда он только чувствовал себя сносно, Шиллер оживленно общался с многими людьми: ежедневно виделся с Гёте, бывал приглашен ко двору, встречался и со своими старыми знакомыми — фон Кальбами, Гердером, Виландом, Бертухом... а также с Жан-Полем, с которым у него впервые завязался долгий разговор («Вот человек, имеющий у себя весьма странные и скептические суждения о театре»); присутствовал Шиллер и при актерском прочтении пьесы и однажды даже побывал в театре. Слушал оперу Моцарта «Женитьба Фигаро».

29 января состоялась генеральная репетиция «Пикколомини», а на следующий вечер — премьера в переполненном театре; борьба за места в театре велась так рьяно, что многие профессорские семьи из-за этого перессорились между собой... Валленштейн играл сравнительно молодой актер Графф, обладавший выразительной, но грубоватой внешностью; Шиллер писал о нем: «В его прочувствованном исполнении великолепно удалась эта мрачная, глубоко загадочная натура». Теклу играла актриса Ягеман, которая была близка с герцогом Карлом Августом, а впоследствии стала его официально признанной возлюбленной; Макса играл Фос. «Стоило на сцене появиться Фосу или мадемуазель Ягеман, как на лице Шиллера тотчас проступало выражение явного удовлетворения, и когда первый играл свою роль соответственно замыслу автора, то Шиллер, как мне показалось, едва заметным кивком выражал свое одобрение». Рассказ этот принадлежит некоему студенту по имени Фридрих, сидевшему невдалеке от поэта, и наблюдения его напоминают нам поведение Шиллера на премьере «Коварства и любви» в описании Андреаса Штрейхера. В ложе Шиллера был и Хенрик Стеффенс, тот самый норвежец, естествоиспытатель и адепт романтиков, чей рассказ об удручающих нравах йенских студентов цитировался в главе «Профессура». Стеффенс приводит слова Шиллера: «Лишь благодаря такой постановке по-настоящему узнаешь собственную пьесу; игра актеров облагораживает ее, и, сыгранная таким образом, она лучше той, что я написал».

В ложу к Шиллерам то и дело заходил Гёте; он не волновался, но, судя по всему, был очень доволен спектаклем.

Еще через три месяца, 20 апреля, состоялась премьера третьей части, которая тогда называлась просто «Валленштейн»: «"Валленштейн" имел в Веймарском театре прочный успех и увлек даже самых нечувствительных» (VII, 751), — писал Шиллер Кёрнеру. А Лотта в письме поведала Христовине о волнении, которое охватило всю публику: «Меня спектакль растрогал до такой степени, что я никак не могла справиться со своими чувствами; хоть я и знала в пьесе каждое слово и Шиллер не раз читал мне ее, а все равно — можно было подумать, что я вижу и слышу все это в первый раз». Герцог поздравил поэта с успехом. «Валленштейн» озарил имя Шиллера новым блеском славы, как во всей Германии, так и далеко за ее пределами. В Лондоне возникло соперничество за право перевода. (Из этого и для автора, и для его издателя проистекло немало

неприятностей.) Зарубежные театры стали платить Шиллеру неприлично щедрые гонорары. Отзывы рецензентов сплошь и рядом переходили в панегирик.

Отныне драматург Шиллер навсегда связал свою судьбу с Веймарским придворным театром.

ВЕЙМАР

РЕЗИДЕНЦИЯ

«Немногие месяцы моего пребывания прошедшей зимой и ранней весной в Веймаре в непосредственной близости к вам, ваша светлость, оказали такое живительное воздействие на мое душевное состояние, что я особенно остро ощущаю теперь одиночество и полное отсутствие наслаждения искусством и общения с людьми, на что я обречен, живя в Йене. Пока я занимался философией, я чувствовал себя здесь как раз на месте; теперь же, когда благодаря поправившемуся здоровью я с новым пылом предаюсь своей склонности к поэзии, мне кажется, будто я живу здесь как в пустыне» (VII, 536), — писал Шиллер осенью 1799 года герцогу Карлу Августу. Еще весной, после премьеры «Валленштейна», герцог предлагал поэту переехать в Веймар. И теперь он благоосклонно отнесся к замыслу Шиллера:

«Ваше присутствие будет выигрышем для нашего общества, а труд ваш, быть может, удастся облегчить, коль скоро вы сочтете возможным оказать некоторое доверие здешним любителям театра и извещать их о пьесах, которым только еще предстоит увидеть свет. То, что предназначено воздействовать на общество, наверно, легче рождается в общении со многими людьми, чем когда изолируешься от них. Особенно радует меня надежда часто видеться с вами, имея возможность вновь и вновь выражать вам чувства уважения и дружбы, которые я к вам питаю».

Карл Август к тому же согласился увеличить жалованье Шиллера на двести талеров (разумеется, ежегодно).

Вначале переселению в Веймар помешали беременность Лотты, роды и последовавшая за этим серьезная болезнь жены поэта. Но как только напасти отошли, супруги стали деятельно готовиться к переезду. Подыскивали приличную просторную квартиру, что в маленьком Веймаре, насчитывавшем всего-навсего каких-нибудь восемьсот домов, было совсем не просто. Эту квартиру на Виндишенгассе, около ратуши, прежде занимало семейство фон Кальбов. Кальбам она с некоторых пор сделалась не по средствам, поскольку квартплата составляла 122 талера в год, что почти равнялось трети годового оклада Шиллера, даже в нынешнем его увеличенном объеме. Хозяином квартиры был парикмахер Мюллер, известный в городе человек, занимавшийся также маклерством.

3 декабря Шиллеры поселились в ней — поначалу лишь сам глава семейства вместе с маленьким Эрнстом и слугами. Между тем Лотта, только что оправившаяся от болезни, с сыном Карлом и новорожденным младенцем, гостила у Шарлотты фон Штайн. В эти две недели

супруги не только виделись ежедневно в тогдашнем крохотном Веймаре, но и переписывались. Шиллер написал жене не менее восьми писем.

«Опять посылаю сердечнейший привет моей Лоло. Сегодня я совершенно успокоился, так как знаю, что ты здорова и что тебе отлично живется у нашей милой г-жи фон Штайн. Пусть все воспоминания о последних двух месяцах останутся в йенской долине, здесь мы проживем новой веселой жизнью. Спокойной ночи, дорогая, сердечный привет окружающим».

Посылаю порошок, его надо развести в бутылке холодной воды и поставить в чуть теплое место, *chère mère* знает. Остальное заказано в аптеке» (VII, 541).

«Только что оставил дела и хочу напоследок еще раз послать привет моей милой мышке. В эти дни невольного отвлечения от работы я стараюсь исполнить все дела, которые меня тяготят, чтобы потом, когда ты снова будешь со мной, с еще большей охотой и радостью, чем прежде, вернуться к истинным моим занятиям».

«...дом обретает весьма приветливый и обжитой вид. Милой Лоло наверняка здесь понравится».

Кстати, эта записка любящего мужа и заботливого хозяина содержит упоминание, способное удивить всякого, кому знакомы нравы тех лет. В записке говорится: целесообразно-де разместить спальню в такой-то комнате «для удобства купания». На память приходит также купальный павильон в йенском саду Шиллеров. Словом, судя по всему, Шиллер для своего времени весьма тщательно соблюдал гигиену тела.

Вспомним 1787 год, когда поэт впервые приехал в Веймар. Не сразу полюбил он этот город.

«Собственно город — внутренняя часть Веймара — не отличается ни внушительными размерами, ни изысканностью. В этом Веймар подобен обитающим в нем гениям, весьма мало значения придающим внешности. Между тем повсюду видны здесь чистота и порядок, и даже если признать, что облик этого маленького городка не услаждает взора, то нет здесь и ничего такого, что оскорбляло бы вкус. Всякому, кто совершает паломничество к истокам искусства... Веймар кажется прекрасным святилищем муз... Архитектура домов, однако, их украшения, улицы — все это здесь совершенно ни при чем... Зато имеются в избытке определенные внешние признаки, по которым сразу узнает эту обитель муж приезжий, стоит ему лишь вступить на улицы города. Почти в каждом окне он увидит оживленные лица людей, разглядывающих его с любопытством и с доброжелательностью. Либеральная, приветливая, гостеприимная атмосфера, прекрасное пение, временами доносящееся из какого-нибудь самого неприглядного на вид домика, звучание самых разнообразных музыкальных инструментов тут и там — все это скажет тебе, что ты в Веймаре. Но при всем том советую тебе являться сюда хорошо одетым и с важной миной на лице. Веймарцы хоть и образованный народ, но все же во многом подобны жителям других мелких городков».

Так некий Йозеф Рюккерт описывает Веймар 1799 года. И при

этом восторгается парком — «веймарской обителью отдохновения».

Центр резиденции составлял герцогский дворец, после пожара долго стоявший в развалинах, — теперь он был заново отстроен и обставлен с большим великолепием. Во время своего визита в Штутгарт Гёте пригласил тамошнего придворного архитектора Турэ в Веймар. Вместе с Турэ приехал театральный художник Хайделоф (он был среди тех, кто слушал первое чтение «Разбойников» в Бопсеровом лесу) — хотели, чтобы и придворный театр тоже засверкал новыми красками.

Как обитель муз, как своего рода «немецкие Афины», Веймар на протяжении считанных десятилетий неоднократно менял своей облик. Начало этому делу — что следует поставить ей в заслугу — было положено Анной Амалией, которой расстояние от ее родного Брауншвейга до унылого Веймара представлялось невыносимо большим. Гердер писал — «захолустный Веймар, нечто среднее между деревней и придворным городком».

Тяготы, которые навлекла Семилетняя война на крохотную страну и крохотный городок, невероятно осложнили замысел Анны Амалии — добиться подъема своей резиденции. Большим шагом вперед в этом направлении явилось приглашение Виланда на должность наставника принца. В декабре 1775 года сюда переселился Гёте, с которым юный герцог Карл Август познакомился во время путешествия. Гёте в ту пору было 26 лет, он приехал в Веймар к восемнадцатилетнему герцогу, который уже самостоятельно правил своей землей. Оставшись в Веймаре навсегда, поэт был Карлу Августу другом на протяжении полувека, вплоть до самой смерти герцога. Мать Гёте писала в мае 1776 года Клиггеру, учившемуся на ее средства в Киссене: «Веймар, должно быть, коварное место — все-то там остаются, но если народцу там нравится, что ж — с богом...»

Зазвав Гёте в Веймар, Карл Август тем самым обеспечил своей резиденции мировую славу. Юношам-престолонаследникам не столь уж редко случалось становиться у кормила власти; Карл Евгений Вюртембергский, к примеру, стал герцогом в возрасте шестнадцати лет. Но редко встречался среди них отрок, который с первых же дней способен был править страной. Мерк, мудрый друг молодого Гёте, приближенный к веймарскому двору с тех самых пор, как герцог женился на дармштадтской принцессе, — этот Мерк называл юного Карла Августа «одним из самых положительных и умных людей, каких только мне доводилось видеть».

Первым важным шагом, который предпринял Гёте, поступив на службу к юному Карлу Августу, было приглашение Гердера, знакомого ему еще по Страсбургу, на пост суперинтенданта. Назначить на эту высочайшую церковную должность в своей земле умного человека широких взглядов, а не какого-нибудь узколобого правоверного ханжу, — это был шаг, вполне соответствовавший тогдашнему умонастроению Карла Августа. Вслед за Гердером был приглашен Шиллер, за ним — Фихте. Так карликовое государство обрело бесценное духовное богатство.

Да, средь немецких князей мой князь не из самых великих:
Княжество тесно его и небогата казна;
Но если б каждый, как он, вовне и внутри свои силы
Тратил, то праздником жизнь немца средь немцев была б¹.

Так писал Гёте в своих венецианских «Эпиграммах».

При всех положительных задатках характера и ума, присущих молодому герцогу, все же в первые годы правления политика его не отличалась ни мудростью, ни последовательностью.

«Не буду отрицать, что поначалу он причинял мне много забот и огорчений»², — признавался Гёте в старости Эккерману. А все же подданным Карла Августа пришлось страдать несравненно меньше от различных бурных увлечений своего герцога, обладавшего страстным темпераментом истинного охотника, чем, к примеру, жителям Вюртемберга — от юношеских безумств Карла Евгения, от его расточительства и отвратительного произвола его приспешников. Карл Август с самого начала был склонен заботиться о благе страны — о горном деле, орошении лугов, — вот что занимало светлый ум обоих друзей. Недаром Гёте писал в стихотворении «Ильменау» («О тихий дол, зеленая дуброва!»):

Из путешествия вернувшись к отчей сени,
Прилежный вижу я народ,
Что трудится, не зная лени,
Используя дары природы круглый год.
С кудели нить летит проворно
На бердо ткацкого станка,
Не дремлют праздно молот и кирка,
Не остывает пламень горна,
Разоблачен обман, порядок утвержден,
И мирно край цветет, и счастьем дышит он.

Я вижу, князь, в стране, тобой хранимой,
Прообраз дней твоих живой!..

Просвещенный абсолютизм — практический меркантилизм в стихах...

Веймар ко времени переселения в него Шиллера уже успел приобрести мировую славу и привлекал чужеземцев. «Наконец-то сегодня мы достигли обиталища стольких великих умов», — записала в своем дневнике еще в 1784 году София Бекер, спутница Элизы фон дер Реке. В особенности англичане открыли для себя этот захолустный городок как редкую достопримечательность. По этому поводу Карл Август как-то раз в 1797 году иронически заметил Кнебелю: «Англичан в Веймаре полным-полно... Что ж, в народе прибавится чистопородной крови и поменьше станет сутулых спин...». Велико было число чужестранцев, более или менее образованных, которые приезжали

¹ Гёте И. В. Собр. соч., М., «Художественная литература», 1975, т. I, с. 203.

² Эккерман И. П. Разговоры с Гёте. М., «Художественная литература», 1981, с. 584.

в Веймар с рекомендательными письмами и, вооружившись ими, поочередно обходили всех знаменитостей. Ведь теперь, кроме Гёте, Виланда, Гердера, здесь был также и Шиллер, не говоря уже о знаменитостях ниже рангом — вроде Бертуха, Боде, Мейера и иже с ними.

Никто так не радовался переезду Шиллера в Веймар, как Гёте. Из записок, которые в декабре 1799 года он то и дело посылал — из дома в дом — другу, только что устроившемуся на новом месте, видно, как доволен был автор «Вильгельма Мейстера». «Надеюсь, вы решитесь при всех обстоятельствах прийти ко мне в половине девятого. Вы найдете здесь хорошо натопленные и освещенные комнаты и, возможно, нескольких друзей, которые задержатся у меня допоздна, кое-какую холодную закуску и стакан пунша. Словом, все, чем в эти длинные зимние вечера не следует пренебрегать». А спустя всего лишь несколько дней, в промежутке между сочельником и Новым годом, Гёте снова писал ему же: «Хочу спросить: не решитесь ли вы нынче вечером ненадолго меня посетить? Велите доставить вас в дом, прямо к большой лестнице, чтобы вам не так страдать от холода. Стаканчик пунша будет подмогой в тепло нагретой комнате, а затем вас ждет скромный ужин».

Рассматривая вопрос о дружеских связях Шиллера в последние годы жизни, невольно изумляешься той все затмевающей роли, которую играло в его жизни общение с Гёте. С другими людьми он общался мало.

В своей квартире на Виндишенгассе поэт редко принимал гостей. Приезжали старые знакомые из Йены, регулярно заглядывал Котта — по пути в Лейпциг на книжную ярмарку, как и на обратном пути. Приходили в квартиру на Виндишенгассе также и незнакомые люди, однако далеко не каждому из них удавалось увидеть того, кто возбуждал столь острое их любопытство, — из-за плохого самочувствия Шиллер не мог принимать посетителей.

В число счастливых попал датский поэт Бальтазар Банг, бывший в ту пору юношей восторженным и чувствительным. «Когда наша беседа, длившаяся каких-нибудь три четверти часа, завершилась, я стал прощаться, и он с несказанно обаятельной улыбкой протянул мне руку. Затем я со слезами на глазах взглянул на него, стараясь навсегда запечатлеть в душе каждую черточку лица этого столь дорогого мне человека, которого, по всей вероятности, мне больше не суждено было увидеть, и тут он милыми своими руками обхватил мою голову и поцеловал меня в лоб, тем самым навсегда посвятив меня служению музам» — так рассказывал Банг впоследствии о своей встрече с Шиллером. Точно так же и Зейме, который одно время служил корректором в типографии Гёшена, довелось увидеть Шиллера в счастливый час. Впоследствии он чрезвычайно доброжелательно описывал поэта, вышедшего к нему с двухлетней дочуркой на руках, — в разговоре с русской императрицей Марией Федоровной (которая, как известно, была вюртембергской принцессой). При встрече Зейме с Шиллером присутствовали также художник Шнорр из Карольсфельда и некий англичанин по фамилии Робинзон, который весьма холодно разгляды-

вал «The second man in Weimar»¹. «Schiller's manners were awkward. He seemed not to be at his ease»². Причем слово «awkward» здесь лучше перевести как «нелепые».

В ноябре 1801-го на квартире у Шиллера появился гость из Берлина, но ему не довелось бы повторить свой визит, не найди Шиллер в нем на редкость умного, с широким кругозором, и к тому же красно-речивого собеседника. Это был Фридрих фон Генц, литератор и дипломат, в ту пору служивший в прусском, а впоследствии в австрийском дипломатическом корпусе. Тщеславие и самовлюбленность этого несомненно выдающегося человека в Веймаре расцвели пышным цветом. Он смотрел здесь «Смерть Валленштейна» в ложе самого Шиллера, за спектаклем следовал ужин у автора, на котором присутствовали Гёте, а также поэтесса Амалия фон Имгоф, к которой Генц относился с обожанием, да еще историк искусства Мейер и камеррат Дидель. Вообще же у Шиллера редко собиралось столь большое общество. Но приемы не прекращались в течение обеих недель, пока Генц гостил в Веймаре. Пышный ужин с участием Шиллера дал также Коцебу, о котором еще будет речь в следующей главе. В общем, поэт наслаждался беседой с Генцем. В юношеской работе Голо Манна о Шиллере говорится, что Генц, должно быть, «принадлежал к числу искуснейших мастеров диалога, каких когда-либо знал мир».

Общение Шиллера с Гёте отличалось совершенно иным характером и интенсивностью, чем его встречи с любимыми другими людьми. Когда в феврале-марте 1801 года Шиллер заболел «нервной горячкой», Гёте всю эту неделю почти ежедневно навещал его, пока не занемог сам. Шиллер же в свою очередь, едва поднявшись с постели, тотчас поспешил к Гёте, хотя у него от слабости еще подгибались ноги. «Вероятно, болел я очень тяжело, потому что даже теперь, спустя полтора месяца, я все еще не совсем оправился от своего недуга, сил нет, я с трудом подымаюсь по лестнице, а когда пишу, дрожит рука», — писал он Кёрнеру на другой день после этого визита. В последние годы жизни Шиллера Гёте был постоянным его товарищем, спутником его дней, деля с собратом по перу и мысли, и устремления, сочувствуя и сострадая ему. Особенно восторженно Шиллер отзывался об этом содружестве в письме, которое 23 ноября 1800 года отослал в Копенгаген графине Шиммельман: «...некоторые слова в вашем письме навели мою мысль на знакомство с Гёте, которое я и поныне, по истечении шести лет, почитаю самым счастливым событием моей жизни». Шиллер горячо восхваляет Гёте — поэта, естествоиспытателя, знатока изобразительных искусств, упоминает также о его деятельности министра.

«Но меня привязывают к нему не эти высокие умственные качества. Если бы он как человек не был для меня выше всех остальных людей, которых я лично знал, то я бы только издали восхищался его гением. Я смело могу сказать, что за шесть лет, прожитых вместе, я ни разу не разочаровался в нем. По натуре своей он чрезвычайно правдив и чес-

¹ «Второй человек в Веймаре» (англ.).

² Манеры у Шиллера нелепые, ему явно было не по себе (англ.).

тен и очень ревниво относится к добру и справедливости, поэтому болтунам, лицемерам и лжеумникам в его присутствии всегда не по себе» (VII, 554—555).

Кое-как оправившись от зимнего приступа болезни, Шиллер в мае ненадолго поселился в охотничьем замке герцога «Эттерсбург», чтобы спокойно работать над драмой «Мария Стюарт». Поэта сопровождал лишь слуга (помнится, что еще в бытность свою бедным полковым врачом Шиллер пользовался услугами денщика). Эттерсбург, по существу, был всего лишь роскошным загородным домом герцога, расположенным на лесистых холмах неподалеку от Веймара, куда можно было добраться пешком, а уж верхом — за какие-нибудь полчаса, не больше. И впрямь сюда временами наезжали гости, в том числе сам Карл Август. Супруги, ныне разлученные — пусть ничтожным расстоянием, — почти ежедневно обменивались письмами. Он: «Вчера и позавчера я по два-три часа бодро гулял по лесу и затем чувствовал себя вполне хорошо. И работа тоже продвигается...» И дальше: «...судя по всему, одного лишь одиночества еще недостаточно для работы, дома иной раз мне куда лучше удавалось сосредоточиться». Или еще: «Только что возвратился после непродолжительной прогулки — дождь прогнал меня домой — и нашел твое письмо. Мне жаль, что ты скучаешь, скучаю точно так же и я, и в часы, свободные от работы, очень живо ощущаю пустоту, обступившую меня». Она: «Наш маленький Эрнст вчера повсюду сопровождал меня, серьезно и чинно шагал он рядом с герцогиней... Он очень часто вспоминает своего папу, и стоит ему завидеть карету, как он уже думает, что это ты возвращаешься домой. Нашему милому Карлу очень не терпится тебя навестить, вчера я показала ему лес, где ты теперь обитаешь, и он очень обрадовался». И еще: «Погода кажется мне весьма опасной для тебя, и мне представляется, что там, в больших комнатах, должно быть, очень холодно. Право, от этого должна страдать и фантазия, и, боюсь, работать тебе от этого вдвойне тяжело. Прошу тебя, милый, не бери на себя чрезмерное бремя».

Так непродолжительная разлука супругов — учитывая, сколь охотно они писали друг другу, — становится богатейшим источником материалов для биографа Шиллера. В марте 1801 года поэт на месяц переселился в свой садовый домик в Йене, где в последний раз наслаждался этим владением, которое поначалу так любил. «Отсюда, из одинокой моей комнаты, я мысленно переношусь к вам, мои дорогие, мечтая провести среди вас хоть несколько часов. Здесь меня окружает покой, но в эти первые дни, когда я должен принимать и отдавать визиты, я еще не успел вполне обрести столь необходимое мне уединение. К тому же мой мозг еще необыкновенно напряжен из-за сложности нынешней моей работы, я все время пребываю в возбуждении и страхе и оттого никак не могу подвинуться вперед» (речь идет о завершении «Орлеанской девы»). Вечерами Шиллер бывал у старых знакомых: у Грисбахов или Нитхаммеров; в своих письмах он,

случалось, сообщал Лотте какой-нибудь новый рецепт приготовления пунша: «приготавливается он из портвейна, лимонов, сахара и мускатных орехов, в подогретом виде, и очень полезен для желудка». Лотта в своих письмах подробно рассказывала мужу о детях, передавала светские сплетни, правда несколько облагороженного толка, но и делилась с ним впечатлениями о прочитанных книгах, о своих визитах в театр...

Возможно, скажут, в настоящей биографии слишком много места отводится будням, что ж — тот, кто берется за жизнеописание, непременно должен уделить достаточно внимания будням; ведь жизнь любого человека, пусть самого необыкновенного, воплощается в буднях. К тому же именно будни непосредственно отражают эпоху.

Как поэтическую идеализацию будней, бюргерского образа жизни можно рассматривать «Песнь о Колоколе», опубликованную в издаваемом Коттой «Альманахе Муз» за 1800 год. Стихотворение это, по-разному встреченное в разных кругах, в дальнейшем преподносилось многим поколениям учащихся как некий апофеоз немецкой поэзии. Шиллер долго оттачивал и шлифовал это произведение; на протяжении целого столетия или больше оно упорно переоценивалось — настолько, что сейчас нам уже трудно его полюбить. Гладкие, местами банальные рифмы невольно побуждали к насмешкам и пародиям. За чаем у Шлегелей «Колокол» сразу же вызвал громкий смех.

Как уже говорилось, гений Шиллера всего убедительней проявился в его драматургическом творчестве, а на что способен он в поэзии — лучше всего показывает его баллада «Кассандра», написанная в 1802 году:

Все в обители Приама
Возвещало брачный час... (I, 344)

Кассандра, которую боги наделили страшным даром пророчания, изрекает:

И спасу ль их, открывая
Близкий ужас их очам?
Лишь незнанье — жизнь прямая;
Знанье — смерть прямая нам. (I, 345)

О двух последних строках Теодор Фонтане как-то заметил, что «это самая глубокая истина, которая когда-либо высказывалась о человеке и делах человеческих».

СЛУЖЕНИЕ ТЕАТРУ

Было время, когда беглый полковой лекарь Шиллер мечтал быть при театре поэтом и драматургом. И в самом деле, после года мучительных скитаний и тщетных надежд поэт 1 сентября 1783 года был принят на службу заведующим литературной частью в Мангеймский национальный театр; впрочем, не прошло еще и одного года, как служба эта кончилась. И все же Шиллер стал «поэтом-драматургом»: связав

впоследствии, еще до переезда в Веймар, свою судьбу с Веймарским придворным театром, он оставался при нем до конца своих дней.

Чтобы показать объем творческой деятельности Шиллера, в этой главе мы прежде всего остановимся на его практической работе в театре. О четырех драмах, которые — после «Валленштейна» — он еще успел написать, как-то: «Мария Стюарт», «Орлеанская дева», «Мессинская невеста» и «Вильгельм Телль» — речь в основном пойдет в следующей главе. Однако, разумеется, невозможно полностью отделить одно от другого.

«Веймарский театр безусловно заслуживает самого пристального внимания. Сам по себе Веймар — школа вкуса и искусства. Особенно заметно это на театре. Ни одному актеру не дадут здесь удовлетвориться расхожей и посредственной игрой. Ни публика, ни сцена не потерпят такого».

Слова эти, относящиеся к 1799 году, принадлежат Йозефу Рюккертю, которого мы уже цитировали выше.

На протяжении семи лет, вплоть до 1805 года, творческий облик Веймарского театра определяло сотрудничество Гёте и Шиллера. Особую веху в этом смысле представляет день 12 октября 1798 года. В этот день заново перестроенный придворный театр был торжественно открыт премьерой «Лагеря Валленштейна». В программе стояла также пьеса бойкого и плодовитого Коцебу, о чем, разумеется, нельзя умолчать. Сочиненный Шиллером «Пролог», можно сказать, открыл целую театральную эпоху:

Игра серьезных и смешных личин,
Которой вы дарили благосклонно
И сердце чуткое, и взор, и слух,
Нас в этом зале вновь соединила.
И гляньте — молодеет старый зал... (II, 275)

И дальше:

И эра, что для Талии сейчас
На этой новой сцене наступила,
Внушает смелый замысел певцу:
Оставив прежний путь, перенести вас
Из повседневности мещанских дел
На более высокую арену,
Достойную великого столетья,
В котором мы стремительно живем.
Способен лишь возвышенный предмет
Глубины человечества затронуть.
Ведь узкий круг сужает нашу мысль,
С возросшей целью человек возрастает.
И вот теперь, когда в исходе века
Действительность поэзии равна,
Когда мы ясно видим пред собой
Гигантских сил могучее боренье
Во имя высшей цели и борьба
Везде идет за власть и за свободу, —
Обязано искусство сцены также
Стремиться ввысь. Не смеет повседневность
И не должна глумиться над искусством! (II, 276—277)

Кстати, это один из редких примеров сопричастности поэта к событиям своего времени. «Пролог» прочитал со сцены актер по фамилии Фос, и Гёте похвалил актера в рецензии, опубликованной в приложении к «Альгемайне литературцайтунг»: «Этот превосходный актер полностью раскрыл свой талант, он прочитал «Пролог» вдумчиво, с достоинством, вдохновением, и притом столь отчетливо и точно, что даже в самых отдаленных уголках театрального зала был слышен каждый слог. Словом, по тому, как Фос справился с этими ямбами, мы воспылали надеждой, предвкушая удовольствие от последующей пьесы».

Когда Гёте возвратился из Италии, герцог наряду с другими задачами возложил на него также заботу о театре. Поначалу Веймарский театр ничего особенного собой не представлял. Этот придворный театр, открытый в 1791 году, помещался в малоприметном здании, и поскольку вначале здесь преимущественно проводились «редуты», костюмированные балы и карнавальные шествия, то он так и назывался: «Дом редутов и комедий». Гёте, творец «Фауста» и «Гёца», «Тассо» и «Ифигении», руководил Веймарским театром со строгостью и тщанием, но также и бесконечным терпением, а на репетициях входил во все, даже мельчайшие детали. В «Вильгельме Мейстере» он ярко и поэтично воплотил свои мысли о театре, свое знание пестрого мира артистов, существовавшего в отрыве от буржуазной повседневности. Он умел, однако, резко отделить свое глубокое писательское проникновение в этот мир от добровольно взятой им на себя роли скрупулезного, временами даже придирчивого директора театра; к тому же Гёте никогда не оказывал предпочтения собственным пьесам.

Рассматривая Веймарский театр в пору его так называемой высокой классики, нельзя забывать о том, что актерская профессия с давних времен считалась сомнительной, а то и вовсе неприличной, а положение артиста в обществе долгое время оставалось неполноправным. Даже во времена Французской революции и то в Национальном собрании разгорелись бурные дебаты по вопросу о том, стоит ли предоставлять актерам гражданские права. Во времена же Гёте и Шиллера актерское сословие практически уже интегрировалось в обществе. В гётевском «Вильгельме Мейстере» об актерской профессии говорится, что она с каждым днем становится все более чтимой, и, однако, Вильгельм Мейстер пылко восклицает: «Это неслыханный предрассудок: люди позорят сословие, которое, казалось бы, у них имеются все основания чтить. Уж если проповедник, возглашающий слово божие, в силу одного этого становится самым почтенным лицом в государстве, то уж тем более оправданно изъявлять почтение артисту, который доносит до нашего сердца голос самой природы...» У Гёте, как и у Шиллера, сложились с актерами непринужденные отношения, покоящиеся на взаимном уважении. Шиллер, возможно, чувствовал себя с актерами еще свободнее, чем Гёте.

По свидетельству его свояченицы Каролины, Шиллер однажды сказал, что «театр и церковная кафедра — для нас единственные места, где царит власть слова»; он считал, что театр всегда должен походить на кафедру, чтобы люди под его воздействием обретали духов-

ность, силу и доброту и чтобы театр, рассеивая мелкие, узкие, эгоистические взгляды зрителей, вдохновлял их на великие жертвы и подвиги, да и вообще поднимал все их бытие на более высокую ступень.

Деятельность Шиллера в Веймарском театре протекала все еще под знаком эмансипации немецкого театра от французского образца и его строгих правил, причем образцом для немецкого театра, сбросившего путы прошлого, стал Шекспир. Да, Шекспир — образцом, а Лессинг — наставником. В перерыве между работой над «Валленштейном» и «Марией Стюарт» Шиллер углубился в изучение «Гамбургской драматургии» Лессинга. А 4 июня 1799 года он писал Гёте: «Совершенно бесспорно, что из всех немцев, живших в одно с ним время, Лессинг вернее всех судил об искусстве, проницательней и вместе с тем либеральней всех о нем рассуждал, самым неукоснительным образом ухватывая при этом главное. Читаешь его — и в самом деле начинаешь думать, будто счастливые времена хорошего немецкого вкуса нынче миновали уже безвозвратно, ведь кто сейчас может сравниться с ним в своих суждениях об искусстве?» («Гамбургская драматургия» Лессинга вышла за два с лишним десятка лет до этого.)

Карл Август лично оставался приверженцем французской школы — впечатления, полученные им в молодости от парижского театра, навсегда определили его вкус. Однако он предоставил обоим гениям, которых привлек к своему двору, свободу рук, и лишь время от времени они считались с его склонностью. В начале 1800 года, к примеру, был поставлен «Магомет» Вольтера в обработке Гёте, и помогал постановщику не кто иной, как Шиллер.

В примечательном стихотворении под названием «К Гёте, когда он поставил «Магомета» Вольтера» поэт, однако, откровенно высказал свое мнение по этому поводу:

Родным искусствам царствовать довлеет
На этой сцене, не чужим богам.
И указать на лавр, что зеленеет
На нашем Пинде, уж нетрудно нам.
Германский гений, не смущаясь, смеет
В искусств святилище спускаться сам,
И вслед за греком и британцем вправе
Он шествовать навстречу высшей славе.
Там, где рабы дрожат, тираны правят,
Где ложный блеск тщеславиться привык —
Творить свой мир искусство не заставит...

И лишь в эпилоге зазвучали примирительные нотки:

Французу мы не поклонимся снова,
В его вещах живой не веет дух,
Приличьем чувств и пышным взлетом слова
Привыкший к правде не прельстится слух.
Но пусть зовет он в лучший мир былого,
Пусть явится, как отошедший дух, —
Вернуть величье оскверненной сцене, —
В приют достойный, к древней Мельпомене.

Между тем как в театре разучивали «Магомета», Шиллер уже трудился над обработкой шекспировского «Макбета».

Поэт еще прежде успел свыкнуться с этим персонажем — несколькими годами раньше он как-то сравнил Макбета с Валленштейном: «Это тот же самый случай — когда человек виновен в собственной гибели несравненно более рока» (из письма к Гёте от 28 ноября 1796 года). Поначалу Шиллер думал воспользоваться немецкими переводами, но ничего подходящего не нашел. В ту пору Шлегель еще только делал первые шаги на поприще перевода (первые работы его были опубликованы в «Орах»), и к тому же у Шлегеля в его творческом содружестве с Тиком так и не дошли руки до «Макбета». А следовательно, несмотря на скудные познания в английском, Шиллер вынужден был обратиться к оригиналу. 2 февраля он писал Гёте: «С тех пор как госпожа фон Штайн дала мне Шекспира на языке оригинала, я нахожу, что и вправду я поступил бы умнее, вздумай я с самого начала обратиться к первоисточнику, как ни мало я знаю по-английски, потому что при чтении оригинала дух идеи воспринимается намного непосредственной, и часто я лишь излишне утруждал себя, продираясь к истинному смыслу подлинника сквозь неуклюжий перевод моих двух предшественников». А Гёте к тому же снабдил Шиллера еще и английским словарем.

Представление, назначенное на май месяц, грозило обернуться провалом, поскольку талантливый актер Фос, которому Шиллер поручил главную роль, не выучил текста и на генеральной репетиции представил перед всеми в весьма нелепом виде. Гёте в ярости воскликнул: «Неужели мы осрамимся перед высшим светом и всей публикой? Надо отменить завтрашнее представление, а причину отмены ни в коем случае не скрывать ни от самого господина Фоса, ни от остальных актеров». Однако Шиллер, полагаясь на талант Фоса, все же решил пойти на риск, и Гёте поддался на его уговоры. На другой день при огромном наплыве публики состоялся спектакль. Йенские студенты стекались к театру большими группами, верхом и на повозках. И странным образом все сошло хорошо. Правда, Фос сравнительно вольно обращался с текстом, играл, однако, великолепно. Веймарский актер и режиссер Генаст впоследствии вспоминал: «После второго акта Шиллер пришел к нам на сцену и на своем уморительном швабском диалекте спросил: «Где этот Фос?» Тот вышел ему навстречу с несколько смущенным видом и понурив голову. Шиллер обнял его и сказал: «Нет, послушайте, Фос! Должен сказать вам: великолепно! великолепно! Но теперь ступайте: вам же надо переодеться к третьему акту!» Фос, должно быть, ожидал совсем другого. Потому что он с искренней радостью поблагодарил Шиллера за его безграничную снисходительность».

После репетиций Шиллер иногда зазывал артистов к себе домой, и на таких вечеринках бывало очень весело. «Очень мило с вашей стороны, что завтра после репетиции вы хотите угостить актеров ужином. При этом можно обсудить многие дела, тем более что актеров ведь немного», — как-то раз сдержанно заметил по этому поводу Гёте. Хорошие отношения Шиллера с артистами редко омрачались. Поэт никогда не вымещал на окружающих свое скверное самочувствие — бессонницу, боли, приступы удушья. Генаст хвалит

Шиллера за его снисходительность и неизменное дружелюбие к артистам на репетициях, за терпение, которое он проявлял даже по отношению к самым заносчивым упрямам: «Наглость этих людей сплошь и рядом повергала меня в ярость, я охотно пустил бы в дело кулаки, но Шиллер с неизменной неистощимой любезностью опровергал подчас совершенно нелепые утверждения, и лишь иногда лицо его покрывалось гневным румянцем».

Только однажды, на репетиции вольтеровского «Танкреда», грянула гроза: «Какой кошмар — это вечное размахиванье рукой и вой при чтении текста!» Сразу же после этого Шиллер написал Гёте: «Я не хочу больше иметь дело с актерами: уговорами и лаской от них ничего не добиться, с ними возможен только один-единственный способ обращения — краткое приказание, но это не по мне» (письмо от 28 апреля 1801 года) (VII, 564).

Работа тем не менее продолжалась. Шиллер инсценировал лессинговского «Натана» и «Принцессу Турандот» Гоцци. Гёте доверил ему обработку своей «Ифигении». 5 мая 1802 года Шиллер написал Гёте в Йену: ««Ифигению» ни при каких условиях не удалось бы втиснуть в афишу следующей субботы, потому что главная роль очень велика и трудна для заучивания. Просто необходимо дать актрисе для этого побольше времени. Впрочем, я надеюсь, что пьеса будет иметь самый большой успех; не представляю себе, что могло бы воспрепятствовать ее воздействию на публику! Особенно обрадовало меня, что самые поэтические и лирические места неизменно вызывают сильнейшее волнение у наших актеров». Гёте, очень довольный, отвечал ему: «Если бы только вы захотели и смогли довести это произведение до сцены, с тем чтобы я не увидел ни одной репетиции, и дать эту пьесу 15 числа, я остался бы здесь еще на неделю и многое успел бы сделать». А спустя еще два дня он писал: «За вашу заботу об «Ифигении» благодарю вас от всей души. В будущую субботу собираюсь поехать в театр, как коренной житель Йены, и надеюсь найти вас в вашей ложе»¹. 12 мая Шиллер в свою очередь поведал Гёте о возникших трудностях: для подготовки оперы «Тит» понадобились все помещения театра. «Завтра и послезавтра, однако, театральные репетиции будут проводиться со всей серьезностью, и я надеюсь, что вы не устраситесь того, как поставлено ваше творение. Правда, я полагаю, что воплощение вашей пьесы на сцене разбудит в вашей душе многие позабытые ощущения, как в образах и красках вашего собственного сознания, так и в образах мира, с которым вы в ту пору чувствовали себя слитым, а это должно произвести особое впечатление на многих из наших здешних друзей и подруг». 15 мая представление наконец состоялось. Следует заметить, что в те самые дни, когда Шиллер с необыкновенным усердием проводил все эти репетиции, семья его как раз переезжала из наемной квартиры в собственный дом, а главное, в эти же дни он получил известие о смерти матери, которое его потрясло.

Рассматривая классический период Веймарского театра, нельзя забывать, что уже в ту пору приходилось считаться с потребностью

¹ Гёте И. В. Собр. соч., М., ГИХЛ, 1949, т. XIII, с. 270.

публики в легком развлекательном репертуаре. Такого рода легкую пищу поставлял на сцену Веймарского театра первоклассный драматург-ремесленник Август фон Коцебу. Этот автор — уроженец Веймара, не намного моложе Шиллера, вначале пробовал свой литературный талант в рифмованных фарсах и эпиграммах, возбудивших недовольство двора, вследствие чего он вскоре пошел за благо отправиться в путешествие по свету. Он уехал в Россию и там необычайно преуспел. Немецкий театр в Ревеле стал для него трамплином. С невероятным проворством фабриковал он мелодрамы, шванки, рыцарские драмы, а также пьесы об индейцах — короче, он создал гигантский арсенал пьес, которыми директора всех театров Европы могли пользоваться для удовлетворения человеческой потребности в бездумном развлечении и сентиментальной «клюкве» — потребности, которой в наш век заглялись потрафлять кино и телевидение.

Русским подданным, богачом, увешанным орденами, Коцебу в 1799 году возвратился на родину. И здесь его отныне привечали не только ради притока средств в театральную кассу — был он обласкан и при дворе, прежде всего Анной Амалией. Шиллеру и Гёте пришлось явиться во дворец «Витумспале», чтобы присутствовать при одном из его чтений (в последующем положение Коцебу при дворе еще больше окрепло, что немало сердило Гёте; один лишь Карл Август совершенно не выносил этого субъекта). Гёте и Шиллер держались одного мнения о Коцебу. Шиллер как-то назвал его «ужасным человеком», в другой раз — пустоцветом. В узком кругу Гёте как-то раз изобразил его — в довольно-таки смелой карикатуре — со спущенными штанами, испражняющимся на статую. А все же эта сердитая шутка несколько не меняла сути дела: в бойком писаке нуждались. В годы, когда Гёте стоял во главе придворного театра, то есть в период с 1791 по 1817 год, были поставлены 84 (восемьдесят четыре!) пьесы Коцебу.

Но вернемся к Шиллеру. Самым лучшим из всего, что он мог дать театру, были его собственные пьесы. Все последние годы своей жизни он посвятил драматургическому творчеству и воплощению своих пьес на сцене. Подготовительная работа и последующий процесс создания пьес многократно отражены в его переписке с Гёте. Зато почти не отражены в документах его разговоры о тех же пьесах с Лоттой, которая по большей части первая прослушивала только что записанные на бумагу сцены и высказывала о них свое суждение. Когда же работа над пьесой продвигалась настолько, что Шиллер мог обозреть драму в целом, тогда он охотно читал ее уже более широкому кругу людей, и прежде всего актерам, чтобы познакомить их с материалом пьесы и воодушевить на блестящую игру.

Нам многое известно о некоторых из этих чтений, как, например, о чтении «Марии Стюарт», состоявшейся в мае 1800 года. Встреча была назначена на вечер. С помощью веселой беседы и ужина Шиллер ловко перенес чтение пьесы на поздние часы — самое излюбленное его время. «Шиллер читал стоя, лишь временами опираясь коленом на стул; нельзя сказать, чтобы он читал красиво или хотя бы сообразуясь с искусством декламации — этого не позволил бы ему и слегка надтреснутый голос, — но зато он читал с воодушевлением, с огнем,

без жеманства или нажима. Словом, и такого чтения было довольно, чтобы увлечь слушателей и заразить их воодушевлением. И девица Ягеман не стала отказываться от роли Елизаветы, тем более что и Шиллер, и все прочие разъяснили ей, насколько сложнее сыграть Елизавету, нежели Марию, поскольку роль Марии как бы вырисовывается сама собой». Так рассказывает нам об этой читке Амалия фон Фойгт, невестка тайного советника. Главная задача в тот вечер состояла в том, чтобы увлечь пьесой одаренную, влиятельную актрису Ягеман. Из этого и многих других подобных свидетельств можно заключить, что в то время Шиллер читал далеко не так скверно, как в молодые годы.

Когда пьесу уже готовили к постановке, возникла вдруг особая проблема в связи с эпизодом, где тайный священник Мельвиль дает Марии причастие. Эпизод этот приходится на 7 явление 5 действия. Шиллер просил актера-католика Хайде в точности описать ему этот обряд и истинный его смысл. На премьере, однако, сцена эта была опущена. Вмешался Карл Август, которому текст пьесы был известен заранее. В учтивом письме к Шиллеру он выразил опасение: а не усмотрит ли публика в этом профанацию священного католического обряда? Правда, в беседе с Гёте он высказался заметно резче, да и всю сцену назвал «погоней за эффектом». После этого Гёте дипломатично написал Шиллеру: «Смелая мысль изобразить на сцене обряд причащения уже разглашена, и я принужден просить вас обойтись без него. Должен признаться, что мне самому это было не очень по душе...» Но Шиллер, который рассматривал сцену причащения как некий апогей трагедии, в порыве гнева отвечал ему: «Я напишу пьесу, в которой будут насиловать женщину... и вам придется на это смотреть!» — и в этот миг он снова был прежним Шиллером — автором «Разбойников».

Подобные досадные осложнения, однако, возникали редко. Глубокое взаимопонимание с Гёте как с директором театра; любовь, мало того — восхищение, которое испытывало к Шиллеру большинство актеров; сравнительно изощренный вкус публики — веймарских и йенских студентов и профессоров, — все это создавало благоприятные предпосылки для приема шиллеровских пьес. Разумеется, и этот театральный мирок был далек от совершенства, но где найдешь таковое? Спектакли приходилось приспособлять как к личным особенностям актеров, так и к техническим возможностям данной сцены, и, когда пьесу принимали к постановке более крупные театры, допущенные изменения лишь мешали делу. Мешало и монопольное положение Коцебу в деле поставки на сцену развлекательных пьес, что обеспечивало этому субъекту известное влияние. Свою комедию «Обитатели маленького городка» он обильно уснастил ядовитыми выпадами против обоих великих поэтов. Гёте, недолго думая, вычеркнул соответствующие места. Коцебу возразил с обидой: с Шиллером небось подобные сокращения предварительно обговариваются! Гёте ответил ему: что можно Юпитеру, того нельзя быку. Но хуже всего было, когда Коцебу задумал устроить пышные торжества в честь Шиллера, рассчитывая тем самым походя стяжать лавры и для себя. С этой целью он выбрал в марте 1802 года день именин поэта — затея бессмысленная для

любого некаатолика. Гёте впоследствии записал в своем дневнике: «Шиллеру становилось не по себе от одной этой мысли: роль, которую хотели ему навязать, казалась суетной и потому невыносимой для человека его склада, да и для всякого благородного человека — стать вот этак перед большим сборищем людей, превратясь в некую мишень нелепых почестей. Ему хотелось сказатьсь большим, однако поскольку он был общительнее меня и в силу своего семейного положения, через родственников жены, больше связан со светом, то оказывался почти что принужден испить до дна эту горькую чашу. Полагая, что всей этой шумихи не удастся избежать, мы часто вечерами подшучивали над всем этим, Шиллер же был готов занемочь при одной мысли о подобной непристойности». В последний миг удалось, однако, отвести угрозу. Для задуманного торжества Коцебу потребовался бюст Шиллера работы Даннекера, установленный в библиотеке. И библиотека отказалась предоставить его устраиваемым празднествам, заявив, «что еще ни разу гипсовый бюст не возвращался с торжества в целости и сохранности»... Тем самым опасность была отвращена, и Коцебу не удалось своей затеей пустить людям пыль в глаза.

Здравомыслящие потомки благодарны веймарским богам за то, что они избавили поэта от этих почестей. С удивлением, с полным ощущением комизма ситуации, но и с некоторым раздражением мы, однако, узнаем что однажды, после стихийной выходки йенских студентов, бурно приветствовавших в театре Шиллера, нарушителей тишины призвал к порядку не кто иной, как... директор театра Гёте. 11 марта 1803 года в Веймаре состоялась премьера «Мессинской невесты». Под бурные рукоплескания зрителей студент, сын местного профессора Шюца, провозгласил здравицу в честь автора, которую громогласно подхватили другие студенты. Поднялся невероятный шум, зрители повскакали с мест — и все это в присутствии «высочайших особ»! Шюц-младший получил замечание от полиции. В общем, и это тоже — эпизод из жизни придворного театра...

ПОЗДНИЕ ДРАМЫ

«Я уже давно боялся того момента, хоть и страстно желал его, когда наконец расстанусь со своим произведением; и в самом деле при моей теперешней свободе я чувствую себя хуже, чем при том рабстве, в котором жил до сих пор. Сонм людей, который до сих пор притягивал и держал меня, вдруг исчез, и мне чудится, будто я бесцельно повис в воздушном пространстве. В то же время мне кажется совершенно для меня невозможным опять создать что-либо; я не успокоюсь до тех пор, пока не почувствую, что мысли мои с надеждой и интересом вновь устремлены на определенный сюжет. Как только у меня опять будет цель, я отделаюсь от беспокойства...» (VII, 520—521).

Так 19 марта 1799 года писал Шиллер Гёте, одолев высокие пики трилогии о Валленштейне.

И уже в апреле поэт углубился в изучение источников к драме

«Мария Стюарт». Он закончил эту драму менее чем за год, а затем почти без передышки принялся за новый материал, на этот раз связанный с «Орлеанской девой». Для создания этой пьесы ему понадобилось всего девять месяцев. За этим последовала пауза, отчасти объяснявшаяся физической слабостью поэта. Однако спустя некоторое время он за какие-нибудь полгода написал «Мессинскую невесту». Затем гигантским напряжением воли Шиллер создал своего «Вилгельма Телля». После премьеры «Телля» — а в большинстве случаев пьесу показывали, как только драматург ставил на своем сочинении последнюю точку, — Шиллеру оставалось жить всего год и два месяца. Из всех последующих своих замыслов он уже ничего не успел осуществить.

Свою работу над драмой «Мария Стюарт» Шиллер начал с изучения материалов судебного процесса над королевой. «Я сейчас же наткнулся на несколько основных трагических мотивов, что внушило мне большую веру в этот сюжет, в котором, несомненно, есть много благодарных моментов», — писал Шиллер 26 апреля 1799 года Гёте (VII, 523).

Историческая ситуация такова: став девятнадцати лет от роду королевой Шотландии, Мария в молодости оказалась замешанной в ряде кровавых трагедий на почве ревности. Всего семь лет длилось ее владычество, затем восстание знати изгнало ее из страны. Мария бежала в Англию, где правила Елизавета, дочь Генриха VIII от связи с Анной Болейн. Здесь Марию схватили и подвергли заключению; сначала ее держали в сносных условиях, а затем под строгим арестом. Беспрестанные заговоры ее приверженцев, стремившихся не только освободить Марию, но и посадить ее на британский трон, привели к суду над ней, завершившемуся вынесением смертного приговора. Парламент утвердил приговор, однако Елизавета подписала его лишь после долгого колебания. 8 февраля 1587 года Мария была обезглавлена. Королева покарала чиновника, ответственного за исполнение приговора: он-де действовал без ее согласия. Поистине потрясающий материал!

Законное право драматурга — оформлять исторический материал сообразно с требованиями сцены. В пьесе «Мария Стюарт» Шиллер широко использовал исторически достоверные факты. Сказанное относится уже к самому первому явлению, где сэр Полет, поставленный сторожить Марию, отбирает у нее все письма и драгоценности. Самое серьезное отклонение от исторической фактуры, допущенное Шиллером, касается возраста обеих героинь, которых поэт омолодил на двадцать лет. В действительности же Марии к тому времени исполнилось сорок четыре, а Елизавете — пятьдесят три года. Поправка вполне понятная, учитывая вкусы публики и особенно вкусы актрис, которых нужно было подвигнуть на исполнение той и другой роли.

Обратившись к этой кровавой главе в истории Англии, Шиллер словно бы идет по стопам Шекспира. К тому же в разгар работы над «Марией Стюарт» он напал на след «новой возможной трагедии» в той же исторической среде — имеется в виду эпизод с самозванцем

Уорбеком в годы царствования Генриха VII (VII, 533).

Примечательно при том, что Шиллер погрузился в атмосферу староанглийской исторической среды и при всем его бесконечном преклонении перед великим британцем в письмах поэта, относящихся к периоду его работы над драмой «Мария Стюарт», ни разу не упоминается имя Шекспира. Не примером Шекспира руководствуется он (разве что бессознательно) — образцом для него служит греческая драма. «Мне кажется, что он (сюжет этой пьесы) особенно подходящ для еврипидовского метода, который заключается в самом полном изображении душевного состояния, ибо я думаю, что можно убрать все судопроизводство и всю политику и начать трагедию с обвинительного приговора» (из письма к Гёте от 26 апреля 1799 года, VII, 523).

Вот почему, работая над драмой «Мария Стюарт», Шиллер попросил Гёте прислать ему Эсхила: «Меня снова тянет читать греческие трагедии».

Пьесу эту, «начатую с воодушевлением и радостью», он писал широкими, стремительными мазками вплоть до третьего действия, до сцены встречи обеих королев. Работал Шиллер в своем йенском саду. «В моем маленьком садовом павильончике царит доброе, радостное настроение», — говорится в одном из его писем к Гёте. А своему старому другу Кёрнеру поэт писал: «...теперь, слава богу, опять работаю над трагедией... К концу зимы, самое позднее, я надеюсь с ней справиться; прежде всего, тут не приходится так бороться с сюжетом, как в «Валленштейне», а потом, на «Валленштейне» я лучше усвоил само ремесло» (VII, 524).

В середине же августа Шиллер сообщил Гёте: «Моя работа над драмой успешно двигается вперед» (VII, 533).

Несколько ранее мы уже отмечали, что женским образом Шиллера присуща некоторая оторванность от жизни. А драма «Мария Стюарт» — это одновременно драма Марии и Елизаветы. Оба персонажа заимствованы из арсенала истории: их трагическая сопряженность отвечает исторической правде. Правда, и образы Дон Карлоса, его отца Филиппа и мачехи Елизаветы Валуа тоже имеют реальные исторические прототипы, однако эти образы Шиллер лепил с полной поэтической вольностью. И Мария Стюарт в одноименной трагедии, и королева Елизавета, если не считать допущенного Шиллером их омоложения, очень близко смыкаются со своими историческими прототипами; жизненность и достоверность этих образов уходят своими корнями в реальную действительность.

«Мария Стюарт», подобно «Валленштейну», представляет собой «государственное действо» (к драме «Дон Карлос» это относится лишь частично). Некоторые сцены вызывают в памяти слова Гёте о том, что Шиллер мог бы играть в государственном совете такую же впечатляющую роль, как и дома, за чаем. Государственная реальность, примат государства, интересы государства — вот какие факторы питают эту драму. Как и в «Валленштейне», в драме «Мария Стюарт» просматривается проблема морального кредо подчиненных: «Вся мудрость моя — в повиновенье», — запинаясь, говорит своей королеве

Дэвисон (II, 778). Интересы государства Елизавете дороже и личного счастья, и велений совести. Какая глубокая идея, выраженная, однако, не лобовым способом и сознательно приглушенная нанесением лицемерных черт, но при всем при том определяющая развитие сюжета, а именно — сделать Елизавету собственно трагической фигурой пьесы.

Вспомним явление 9-е 4 действия:

Ах, Шрусбери! Вы жизнь мою сегодня
Спасли, вы отвратили сталь кинжала
От сердца моего... Зачем, скажите,
Вы это сделали? Забыв про распри,
Свободна от сомнений, я безгрешно
Покоилась бы в склепе! Верьте мне,
Устала я от жизни и от власти!.. (II, 773—774)

И так далее, вплоть до восклицания королевы (которое, правда, опровергла история): «Не родилась для власти я!»

Но поскольку советники Елизаветы раз за разом ссылаются на мнение народа, что исторически вполне правдоподобно, учитывая, во-первых, что поединок двух королей имел в своей основе столкновение двух религий, во-вторых, что религиозная распря пустила глубокие корни в народе, то в свете сказанного становится понятен странный монолог Елизаветы:

О рабское служение народу!
Позорное холопство! Как устала
Я идолу презренному служить!
Когда ж свободной буду на престоле?
Я почитать должна людское мнение,
Искать признанья неразумной черни,
Которой лишь филярство по нутру.
Нет, не король еще, кто всем и вся
Кадит и угрождает! II, 775)

Что же касается образа Марии, то Шиллер действительно подчеркивал: «Моя Мария не будет вызывать к себе нежного чувства, к этому я и не стремлюсь, я намерен неизменно подавать ее как существо физическое, патетика же должна возникать больше из глубокого общего сопереживания, нежели из личного и индивидуального направленного сострадания. Мария не чувствует и не возбуждает нежности, ей суждено лишь испытывать и воспламенять могучие страсти», — писал Шиллер 18 июня 1799 года Гёте. В самом деле, нельзя забывать о том, что эта несчастная, возбуждающая «глубокое общее сопереживание», — католичка, приносимая в жертву как интересам протестантского государства, так и протестантскому пылу; все это лишь показывает, насколько Шиллер сумел отрешиться от всех предрассудков, обусловленных его социальным происхождением и воспитанием.

Шиллер закончил драму «Мария Стюарт» в июне 1800 года, и в том же месяце в Веймаре состоялась ее премьера. Актриса Ягеман играла Елизавету, актриса Фос — Марию. Шиллер писал Гёте после премьеры: «Имелись все основания быть довольным спектаклем, да и сама пьеса необыкновенно меня порадовала». Началось шествие «Марии Стюарт» по сценам различных театров. Критика по-разному принимала ее — случалось, и с ехидством, даже со злобой: «В пьесе выведены две бабы, которые не стоят того, чтобы мы следили за их ссорой». С иронией отнеслись к драме в кругу романтиков, за исключением, правда, Августа Вильгельма Шлегеля. В одном из своих писем к Шиллеру Кёрнер писал: «В своем подходе к воплощению сюжета ты приближаешься к манере древних. В твоей пьесе нет героя, даже главные персонажи — и те не идеализированы, и от зрителя не скрыты ни слабости их, ни те их злобные черты, которые запечатлены в истории... И все же насколько тебе удалось вызвать то вдохновенное сопереживание, которое сопутствует всякой истинной трагедии!»

«Я не хочу делать тайну из моего нового замысла, но все же прошу никому о нем не упоминать, потому что, когда говорят о еще не законченной работе, я теряю к ней вкус. Тема, над которой я работаю, — «Орлеанская дева»; план будет скоро закончен, через полмесяца я надеюсь приступить к обработке. Сюжет, в том виде, как я его задумал, в высшей степени поэтичен... Но я боюсь с ним не справиться именно потому, что я его полюбил, и опасаясь, что не смогу осуществить свою собственную мысль... О колдовстве я распространяться не собираюсь... В сочинениях на эту тему нет почти ничего...» (VII, 549)—28 июля 1800 года сообщал Шиллер Кёрнеру. Спустя семь недель Шиллер пишет Гёте: «Работа моя подвигается очень медленно, но на месте я не стою. При бедности моих внешних представлений и опыта мне всегда приходится изобретать собственный метод и тратить много времени, чтоб оживить материал. А материал нелегкий и неблизкий мне» (VII, 550).

Современный исследователь творчества Шиллера и тут подивится тому, сколь немногими и скудными «сочинениями» обходился Шиллер, чтобы подкрепить свою интуицию историка и творческую мощь драматурга. Ведь на самом деле можно лишь поражаться необычайному обилию документального материала о Жанне д'Арк. Акты и протоколы обоих процессов — инквизиционного процесса 1431 года и оправдательного процесса середины XV века — сохранились почти полностью и позволяют составить себе глубокое представление о замечательном характере этой девушки и окружавших ее людей — друзей детства, соседей, кумушек, священников, хозяев постоянных дворов, рыцарей и военачальников. Сегодня эти уникальные тексты предлагаются нам в обыкновенных книжных изданиях карманного формата. Шиллер же не подозревал о существовании этих документов, но если бы даже он и знал о них, все равно в своем Веймаре он

нипочем не смог бы их раздобыть. Лишь спустя много лет после его смерти материал этот был найден и опубликован.

Жанна д'Арк из Домреми в Верхней Лотарингии родилась 6 января 1412 года в семье крестьянина и с малых лет была пастушкой. Ей слышались неземные голоса; они повелевали ей идти во Францию — страну, которую уже два десятилетия подряд раздирали войны и теперь грозили захватить англичане, — а главное — с оружием в руках поспешить на помощь дофину, терпевшему притеснения от врагов. Повинуясь велениям этих голосов, Жанна самым невероятным образом встает во главе войска и разбивает англичан под Орлеаном, но в мае 1430 года попадает в руки врагов.

По настоянию англичан состоялся церковный процесс, на котором Жанну как колдунью (ведьму) осудили на смертную казнь посредством сожжения. Она умерла на костре 30 мая 1431 года в Руане, девятнадцать лет от роду. Из ее ответов и показаний, запечатленных в судебных протоколах, встает образ здравомыслящей девушки, прямодушной и правдивой, на редкость разумной, но при том проникнутой убежденностью в своем божественном призвании и в особом благоволении к ней ангелов.

Повторяем: Шиллер не знал о существовании этих источников. Силой своей интуиции он приблизил образ Иоанны в своей пьесе к историческому его прототипу — да и к тому же он как-никак располагал знанием внешних событий и вех этой удивительной жизни. И этот сам по себе фантастический материал вплоть до пятого действия воплощен в согласии с исторической действительностью — так, обрисовано в пьесе деревенское детство Жанны, призвание, внушенное ей «голосами», ее путь к дофину, победа под Орлеаном, ее ратные подвиги, коронация Карла VII в Реймсе, наконец, ее пленение англичанами, — однако эпилог пьесы с исторической реальностью ничего общего не имеет. По воле Шиллера его героиня погибает в сражении.

Подлинный мученический конец этой девушки, которая лишь спустя пятьсот лет после своей гибели на костре сначала была объявлена праведницей, а затем и святой, таким образом, не показан в драме Шиллера. Эффектным драматургическим ходом изгнание Жанны поставлено в финал сцены коронования. Жанна утрачивает свой престиж, как только главная цель — коронация законного короля — оказывается достигнутой. Изгнание Иоанны провоцирует своим появлением ее отец... В драматической поэме с этой минуты начинают звучать фантастические мотивы, роковой же образ отца всходит к подсознательным мотивам Шиллера. Блестящим достоинством пьесы является ее поэтичность. Взять хотя бы сцену, где поселянин Бертран возвращается из городка с шлемом в руках, который ему всучили против его воли (явление 3-е Пролога):

На площади толпилась тьма народа
Вкруг беглецов, лишь только прибежавших
С недоброю из Орлеана вестью;
Весь город был в волненье; сквозь толпу
С усилием я продирался... вдруг

Цыганка смуглая со мной столкнулась;
 В руках у ней был этот шлем; она,
 Пронзительно в глаза мне посмотрев,
 Сказала: «Ты, я знаю, ищешь шлема;
 Вот шлем, не дорог он, возьми». — «На что? —
 Я отвечал ей. — К латникам пойди;
 Я земледелец, мне нет нужды в шлеме».
 Но я никак не мог отговориться.
 «Возьми, возьми! — она одно твердила. —
 Теперь для головы стальная кровля
 Приютнее всех каменных палат».
 И так из улицы одной в другую
 Она за мной гналася с этим шлемом.
 Я посмотрел: он был красив и светел,
 Был рыцарской достоин головы;
 Я взял его, чтоб ближе разглядеть;
 Но между тем как я стоял в сомненье,
 Она из глаз моих, как сон, пропала:
 Ее толпой народа унесло...
 И этот шлем в моих руках остался. (III, 14—15)

Иоанна выхватывает у него шлем: «Отдай, он мой и мне принадлежит» (III, 15).

В первом действии Дюнуа, незаконный сын принца Орлеанского, ругает влюбленного бездеятельного дофина:

Ты хочешь быть царем любви по праву?
 Храбрейшим будь из храбрых. В старых книгах
 Случалось мне читать, что неразлучны
 Любовь и рыцарская бодрость были;
 Не пастухи, слышал я, а герои
 За круглый стол садились в древни годы.
 Лишь тот, чья грудь защитой красоте,
 Берет ее награду... (III, 27)

Старые рыцарские книги... Шиллер питал к ним странное пристрастие. Поэт принадлежал к числу именно тех людей, для воодушевления которых Сервантес написал своего «Дон Кихота». Еще в бытность свою в Фолькштедте, на летнем отдыхе, Шиллер, заболев, «на коленях» молил Каролину и Лотту раздобыть ему книгу о Зигфриде и Прекрасной Мелузине. И даже в последние дни жизни поэт просил у близких сказки и рыцарские повести: «Вот где хранится материал для всего прекрасного и великого». Отсюда можно понять и великолепные достоинства, и слабые места «Орлеанской девы».

Единственная из всех последних драм Шиллера, эта пьеса не увидела премьеры в Веймарском театре. Не увидела потому, что этого не захотел Карл Август, и на то были у него вполне определенные причины. «Орлеанская девственница» Вольтера, забавная и ироническая поэма о Жанне д'Арк, написанная александрийским стихом, с первых дней своего появления в 1755 году стала излюбленным объектом ищущих легкой прибыли переписчиков и издателей, и ее охотно читали при каждом европейском дворе. В сущности, могло бы случиться и так, что великий Вольтер воздал бы должное девушке из Домреми, показав ее жертвой церковного процесса, инсценированного силами, обуреваемыми вполне мирской жадностью власти, — он предпочел, одна-

ко, изобличить в своем произведении инфантильные суеверия и смехотворную игру в рыцарскую доблесть. Ввиду широкой популярности этой фривольной поэмы герцог почел неуместным давать на сцене придворного театра трагедию на ту же тему, пронизанную идеалистическим духом.

Имелась, правда, у Карла Августа на то еще и другая причина: единственной актрисой в труппе Веймарского театра, достойной играть в пьесе главную роль, была его любовница Ягеман. Вздумай Ягеман играть девственницу, это дало бы публике повод к бойким пересудам. А стало быть, постановки нельзя было допускать. Но если отвлечься от понятной отрицательной реакции Карла Августа, надо сказать, что он сумел оценить поэтичность новой драмы Шиллера: «Много тепла в этой поэме, которая не оставит холодным даже и того, кто никогда не чувствовал вкуса к христианской мифологии... Унылый немецкий язык звучит прекраснейшей мелодией, на какую только он способен...» — писал герцог свояченице Шиллера Каролине.

11 сентября состоялась премьера «Орлеанской девы» в Лейпциге. Успех спектакля превзошел все ожидания. На третьем представлении присутствовал сам Шиллер, и появление его вызвало бурное ликование. После этого даже критика профессиональных умников и та обрела более серьезный характер. Взять, к примеру, следующую оценку: «Как собственно драматическое произведение эта пьеса, несомненно, ниже всех его прежних работ; вернее было бы сказать, что она находится на наименее высоком уровне из всех. Однако как исторически-романтическая поэма, рисующая человеческие характеры, — это самое дерзкое, возвышенное произведение, на которое когда-либо отваживался поэт». (Меркель, «Письма к женщине», Берлин, 1802 г., — тот самый Меркель, который злобно изничтожил «Марию Стюарт».)

Исключительный интерес возбудила «Орлеанская дева» во Франции. Здесь мы встречаем всю палитру оценок — от уничтожающей критики до неистового восторга. В предисловии к первому французскому переводу драмы, изданному в 1802 году, Мерсье писал: «Его трагедийная муза именно такая, какую мне хотелось бы видеть и какую я люблю, такая, наконец, какую я желал бы видеть французской гражданкой». Вслед за этой публикацией появилось множество французских переводов, а также подражаний. Несомненно, трагедия Шиллера способствовала прояснению, а быть может, и высветлению образа этой национальной героини в сознании французов — на место Девственницы заступила Дева. А когда впоследствии Жанну д'Арк сначала объявили праведницей, а затем и канонизировали — что ж, не будет ошибкой и в этом усмотреть влияние драмы, созданной человеком, столь далеким от религии.

После завершения «Орлеанской девы» прошло, однако, больше года, прежде чем Шиллер взялся за работу над новой пьесой, которую назвал «Мессинская невеста». В это время поэт был обременен семейными заботами. Он должен был позаботиться о продаже своего владения в Йене и приобрести дом в Веймаре, и эта нелегкая задача требовала и осмотрительности, и энергии. К тому же и состояние его тоже вызывало тревогу. В этот период Шиллер занимался

обработкой и инсценировкой «Принцессы Турандот» Карло Гоцци и гётевской «Ифигении» — коль скоро ему недоставало сил для собственного творчества, он обретал известное удовлетворение и в такой работе. Временами в его переписке вновь мелькало, будто привидение, слово «Уорбек», символизируя замысел новой пьесы, который, однако, так и остался неосуществленным, поскольку летом 1802 года Шиллер стал писать другую пьесу, под названием «Мессинская невеста».

«Этими днями я не без успеха занимался моей пьесой, и ни на одной работе я еще не научился столь многому, как на этой. Пьеса — единое целое, которое мне легче обозреть и коим мне легче управлять, да и куда более благодарная и приятная задача — обогатить и наполнить содержанием более простой сюжет, нежели урезать не в меру обширный и щедрый материал», — рассказывал драматург в письме к Гёте от 18 августа 1802 года. А спустя несколько недель он сообщал Кёрнеру:

«После долгого колебания между несколькими сюжетами я решил взяться сначала за этот по следующим трем соображениям: 1) план этой трагедии чрезвычайно прост и поэтому разработан мною лучше других, 2) мне необходим был некоторый стимул в виде новой формы, и такой формы, которая приближалась бы к античной трагедии, а здесь это именно так и есть, потому что пьеса действительно близка к эсхиловской трагедии, 3) я должен был выбрать что-нибудь не *de longue haleine*¹, потому что после длительного перерыва мне необходимо написать какое-либо законченное произведение» (VII, 577).

Из того же письма, кстати, можно понять, что Шиллер еще в сентябре минувшего года в Лейпциге обсуждал свой замысел с Кёрнером — в ту пору друзья увиделись в последний раз.

Драма «Мессинская невеста» занимает особое место среди пьес Шиллера. Шиллер осуществил здесь замысел, который вынашивал много лет: возродить греческую трагедию на уровне, отвечающем его времени. Соответственно он и избрал сюжет не из столь хорошо знакомого ему мира богов и героев античности, а выбрал такое место действия, «где сталкивались и смешивались христианство, греческая мифология и магометанство» (из письма к Кёрнеру, VII, 585), а именно — Сицилию.

Вымышленный сюжет предельно неправдоподобен: между двумя братьями вспыхивает усобица; мать скрывает от всех существование дочери; оба брата любят одну и ту же девушку, не подозревая, что она приходится им сестрой; наконец ужасный финал. Между тем неправдоподобность здесь сознательная — пусть хоть раз театр покажет не реальные события в драматической переплавке, а вымышленное, но исполненное внутренней логики действие! «Возможен ли полный отказ от реальности на трагедийной сцене?» — вопрошает Герхард Шторц*. Сюжет «Мессинской невесты», стало быть, полностью оторван от жизни. Люди, действующие в пьесе, — всего лишь марионетки, пешки, ведомые роком, цель которого скрыта от глаз людей.

¹ Требующее продолжительных усилий (*франц.*).

В этой «поэтической драме» совершенно особая роль отведена хору. Назначение его не только особое, но и двойное. В том же уже цитировавшемся много раз письме к Кёрнеру Шиллер объяснял, что хотел наделить его двойной ролью: в одних случаях хор находится в состоянии спокойной созерцательности, наблюдая за происходящим словно бы с высокой трибуны; в других же случаях хор олицетворяет толпу, страстно переживающую все события, возвышает свой голос уже от ее имени. Впоследствии Шиллер предпослал тексту пьесы статью под названием «О применении хора в трагедии». Предисловие это, правда, начинается словами: «Оправдание поэтического произведения должно заключаться в нем самом, и там, где не говорят дела, слова мало помогут» (VII, 6 5 5), — однако эта статья, объемом в семь страниц, содержит хитроумную, не столь легкую для прочтения мотивировку. Может быть, перед нами экспериментальная дидактическая драма? Что ж, можно и так ее назвать. А все же в ней бьется живая струя поэзии, с особой силой осязаемой в словах хора:

Вдоль по улицам града
Привычное к плачу
Шествует горе.
Мрачно обходит
Дома и чертоги:
В эти ворота
Нынче стучится,
Завтра в другие, —
Только никто от беды не уйдет... (III, 248—249)

Красота и сила поэтического языка Шиллера, каким бы странным ни казался сюжет пьесы, все же увлекла, захватила зрителей. Премьера, состоявшаяся 19 марта 1803 года, встретила у публики восторженный прием — это и был тот самый спектакль, когда Гёте пришлось воззвать к помощи полиции, дабы приглушить бьющий через край восторг студентов.

Своеобразно протекало представление, которое состоялось летом того же года в Лаухштедте. Об этом курорте, расположенном неподалеку от Лейпцига, уже упоминалось в нашей книге: в свое время там лечились на водах сестры Ленгефельд и там же приняли известное решение относительно общего своего поклонника — с той поры минуло уже четырнадцать лет. В Лаухштедте со времени расцвета курорта регулярно давались театральные представления в большом дощатом строении, прозванном «овечьим загоном», и вот как раз в 1802 году там был сооружен новый театр. «Задача превращения скверного деревенского трактира в театр-дворец, при том, что большинство публики словно бы перемещалось на более высокий уровень, требовала серьезных раздумий», — заметил Гёте в своем дневнике. И в самом деле, Гёте, Генц и Шинкель погрузились в раздумья, которые принесли желаемый результат. Ныне это внешне скромное здание бережно восстановлено.

3 июля 1803 года, в мучительно жаркую погоду, в этом театре играли «Мессинскую невесту». На спектакле присутствовал сам Шиллер в сопровождении вюртембергского принца Евгения (брата Фридри-

ха, правившего тогда в Штутгарте; Евгений был женат на вдове одного из мейнингенских герцогов), с которым постоянно общался. Артист по фамилии Графф впоследствии вспоминал: «Его (Шиллера) присутствие в городке, его слава — все это умножало желание публики вновь увидеть пьесу, принадлежащую его перу, и в итоге к нам повалила бесчисленная толпа зрителей как из Лаухштедта, так и в особенности из Галле. Наш театр был набит битком. С подлинной торжественностью и благоговением начали мы представление; с каждым актом усиливались овации. Мне досталась роль первого корифея. В тот самый миг, когда я в четвертом акте начал читать строки:

Когда тучи омрачат чертог небесный
И, грозя, громыхает гром,
Мы пред сумраком близкой бездны
Власть судьбы над собой сознаем (III, 249), —

над домом разразился ужасный гром, так что весь театр задрожал. Это так взволновало меня, что и я громовым голосом прокричал стихи в зал. И действия их я попросту не в силах передать: в переполненном зале театра воцарилась чуть ли не жуткая тишина...»

Но даже и без молний и грома, пьеса производила на зрителей огромное впечатление. Критика же приняла ее холодно. Гёте, правда, дружески поздравил друга с успехом, но воздержался, однако, от какой-либо оценки пьесы.

Последней пьесой, законченной Шиллером, оказалась драма «Вильгельм Телль». Первое знакомство поэта с историей Швейцарии отражено в его переписке с Лоттой Ленгефельд, относящейся к весне 1789 года. В те дни Лотта как раз читала «Историю Швейцарии» Мюллера — серьезный труд, «дышащий истинной любовью автора к своей стране, но также — и уважением к истине», как много лет спустя отмечал Х. Гельцер. Лотта была очарована этой книгой: «Как будто читаешь старые сказки». И дальше: «Многие черты древних швейцарских героев вызывают слезы умиления, от коих невозможно удержаться, а повествование отличается силой и простотой. Право, это единственная немецкая история из всех известных мне, которую приятно читать после вашей истории Нидерландов». Новоиспеченный профессор, однако, позволил себе не согласиться с Лоттой: «Я не отрицаю смелости и героизма швейцарцев — ни в коей мере. Но я благодарен небу за то, что живу среди людей, которые неспособны на такой великий подвиг, как Винкельрид. Не обладая тем, что французы называют «*fêgosité*»¹, невозможно проявить подобную героическую отвагу: резкие поступки, на которые способен человек в состоянии грубой запальчивости, можно лишь засчитать всему человеческому роду как свидетельство его силы, но нельзя на этом лишь основании приписывать индивидууму величие».

Лотта, возражая ему, отвечала с обратной почтой: «Я рада была бы объявить вам войну, дорогой друг, оттого что мой швейцарский герой не

¹ Мужество (франц.).

видится вам столь же великим, каким он кажется нам. Он же пожертвовал собой отнюдь не в припадке ярости — поступок его был хорошо продуман...»

Да, Винкельрид был героем Лотты, а не Телль — а все же сама тональность этой переписки весьма близка к той, что звучит в последней пьесе Шиллера, написанной в годы, когда поэт находился в апогее своего творчества.

Сюжет «Телля» подсказал Шиллеру Гёте. На исходе лета 1797 года Гёте совершил путешествие в Швейцарию и посетил места у Фирвальдштетского озера: «Эта восхитительная, великолепная, прекрасная природа вновь произвела на меня такое впечатление, что мне захотелось отобразить в стихах изменчивость и богатство этого неповторимого пейзажа. Стремясь, однако, внести в мою картину еще больше прелести, очарования и жизни, я почел за благо населить сей замечательный край столь же замечательными людьми, и легенда о Телле пришла мне для этого весьма кстати» (Гёте — Эккерману).

И дальше:

«Телля я представлял себе первоначально могучим, довольным собой, детски-бессознательным человеком героического склада, который, переноса из одного места в другое грузы, бродит из кантона в кантон, где всюду его знают и любят, всем помогает, притом спокойно занимается своим ремеслом и печется о жене и детях, но нимало не заботит его, кто господин, а кто — слуга».

Гесслер, князь и Штауффбахер — все эти персонажи уже успели завладеть воображением Гёте, а еще и Винкельрид, которого мы, однако, не встречаем в драме Шиллера, что и не было бы исторически оправдано. «Я был весь полон этим прекрасным сюжетом и временами уже бормотал навеянные им гексаметры... Обо всем этом я рассказывал Шиллеру, и в его душе мои пейзажи и мои персонажи воплотились в драму. А так как у меня было много других дел и я все больше и больше откладывал исполнение моего замысла, то и уступил полностью этот мой сюжет Шиллеру...»

Стало быть, край у Фирвальдштетского озера, его обитатели, да еще и история Вильгельма Телля и связанные с этим героем предания не раз служили друзьям излюбленным предметом беседы. Весной 1802 года Шиллер вплотную взялся за воплощение этого сюжета «с силой и увлеченностью, каких я давно уже за собой не знал» (из письма к Гёте от 10 марта 1802 года).

Спустя четыре дня Шиллер обращается к Котте: «Если вам удастся раздобыть для меня точную специальную карту Фирвальдштетского озера и окрестных мест, то будьте же столь добры привезти ее с собой. Столь часто доходил до меня ложный слух, будто бы я работаю над сюжетом о Вильгельме Телле, что в конце концов я и впрямь обратил на него внимание и принялся изучать «Историю Швейцарии» хрониста Чуди. Книга эта настолько увлекла меня, что теперь я и в самом деле намерен обработать материал о Вильгельме Телле, и это будет драма, которая сделает нам честь. Только смотрите, никому об этом ни слова...»

Далее Шиллер просит своего издателя достать также и книгу Чуди,

«потому что мне очень хотелось бы иметь собственный экземпляр этой хроники».

Котта отвечал: «Меня бесконечно радует, что вы работаете над сюжетом о Телле. Я все вам привезу, что вы для этого дела потребуете».

Потом дело как-то замерло, но в мыслях поэта уже совершалась работа. В июле следующего года Гёте с Шиллером как-то раз приняли долгую прогулку, и Шиллер советовался с другом о своем замысле. Вслед за этим снова полетело письмо к Котте: «Если вам попадутся какие-либо проспекты швейцарских местностей, особенно швейцарского побережья Фирвальдштетского озера, что напротив Рютли, то пришлите мне их непременно. Еще я желал бы иметь «Описание Земли» Фюссли, книгу Чокке о Швейцарии и письма о швейцарском пастушеском крае, как и продолжение книги Эбеля о горных народностях. Все эти книги я мог бы вернуть через две недели, если только возможно получить их на время. И еще я желал бы прочитать все то, что в последнее время выходило в Берне о Вильгельме Телле».

Таким образом, перед нами ясно вырисовывается процесс создания драмы.

Гёте, неугомонный путешественник, с каким не сравнится ни один немец, даже Зейме или князь Пюкклер, рассказывал, а Шиллер, обладавший великолепным даром воображения, слушал. Помогали к тому же печатные издания — карты, проспекты, исторические сочинения. В результате получилось такое емкое, красочное изображение края и его обитателей, что подобного ему, возможно, и не найдешь ни в какой другой пьесе.

Вот картина первой сцены: «Высокий скалистый берег Фирвальдштетского озера напротив Швица. Озеро образует бухту. Недалеко от берега стоит хижина. Мальчик-рыбак плывет в челноке. На другой стороне озера видны ярко освещенные солнцем лужайки, деревни и одинокие усадьбы Швица. Слева от зрителя вырисовываются сквозь облака острые зубы Гаккена; справа, в глубине сцены, виднеются снежные горы. Еще до поднятия занавеса слышны звуки швейцарской пастушеской песни и мелодичный перезвон колокольчиков, который продолжается некоторое время и после поднятия занавеса» (III, 274).

А перед этой кулисой — рыбаки, охотники, пастухи. Местный колорит в самых что ни на есть ярких красках. Этот колорит проявляется даже в некотором приближении к диалекту: «Смотри, чтоб скот не разбредался, Сеппи» (III, 276). В сцене, происходящей на Рютли, употребляются выражения, которые до сей поры можно услышать в сельских общинах, в маленьких кантонах.

Редко случалось драматургам, в том числе и самому Шиллеру, с такой дотошностью изучать и воссоздавать в пьесе обстановку места действия. В одном недавнем швейцарском исследовании говорится: «Создается впечатление, словно Шиллер стремился вплести в ткань пьесы как своего рода элементы предания местный колорит, который в данном случае представлялся ему необыкновенно важным, и даже географические названия здешних мест, знакомые тогдашней публи-

к е , — чтобы с помощью этой картины показать условия жизни своих героев. Уже в первом явлении разверзаются стихии — слышится рокотанье грома, вой ветра, поднимается буря. Так восславим же Шиллера! Ведь он, ни разу не побывав в этом гористом крае, не увидев ни здешнего пейзажа, ни атмосферы, сумел донести все это до зрителя как некий внезапный праздничный эффект» (Барбара Шнидер-Зайдель).

В дальнейшем Шиллера все же уличили в небольших погрешностях, которых — при том, что пьеса создавалась в веймарском доме, за письменным столом, — вообще невозможно было избежать, но всякий, кто объездил этот край, знает, что Рютли — гора не столь уж высокая и взойти на нее дело не сложное. Однако в целом, что подтверждает и автор цитировавшейся выше новейшей работы, Шиллер совершил ни с чем не сравнимый творческий подвиг, мастерски воплотив в своей пьесе край, которого ни разу в жизни не видел.

И не только край! Все, что известно из истории и преданий, относящихся к ранней поре Швейцарской Конфедерации, все это воспринято и воплощено в шиллеровском «Вильгельме Телле», увековечено в стихах, подобных бронзовому монументу. Вот клятва, принятая в Рютли:

Да будем мы народом граждан-братьев,
В грозе, в беде единым, нераздельным.
Да будем мы свободными, как предки,
И смерть пусть каждый рабству предпочтет.
На бога да возложим упованье
Без страха пред могуществом людей. (III, 336)

Швейцарская исследовательница, уже цитировавшаяся нами выше, заметила по этому поводу, что «всякий раз ты готов поверить, будто эти строки — начало первого послания Конфедерации». А к клятве, данной на Рютли, мы впоследствии еще возвратимся.

Вся драматическая поэма пронизана могучим дыханием. Жизненный опыт зрелого человека наглядно ошутим, и, быть может, самое прекрасное место в пьесе — это диалог Телля с женой Гедвигой (действие 3-е, сцена 1-я), когда жена произносит мудрые слова:

Ты выручить всегда готов другого,
А попадешь в беду, так не помогут. (III, 340)

Иными словами: «Кто поступает по справедливости, тех больше всего и ненавидят». С большим психологическим мастерством написан рассказ Телля о том, как он шел пустынной горной тропой и встретил там одного, без провожатых, ландфогта: «Лицом к лицу стоим, а рядом — пропасть» (III, 340), и Гесслер побледнел от испуга, а Телль лишь учтиво поздоровался с ним. На это Гедвига отвечает мужу:

Он задрожал перед тобой... Смотри!
Позора он вовек не позабудет. (III, 342)

Кстати, супруги Телль контрапунктически противопоставлены супругам Штауффахер. Если жена Штауффахера — Гертруда про-

буждает отвагу в сердце мужа, то Гедвига, напротив, призывает мужа к осмотрительности, но в обоих случаях самые мудрые слова вложены автором в уста женщин, и в этом можно усмотреть известную дань уважения Лотте.

Выстрел в яблоко — это апогей предания о Вильгельме Телле. В песне, извлеченной из старинных источников, которые повествуют о Швейцарской Конфедерации (текст песни записан в 1535 году), говорится:

Ландфогт рек Вильгельму Теллю:
Покажи, сколь ты владеешь искусством...

А после того, как Телль благополучно «сбил яблоко с головы» своего сына, ландфогт подозрительно осведомился: а что Телль замыслил сделать со второй стрелой, которая была в колчане:

Вильгельм Телль был гневливый муж,
Зло накинудся он на ландфогта:
Случись мне застрелить мое дитя,
То, верно говорю тебе, ландфогт, —
Той стрелой я бы тебя самого поразил.

Вот этим чистым звучанием старинных сказок и восхищалась в юности Лотта, да и сам Шиллер тоже всю свою жизнь любил эту сказочную интонацию. В сцене 3-й 3-го действия: «луг возле Альтдорфа» — Шиллер великолепно переходит от эпизода со шляпой на шесте, которой ландфогт всем повелел кланяться, к эпизоду с выстрелом в яблоко. За метким выстрелом в яблоко следует дерзкий ответ Гесслеру, арест Телля, затем его бегство во время морской бури и, наконец, убийство тирана — могучей рукой Шиллер стремительно ведет свою стихотворную драму к эпилогу. Лишь встреча с беглым Иоганном Паррицидой, герцогом Швабским, перед самым финалом словно бы нарушает ход событий: Шиллер ввел эту сцену, дабы противопоставить «быстрый, дикий акт безумья» отцеубийцы освободительному акту своего героя, при всем том вылившемся в убийство тирана. Длинного, полного тяжких раздумий монолога Телля перед выстрелом в ландфогта — ему показалось недостаточно.

17 марта 1804 года в Веймарском театре состоялась премьера «Телля». Представление длилось с половины шестого до одиннадцати часов ночи. И тем не менее это был успех, который превзошел все былые успехи. Драма о Вильгельме Телле начала свое победное шествие по сценам мира.

В подавляющем большинстве шиллеровских пьес проступает его политическое кредо — если, конечно, понимать слово «политика» в самом широком его смысле. Карл Моор, майор Фердинанд, маркиз Поза — все они смело высказываются против общества, которое окостенело в условностях, давно потерявших всякий смысл, против насилия над умами и совестью людей. Эпиграф «на тиранов» на титульном листе драмы «Разбойники», как мы знаем, не был поставлен самим Шиллером, но уже один факт его появления показывает, насколько велико было влияние бунтарского произведения поэта на его современников. Теперь же, достигнув вершины своего творчества и

подойдя к концу своего жизненного пути, Шиллер вновь провозгласил свое знаменитое: «на тиранов»:

Но есть предел насилию тиранов!
Когда жестоко попораны права
И бремя нестерпимо, к небесам
Бестрепетно взывает угнетенный.
Там подтвержденье прав находит он,
Что, неотъемлемы и нерушимы,
Как звезды человечеству сияют. (III, 329)

В драме «Вильгельм Телль», как и в «Истории отпадения Нидерландов», громко звучит требование свободы, национального освобождения: оба произведения повествуют о борьбе народов против своих угнетателей. Но поскольку угнетение повторяется вновь и вновь, то и чеканные стихи Шиллера всякий раз обретают новую жизнь:

Как! Слабое пастушеское племя
Дерзнет на бой с властителем вселенной?
Предлог им только благовидный нужен,
Чтоб двинуть на злосчастную страну
Наемников неистовые орды.
Знай, правом победителя прикрывшись,
Они под видом справедливой кары
Покончат с нашей вольностью старинной. (III, 289)

И всегда, и везде Шиллер увлекает человеческие сердца.

ПОСЛЕДНЕЕ ОБИТАЛИЩЕ

После переселения в Веймар Шиллер утратил всякий интерес к своему владению в Йене. Даже «садовая башня», из которой открывался великолепный вид на дальние холмы и долины, больше не привлекала его. Лишь весной 1801 года он приезжал сюда на несколько недель, чтобы спокойно завершить работу над драмой «Орлеанская дева». А уж потом его заботило только одно: как бы поскорее избавиться от йенского дома, садового павильона и сада, что оказалось весьма непростым делом.

Шиллер старался приобрести в Веймаре дом и к началу 1802 года присмотрел подходящий. Несколькими годами раньше молодой английский литератор по фамилии Меллиш выстроил для себя на Эспланаде просторный дом, без особых излишеств, но отменного вкуса архитектуры и в уютном бюргерском стиле, хоть и не без налета классицизма. В доме, удобно расположенном, было шесть окон по фасаду; над довольно низким первым этажом высился бельэтаж, над бельэтажем — еще этаж с красивой комнатой посередине, слева и справа — мансарды. Меллиш запросил сравнительно умеренную цену — 4200 талеров. Эта сумма больше чем втрое превышала все то, что Шиллер мог выручить при продаже своего владения в Йене. Поэт принялся добывать средства для покупки дома и действовал при этом с размахом, ведь такое понятие применимо и к займу, коль скоро необходимость диктуется обстоятельствами.

Первым делом он обратился к Котте: «В свое время, дорогой

друг, вы разрешили мне обратиться к вам в случае, если для покупки дома мне понадобится денежный аванс. Случай таковой нынче представился, и, поскольку не хотелось бы упускать эту возможность, я решил воспользоваться вашим любезным предложением. Правда, я могу получить часть суммы у тещи и даже немного задолжать за дом, но все же мне потребуется сумма в 2600 гульденов, потому что весь дом с необходимым ремонтом обойдется мне в 8000 гульденов — так дорого приходится платить за жилье в нашей жалкой дыре. А сад в Йене, за счет продажи которого я мог бы выручить требуемую сумму, мне не хотелось бы продавать с убытком». Когда пожелал Шиллеру успеха при покупке дома и сообщил, что 2600 гульденов (это 1430 талеров) для него уже приготовлены. В марте веймарская княжеская палата предоставила поэту кредит на ту же сумму. Небольшую сумму дал ему в долг Гёте. Chère mère добавила к этому свои 600 талеров. Затем была дана закладная арендатору Вайднеру на сумму 2200 талеров, из четырех процентов годовых. Наконец в июне йенское владение купил профессор юриспруденции Тибо за 1150 талеров — в точности за ту же самую сумму, которую в свое время уплатил Шиллер (хотя в ту пору у поэта было еще много расходов на ремонт и перестройку). Если сложить все эти поступления, получится сумма в 6810 талеров, причем здесь не учтены деньги, данные в долг Гёте, аванс Гёшена, как и все гонорары, случившиеся к этому времени. Таким образом была создана необходимая материальная база для покупки дома. 19 марта стороны подписали договор. 26 марта покупатель внес первый взнос в размере 1365 талеров, а в апреле и в мае — дальнейшие взносы. Так Шиллер закрепил за собой дом Меллиша. После перестройки дома поэту пришлось платить еще и плотникам, словом, расходы на несколько сот талеров превысили первоначальный расчет.

В конце апреля семья Шиллеров переехала в новый дом. Гёте тепло поздравил друга: «Мне будет чрезвычайно приятно увидеть вас здоровым и деятельным в новом, приветливом жилище, открытом солнцу и зелени». Свояченица Шиллера Каролина, которая, став супругой Вольцогена, поселилась в отличном особняке, называет новое обиталище поэта маленьким, но удобным и приветливым домиком: «Он жил в верхнем этаже один. Утром и днем солнце освещало его комнаты. Окно, у которого стоял его письменный стол, завесили красной шелковой занавеской. Шиллер сказал нам, что красноватый отсвет от занавески бодрит его и побуждает к творчеству». Речь идет о знаменитой комнате с кроватью из сосновых досок, с простым письменным столом, со спинетом Лотты, с итальянскими пейзажами в рамках на зеленых, в синюю крапинку, обоях и, как уже говорилось, с красными занавесками — комнату эту, как и весь дом, сберегли самым тщательным образом. За всем этим ухаживают с любовью, с глубоким знанием дела — и показывают: «Вот комната, в которой Шиллер жил и работал все три последних года своей жизни, комната, в которой он умер». Кстати, здесь будет уместно заметить, что в 70-е годы XIX века в том же доме вновь поселился выдающийся жилец — Эрнст Аббе, основатель цейсовского фонда. При нем стены все еще были оклеены ядовито-зелеными обоями, в которых впоследствии обнаружили

высокий процент мышьяка. Всякий, кому известно физическое состояние Шиллера, понимает, насколько бессмысленно утверждение, будто эти обои и принесли ему смерть. Однако нельзя полностью исключить возможность, что мышьячные обои усугубляли нездоровье поэта.

Дом был обставлен чрезвычайно просто, «по-мещански» (Мозап). Комнаты в бельэтаже, какие сегодня показывают посетителям, приемная комната и гостиная, выглядели менее нарядно. Некоторое представление об обстановке дает нам письмо Шиллера к Лотте, написанное в августе 1804 года, в ту пору, когда Лотта, после рождения четвертого ребенка, еще на некоторое время задержалась в доме Грисбаха в Йене, где за ней заботливо ухаживали.

«Окружающая спокойная обстановка и удобства, которых я был лишен, благоприятно действуют на меня, но мне странно чувствовать себя таким одиноким и оторванным от вас. До твоего приезда я с удовольствием буду заниматься небольшими доделками по дому: пол в комнате уже настлан, комната Христины будет приведена в порядок и станет вполне удобна для жилья. Детская сейчас очень комфортабельна; спальня рядом — тоже. Я заказал для твердой кушетки новый хороший матрац, набитый конским волосом из сохранившихся у меня подушек; налицо два дубовых комода и два новых дубовых стола; находящиеся в плохом состоянии буковые столы будут заново облицованы и проморены. Для тебя уже приготовлен очень красивый ночной столик красного дерева и маленький чайный столик, обитый лакированной жестью. Чехлы с дивана и стульев из парадных комнат я отдал в стирку, как и занавеси из передних комнат, которые я возьму себе» (VII, 600). Перед нами Шиллер — отец семейства, хозяин.

Случаю было угодно, чтобы в тот самый день, когда семья Шиллера переселилась в новый дом — последнее обиталище поэта, — в Клеверзальцбахе умерла его мать. Скорбную эту весть привез Котта, направлявшийся на книжную ярмарку в Лейпциг и оказавшийся в Веймаре проездом. Котта, однако, сообщил ее только Лотте — не Шиллеру, — Лотта же решила открыть мужу правду лишь спустя три дня. Узнав ее, поэт пережил огромное потрясение. В письме к Гёте Шиллер признается, как глубоко взволновало его «подобное переплетение судеб». Сестре же он написал: «Да, дорогой матушки... нет в живых, она отстрадалась, и мы должны были этого ей желать. Дорогая моя сестра, скончались наши любящие родители, с ними оборвалась та старейшая нить, которая привязывала нас к жизни. Мне очень грустно, я действительно ощущаю себя одиноким, хотя меня и окружают любимые и любящие люди, хотя у меня есть еще вы обе, добрые мои сестрицы, к вам я могу прибегнуть и в горе и в радости. Теперь, когда из родной семьи мы одни остались в живых, нам надо сплотиться еще тесней. Никогда не забывай, что у тебя есть любящий брат...» (VII, 576).

«Меня окружают любимые и любящие люди» — глубокое, прекрасное чувство сквозит в этих словах. Когда Шиллер в последний раз отмечал сочельник, его окружали четверо детей: одиннадцатилетний Карл, восьмилетний Эрнст, пятилетняя Каролина и, наконец, Эмилия, которой было всего полгода... «Когда отец, взяв ее на руки, принялся

носить ее вокруг рождественской елки, сверкавшей множеством огней, она тянулась к дереву ручонками и радостным визгом выражала свое удовольствие». Эта цитата — из записок Карла. Зарисовка эта напоминает рассказ Ховена о праздновании рождества в Людвигсбурге, когда первенец поэта Карл только что появился на свет.

Поистине достойно восхищения: при том, что здоровье поэта было безвозвратно подорвано и лишь в упорном поединке с недугом он мог продолжать свой творческий труд, что он и делал со страстью, с огромным напряжением воли, этот гениальный человек в то же время умел быть и заботливым хозяином, и хорошим мужем, и добрым, терпеливым отцом.

Нам доподлинно известно, что, воспитывая своих детей, Шиллер почти никогда не прибегал к шлепкам — факт если не уникальный, то, во всяком случае по тем временам, крайне редкий. Сын поэта Карл поведал нам об эпизоде, который разыгрался, по всей вероятности, еще в первой веймарской квартире Шиллеров — той, что они снимали у парикмахера Мюллера. Карлу в ту пору было лет семь-восемь. «Как-то раз около полудня мы с братом и сестрой были в нашей комнате, где обычно также и обедали; все мы очень проголодались, только отец еще спал. Комната, в которой мы жили, располагалась над его спальней. Стараясь позабыть о голоде, мы принялись бегать вокруг круглого обеденного стола, чем разбудили отца, который позвал своего слугу, а я, обрадовавшись, что отец проснулся, помчался вниз, чтобы сказать ему «доброе утро». Дверь его спальни была еще заперта, я стал стучаться в нее, и он спросил: «Кто там?» — «Я!» — «Кто — я?» — спросил он. «Карл!» — ответил я. Тут отец отпер дверь, но вместо того, чтобы ласково сказать мне «доброе утро», он схватил Меня за шиворот и несколько раз легонько шлепнул меня, приговаривая: «Погоди, уж я отучу вас шуметь...» Это необыкновенное происшествие настолько потрясло Карла, что, «устыдившись шлепков», он забрался к матери под кровать и весь остаток дня там так и проспал. «Это был второй такой случай в моей жизни — больше отец никогда меня не наказывал».

Достаточно вспомнить, как самого поэта в детстве колотили и дома, и особенно в латинской школе. Но не только в этом — и в других отношениях Шиллер сделал из всего, что довелось ему в ранней юности пережить, необходимые выводы для воспитания собственных детей. Он, правда, всех их позволил окрестить, не допуская, однако, для них никакого религиозного обучения. Христиане фон Вурмб, молоденькой кузине Лотты, в 1802 году довелось некоторое время прожить в доме у Шиллеров, и она записывала все высказывания поэта. Как-то раз шестилетний Эрнст спросил ее: «А откуда берется ветер?» Девушка велела мальчику спросить об этом у отца.

А Шиллер потом сказал ей: «Следовало бы положить себе священной обязанностью ни в коем случае не стремиться слишком рано внушать ребенку понятие бога. Потребность в таковом должна исходить изнутри, и грешно отвечать на вопрос прежде, чем он будет поставлен. Сплошь и рядом ребенку уже на шестом или седьмом году жизни начинают говорить что-то про творца и создателя мира в ту по-

ру, когда он еще не в силах постичь великий, прекрасный смысл этих слов, и вследствие этого у него возникают на этот счет собственные и при том весьма путанные представления. Одно из двух: или преждевременным объяснением мы полностью предотвратим тот прекрасный миг в жизни ребенка, когда он ощутит потребность узнать, откуда он и для чего появился на свет, или миг этот все же наступит, но ребенок, устав от прежних размышлений, уже успеет ко всему этому охладеть, и никогда уже не удастся вдохнуть в него пыл, который охватил бы его, если бы мы не торопились приблизить этот решающий миг. И как знать, быть может, ребенок потом всю жизнь не сможет отделаться от этих ошибочных представлений или хотя бы дать им ослабнуть». Верен ли подобный педагогический подход — этот вопрос остается спорным. Несомненно лишь одно: мы наблюдаем здесь реакцию на избыток нажима, которому подвергся сам Шиллер в дни своего детства. Забота о детях волновала поэта и тогда, когда он размышлял о своих денежных делах, и это тоже в силу неистершихся воспоминаний о собственной юности: «Только бы мне отложить для детей довольно, чтобы оградить их от зависимости — уже одна мысль о таковой для меня непереносима» (из воспоминаний свояченицы).

В этом последнем обиталище поэта и была начата и завершена большая работа — драма «Вильгельм Телль». О том, как протекала эта работа, впоследствии самым наглядным образом рассказал Гёте в одном из своих разговоров в Карлсбаде: «Шиллер поставил перед собой задачу написать «Телля». Он начал с того, что оклеил все стены своей комнаты картами Швейцарии — сколько сумел их раздобыть. Затем он принялся читать путевые записи о Швейцарии, пока самым точным образом не представил себе каждую тропку в местах, где вспыхнуло швейцарское восстание. Одновременно он изучал историю Швейцарии. Собрав весь материал, он сел за работу и буквально не поднимался с места, пока не завершил «Телля». Когда же его одолевала усталость, он клал голову на скрещенные руки и засыпал. Проснувшись, он просил принести, нет, не шампанское, как ошибочно рассказывали о нем, а черный кофе, чтобы поддерживать в себе бодрость. Так за полтора месяца он окончил «Телля», и вот почему эта драма — вся будто из одного куска». Нельзя, разумеется, принимать на веру каждое слово из этого рассказа, сделанного спустя много лет, но он, безусловно, правдив, а главное — правдоподобен.

Здесь самое время упомянуть о том довольно известном обстоятельстве, что Шиллера бодрил запах гнилых яблок. И тут тоже мы призываем в свидетели Гёте: «Мы, как сказано и как это вам известно, несмотря на тождество нашего направления, были совершенно разными людьми, и не только в духовном отношении, но и в физическом. Воздух, благотворный для Шиллера, для меня был сущим адом. Как-то раз я зашел к нему и не застал его дома, а так как его жена сказала, что он скоро вернется, то я присел к его письменному столу, чтобы кое-что записать. Но просидел я недолго, на меня напала какая-то дурнота, которая все усиливалась; мне казалось, что я уже близок к обмороку. Я поначалу не понял, чем вызвано это непривычное для меня состояние, но потом заметил, что из ящичка письменного стола чем-то

сильно пахнет. Открыв его, с изумлением увидел, что он полон гниющих яблок. Я немедленно подошел к окну, вдохнул свежего воздуха и тотчас же пришел в себя. Между тем в комнату вернулась жена Шиллера, она объяснила, что ящик всегда полон гнилых яблок, так как этот запах приносит пользу Шиллеру, без него он-де не может ни жить, ни работать»¹. История с гнилыми яблоками, таким образом, подтверждается «на высшем уровне». Перед нами — мелкая странность поэта, безобидное чудачество. Кстати, в этом рассказе Гёте примечательно и другое: он без стеснения расположился за письменным столом Шиллера, а уж это — верный знак большой близости.

Больше, чем в Йене, и больше, чем в веймарской квартире, здесь, в доме на Эспланаде, поэт общался с друзьями, виделся со множеством людей. Именно к последним годам жизни Шиллера относятся рассказы о том, как любезно он беседовал с незнакомыми посетителями, как радушно принимал гостей. Осенью 1802 года в Йену переехал из Гольштейна Иоганн Генрих Фосс с семьей (всякий житель Йены вполнине жил и в Веймаре, как, впрочем, и наоборот). В Северной Германии Фосс стяжал громкую литературную славу, чуть ли не переросшую славу старика Клопштока и совсем затмившую тишайшего Маттиаса Клаудиуса (о котором, кстати сказать, Шиллер так и не составил себе надлежащего представления). Но при всем этом Фосс, человек столь же прямодушный, сколь и свободолюбивый, был чужд всякому чванству. Огромной популярностью пользовались его идиллии, повсюду славился его перевод Гомера — и то, и другое вполне заслуженно. Его жена Эрнестина была урожденная Бойе, брат ее — ландфогт Мельдорфа — обладал редкой литературной образованностью. Вместе с родителями приехал в Веймар также их 23-летний сын Генрих, который впоследствии несколько лет преподавал в веймарской гимназии древние языки. Это был милый юноша, горячий поклонник Шиллера, всегда готовый оказать любую услугу и помощь, и ему довелось стать взволнованным свидетелем последних лет жизни поэта.

Семейство Фоссов поселилось в доме Грисбаха, по всей вероятности, в комнатах, прежде занимавшихся семьей Шиллера. После первого визита к Гёте и Шиллеру Эрнестина Фосс записала: «...Шиллер пригласил нас к себе на обед. Когда мы только вышли из кареты, его радушная сердечность сразу же настроила нас на непринужденный, я бы даже сказала, какой-то домашний лад. Он стоял в дверях, и в его приветливом бледном лице было что-то трогательное. Я живо помню еще, как вечером в гостинице мы провели несколько веселых часов в разговорах о приятном будущем. У нас обоих было чувство, что в лице Шиллера мы обрели человека, которому можно отомкнуть свое сердце...» А спустя еще год Эрнестина так писала брату, рассказывая о своем общении с Гёте и Шиллером: «С ним (с Шиллером), однако чувствуешь себя гораздо сердечнее и свободнее, совсем как с близким человеком. И она (Лотта) тоже мне весьма по душе...»

Новые друзья, старые друзья... Шиллер был в высшей мере наделен даром дружбы, и пусть невозможно всю жизнь поддерживать все прежние дружеские связи, а все же поэт с искренней радостью встре-

¹ Эккерман И. П. Разговоры с Гёте, с. 547.

чал всякого, с кем судьба впоследствии вновь сводила его. Сохранил он и дружбу с Гёшеном, которая, в силу уже известных обстоятельств, грозила оборваться. При том, что главным издателем произведений Шиллера, начиная с 1794 года, бесспорно, был Котта, все же он не располагал монополией и кое-что по-прежнему издавалось у Крузиуса и Гёшена. Гёшен навестил Шиллера в ноябре 1804 года, и поэт обещал ему, что, подобно ряду других писателей, будет опекать его новое издание под названием «Журнал для немецких женщин, написанный немецкими женщинами» и «редактируемый Виландом, Шиллером, Рохлицем и Зейме». За две недели до смерти, 24 апреля 1805 года, Шиллер в письме к Гёшену пожелал ему успешно продолжать «начатое дело издания женского журнала».

Обмен мыслей с Кёрнером, другом всей его жизни, протекал волнообразно, то необыкновенно интенсивно, то более скудно. Но всегда Кёрнер оставался неотъемлемой частью бытия поэта, начиная с мангеймских времен, когда восхищение кёрнеровского кружка явилось для Шиллера лучом света во мраке, и кончая тем днем, за две недели до смерти, когда Шиллер в последний раз написал другу: «Я буду очень доволен, если мое здоровье и жизнь продлятся до пятидесяти лет» (VII, 610). На фоне огромного объема переписки дружбы, можно считать, в последние годы виделись редко — то разминутся где-нибудь, то нечаянно упустят возможность для встречи. Кёрнер так ни разу и не бывал в последнем обиталище поэта. Хорошо еще, что летом 1801 года Шиллер предпринял путешествие в Саксонию и в Лошвице, а затем и в Дрездене провел у Кёрнера несколько недель, полных радости и веселья. Затем вместе с четой Кёрнеров он собрался в дорогу, по пути навестил Гёшена, а затем вся компания смотрела в Лейпциге представление «Орлеанской девы», которое завершилось бурными овациями в честь автора. Здесь, в Лейпциге, 19 сентября 1801 года Шиллер и Кёрнер взволнованно простились друг с другом, и за все те годы, что еще было суждено прожить Шиллеру, ни разу больше не увиделись.

Последняя встреча поэта с Вильгельмом фон Гумбольдтом произошла в сентябре 1802 года. Будучи назначен послом Пруссии в Ватикане, Гумбольдт по пути в Рим из Берлина, вместе с женой и пятью детьми, заехал в Веймар навестить Шиллера. Тут они и повидались в последний раз.

Не забывал поэт и своих старых штутгартских друзей. Изюм всех сил старался он, но, увы, безуспешно, раздобыть профессорскую должность для Ховена в Йене. А из-за Петерсена — дружба с ним возродилась зимой 1793—1794 года за рюмкой вина — поэт претерпел множество досадных неприятностей. Так, Петерсен своей отрицательной оценкой воспрепятствовал постановке «Мессинской невесты» на сцене Штутгартского театра (все остальные пьесы Шиллера неизменно ставились здесь), за что разгневанный Котта впоследствии сказал о нем, что «из-за своего пьянства он совершенно утратил человеческий облик». Но при всем том этот человеческий обломок все же сумел оставить нам довольно интересные записи о юности Шиллера. Связь со старыми друзьями помогал поддерживать Котта, который был истин-

ным оплотом Шиллера в Швабии. «Абель, Рапп, Даннекер и Гауг шлют вам самый нежный привет и пожелания поправиться — ведь и они, как и весь Вюртемберг, пережили страшные горестные дни, когда здесь распространилась ложная весть», — писал он Шиллеру в 1804 году, в дни, когда тяжелая болезнь поэта вновь породила ошибочный слух о его кончине.

Необходимо иметь полное представление о широком круге друзей и знакомых Шиллера на этом заключительном отрезке его жизни, чтобы по справедливости оценить все затмевающую роль его дружбы с Гёте. Здесь и сердечная забота друг о друге, и сильнейшее взаимовлияние. Шиллер и Гёте часто навещают друг друга, предпринимая совместные прогулки, как пешие, так и в карете, а не то и санные. Но даже при таком непрерывном общении письма все равно идут туда и обратно, от одного к другому, или по крайней мере нацарапанные наспех записки: «Я не хотел бы мешать вам, а все же не терпится узнать, как обстоят дела? Пришлите в ответ хоть два слова, да еще скажите, не можем ли мы завтра встретиться?» (Из письма Гёте к Шиллеру 5 ноября 1804 года).

Лишь в одном отношении были неравноценны: Шиллер, подобно всем прочим, игнорировал невенчанную жену Гёте, тогда как Гёте выказывал неизменное дружеское почтение Лотте, которую знал еще ребенком. «Не будете ли вы столь милы и добры, чтобы я мог осмелиться продиктовать вам несколько строк, хоть я и пребываю в самом что ни на есть скверном расположении духа», — как-то раз попросил Гёте жену друга. Впрочем, Лотта была не только хорошей женой, матерью и хозяйкой дома — о духовной близости ее с мужем свидетельствует письмо, которое она послала Гёте в 1804 году в связи с выпадами против Шиллера из стана Шлегелей: «Меня глубоко обрадовало, что и вы принимаете такое горячее участие в судьбе этого творения (речь идет о «Вильгельме Телле»); эта чудесная радостная новость глубоко взволновала меня. Вопреки всем этим рассуждениям об искусстве драмы, вы, два великих ума, должны идти своим собственным, высшим путем и делом заставить умолкнуть пересуды. Я же подобна Рахили, которая прятала своих домашних богов от недругов — так и я храню свое мнение о моих друзьях и их трудах и сражаюсь с чужими богами».

Подобное же дружеское уважение испытывал к Лотте и герцог Карл Август. Начав процедуру о присвоении Шиллеру дворянского звания, он, несомненно, помышлял не только о благе самого поэта, но также и об общественном положении его жены; мало того, вполне допустимо предположить, что он сделал это не столько ради Шиллера, сколько ради Лотты. Ведь согласно хитроумному и, казалось, незыблемому и вечному придворному этикету Лотта, дворянка по рождению и жена знаменитого поэта, не могла быть допущена на официальные придворные торжества и оказалась ущемленной в правах в сравнении с сестрой, супругой аристократа Вольцогена. Словом, вскоре после того, как Шиллер отметил свое сорокатрехлетие, ему вручили жалованную грамоту на дворянство. На его гербе красовался единорог — известный персонаж старинных сказок. Теща, потомок ста-

ринного дворянского рода, прислала поэту письмо, исполненное вполне трезвого отношения к неожиданной милости — чему многим и сегодня не мешало бы у нее поучиться: «Поздравляю вас с пожалованной вам приставкой «фон», и хоть ни Шиллер, ни Лотта не выиграли от этого в моих глазах, все же в Веймаре это может вам пригодиться и обернуться приятностью».

А у Шиллера и подавно милость эта не вызвала восторга. Вскоре после присвоения ему дворянского звания он писал Гёте: «В моем нынешнем затворничестве и отключенности от мира я лишь по неперестанно укорачивающемуся просвету дня замечаю, что время не стоит на месте». Лотта, однако, при всей присущей ей скромности, была довольна. Как-никак Шиллеры отныне стали чаще бывать при дворе, в особенности в последнюю зиму 1804—1805 года. В ноябре здесь состоялось торжество по случаю прибытия наследного принца, женившегося на дочери русского царя. По этому случаю свояк Шиллера Вольцоген, ездивший с принцем в Петербург, передал поэту подарок царицы — бриллиантовое кольцо, которое уже спустя несколько недель пришлось продать за 500 талеров, так как нужно было выплачивать долги, сделанные при покупке дома. В честь новобрачных был показан спектакль — драма «Вильгельм Телль», причем из пьесы предусмотрительно исключили сцену с Иоганном Паррицидой — как-никак император Павел, отец невесты, тоже погиб от руки убийц...

Мы знаем, что придворная обстановка была привычна Шиллеру с юных лет — как всякому питомцу Карлсшуле, ему приходилось участвовать в придворных празднествах. С детства привык он также к военным и военному быту, да и сам он едва не появился на свет в военно-полевом лагере. Ведь Шиллер был сыном офицера, а Карлсшуле во многом напоминала кадетский корпус. В бытность свою полковым лекарем при Оже он и сам был офицером, хоть и в самом что ни на есть низком звании. И ничем не смог бы он столь великолепно написать драму «Валленштейн», не будь у него знания военной среды и ее нравов. И даже в апогее славы поэта часто можно было видеть в обществе военных. В 1803 году в Эрфурте он принимал участие в торжестве, на котором присутствовала добрая сотня прусских офицеров. А на одном из летних раутов в Лаухштедте его окружали другие офицеры, на этот раз саксонские и прусские. Спустя еще несколько дней Шиллер, верхом на коне, наблюдал за маневрами на правах почетного гостя. В те времена всякое военное действие — будь то маневры или взавравадшний кровавый бой, — которое разыгрывалось на открытом пространстве, отличалось необыкновенной живописностью: недаром батальная живопись, от крупных настенных панно до росписи на фарфоровых чашках, требовала особого искусства и знания ремесла. Воинственная музыка, рокот барабанов, возбуждающие, пронзительные звуки флейт и кавалерийских труб окончательно превращали маневры в своего рода захватывающий спектакль, в гигантское театральное действие под открытым небом. Автор «Валленштейна», должно быть, мог оценить подобное зрелище.

Вообще-то в привычках своих, в том, как, отдыхая от работы, про-

водил он свой досуг, Шиллер был истый бюргер, чуть ли не обыватель. «Кто еще так ценит семейные радости и общение с людьми?» — спрашивал молодой Фосс. А свояченица поэта Каролина (возможно, несколько приукрашивая правду) рассказывала: «За веселым обедом в кругу близких, приятных ему людей он охотно и беспечно, однако же соблюдая умеренность, пил вино. Неумеренности же он всегда бежал... Когда, оторвавшись от успешно завершённой работы, он вновь вливался в круг своих близких, его живо занимало все, что только творилось вокруг». В трилогии о Валленштейне («Пикколомини») есть такие строки:

Подюжины друзей, никак не больше,
За круглым небольшим столом... Стоканчик
Токайского... разумная беседа
С открытым сердцем — это вот по мне! (II, 421)

Поэт на досуге с удовольствием участвовал также в безыскусственных забавах, был не прочь сыграть в карты, а не то и сразиться в кегли — с огромным рвением, но без особой сноровки, если верить свидетельству одного восторженного поклонника Шиллера — венгра, наблюдавшего за подобной игрой.

Много знаменитостей во времена Шиллера наезжало в тихий Веймар, но никто не прилетел сюда с таким шумом и плеском накатной волны, как Жермена де Сталь — мадам де Сталь, урожденная Неккер, 38 лет от роду, мать пятерых детей, известная писательница и пылкая подруга знаменитых мужей, чьи темпераментные писания возбуждали в согражданах бунтарский дух, хоть первоначально и не всегда предназначались для этой цели. Наполеон, первый консул, ненавидел ее и изгнал за пределы родной страны, но она продолжала с непоколебимым достоинством переписываться с его третьим консулом — Лебреном — по вопросу о воспитании своих сыновей. Изгнанная Наполеоном, Жермена де Сталь решила направить свои стопы в Германию. Под влиянием первого впечатления от первого немецкого постоянного двора она заметила в одном из своих писем: «Германия представляется мне задымленной комнатой, в которой музицируют». В ноябре она прибыла во Франкфурт-на-Майне, а уже 14 декабря 1803 года очутилась в Веймаре.

Гёте — да простят нам это выражение — попросту окопался в Йене и отнюдь не спешил приехать в Веймар. Письмо, отправленное им 13 декабря Шиллеру, может показаться комичным или по меньшей мере забавным: «Что меня начнут звать в Веймар, как только там появится мадам де Сталь, — это можно было предвидеть. Дабы ее появление не застало меня врасплох, я стал размышлять, как тут быть, и заведомо решил остаться здесь. Вообще, а особенно в этот злосчастный месяц, я располагаю таким ничтожным запасом сил, что лишь кое-как держусь...» Однако, продолжал Гёте, если мадам де Сталь соблаговолит податься в Йену, там ее ждет любезный прием, при условии, что она заблаговременно предупредит о своем приезде. «Но ехать при такой погоде в Веймар, спешить, одеваться, бывать при дворе и в свете — это для меня совершенно невозмож-

но...» А все же, уверяет Гёте, он искренно желал бы «увидеть и узнать эту удивительную женщину, внушающую безграничное уважение». Словом, с надеждой вверяясь такту Шиллера, Гёте заключает: «Мягко, по-дружески, возьмите это дело в свои руки». Пришлось, стало быть, Жермене де Сталь поначалу довольствоваться обществом одного Шиллера, да еще восхищенного ею старика Виланда — Гердер же лежал на смертном одре. Впрочем, писательница нашла приют у графини Вертерн, и приближенные веймарского двора наперебой зазывали ее к себе.

Шиллер великолепно справился с поручением Гёте. Правда, он был разочарован тем, что, как оказалось, гостья не говорила по-немецки. Но поэт отлично выдержал беседу на французском языке, который хорошо знал и на котором бегло читал — просто ему вряд ли когда-либо случалось на нем говорить. Мадам де Сталь одобрительно заметила поэту, что он отлично провел их полемический разговор, должно быть вежливо умолчав при этом о его чудовищном произношении. Сложный разговор, который затеяли собеседники, касался театра — французского и немецкого, философии Канта, проблем перевода. Почти по всем этим вопросам собеседники держались прямо противоположного мнения, при котором и остались. Но большое впечатление произвел на писательницу непоколебимо возвышенный образ мыслей Шиллера, его гордое достоинство, скрытое под покровом учтивой скромности — впечатление настолько сильное, «что я мгновенно прониклась к нему восторженной дружбой», — рассказывала впоследствии Жермена де Сталь. Кстати, увидев Шиллера, с его горделивой осанкой, в придворном мундире, она поначалу приняла его за командующего веймарским гарнизоном. Мадам де Сталь произвела большое впечатление на поэта. «...все в ней вылитое из одного куска, нет ни одной чуждой, фальшивой или патологической черты... единственно тягостным является совершенно необычайное проворство ее языка. Чтобы следить за нею, надо целиком обратиться в слух» (VII, 5 9 4), — писал Шиллер Гёте 21 декабря.

Шарлотта Шиллер холодно выслушивала рассуждения франуженки о театре, о блестящем языке Расина. «Шиллер защищает немцев всюду, где только может», — с удовлетворением сообщала она Гёте. С лукавым любопытством наблюдала Шарлотта за дебютом писательницы при веймарском дворе: «Бёттигер (директор гимназии) всюю изображает из себя *Petit maitre* и смешон невероятно, когда начинает говорить по-французски» (из письма к свояку Вольцогену).

Пребывание госпожи де Сталь в Веймаре не раз давало повод к веселости. Из-за этого, однако, нельзя недооценивать духовно-историческое значение этого визита. Жермена де Сталь была тщеславная, темпераментная и неутомимая разговорчивая, при том замечательная любознательная, умная, волевая женщина, стремившаяся изучить духовную жизнь немецкого общества, дабы познакомить с ней Францию. И она великолепно справилась с этой задачей в своей книге «О Германии». В дневнике Гёте мы находим обстоятельно нарисованный портрет этой выдающейся писательницы, встречу с которой поэт между тем так долго откладывал: «С неотразимым напором до-

бывалась она своей цели — изучить положение в нашем обществе, подводя его под собственные понятия, дотошно расспрашивая об отдельных подробностях. Как женщина светская, она желала также уяснить себе нравы, господствующие в нашем свете. А проницательным своим умом стремилась усвоить и более общие представления, словом, то, что принято называть философией». Однако и после возвращения в Веймар Гёте все же ограничил свое общение с мадам де Сталь рамками, которые могли его устроить. Главное бремя этого общения он, как и прежде, возлагал на своего друга. Когда же в январе выяснилось, что писательница решила задержаться в Веймаре еще недели на три, Шиллер сердито заметил, что нужно также уметь вовремя уйти. 29 февраля мадам де Сталь покинула Веймар.

У Шиллера часто возникало желание куда-нибудь поехать, но лишь немногие из этих планов привел он в исполнение, да и то после длительных раздумий. Сравнительно быстро далось поэту решение в апреле 1804 года поехать в Берлин в сопровождении жены и двоих сыновей. Между тем приглашали Шиллера туда уже давно. Иффланд, изгнанный военными передрягами из Мангейма, уже с 1796 года стал директором Берлинского национального театра и много раз звал поэта приехать посмотреть, как принимают его драмы в Берлине. Да и королева Луиза велела передать Шиллеру, что в Пруссии его ждет самый что ни на есть радушный прием. И за какие-то два дня Шиллеры приняли решение пуститься в этот нелегкий путь. Собрались в дорогу они 26 апреля. Накануне в Веймар прибыла с очередным визитом мадам де Сталь, и притом в сопровождении Августа Вильгельма Шлегеля. Казалось бы, можно связать поспешный отъезд Шиллеров с этим обстоятельством. Нужно, однако, учесть и другое: у Шиллера, с его тревожной душой, по-прежнему не было ощущения, что в Веймаре он обрел свое окончательное прибежище; ни блистательные его успехи на театре — всего за несколько недель до этого состоялась премьера «Телля», — ни уютная атмосфера собственного дома не давали ему этой уверенности. К тому же поэта тяготила стесненность в средствах, хотя к тому времени он уже имел верный доход от своих литературных трудов... Можно лишь удивляться, что он взял с собой в эту поездку не только Лотту, но и обоих сыновей.

Через Вайсенфельс супруги проследовали в Лейпциг, где в то время уже началась книжная ярмарка. Здесь Шиллер встретился со своими издателями — как с Коттой, так и с Гёшеном и с Крузиусом. Оттуда все семейство выехало в Виттенберг, а в ночь на 1 мая прибыло в Потсдам: городские ворота оказались уже заперты и пришлось посылать за ключом на квартиру к коменданту города. Путники прохаживались в ночной тьме, прислушиваясь к оглушительному лягушачьему пению. Проверяя паспорта Шиллеров, дежурный лейтенант восторженно встретил их, придя в восторг от встречи с великим поэтом, тотчас заговорил с ним о его творениях — пока наконец не принесли ключ от городских ворот. На другой день Шиллеры прибыли в Берлин, где поначалу остановились в «Отель де ля Рюсси» на Унтер ден

Линден, дом номер 23, а затем поселились на Фридрихштрассе, 130 у знакомого еще по Веймару врача Гуфеланда.

Нигде и никогда Шиллер не встречал еще таких восторженных почестей. Когда он появился в театре на представлении «Мессинской невесты», ликованию публики не было конца. А спустя два дня, увидев его в ложе, на представлении «Орлеанской девы», зрители все, как один, поднялись со своих мест. Шиллер был почетным гостем и на обеде у принца Луи Фердинанда, даровитого племянника Фридриха Великого. Затем он завтракал в обществе королевской четы в Сан-Суси — король держался чопорно, изредка роняя обрывки слов, но полногрудая королева приняла поэта с величайшей благосклонностью, выказав подлинное знание его творений (спустя год, после плачевного поражения Пруссии, она скажет: «Я все снова и снова; перечитываю Шиллера! Ах, зачем только он умер!»). Карл и Эрнст играли с наследными принцами...

Назовем ли мы эти две недели, проведенные в Берлине и Потсдаме, своего рода апогеем в жизни поэта? Боги любят угощать людей нектаром в дырявых кубках: только успеешь пригубить, а кубок уже пуст.

Луи Фердинанд был настолько любезен, что велел Иффланду разузнать, какие блюда и напитки желал бы отведать гость, и все же обед у королевской четы был омрачен тяжелым бургундским вином, которое неосмотрительно заказал Шиллер. Правда, лишь отчасти, потому что Шиллер испытал в Берлине недомогание — резкий упадок сил, лихорадку и катар, — которое поистине отравило ему несколько дней: «Целую неделю в Берлине был я болен и ни на что не годился», — писал поэт Котте, возможно, несколько преувеличивая степень недомогания. Спектакль по «Орлеанской деве», поставленный Иффландом, совсем ему не понравился: «Театр показал коронацию, а не «Орлеанскую деву», — сердито говорил он потом. Однако постановкой «Смерти Валленштейна», третьей и последней из своих пьес, увиденных в Берлине, Шиллер остался доволен.

Столь насыщены были эти две недели в Берлине, что Шиллер ни одной строчки не написал Гёте. Его потребность в обществе умных женщин с избытком удовлетворила мадам де Сталь. Потому он не посетил даже салона Рашели, внешне столь скромного, но славившегося интеллектуальным блеском. Состоялась у поэта лишь встреча и беседа с Генриеттой Герц. Разумеется, разговор преимущественно вращался вокруг личности Жермены де Сталь. «Шиллер не скрывал от меня своей антипатии к ней», — писала впоследствии Генриетта. Все же, как выяснилось, поэт высоко отзывался об уме французской писательницы и особенно оценил ее поразительно быстрые успехи в овладении немецким языком. Генриетта Герц, увидевшая Шиллера, когда он был отнюдь не в ударе, тем не менее тоже подпала под обаяние его личности и жизненной мудрости. Не сумела она лишь удержаться — в своих воспоминаниях — от мелких колкостей в отношении его жены.

В сущности, больше всего омрачило для Шиллера блеск этих дней в Берлине и при королевском дворе одно: неуверенность в

собственных намерениях. Взаправду ли он хотел переселиться в Берлин? Все доводы за и против этого решения наиболее отчетливо отражены в его письме к Кёрнеру от 28 мая 1804 года: «Предпринимая эту поездку, я помышлял не только о своем удовольствии, что ты представляешь себе без труда: дело шло о большем, и право, теперь лишь от меня зависит существенно улучшить мое положение. Правда, если бы не мысли о семье, то сам я, пожалуй, предпочел бы остаться в Веймаре. Но жалованье мое слишком мало и расходую я почти все, что ежегодно зарабатываю, так что откладывать едва удастся. Чтобы приобрести кое-какие средства для моих детей, я должен стремиться накопить определенный капитал за счет доходов от моего писательского труда, а в Берлине мне открывают такую возможность. Я ничего этого не искал, они сами сделали ко мне первые шаги, и мне предложено поставить мои условия. Жизнь в Берлине, однако же, дорога, да и без собственного экипажа мне нельзя будет обойтись, потому что всякий выезд или выход — это небольшое путешествие... Там царит значительная личная свобода и непринужденность в гражданской жизни. Музыка и театр предлагают множество развлечений, хоть никак не оправдывают затрат. Правда, в Берлине для моих детей открываются большие возможности... Но, с другой стороны, я очень неохотно разрываю старые отношения и боюсь утратить удобства, меняя привычные условия на новые. Правда, здесь, в Веймаре, я свободен, и здесь — в буквальном смысле этого слова — мой дом. Есть у меня определенные обязательства по отношению к герцогу, и хоть я и могу надеяться разойтись по-хорошему, все же мне было бы жаль покинуть здешний край. Стало быть, если он сможет предложить мне хоть сколько-нибудь значительную компенсацию, я бы предпочел остаться. Вот как обстоит дело».

А «дело» развивалось следующим образом. Шиллер в письме к герцогу напрямик высказал итог своих размышлений, и Карл Август тоже отвечал ему по-деловому, и в то же время настолько деликатно, что невольно задаешься вопросом: а жил ли когда-нибудь немецкий князь, который бы мог с ним сравниться? Он ответил, что, да, конечно, он понимает Шиллера, благодарит его за откровенность и просит его уточнить свои пожелания в том, что касается денег, — что Шиллер и сделал. Карл Август согласился удвоить жалованье поэта, пожаловав ему вместо 400 талеров 800 плюс надежду на дальнейшее повышение оклада. После этого Шиллер решил остаться в Веймаре, предполагая, однако, часть года проводить в Берлине. Карл Август писал ему: «Я бесконечно рад, что отныне вы останетесь с нами навсегда. Мне было бы весьма приятно, если бы осуществилась моя идея: пусть берлинцы способствуют улучшению вашего положения, не отнимая вас у нас». Вслед за этим Шиллер обратился к прусскому тайному советнику Бойме, который во время одной из бесед в Потсдаме предложил поэту годовой оклад в размере 3000 талеров, если только он согласится переехать в Берлин. Теперь Шиллер написал ему, что он готов проводить в Берлине ежегодно несколько месяцев, если ему будет назначено жалованье в две тысячи талеров. На это предложение поэт так и не получил ответа. В Пруссии признают только два цвета: черный и белый.

Шиллера хотели заполучить целиком — а иначе и вовсе не надо...

Поэт, стало быть, остался в Веймаре. У Лотты свалился камень с души. Хотя ей и понравились приемы при прусском дворе, но ровный пейзаж берлинских окрестностей нагонял на нее тоску. «Тамошняя природа повергла бы меня в отчаяние», — признавалась она близкому другу детства Фрицу фон Штайну. Правда, веймарский пейзаж тоже не назовешь прекрасным, «но я чуть не заплакала, когда вновь увидела первую же вершину горы». 24 июля 1804 года Лотта родила поэту в Йене дочь — Эмилию. А Шиллер, после вечерней прогулки в долине Дорнбурга, как раз в эти дни слег от невыносимо мучительных спазмов желудка, так что врачи боялись за его жизнь. Но и на этот раз он оправился от приступа. Девять месяцев жизни еще оставалось ему.

Для потомства сохранен документ, относящийся к последним годам жизни Шиллера: список драм из тридцати двух названий. Первой в нем значится трагедия «Мальтийцы», замысел которой возник у поэта уже давно. Семь названий, в том числе двух обработок пьес Шекспира и Гоцци, зачеркнуты — работа была уже исполнена, — и рядом с названием проставлен год их воплощения на сцене. Круг обозначенных тем необычайно широк — от античности до современной Шиллеру эпохи. Античные темы: «Фемистокл», «Агриппина». Из истории средних веков заимствованы персонажи: Рудольф Габсбургский, Генрих Лев, Уорбек. Мысли Шиллера занимал также персонаж из окружения короля Генриха IV — маршал Бирон, заговорщик. В списке мы находим и имя графа фон Кёнигсмарка, который сплел один из самых мрачных заговоров эпохи барокко. Намечал Шиллер и создание драмы «Шарлотта Корде», иными словами, предполагал обратиться к теме Французской революции. Не одну арену событий охватывал он мысленным взором: от Франции и Англии, Фландрии и Германии до России. Пытливый взор его привлекали также Сицилия, Мальта, Кипр и Венеция, и дважды он готов был избрать местом действия своей будущей пьесы само море (предполагая дать этим пьесам названия: «Флибустьеры» и «Корабль») — то самое море, о котором столько мечтал и которого так и не увидел.

В списке будущих драм недостает «Дмитрия Самозванца» — тема эта скрывается под названием «Кровавая бойня в Москве». Это единственный из всех будущих замыслов, который Шиллер частично успел воплотить на бумаге. Здесь перед нами — примерно та же тема, что намечалась в «Уорбеке». И Дмитрий Самозванец тоже выступает в роли престолонаследника, которого одни пытались насильственно устранить с пути, а другие будто бы спасли и долго укрывали, пока наконец, выросши, он не предъявил свои законные права. Еще до поездки в Берлин Шиллер делал многочисленные выписки из сочинений по русской истории и о русской жизни, а также касающихся Польши — как никак «Дмитрий Самозванец» заявил свои претензии с трибуны польского сейма.

Поэт всегда тяжело переносил холода, но зима 1804—1805 годов из всех оказалась самой трудной. За серией катаральных атак последовали тяжелые приступы лихорадки. Одновременно занемог и Гёте. И

молодому Фоссу досталась весьма своеобразная привилегия — впрочем, он вполне сознательно добивался ее — попеременно дежурить у постели Шиллера и Гёте и ухаживать за обоими больными поэтами. Этот внимательный и добрый молодой человек оставил нам бесценные свидетельства о последнем периоде болезни и жизни Шиллера. Он же и поведал потомкам историю поздравительной записки, которую Гёте отправил Шиллеру утром в первый день нового, 1805 года: «Утром первого новогоднего дня, последнего, который суждено было пережить Шиллеру, Гёте написал ему поздравительную записку. Перечитав ее, он, однако, обнаружил, что пометил ее утром «последнего дня Нового года» вместо «первого». В ужасе разорвал он записку и сел писать новую. Однако, приступая к той злосчастной строчке, он с трудом удержался, чтобы снова не написать «последнего дня».

Генриху Фоссу, пережившему и страх, и тревогу, но все же счастливому другу двух великих людей, свидетелю многих их мучительных дней и бессонных ночей, мы обязаны зарисовками, относящимися к последним дням жизни и болезни Шиллера. Ночами, когда поэт донимал жар, он то ли во сне, то ли в беседе с Фоссом строил планы дальних путешествий, причем больше всего стремился — нет, рвался к морю. Фосс напомнил ему, как он воспевал море в своих стихах:

Я слышу, как бескрайняя стихия
Волной накатной бьется об скалу...

Временами в сознании больного всплывали замыслы драм «Корабль» и «Флибустьеры». Вспомним, что записал он в свое время в беглых заметках к этим сюжетам: «Корабль швартуется, затем отплывает. Бунт на корабле. Там же вершат суд. Встреча двух кораблей. Часть матросов ссадили с судна... Запас продовольствия. Секстант. Компас. Дикие звери, дикие люди. След корабля потерялся. Кораллы. Морские птицы. Морская трава...» Тоска. По дальним странам. По путешествиям. Образы, навеянные чтением Даниеля Дефо, путевых записей Кука... А у постели больного сидит этот милый молодой человек, что родом из Гольштейна, и он уже не раз бывал у моря. И Шиллер мечтает, что когда-нибудь и он увидит необозримую даль открытого моря и глубоко вдохнет соленый морской ветер, быть может — летом, когда он забудет об этой мучительной лихорадке и к нему снова вернуться силы. Может, съездить к Адриатическому морю? Но, поразмыслив, больной говорит: «Нет, поездка к Адриатическому морю обойдется мне слишком дорого, для этого понадобится 1500 талеров, а такой траты я сделать не могу». Фосс вспоминал впоследствии: «Мы собирались с ним поехать в Куксхафен, и в мыслях я уже отводил его к моему Дитмарсену, честному и радушному хозяину: в его деревянном домике великий человек чувствовал бы себя привольно».

Многочисленны свидетельства о том, сколь бережно и чутко относился смертельно больной поэт к окружающим его близким людям. Например, как-то раз, в дни весеннего карнавала, он узнал, что вечером состоится большой бал-маскарад — и сразу же принялся

уговаривать Фосса пойти туда поразвлечься вместо того, чтобы дежурить у постели больного. В другой раз, почувствовав, что вот-вот потеряет сознание, Шиллер настоял, поскольку дело шло к полуночи, чтобы жена его легла с п а т ь, — так хотелось ему уберечь ее от зрелища обморока. «Только жена спустилась с лестницы, как Шиллер без чувств рухнул в мои объятия и несколько минут лежал без признаков жизни, пока наконец я не привел его в сознание, старательно растирая спиртом его грудь и в и с к и, — читаем мы в воспоминаниях Ф о с с а. — Подумать только! Щадя жену, он собрал все свои силы, чтобы оттянуть обморок, который вследствие этого оказался еще более тяжелым и долгим».

К концу февраля здоровье поэта несколько поправилось. В сопровождении Фосса Шиллер впервые вышел из дома, чтобы проведать Гёте, который к тому времени тоже начал выздоравливать после болезни. Молодой голыштинiec стал взволнованным свидетелем встречи двух великих людей: оба были растроганы настолько, что «бросились друг к другу в объятия» и долго не могли выговорить ни слова. Когда же они вновь обрели дар речи, то даже и не подумали толковать о болезнях. Март и апрель пролетели без особых невзгод. Поэт являл всем своим близким прекрасный пример жизнеутверждающего мужества, он даже купил для себя коня: верховой ездой он предполагал укрепить свое здоровье. Осмотрев коня, он погладил его и велел отвести в конюшню, но уже ни разу не довелось ему прокатиться верхом.

В эти последние два месяца поэт часто бывал при дворе — не менее девяти раз. Продолжал он и работу над своим «Дмитрием Самозванцем», писал письма. В послании к Гёте он сообщал в конце марта: «Я взялся наконец со всей серьезностью за работу и думаю, что мне нелегко будет оторваться от нее. После таких продолжительных перерывов и несчастных случаев трудно было занять твердую позицию, и мне пришлось сделать над собой большое усилие. Зато теперь я вошел во вкус» (VII, 605).

Речь шла, разумеется, о работе над «Дмитрием Самозванцем». Последние строки, написанные им 25 апреля, относятся к замечаниям Гёте о Вольтере. В начале апреля Шиллер послал обстоятельное письмо в Рим, Гумбольдту: оно содержало подробный рассказ о сделанном ему предложении переселиться в Берлин, о шиллеровских переводах с французского, о болезни Гёте и его собственной. В заключение следовал резкий выпад против братьев Шлегелей: «Но беда, которую они причинили слабым молодым головам, будет чувствоваться еще долго, а печальное бесплодие и фальшь нашей теперешней литературы являются следствием этого скверного влияния» (VII, 609). А 25 апреля поэт писал Кёрнеру: «Мне, однако, будет трудно превозмочь жестокие удары, обрушивавшиеся на меня в продолжение девяти месяцев, и я опасаясь, что кое-что от них все-таки останется... Я буду очень доволен, если мое здоровье и жизнь продлятся до пятидесяти лет» (VII, 609—610).

Вечером 1 мая Шиллер вдвоем со свояченицей Каролиной отправился в театр. Там давали пьесу «Несчастливый брак из деликатности» — творение директора гамбургского театра Ф. Л. Шрёдера

(«невероятно сухого и равнодушного ко всему человека», как однажды сказал о нем Гёте). По окончании спектакля за Шиллером зашел молодой Фосс. Поэт был в своей ложе, весь во власти мучительного озноба, Фосс в срочном порядке увез его домой.

Всю свою жизнь Шиллер размышлял о смерти. Еще в бытность свою питомцем Карлсшуде он был потрясен гибелью двух своих товарищей. Под впечатлением этой утраты юный Шиллер писал письма, содержавшие раздумья о жизни и смерти, а также элегии. Ранние стихотворения, вошедшие в «Антологию за 1782 год», он посвятил «моему повелителю — Смерти», да и начиналась вся подборка стихов с обращения: «Всемогущему царю всякой плоти, неугомному косарю империи, загадочному и ненасытному пожирателю природы».

Шиллер и смерть, ее роль в его жизни, мыслях, творчестве — это особая и обширная тема. В «Орлеанской деве» мы находим два монолога умирающих, в которых проступает прямо противоположное восприятие смерти. Так, например, Тальбот, английский полководец, в третьем действии говорит:

Минута кончит все; отдам земле
И солнцу все, что здесь во мне сливалось
В страдание и в радость так напрасно;
И от могучего Тальбота, славой
Наполнившего свет, на свете будет
Одна лишь горсть летучей пыли. Так
Весь гибнет человек — и вся нам прибыль
От тягостной борьбы с суровой жизнью
Есть убеждение в небытии
И хладное презренье ко всему,
Что мнилось нам великим и желанным (III, 100).

А в V действии Иоанна умирает со словами:

Смотрите, радуга на небесах,
Растворены врата их золотые;
Средь ангелов — на персях вечный сын —
В божественных лучах стоит она
И с милостью ко мне простерла руки;

О, что со мною?.. Мой тяжелый панцирь
Стал легкою крылатою одеждой...
Я в облаках... я мчуся быстротечно...
Туда... туда... Земля ушла из глаз;
Минута — скорбь, блаженство — бесконечно!

Сравнение этих цитат делает излишним, мало того — воспрещает какой бы то ни было комментарий.

Больного поэта навещали гости: приходил актер Генаст; будучи в Веймаре проездом, как всегда, по пути в Лейпциг заглянул к нему Котта, и больной радушно принял его — только вот о делах не пришлось поговорить — потом можно будет потолковать о них, когда издатель снова навестит Шиллера, уже по возвращении с ярмарки. А сейчас поэту нельзя вести разговоры — они провоцируют кашель, —

и женщины, Лотта и Каролина, старательно ограждают больного от всякой нагрузки.

Первые три дня болезни поначалу не вызвали более острой тревоги, чем все предыдущие приступы, уже сделавшиеся привычными. Поэт обдумывал в эти дни свою новую пьесу — «Дмитрия Самозванца», и в особенности монолог Марфы. Однако в ночь с 5 на 6 мая наступил кризис, уничтоживший всякую надежду на выздоровление. Шиллер попросил поднести к кровати младшего ребенка — маленькую Эмилию, взглядом обласкал малютку и, отвернувшись, заплакал.

В другой раз, оглядывая комнату, больной заметил где-то листок из журнала «Дер фрайшютце», которого совершенно не выносил. «Уберите его, — взмолился он, — дабы я и вправду мог сказать, что никогда его не видел». А потом: «Дайте мне сказки, рыцарские повести — вот где хранятся сюжеты для всего прекрасного и великого». (Ожидая смерти в тюрьме, Сократ просил принести ему басни Эзопа.)

Все чаще поэта оставляло сознание. Слышали, как он бредил в жару, сплошь и рядом изъясняясь на латыни. Как-то раз вырвался у него странный возглас: «Это и есть ваше небо? Это ваш ад?» И еще: *Judex!*¹ При последних часах Шиллера не было никакого духовного лица. Да, это не христианская смерть, но, безусловно, смерть христианина. Не так умирала Иоанна, но не так умирал и Гальбот. И лишь однажды, изнемогая от болей и удушья, поэт прошептал: «Ты, иже еси на небеси, — избавь меня от долгих страданий!» При умирающем оставались лишь Лотта и Каролина, да еще верный слуга поэта — Рудольф. Шиллер всячески пытался облегчить женщинам горестное испытание. Каролине, спросившей, как он себя чувствует, поэт ответил: «Да все лучше, все веселее делается на душе!» А потом, обернувшись к жене, прошептал: «Милая ты моя, хороша...»

Утро 9 мая. Шиллер лежит без сознания, в бреду произносит речи на латыни. Врач советует сделать умирающему ванну, и назначение тотчас выполняется, хоть Шиллер знаками и показывает, что процедура эта ему неприятна. После ванны наступает обморок. И снова больного приводят в чувство, дают ему выпить шампанского. Он засыпает и во сне снова бредит. Часов около трех пополудни он просыпается и, узнав Лотту, на коленях стоящую у его постели, протягивает ей руку. В половине шестого тело умирающего сводит судорога. Его растирают мускусом. Спустя четверть часа — новая судорога, на этом обрывается жизнь поэта.

Последняя нить фитиля поглотила последнюю каплю масла. Вскрытие установило: левое легкое совершенно разрушено, сердце дистрофически сморщено, кишечник — деформирован. Причина смерти — острая пневмония, осложненная воспалением почек.

¹ Судья (*лат.*).

Похороны состоялись в ночь с 11 на 12 мая, после полуночи, как того требовал обычай. Гроб захоронили на кладбище церкви св. Якова, в общей могиле для знатных людей, не имевших, однако, собственного погребального склепа. Только в 1827 году останки поэта перенесли в выстроенный Карлом Августом фамильный княжеский склеп, где впоследствии был захоронен и Гёте.

Май 1805 года повсюду в Германии выдался суровый и грозовой. В ночь, когда хоронили Шиллера, сильный, порывистый ветер развеял облака. В своих воспоминаниях Каролина впоследствии расскажет, что стояла прекрасная майская ночь и пели соловьи. Более точные сведения находим мы в письме Лотты, написанном спустя два дня после похорон: «Все небо затянули тучи и собирался дождь; холодный ветер мел по ветхим крышам могильных склепов, и флажтоки скрипели и стонали. Когда же гроб поставили у края могилы — прах Шиллера покоится в общем склепе, — буря вдруг разорвала черную завесу туч, вышел месяц, спокойный и ясный, и кинул первые свои лучи на гроб с бесценными останками. Гроб опустили в могилу, месяц снова зашел за тучи, и буря возобновилась с новой силой».

Кёрнер не мог приехать на похороны друга. Но, подобно многим другим, он почтил память Шиллера стихами. Сравнительно блеклые строки дышат глубоким, искренним чувством. Но вот мы доходим до седьмой строфы — и изумляемся:

Живое движение, суeta в небесах,
Ветер полощет флаги на башне склепа,
И лунный серп дрожит...

Примерно эти же слова предпослал Томас Манн своей речи, произнесенной на собрании в честь стапятидесятилетия со дня смерти Шиллера. Как своеобразно преломилось в них точное описание обстановки похорон, которое дала в своем письме жена поэта...

За мрачными ночными похоронами последовала на другой день, согласно обычаю, панихида в церкви св. Якова. Придворная капелла играла отрывки из Реквиема Моцарта — ту самую музыку, которая звенела в душе композитора, когда он лежал на смертном одре.

ФРИДРИХ ШИЛЛЕР И ЕГО НОВАЯ БИОГРАФИЯ

Фридрих Шиллер принадлежит к числу тех немногих счастливцев в мировой литературе, кто, пробудив восторженный интерес едва ли не самым первым своим произведением, уже никогда не уходил в забвение — ни при жизни, ни после смерти. И в Германии таких счастливцев единицы. Среди них Гёте, современник, ближайший друг и единомышленник Шиллера, и Томас Манн, один из великих его почитателей и внимательнейших читателей в XX веке. Но как разнятся внешне упорядоченные, материально благополучные и протяженные во времени жизни Гёте и Томаса Манна от жизни их гениального коллеги по литературному цеху, испившего в детстве и юности горькую чашу нужды и унижения, испытавшего столь разительный контраст внешних условий жизни и внутреннего духовного бытия и оказавшегося, едва перейдя порог юности, вынужденным доживать свой недолгий век «бок о бок со смертью» (слова П. Ланштейна)! В мировой литературе, разумеется, можно отыскать жизни не менее великие и столь же сложные (Данте, Сервантес, Достоевский), судьбы более трагические, еще резче обломившиеся (Клейст, Гёльдерлин, Лермонтов). Но немного найдется в мировой литературе корифеев, сумевших из столь же сложных житейских обстоятельств уже в юности вырваться на широчайшие жизненные просторы, с самых первых шагов ставивших перед собой задачи необычайной сложности и всегда находивших силы исполнять их.

Вдумчивые биографы — к их числу, без сомнения, принадлежит и Петер Ланштейн — до сих пор не перестают удивляться, как Шиллер, по сути без единой передышки, всю жизнь преодолевал самого себя, переходя от одной трудноисполнимой задачи к другой, еще более сложной. «Главное для человека — трудолюбие, — писал Шиллер в 1802 году Готфриду Кёрнеру, — ибо оно дает не только средства к жизни — оно, и только оно, дает жизни цену»¹. За двадцать пять лет неустанного творческого труда Шиллер обнаружил и развил выдающиеся дарования в области драматургии, поэзии, прозы, как историк-популяризатор и наконец как один из основоположников философской и ли-

¹ Шиллер Ф. Собр. соч. в 7-ми тт. Т. 7. М., 1957, с. 580. Далее цитаты из Шиллера даются в самом тексте с указанием тома и страницы. — *Прим. ред.*

тературной эстетики, чьи работы и в этих областях сохраняют свое значение по сегодняшний день.

Предваряя конкретный разговор о новом — и весьма незаурядном — жизнеописании Шиллера, хочется высветить сначала какие-то общезначимые стороны творческого пути Шиллера, которые у самого биографа, по-видимому, являясь само собой разумеющимися, растворяются в житейских частностях, словно бы не проговариваются до конца даже там, где он с ними прямо соприкасается. Может быть, исследовательский метод П. Ланштейна, неторопливо создающего широкое эпическое полотно, но создающего по принципу *мозаики*, тщательной пригонки одной биографической картинки к другой, устранил возможность широких литературоведческих обобщений, но, скорее всего, автор сознательно стремился соблюсти чистоту биографического жанра.

Петер Ланштейн (род. в 1913 году в Штутгарте), по своим интересам скорее краевед, биограф и историк культуры¹, убедительно продемонстрировал в книге о Шиллере все сильные стороны биографического метода воссоздания человеческого и творческого облика своего великого земляка². Но об этом чуть позже...

Жизненный и творческий подвиг Шиллера настолько велик и многогранен, что нередко даже верные и широкие суждения о нем страдают односторонностью, ибо высвечивают лишь одну или несколько граней, представляющихся наиболее важными для данного автора или для данного времени. Освященные авторитетами, эти односторонние суждения могут порой становиться и препятствием для более глубокого и диалектического освоения всего творческого наследия писателя и даже отдельных фактов его биографии. Что касается отдельных фактов, то здесь в основном можно положиться на П. Ланштейна — его коррективы установившихся стереотипов, как правило, убедительны. Но обратимся к нескольким проблемам более широкого характера, имеющим немаловажное значение для трактовки творчества Шиллера в нашу эпоху.

Прежде всего это вопрос о творческом методе Шиллера. Кто он: запоздалый штюрмер, создавший вместе с Гёте так называемый веймарский классицизм — по широко бытующему мнению, своего рода эстетический анахронизм перед лицом революционных событий в Европе конца XVIII века? Или самый ранний романтик, как певец свободы предшественник Байрона, некая квинтэссенция лучших сторон романтизма — ведь именно таким он зачастую представлялся русской демократической интеллигенции в первой половине XIX века?

¹ П. Ланштейн приводит в библиографии к книге два своих исследования (о Людвигсбурге и об отце Шиллера), свидетельствующих о том, с каким тщанием и основательностью он готовился стать биографом Шиллера: Lahnstein P. Ludwigsburg. Aus der Geschichte einer europäischen Residenz. Stuttgart, 1968; Lahnstein P. "Als Soldat und brav" (Schillers Vater). In: Schwäbische Wünschelrutengänge. Tübingen, 1976.

² И в других работах П. Ланштейна основное место занимает именно краеведческий интерес к истории Швабии, к жизни и творчеству значительных личностей, родившихся в Швабии и Вюртемберге. См., например, Lahnstein P. Schwäbische Silhouetten, 1962; Lahnstein P. Report einer guten alten Zeit; Zeugnisse und Berichte 1750—1805, 1970—1971; Mörike E. Jahreszeiten, 1974 (Hrsg.).

Прекраснодушный идеалист, далекий от подлинной жизни, или, напротив, трезвый, трагического пафоса реалист? Справедливо ли вообще — и если да, то в какой мере оно необходимо — противопоставление Шиллера Шекспиру? Все эти вопросы по-своему уже ставились и не раз еще будут ставиться, в том числе и по причине сложности самого творчества Шиллера, очень цельного и единого при всей своей многогранности. П. Ланштейн теоретически эти вопросы не поднимает, но во многих правдивых деталях и точных наблюдениях его книги внимательный читатель найдет серьезное подспорье и для ответа на эти важнейшие вопросы.

«Разбойники»... По сути дела, юношеская и, как принято считать, наименее зрелая и совершенная пьеса Шиллера. Кажется, сам Шиллер принимал упрек в том, что, находясь в стенах Карловой академии, он еще слишком мало мог знать, чтобы создавать характеры. Однако не кто иной, как Л. Н. Толстой, как известно, довольно резко критиковавший Шекспира за неестественность, на его взгляд, драматических характеров и ситуаций, говорил о «Разбойниках», что «они глубоко истинны и верны»¹. Именно драма «Разбойники», увиденная Достоевским в десятилетнем возрасте на сцене Малого театра с Мочаловым в роли Карла Моора, заставила его полюбить Шиллера: «Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им. Я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узреть великого поэта»². С другой стороны, любопытно вспомнить восторженную реакцию зрителей на первую постановку этой пьесы в Мангейме (1782), да и всю последующую судьбу этой драмы на сцене. Зрителей потрясло прежде всего сходство ее с реальной жизнью — скорее, даже слишком ощутимая, едва ли не натуралистическая близость к жизни волновала публику, несмотря на многочисленные смягчения, произведенные самим Шиллером и Дальбергом! Здесь остается напомнить цитируемую П. Ланштейном рецензию на «Разбойников» известного в то время критика Тимме, опубликованную 24 июля 1781 года в «Эрфуртше гелертенцайтунг»: «Если мы имеем основание ждать немецкого Шекспира, то — вот он перед нами». Эта первая оценка, на мой взгляд, оказалась, с точки зрения понимания специфики реализма Шиллера, более прозорливой, нежели многие из последующих глубокомысленных литературоведческих изысканий, пытавшихся нередко прямо или косвенно принизить и объективное значение творчества Шиллера, и специфическую бескомпромиссную правдивость его искусства.

В чем истоки и суть этой особой и волнующей правдивости? Искусство Шиллера вскормлено жизнью, разительностью контраста между реальностью, в которой он жил и с которой никогда не мог порвать, и могучим порывом к всеобщей свободе и гармонии, питающим все его творчество. «Через все творения Шиллера проходит идея сво-

¹ Толстой Л. Н. О литературе. Статьи. Письма. Дневники. М., ГИХЛ, 1955, с. 251 (из дневника 1790 г., 5 июля).

² См. в этой связи работу: Вильмонт Н. Н. Достоевский и Шиллер. — В кн.: Вильмонт Н. Н. Великие спутники. М., «Советский писатель», 1966, с. 7—318. К теме «Достоевский и Шиллер» неоднократно обращалась и Анна Зегерс.

боды», — говорил не кто иной, как Гёте¹. «Да здравствует великий Шиллер, благородный адвокат человечества, яркая звезда спасения, эманципатор общества от кровавых предрассудков предания»², — провозглашал В. Г. Белинский. Мы хорошо помним эти высказывания. Но порой почему-то забываем (говоря о «прекраснодушии» Шиллера), в каких оковах родились эти мечты о свободе, из какой бездны личной несвободы, личной нищеты (и все это совершенно реально, в самой жизни, а не только «прекраснодушно» и умозрительно, как это нередко случается в искусстве) бежал Шиллер в сентябре 1782 года, бежал опять-таки отнюдь не в идиллию, а навстречу новым трудам и лишениям, добившись этим шагом, однако, хотя бы личной свободы и определенной творческой независимости.

Контрастность творческого воображения раннего Шиллера, резкая полярность его героев — не выдумка, не фантазия юноши, а следствие контрастности самой жизни, личных жизненных обстоятельств Шиллера и условий общественных, непримиримого разрыва социальной действительности и возвышенных гуманистических идеалов, взлелеянных эпохой Просвещения накануне Великой французской революции. Менее крупный талант в таких условиях мог бы действительно замкнуться в сфере утопических мечтаний, как это случалось с некоторыми романтиками, которые фантазиями и сказками, сужением общественной проблематики порой стремились отгородиться от неприемлемой для них буржуазной действительности. Шиллер же никогда не отворачивался от широкой общественной проблематики, всегда мыслил глобально, общечеловеческими категориями. То, что поверхностные читатели называют у Шиллера «прекраснодушием», является следствием его неспособности к компромиссам. Он не может снизить идеал, не только в сознании XVIII века оторванный от реальной жизни, но не может и приукрашивать жизнь, закрывать глаза на то, как страшно далека она от существующего в просвещенном сознании идеала. Отсюда — так называемая проблема жестокости в творчестве Шиллера, на которую опять-таки обратил внимание Гёте. П. Ланштейн цитирует высказывание Гёте в разговоре с И. П. Эккерманом: «Но, удивительное дело, еще со времен «Разбойников» на его талант налип какой-то привкус жестокости, от которой он не отделался даже в лучшие свои времена» (с. 114—115). П. Ланштейн дает проблеме жестокости чисто биографическое объяснение, но тем не менее довольно емкое и глубокое — процитирую в этой связи трактовку «Коварства и любви»: «В эту трагедию Шиллер вложил то, что он ощутил и проглотил в свои молодые годы как унижение и обиду и — что не исключено — впоследствии воспринимал как нечто оскорбительное. Детство с незаслуженными постоянными побоями, холодные и мрачные стороны пребывания в Карлсшуте, до смехотворного ограниченное существование его как полкового врача и наконец леденящие душу разочарования, которые пришлось испытать в Мангейме, — все

¹ Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М., «Художественная литература», 1981, с. 208 (18 января 1827 г.).

² Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 11. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 556 (письмо В. П. Боткину, 4 октября 1840 г.).

это воплотилось в жестокой игре изощренного коварства и наивной любви. Вывести образы подлецов и свести счеты с ними — это тоже способ отомстить за унижения...» (с. 115). В рамках биографических объяснения П. Ланштейна почти всегда представляются убедительными. Объяснения же литературоведческого порядка его практически не интересуют.

Итак, с одной стороны, непонятная (или понимаемая автором как личная месть) жестокость, а с другой стороны — столь же непонятная для него нравственная чистота положительных героев, их пресловутое идиллическое прекраснодушие. П. Ланштейн, анализируя письма, произведения и статьи Шиллера, сталкивается с контрастами его духа, которые он формулирует как сочетание «пламенного чувствования и холодной остроты мышления».

На мой взгляд, контрасты в творчестве Шиллера проистекают не столько из противоречий его раннего творчества, сколько из своеобразия его художественного метода, который можно правильно понять лишь как диалектику контрастов, причем контрастов отнюдь не надуманных, а выражающих реальную диалектику тогдашней действительности. Очевидно, именно эту диалектику почувствовал при чтении «Разбойников» Л. Н. Толстой, она же привлекла и Ф. М. Достоевского, который сам любил диалектически сталкивать контрастные идеи и контрастные характеры.

С годами диалектика контрастов, не исчезая и не теряя своего общественного характера, становится в творчестве Шиллера богаче, гибче, историчнее, социальнее. «Разбойники» отражают сознание Шиллера на стадии индивидуалистического, можно даже сказать, анархистского бунта, бунта отдельной сильной личности, носящего, однако, объективно общественный характер. Отсюда — поистине всемирный резонанс пьесы, особенно на переломных этапах истории. В «Коварстве и любви» индивидуалистический бунт перерастает в глубокую общественную сатиру, обладающую зарядом огромной эмоционально-художественной силы. Поистине это «первая немецкая политически-тенденциозная драма»¹, пускай и не строго в хронологическом смысле. Обе пьесы питаются Просвещением, европейским сентиментализмом и его германской модификацией 1770-х годов — «Бурей и натиском». В «Разбойниках» отчетливее проявляются контрасты индивидуумов, характеров, в «Коварстве и любви» на первом плане — проблемы социально-политические: все нравственные конфликты вытекают из социальных и носят отчетливо выраженный общественный характер. В «Дон Карлосе» Шиллер пытается связать идеалы эпохи Просвещения (ведь он внимательно читал и Руссо и Лессинга!) с реальностью. И опять контрастность, как и прежде, трагическая (читай — реалистическая!), а отнюдь не прекраснодушная. Есть светлые гуманистические идеалы, есть прекрасные героические личности, носители этих идеалов, но их бунт — это обреченный на провал бунт одиночек. Шиллер отнюдь не обманывается и вполне трезво оценивает изображаемую им историческую действительность.

¹ Слова Ф. Энгельса. См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 36, с. 333.

Между «Дон Карлосом» и «Валленштейном» лежит не только временной промежуток в десять лет, но и серьезные идейно-художественные различия — словно бы пьесы написаны разными драматургами, разделенными большой исторической эпохой. Они действительно разделены эпохальным историческим событием — взлетом и падением Великой французской революции 1789—1794 годов, глубоко осмысленной Шиллером: проблема народа и роли народных масс в истории становится предметом его мучительных раздумий в «Валленштейне», в «Мессинской невесте», в «Орлеанской деве», в «Вильгельме Телле» и в «Димитрии»¹; он пытается осмыслить эту проблему и теоретически (например, в работе «О применении хора в трагедии», 1803). Но как изменились за эти годы взгляды Шиллера на исторический процесс, на проблему взаимосвязей личности и общества, его представления об историческом прогрессе и путях воздействия на него! Хотя кое-какие слагаемые этих взглядов — а прежде всего их просветительская широта и универсализм — остались в основе своей непоколебленными.

В объявлении о выходе «Рейнской Талии» (1784) Шиллер обронил знаменательную фразу: «Я пишу как гражданин мира, который не служит ни одному князю. Рано я потерял свое отечество, чтобы сменить его на широкий мир...» (с. 143). Томас Манн в речи о Шиллере совершенно справедливо подметил, что в период усиления националистических идей в Германии, то есть уже где-то со второй половины XIX века, великий просветительский идеал Шиллера (Шиллер: «Это ничтожный, мелкий идеал — писать только для одной нации»), «то, к чему стремился Шиллер с красноречием трибуна и вдохновением поэта, — торжество универсального, всеобъемлющего, чисто человеческого для целых поколений — стало потускневшим идеалом, устаревшим, отсталым и опошленным, и таким же казалось им его творчество»². Любопытны сформировавшиеся уже к концу 1780-х годов взгляды Шиллера на исторический процесс и на цели и задачи государства. Первые отчетливее всего сформулированы во вступительной лекции для студентов Йенского университета «В чем состоит изучение мировой истории и какова цель этого изучения» (1789), вторые — в большой статье «Законодательство Ликурга и Солона» (1791), опубликованной в журнале «Талия». Как и подобает подлинному сыну эпохи Просвещения, Шиллер верит в общественный прогресс, в разум человека, который может познать историю, осмыслить ее и извлечь из нее нравственный опыт. Шиллер говорит студентам о всеобщей связи всех явлений в природе и всех событий мировой истории и, проиллюстрировав эти взаимосвязи несколько наивными, но весьма образными примерами, переходит к важнейшему вопросу о философии всеобщей истории, о созна-

¹ В. П. Неустров, рассматривая проблему воплощения общественного идеала в ранних и поздних драмах Шиллера, справедливо отмечает: «В поздней исторической драматургии выполнение подобного рода миссии (то есть миссии идеального и прекрасного. — А. Г.) писатель возлагает по преимуществу уже не на выдающуюся личность, а на народ». См.: Неустров В. П. Литературные очерки и портреты. М., Изд-во МГУ, 1983, с. 23.

² Манн Т. Собр. соч. в 10-ти тт. Т. 10. М., ГИХЛ, 1961, с. 617.

тельном отношении к историческим фактам. И здесь он твердо стоит на просветительских позициях. «Из всей суммы этих событий историк прежде всего извлекает те, которые имели важное, серьезное и совершенно очевидное влияние на существующее ныне положение в мире и на ныне живущее поколение» (IV, 23). Философия истории, по Шиллеру, есть необходимость, диктуемая человеку «светом разума. В конце концов он займется гармонией из своего внутреннего мира и пересаживает ее вовне, в мир вещей, то есть он привнесит разумную цель в мировой процесс и телеологическое начало в историческую науку» (IV, 25). Подобное положение может послужить фундаментом не только для объективных, но и для субъективных концепций философии истории. Сам Шиллер, разумеется, стремился к объективной концепции, что при несколько прямолинейной трактовке исторического прогресса ему не всегда удавалось. Так, поскольку исторический прогресс, как полагал Шиллер, не может осуществляться без реальных личностей, воплощающих прогрессивные идеи, то в «Истории Тридцатилетней войны» Шиллеру пришлось поначалу заметно идеализировать шведского короля Густава Адольфа, ибо, по мнению Шиллера, именно он был носителем идеи исторического прогресса в период Тридцатилетней войны (V, 142; 272). Гораздо более сложную и диалектическую картину истории удалось воссоздать Шиллеру в художественном произведении — в трилогии «Валленштейн»¹.

Анализируя общественные взгляды просветителей, в частности Шиллера, мы порой забываем, какими грандиозными масштабами они оперировали, насколько далеко опережали свое противоречивое время, ставя перед ним идеалы, достижимые разве что в отдаленном будущем. Так, рассуждая о Ликурге и Солоне, о Спарте и Афинах, Шиллер, осуждая Спарту, формулирует свое понимание целей и задач государства: «Все можно пожертвовать ради государства, но только не тем, для чего само государство является не более как средством. Государство никогда не является самоцелью; оно существенно лишь как условие, помимо которого цель человечества недостижима; цель же человечества — не что иное, как развитие всех сил человека, как неуклонное поступательное движение» (V, 422—423).

И здесь мы опять наблюдаем разительный контраст: предельно высокие требования к государству и реальная Германия конца XVIII века. Об этом тоже нередко забывают литературоведы, когда слишком уж поспешно начинают осуждать веймарский классицизм Гёте и Шиллера, лежащую в его основе теорию эстетического воспитания человека и такие, скажем, строки из стихотворения «Начало нового века» (1801):

Пред тобою мир необозримый!
Мореходу не объехать свет;
Но на всей земле неизмеримой
Десяти счастливицам места нет.

¹ См. подробнее в работах Н. А. Славятинского «О «Валленштейне» Шиллера» и «Тридцатилетняя война и Валленштейн» в кн.: Шиллер Ф. Валленштейн. Драматическая поэма. Издание подготовил Н. А. Славятинский. М., «Наука», 1980.

Заключись в святом уединенье,
В мире сердца, чуждом суеты!
Красота цветет лишь в песнопенье,
А свобода — в области мечты.

(Перевод В. Курочкина)

Подобные строки отражают отнюдь не прекраснодушие, а высокое ощущение реальности, жесткое чувство горечи из-за осознания невозможности осуществления возвышенных гуманистических идеалов в современную Шиллеру эпоху и в современной ему Германии. Еще трагичнее эта горечь выразилась в балладе «Кассандра». Но та неистощимая энергия, с какой Шиллер пропагандировал в «Орах» и других журналах и альманахах, а главное, в своих произведениях нормы высокой общественной нравственности, свидетельствует не об уходе от действительности, а скорее о приходе к ней, о высокой гражданской активности. Вообще, кажется, наше понимание эстетической специфики искусства и его общественных функций уже созрело для того, чтобы осознать веймарскую классику Гёте и Шиллера как высшее достижение европейского просветительского реализма¹ рубежа XVIII—XIX веков, как самое лучшее, что мог внести тогда разрозненный и не имеющий единой государственности народ в сокровищницу мировой художественной культуры². Выше цитировались последние строфы стихотворения «Начало нового века», где отчетливо отразились оправданные в то время пессимистические настроения Шиллера. Но тут же по контрасту и для полноты картины следует привести и отрывок из стихотворения «Орлеанская дева», написанного в том же, 1801 году, где столь же ясно звучит исторически не менее оправданный общественный оптимизм Шиллера:

Да! Чистое чернится не впервые,
И доблесть в прах затоптана стократ.
Но не страшись! Еще сердца людские
Прекрасным и возвышенным горят.

(Перевод А. Кочеткова)

Так, в контрастах и противостояниях, познается истина творчества Фридриха Шиллера, никогда не отказывавшегося ни от высших гуманистических идеалов, ни от веры в лучшее будущее, но в то же время и не отрывавшегося от суровой реальности.

Об этих весьма общих и очень важных для творчества Шиллера моментах необходимо напомнить, потому что П. Ланштейн, построив свое исследование как подробную биографию писателя, не ставит в нем чисто литературоведческих проблем, которых, конечно же, вокруг творчества Шиллера накопилось немало. Но и «Жизнь Шиллера» — далеко не первая подробная биография великого поэта, она стоит в

¹ О движении эстетики Шиллера к реализму (в том числе и с употреблением самого термина «реализм») пишет В. Асмус в статье «Шиллер как философ и эстетик». См.: Шиллер Ф. Собр. соч. в 7-ми тт. Т. 6. М., 1957, с. 665—724.

² См. подробнее в кн.: Неустроев В. П. Литературные очерки и портреты. М., Изд-во МГУ, 1983, с. 4—28.

определенной традиции, в числе других весьма добросовестно подготовленных книг подобного рода¹. Помимо того, что книга П. Ланштейна — последняя по времени и автор мог использовать весь богатый опыт своих предшественников, она обладает еще некоторыми качествами, что обеспечивает ей весьма заметное место среди жизнеописаний Шиллера. Так, П. Ланштейн расширяет общеисторический и общекультурный фон, на котором ведется повествование о жизни Шиллера, по сравнению с большинством своих предшественников и расширяет, как правило, *из первоисточников*, что для такого рода биографии особенно ценно. Биограф обнаруживает в книге не только исследовательскую добросовестность, но и незаурядное писательское дарование и наблюдательность очеркиста. Делясь с читателями своими личными впечатлениями о доме, где жил Шиллер, или о городе, через который тот проезжал, или же рассказывая о людях, с которыми Шиллер сталкивался в жизни, П. Ланштейн, как правило, умеет придерживаться сферы общинтересного, чувство такта и меры редко изменяет ему. Может быть, в отдельных случаях излишне подробности, а местами даже субъективно окрашены некоторые описания «сильных мира сего», где автор порой утрачивает обычно присущее ему объективно-критическое отношение к предмету.

Книга написана для массового читателя, ясным, образным, не наукообразным языком. Конечно, для специалистов-филологов этой книги будет явно недостаточно, чтобы оценить и освоить уровень современного буржуазного шиллероведения. Для этого нужно ознакомиться хотя бы с трудами Бенно фон Визе², Герхарда Шторца³ и ряда других ученых. В ГДР творчеством Шиллера давно и успешно занимаются Г. Г. Тальхайм⁴, Г. Д. Данке, У. Вертхайм, Э. Миддель и многие другие. В советском литературоведении в последние годы о Шиллере написано не так уж много⁵.

¹ Некоторые из них: Scherr J. Schiller und seine Zeit. Bd. 1—3. Leipzig, 1860 (на русском яз.: Шерр И. Шиллер и его время. СПб, 1875); Wellrich R. Friedrich Schiller. Geschichte seines Lebens. Bd. 1. Stuttgart, 1885; Wychgram J. Schiller. Bielefeld und Leipzig, 1895; Buchwald R. Schiller. 2 Bde. Leipzig, 1937; Burschell F. Schiller. Reinbek, 1968; Middel E. Friedrich Schiller. Leben und Werk. Leipzig, 1980.

² Wiese B. von. Friedrich Schiller. Stuttgart, 1959; Wiese B. von. Die deutsche Tragödie von Lessing bis Hebbel, 1958; Wiese B. von. Goethe und Schiller in wechselseitigen Vor-Urteil, Köln und Opladen, 1967.

³ Storz G. Der Dichter Friedrich Schiller. Stuttgart, 1959; Storz G. Klassik und Romantik. Eine stilgeschichtliche Darstellung. Mannheim/Wien/Zürich, 1972.

⁴ Thälheim H.-G. Der junge Schiller. Historische Voraussetzungen und weltanschauliche künstlerische Entwicklung von 1759 bis 1780. Berlin, 1961; Thälheim H.-G. Zur Literatur der Goethezeit. Berlin, 1969. Особо следует отметить новое Полное собрание сочинений Ф. Шиллера в десяти томах, выходящее под редакцией Г. Г. Тальхайма (Berliner Ausgabe, Bd. 1, 1980; Bd. 2, 1981).

⁵ Шиллер Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. М., ГИХЛ, 1955; Чельницкая Г. Я. Шиллер. М.—Л., «Искусство», 1959; Лозинская Л. Я. Шиллер. М., «Молодая гвардия», 1960 (Серия ЖЗЛ); Либинзон З. И. «Коварство и любовь» Ф. Шиллера. М., «Художественная литература», 1969. Из коллективных исследований можно назвать: Фридрих Шиллер. Статьи и материалы. М., «Наука», 1966. Сборник содержит также ценный библиографический указатель «Фридрих Шиллер в советской критике. 1917—1959» (с. 374—415). Для литературоведения ГДР важное значение имели статьи, опубликованные к 150-летию со дня смерти Шиллера. См.: Schiller in unserer Zeit. Beiträge zum Schillerjahr 1955. Hrsg. von Schiller-Komitee 1955. Weimar, 1955.

Продолжим разговор об особенностях книги «Жизнь Шиллера». П. Ланштейн, словно вдумчивый экскурсовод, ведет читателя от одного жизненного пристанища Шиллера к другому. Экскурсия эта тем увлекательнее, чем незауряднее сам экскурсовод, чем больше он сам не только знает о своем предмете, но и умеет выстроить свои знания в определенную логическую и концептуальную систему, в которой все единичные факты получают свое соподчиненное место и свое ясное истолкование. В процессе изложения П. Ланштейн в различных местах книги вставляет и свои собственные соображения, которые в совокупности дают довольно четкое представление как о научной методологии автора, так и о философских основах его концепции. Какова же научная методология П. Ланштейна? Прочитаем одно из его основополагающих высказываний. «Автор этой книги считает, что в оценке поведения, лиц и событий прошлого нельзя руководствоваться понятиями и представлениями, являющимися нормой или модой сегодня, ибо убежден в ошибочности такого подхода. Выводы, к которым приходят, оценивая подобным образом, заранее оказываются ложными. Тот, кто хочет понять прошлое, должен стараться постигнуть реальное содержание и дух той эпохи, исходя из ее тогдашних условий. Но это не означает, что он должен неразумное и злое, если оно очевидно, называть не своим именем. Наводить глянец — значит затруднять объяснение явлений» (с. 25). В этих словах, по сути дела, без использования специальной терминологии, но совершенно недвусмысленно выражена приверженность П. Ланштейна к историческому принципу научного исследования. Другими словами и более ясно об историческом подходе к событиям и деятелям прошедших эпох в свое время писал В. И. Ленин: «Исторические заслуги судятся не по тому, чего *не дали* исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они *дали нового* сравнительно со своими предшественниками»¹. Вульгарно-социологическое литературоведение зачастую забывало об этом принципе, и это приводило к поверхностным, недифференцированным и даже искаженным оценкам и выводам. В той или иной мере печатью вульгарного социологизма отмечены и многие работы о Шиллере, вышедшие на русском языке в 1950—1960-х годах.

Советские читатели уже давно и остро ощущают потребность в такой биографии Шиллера, где бы принципиально бережное отношение к деталям, фактам, датам жизни великого человека основывалось на первоисточниках, еще раз проверенных и выверенных по новейшим архивным данным. Именно такую книгу и хотел написать П. Ланштейн. На достоверность большинства приводимых им фактических сведений можно положиться. В большинстве случаев он не умалчивает и о «неразумном и злом», что в условиях феодального абсолютизма обычно сопутствовало даже позитивным во многих отношениях явлениям. Но при всем историзме подхода и добросовестности П. Ланштейн по своим политическим взглядам — довольно типичный современный буржуазный демократ, и это, безусловно, наложило отпечаток и на ход

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 178.

научного исследования. Поясним на небольших примерах и то и другое.

Из книги в книгу, из учебника в учебник у нас (да и во многих зарубежных работах) говорится о заполненном бедами и горестями детстве Фридриха Шиллера, о тупости его учителей (исключения, правда, иногда делаются для пастора Мозера в Лорхе и для профессора Абеля в Карловой академии — Карлсшуле), о скудости полученного им образования, внушившего ему лишь ненависть к бессмысленной зубрежке и палочной системе. П. Ланштейн, глубоко многих изучивший первоисточники и документы, спокойно и основательно опровергает многие из этих поверхностных суждений и, по сути дела, приходит к недвусмысленному (и, на мой взгляд, верному) выводу о том, что общее образование, полученное Шиллером в 1780 году (по окончании Карлсшуле), ставило его на уровень выпускников лучших университетов Европы, если не выше. В двадцать один год от роду за плечами у лекаря и начинающего литератора Шиллера было семнадцать лет упорной и серьезной учебы, сущность и смысл которой мы сейчас далеко не всегда в состоянии оценить, ибо, как правило, абсолютизируем негативные стороны школы XVIII века (зубрежка, богословие, розги) и совсем не пытаемся понять, что способные люди в то время все-таки получали хорошее образование не вопреки этой школе, а во многом и благодаря ей. Маленький Фриц Шиллер в Лорхе с четырех до семи лет (1764—1766) посещал «деревенскую школу, где занимались ежедневно по пять часов летом и по шесть часов зимой» (с. 19). «Наряду со школьными уроками у шестилетнего Фрица начались занятия более приятные. В учебной комнате пастора Мозера он получил первые сведения из латыни, а затем, когда ему было около семи лет, основные понятия о греческом» (с. 19). «В начале 1767 года Фриц Шиллер был принят в латинскую школу (в Людвигсбурге. — А. Г.)... Знания латыни, полученные у пастора Мозера, были признаны весьма основательными для того, чтобы семилетнего мальчика зачислить в старшую группу младшего класса» (с. 24). Шесть лет учился Фридрих Шиллер в латинской школе, четыре раза сдавал «государственные экзамены». «Для того, чтобы выдержать экзамен, необходимы были хорошие знания древних языков: латинского, греческого, древнееврейского; по латинской поэтике был особый экзамен, включавший также проверку знаний по логике и риторике» (с. 25). Не замалчивая существенных недостатков латинских школ, П. Ланштейн делает, на мой взгляд, совершенно верный вывод: «Но если даже эта навязанная церковью программа, а с нею и односторонняя подготовка и достойны порицания, то все же нельзя не признать, что ученики получали в целом достаточно высокое образование. Основательное и осмысленное изучение древних языков является в то же время и изучением родного языка; овладение всей полнотой и многообразием классического языка способствует осознанию богатства и законов своего родного языка. Нет, из этих школ выходили отнюдь не невежды...» (с. 25). А за латинской школой последовали восемь лет обучения в Карлсшуле — одном из своеобразных университетов Европы XVIII века — при всех ее недостатках, присущих ей исторически или связанных со сложной личностью герцога Карла Евгения. Страницы о Карлсшуле и ее создате-

ле и патроне Карле Евгении прочтутся как откровение всеми, кто не занимался историей Вюртемберга специально, кто не раздумывал особо о сложной диалектике потерь и приобретений в историческом и историко-литературном процессе...

В книге о Шиллере перед нами любопытное и редкое сочетание строгого и основанного на архивах и первоисточниках научного исследования и философского писательского эссе. Элементы эссе в основном растворены в подборе фактов, автор редко и по большей части ненарочито предлагает свое «я» для вынесения строгого и окончательного суждения о лицах и событиях. Но даже там, где это «я» скрыто за ссылками на архивы и мемуары, оно, разумеется, проявляется и в отборе цитат, и в расстановке акцентов повествования, и в преимущественной концентрации внимания на тех или иных деталях исторической обстановки и быта XVIII века. Как уже указывалось, к сильным сторонам книги можно отнести энциклопедическую широту интересов автора, любовь к конкретным деталям исторического быта и культуры, умение в ряде направлений мысли широко и непродвзято.

Но исследователь-марксист при столь же широком энциклопедическом подходе к эпохе, как у П. Ланштейна, больше бы рассказал о конкретном бытии широких народных масс в XVIII веке — ведь современный уровень источниковедения и историко-социологических исследований позволяет и об этом рассказать немало нового и интересного¹. Особенно если учесть, как упорно и настойчиво стремился Шиллер осознать подлинную роль народных масс в историческом процессе и как тщательно он добивался реалистического изображения настроений и чаяний самых широких народных масс (и самых разных слоев «третьего сословия») — стоит лишь напомнить о «Лагере Валленштейна», «Орлеанской деве», «Вильгельме Телле» и «Димитрии». Здесь у П. Ланштейна, на мой взгляд, очевидная диспропорция — жизнь, мнения и быт многочисленных мелких и крупных государей Священной Римской империи германской нации он выписывает с большим тщанием и подробностями, в отдельных случаях явно преувеличивая их достоинства и заслуги, то есть при субъективной искренности исследователя объективность исторического анализа все-таки порой нарушается.

Это, пожалуй, основной упрек, который, на мой взгляд, можно всерьез предъявить П. Ланштейну — биографу Шиллера. Но, впрочем, читатель может скорректировать этот социологический пробел в публикуемом жизнеописании Шиллера по другим книгам и статьям, имеющимся на русском языке.

Нет сомнения, однако, в том, что советский читатель, столь любящий Шиллера, получил наконец и на русском языке наиболее подробную, живую, фактически выверенную, с подлинным уважением к предмету написанную *биографию* великого человека. Биографию, которая сама по себе способна напомнить, с какой огромной величиной мы имеем дело, когда обращаемся к Шиллеру. Биография эта, быть может,

¹ В этом плане очень богатый материал предоставляет шеститомное исследование Ю. Кучинского «История обыденной жизни немецкого народа»: Kuczynski J. Geschichte des Alltags des deutschen Volkes. Bd. 2. 1650—1810. Berlin, Akademie-Verlag, 1981.

побудит читателя еще раз углубиться в само творчество Шиллера и заставит согласиться с инстинктивной правотой слов А. И. Герцена в «Былом и думах»: «Тот, кто теряет вкус к Шиллеру, тот или стар или педант, очерствел или забыл себя»¹.

А. Гугнин

¹ Герцен А. И. Сочинения в 9-ти тт. Т. 4. М., ГИХЛ, 1956, с. 83.

КОММЕНТАРИЙ

Стр. 5. — *Бенгель Иоганн Альбрехт* (1687—1752) — вюртембергский теолог-пиетист, известный толкователь Библии. Пиетизм, одно из мистических направлений в христианстве, возник в Германии в конце XVII в. и в противовес ортодоксальному протестантизму ставил религиозные чувства, личное переживание бога выше религиозных догматов церкви.

Стр. 6. — *Карл VII* (Альбрехт, 1697—1745, из династии Виттельсбахов) — курфюрст Баварский (1726—1745). С 1742 г. — император Священной Римской империи.

Стр. 7. — Австрийская Императорская армия дважды (11.X.1746 и 2.VI.1747 г.) потерпела поражение от французских войск.

Стр. 10. — *Надлер Йозеф* (1884—1963) — немецкий историк литературы, разработавший в своей «Истории литературы немецких племен и местностей» (тт. 1—4, 1911—1918) этнически-биологическую концепцию истории литературы, впоследствии подхваченную идеологами «третьего рейха».

Стр. 10. — *Гогенштауфены* — немецкая княжеская династия, занимавшая императорский престол в 1138—1254 гг. Название образовалось по фамильному замку, возведенному на горе Штауфен, или Гогенштауфен.

Стр. 10. — *Эберхард V Бородатый* (1445—1496) — первый герцог Вюртембергский, основал в 1477 г. Тюбингенский университет, покровительствовал науке и искусствам, пригласил в Тюбинген знаменитого немецкого гуманиста Иоганна Рейхлина (1455—1522).

Стр. 11. — *Ульрих* (1487—1550) — герцог Вюртембергский с 1498 г.; вынужден был заключить упомянутый Тюбингенский договор в 1514 г. во время восстания «Бедного Конрада» — крупнейшего из восстаний, предшествовавших Великой крестьянской войне в Германии.

Стр. 11. — *Христоф* (1515—1568) — герцог Вюртембергский с 1550 г., подтвердил Тюбингенский договор и наладил управление страной и судопроизводство в соответствии с этим договором.

Стр. 14. — ...*артезианский колодец с «диким человеком»* — резная деревянная

фигура, изображавшая, по народному поверью, преступника (или рекрута), притворяющегося безумным.

Стр. 17. — *Конрадином* называли единственного сына императора Конрада IV (ум. в 1254 г.), погибшего в 1268 г. в войне с Карлом Анжуйским. С его смертью династия Гогенштауфенов угасла по мужской линии. Драматический фрагмент «Конрадин» написал и известный романтик, шваб по происхождению, Людвиг Уланд (1787—1862).

Стр. 17. — *Майор фон Тельхедм* — персонаж известной комедии Готхольда Эфраима Лессинга (1729—1781) «Минна фон Барнхельм, или Солдатское счастье» (1760), образец верного служения своему прусскому королю.

Стр. 17. — *Шерр Иоганнес* (1817—1886) — немецкий писатель, автор книги «Письма одного немца из эмиграции» (1843) и др.

Стр. 18. — *Кёрнер Христиан Готфрид* (1756—1831) — юрист и литератор, один из близких друзей Шиллера после переезда в Лейпциг.

Стр. 18. — *Смит Адам* (1723—1790) — шотландский экономист и философ, автор «Исследования о природе и причинах богатства народов» (1776).

Стр. 18. — Вплоть до 1806 г. сохранялось написание «Виртемберг», которое было официально изменено на «Вюртемберг» после возведения курфюрста Фридриха I в ранг короля (31 декабря 1805 г.).

Стр. 20. — *Геллерт Христиан Фюрхтеготт* (1715—1769) — немецкий писатель бюргерско-просветительского направления.

Стр. 20. — *Герхардт Пауль* (1607—1676) — один из крупнейших поэтов XVII в. в Германии, религиозные мотивы переплетаются в его творчестве с народно-песенными.

Стр. 20. — *Конц Карл Филипп* (1762—1827) был впоследствии проповедником в Штутгарте и профессором древней литературы в Тюбингенском университете. Был известен как поэт, критик, переводчик античной литературы.

Стр. 20. — *Штойдлин Готхольд Фридрих* (1758—1796) — штутгартский юрист и литератор, поощрявший молодые таланты: в его «Швабском альманахе муз на 1782 год» было опубликовано первое стихотворение Шиллера («Восхищение Лаурой»), подписанное полным именем. Он опубликовал также «Тюбингенские гимны» Гёльдерлина и способствовал его знакомству с Шиллером летом 1793 г. После смерти Шубарта (1791) продолжал его «Хронику», усилив ее республиканско-демократическое направление. В 1793 г. был выслан за пределы Вюртемберга. В 1796 г. утонул в Рейне.

Стр. 22. — *Жоммелли Николо* (1714—1774) — итальянский композитор, проведший в Вюртемберге около 20 лет и написавший за эти годы 30 опер.

Стр. 22. — *Новер Жан Жорж* (1727—1810) — французский балетмейстер, реформатор и теоретик хореографического искусства.

Стр. 23. — *Казанова Джованни Джакомо* (1725—1798) — итальянский писатель, автор знаменитых в свое время «Мемуаров» (1791—1798, в 12 тт.).

Стр. 23. — *Котта* — семья издателей, история которой неразрывно связана с историей немецкой литературы. Наиболее тесно Шиллер был связан с Иоганном Фридрихом Коттой (1764—1832), в то время одним из крупнейших издателей в Германии. В 1876 г. была издана переписка Шиллера с Коттой.

Стр. 27. — *Петерсен Иоганн Вильгельм* — один из ближайших друзей Шиллера в юношеские годы, библиотекарь.

Стр. 27. — *Эммаус (Еммаус)* — согласно Библии, небольшой город недалеко от Иерусалима, по пути в который двое юношей повстречали воскресшего Иисуса Христа.

Стр. 28. — *Кернер Юстинус* (1786—1862) — наряду с Л. Уландом (1787—1862) крупнейший представитель Вюртембергского романтического кружка. Ю. Кернер родился в Людвигсбурге и учился в той же латинской школе, что и Шиллер. Его исполненная поэзии и юмора автобиография "Bilderbuch aus meiner Knabenzeit" была опубликована в 1839 г.

Стр. 29. — *Телеман Георг Филипп* (1681—1767) — немецкий композитор, капельмейстер и органист.

Стр. 29. — *Граун Карл Генрих* (1701—1759) — немецкий певец, композитор и капельмейстер, написал более 30 опер в итальянском стиле, несколько произведений духовного содержания.

Стр. 34. — Строительство городского замка в Потсдаме было начато в 1675 г. При Фридрихе II (1712—1786, прусский король с 1740 г.) замок был перестроен известным архитектором Кнобельсдорфом (1699—1753) в 1750 г. и получил название Сан-Суси (вместе с прилегающими парками и архитектурными сооружениями).

Стр. 36. — П. Ланштейн цитирует книгу: Uhl and Robert. Geschichte der Hohen Karlsschule. Stuttgart, 1953.

Стр. 39. — Имеется в виду повесть Германа Гессе (1877—1962) «Под колесом» (1906), в которой резко критикуется система воспитания в кайзеровской Германии.

Стр. 40. — *Гегель* (в 1788—1793 гг.), *Шеллинг* (в 1790—1795 гг.) и *Гёльдерлин* (в 1788—1793 гг.) учились на богословском факультете Тюбингенского университета, вместе читали «Разбойников» Шиллера.

Стр. 40. — «*Плантация рабов*» ("Skavenplantation") Шубарт назвал Карлсшуде в одной из статей своей политической газеты «Немецкая хроника», которую он издавал в Аугсбурге с 1774 г. Это вызвало гнев Карла Евгения и послужило одной из причин заключения Шубарта в крепость.

Стр. 44. — *Гумбольдт Фридрих Вильгельм* (1767—1835) — знаменитый немецкий филолог и прогрессивный государственный деятель, брат Александра Гумбольдта (1769—1859). Он посетил Карлсшуде во время поездки в Париж в 1789 г., куда он направился, «чтобы присутствовать на похоронах французского деспотизма». В. Гумбольдт состоял в постоянной переписке с Шиллером и Гёте.

Стр. 4 5 . — П. Ланштейн цитирует книгу: H a r t m a n n Julius. Schillers Jugendjahre. Stuttgart, 1904.

Стр. 4 6 . — *Геллерт* (см. прим. к с. 20); *Гесснер Саломон* (1730—1788) — швейцарский поэт и художник, предшественник немецкого сентиментализма, особенно прославился своими «Идиллиями» (1756); *Клейст Эвальд Христиан* (1715—1759) — немецкий поэт, умерший от ран в Семилетней войне, послужил Лессингу прототипом майора фон Тельхейма в комедии «Минна фон Барнхельм» (см. прим. к с. 17); *Глейм Иоганн Вильгельм Людвиг* (1719—1803) — немецкий поэт-анакреонтик, является также автором популярных военных патриотических песен; *Уц Иоганн Петер* (1720—1796) — один из известных представителей анакреонтической поэзии XVIII в. в Германии; *Хёльти Людвиг Кристоф Генрих* (1748—1776) — немецкий поэт-сентименталист, входил в группу «Гёттингенской рощи»; *Хагедорн Фридрих фон* (1708—1754) — поэт и баснописец раннего Просвещения в Германии; «*Векфилдский священник*» ("The Vicar of Wakefield", 1776) — роман английского писателя Оливера Голдсмита (1728—1774).

Стр. 4 9 . — Цитата из «Лаокоона». См.: Л е с с и н Г. Э. Избранное. М., «Художественная литература», 1980, с. 383—384.

Стр. 4 9 . — *Землер Иоганн Заломо* (1725—1791) — немецкий историк и теолог, основоположник исторического направления библейской критики в Германии.

Стр. 4 9 . — *Гроций* (Гуго де Гроот, 1583—1645) — голландский юрист, социолог и государственный деятель, стремился к высвобождению философии права от богословия.

Стр. 50 . — Ш и л л е р Ф. Собр. соч. в 8-ми тт. Т. 8. М., Гослитиздат, 1950, с. 41—42.

Стр. 5 1 . — *Мюллер-Зейдель Вальтер* — современный литературовед ФРГ, автор работ о Гёте и Шиллере.

Стр. 5 9 . — Имеется в виду книга Эдуарда Боаса о Шиллере: В о a s E. Schillers Jugendjahre. Hannover, 1856.

Стр. 5 9 . — Имеется в виду известное исследование Рихарда Вельтриха: W e l t r i c h R. Friedrich Schiller. Geschichte seines Lebens. Bd. 1. Stuttgart, 1885. П. Ланштейн использовал в своей работе над «Жизнью Шиллера» также незавершенную рукопись второго тома, находящуюся в Немецком литературном архиве в Марбахе.

Стр. 5 9 . — *Марк Аврелий Антонин* (121—180) — римский философ-стоик, император (с 161 г.), автор сочинения «К самому себе» (на древнегреческом языке).

Стр. 61 . — Г ё т е И. В. Собр. соч. в 10-ти тт. Т. 4. М., «Художественная литература», 1977, с. 116.

Стр. 6 1 . — *Кречмер Эрнст* (1888—1964) — немецкий психиатр и психолог, разрабатывал учение о связях телосложения человека с его темпераментом. П. Ланштейн цитирует его книгу: K r e t s c h m e r E. Geniale Menschen. Berlin, 1958.

Стр. 62 . — *Боссюэ Жак Бенинь* (1627—1704) — французский епископ и писатель. Наиболее известное сочинение «Рассуждение о всеобщей истории...» (Париж, 1681), в котором с христианских позиций дается обзор истории человечества до эпохи Карла Великого.

Стр. 6 3 . — Севинье Мари де Работен-Шанталь (1626—1696) — французская писательница, прославившаяся в эпистолярном жанре. Первые ее письма были опубликованы в 1726 г.

Стр. 6 7 . — Лаукхард Фридрих Кристиан (1758—1822) — магистр Лейпцигского университета и писатель, наряду с рассказами и новеллами опубликовавший свое жизнеописание: *L a u k h a r d Fr. Ch. Leben und Schicksale*. 5 Bde. 1792—1802.

Стр. 6 7 . — Гауг (Хауг) Балтазар — профессор в Карлсшуте, отец известного поэта, автора многочисленных эпиграмм Иоганна Кристофа Фридриха Гауга (1761—1829), товарища Шиллера по Карлсшуте.

Стр. 6 8 . — См. прим. к с. 59.

Стр. 7 0 . — Кульман Квиринос (1651—1689) — немецкий поэт религиозно-мистического направления.

Стр. 7 0 . — Гюнтер Иоганн Кристиан (1695—1723) — крупнейший поэт раннего Просвещения в Германии.

Стр. 70 . — См. прим. к с. 20. Шиллер был раздосадован тем, что Штойдлин отверг ряд присланных им стихотворений.

Стр. 70—71 . — Вандсбекский вестник... Хейн . — Одна из групп «Бури и натиска» в Германии получила название «Союз рощи» ("Hainbund"). Известный поэт этой группы Маттиас Клаудиус (1740—1815) в 1770—1775 г. редактировал журнал «Вандсбекский вестник» ("Der Wandsbecker Bote").

Стр. 7 1 . — Цитируется статья: *M i n d e r R. Ein Blutstropfen Schiller*. In: *Minder R. Wozu Literatur*. Frankfurt, 1971.

Стр. 71 . — См. прим. к с. 67.

Стр. 7 2 . — См. прим. к с. 76.

Стр. 7 2 . — Гримм Фридрих Мельхиор (1723—1807) — немецкий дипломат и литературный критик. В 1748 г. поехал в Париж посланцем герцогства Гота, сблизился с просветителями, с 1753 г. издавал журнал «Литерарише корреспондентц», информировавший правящие круги Европы о духовной жизни Франции. Состоял в переписке с Екатериной II.

Стр. 7 2 . — Шлёцер Август Людвиг (1735—1809) — немецкий историк, правовед и журналист. В 1764—1768 гг. был профессором истории в Петербурге, с 1769 г. преподавал историю права в Гёттингене. В 1783—1793 гг. издавал журнал «Штаатсанцайгер», находящийся у истоков прогрессивной буржуазной публицистики в Германии.

Стр. 7 2 . — Веклин Вильгельм Людвиг (1739—1792) — немецкий публицист и сатирик, который в своих журналах «Хронологи» (1779—1781), «Серое чудовище» (1784—1787) резко критиковал социально-политические условия Германии.

Стр. 7 4 . — П. Ланштейн, по-видимому, не совсем точно излагает историю печатания различных вариантов «Разбойников». Первое (анонимное) издание «Разбойников» летом 1781 года вышло без виньетки с изображением льва на титульном листе. 13 января

1782 года «Разбойники» были поставлены на сцене Мангеймского театра. По настоянию Дальберга Шиллер переработал отдельные эпизоды драмы, особенно важные сюжетные изменения коснулись заключительных сцен: Франц не кончает самоубийством, но Швейцер приводит его в лес, где происходит очная ставка между братьями и где приговор разбойников обрекает Франца на голодную смерть в яме, куда тот заточил отца.

В начале 1782 года издатель Тобиас Лёффлер выпустил «второе, улучшенное издание» «Разбойников» по рукописи, полученной от Дальберга и представляющей собой первую попытку Шиллера (летом 1781 г.) самостоятельной доработки драмы для сцены. Дальберга эта попытка не удовлетворила, но рукопись он Шиллеру не вернул. Шиллер, хотя и написал специально к данной рукописи небольшое вступление, после выхода книги отзывался об этом издании отрицательно. Текстологически оно в основном повторяет первое анонимное издание «Разбойников», содержит, однако, некоторые поправки стилистического характера. Внимание последующих исследователей Шиллера это промежуточное издание привлекло в первую очередь потому, что на титульном листе помещен рисунок, изображающий льва, а под рисунком надпись "in Tigannos" — «На тиранов». Надпись эта, естественно, значительно политически заостряла тираноборческий антифеодальный пафос пьесы, но до сих пор не собрано убедительных доказательств, что надпись эта сделана самим Шиллером или была напечатана хотя бы с его ведома и согласия.

После успешной премьеры пьесы Шиллер стал готовить окончательную редакцию драмы, используя и опыт театральной постановки, и оба вышедших ранее текста. При этом он отверг ряд поправок, внесенных в пьесу Дальбергом. Это издание «Разбойники», трагедия Фридриха Шиллера. Новое, улучшенное для Мангеймского театра издание» вышло также в 1782 году в Мангейме в типографии книгопродавца Швана. В сопроводительном письме Швану Шиллер писал: «Теперь у Вас будет наконец вся моя драма, и я прошу Вас при наборе не менять в ней ни буквы (не исключая порядка сцен и их количества). Это — моя последняя редакция, и на этом поставим точку». Однако в тех случаях, когда Шиллеру самому впоследствии приходилось цитировать фразы или сцены из «Разбойников», — он продолжал их редактировать, до конца жизни его не покидало желание еще раз вернуться к драме и еще раз переработать ее, но уже исходя из самого первого (анонимного) варианта.

Таким образом, круг текстологических проблем, связанных с «Разбойниками», необычайно сложен, и их нельзя считать окончательно разрешенными. Некоторые дополнительные факты относительно текстологической истории и последовательности публикаций различных вариантов «Разбойников» содержатся в комментариях к новому изданию Шиллера в ГДР: Schiller F. Sämtliche Werke in zehn Bänden. Berliner Ausgabe. Hrsg. von Hans-Günther Thalheim und einem Kollektiv von Mitarbeitern. Bd. 2. Berlin, Aufbau-Verlag, 1981, S. 826—845. В этом же томе опубликованы и три шиллеровских варианта «Разбойников».

Стр. 75. — *Максимилиан I* (1459—1519) — император Священной Римской империи (с 1486 г.) из династии Габсбургов.

Стр. 76. — См. прим. к с. 72. Читателю этой книги необходимо помнить, что поскольку до 1806 г. сохранялось написание «Виртемберг», то и все другие слова с этим корнем («виртембергский» и пр.) писались в то время с «и».

Стр. 77. — *Иосиф II* (1741—1790) — император Священной Римской империи (с 1765 г.), наиболее последовательный сторонник системы «просвещенного абсолютизма».

Стр. 7 8 . — Гольдони Карло (1707—1793) — знаменитый итальянский драматург, оказавший воздействие на европейскую литературу своего времени.

Стр. 7 8 . — Шамфор Никола Себастьян Рок (1741—1794) — французский писатель, автор широко популярных афоризмов и ряда пьес в классическом стиле.

Стр. 7 9 . — Швейцарская Конфедерация, Швейцария — республика, федерация 23 кантонов, каждый из которых имеет свою конституцию, парламент и правительство. Борьба швейцарских кантонов (крестьянских лесных общин) за независимость прослеживается с XIII в. С этой борьбой связаны и легенды о Вильгельме Телле, позднее привлёкшие внимание Шиллера. В 1798—1803 гг. на территории Швейцарии существовала Гельветическая республика.

Стр. 8 0 . — Здесь и в некоторых других местах книги П. Ланштейн несколько преувеличивает широту взглядов Карла Евгения и его терпимость к революционному содержанию «Разбойников» и их «дерзкому» языку. Ведь все-таки Шубарт просидел 10 лет в крепости именно за «дерзкий язык», и Шиллер в конце концов, видимо, не миновал бы крепости, если бы не покинул вовремя пределы Вюртемберга.

Стр. 8 2 . — Павел I (1754—1801) — российский император с 1796 г., убит в результате дворцового переворота, приведшего к власти Александра I.

Стр. 83 . — Трианон — комплекс парков и садов в Версале, резиденции французских королей, дворец Большой Трианон построен в 1687 г., дворец Малый Трианон — в 1762—1764 гг.

Стр. 8 5 . — Карл Филипп Теодор (1724—1799) — курфюрст Пфальцкий и баварский (с 1777 г.).

Стр. 8 7 . — Галли-Биббиена Алессандро — итальянский архитектор, один из сыновей видного архитектора барокко Фернандо Галли-Биббиена (1633—1743).

Стр. 8 7 . — Бах Иоганн Христиан (1735—1782) — композитор и пианист (один из сыновей великого И. С. Баха), представитель так называемого галантного стиля; оказал влияние на творчество В. А. Моцарта.

Стр. 90 . — Шиллер И. Х. Ф. Собр. соч. в 8-ми тт. Т. 8. М., Гослитиздат, 1950, с. 66—67.

Стр. 101 . — Николаи Кристоф Фридрих (1733—1811) — писатель и издатель, представитель позднего Просвещения в Германии, смело, но порой односторонне критиковавший крайности «Бури и натиска» и романтизма; Николаи принадлежит, например, пародия на «Страдания юного Вертера» Гёте.

Стр. 110 . — Лейзевиц Иоганн Антон (1752—1806) — немецкий драматург эпохи «Бури и натиска»; один из участников гёттингенского «Союза рощи», особенно популярна была его трагедия «Юлий Тарентский» (1776), сочувственно встреченная Лессингом и восторженно — Шиллером.

Стр. 114 . — «Мыс Доброй Надежды» — название наиболее популярной из солдатских песен Шубарта, написанной по поводу отправки в 1787 году двух батальонов вюр-

тембергской армии, проданных Карлом Евгением для службы в колониальных войсках Голландской Ост-Индской компании.

Стр. 115. — *Штайгер Эмиль* (род. в 1908 г.). — швейцарский историк и теоретик литературы, создатель так называемой теории интерпретации: имманентного анализа произведения писателя вне социально-исторического контекста. П. Ланштейн цитирует книгу: Staiger E. Friedrich Schiller. Zürich, 1967.

Стр. 119. — Цитируется статья: Walter Fr. Wolfgang Heribert von Dalberg. In: Mannheimer Geschichtsblätter, 1900.

Стр. 125. — *Екатерина II* (1729—1796) — российская императрица с 1762 г. (до того немецкая принцесса Софья Фредерика Августа); пришла к власти, свергнув с помощью гвардии Петра III.

Стр. 127. — *Рабек Кнуд Люне* (1760—1830) — датский писатель, критик, историк литературы. П. Ланштейн цитирует, по-видимому, «Воспоминания о моей жизни» (1824—1829).

Стр. 128. — *Ходовецкий Даниель Николаус* (1726—1801) — немецкий график и живописец, по происхождению поляк. Иллюстрировал произведения Лессинга, Гёте, Шиллера и др.

Стр. 130. — Иффланд написал пьесу «Преступник из тщеславия» в 1784 г., и она стала одним из образцов сентиментально-мещанской драмы в Германии.

Стр. 132. — См. прим. к с. 59.

Стр. 138. — *Гейдельбергская бочка* — огромная бочка, изготовленная в 1751 г. и вмещавшая 222 000 литров, — своеобразная достопримечательность Гейдельберга.

Стр. 141. — *Хух Рикардо* (1864—1947) — немецкая писательница, доктор философии, в 1899—1902 гг. написала двухтомное исследование о немецком романтизме, из которого, по всей видимости, взята приведенная в тексте цитата.

Стр. 149. — *Хиллер Иоганн Адам* (1728—1804) — немецкий композитор, дирижер, писатель и общественный деятель, с 1758 г. постоянно жил в Лейпциге.

Стр. 149. — *Вейссе Кристиан Феликс* (1726—1804) — немецкий поэт, оперный либреттист и детский писатель, жил в Лейпциге.

Стр. 155. — *Каналетто Джованни Антонио* (1697—1768) — итальянский живописец, предметом его изображения чаще всего была Венеция.

Стр. 161. — Имеется в виду финал Девятой симфонии Людвиг ван Бетховена (1770—1827) с хором на текст оды «К радости» Ф. Шиллера. Здесь уместно упомянуть, что к тексту оды обратился в 1865 г. П. И. Чайковский (им написана по окончании Петербургской консерватории кантата «К радости»).

Стр. 163. — *Рец Жан Франсуа Поль де Гонди* (1613—1679) — французский полити-

ческий деятель, писатель, автор «Мемуаров» (тт. 1—3, 1717) и ряда других работ, являющихся ценным источником по истории Франции XVII в.

Стр. 163. — *Хэберлин Франц Доменик* (1720—1787) — немецкий историк, прославился прежде всего «Всеобщей мировой историей» (тт. 1—21, 1774—1786).

Стр. 163. — *Робертсон Вильям* (1721—1793) — английский историк, с 1764 г. королевский историограф Шотландии. «История правления императора Карла V» была опубликована в Лондоне в 1769 г., была переведена и на русский язык в 1775 г. *Карл V* (1500—1558), император Священной Римской империи (1519—1556), испанский король *Карлос I* (1516—1556), пытался под знаменем католицизма осуществить реакционный план создания «мировой христианской державы».

Стр. 164. — *Манн Голо* (род. в 1909 г.) — известный немецкий историк и публицист, сын Томаса Манна.

Стр. 165. — *Граф Антон* (1736—1813) — швейцарский художник, с 1776 г. жил в Дрездене; один из выдающихся мастеров портрета в Германии XVIII в.

Стр. 165. — В истории немецкой литературы известен и такой факт: в 1751 г. датский король Христиан V назначил поэту Фридриху Готлибу Клопштоку (1724—1803) 400 талеров ежегодной пенсии вплоть до окончания работы над поэмой «Мессиада» (закончена в 1773 г.).

Стр. 167. — «*Кавалер роз*» — лирико-комическая опера Рихарда Георга Штрауса (1864—1949), написана в 1910 г.

Стр. 175. — *Эйзидель Фридрих Хильдебранд фон* (1750—1828) — писатель и переводчик.

Стр. 176. — *Бодде Иоганн Кристоф* (1730—1793) — писатель и выдающийся переводчик своего времени, жил в Веймаре с 1778 г.; перевел романы Стерна, Смоллета, Голдсмита, Филдинга и др.

Стр. 179. — «*Альгемайне литературцайтунг*» издавалась с 1785 г. в Йене. В ней сотрудничали Гёте, Шиллер, Кант, Вильгельм фон Гумбольдт, А. В. Шлегель и др. С 1804 г. газету, переименованную в «Йенише альгемайне литературцайтунг», редактировал Гёте.

Стр. 190. — *Штольберг Фридрих Леопольд* (1750—1819) и его брат *Кристиан Штольберг* (1748—1821) — немецкие поэты и переводчики древнегреческих писателей; начинали в рамках «Бури и натиска», но позднее все больше скатывались на активно реакционные позиции.

Стр. 198. — *Битву при Коллине... победу над Прагой.* — Речь идет о двух эпизодах Семилетней войны (1756—1763), развязанной Фридрихом II. В начале войны прусская армия, напавшая на Саксонию и Богемию, дошла до стен Праги, где 6 мая 1757 г. разгромила австрийскую армию, но затем потерпела серьезное поражение в битве при Коллине 18 июня 1757 г. 20 июня осада Праги была снята.

Стр. 204. — *Хорн Франц Кристоф* (1781—1837) — писатель и историк литературы,

в Йенском университете изучал в 1799 г. право, затем в Лейпцигском университете — философию, историю и эстетику. Ему принадлежат очерки истории немецкой литературы, сыгравшие в свое время заметную роль: «Очерки истории и критики изящной литературы в Германии с 1790 по 1818 г.» (1819), «История критики поэзии и красноречия немцев от Лютера и до современности» (тт. 1—4, 1822—1829), а также работы о Шекспире.

Стр. 206. — Отпадение североамериканских колоний от Великобритании произошло в ходе Войны за независимость в Северной Америке (1775—1783), носившей характер буржуазной революции.

Стр. 212. — *Зольгер Карл Вильгельм* (1780—1819) — немецкий эстетик-романтик и литературный критик.

Стр. 215. — Имеется в виду героиня романа «Зеленый Генрих» (1855) крупнейшего швейцарского писателя XIX в. Готфрида Келлера (1819—1890).

Стр. 219. — П. Ланштейн цитирует балладу известного немецкого романтика Людвиг Уланда (1787—1862) «Бертран де Борн» (1834), переведенную на русский язык А. Фетом.

Стр. 225. — *Герц Генриетта* (1764—1847) — замечательная по красоте и уму женщина, ее дом некоторое время был одним из культурных салонов Берлина — сюда приходили братья Гумбольдты, братья Шлегели, философы Фихте, Шлейермахер и др. Упомянутый «Союз добродетели» ("Tugendbund") не следует смешивать с патриотическим «Союзом доблести» ("Tugendbund"), основанным в Кёнигсберге в 1808 г. и распущенным в 1809 г. по требованию Наполеона.

Стр. 228. — См. прим. к с. 71.

Стр. 229. — *Алексей I Комнин* (ок. 1048—1118) — византийский император с 1081 г. Написанная Анной Комнин (1083—1148) история ее отца ("Annae Comnenae Alexiadris libri XV") содержит многие подробности о крестовых походах и принадлежит к лучшим византийским историческим сочинениям. В Германии книга Анны Комнин опубликована в 1610 г.

Стр. 231. — Вестфальский мир был заключен в 1648 г. по окончании Тридцатилетней войны 1618—1648 гг.; он закрепил и усилил политическую раздробленность Германии.

Стр. 232. — *Баггесен Енс* (1764—1826) — датский писатель и философ-просветитель, всю жизнь путешествовал; во время путешествия 1789 г. познакомился с Н. М. Карамзиным.

Стр. 241. — П. Ланштейн прежде всего имеет в виду исследование: Blumenthal L. Schiller in Böhmen. In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft. Bd. 13, 1969.

Стр. 241. — Гётте И. В. Собр. соч. в 13-ти тт. 13. М., ГИХЛ, 1949, с. 78.

Стр. 250. — *Виндельбанд Вильгельм* (1848—1915) — немецкий философ, виднейший представитель баденской школы неокантианства.

Стр. 267. — *Баумгартен Александр Готлиб* (1714—1762) — немецкий философ-идеалист из школы Кристиана Вольфа (1679—1754), родоначальник эстетики как особой философской дисциплины. *Мендельсон Мозес* (1729—1786) — немецкий просветитель, популяризатор идей школы Лейбница — *Х. Вольфа*. *Бёрк Эдмунд* (1729—1797) — английский публицист и философ, автор памфлетов, направленных против Великой французской революции.

Стр. 268. — П. Ланштейн цитирует книгу: M i d d e l E. Friedrich Schiller. *Leben und Werk*. Leipzig, 1980.

Стр. 301. — По-английски слово market («рынок») произносится ['ma:kit].

Стр. 304. — См. прим. к с. 141.

Стр. 347. — *Шторц Герхард* — современный литературовед ФРГ, автор книг о Шиллере, Мёрике, о так называемой «Швабской школе».

А. Гугнин

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абель Фридрих 35, 44, 49, 52, 64, 71, 72, 92, 121, 163, 270, 274, 293, 294, 361
Август II 155, 156
Август Сильный 155
Александр Великий 102
Алоизия Лантенри-Вагенгиперг 242
Альбрехт 148, 149, 165
Альбрехты 152, 162
Амштейн 79
Анна Амалия 175, 183, 326, 327, 337
Априли 24
Аристоктель 254
Арним Генриетта фон (графиня Кунце) 162, 165, 168—172, 185
- Баггесен** Енс 232, 233, 240, 244—247, 256
Банг Бальтазар 328
Батч 285
Бауман Катарина 124
Баумгартен Александр Готлиб 267
Бах Иоганн Себастьян 29, 147
Бах Иоганн Христиан 87
Бац 42, 121
Бейль 89, 91, 128, 131, 148
Беккер Софи 142, 177, 327
Бенгель Иоганн Альбрехт 5, 6, 7
Бергхан 162
Бермштоф 177
Бернсдорф 268
Берлингер 229
Берталоцци 267, 283
Бертух 153, 172, 176, 180, 205, 323, 328
Бетховен Людвиг ван 240, 300
Бёкк 77, 124, 127, 135
Бёттигер 77
Боас Эдуард 68
Боден Иоганн Кристоф 172, 176, 180, 328
Бойльвиц 184, 185, 211, 265
Бонани 24
Боссюз Жан 62
- Брайткопф 147
Брандес Иоганн Кристиан 103
Брентано Клеменс фон 284
Буажоль 45, 46, 47, 58
Бюргер Готфрид Август 245, 250—252
- Вайсензее** 7
Вайсхун 280
Валленштейн Альбрехт 242
Вальтер Фр. 119
Ван Дейк 242
Вашингтон Джордж 254
Вейганд 116
Вейссе Кристиан Феликс 183
Векрлин Вильгельм Людвиг 72, 79
Векерлин Иоганн Христиан 70
Вельтрих 59
Вергилий Марон Публий 64
Вертерн 364
Вехтер 42
Виланд Кристоф Мартин 45, 46, 94, 102, 141, 172—177, 186, 193, 195, 242, 244, 282, 323, 326, 328, 361
Винкельман Иоганн Иохим 112, 149, 156
Винтер 31
Виттледер 33
Вольтер 62, 63, 87, 334, 345, 371
Вольтман 277, 279
Вольцоген Вильгельм фон 112, 129, 180, 182, 185, 190, 211, 259, 266, 313, 322, 362
Вольцоген Генриетта фон 69, 79, 103, 104, 105, 110, 112, 117, 119, 120, 132, 137, 140, 144, 180, 189, 190, 322
Вурмб Каролина 184
Вурмб Луиза фон 183
Вурмб Шарлотта 184
Вурмб Христиана фон 357
- Галли-Библиена Алессандро 87
Гарве 280

- Гауг (Хауг) Бальтазар 67, 264, 361
 Гарденберг-Новалис 236, 239, 304
 Гаус 49, 51
 Гегель Георг Вильгельм Фридрих 10, 40
 Гедике 202
 Гейне Генрих 275
 Геллерт Христиан Фюрхтеготт 20, 45,
 147
 Гельцель Анна 134
 Гельцер Христиан 349
 Генаст 335, 371
 Гердер Иоганн Готфрид 173, 174, 175,
 177, 180, 216, 222, 241, 282, 284, 285,
 291, 323, 326, 328, 364
 Гердер Каролина 186
 Герхардт Пауль 20
 Геснер Конрад 45
 Гессе Герман 39
 Гельдерлин Фридрих 40, 103, 140, 266,
 267, 284, 297—299
 Гёрц Генриетта 225, 366
 Гёте Иоганн Вольфганг 9, 24, 41, 45, 61,
 63, 67, 68, 72, 88, 94, 115, 118, 123, 140,
 141, 147, 149, 153, 155, 172—174, 175,
 177, 178, 180, 184, 185, 190, 191, 193,
 196, 201, 207, 212, 213, 223, 234, 241,
 250, 251, 254, 256, 257, 272, 276, 279—
 291, 299, 304, 306, 310, 322, 323,
 329, 332—343, 347, 348, 350, 355,
 359, 371
 Гёшен 145, 147, 152—154, 162, 172, 173,
 183, 195, 200, 206, 233, 236, 242,
 253, 254, 274, 282, 328, 355, 360, 365
 Гинзбург Л. 7
 Гмелин 275
 Годе Иоганн Христиан 176
 Гольдони Карло 78, 193, 195
 Гомер 64, 189, 251, 252, 261
 Гонольд 26
 Готтер Фридрих Вильгельм 134, 135
 Готшед Иоганн Кристоф 147
 Гоцци Карло 335, 336, 347, 368
 Граммон отец 55
 Граммон сын 55, 56, 58, 64
 Гранвелл Антон Перено 179
 Граун Карл Генрих 29
 Грасс Карл Готхард 237
 Графф Антон 163, 165, 323, 349
 Гримм Фридрих Мельхиор 72
 Грисбах Иоганн Якоб 179, 202, 204, 309,
 314, 330
 Грисбах Фредерике 309, 330
 Гроссман 128, 172
 Гроций (Гуго де Гроот) 49, 252
 Грубер Иоганн Готфрид 239
 Губер Фердинанд 145, 148, 152, 154, 161,
 164, 166, 167, 169, 180, 186, 191, 205,
 291
 Гугнин А. А. 54, 59, 69, 132, 166
 Гумбольдт Фридрих Вильгельм фон 44,
 211, 225, 226, 234, 277, 279, 286, 302,
 313, 319, 361, 364, 370
 Гуфеланд Готлиб 179
 Гюнтер Иоганн Христиан 70
 Д'Аламбер 62
 Дальберг Вольфганг Гериберт фон 74,
 75, 78, 81, 88, 93, 97, 100, 114, 116,
 117, 119, 120, 123, 130, 134, 135, 136,
 146
 Дальберг Карл фон 205, 207, 208, 216,
 234, 243, 260, 263, 271, 272, 274, 275,
 284, 317, 339, 361
 Даннекер 63, 271, 272, 275, 294, 299, 314
 Дахерёден Каролина фон 211, 225, 226,
 235
 Дефо Даниель 369
 Дебелин 172
 Дидро Дени 143, 189
 Доротей (см. Мария Федоровна) 82
 Дрюк 44
 Дюрер Альбрехт 105, 185
 Еврипид 189, 205, 229
 Екатерина II 72, 125
 Жанна д'Арк 344, 346
 Жан-Поль Фридрих Рихтер 323
 Жоммелли Николо 22, 24
 Зегер 34, 39, 55, 58, 89, 90
 Зейлер 89
 Зейме Иоганн Готфрид 328, 351, 360
 Землер Иоганн Заломо 49
 Зольгер Карл Вильгельм 212
 Зонненвирт 52, 53, 164
 Имгоф Амалия фон 284, 329
 Иосиф II 77, 166
 Иффланд Август Вильгельм 77, 86, 89,
 91, 103, 123, 127, 130, 131, 134, 136,
 148, 292, 366
 Казанова Джованни Джакомо 23, 241
 Кальб Вильгельмина 139
 Кальб Генрих фон 140, 141
 Кальб Иоганн Август фон 140, 141
 Кальб Шарлотта фон 139, 140, 141, 146,
 172; 173, 176, 179, 180, 187, 207, 215,
 216, 266, 297, 323
 Кальб Элеонора 140, 141
 Каналетто Джованни Антонио 155
 Кант Иммануил 174, 234, 250, 267, 280,
 281, 364
 Капф 63, 67, 74
 Карл Август 144, 208, 243, 279, 295, 323,
 326, 327, 330, 337, 338, 345, 346, 361,
 367, 373
 Карл Великий 96, 130
 Карл Евгений 13, 21, 28, 30, 32—34, 36,
 38, 44, 49, 59, 60—62, 72, 78—80, 82,

- 90, 93, 111, 114, 130, 144, 174, 253, 257, 258, 260, 261, 265, 271, 272
- Карл V 91, 149, 164
- Карл VII 6
- Карл Филипп Теодор 85, 86, 87
- Кваглио Лоренцо 88
- Кернер Юстинус 28, 29, 257, 258, 311, 312
- Кёрнер Христиан Готфрид 18, 145, 150, 153—155, 157, 160, 162—167, 170—174, 180, 182, 183, 187, 188, 191, 193, 195, 196, 198, 199, 201, 205, 209, 212, 214, 215, 222, 226, 234, 238, 242, 246, 252—255, 258, 259, 262, 267, 269, 271, 277, 280, 285, 286, 291, 299, 304, 306, 310, 323, 329, 341, 343, 347, 348, 360, 367, 373
- Клайбер Юлиус 44
- Клейн Антон фон 43, 64
- Клейст Генрих фон 156, 170
- Клейст Эвальд Христиан 46
- Клопшток Фридрих Готлиб 41, 45, 48, 63, 71, 87, 254
- Кнебель 180, 186, 213
- Козериц 102
- Комнин Алексей 229
- Конц Филипп Карл 20
- Консбрух 54, 56
- Кочетков А. 163
- Корнель 63
- Котта Христоф Фридрих 273
- Котта Фридрих Иоганн 273, 274, 275, 278, 279, 281—285, 291, 294, 295, 296, 313—325, 331, 351, 355, 357, 361, 365, 366, 371
- Кох Готхельд 172
- Кречмер Эрнст 45, 61
- Кумман Квириго 70
- Кюнеман 173
- Коцебу фон Август 332, 337—339
- Ла Рош Карл 225, 226
- Ла Рош Софи фон 141, 192, 225
- Лаукхард Фридрих Христиан 67
- Лебрун 102
- Левик В. 158
- Лейзевиц Иоганн Антон 110
- Ленгефельд Карл Христоф фон 183
- Ленгефельд Каролина (Каролина Бойль-виц) 105, 157, 182, 184, 185, 186, 191—193, 197, 206, 207, 210, 213, 214, 218, 221, 224, 225, 226, 235, 237, 240, 242, 243, 255, 258, 262, 265, 270, 315, 345, 348, 355, 357, 362, 371—373
- Ленгефельд Лотта (Лотта Шиллер) 113, 184—187, 191—193, 197, 198, 206, 208, 210—215, 217—227, 230—232, 235—238, 240, 243, 247, 248, 253, 255, 256, 258, 259, 262—265, 270, 275, 289, 290, 294, 305, 309, 314—317, 322, 324, 325, 337, 345, 348—350, 353, 356, 362, 365, 368, 372, 373
- Ленгефельд Луиза 182, 184, 217, 219, 220, 223, 317
- Лессинг Готхольд Эфраим 45, 48, 63, 87, 88, 110, 118, 123, 124, 128, 130, 166, 225, 334
- Лоррен Клод 156
- Луи Фердинанд 366
- Лукиан 189
- Лозинский М. 189
- Людвиг Эберхард 21
- Людвика (см. Зиманович) 23, 263, 273, 294
- Макс Йозеф** 86
- Максимилиан I 10, 75
- Манн Голо 164, 230, 318, 319
- Манн Томас 123, 320, 323, 373
- Мария Стюарт 340, 341
- Мария Федоровна 58, 82
- Марк Аврелий Антонин 59
- Маршан 88
- Майер Фр. Хр. Й. 261
- Мейер 291, 328
- Мейер Вильгельм Христиан 89, 91—93, 97, 98, 100, 102, 103, 284, 329
- Меркель 346
- Меро София 284
- Менних 43
- Мёрике 293, 299
- Мерсье 163, 225, 346
- Миддель Айке 268
- Миллер 114, 128, 141
- Мильфорд 114
- Миндер Роберт 71, 228
- Миримский И. 161
- Михаэлис 296, 302
- Мозер Христоф 19
- Молль 44
- Монмартэн 33, 114
- Мориц 153
- Моцарт Вольфганг Амадей 323, 373
- Моцарт Леопольд 30, 85
- Мориц 153
- Миолер Зейдель Вальтер 51, 349
- Мэнтлер Христоф Готфрид 72
- Надлер Йозеф** 10
- Наст 35, 44
- Науман 165
- Наполеон Бонапарт 363
- Николаи Христоф Фридрих 225
- Нитхаммер 248, 252, 262, 330
- Новер Жан Жорж 22
- Оберкирх** 83
- Оже 66, 93, 97, 100, 101, 360
- Остгейм Маршалк фон 139
- Павел I** 82, 362

Перено Антон 179
Петерсен 27, 45, 53, 65, 67, 69, 71, 72, 74,
77, 130, 264, 271, 361
Песталоцци 254
Плинингер Иоганн Вильгельм 55
Плутарх 57, 76, 189
Пюкклер 351
Пфеффель 284

Рабек Кнуд 127
Ранк Йозеф 15
Рапп Готлиб Генрих 275, 299
Расин 63, 87, 365
Рейзер 154
Рейнвальд Герман 104, 105, 106, 110,
112, 113, 116, 117, 130, 137, 138, 140,
161, 180, 232, 259, 277, 296
Рейнгольд 172, 179, 201, 232, 234, 240,
244
Рейнике 149, 155
Рейхенбах 67
Рекке Элиза фон дер 142, 284, 327
Рец Жан Франсуа Поль де Гонди 163
Ригер 73
Ройс 55, 64
Романус 149
Рохлиц 360
Руссо Жан Жак 167

Севинье Мари де Рабютен Шанталь 63
Сервантес Сааведра 76, 345
Смит Адам 18
Сократ 118, 372
Софокл 189
Сталь Жермена де 63, 363—366
Стерн Лоренс 177

Тацит 203
Телеманн Георг Филипп 29
Тимме 75
Тьер 275

Уланд Роберт 36
Ульрих 11
Уриот Йозеф 62
Уц Иоганн Петер 46

Фенелон Франсуа 62
Филипп II 149, 163, 179
Филдинг Генри 177
Фихте Иоганн Готлиб 279, 280, 284, 291,
298, 326
Фишер 73, 81
Фишер Луиза 69, 78, 101, 111, 163
Фойгт 14, 105, 176, 196, 295
Фордис 87
Фос 323, 333, 335
Фосс Генрих 359, 363, 369, 370, 371
Фосс Иоганн Генрих 284, 359
Фосс Эрнестина 204, 359
Фридрих I 35

Фридрих Великий 13, 14, 87, 175, 198,
365
Фридрих Вильгельм I 30
Фридрих II 183, 198, 209
Фридрих Евгений 82, 253
Фридрих Иоганн Христоф 14
Фридрих Христиан Августенбургский
244, 246, 267, 268, 269
Фюссли 351

Хагедорн 46
Хейделофф 63, 326
Хейн 71
Херхенкан 318
Хеч 43
Хиллер Иоганн Адам 149
Ховен фон 23, 43, 50, 56, 357, 361
Ховен Август фон 23, 45, 61, 66
Ховен Фридрих фон 23, 27, 45, 56, 63,
71, 73, 74, 78, 260, 261, 262, 269, 299,
357
Хогарт 123
Ходовецкий Даниель Николаус 128
Хорн Франц Кристоф 204
Хоэнгейм Франциска фон 59, 60, 62, 111,
304
Хух Рикарда 141, 305

Цан Христиан Якоб 274
Цезарь 203
Цезари 24
Ценген Вильгельмина фон 170
Циллинг 28, 29

Шван Луиза 126, 154, 161, 165
Шван Маргарита 125, 126, 139, 154, 164
Шван Фридрих (Зонненвирт) 52, 53, 163
Шван Христиан Фридрих 74, 77, 83, 97,
102, 105, 115, 117, 120, 125, 126, 144,
148, 149, 150
Шекспир Уильям 45, 76, 130, 284, 334,
340, 341
Шеллинг Фридрих Вильгельм 40
Шерр Иоганнес 17
Шиллер Ева Мария 5, 9
Шиллер Елизавета Доротея 14
Шиллер Иоганн Каспар 5—8, 12—14, 17,
18, 23, 24, 31—33, 39, 49, 68, 123, 295,
296, 297, 333
Шиллер Иоганн Фридрих 18
Шиллер Карл фон 260, 314—316, 324,
330, 355, 357
Шиллер Каролина фон 310, 357
Шиллер Луиза 19, 99, 112, 122, 253, 258,
297
Шиллер Нанетта 99, 252, 253, 259, 263,
265, 297
Шиллер Христофина 16, 19, 27, 50, 56,
82, 99, 101, 111, 122, 136, 137, 139,
161, 227, 237, 265, 296, 297, 327
Шиллер Эмилия фон 368, 372

- Шиллер Эрнст фон 297, 310, 315, 324, 330, 357
Шиллер Шарлотта фон 364
Шиммельман 240, 245, 246, 247, 268, 329
Ширах 328
Шлегель Август Вильгельм 281, 284, 304, 305, 331, 343, 365, 370
Шлегель Каролина 305, 331
Шлегель Фридрих 304, 305, 335, 370
Шлецер Август Людвиг 72
Шлоттербек 63
Шмидлин 41
Шмидт Эрнст Готфрид 313
Шотт 35, 44
Шрёдер 124, 166, 182
Шрифтер 303
Штайгер Эмиль 115, 140
Штайн фон 185, 191
Штайн Фриц фон 185, 191, 247, 248, 262, 275, 284, 368
Штайн Шарлотта фон 177, 185, 191, 209, 216, 234, 290, 324, 325
Штойдлин Готхольд Фридрих 20, 266
Шток Дора 145, 152, 168, 240
Шток Минна 145, 148, 151, 152, 155, 157, 158
Шторц Герхард 347
Штольберг Фридрих Леопольд 190
- Штрейхер Андреас 81, 82, 84, 89, 91—94, 96, 97, 98, 99, 100, 102—106, 111, 117, 128, 134, 136, 146, 256, 323
Шубарт Христиан Фридрих Даниель 24, 29, 71, 72, 78, 84, 87, 103, 114, 250, 260, 300
Шульц 206
Шюц 179, 199
Шюц младший 339
- Эберхард V Бородач 10
Эвальд 46
Эзер 149
Эзоп 41
Эйзенберг 42
Эйзидель Фридрих Хильдебрант фон 175
Эйхендорф Йозеф фон 303
Эккерман Иоганн Петер 115, 117, 234, 292, 350
Эльзэссер 25
Эльверт Фриц 26, 27, 61, 67
Энгель 26, 27, 280
Эсхил 341
- Ягеман 323, 328, 346
Якоби Фридрих 55, 100
Ян 27, 28, 31, 35, 40, 41

СОДЕРЖАНИЕ

Годы на родине. Перевод К. Старцева

Родители и происхождение	5
Раннее детство	16
Людвигсбург	21
Карлсшале	32
Полковой лекарь	65

Годы странствий. Перевод К. Старцева

Мангейм	85
Окольные пути	85
Интермеццо в Бауэрбахе	104
Драматург	117
Развязка	136
В Саксонии и Тюрингии	147
Среди друзей	147
Дрезден	155
Знакомство с Веймаром	172
Ленгефельды	183

Зрелость. Перевод С. Тархановой

Профессура	200
Помолвка и женитьба	210
Со смертью бок о бок	227
Поездка в Швабию	256

Вершина жизни. Перевод В. Болотникова

Йена	277
«Оры»	277
Встреча	285
Отголоски	294
«...оттого, что пишу стихи...»	299
В семейном кругу	309
Валленштейн	317

Веймар. Перевод С. Тархановой	324
Резиденция	324
Служение театру	331
Поздние драмы	339
Последнее обиталище	354
<i>А. Гугнин</i> Фридрих Шиллер и его новая биография . .	374
Комментарий. <i>А. Гугнин</i>	387
Указатель имен. Составитель Г. Насекина	398

ПЕТЕР ЛАНШТЕЙН

Жизнь Шиллера

ИБ № 843

Редактор *З. И. Петрова*

Художник *А. Яковлев*

Художественный редактор *А. П. Куцков*

Технические редакторы *Л. Б. Чуева, Г. И. Немчинова*

Корректор *Е. В. Рудницкая*

Сдано в набор 26.07.83. Подписано в печать 29.03.84. Формат 60x90^{1/16}.
Бумага офсетная. Гарнитура тип таймс. Печать офсетная. Условн. печ. л.
25,50. Услови кр.-отг. 49,06. Уч.-изд. л. 31,23. Тираж 50 000 экз. Заказ № 624.
Цена 2 р. 10 к. Изд. № 758.

Издательство «Радуга» Государственного комитета СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, 119859, Zubovskiy bulvar, 17

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Можайск, 143200, ул. Мира, 93